



ВОЛЬТЕР

Философские
повести



ВОЛЬТЕР



Философские
повести



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1985

84.4 Фр
В 71

Перевод с французского

Составление,
вступительная статья и комментарии
А. Михайлова

Иллюстрации
Жана-Мишеля Моро-Младшего

В $\frac{470300000-899}{080(02)-85}$ 899—85

© Издательство «Правда», 1985. Составление.

Вольтер и его проза

Рубежи исторических эпох обычно не совпадают с рубежами столетий. В истории французской культуры «великий век» — семнадцатый — неправомерно растянулся, захватив начало следующего. Семнадцатый век был торжественным, величавым и неторопливым. Следующий век — эпоха Просвещения, — метко названный Герценом «дивным, мощным, деятельным», оказался стремительным и бойким. И коротким: его границами стали смерть Людовика XIV (1715 г.), когда с пережитками «великого века» было наконец покончено, и революционный взрыв 1789 года, рассчитавшийся со всем «старым порядком».

Это было время глубочайшего кризиса феодально-религиозного сознания и подъема буржуазно-демократической идеологии, вступивших в яростную борьбу. Это была эпоха контрастов — чрезмерного богатства и ужасающей нищеты, смелых и талантливых строительных предприятий и истребительных войн, передовых научных гипотез и схоластической рутин, дерзкого свободомыслия и ожесточенного религиозного фанатизма. Передовая идеология эпохи проявляла себя во всех областях, ведя наступление на все отживающее и реакционное, на все тормозящее движение вперед, будь то обветшалые философские или научные взгляды, литературные вкусы и т. д. Просветители ратовали за развитие передовой науки и культуры, за их распространение в широких слоях общества; уже одно это придало их деятельности революционный характер. Ф. Энгельс считал, что это были «великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции»¹. Деятели передовой идеологии — писатели, ученые, мыслители — не просто боролись со старым и реакционным, но и создавали; они выдвинули немало смелых гипотез во всех областях — от чистой науки до самой прагматической, «прикладной» философии и политики.

Просветительское движение было широким; среди вольнодумцев, «философов» были не только представители передовой интеллигенции, но и некоторые аристократы и отдельные деятели церк-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 16.

ви. Просветительство было модным; «философы» стали теперь желанными гостями в столичных салонах, а светские дамы любили, чтобы художники изображали их на портретах с томами «Энциклопедии» на туалетном столике. В литературных и светских кружках теперь уже заинтересованно обсуждали не изысканный каламбур и не галантно-авантюрный роман, а философский трактат или даже какой-либо труд по физике, астрономии, ботанике.

С просветительством заигрывали (например, Фридрих II и Екатерина II), но его и смертельно боялись. «Старый порядок» вел с просветительством ожесточенную борьбу. Книги передовых писателей запрещались, конфисковывались, сжигались. Излишне смелые издатели подвергались штрафам, тюремному заключению, лишались «королевской привилегии» на печатание книг. Однако крамольные сочинения публиковались не только во Франции, где цензура была достаточно строга и расторопна, но и в соседних республиканских Голландии и Швейцарии и контрабандно переправлялись через границу. Многие «опасные» произведения гуляли в списках, причем переписывались и рискованные озорные эпиграммы, и яркие антифеодальные и антиклерикальные памфлеты, и научные трактаты, пропагандирующие передовые идеи.

Просветительство не было единым. В нем существовали различные оттенки и течения, были и разные этапы в его эволюции. Первая половина столетия — первый этап просветительского движения был, естественно, еще в достаточной степени эклектичным и осторожным, во многом — еще разобобщенным, в отличие от второго этапа, когда просветительство приобрело небывалый размах и широту, когда, по замечанию Ф. Энгельса, «религия, понимание природы, общество, государственный строй — все было подвергнуто самой беспощадной критике», когда «все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него»¹.

Среди французских просветителей-вольнодумцев уже в 20-х годах XVIII века становится заметным и влиятельным Франсуа-Мари Аруэ, вошедший в историю мировой культуры под именем Вольтера (1694—1778).

Жизнь Вольтера была внешне суматошной и яркой. Уже молодым человеком, по выходе из иезуитского коллежа, этот отпрыск состоятельных парижских буржуа заставил говорить о себе как опасный острослов и автор язвительнейших эпиграмм. В эти годы (да и позже) язык нередко оказывался его врагом: из-за неосторожно брошенной едкой фразы или разлетевшегося по рукам сатирического стихотворения писателю не раз приходилось поспешно покидать Париж, находя приют в глухой французской провинции, в Голландии или Англии. За смелые эпиграммы против регента герцога Филиппа Орлеанского поэт поплатился годом заключения в Бастилии. Скандальная ссора с шевалье де Роганом, влиятельным и ничтожным, стоила Вольтеру нового заключения и изгнания. Выход каждой его новой книги становился заметным событием, отражаясь на его личной судьбе. Постепенно у писателя появлялось все больше могущественных врагов, среди которых были не одни невольные жертвы его необузданного сатирического темперамен-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 16.

та; с годами врагами Вольтера становилась вся феодальная Европа, весь «старый порядок» — от ничтожных писак-иезуитов до всемогущих самодержцев, министров или римских пап. Вольтер знал и «служебные» успехи — его назначали в составы посольств, давали ответственные дипломатические поручения, жаловали придворные посты и одаряли наградами. Знал он и критические, почти катастрофические повороты судьбы, когда его благополучие, свобода, жизнь оказывались под угрозой. Так было в момент выхода навязанных английскими впечатлениями «Философских писем» (1734), в которых порядки послереволюционной Англии противопоставлялись французской действительности. Так было после смерти его покровительницы и друга маркизы Дю Шатле (1749 г.), после разрыва с Фридрихом II и бегства из Берлина (1752 г.). Так было обычно после публикации его наиболее смелых и острых книг, в частности «Орлеанской девственницы» (1755). Злоключения писателя не кончились и после его смерти: прощенный королем, увенчанный лаврами на торжественном представлении его «Ирины», Вольтер остался ненавистен клерикалам, и церковные власти далеко не сразу разрешили предавать его тело земле.

Оставленное Вольтером творческое наследие огромно. Оно включает, вероятно, все жанры, которые в его время были в ходу. Вольтер как-то заметил, что «все жанры хороши, кроме скучного», и эта крылатая фраза не случайно сказана именно им. Он был ведущим драматургом своего времени. Его сатирическая лирика и его едкие, ироничные, насмешливые памфлеты — бесспорно, лучшее, что было создано в этой области в XVIII столетии. Увлекательна, остроумна, стилистически безупречна его философская, историческая, научная проза. «Орлеанская девственница», высмеивающая не столько сам подвиг Жанны д'Арк, сколько нагроможденные вокруг него церковные легенды, — самая талантливая, самая яркая сатирическая поэма эпохи Просвещения. Повести, новеллы, философские сказки Вольтера — знаменательная страница в истории французской прозы. Также всеми чертами большой прозы отмечены и его письма, то лиричные, то неудержимо веселые, то гневные, то саркастические. А их Вольтер написал более пятнадцати тысяч!

Он писал легко, быстро и весело, и писал всегда — и в моменты благодатных творческих уединений, и в суматохе светской жизни, в располагающей тишине его рабочего кабинета, и в приемной Фридриха II, и в провинциальной таверне. На большинство событий общественной или литературной жизни Вольтер откликался то эпиграммой, то памфлетом, то повестью, то большим темпераментным письмом (в следующем столетии Виктор Гюго упрекает Вольтера в том, что тот слишком разбрасывался). Его реакция была молниеносна, мастерство перевоплощения — поразительно, ирония — безошибочна и неотразима. Вольтер признавался в одном из писем: «В зависимости от того, как предстают предо мною явления, я бываю то Гераклитом, то Демокритом; то я смеюсь, то меня встают волосы дыбом на голове. Это вполне в порядке вещей, ибо имеешь дело то с тиграми, то с обезьянами». И он без усталости публиковал брошюры и книги, печатался в журналах, рассылая письма. Пушкин как-то назвал Вольтера «фернейским злым крикуном», имея в виду его задиристость и саркастичность. Он и вправду не всегда бывал справедлив, но неизменно — остроумен и

блестящ. Его обожали, им восхищались и его боялись и ненавидели. Его книги перехватывались, письма нередко вскрывались. С ним пытались полемизировать, но это было безнадежным занятием: он только того и ждал и отвечал немедленно и уничтожающе. «Нет,—воскликнул однажды Людовик XV,— нам никогда не удастся заставить замолчать этого человека!»

Вольтер начал как поэт и драматург, затем как историк, но он пользовался непререкаемым авторитетом среди современников прежде всего и главным образом как философ. В переписке тех лет, в газетных сообщениях, в журнальных публикациях его часто называли не по имени, а просто «Философом», причем Философом с большой буквы.

Случилось так, что в век передовой философии Философом стал не самый оригинальный и радикальный мыслитель, каких было немало в эпоху Просвещения. К тому же Вольтер стал вождем общественного мнения, а его столетие сделалось «веком Вольтера» в пору наиболее глубоких и смелых, более глубоких и смелых, чем его собственные, выступлений Монтескье, Морелли, Дидро, Руссо, Гельвеция и др., то есть в середине и второй половине столетия.

В этом, однако, не было ничего парадоксального. Вся жизнь Вольтера, особенности его темперамента, система взглядов, черты таланта сделали писателя символом передовой мысли его времени. Вольтер в течение своей долгой жизни не прошел мимо ни одного волновавшего всех вопроса. К тому же откликался он на все очень умело и своевременно. Его восприимчивость к чужим мыслям была поистине замечательной, и он не столько пускал в обращение оригинальные собственные мысли, сколько синтезировал и популяризировал чужие идеи, верно подмечая их потенциальные возможности. Скрытую до поры свежесть и прогрессивность этих идей он, конечно, должен был не только почувствовать и понять, но и прочувствовать. В его трактовке они становились его идеями. Вольтер сделался «предводителем умов и современного мнения» (Пушкин) потому, что передовые для своей эпохи идеи — научные, философские, политические, — которые он отыскал в полузабытых трактатах или специальных сочинениях или же которые, как говорится, носились в воздухе, он сумел пересказать ярко, доступно и остроумно. Как метко определил Пушкин, в вольтеровских произведениях «философия говорила общепонятным и шутивым языком». Если у Вольтера и не было таланта яркого, оригинального мыслителя, то блистательным писательским талантом он обладал в полной мере. Философ, ученый, историк, политик, он был прежде всего писателем. Все творчество его выросло на пересечении передовой идеологии и литературного мастерства. Причем это слияние никогда у Вольтера не было искусственным, неорганичным. Для него было так же естественно вкладывать взрывчатые идеи в мимолетный светский каламбур, как и облекать в увлекательную шутивую форму ученые рассуждения по сложнейшим философским или научным вопросам.

Но не только все это сделало его имя столь популярным, а его идеи — устраивающими столь многих: и третьесловных интеллигентов, и провинциальных русских помещиков, и сочувствующих новым веяниям аристократов. В главном, кардинальном Вольтер всегда сторонился крайностей. Высказываемые им мысли были, конечно, смелыми и передовыми, но, однако, как уже говорилось,

не самыми передовыми и смелыми. Вольтер адресовался к довольно широкой, и абстрактной, массе «вольнолюбцев». Все его мировоззрение пронизывает дух компромисса, и знаменитая фраза «если бы бога не было, его следовало бы выдумать» в его устах симптоматична. Писатель зло издевался над церковью, неизменно призывая «раздавить гадину», но не поднялся до атеизма Дидро. Он высмеивал безосновательное тщеславие аристократов и самодовольство мещан. Тому и другому он противопоставил независимость суждений, свободомыслие и своеобразный аристократизм духа, который неустанно проповедовал и неутомимо насаждал среди своих адептов.

Их тогда называли «вольтерьянцами». Это была и бранная кличка, и весьма лестная аттестация. Вольтерьянство предполагало, конечно, преклонение перед Философом, перед Вольтером. Но также — независимость мысли, антиклерикальность, остроумие до дерзости, переходящее в открытый эпатаж, интерес ко всему новому и передовому, наконец, тот самый аристократизм духа, оказавшийся одинаково привлекательным и для буржуазной интеллигенции (который ее поднимал), и для некоторых слоев дворянства (который его поддерживал). Вольтерьянство было долговечным, и через него прошли все почти мыслители и писатели нескольких следующих поколений — и Стендаль, и Байрон, и Пеллико, а в России — Фонвизин, и Новиков, и Радищев, и декабристы, и современники Пушкина, для которых Вольтер был «всех больше перечитан», передуман, любим.

В ноябре 1747 года Вольтеру исполнилось пятьдесят три. Годом раньше он был избран во Французскую академию. А еще за год до этого король Людовик XV назначил писателя своим придворным историографом. Впрочем, благоволение монарха оказалось ненадежным и недолгим. Примирения с властями не получилось, ибо писатель не прекратил своей острой критики, с точки зрения разума, феодально-церковных установлений, обычаев, порядков. Затем Вольтер пережил большую личную драму — смерть маркизы Дю Шатле. Все эти события обозначили в его жизни определенный рубеж. Начинался в его творчестве этап наиболее зрелый, связанный с созданием целой серии неумирающих литературных шедевров. Начинался этап самый наступательный и боевой, когда Вольтер, порвав со своими августейшими покровителями, в относительной безопасности своих швейцарских поместий мог позволить себе вступить в открытую схватку с силами феодально-католической реакции. Этап этот совпал с новым периодом в деятельности просветителей-энциклопедистов, в частности с подготовкой и изданием знаменитой «Энциклопедии» Дидро и Даламбера, в выпуске которой Вольтер принял деятельное участие.

В эти годы писатель не оставил прежних жанров, принесших ему известность; он завершил начатую ранее веселую и дерзкую «Орлеанскую девственницу», продолжал писать трагедии и драмы, сатирические стихи и небольшие философские поэмы. Продолжал заниматься историей, философией, естественнонаучными проблемами. Но как раз теперь в его творчестве заметное место получает художественная проза — повести, рассказы, сказки-притчи. Проза Вольтера возникает во многом как бы на полях его самых важных

и «опасных» работ, таких, как «Опыт о нравах», излагающий основные события мировой истории и суммирующий исторические воззрения писателя, как «Философский словарь» (сборник острых антиклерикальных статей-памфлетов по важнейшим вопросам философии и политики) или серия политических брошюр, связанных с процессами Каласа, Сирвена, Ла Барра, в которых Вольтер выступал против мракобесия, пытаясь защитить эти невинные жертвы беззакония и религиозного фанатизма. Действительно, в вольтеровских повестях нетрудно обнаружить прямую переключку с этими его книгами. Но художественная проза не была для писателя каким-то отдохновением от серьезных работ. Напротив, в повестях и рассказах, при всей их занимательности и намеренной шутовщине, ставились и решались не менее важные, не менее «опасные» проблемы — философские, политические, социальные, чем в специальных трудах или в хлестких памфлетах.

В повестях Вольтера прежде всего отразились события, волновавшие тогда всю Европу, — бедствия Семилетней войны, лиссабонская катастрофа 1755 года, государственные перевороты и смены династий, борьба с иезуитами и инспирированные клерикалами судебные процессы, научные экспедиции и открытия, интеллектуальная, литературная, художественная жизнь европейских стран. Отразились в вольтеровской прозе и те философские и политические проблемы, которые занимали писателя в эти годы и которые он стремился разрешить и в своих научных трудах.

Чисто событийная сторона повестей занимает в них подчиненное положение по отношению к идеологической стороне. И в обширных, многоохватных произведениях (например, в «Кандиде» или «Простодушном»), и в трех-четырёхстраничных миниатюрах обычно в центре то или иное философское положение, лишь иллюстрируемое сюжетом (недаром эти произведения Вольтера называют философскими повестями). Можно сказать, что «героями» этих произведений, при всем их разнообразии, наполненности всевозможными событиями и действующими лицами, оказываются не привычные нам персонажи, с индивидуальными характерами, собственными судьбами, неповторимыми портретами и т. д., а та или иная политическая система, философская доктрина, кардинальный вопрос человеческого бытия.

Основные проблемы, которые занимают Вольтера уже в первой группе философских повестей, созданных в конце 40-х годов, — это соотношение добра и зла в мире, их влияние на человеческую судьбу. Вольтер убежден, что жизнь человека представляет собой сцепление мелких и мельчайших случайностей, в конечном счете и определяющих его участь, порой резко меняющих ее, затаптывающих эту песчинку мироздания в грязь или возносящих на, казалось бы, недоступные вершины. Поэтому наши суждения о том или ином событии, однозначная оценка его, как правило, поспешны и неверны. И подобно тому, как могут быть ошибочны скороспелые оценки, так и беспочвенно дотошное прожектерство.

В этом убеждаются герои ранних рассказов Вольтера — молодой повеса Мемнон, решивший «запланировать» свою жизнь и тут же вынужденный нарушать собственные предначертания, работающий крючником, грязный, неотесанный и к тому же кривой, но становящийся на короткий миг любовником обольстительной принцессы, и добродетельная Кози-Санкта, переходящая из одних

объятий в другие, но этим спасающая своих близких. Простодушный скиф Бабук, понаблюдав жизнь большой европейской столицы, не берется выносить сй приговор, находя, что «если и не все в ней хорошо, то все терпимо».

Вольтер, как и другие просветители, не столько созидал, сколько разрушал, выворачивал наизнанку, ставил с ног на голову. С тонкой издевкой или глумливым хохотом он демонстрировал беспочвенность или абсурдность привычных истин, установлений, обычаев. События в его ранних новеллах проносятся в стремительном вихре, не давая героям оглядеться и оценить обстановку. Впрочем, хочет сказать писатель, такая оценка и вообще ни к чему: все равно она будет опровергнута новым поворотом сюжета, новой ловушкой, которую подстраивает героям судьба. Жизнь подвижна, текуча, непредсказуема. Ей чужды стабильность, определенность, покой. Добро и зло в ней противоборствуют, тянут каждое в свою сторону, но сосуществуют. Их гармония, однако,— мнима, равновесие — динамично, неустойчиво, постоянно чревато потрясением, взрывом. Если человек в очень малой степени оказывается «кузнецом своего счастья», то судьба его, по сути дела, не зависит и от высших сил, от провидения. Вольтер хочет видеть мир таким, каков он есть, без успокоительных покровов, в какие облака его Лейбниц, но и без апокалиптических предсказаний. Вольтер судит человеческое бытие, исходя не из церковных догм и предначертаний, а с точки зрения разума и здравого смысла, ничего не принимая на веру и подвергая все критическому анализу.

Подобный скептический оптимизм лежит в основе и наиболее значительной философской повести Вольтера этих лет — книги «Задиг, или Судьба». Герою ее, на первых порах доверчивому и простодушному, приходится претерпеть немало неожиданностей и потрясений. Он познает непостоянство возлюбленной, измену жены, переменчивость властителей, поспешность судебных приговоров, зависть придворных, тяжесть рабства и многое другое. И хотя Задиг неизменно старается верить, что «не так уж трудно быть счастливым», его общий взгляд на жизнь делается все более пессимистическим. Но его печалит даже не обилие в жизни зла, а его неожиданность, непредсказуемость. «Я получил,— восклицает Задиг,— четыреста унций золота за то, что видел, как пообезжала собака! Я был присужден к смерти через усечение головы за четыре плохих стиха во славу короля! Едва не был задушен, потому что королева носит туфли такого же цвета, как и моя шапка! Отдан в рабство за то, что помог женщине, которую избивали, и чудом избежал костра, на котором меня хотели сжечь за то, что я спас жизнь всем юным арабским вдовам!» Встретившийся Задигу ангел Иезрад утверждает, что «случайности не существует — все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвозвестие». Задиг полагает иначе, но ангел улетает, так и не выслушав его возражений. Впрочем, этих возражений Вольтер не приводит — возможно, исход их спора был еще не ясен и самому писателю.

Повесть «Задиг» заканчивается благополучно, как и полагалось восточной сказке. А именно в стиле такой сказки и ведет повествование Вольтер. Восточный маскарад, к которому так охотно прибегали на всем протяжении XVIII столетия (и Лесаж, и Монтескье, и Дидро, и Ретиф де Ла Бретон), был очень удобен

для повести-притчи, поэтому его использование Вольтером вполне закономерно. Во-первых, восточная сказка дала писателю свои повествовательные структуры, ведь во многих повестях Вольтера сюжет разворачивается как цепь злоключений героя, как смена его взлетов и падений, как серия испытаний, из которых он выходит, как правило, победителем. А, как мы помним, для писателя, для его концепции действительности мотив непредвиденного испытания, непреднамеренных поворотов судьбы был очень важен. Во-вторых, восточный колорит отвечал интересу современников Вольтера ко всему неведомому, загадочному, опасному и одновременно пленительному, какими представлялись европейскому взору Восток и его культура. Обращение к восточному материалу позволяло писателю рисовать иные порядки, иные нравы, иные этические нормы и тем самым лишний раз демонстрировать, что мир европейца XVIII века оказывается не только не единственным, но и далеко не самым лучшим из всех возможных миров. Обращение к восточной тематике открывало перед писателем простор для недвусмысленных иносказаний, давало возможность концентрированно и заостренно изображать европейское общество; ведь решая интересовавшие его философские проблемы и повествуя о злоключениях прекрасного и доброго Задига, Вольтер под прозрачными восточными покровами рисовал, конечно, европейскую современность, и, скажем, все эти восточные визири, жрецы и евнухи соответствовали европейским министрам, архиепископам или монахам. Облаченная в восточные наряды, европейская действительность предстала перед читателем вольтеровских повестей в остранином, гротескном виде; то, что в своей привычной форме не так бросалось в глаза, в маскарадном костюме выглядело вызывающе глупо и было как бы доведено до абсурда. Мастер остроумного парадокса, Вольтер надевал на своих современников восточные маски и этим не скрывал, а, напротив, вскрывал их подлинную сущность. Восточные трагедии играли в творчестве писателя и еще одну роль: современные Вольтеру порядки оказывались иногда в его повестях увиденными глазами бесхитростного, наивного азиата (как и у Монтескье в «Персидских письмах»), и от этого их бесчеловечность или абсурдность делалась еще рельефнее и очевиднее.

Обозрение пороков и благоглупостей окружающей его действительности, начатое в «Задиге» и сопутствующих ему рассказах и миниатюрах, писатель продолжил в небольшой повести «Микромегас». Здесь современная Вольтеру Европа увиденна уже без пленительных восточных покровов, но увиденна не менее остранинно: с европейскими нравами и порядками знакомится на этот раз жители Сатурна и Сириуса, существа, привыкшие не только к совсем иным масштабам, но и иным взглядам и оценкам. Так, с их точки зрения, героические войны, сталкивающие между собою народы и прославляемые в стихах и прозе, оказываются бессмысленной муравьиной возней из-за нескольких кучек грязи. Человеческое общество, увиденное как бы в перевернутый бинокль, выглядит ничтожным и мелким — и в своих микроскопических заботах и конфликтах, и в своих безосновательных притязаниях быть самым совершенным центром Вселенной. В ее масштабах Земля — лишь маленький шарик, где общественное устройство так далеко от совершенства. Но где же лучше? На этот вопрос, естественно, не дается ответа. Герой повести уже и не очень надеется набрести

когда-нибудь на планету, где царит полная гармония. Тем самым скептицизм Вольтера приобретает как бы универсальный характер, а критицизм писателя по отношению к действительности, к тем «законам», которые ею управляют, становится все глубже.

На смену иносказаниям и маскарადе ранних повестей приходит горестная ирония «Кандида». Считается, что замысел этой замечательной книги возник у Вольтера из внутренней потребности пересмотреть свои взгляды на философию Лейбница, идеи которого, в частности мысль о том, что зло является необходимым компонентом мировой гармонии, писатель какое-то время разделял. Но идейное содержание повести значительно шире полемики с тем или иным философом, вот почему эта книга, на первый взгляд такая простая и ясная, вызвала столько споров и самых противоречивых истолкований. Одним из внешних толчков к пересмотру Вольтером своих философских взглядов и — косвенным образом — к написанию «Кандида» было лиссабонское землетрясение 1755 года, унесшее несколько десятков тысяч жизней и стершее с лица земли некогда живописный город. Зло, царящее в мире, представилось писателю столь огромным, что его не могло уравновесить никакое добро.

В «Кандиде», как и в предшествующем ему рассказе «История путешествий Скарментадо» (как и в появившихся значительно позже «Царевне Вавилонской» и «Похвале Разума»), Вольтер использует структурные приемы плутовского романа, заставляя героя путешествовать из страны в страну и сталкиваться с представителями разных слоев общества — от коронованных особ до дорожных бандитов и проституток. Но книга эта — не спокойный и деловитый рассказ о путешествиях и приключениях. В книге на этот раз много героев и, естественно, много индивидуальных судеб, но все они ловко связаны писателем в единый узел. Дело не в том, что жизнь то разбрасывает героев повести, то неожиданно их соединяет, чтобы вскоре вновь разлучить. Внутреннее единство книги — в неизменном авторском присутствии, хотя Вольтер на первый взгляд и прячется за своих героев, смотрит на жизнь их глазами и оценивает события, исходя из комплекса их взглядов. Героев много, и со страниц «Кандида» звучит разноголосица мнений и оценок, авторская же позиция вырисовывается исподволь, постепенно, вырисовывается из столкновения мнений противоположных, порой заведомо спорных, иногда — нелепых, почти всегда — с нескрываемой иронией вплетенных в вихревой поток событий.

В событиях этих мало радостного, хотя Панглос, носитель оптимистических концепций Лейбница, и тупо твердит после каждой затрешины и зуботычины, что «все к лучшему в этом лучшем из миров». Вольтер в этой книге демонстрирует прежде всего обилие зла. Все герои претерпевают безжалостные удары судьбы, неожиданные и жестокие, но рассказано об этом скорее с юмором, чем с состраданием, и тяжкие жизненные испытания героев нередко подаются в тоне грустно-веселого анекдота. Этих бед и напастей, конечно, слишком много для одной повести, и эта сгушенность зла, его беспричинность и неотвратимость призваны показать не столько его чрезмерность, сколько обыденность. Как о чем-то

обыденном и привычном рассказывает Вольтер об ужасах войны, задолго до Стендаля лишая ее какой бы то ни было героичности, о застенках инквизиции, о бесправии человека в обществе. Но жестоки и бесчеловечны не только общественное устройство, не только отдельные представители рода человеческого, но и стихии: рассказы об ужасах войны или о судебном произволе сменяются картинами ужасающих стихийных бедствий — землетрясений, морских бурь и т. п. Добро и зло уже не сбалансированы, не дополняют друг друга. Зло явно преобладает, и, хотя оно представляется писателю во многом извечным и неодолимым, у него есть свои конкретные носители.

«Кандид» — книга очень личная; в ней Вольтер расправляется со своими давними врагами — носителями спесивой сословной морали, сторонниками религиозного фанатизма, церковниками. Среди последних особенно ненавистны ему иезуиты, с которыми в эти годы вела успешную борьбу вся прогрессивная Европа. Вот почему так много отвратительных фигур иезуитов мелькает на страницах книги, а их государству в Парагвае писатель посвятил две резких разоблачительных главы.

В нескольких главах описывает Вольтер и утопическую страну Эльдorado, в которую твердо верили европейцы начиная с XVI века. У Вольтера Эльдorado, страна всеобщего достатка и справедливости, противопоставит не только парагвайским застенкам иезуитов, но и многим европейским государствам. В Эльдorado все трудятся и все имеют всего вдоволь, здесь построены красивые дворцы из золота и драгоценных камней, природа здесь благодатна, а окрестные пейзажи восхитительны. Но к этой блаженной стране Вольтер относится слегка иронически. Счастье ее жителей построено на сознательном изоляционизме: в незапамятные времена тут был принят закон, согласно которому «ни один житель не имел права покинуть пределы своей маленькой страны». Отрезанные от мира, ничего не зная о нем, да и не интересуясь им, эльдорадцы ведут безбедное, счастливое, но в общем-то примитивное существование (хотя у них по-своему развита техника и есть нечто вроде академии наук). Древний закон на свой лад мудр: он надежно охраняет жителей Эльдorado от посторонних соблазнов и от нежелательных сопоставлений. Но такая жизнь не для Кандида, обнаруваемого сомнениями и страстями. И он покидает приветливую страну, пускаясь на поиски прекрасной Кунигунды.

В последних главах повести все герои встречаются вновь, пройдя тяжкий путь испытаний и потерь. Наконец-то все беды оказываются позади; Кандид, Кунигунда, Пангос, Старуха, встреченный героем во время скитаний философ-манихей Мартен обосновываются на небольшом клочке земли, где можно прожить если и не роскошно, то вполне сносно. Но всех их постоянно мучает вопрос, что лучше — испытывать все превратности судьбы или прозябать в глухом углу, ничего не делая и ничем не рискуя. «Мартен доказывал, что человек рождается, дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался, но ничего и не утверждал. Пангос признался, что всю жизнь терпел страшные муки, но, однажды усвоив, будто все идет на диво хорошо, будет всегда придерживаться этого взгляда, отвергая все прочие точки зрения».

Двум крайним позициям — безответственному и примирительному оптимизму Панглоса и пассивному пессимизму Мартена — писатель противопоставляет компромиссный вывод Кандида, который видел в жизни немало зла, но видел в ней и добро и который нашел отдохновение в скромном созидательном труде. Однако итог повести если и не пессимистичен, то все-таки печален: слишком велики были испытания героев и слишком мала награда. Зло же остается необоримым. Что касается заключительного призыва героя — «надо возделывать наш сад», — то он в большой степени является компромиссом, суживающим активность человека. Поэтому такой счастливый финал «Кандида» не может не оставлять чувства некоторой неудовлетворенности.

Печален, по существу, и весь колорит повести с ее рассказами о нескончаемых бедах, обрушивающихся на человека. Печален при всем том остроумии, которое пронизывает книгу, при всей ее ироничности, живости повествования, при всем обилии комических ситуаций, смешных положений, гротескных образов, несуразных стечений обстоятельств, при всем веселом загромождении невероятных событий и фантастических приключений, следующих одно за другим в сознательно убыстренном темпе и не претендующих достоверно передавать реальное течение жизни, при всей той откровенной игре в авантюрный плутовской роман, оборачивающийся своим собственным пародированием и отрицанием.

«Простодушный» отделен от «Кандида» восемью годами; в это время появились еще несколько рассказов и небольших повестей Вольтера, один из которых (например, «Белое и черное»), во многом повторяя «Задига» с его восточным маскарадом, повествуют о двойственности человеческой судьбы, другие (вроде «Жанно и Колена») в духе «Мемнона» наставительно говорят об опасных соблазнах большого света и — несколько сентиментально — о том, что истинная дружба и участие гнездятся лишь в сердцах простых честных тружеников.

На полпути между «Кандидом» и «Простодушным» стоит итог философских раздумий Вольтера — его несравненный «Философский словарь». После его публикации (1764) основные вопросы как бы были решены, и писатель обратился к беллетристике несколько иного рода. Насыщенность философскими проблемами в его поздних повестях заметно ослабевает, сменяясь во многом вопросами социальных и политических. Единственно, в чем писатель твердо продолжает линию своих более ранних произведений, — это развенчание религиозного фанатизма, вообще религии и ее служителей, а также царящих в обществе и нередко освящаемых авторитетом церкви насилия и произвола. Эта тема остается ведущей и в «Простодушном», но ее решение в этой повести делается менее абстрактным, более человеческим.

Эта повесть стоит в творчестве Вольтера в известной мере особняком. Это, пожалуй, единственная вольтеровская повесть — с четко обозначенной любовной интригой, решаемой на этот раз вполне всерьез, без рискованных анекдотов и двусмысленностей, хотя и здесь писатель нередко бывает игрив и весел. В этой повести появляются новые герои, очерченные уже без прежней уничижающей иронии, не герои-маски, носители одного определенного

качества и даже философской доктрины, но персонажи с емкими человеческими характерами, подлинно (а не комично, не гротескно) страдающие, а потому вызывающие симпатию и сочувствие. Рисуя внутренний мир своих героев — простодушного индейца-гурона, волею судеб оказавшегося в феодальной Франции, и его возлюбленной мадемуазель де Сент-Ив, несколько наивной, недалекой провинциалки, но искренне любящей и готовой на самоотверженный поступок, Вольтер на этот раз не сгущает красок, намеренно замедляет темп развертывания сюжета и отбрасывает какие-либо боковые интриги (чем отличался «Кандид»). Переживания героев раскрываются в столкновении с французской действительностью, которая показана без каких бы то ни было иносказаний, широко и предельно критично. И хотя действие «Простодушного» отнесено к эпохе Людовика XIV, Вольтер судит феодальные порядки в целом. В первой части повести взгляд автора кое в чем совпадает с точкой зрения его героя, «естественного человека», не испорченного европейской цивилизацией. Гурон многое понимает буквально (особенно библейские предписания), не ведая о странных условиях цивилизованного общества, и поэтому нередко попадает в комические ситуации, но его простодушный взгляд вскрывает во французской действительности немало смешного, глупого, лицемерного или бесчеловечного, к чему давно привыкли окружающие. Во второй части книги, где описано пребывание героя и героини в Париже и Версале, к бесхитростным, но метким суждениям индейца присоединяются удивление и ужас неиспорченной провинциалки, потрясенной увиденным и пережитым в столице. Тем самым взгляд на «старый порядок» становится более стереоскопичным, его изображение — более объемным и наглядным. И хотя оценка придворных благоглупостей и мерзостей дается через восприятие положительных героев, в ней все более осязаемыми делаются авторские интонации, язвительные и гневные.

И в «Простодушном» возникает вопрос о первопричинах зла. Но здесь Вольтер дает этой проблеме новую трактовку. Зло перестает быть чем-то вневременным и абстрактным. Оно наполняется конкретным социальным содержанием. В реальных общественных условиях зло становится неизбежным и закономерным; оно освящено религией, подкреплено произвольно толкуемыми законами и узаконенным беззаконием. Молодые герои повести сталкиваются и с отвратительными фигурами духовников-иезуитов, и с в общем-то симпатичными министрами, которые, однако, тоже сеют повсюду зло, — просто потому, что такова их роль в бюрократической иерархии. В государстве, основанном на неравенстве, индивидуальная личность неизбежно оказывается беззащитной перед многоступенчатой, тяжелой бюрократической пирамидой, представителя которой искренне пекутся об интересах страны, о благе народа (не забывая, конечно, и себя), но безжалостно попирают интересы отдельного человека, которого просто не принимают в расчет. Исход столкновения человека с подобным государством предreshен, и поэтому вольтеровская повесть оканчивается трагически. И в «Простодушном» сатирический талант Вольтера не изменяет ему, но иронический или же гневно-саркастический тон повествования постоянно смягчается тоном лирическим — когда писатель рассказывает об искренности и силе чувства молодых любовников или о

дружбе индейца с добряком Гордоном, мудрецом и ученым, с которым судьба свела героя в застенке Бастилии.

О чувстве светлом и сильном, о верности и неподкупности рассказывается в веселой повести Вольтера «Царевна Вавилонская», где перед нами снова восточные наряды, полуфантастические народы и племена, говорящие птицы и помогающие героям животные, вообще все атрибуты волшебной сказки. Но это лишь экспозиция. В центре книги — повествование о поисках возлюбленными друг друга, что заставляет их пересечь всю Европу. Это дает Вольтеру возможность обратиться к своеобразному обзору политической карты континента, увиденного опять-таки глазами неуклюжего, простодушного азиата, подмечающего там смешные нелепости и забавные странности. Но на этот раз писатель снисходителен; горький сарказм уступает место юмору и мягкой иронии. Так описаны и скандинавские страны, и Польша, и Англия, и Германия. Политическая ситуация в России представлена явно идеализированно и почерпнута Вольтером из писем его русских корреспондентов¹. Французский беззаботный гедонизм и легкость нравов вызывают у писателя определенную симпатию, и лишь гнезда католицизма и инквизиции (папский Рим и Испания) описаны по-прежнему с нескрываемой ненавистью и гневом.

Яркая картина религиозного лицемерия, жестокостей и несправедливостей, совершаемых во имя веры, дана в «Письмах Амабеда», продолжающих линию «Персидских писем» Монтескье в изображении европейской действительности, увиденной глазами чужеземца. И в этой веселой и грустной книге ирония и сарказм соседствуют с лиричностью — в описаниях искренней любви прямодушного Амабеда и прекрасной Адатен, и с озорным юмором — в картинах папского Рима.

«Письма Амабеда», как и «Царевна Вавилонская», — это своеобразный «отдых после битвы», причем битвы во многом уже выигранной. Таким же отдыхом был и «Белый бык» — смелая богохульная фантазия на тему одной из ветхозаветных книг. Повесть эта говорит о том, что повествовательный и сатирический талант восьмидесятилетнего писателя еще не иссяк. Но повесть эта не ставит серьезных философских проблем. Ее основная задача — посмеяться над несуразностями церковной легенды и нанести еще один удар религиозному фанатизму. Фанатичных приверженцев какой-либо идеологической доктрины развенчивает писатель и в повести «История Дженни», где события разворачиваются в Северной Америке, в среде колонизаторов и оказывающих им сильное сопротивление индейцев.

«Уши графа Честерфилда» — последняя повесть Вольтера — ближе к его философским диалогам. Здесь опять возникает тема

¹ В 60-е и 70-е годы Вольтер живо интересовался русской историей и культурой, он вел переписку со своими русскими корреспондентами — Екатериной II, А. Р. Воронцовым, Д. М. Голицыным, И. И. Шуваловым и др., работал над «Историей Российской империи при Петре Великом». Екатерина и ее окружение, считаясь с влиянием и авторитетом Вольтера и зная о проницательности писателя, всячески стремились в письмах к нему изобразить положение в России в лучшем свете, что им отчасти удалось.

эла, царящего в мире, подчеркивается его всеисилие и неодоли-мость, опять идет речь о «причинах и следствиях», об их неожиданной, непредсказуемой связи. Но нет прежних гнева и непримиримости. Процесс философского спора оказывается важнее его конечных итогов.

Философские повести Вольтера трудно отнести к той или иной жанровой разновидности. Дело не в том, что они очень пестры и несхожи по своей тематике, по тону, по манере изложения, даже по размерам. Их жанровая неопределенность объясняется тем, что они обладают признаками сразу нескольких жанров. Они вобрали в себя традиции философского романа, романа плутовского, сказки-аллегории в восточном духе и гривуазной новеллы рококо с ее поверхностным эротизмом и откровенно гедонистической направленностью. Но и это не все; в вольтеровских повестях можно обнаружить и элементы романа-путешествия, и черты романа воспитательного, и отдельные приметы романа бытописательного. И философского диалога и политического памфлета. Традиции великих сатириков прошлого — Лукиана, Рабле, Сервантеса, Свифта — также были глубоко усвоены и переосмыслены Вольтером. Видимо, вольтеровские повести возникают на скрещении всех этих разнородных традиций и влияний и складываются в очень специфический жанр — жанр «философской повести».

Антиклерикальность была яркой отличительной чертой мировоззрения Вольтера, его общественных позиций, его творчества. Причем любая религиозная одержимость, любая слепая приверженность церковным установлениям и догмам вызывали с его стороны гневный протест и саркастическое разоблачение. Писателя возмущала не вера как таковая, нередко наивная и бесхитростная, а нахальное спекулирование на вере, обман и подчинение с ее помощью людей слабых и бесправных. Наибольшую ненависть вызывала у Вольтера, конечно, католическая церковь. И совсем не только потому, что она была в Европе того времени господствующей и всеисильной. В католицизме (и особенно в иезуитизме) Вольтера настораживали и отталкивали наиболее изощренная демагогия и ложь, наиболее явное расхождение «слова» и «дела» — религиозной доктрины и церковной практики. Превосходный знаток библейских текстов, Вольтер не уставал обнаруживать в них кричащие противоречия и поразительные несуразности. Герои повестей Вольтера предписания Библии как бы понимают буквально и этим доводят их до абсурда. Мы сталкиваемся с этим в той или иной степени почти во всех вольтеровских повестях, но особенно последовательно прием этот использован в «Простодушном» и «Письмах Амабеда». Но тональность, эмоциональная окрашенность такого приема здесь различны. В «Простодушном» вольтеровский пафос достигает высокого трагизма, в «Письмах Амабеда» это переведено в несколько иной регистр: герои повести тяжелые удары судьбы переносят почти стоически, но, главное, иезуиты не изображены в «Письмах Амабеда» столь всеисильными, какими они выступают в других произведениях писателя.

Да, Вольтер был художником тенденциозным. Эта тенденциозность также стала характерной чертой созданного им повествовательного жанра. От этой тенденциозности — и постоянная пере-

кликка с событиями современности, даже если действие повести бывало отнесено к временам легендарной древности или же не очень точно локализованного «востока». Эта переключка оборачивалась преднамеренным столкновением событий, отнесенных в отдаленнейшие времена, с эпизодами современной Вольтеру жизни. Подобные столкновения выдуманного с реальным, прошлого с настоящим также были непременной чертой вольтеровских повестей. Писатель искал таких столкновений, они были одним из его излюбленных приемов заострения и остранения изображаемого. Вольтер не боялся анахронизмов, хронологических неувязок и исторических несуразностей. Он не побоялся дать героине «Задига» имя ассирийской богини (Астарты-Иштар), без смущения назвал «Кози-Санкту» «африканской» повестью, намеренно сдвинул хронологию в «Кандиде» и т. д. Эти умышленные анахронизмы были сродни тем многоступенчатым мистификациям, в которые превращались некоторые повести писателя.

Нередко Вольтер выдавал свои книги за произведения несуществующих лиц, рассылал письма, в которых оспаривал свое авторство или обвинял издателей в пиратском выпуске книги, которую сам он якобы не собирался печатать. Многие повести Вольтер выдавал за переводы: «Кандид» считался переводом с немецкого, «Белый бык» — с сирийского, «История Дженин» — с английского, «Письма Амабеда» — с индусского и т. д. После выхода книг писатель нередко продолжал запутывать читателей и цензуру, подыскивая своим повестям подставных авторов. Так, он приписывал «Кандида» то шевалье де Муи, плодовитому литератору первой половины XVIII века, то некоему «г-ну Демалю, человеку большого ума, любящему посмеяться над дураками», то, наконец, «г-ну Демаду, капитану Брауншвейгского полка».

Этот причудливый маскарад не был излишним. Церковная и светская цензура преследовала художественную прозу Вольтера не менее старательно и ожесточенно, чем его философские или политические сочинения, чем антиклерикальную «Орлеанскую девственницу». Но маскарад и поток псевдонимов объяснялись не одной предусмотрительностью и осторожностью Вольтера. Здесь сказалась и неиссякаемая веселость писателя, его неодолимое влечение ко всяческому розыгрышам, обманам, мистификациям. Маскарад этот так же, как обращение к экзотической тематике, к восточному колориту, к сказочной фантастике, входил, несомненно, и в саму поэтику вольтеровской художественной прозы.

Идеологическая заостренность обернулась в повестях Вольтера тенденцией к аллегории, иносказанию, притче. Реальное событие, тот или иной персонаж становились знаком какой-либо идеи. Это делало вольтеровских героев условными марионетками (за исключением героев «Простодушного»); часто они бывали даже не носителями одного какого-то качества или философской доктрины, а просто участниками диалога, в ходе которого выясняется тот или иной вопрос (например, доктора Сидрак и Грю в «Ушах графа Честерфилда»). Притча и аллегория не могут быть растянутыми, и вольтеровская проза поражает своей энергией и лаконизмом, насыщенностью событиями и вообще всяческой информацией при предельной краткости, даже схематизме изложения. Портретов персонажей нет, один-два эпитета достаточны для

создания условного образа, носителя определенной идеи. О событиях также рассказывается кратко, и они следуют друг за другом в головокружительном темпе. Краткость ведет к афористичности, к парадоксу, который бы исчез, будь все подробно растолковано. Вольтер был непревзойденным мастером иронии, которая тоже строится по принципу парадокса, то есть как столкновение противоречивого и несочетаемого.

Впрочем, и эти парадоксы, и эти маскарады и мистификации неизменно подчинены у Вольтера идеологическим задачам; недаром молодой Пушкин писал по поводу прозы вольтеровского типа, что «она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат».

Давно замечено, что сатира долговечнее апологий. Возможно, потому, что отрицательные качества более стойки и универсальны, чем добродетели. Но также потому, что сатира обычно весела и смешна. Вольтеровская сатира жива еще и потому, что она наполнена смелой мыслью этого удивительного человека, ставшего знаменем своей эпохи и бросившего семя свободомыслия и скепсиса в далекое будущее.

А. Михайлов



Философские
повести

Задиг, или Судьба

ПОСВЯТИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СААДИ СУЛТАНШЕ ШЕРАА

18 числа, месяца шевалея, 837 г. Хиджры.

Прельщение очей, мука сердец, свет разума! Не целую праха от ног ваших, ибо вы почти не ходите, а если и ходите, то по иранским коврам или по розам. Преподношу вам перевод книги одного древнего мудреца, который имел счастье быть досужим человеком и мог забавляться писанием истории Задига — произведения, в котором сказано больше, чем это кажется на первый взгляд. Прошу вас прочесть его и высказать свое суждение. Ибо, хотя вы едва достигли весны дней своих и хотя все удовольствия к вашим услугам, хотя вы прекрасны и ваши дарования добавляют блеска к вашей красоте, хотя вас прославляют с вечера до утра, хотя по всем этим причинам здравый смысл для вас отнюдь не обязателен — тем не менее вы обладаете ясным умом и тонким вкусом, и я сам слышал, как вы рассуждали куда разумнее, чем длиннобородые дервиши в остроконечных шапках. Вы сдержанны, но вам чужда недоверчивость, кротки, не будучи слабодушной, делаете добро, но с разбором, любите своих друзей и не создаете себе врагов. Ваше остроумие никогда не подкрепляется злоречием, вы не говорите и не делаете ничего дурного, хотя вам это было бы очень легко. Короче говоря, ваша душа мне всегда казалась такой же чистой, как и ваша красота. Вы даже не чужды философии, и это побуждает меня думать, что вам скорее, чем всякой другой женщине, понравится это произведение мудреца.

Оно было написано первоначально на древнехалдейском языке, которого ни вы, ни я не понимаем. Его перевели на арабский язык для забавы знаменитого султана Улуг-бека. Это было в те времена, когда арабы и персы начали писать сказки вроде «Тысяча и одна ночь», «Тысяча и один день» и прочие. Улугу больше нравился «Задиг», но султанши предпочитали разные «Тысяча и один». «Как вы можете восхищаться побасенками, в которых нет ничего, кроме глупостей и бессмыслиц?» — говорил им мудрый Улуг. «Именно за это мы их и любим», — отвечали султанши.

Льщу себя надеждою, что вы не уподобитесь им и что будете настоящим Улугом. Надеюсь даже, что, когда вы устанете от обычных бесед, похожих на всякие «Тысяча и один», только менее занимательных, мне можно будет улучшить минуту, чтобы поговорить с вами серьезно. Если бы вы были Фалестридой времен Скандера, сына Филиппа, или царицей Савской времен Сулеймана, — эти владыки сами пришли бы поклониться вам.

Молю силы небесные, чтобы утехи ваши были нескончаемы, чтобы красота ваша никогда не увядала и счастье длилось вечно!

Саади

КРИВОЙ

Во времена царя Моабдара жил в Вавилоне молодой человек по имени Задиг; его природные наклонности, прекрасные сами по себе, были еще более развиты воспитанием. Несмотря на богатство и молодость, он умел смирять свои страсти, ни на что не притязал, не считал себя всегда правым и умел уважать человеческие слабости. Все удивлялись, видя, что при таком уме он никогда не насмеяется над пустой, бессвязной и шумной болтовней, грубым злословием, невежественными приговорами, пошлым гаерством и тем пустозвонством, которое зовется в Вавилоне «беседою». Из первой книги Зороастра он узнал, что самолюбие — это надутый воздухом шар и что, если его проколоть, из него вырываются бури. Никогда Задиг не бахвалился презрением к женщинам и легкими над ними победами. Он был великодушен и не боялся оказывать услуги неблагодарным, следуя великому правилу того же Зороастра: «Когда ты ешь, давай есть и собакам, даже если потом они тебя укусят». Он был мудр, насколько может быть мудрым человек, ибо старался бывать в обществе мудрецов. Постигнув науку древних халдеев, он обладал познаниями в области физических законов природы в той мере, в какой вообще их тогда знали, и смыслил в метафизике ровно столько, сколько смыслили в ней во все времена, то есть очень мало. Вопреки тогдашней философии, он был твердо убежден, что в году триста шестьдесят пять дней с четвертью и что солнце — центр вселенной. Когда главные маги с оскорбительным высокомерием называли его человеком

неблагоденным и утверждали, что только враг государства может верить, будто солнце вращается вокруг собственной оси, а в году двенадцать месяцев, Задиг молчал, не обнаруживая ни гнева, ни презрения.

Обладая большим богатством, а следовательно, и многими друзьями, наделенный здоровьем, приятной наружностью, здравым, светлым умом, благородством и прямодушием, Задиг рассчитывал, что будет счастлив в жизни. Он собирался жениться на Земире, которая благодаря своей красоте, происхождению и богатству считалась первой невестой во всем Вавилоне. Он был к ней глубоко и нежно привязан, а Земира горячо его любила. Приближался счастливый день, который должен был их соединить. Однажды, прогуливаясь у ворот Вавилона под пальмами, обрамлявшими берега Евфрата, они увидели, что к ним приближаются люди, вооруженные саблями и луками. То были телохранители молодого Оркана, племянника одного из министров, которому льстецы его дяди внушили, что ему все дозволено. Не имея ни достоинств, ни добродетелей Задига, он считал, однако, что во всем превосходит его, и был вне себя из-за предпочтения, оказанного Земирой сопернику. И под влиянием ревности, порожденной одним лишь тщеславием, он вообразил, будто без памяти ее любит. Он решил ее похитить. Его сообщники схватили Земиру и, в суматохе ранив ее, пролили кровь девушки, один взгляд которой мог бы смягчить тигров горы Имаус. Земира оглашала окрестность пронзительными воплями и восклицала:

— Дорогой мой супруг! Меня хотят разлучить с тобой!

Не думая о грозившей ей опасности, она тревожилась только о своем милом Задиге. А он тем временем защищал ее с отвагой, которую могут вдохнуть в человека лишь прирожденное мужество и любовь. С помощью двух своих рабов он обратил похитителей в бегство и отнес домой Земиру, окровавленную и потерявшую сознание. Придя в себя, она увидела своего избавителя и сказала ему:

— О Задиг! Я любила вас как будущего супруга, а теперь люблю как человека, которому обязана честью и жизнью.

Никогда еще не было сердца признательнее, чем сердце Земиры, никогда еще более очаровательные уста

не выражали более трогательных чувств теми огненными словами, которые внушает признательность за величайшее из благодеяний и нежнейший порыв законной любви.

Рана была легкая, и Земира вскоре выздоровела. Задиг был ранен опаснее: стрела вонзилась ему около глаза и нанесла глубокую рану. Земира неустанно молила богов об исцелении возлюбленного. Ее глаза день и ночь проливали слезы; она ожидала минуты, когда Задиг снова сможет наслаждаться взорами ее очей. Но нарыв, образовавшийся на раненом глазу, возбуждал серьезные опасения. Послали даже в Мемфис за великим врачом Гермесом, который приехал с многочисленной свитой. Он осмотрел больного, объявил, что тот потеряет глаз, и предсказал даже день и час этого злополучного события.

— Будь это правый глаз, — сказал врач, — я бы его вылечил, но раны левого глаза неизлечимы.

Весь Вавилон сожалел о судьбе Задига и удивлялся глубине познаний Гермеса. Два дня спустя нарыв прорвался сам собою, и Задиг совершенно выздоровел.

Гермес написал книгу, в которой доказывал, что Задиг не должен был выздороветь. Задиг не читал ее; как только он смог выходить из дому, он собрался посетить ту, с которой были связаны все его надежды на счастье. Только для нее желал он сохранить в целости свои глаза. Но Земира три дня назад уехала за город. Дорогой он узнал, что эта прекрасная дама, презрительно заявив, что чувствует непреодолимое отвращение к кривым, накануне вечером обвенчалась с Орканом. Услышав это, Задиг упал без чувств; отчаяние едва не свело его в могилу; он был долго болен, но наконец рассудок одержал верх над горем, и Задиг нашел утешение в самой жестокости испытанного им потрясения.

«Так как я узнал, — сказал он себе, — как безжалостна и ветрена может быть девушка, воспитанная при дворе, мне надо жениться на простой горожанке».

Он избрал Азору, самую умную девушку и из лучшей семьи в городе, женился на ней и прожил месяц, наслаждаясь всеми радостями нежнейшего брачного союза. Однако вскоре он заметил, что жена его несколько легкомысленна и что у нее непреодолимая склонность считать самыми умными и добродетельными тех молодых людей, чья внешность казалась ей особенно привлекательной.

Однажды Азора возвратилась с прогулки в сильном гневе, громко выражая свое негодование.

— Что с вами, моя милая супруга? — спросил Задиг. — Кто вас так рассердил?

— Вы были бы точно так же возмущены, — ответила она, — если бы увидели то, чему я сейчас была свидетельницей. Я навещала молодую вдову Козру, похоронившую два дня назад своего юного супруга на берегу ручья, омывающего луг. Безутешно скорбя, она дала обет богам не уходить оттуда, пока не иссякнут воды ручья.

— Что же, — сказал Задиг, — вот достойная уважения женщина, истинно любившая своего мужа!

— Ах, — возразила Азора, — знали бы вы, чем она занималась, когда я пришла к ней!

— Чем же, прекрасная Азора?

— Она отводила воды ручья.

Азора разразилась столь нескончаемыми упреками и так поносила молодую вдову, что эта чересчур многословная добродетель не понравилась Задигу.

У него был друг по имени Кадор, из числа молодых людей, которых жена Задига считала особенно добродетельными и достойными. Задиг сделал его своим поверенным, с помощью ценного подарка заручившись, насколько это возможно, его верностью.

Однажды, когда Азора, проведя два дня за городом у одной из своих подруг, возвратилась на третий день домой, слуги с плачем возвестили ей, что муж ее внезапно умер этой ночью, что ей не решились сообщить столь печальное известие и что его уже похоронили в семейной усыпальнице в самом конце сада. Азора рыдала, рвала на себе волосы и клялась, что не переживет его. Вечером Кадор попросил позволения зайти к ней, и они рыдали вдвоем. На другой день они рыдали уже меньше и вместе пообедали. Кадор сообщил ей, что друг его завещал ему большую часть своих богатств, и намекнул, что почтет за счастье разделить свое состояние с нею. Дама поплакала, посердилась, но наконец успокоилась; ужин длился дольше обеда, и разговаривали они откровеннее. Азора хвалила покойного, но призналась, что у него были недостатки, которых нет у Кадора.

За ужином Кадор стал жаловаться на сильную боль в селезенке. Встревоженная дама приказала принести благовония, которыми она умащалась,— она надеялась, что какое-нибудь из них утолит эту боль. Азора очень сожалела, что великого Гермеса уже нет в Вавилоне, и даже соблаговолила дотронуться до того места, где Кадор чувствовал такие сильные боли.

— Вы подвержены этой ужасной болезни? — спросила она с состраданием.

— Она иногда приводит меня к самому краю могилы,— отвечал ей Кадор.— Облегчить мои страдания можно только одним способом: приложить мне к больному боку нос человека, умершего накануне.

— Какое странное средство! — сказала Азора.

— Ну, уж не более странное,— отвечал он,— нежели мешочки господина Арну¹ от апоплексии.

Этот довод, в соединении с чрезвычайными достоинствами молодого человека, заставил даму решиться.

«Ведь когда мой муж,— подумала она,— отправится из здешнего мира в иной по мосту Чинавар, не задержит же его ангел Азраил на том основании, что нос Задига будет во второй жизни несколько короче, нежели в первой?»

Она взяла бритву, пошла к гробнице своего супруга, оросила ее слезами и наклонилась, собираясь отрезать нос Задигу, который лежал, вытянувшись во весь свой рост. Задиг встал, одной рукой закрывая нос, а другой отстраняя бритву.

— Сударыня,— сказал он ей,— не браните так усердно молодую Козру: намерение отрезать мне нос ничуть не лучше намерения отвести воды ручья.

СОБАКА И ЛОШАДЬ

Задиг убедился, что, как сказано в книге Зенд, первый месяц супружества — медовый, а второй — полынный. Он вынужден был через некоторое время развестись

¹ В это время жил один вавилонянин по имени Арну, который, как сообщалось в газетах, излечивал и предотвращал апоплексию посредством привешенного к шее мешочка. (Здесь и далее примечания в сносках, кроме перевода иноязычных слов и выражений, принадлежат Вольтеру.— *Ред.*)

с женой, жизнь с которой стала для него невыносима, и начал искать счастья в изучении природы.

«Нет никого счастливее,— повторял он,— чем философ, читающий в той великой книге, которую бог развернул перед нашими глазами. Открываемые им истины составляют его достояние. Ими он питает и возвышает свою душу; его жизнь спокойна, ему нечего бояться людей, и нежная супруга не придет отрезать ему нос».

Под влиянием этих мыслей Задиг удалился в загородный дом на берегу Евфрата. Он не занимался там вычислением того, сколько дюймов воды проходит в одну секунду под арками моста, или того, выпадает ли в месяц Мыши на одну кубическую линию дождя больше, чем в месяц Овна. Он не помышлял о том, что можно изготовлять шелк из паутины или фарфор из разбитых бутылок, но занимался главным образом изучением свойств животных и растений и приобрел вскоре навык находить тысячу различий там, где другие видят лишь единообразие.

Однажды, когда Задиг прогуливался по опушке рощицы, к нему подбежал евнух царицы, которого сопровождали еще несколько дворцовых служителей. Все они, видимо, находились в сильной тревоге и метались взад и вперед, словно искали потерянную ими драгоценную вещь.

— Молодой человек,— сказал ему первый евнух,— не видели ли вы кобеля царицы?

— То есть суку, а не кобеля,— скромно отвечал Задиг.

— Вы правы,— подтвердил первый евнух.

— Это маленькая болонка,— прибавил Задиг,— она недавно ошенилась, хромает на левую переднюю лапу, и у нее очень длинные уши.

— Значит, вы видели ее? — спросил запыхавшийся первый евнух.

— Нет,— отвечал Задиг,— я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака.

Как раз в это время, по обычному капризу судьбы, лучшая лошадь царских конюшен вырвалась из рук конюха на лугах Вавилона. Егермейстер и другие придворные гнались за ней с не меньшим волнением, чем первый евнух за собакой. Обратившись к Задигу, егермейстер спросил, не видел ли он царского коня.

— Это конь,— отвечал Задиг,— у которого превосходнейший галоп; он пяти футов ростом, копыта у него очень маленькие, хвост трех с половиной футов длины, бляхи на его удилах из золота в двадцать три карата, подковы из серебра в одиннадцать денье.

— Куда он поскакал? По какой дороге? — спросил егермейстер.

— Я его не видел,— отвечал Задиг,— и даже никогда не слышал о нем.

Егермейстер и первый евнух, убежденные, что Задиг украл и лошадь царя, и собаку царицы, притащили его в собрание великого Дестерхама, где присудили к наказанию кнутом и к пожизненной ссылке в Сибирь. Едва этот приговор был вынесен, как нашлись и собака и лошадь. Судьи были поставлены перед печальной необходимостью пересмотреть приговор; но они присудили Задига к уплате четырехсот унций золота за то, что он сказал, будто не видел того, что на самом деле видел.

Задигу пришлось сперва уплатить штраф, а потом ему уже позволили оправдаться перед советом всликого Дестерхама. И он сказал следующее:

— Звезды правосудия, бездны познания, зеркала истины, вы, имеющие тяжесть свинца, твердость железа, блеск алмаза и большое сходство с золотом! Так как мне дозволено говорить перед этим высочайшим собранием, я клянусь вам Оромаздом, что никогда не видел ни почтенной собаки царицы, ни священного коня царя царей. Вот что со мной случилось. Я прогуливался по опушке той рощицы, где встретил погом достопочтенного евнуха и прославленного егермейстера. Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что их оставила маленькая собачка. По едва приметным длинным бороздкам на песке между следами лап я определил, что это сука, у которой соски свисают до земли, из чего следует, что она недавно оценилась. Следы, бороздившие песок по бокам от передних лап, говорили о том, что у нее очень длинные уши, а так как я заметил, что след одной лапы везде менее глубок, чем следы остальных трех, то догадался, что собака нашей аргустейшей государыни немного хромает, если я смею так выразиться.

Что же касается коня царя царей, то знайте, что, прогуливаясь по дорогам этой рощи, я заметил следы лоша-

диных подков, которые все были на равном расстоянии друг от друга. Вот, подумал я, лошадь, у которой превосходный галоп. Пыль с деревьев вдоль узкой дороги, шириною не более семи футов, была немного сбита справа и слева, в трех с половиной футах от середины дороги. У этой лошади, подумал я, хвост трех с половиною футов длиной: в своем движении направо и налево он смел эту пыль. Я увидел под деревьями, образующими свод в пять футов высоты, листья, только что опавшие с ветвей, из чего я заключил, что лошадь касалась их и, следовательно, была пяти футов ростом. Я исследовал камень кремневой породы, о которой она потерлась удилами, и на этом основании определил, что бляхи на удилах были из золота в двадцать три карата достоинством. Наконец, по отпечаткам подков, оставленным на камнях другой породы, я пришел к заключению, что ее подковы из серебра достоинством в одиннадцать денье.

Все судьи восхитились глубиной и точностью суждений Задига, и слух о нем дошел до царя и царицы. В передних дворца, в опочивальне, в приемной только и говорили что о Задиге, и хотя некоторые маги высказывали мнение, что он должен быть сожжен как колдун, царь приказал, однако, возратить ему штраф в четыреста унций, к которому он был присужден. Актуариус, экзекутор и прокуроры пришли к нему в полном параде и вернули ему четыреста унций, удержав из них только триста девяносто восемь унций судебных издержек; кроме того, их слуги потребовали еще на чай.

Задиг понял, что быть слишком наблюдательным порою весьма опасно, и твердо решил при первом же случае промолчать о виденном.

Такой случай скоро представился. Бежал государственный преступник. Задиг заметил его из окон своего дома, но на допросе не сказал об этом. Однако его уличили в том, что он смотрел в ту минуту в окно. За это преступление он был присужден к уплате пятисот унций золота. По вавилонскому обычаю, Задиг поблагодарил судей за снисходительность. «Великий боже! — подумал он.— Сколько приходится терпеть за прогулку в роще, по которой пробежали собака царицы и лошадь царя! Как опасно подходить к окну и как трудно дается в этой жизни счастье!»

ЗАВИСТНИК

Утешения в посланных ему судьбой несчастьях Задиг искал в философии и дружбе. В одном из предместий Вавилона у него был со вкусом обставленный дом, где он собирал произведения всех искусств и предавался развлечениям, достойным порядочного человека. Утром его библиотека была открыта для всех ученых, а вечером у него обедало избранное общество. Но вскоре он узнал, как опасны бывают ученые. Однажды поднялся великий спор о законе Зороастра, запрещавшем есть грифов. «Как можно есть грифов,— говорили одни,— когда такого животного не существует?» — «Они должны существовать,— говорили другие,— ибо Зороастр запрещает их есть». Задиг попытался примирить их, сказав:

— Если грифы существуют, мы не станем их есть; если же их нет, тем более мы их есть не будем. Таким образом мы в точности исполним завет Зороастра.

Один ученый, написавший о свойствах грифов тринадцать томов, и к тому же великий теург, поспешил очернить Задига в глазах архимага по имени Иебор, глупейшего из халдеев и, следовательно, самого фанатичного из них. Этот человек охотно посадил бы Задига на кол во славу солнца и потом с самым удовлетворенным видом стал бы читать требник Зороастра. Друг Задига Кадор (один друг лучше ста священников) пошел к старому Иебору и сказал ему:

— Да здравствует солнце и грифы! Берегитесь наказывать Задига: он святой и держит в своем птичнике грифов, но никогда их не ест, а его обвинил еретик, утверждающий, что кролики не принадлежат к нечистым животным, несмотря на то, что у них раздельнопалые лапы.

— Хорошо,— сказал Иебор, покачивая лысой головой,— Задига надо посадить на кол за то, что он дурно думал о грифах, а того — за то, что он дурно говорил о кроликах.

Кадор, однако, замаял дело через посредство одной фрейлины, которую он осчастливил ребенком и которая пользовалась большим вниманием магов. Никто не был посажен на кол, по поводу чего многие ученые роптали, предрекая гибель Вавилона. Задиг воскликнул:

— Как хрупко человеческое счастье! Меня преследует в этом мире все — даже то, что не существует.— Он

проклял ученых и решил иметь дело исключительно со светскими людьми.

Он собирал у себя самых благовоспитанных мужчин и самых приятных дам, давал изысканные ужины, нередко предваряемые концертами и живой беседой, из которой он умел изгонять потуги на остроумие, ибо они-то и убивают остроумие и вносят принужденность в самое блестящее общество. Ни в выборе друзей, ни в выборе блюд он не руководствовался тщеславием, ибо хотел не казаться, а быть, и этим приобрел истинное уважение, которого не думал домогаться.

Против его дома жил некто Аримаз, человек, чья грубая физиономия носила отпечаток злой души.

Желчный и напыщенный, он был к тому же тупоумнейшим из остроумцев. Не добившись успеха в большом свете, он мстил ему клеветою. Несмотря на богатство, ему трудно было собрать вокруг себя льстецов. Аримазу досаждал гул голосов, когда по вечерам гости съезжались к Задигу, но еще более досаждал гул похвал, возносимых последнему. Он иногда приходил к Задигу, садился за стол без приглашения и портил веселье собравшихся, подобно гарпиям, заражающим, как говорят, мясо, до которого они дотрагиваются. Однажды он пожелал устроить празднество в честь одной дамы, но та, не приняв приглашения, поехала ужинать к Задигу. В другой раз, беседуя друг с другом во дворце, они встретили министра, который пригласил на ужин Задига, не пригласив Аримаза. Самая непримиримая ненависть часто вызывается не более значительными причинами. Этот человек, которого в Вавилоне называли «Завистником», вознамерился погубить Задига потому, что того прозвали «Счастливец».

Случай делать зло представляется сто раз на дню, а случай делать добро — лишь единожды в год, как говорит Зороастр. Завистник пришел к Задигу, прогуливавшемуся в своих садах с двумя друзьями и дамой, которой он говорил комплименты без всякой особенной цели. Разговор шел о счастливом окончании войны, которую царь недавно вел со своим вассалом, князем Гирканским. Задиг, отличившийся храбростью в этой короткой войне, превозносил царя и еще более даму. Он взял свои записные дощечки, написал экспромтом четверостишие и дал его прочесть этой прекрасной особе. Его друзья

также просили позволения прочесть, но Задиг по скромности или скорее по разумному самолюбию отказал им в этом, ибо знал, что стихи, написанные экспромтом, хороши лишь для той, кому они посвящены.

Он разломал на две части дощечку, на которой написаны были стихи, и бросил обе половинки в розовый куст, где друзья тщетно искали их. Пошел дождик, и общество возвратилось в дом. Завистник, оставшись в саду, долго искал и наконец нашел часть дощечки, надломленной таким образом, что половина каждой строчки стихов имела определенный смысл и сама составляла стих более короткого размера; но что было еще более странно — в этих коротеньких стишках заключались самые страшные оскорбления особы царя. Вот они:

Исчадь ада злое,
На троне наш властитель,
И мира и покоя
Единственный губитель.

Завистник впервые в жизни почувствовал себя счастливым: в его руках было средство погубить добродетельного и любезного человека. Полный злобной радости, он отправил царю эту сатиру, написанную рукой Задига; последнего вместе с его друзьями посадили в тюрьму. Дело немедленно рассмотрели в суде, причем даже не стали слушать оправданий Задига. Когда последнего вели, чтобы объявить ему приговор, стоявший на его пути Армаз громко сказал, что стихи его никуда не годны. Задиг не считал себя хорошим поэтом, но он был в отчаянии, что его осудили как виновного в оскорблении величества и что из-за этого не совершенного им преступления посадили в тюрьму двух его друзей и прекрасную даму. Ему не позволили защищаться, потому что против него заговорила записная дощечка. Таков был закон в Вавилоне. Задига вели на казнь мимо толпы зевак, из которых ни один не посмел посочувствовать ему; все теснились, стараясь разглядеть его лицо и посмотреть, достаточно ли красиво он умрет. Только родственники Задига были огорчены, потому что его имущество переходило не к ним: три четверти состояния было конфисковано в пользу царя, а последняя четверть — в пользу Армаза.

В то время, как Задиг готовился к смерти, попугай царя улетел с дворцового балкона и опустился в саду За-

дига на розовый куст. Под этим кустом лежала вторая половина записной дощечки, к которой прилепился персик, снесенный ветром с соседнего дерева. Птица схватила персик вместе с дощечкою и принесла их на колени монарха. Государь с любопытством прочел на дощечке слова, которые сами по себе не имели никакого смысла, но были, по-видимому, окончаниями каких-то стихов. Он любил поэзию, а от монархов, любящих стихи, можно многого ждать: находка попугая заставила царя призадуматься. Царица, вспомнив о том, что было написано на обломке дощечки Задига, приказала ее принести. Когда сложили обе части, они совершенно пришлись одна к другой, и все прочли стихи Задига в том виде, в каком они были написаны:

Исчадь ада злое, крамола присмирела.
На троне наш властитель восстановил закон.
И мира и покоя пора теперь приспела.
Единственный губитель остался — Купидон.

Царь приказал тотчас же привести к себе Задига и освободить из тюрьмы двух его друзей и прекрасную даму. Задиг упал к ногам царя и царицы и покорнейше попросил у них прощения за столь дурные стихи. Он говорил так изящно, умно и здраво, что царь с царицей пожелали увидеть его снова. Он пришел еще раз и понравился еще больше. Ему отдали имущество несправедливо обвинившего его Завистника, но он все возвратил владельцу; Завистник обрадовался лишь тому, что не потерял своего состояния. Благоволение царя к Задигу росло день ото дня. Он приобщал его ко всем своим развлечениям и советовался с ним обо всех своих делах. Расположение к нему царицы возрастало так, что могло даже сделаться опасным для нее, для царя, ее августейшего супруга, для Задига и для государства. Задиг начинал верить, что не так уж трудно быть счастливым.

ВЕЛИКОДУШНЫЕ

Приближался день великого праздника, который справлялся каждые пять лет. В Вавилоне был обычай в конце каждого пятилетия торжественно провозглашать имя гражданина, совершившего самый великодушный

поступок. Судьями при этом были вельможи и маги. Первый сатрап, он же вавилонский градоначальник, докладывал о самых благородных поступках, совершенных за время его пребывания у власти. Собирали голоса, после чего царь выносил решение. На это торжество стекались со всех концов земли. Победитель получал из рук монарха золотую чашу, украшенную драгоценными камнями, и царь говорил ему: «Примите это в награду за ваше великодушие, и да даруют мне боги побольше поданных подобных вам!»

Достопамятный день наступил. Царь занял место на троне, окруженный вельможами, магами и представителями всех племен, сошедшимися на эти игры, на которых слава приобреталась не быстрым бегом лошадей, не крепкими мышцами, а добродетелью. Первый сатрап перечислил громким голосом поступки, которые могли доставить людям, совершившим их, бесценную награду. Он не упомянул при этом о величии души, которое побудило Задига возвратить Завистнику его состояние: то не был поступок, достойный высокой награды.

Он прежде всего указал на одного судью. Этот судья, видя, что из-за его ошибки, в которой он даже не был виновен, некий вавилонянин проиграл важный процесс, отдал ему все свое имущество, равное по ценности потерянному.

Потом первый сатрап представил молодого человека, который был без памяти влюблен в девушку и собирался на ней жениться. Но он уступил ее своему другу, умиравшему от любви к ней, и вдобавок дал ей приданое.

Наконец он назвал воина, который во время Гирканской войны проявил еще большее великодушие. Он защищал свою возлюбленную от нескольких неприятельских солдат, пытавшихся ее похитить. Вдруг ему сообщили, что в нескольких шагах от него другие гирканцы уведут с собой его мать; он со слезами оставил возлюбленную и бросился спасать мать. Возвратившись затем к той, которую любил, он застал ее уже умирающей. Воин хотел покончить с собой, но мать напомнила ему, что он — ее единственная опора, и у него хватило мужества примириться с необходимостью жить.

Судьи склонялись в пользу воина. Царь взял слово и сказал:

— И он, и двое других поступили прекрасно, но их поступки не удивляют меня. А вот вчера Задиг совершил нечто поистине удивительное. Я разжаловал несколько дней назад моего министра и фаворита Кареба. Я с негодованием говорил о нем, и все придворные уверяли меня, что я еще слишком кроток, все наперебой старались очернить Кареба. Я спросил Задига, что он думает о бывшем министре, и он осмелился хорошо о нем отозваться. Я встречал в нашей истории примеры, когда люди имуществом платили за свои ошибки, уступали невест и предпочитали матерей возлюбленным, но, признаюсь, никогда не приходилось мне слышать, чтобы придворный одобрительно отозвался о разжалованном министре, на которого разгневался его государь. Я дарю двадцать тысяч золотых каждому из тех, о чьих великодушных поступках здесь было доложено, но чашу отдаю Задигу.

— Ваше величество,— сказал Задиг царю,— вы один заслуживаете чаши, ибо совершили самый неслыханный поступок: будучи царем, не рассердились на своего раба, когда он осмелился противоречить вам в минуту вашего раздражения.

Все восторгались царем и Задигом. Судья, отдавший свое имущество, влюбленный, уступивший невесту другому, воин, спасший мать, а не невесту, получили подарки монарха, и имена их были записаны в книгу великодушных, но чаша досталась Задигу. Царь приобрел славу доброго государя, которой он, однако, пользовался недолго. День этот был ознаменован празднествами, продолжавшимися дольше, чем предписывалось законом. Память об этом дне еще сохраняется в Азии. Задиг говорил: «Я наконец счастлив!» Но он ошибался.

МИНИСТР

Царь, лишившись своего первого министра, назначил на его место Задига. Все вавилонские красавицы одобрили этот выбор, потому что с самого основания государства не бывало еще такого молодого министра. Все придворные злились; Завистник стал даже харкать кровью, и нос у него чудовищно распух. Задиг, поблагодарив царя и царицу, пошел также поблагодарить и попугая.

— Прекрасная птица,— сказал он,— ты спасла мне жизнь и сделала меня первым министром; собака и лошадь их величеств причинили мне много зла, а ты сделала добро. Вот от чего иногда зависят судьбы людей! Но,— прибавил он,— такое необыкновенное счастье, быть может, недолговечно.

Попугай ответил: «Да». Это слово поразило Задига, но, будучи хорошим натуралистом и не веря в пророческие способности попугаев, он вскоре успокоился и начал самым усердным образом заниматься своими обязанностями министра.

Он дал почувствовать всю священную власть законов, не выставляя на вид важности своего сана. Он не стеснял членов Дивана, и каждый визирь мог высказывать свое мнение, не навлекая на себя его немилости. Когда ему приходилось решать какое-нибудь дело, судьей был закон, а не его личная воля. Когда закон был слишком строг, он смягчал его, а если соответствующего закона вообще не было, он сам создавал новые законы, не менее справедливые, чем Зороастровы.

Это от него унаследовали народы великое правило, что лучше рискнуть и оправдать виновного, нежели осудить невинного. Он считал, что законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им. Его отличительная способность состояла в том, что он легко раскрывал истину, тогда как обычно люди стараются ее затемнить.

С первых же дней своего управления он стал применять эту способность. В Индии умер известный вавилонский купец; состояние свое он разделил поровну между двумя сыновьями, предварительно выдав замуж дочь. Кроме того, он назначил тридцать тысяч золотых тому из сыновей, о ком станет известно, что он больше другого любит отца. Старший сын поставил ему памятник, а младший частью своего наследства увеличил приданое сестры. Все говорили: «Старший больше любит отца, а младший — сестру, старшему и должны достаться тридцать тысяч».

Задиг призвал обоих сыновей, одного за другим. Он сказал старшему:

— Ваш отец вовсе не умер, он выздоровел и возвращается в Вавилон.

— Слава богу,— ответил молодой человек,— только напрасно я так потратился на памятник.

Задиг сказал то же самое младшему.

— Слава богу,— отвечал тот,— я отдам моему отцу все, что получил в наследство, но желал бы, чтобы он не отбирал у сестры того, что я ей выделил.

— Вы не отдадите ничего,— сказал Задиг,— а получите еще тридцать тысяч золотых, вы больше любите своего отца, чем ваш брат.

Одна очень богатая девица одновременно дала согласие выйти замуж за двух магов и после нескольких месяцев их поучений забеременела. И тот и другой хотели на ней жениться.

— Моим мужем станет тот из вас,— сказала она,— кто дал мне возможность подарить государству гражданина.

— Я совершил это благо дело,— сказал один.

— Эта заслуга принадлежит мне,— возразил другой.

— Хорошо,— сказала она,— я признаю отцом моего ребенка того из вас, кто сможет ему дать лучшее воспитание.

Она родила сына. Каждый из магов хотел его воспитывать. Дело дошло до Задига. Он призвал обоих магов.

— Чему ты будешь учить своего воспитанника? — спросил он у первого.

— Я научу его,— отвечал ученый,— восьми частям речи, диалектике, астрологии, демономании, я разъясню ему, что такое субстанция и акциденция, абстрактное и конкретное, монады и предустановленная гармония.

— Я,— сказал второй,— постараюсь сделать его справедливым и достойным дружбы.

Задиг произнес:

— Отец ты ему или нет, но ты женишься на его матери.

ДИСПУТЫ И АУДИЕНЦИИ

Так Задиг ежедневно выказывал тонкий ум и добрую душу. Им восторгались и тем не менее его любили. Его считали счастливейшим из людей. Имя его гремело по всему государству, все женщины на него заглядыва-

лись, все мужчины восхваляли его справедливость, ученые считали Задига своим оракулом, и даже жрецы признавали, что он знает больше архимага Иебора. Никому не приходило в голову спорить теперь с ним о грифах. Верили только тому, что он считал достойным веры.

Полторы тысячи лет длился в Вавилоне великий спор, разделивший всех граждан на две непримиримые секты. Члены одной утверждали, что в храм Митры должно вступать непременно с левой ноги, а члены другой считали этот обычай гнусным и входили туда только с правой ноги. Все ждали торжественного праздника священного огня, дабы узнать наконец, какой секте покровительствует Задиг. Взоры граждан были прикованы к его ногам, люди замерли от волнения и тревоги. Сжав пятки, Задиг не вошел, а прыгнул в храм, после чего красноречиво доказал собравшимся, что бог неба и земли чужд пристрастия и равно относится и к правой ноге и к левой. Завистник и его жена утверждали, что речь Задига была бедна образами и что он не заставил пуститься в пляс горы и холмы.

— Он слишком сух и лишен воображения,— говорили они.— У него и море не отступает от берегов, и звезды не падают, и солнце не тает, как воск. Ему недостает хорошего восточного слога.

Задиг довольствовался тем, что обладал разумным слогом. Все были на его стороне, но не потому, что он был прав, не потому, что был разумен, не потому, что был любезен, а лишь потому, что он был первым визи-рем.

Так же удачно закончил он великую распрю между белыми и черными магами. Белые утверждали, что нечестиво, молясь богу, обращаться на северо-восток; черные уверяли, что бог гнушается молитвами людей, обращающихся к юго-западу. Задиг приказал обращаться в ту сторону, в какую каждый хочет.

Он нашел способ управляться со всеми частными и государственными делами утром, а дневное время посвящал заботам об украшении Вавилона. Он распорядился представлять в театрах трагедии, которые заставляют плакать, и комедии, которые вызывают смех; такие пьесы давно уже вышли из моды, но он эту моду возродил. так как был человеком со вкусом. Он не был убежден в

том, что понимает в театральном искусстве больше, нежели актеры, осыпал их дарами и отличиями и не завидовал втайне их талантам. По вечерам Задиг очень развлекал царя и особенно царицу. Царь говорил: «Превосходный министр!» Царица говорила: «Пленительный министр!» И оба добавляли: «Как было бы жаль, если бы его тогда повесили!»

Еще ни одному сановнику в мире не приходилось давать столько аудиенций дамам, как ему. Большинство приходило по делам, которых у них не было, только для того, чтобы иметь дело с ним. Жена Завистника явилась одной из первых; она поклялась Митрой, Зендавестою и священным огнем, что поведение ее мужа было ей смертельно; затем она призналась Задигу, что муж ее ревнив и груб, и намекнула, что боги наказали его, отказав в том проявлении священного огня, которое одно только и уподобляет человека небожителем. В заключение она уронила свою подвязку. Задиг поднял ее с обычной своей учтивостью, но не завязал над коленом дамы. И его оплошность (если только это была оплошность) явилась причиной ужасных бедствий. Задиг забыл и думать об этом случае, но жена Завистника о нем не забыла.

Дамы являлись к нему ежедневно. В секретных анналах Вавилона есть сведения, что один раз он все же не выдержал характера, но при этом с крайним изумлением заметил, что в объятиях женщины не испытал наслаждения и целовал свою любовницу весьма рассеянно. Женщина, которой он подарил, сам того почти не заметив, знаки своего расположения, была одна из придворных дам царицы. Эта нежная вавилонянка говорила себе в утешение: «Должно быть, у этого человека ужасно много дел в голове, если он думает о них даже тогда, когда предается любви». В одно из тех мгновений, когда одни не говорят ни слова, а другие произносят только слова, для них священные, Задиг вдруг воскликнул: «Царица!» Вавилонянка подумала, что наконец-то он вернулся на землю и в увлечении сказал ей: «Моя царица!» Но Задиг, все еще в рассеянии, произнес имя Астарты. Дама, которая в этих счастливых обстоятельствах толковала все к выгоде для себя, вообразила, будто он хотел сказать: «Вы прекраснее царицы Астарты». Она вышла из сераля Задига с великолепными подарками и немедленно рассказала о случившемся Завистнице, ближайшей

своей подруге. Последняя была жестоко оскорблена этим предпочтением.

— А мне он даже не пожелал завязать вот эту подвязку, и я не хочу ее больше носить.

— О, у вас такие же подвязки, как у царицы, — сказала Завистнице ее счастливая соперница. — Должно быть, вы заказываете их одной и той же мастерице?

Завистница так глубоко задумалась, что ничего не ответила, а затем пошла советоваться к своему мужу Завистнику.

Между тем Задиг стал замечать, что он постоянно рассеян — и в суде и на аудиенциях. Он не понимал, в чем дело, и это было единственное, что омрачало его жизнь.

Однажды ему привиделся сон. Сперва ему приснилось, что он лежит на сухой траве и его беспокоят колючки, а потом — что он сладко отдыхает на ложе из роз. И вдруг из этих роз выползает змея, которая вонзает ему в сердце острое и ядовитое жало. «Увы! — подумал он, — я долго лежал на сухой и колючей траве, теперь я на ложе из роз, но кто же будет змеей?»

РЕВНОСТЬ

Несчастье Задига было порождено самим его счастьем и еще более — его достоинствами. Каждый день он беседовал с царем и Астартой, его августейшей супругой. Желание нравиться, которое для ума все равно, что наряд для красоты, придавало особый блеск его остроумию. Задиг был молод, привлекателен — и Астарта, сама того не подозревая, поддалась его чарам.

Страсть ее возростала в лоне невинности. Астарта без колебаний и боязни предавалась удовольствию видеть и слышать человека, любимого ее мужем и всем государством. Она не переставала восхвалять Задига в присутствии царя, говорила о нем с придворными дамами, превозносившими его до небес. Все это укрепляло в ее сердце чувство, которого она еще не сознавала.

Она делала Задигу подарки и вкладывала в них больше нежности, чем сама предполагала. Ей казалось, что она говорит с ним, как царица, довольная своим подданным, но порою слова ее звучали, как слова влюбленной женщины.

Астарта была гораздо красивее Земиры, так ненавидшей кривых, и той женщины, которая собиралась отрезать нос своему супругу. Дружеское обращение Астарты, ее нежные речи, от которых она сама невольно краснела, ее взоры, против воли устремлявшиеся на Задига, зажгли в нем пламя, удивлявшее его самого. Он старался превозмочь свое чувство, призывал на помощь философию, так часто ему помогавшую, но на этот раз она лишь открыла ему глаза на его положение, а помочь не смогла. Сознание долга, чувство признательности, мысль об оскорблении величия государя представляли перед ним словно боги-мстители. Он боролся с собой и побеждал, но эта победа, которую нужно было одерживать беспрестанно, стоила ему многих стенаний и слез. Он уже не смел беседовать с царицей с той приятной непринужденностью, в которой было так много прелести для них обоих. Взоры его туманились, речь была затруднена и бессвязна, глаза устремлены в землю; когда же он невольно поднимал их на Астарту, то встречал ее глаза, чудно блестящие сквозь слезы. Оба влюбленных, казалось, говорили: «Мы обожаем друг друга, но боимся любить. Мы оба пылаем огнем, который считаем преступным».

Задиг выходил от нее смущенный, растерянный, с невыносимой тяжестью на сердце. Наконец, будучи не в силах долее терпеть душевную муку, он доверил свою тайну Кадору, как человек, долго и терпеливо переносивший жестокие страдания, вдруг выдает себя и криком, вырванным у него приступом особенно острой боли, и холодным потом, выступившим на лбу.

Кадор сказал ему:

— Я уже разгадал чувство, которое вы скрывали даже от самого себя,— есть признаки, по которым нельзя не узнать страсти. Но, мой дорогой Задиг, если в вашем сердце смог читать я, то рано или поздно царь тоже обнаружит в нем столь оскорбительное для него чувство. Единственный его недостаток состоит в том, что он ревнивнейший из людей. Вы сопротивляетесь страсти с большей твердостью, чем царица, потому что вы философ и потому что вы Задиг. Астарта — женщина. Не сознавая своей вины, она не думает об осторожности, и взоры ее говорят слишком много. К несчастью, уверенность в своей безгрешности заставляет ее пренебрегать требова-

ниями этикета. Я буду дрожать за нее до тех пор, пока ей не в чем будет себя упрекать. А вот если бы вы сблизились с нею, вы сумели бы отвести глаза всем: страсть зарождающаяся и подавляемая прорывается в каждом жесте, тогда как удовлетворенную любовь не составляет труда утаить.

Предложение изменить царю, своему благодетелю, привело Задига в ужас; никогда он не был так верен государю, как в то время, когда сознавал себя виновным в невольном преступлении. Между тем царица так часто произносила имя Задига, лицо ее при этом так заливалось румянцем, она до такой степени одушевлялась или робела, когда говорила с ним в присутствии царя, и впадала в столь глубокую задумчивость, когда он уходил, что царь стал наконец беспокоиться. Он верил всему, что видел, и дополнял воображением то, чего не видел. В особенности его поразило то, что у царицы были голубые туфли и у Задига тоже, что у царицы были желтые ленты, а у Задига — желтая шапка: неопровержимые улики, с точки зрения щепетильного монарха. В его раздраженном уме подозрения превратились в достоверность.

Все рабы царей и цариц шпионят за их сердцами. Придворные быстро обнаружили, что Астарта влюблена, а Моабдар ревнует. Завистница по наущению Завистника послала царю свою подвязку, похожую на подвязку царицы. К довершению несчастья эта подвязка была голубая. С этого мгновения повелитель стал думать только о том, как отомстить за себя. Он решил ночью отравить царицу, а на рассвете — удавить Задига. Сделать это должен был безжалостный евнух, исполнитель мстительных замыслов монарха. В это время в комнате находился немой, но не лишенный слуха карлик. Его всюду допускали, он, как домашнее животное, бывал свидетелем самого тайного, что происходило во дворце. Карлик был очень привязан к царице и к Задигу и с удивлением и ужасом услышал приказ об убийстве. Но как предупредить о страшном приговоре, который должен быть приведен в исполнение через несколько часов? Писать карлик не умел, зато он научился рисовать, и у рисунков его было большое сходство с изображаемыми предметами. Он провел часть ночи, малюя то, о чем хотел сообщить царице. В одном углу его рисунка был

изображен разгневанный царь, отдающий приказание евнуху; затем — стол и на нем ваза, голубой шнурок, голубые подвязки и желтые ленты; в центре картины — царица, умирающая на руках своих дам, а у ног ее удушанный Задиг. На горизонте видно было восходящее солнце — этим карлик хотел сказать, что ужасная казнь совершится на рассвете. Положив последние штрихи, карлик побежал к одной из дам Астарты, разбудил ее и дал ей понять, что рисунок надо тотчас же отнести к царице.

В полночь стучат в дверь к Задигу, будят его и отдают записку царицы; он думает, не сон ли это, и дрожащей рукой разворачивает письмо. Как изобразить его удивление, замешательство и отчаяние, когда он прочел следующие слова:

«Бегите немедленно, или вас лишат жизни! Бегите, Задиг, я вам приказываю это во имя нашей любви и моих желтых лент. Я ни в чем не виновна, но чувствую, что умру как преступница».

Задиг едва был в силах говорить. Он послал за Кадором и молча передал ему записку.

Кадор убедил его повиниться и немедленно отправиться в Мемфис.

— Если вы решитесь пойти к царице, то ускорите ее смерть, если попытаетесь объясниться с царем, вы также погубите ее. Я позабочусь о ней, а вы позаботьтесь о себе. Я распушу слух, что вы отправились в Индию. В скором времени я разыщу вас и расскажу, как обстоят дела в Вавилоне.

В ту же минуту Кадор велел привести к потайным дверям дворца двух самых быстроногих дромадеров; он посадил на одного из них Задига, которого пришлось вынести на руках, так как он был почти без чувств. Сопровождал Задига один-единственный слуга, и вскоре Кадор, полный недоумения и скорби, потерял друга из виду.

Именитый беглец, поднявшись на вершину холма, откуда виден был Вавилон, обратил взоры на дворец царицы и тут же потерял сознание; очнувшись, он долго заливался слезами и призывал к себе смерть. Наконец, горько оплакав судьбу самой очаровательной женщины

и самой великой царицы, он на мгновение вернулся к мыслям о собственной судьбе и воскликнул:

— Вот она, жизнь человеческая! О добродетель! Чем ты помогла мне? Две женщины недостойно обманули меня; третья, невинная и прекраснейшая из всех, должна умереть! Все, что я делал хорошего, неизменно становилось для меня источником несчастий, и на высоту величия я был возведен лишь для того, чтобы низвергнуться в ужаснейшую пучину бедствий. Если бы я был столь жестокосерден, как многие, я был бы счастлив, как они.

Задиг продолжал свое путешествие в Египет, погруженный в эти мрачные размышления; глаза его были отуманены печалью, лицо мертвенно-бледно, душа исполнена отчаяния.

ИЗБИТАЯ ЖЕНЩИНА

Задиг направлял свой путь по звездам. Созвездие Ориона и блистающее светило Сириус вели его прямо к звезде Каноп. Он любовался этими громадными светящимися шарами, которые представляются нашим глазам маленькими искорками, между тем как земля, незаметная пылинка, затерянная во вселенной, кажется нам, алчным людям, необъятной и величественной. Задиг видел в ту минуту человеческие существа такими, каковы они на самом деле, то есть насекомыми, поедающими друг друга на маленьком комке грязи. Этот верный образ обратил в ничто все его несчастья, напомнив ему и о его собственном ничтожестве, и о ничтожестве Вавилона. Душа Задига, как бы оторгнутая от тела, витала в бесконечности и созерцала неизменный порядок вселенной. Но затем, спустившись на землю и снова почувствовав биение своего сердца, он вспомнил, что Астарта, быть может, погибла из-за него, и снова вселенной как не бывало, и во всей природе для него остались только умирающая Астарта и несчастный Задиг.

Отданный во власть этим приливом и отливам возвышенной философии и гнетущей печали, он приблизился к границам Египта; его верный слуга поехал вперед на поиски жилища в первом же египетском селении, а Задиг между тем прогуливался в окрестных садах. Не-

вдалеке от большой дороги Задиг увидел разъяренного мужчину, преследующего какую-то женщину, которая с воплями призывала на помощь небеса и землю. Настигнутая наконец своим преследователем, она стала обнимать его колени, но тот принялся ее бить, не переставая осыпать упреками. По ее мольбам о прощении и по его ожесточению Задиг понял, что то были ревнивый любовник и неверная любовница; увидев, как пленительно красива женщина, и даже заметив в ней некоторое сходство с несчастной Астартой, он преисполнился сострадания и вознегодовал на египтянина.

— Помогите мне! — рыдая, взывала она к Задигу. — Вырвите меня из рук этого ужасного варвара, спасите мне жизнь!

Вняв ее мольбам, Задиг бросился между ней и истязателем. Зная несколько египетский язык, он сказал тому:

— Если в вас есть хоть капля человеколюбия, заклинаю вас, пощадите красоту и слабость. Как можете вы так безжалостно обходиться с этим прекрасным созданием, которое лежит у ваших ног и способно защищаться только слезами?

— Ах, так! — воскликнул взбешенный египтянин. — Значит, ты тоже любишь ее, и это тебе я должен мстить! — Он тут же выпустил женщину, которую держал одной рукой за волосы, и, схватив копьё, собрался пронзить им чужеземца. С полным хладнокровием Задиг ловко уклонился от неистового удара и перехватил копьё возле железного наконечника. Египтянин тянул копьё к себе, Задиг — к себе, пока оно не сломалось. Тогда египтянин обнажил меч; Задиг последовал его примеру. Они напали друг на друга. Один наносил стремительные удары, другой искусно их отражал. Женщина, сидя на лугу, поправляла прическу и следила за схваткой. Египтянин превосходил противника силой, Задиг — ловкостью. Последний сражался как человек, у которого голова управляет рукой, первый же, ослепленный гневом, сыпал удары как попало. Наконец Задиг берет верх, обезоруживает египтянина и, в то время как тот в ярости хочет броситься на него, схватывает противника, заламывает ему руки и повергает на землю, приставив меч к его груди. Победитель обещает побежденному жизнь, но египтянин, вне себя, выхватывает кинжал и ранит

Задига в ту самую минуту, когда тот дарует ему пощаду. Задиг в негодовании вонзает меч в его грудь. Египтянин испускает ужасный крик и умирает в судорогах.

Задиг подходит тогда к женщине и смиренно говорит ей:

— Он сам вынудил меня убить его. Вы отомщенны, я освободил вас от самого жестокого человека, какого мне довелось встретить. Что вам теперь угодно от меня, сударыня?

— Чтоб ты умер, разбойник,— отвечала она ему,— чтоб ты умер! Ты убил моего возлюбленного! Так бы и вырвала твое сердце!

— Ну, в таком случае, сударыня, у вас был странный возлюбленный,— возразил Задиг.— Он безжалостно колотил вас и хотел убить меня только за то, что вы обратились ко мне за помощью.

— Пускай бы продолжал колотить, я заслужила это, я была ему неверна,— завопила женщина.— Будь небо ко мне милосердно, он все еще бил бы меня, а ты лежал бы на его месте.

Задиг, удивленный и рассерженный, как никогда в жизни, сказал:

— Сударыня, хотя вы и прекрасны, но заслуживаете, чтобы и я, в свою очередь, прибил вас за ваше сумасбродство; но я не желаю утруждать себя.— С этими словами он сел на верблюда и направился в селение. Не успел Задиг отъехать на несколько шагов, как услышал шум и, обернувшись, увидел четырех гонцов из Вавилона. Они неслись во весь опор. Один из них, увидев женщину, вскричал:

— Это она! Точно так нам ее описали!

Не обращая внимания на труп, они тотчас же схватили женщину, не перестававшую теперь кричать Задигу:

— Помогите мне еще раз, великодушный чужеземец! Забудьте мои упреки! Помогите мне — и я ваша до гроба!

Но Задиг потерял охоту драться за нее.

— Обманывайте других,— сказал он,— меня вы уже не проведете.

К тому же он был ранен, из раны текла кровь, он нуждался в помощи, да и вид четырех вавилонян, по-

сланных, вероятно, царем Моабдаром, сильно его встревожил. Он поспешил в селение, гадая, чего ради вавилонские гонцы схватили египтянку, и удивляясь странному нраву этой женщины.

РАБСТВО

Когда Задиг въехал в египетское селение, его окружила толпа людей, выкрикивающих:

— Вот похититель прекрасной Мисуфы и убийца Клетофиса!

— Господа, — сказал он, — да избавит меня бог от вашей прекрасной Мисуфы, она слишком капризна; что же касается Клетофиса, я заколол его, защищаясь. Он хотел убить меня за то, что я очень учтиво попросил его простить прекрасную Мисуфу, которую он беспощадно избивал. Я чужеземец, ищущий в Египте убежища. Вряд ли человек, который хочет заручиться вашим покровительством, начнет с того, что совершит похищение и убийство.

Египтяне были тогда справедливы и человечны. Задига повели в городское управление. Там ему перевязали рану и, чтобы выяснить правду, допросили сперва его самого, потом слугу. Задиг не был признан убийцей, однако он пролил кровь человека, и закон осуждал его на рабство. Двух верблюдов продали в пользу селения, привезенное Задигом золото роздали жителям, а его самого вместе со спутником выставили на площади для продажи. Арабский купец по имени Сеток купил их с публичного торга; за слугу, как за более пригодного для тяжелой работы, он заплатил дороже, чем за господина. Качества этих рабов казались ему несравнимыми, и Задиг был подчинен своему слуге; их сковали друг с другом ножною цепью, и в таком виде они следовали за арабом, когда он возвращался домой. Дорогою Задиг утешал своего слугу и призывал к терпению, но в то же время, по свойственной ему привычке, не переставал размышлять о человеческой жизни.

— Я вижу, — говорил он слуге, — что неблагоприятность судьбы ко мне переносится и на тебя. До сих пор обстоятельства моей жизни складывались самым странным образом. Меня присудили к штрафу за то, что я ви-

дел, как пробежала собака, чуть не посадили на кол за грифа, приговорили к смертной казни за стихи в честь царя, чуть не задушили за то, что у королевы были желтые ленты, и вот теперь мы с тобой рабы потому только, что какой-то скот прибил свою любовницу. Но не будем терять мужества, — все это, быть может, кончится благополучно. Нельзя же арабским купцам обходиться без рабов, так почему мне не быть одним из них? Разве я не такой же человек, как все прочие? Этот купец не будет безжалостен и не станет дурно обращаться со своими рабами, если только он хочет, чтобы они хорошо работали. — Так говорил Задиг, но мысли его были заняты судьбою вавилонской царицы.

Два дня спустя Сеток отправился в Пустынную Аравию вместе со своими рабами и верблюдами. Его племя обитало вблизи пустыни Хорив. Дорога была долгая и трудная. Слуга Задига, который, в отличие от своего господина, умел ловко навьючивать верблюдов, был на гораздо лучше счету у Сеток и пользовался всякими маленькими преимуществами.

В двух днях пути от Хорива издох один верблюд, и поклажу, которую он нес, пришлось переложить на спины рабов; Задиг получил свою долю. При виде невольников, согбленных под тяжестью ноши, Сеток стал смеяться. Задиг позволил себе объяснить, отчего это происходит, и рассказал о законе равновесия. Удивленный купец стал смотреть на него другими глазами. Задиг, увидя, что возбудил в нем любопытство, постарался укрепить это чувство рассказами о предметах, имевших отношение к торговле Сеток: об удельном весе металлов и товаров одинакового объема, о свойствах некоторых полезных животных и о способах извлечь пользу из таких, которые полезными не считаются. Словом, он показался Сетоку настоящим мудрецом. Сеток стал оказывать ему предпочтение перед его товарищем, которого до тех пор столь ценил, и начал гораздо лучше обращаться с ним, о чем впоследствии не пожалел.

Вернувшись на родину, Сеток потребовал с одного еврея пятьсот унций серебра, которые дал тому взаймы в присутствии двух свидетелей. Но свидетели эти умерли, и еврей, не опасаясь быть изобличенным, отказался от уплаты долга и при этом благодарил бога за то, что он дал ему возможность надуть араба. Сеток поведал о

бесчестном поступке еврея Задигу, который успел стать его постоянным советчиком.

— В каком месте,— спросил Задиг,— отдали вы этому неверному ваши пятьсот унций?

— На большом камне, у подножья горы Хорив,— отвечал купец.

— Каков характер у вашего должника? — спросил Задиг.

— Он мошенник,— ответил Сеток.

— Я спрашиваю у вас, горяч он или флегматичен, осторожен или неблагоразумен?

— Сколько я знаю, он самый горячий из всех несправных должников,— отвечал Сеток.

— Хорошо,— сказал Задиг,— позвольте мне защищать дело перед судом.

И действительно, он вызвал еврея в суд и обратился к судье со следующими словами:

— Подушка на троне справедливости! От имени моего господина я требую, чтобы этот человек возвратил ему пятьсот унций серебра, от уплаты которых он отказывается.

— Есть у вас свидетели? — спросил судья.

— Нет, они умерли, но остался большой камень, на котором отсчитаны были деньги, и если ваше степенство соблаговолит послать за камнем, то, я надеюсь, он будет свидетельствовать об этом; мы с евреем останемся здесь, пока принесут камень, а издержки за его доставку заплатит мой господин Сеток.

— Хорошо,— отвечал судья. И занялся другими делами.

К концу заседания судья спросил у Задига:

— Ну что же, вашего камня все еще нет?

Еврей, смеясь, отвечал ему:

— Даже если вы, ваше степенство, останетесь здесь до завтра, все равно вам не дождаться камня, ибо он находится более чем в шести милях отсюда, и нужно пятнадцать человек, чтобы его сдвинуть с места.

— Я говорил вам,— воскликнул Задиг,— что камень будет свидетельствовать в нашу пользу: так как этот человек знает, где он находится, значит, сознается, что деньги отсчитаны были именно на нем.

Растерявшийся еврей принужден был во всем сознаться. Судья приказал привязать его к камню и не

давать ему ни пить, ни есть до тех пор, пока он не возвратит пятьсот унций, что тот немедленно и сделал.

С тех пор и раб Задиг и камень стали пользоваться доброй славой в Аравии.

КОСТЕР

Восхищенный Сеток стал относиться к своему рабу, как к близкому другу. Подобно царю вавилонскому, он уже не мог обойтись без него. Задиг от души радовался, что у Сеток не было жены. Он открыл в своем хозяине хорошие природные наклонности, много прямоты и здравого смысла. Но Задига огорчало, что тот, по древнему арабскому обычаю, поклоняется небесному воинству, то есть солнцу, луне и звездам. Наконец он объяснил хозяину, что светила эти — такие же тела, как дерево или скала, и столько же заслуживают обожания, как и последние.

— Но ведь они — вечные существа, — возразил Сеток, — которые даруют нам все, из чего мы извлекаем пользу, вдыхают жизнь в природу и управляют чередованием времен года; к тому же они так далеки от нас, что не поклоняться им нельзя.

— Вам куда полезнее Красное море, которое несет ваши корабли с товарами в Индию. И почему вы думаете, что оно менее древнее, чем звезды? Если же вы поклоняетесь тому, что далеко от вас, то поклоняйтесь также земле гангаридов, которая находится на краю света.

— Нет, — сказал Сеток, — звезды так блестят, что я не могу им не поклоняться.

Когда наступил вечер, Задиг засветил множество факелов в палатке, в которой он должен был ужинать с Сетоком; как только тот появился, Задиг бросился на колени перед горящими факелами и произнес:

— Вечные и блистательные светильники, будьте всегда милостивы ко мне! — Промолвив это, он сел за стол, не обращая внимания на Сеток.

— Что это вы делаете? — спросил его изумленный Сеток.

— То же, что и вы: преклоняюсь перед светильниками и пренебрегаю ими и моим повелителем.

Сеток понял глубокий смысл этих слов. Мудрость раба просветила его, и, перестав курить фимиам творениям, он стал поклоняться творцу.

В то время в Аравии еще существовал ужасный обычай, который сперва был принят только у скифов, но затем, с помощью браминов утвердившись в Индии, стал распространяться по всему Востоку. Когда умирал женатый человек, а его возлюбленная жена желала прослыть святой, она публично сжигала себя на трупе своего супруга. День этот был торжественным праздником и назывался «костер вдовства». Племя, в котором насчитывалось наибольшее количество предавших себя сожжению вдов, пользовалось наибольшим уважением. После смерти одного араба из племени Сеток вдова его, по имени Альмона, очень набожная женщина, назначила день и час, когда при звуках труб и барабанном бое она бросится в огонь. Задиг стал доказывать Сеток, насколько вреден для блага рода человеческого столь жестокий обычай, из-за которого чуть ли не ежедневно гибли молодые вдовы, способные дать государству детей или, по крайней мере, воспитать тех, которые у них уже были. Задиг утверждал, что следовало бы уничтожить этот варварский обряд. Сеток ответил:

— Вот уже свыше тысячи лет женщины имеют право всходить на костер. Кто из нас осмелится изменить закон, освященный временем? Разве есть что-нибудь более почтенное, чем долговечное заблуждение?

— Разум долговечнее заблуждения,— возразил Задиг.— Поговорите с вождями племен, а я пойду к молодой вдове.

Придя к ней, Задиг сперва снискал ее расположение тем, что расхвалил ее красоту; сказав ей, до какой степени жаль предать огню такие прелести, он все же отдал должное ее верности и мужеству.

— Вы, должно быть, горячо любили своего мужа? — спросил он.

— Нисколько не любила,— отвечала аравитянка.— Он был грубый, ревнивый, невыносимый человек, но я твердо решила броситься в его костер.

— Стало быть, есть особенное удовольствие заживо сгореть на костре?

— Ах, одна мысль об этом приводит меня в содрогание,— сказала женщина,— но другого выхода нет: я на-

божна, и если не сожгу себя, то лишусь своей доброй славы, все будут надо мной смеяться.

Добившись признания, что ее толкает на костер страх перед общественным мнением и тщеславие, Задиг долго еще говорил с ней, стараясь внушить ей хоть немного любви к жизни, и достиг наконец того, что внушил ей некоторое расположение и к ее собеседнику.

— Что вы сделали бы, если бы тщеславие не побуждало вас идти на самосожжение?

— Увы,— сказала женщина,— мне кажется, я попросила бы вас жениться на мне.

Однако Задиг был слишком полон мыслями об Астарте, чтобы принять ее предложение. Но он немедленно отправился к вождям племени, рассказал им о своем разговоре с вдовой и посоветовал издать закон, по которому вдовам разрешалось бы сжигать себя лишь после того, как они не менее часа поговорят с каким-нибудь молодым человеком. И с тех пор ни одна женщина не сжигала себя в Аравии. И одному Задигу жители этой страны обязаны тем, что ужасный обычай, существовавший столько веков, был уничтожен в один день. Задиг стал, таким образом, благодетелем Аравии.

УЖИН

Сеток, не желая разлучаться с человеком, в котором обитала сама мудрость, взял его с собою на большую ярмарку в Бассору, куда должны были съехаться самые крупные негоцианты со всех концов земли. Для Задига было большим утешением видеть такое множество людей из различных стран, собравшихся в одном месте: мир представлялся ему одной большой семьей, сошедшейся в Бассоре. На второй день после приезда ему пришлось сидеть за одним столом с египтянином, индийцем с берегов Ганга, жителем Катая, греком, кельтом и другими чужеземцами, которые во время своих частых путешествий к Аравийскому заливу выучились арабскому языку настолько, что могли на нем объясняться. Египтянин был в сильном гневе.

— Что за отвратительный город эта Бассора! — говорил он.— Мне не дают здесь тысячи унций золота под вернейший в мире залог.

— Как так? — спросил Сеток.— Под какой же залог не дают вам этой суммы?

— Под залог тела моей тетушки,— отвечал египтянин,— женщины, лучше которой не было во всем Египте. Она всегда сопутствовала мне в моих путешествиях, и, когда она умерла в дороге, я сделал из нее превосходнейшую мумию,— в моей стране я получил бы под нее все, что попросил; непонятно, почему здесь мне отказывают даже в тысяче унций золота под такой верный залог!

Излив свой гнев, он принялся было за превосходную вареную курицу, как вдруг индеец, взяв его за руку, сказал с горестью:

— Ах, что вы собираетесь сделать?

— Съесть эту курицу,— ответил владелец мумии.

— Остановитесь! — воззвал к нему индеец.— Очень может быть, что душа покойницы переселилась в тело этой курицы, а вы, вероятно, не захотите съесть вашу собственную тетушку? Варить кур — значит наносить оскорбление природе.

— Что вы пристали ко мне с вашей природой и с вашими курами? — вспыхнул египтянин.— Мы поклоняемся быку, но все-таки едим его мясо.

— Вы поклоняетесь быку? Возможно ли это? — воскликнул житель берегов Ганга.

— Почему же невозможно? — ответил тот.— Вот уже сто тридцать пять тысяч лет, как мы поклоняемся быкам, и никто из нас не видит в этом ничего плохого.

— Как, сто тридцать пять тысяч лет? — воскликнул индеец.— Вы несколько преувеличиваете! С тех пор как Индия заселена, прошло восемьдесят тысяч лет, а мы, конечно, древнее вас. И Брама запретил нам есть быков прежде, чем вам пришло на ум строить им алтари и жарить их на вертеле.

— Куда же вашему забавнику Бrame тягаться с нашим Аписом! — сказал египтянин.— И что он сделал путного?

— Он научил людей читать и писать, и ему обязаны они шахматною игрою,— ответил брамин.

— Вы ошибаетесь,— сказал халдей, сидевший рядом с ним.— Всеми этими великими благами мы обязаны рыбе Оаннесу и по всей справедливости должны почитать только ее. Каждый вам подтвердит, что это было боже-

ственное создание с золотым хвостом и прекрасной человеческой головой, которое ежедневно выходило на три часа из воды и читало людям проповеди. Всякому известно, что у рыбы Оаннеса было несколько сыновей, ставших потом царями. У меня есть ее изображение, и я воздаю ей должные почести. Быков можно есть сколько угодно, но варить рыбу, разумеется, великое святотатство. К тому же вы оба недостаточно древнего и благородного происхождения, чтобы спорить со мною. Египетский народ существует только сто тридцать пять тысяч лет, индийцы могут похвалиться лишь восьмьюдесятьютысячелетним существованием, меж тем как наши календари насчитывают четыре тысячи веков. Поверьте мне, откажитесь от ваших глупых басен, и я дам каждому из вас изображение Оаннеса.

Тогда вмешался в разговор житель Камбалу и сказал:

— Я очень уважаю египтян, халдеев, греков, кельтов, Брамму, быка Аписа и прекрасную рыбу Оаннеса. Но, может быть, Ли или Тянь¹, называйте его как угодно, стоит и ваших быков и рыб. Я не стану говорить о моей стране: она велика, как Египет, Халдея и Индия вместе взятые. Не спорю я и о древности происхождения, ибо важно быть счастливым, а древность рода значения не имеет. Что же касается календарей, то должен вам сказать, что во всей Азии приняты наши и что у нас они были еще до того, как в Халдее научились арифметике.

— Вы все просто невежды! — воскликнул грек. — Разве вам не известно, что отец сущего — хаос, что форма и материя сделали мир таким, каков он теперь?

Грек говорил долго, но его наконец прервал кельт, который, выпив лишнее во время спора, вообразил себя учнее всех остальных. Он клялся, что только Тейтат да еще омела, растущая на дубе, стоят того, чтобы о них говорить; что сам он всегда носит омелу в кармане; что скифы, его предки, были единственными порядочными людьми, когда-либо населявшими землю; что они, правда, иногда ели людей, но тем не менее к его нации следует относиться с глубоким уважением и, наконец, что

¹ Китайские слова, которые означают: Ли — свет, разум, Тянь — небо, и употребляются в смысле «божество».

он здорово проучит того, кто вздумает дурно отозваться о Тейтате.

После этого спор разгорелся с новой силой, и Сеток начал опасаться, что скоро прольется кровь. Но тут поднялся Задиг, который во время спора хранил молчание, и, обратившись сперва к кельту, как к самому буйному спорщику, сказал ему, что он совершенно прав, и попросил у него омелы; затем он похвалил красноречие грека и постепенно внес успокоение в разгоряченные умы. Кайтайцу он сказал всего несколько слов, так как тот был рассудительнее остальных. В заключение Задиг сказал им:

— Друзья мои, вы напрасно спорите, потому что все вы придерживаетесь одного мнения.

Это утверждение все бурно отвергли.

— Не правда ли,— сказал Задиг кельту,— вы поклоняетесь не омеле, а тому, кто создал и ее и дуб?

— Разумеется,— отвечал тот.

— И вы, господин египтянин, вероятно, почитаете в вашем быке того, кто вообще даровал вам быков?

— Да,— сказал египтянин.

— Рыба Оаннес,— продолжал Задиг,— должна уступить первенство тому, кто сотворил и море и рыб.

— Согласен,— отвечал халдей.

— И индеец,— прибавил Задиг,— и катаец признают, подобно вам, некую первопричину. Хотя я не совсем понял достойные восхищения мысли, которые излагал здесь грек, но уверен, что и он также признает верховное существо, которому подчинены и форма и материя.

Грек, которым теперь восхищались и остальные, ответил, что Задиг отлично понял его мысль.

— Итак,— вы все одного мнения,— сказал Задиг,— и, следовательно, вам не о чем спорить.

Все бросились его обнимать. Сеток, очень выгодно продавший свои товары, возвратился с Задигом к себе на родину. Там Задиг узнал, что во время его отсутствия он был судим и приговорен к сожжению на медленном огне.

СВИДАНИЯ

Во время путешествия Задига в Бассору жрецы звезд решили, что его надо покарать. Драгоценные камни и украшения молодых вдов, которых они отправляли на

костер, принадлежали им по праву, и им казалось недостаточным даже сжечь Задига за злую шутку, которую он с ними сыграл. Поэтому они обвинили его в еретических взглядах на небесные светила и поклялись, что слышали, как Задиг утверждал, будто звезды не заходят в море. Это ужасающее кощунство привело судей в содрогание; они едва не разорвали на себе одежды, услышав столь нечестивые слова, и, без сомнения, сделали бы это, будь у Задига чем заплатить за них. Теперь же, в припадке скорби, они удовольствовались тем, что присудили его к сожжению на медленном огне. Сеток в отчаянии пустил в ход все свое влияние, чтобы спасти друга, но тщетно: его вскоре принудили замолчать. Молодая вдова Альмона, обязанная Задигу жизнью и так сильно привязавшаяся к нему, решила спасти его от костра, отвращение к которому он сумел ей внушить. Она обдумала свой план, не говоря о нем никому ни слова. Казнь Задига была назначена на следующее утро, таким образом, в ее распоряжении была ночь. И вот что сделала эта великодушная и разумная женщина.

Надушившись и надев самый роскошный и самый изящный наряд, придавший ее красоте еще более блеска, она попросила личной аудиенции у верховного жреца звезд. Представ перед этим почтенным старцем, она повела такую речь:

— Старший сын Большой Медведицы, брат Тельца, двоюродный брат Большого Пса (таковы были титулы этого духовного лица), я жажду поверить вам свои страхи и сомнения. Я очень боюсь, что совершила ужасный грех, не последовав на костер за моим дорогим супругом. В самом деле, что мне было беречь? Это глennое и уже увядшее тело? — С этими словами она откинула длинные шелковые рукава и обнажила свои прекрасные, ослепительно белые руки. — Вы видите, на них даже смотреть не стоит, — сказала она.

Но верховный жрец считал, что, напротив, очень даже стоит. Его глаза выразили это, а уста подтвердили. Он стал клясться, что в жизни не видал таких пленительных рук.

— Увы, — сказала ему вдова, — руки, может быть, еще не так плохи, как остальное, но согласитесь, что о груди совсем уже не стоило жалеть. — И она открыла самую соблазнительную грудь, какую когда-либо созда-

вала природа. Розовый бутон на яблоке из слоновой кости в сравнении с ее грудью казался бы мареной на самшите, а свеживымытые ягнята — грязно-желтыми. Эта грудь, большие черные глаза, томно сиявшие и полные нежной страсти, щеки, розовые, как кровь с молоком, нос, несколько не напоминавший башни горы Ливанской, губы, скрывавшие в своей коралловой оправе великолепный жемчуг Аравийского моря, — все это так подействовало на старца, что ему стало казаться, будто он снова двадцатилетний юноша. Он пролепетал ей нежное признание. Видя, как он воспламенился, Альмона стала просить о помиловании Задига.

— Увы, прекрасная дама, — сказал верховный жрец, — если я и соглашусь простить его, это ни к чему не приведет, так как помилование его должно быть написано тремя моими собратьями.

— Все-таки подпишите, — сказала Альмона.

— Охотно, — отвечал жрец, — но с условием, что за мое потворство вы наградите меня вашей благосклонностью.

— Вы оказываете мне слишком большую честь, — сказала Альмона. — Если пожелаете прийти ко мне, когда зайдет солнце и блестящая звезда Шит появится на горизонте, вы найдете меня возлежащей на розовой софе и сделаете с вашей служанкой все, что вам заблагорассудится.

Она вышла, унося с собой бумагу с его подписью. Старец, томимый любовью и недоверием к своим силам, остаток дня употребил на омовения; выпив напиток, составленный из цейлонской корицы и драгоценных тидорских и тернатских пряностей, он с нетерпением ожидал появления звезды Шит.

Между тем прекрасная Альмона отправилась ко второму верховному жрецу. Этот стал уверять ее, что солнце, луна и все небесные светила не более как блуждающие огоньки в сравнении с ее прелестями. Она попросила у него той же милости, а он у нее — той же награды. Альмона дала себя победить и назначила свидание второму верховному жрецу при восходе звезды Альджениб. От него она отправилась к третьему и четвертому, получила от каждого подпись и назначила им свидания на восходе других звезд. Возвратившись после того домой,

она попросила судей прийти к ней по очень важному делу. Судьи пришли, она показала им четыре подписи и объяснила, за какую цену жрецы продали помилование Задига. Потом явились жрецы, каждый в назначенное ему время, и очень изумились, застав своих собратьев, а в особенности увидев судей, перед которыми был обнаружен их позор. Задиг был спасен. Сеток же, восхищенный находчивостью Альмоны, женился на ней.

Облобызав стопы прекрасной своей избавительницы, Задиг удалился. Расставаясь, они с Сетоком плакали, клялись в вечной дружбе и обещали, что тот из них, кто первым достигнет славы и богатства, известит об этом другого.

Задиг направился в сторону Сирии, непрестанно думая о несчастной Астарте и размышляя о судьбе, которая так упорно преследовала его, играя его жизнью.

— Как! — говорил он. — Я получил четыреста унций золота за то, что видел, как пробежала собака! Я был присужден к смерти через усечение головы за четыре плохих стиха во славу короля! Едва не был задушен, потому что королева носит туфли такого же цвета, как и моя шапка! Отдан в рабство за то, что помог женщине, которую избивали, и чудом избежал костра, на котором меня хотели сжечь за то, что я спас жизнь всем юным арабским вдовам!

РАЗБОЙНИК

Задиг добрался до сирийской границы Каменистой Аравии. Он ехал мимо укрепленного замка, как вдруг оттуда выскочили вооруженные арабы. Они окружили Задига с криками: «Все ваше принадлежит нам, а вы сами — нашему господину!» Вместо ответа Задиг выхватил меч; храбрый слуга последовал его примеру. Они уложили на месте первых арабов, поднявших на них руку; число нападавших удвоилось, но путники не потеряли присутствия духа и решили погибнуть с оружием в руках. Два человека защищались от целой толпы. Такой неравный бой не мог длиться долго. Владелец замка по имени Арбогад, увидав из окна чудеса храбрости, проявленные Задигом, проникся к нему уважением. Он поспешно вышел, разогнал своих людей и освободил обоих путников.

— Все, что попадает на мою землю,— мое,— сказал он,— так же как и все, что я нахожу на чужих землях. Но вы так храбры, что для вас я делаю исключение.— Затем он привел Задига в замок, приказав своим людям хорошо обходиться с ним, а вечером пригласил его на ужин.

Владелец замка был одним из тех арабов, которых называют ворами; но наряду со множеством дурных поступков он иногда делал и добро; жадный вор и дерзкий грабитель, он был в то же время неустрашимым воином, щедрым и довольно мягким в обращении человеком, обжорой за столом, веселым кутилой и, главное, простодушным малым. Ему чрезвычайно понравился Задиг, чья оживленная беседа помогла продлить ужин. Наконец Арбогад сказал ему:

— Советую вам поступить ко мне на службу. Вы не пожалеете об этом, потому что ремесло мое прибыльно, и со временем вы сможете занять не менее высокое положение, чем я.

— Разрешите вас спросить,— сказал Задиг,— давно вы занимаетесь вашим благородным ремеслом?

— В самой ранней юности я был слугою у одного довольно сметливого араба,— отвечал тот.— Положение мое было невыносимо. Я приходил в отчаяние, видя, что на земле, которая одинаково принадлежит всем, судьба ничего не оставила на мою долю. Я поделился своим горем с одним старым арабом, который сказал мне: «Сын мой, не отчаивайся. Была некогда песчинка, которая печалилась, что она — ничто среди песков пустыни; через несколько лет она стала алмазом и считается теперь лучшим украшением короны индийского царя». Эти слова произвели на меня большое впечатление: я был песчинкой, но решил сделаться алмазом. Начал я с того, что украд двух лошадей; потом, набрав себе товарищей, стал грабить небольшие караваны. Так я постепенно уничтожил неравенство отношений, существовавшее между мною и остальными людьми. Я получил свою долю из благ мира сего и даже был вознагражден с избытком. Ко мне относятся с большим почтением, я — разбойник-вельможа. С помощью оружия я завладел этим замком; сирийский сатрап хотел отнять его у меня, но я уже был так богат, что ничего не боялся; я дал денег сатрапу и не только удержал за собой замок, но еще и увеличил

свои владения. Он даже назначил меня сборщиком податей, вносимых жителями Каменистой Аравии царю царей. Теперь я собираю подати, но не плачу их.

Однажды великий Дестерхам Вавилона послал сюда от имени царя Моабдара некоего сатрапишку с приказанием удавить меня. Но прежде, чем он прибыл со своим поручением, меня уже обо всем известили. Я велел удавить при нем четырех человек, которым поручено было затянуть петлю на моей шее, и затем спросил у него, сколько он должен был заработать на этом деле. Он ответил, что рассчитывал получить до трехсот золотых. Я ему прямо сказал, что у меня он будет зарабатывать гораздо больше. Я его назначил моим подручным. Теперь он один из лучших и богатейших моих помощников. Поверьте мне, вы преуспеете не меньше, чем он. Никогда еще не было более благоприятного времени для разбоя, чем теперь, когда Моабдар убит и в Вавилоне царит смута.

— Как! Моабдар убит? — воскликнул Задиг. — А что же случилось с царицей Астартой?

— Не знаю, — отвечал Арбогад, — знаю только, что Моабдар сошел с ума, что он убит, что Вавилон стал настоящим разбойничьим вертепом, что государство опустошено, хотя для поживы осталось еще немало, и я не раз делал туда чудесные набег.

— Но царица, — молил Задиг, — ради бога, не знаете ли вы чего-нибудь об ее участи?

— Мне что-то говорили о гирканском князе, — отвечал тот. — Если только она не была убита во время стычки, то, вероятно, находится среди его наложниц; впрочем, меня больше интересует добыча, чем сплетни. Во время моих набегов я захватывал в плен многих женщин, но у себя не оставлял ни одной; когда они хороши собою, я продаю их за дорогую цену, не спрашивая о том, кто они такие. Ведь женщин покупают не за титул, и на безобразную царицу вряд ли найдется охотник. Может быть, я продал царицу Астарту, а может быть, она умерла, но это меня не касается, и вам, я полагаю, тоже нет основания беспокоиться о ней. — Говоря это, он пил так усердно и говорил так несвязно, что ничего определенного Задиг не узнал.

Он неподвижно сидел, подавленный и угнетенный. Арбогад не переставал пить и рассказывать разные бас-

ни, непрерывно повторяя, что он счастливейший из людей, и уговаривая Задига сделаться таким же счастливецом. Наконец, одурманенный вином, он спокойно отправился спать. Задиг провел ночь в сильнейшем волнении. «Итак,— говорил он себе,— царь сошел с ума, убит!.. Я не могу не пожалеть о нем! Государство разорено, а этот разбойник счастлив! О, рок! О, судьба! Вор счастлив, а одно из прекраснейших созданий природы погибло, может быть, самым ужасным образом или живет жизнью, которая хуже смерти. О, Астарта! Что случилось с вами?»

Едва наступил день, как он стал расспрашивать всех обитателей замка. Но все были заняты, и никто ему не отвечал: они делили добычу после ночного грабежа. Единственно, чего он мог добиться в этой суматохе, это разрешения уехать. Он не замедлил им воспользоваться, более чем когда-либо погруженный в грустные думы.

В волнении и беспокойстве совершал свой путь Задиг, не переставая думать о несчастной Астарте, о царе Вавилона, о верном Кадоре, о счастливом разбойнике Арбогаде, о своенравной женщине, похищенной вавилонянами на границе Египта, и, наконец, о всех пережитых им горестях и бедствиях.

РЫБАК

Все еще не переставая оплакивать свою судьбу и считать себя воплощением человеческого несчастья, Задиг добрался до речки, в нескольких милях от замка Арбогада. На берегу лежал рыбак; обратив глаза к небу, он держал в ослабевшей руке рыбацьи сети, которые, видимо, забыл забросить.

— Есть ли в мире человек несчастнее меня? — говорил рыбак.— Я был, по всеобщему признанию, самым преуспевающим из вавилонских торговцев сливочными сырами — и разорился. У меня была красавица жена — и она изменила мне. Ветхий домишко, которым я еще владел, — и тот на моих глазах был разграблен и разрушен. Теперь я живу в шалаше: единственное мое пропитание — рыбная ловля, но рыба совсем перестала ловиться. О мои сети! Я не брошу вас больше в воду, я сам туда брошусь.— И с этими словами он встал и направил-

ся к реке с решимостью человека, который хочет броситься в воду и положить конец своей жизни.

«Что я вижу! — удивился Задиг. — Значит, есть люди, такие же несчастные, как я!» Едва промелькнула в его уме эта мысль, как его охватило горячее желание спасти жизнь рыбаку. Подбежав к нему, Задиг остановил его и, полный сердечного участия, стал расспрашивать и утешать. Говорят, что при виде чужого горя люди чувствуют себя менее несчастными; по мнению Зороастра, дело тут не в себялюбии, а во внутренней потребности. К несчастному человека влечет в таких случаях сходство положений. Радость счастливого была бы оскорбительной, а двое несчастных — как два слабых дерева, которые, опираясь друг на друга, противостоят буре.

— Почему вы даете горю одолеть себя? — спросил Задиг у рыбака.

— Потому что не вижу никакого выхода для себя, — ответил тот. — Я был самым уважаемым лицом в деревне Дерльбак, в окрестностях Вавилона, и изготовлял с помощью моей жены лучшие сливочные сыры во всем государстве. Царица Астарта и знаменитый министр Задиг их очень любили. Я продал им шестьсот сыров. Однажды я отправился в Вавилон — хотел получить за них деньги — и вдруг узнаю, что царица Астарта и Задиг исчезли. Я побежал в дом к господину Задигу, которого до того времени никогда не видел, и нашел там полицейских великого Дестерхама, которые, запасшись царским приказом, на законном основании и с соблюдением порядка грабили его дом. Я помчался на кухню царицы: там одни царские повара говорили, что она умерла, другие — что она в тюрьме, третьи клялись, что она бежала, но все в один голос утверждали, что за сыры мне ничего не заплатят. Я пошел с женой к господину Оркану, который тоже был одним из моих постоянных покупателей. Мы попросили его оказать нам поддержку в нашем несчастье. Он оказал поддержку моей жене, а мне отказал. Она была белее сливочных сыров, от которых пошли все мои беды, и даже тирский пурпур не ярче румянца, оживлявшего белизну ее лица. Поэтому Оркан оставил ее у себя, а меня выгнал. Я написал моей милой жене отчаянное письмо, а она сказала посыльному: «Ах да! Я знаю, кто это пишет, я слышала, что он

мастер делать сливочные сыры. Пусть придет мне сыру, я ему заплачу».

С горя я решил обратиться к правосудию. У меня оставалось шесть унций золота; две из них пришлось отдать законнику, с которым я советовался, две — стряпчему, взявшемуся вести мое дело, и две — секретарю главного судьи. Но мое дело так и не началось, а я издержал больше, чем стоили и сыры и жена вместе взятые. Тогда я возвратился к себе в деревню с намерением продать дом, чтобы вернуть жену.

Мой дом стоил добрых шестьдесят унций золота, но все видели, что я беден и мне надо поскорей продать его. Первый, к кому я обратился, предложил мне за него тридцать унций, второй — двадцать, а третий — десять. Я до такой степени был ослеплен горем, что готов уже был согласиться, как вдруг гирканский князь вторгся в Вавилон и на своем пути предал все огню и мечу. Мой дом был сперва разграблен, а потом сожжен.

Потеряв, таким образом, деньги, жену и дом, я удалился в эту местность, где вы меня теперь видите. Я попытался заработать себе на хлеб насущный рыбной ловлей, но рыбы издеваются надо мной, как люди. Ничего у меня не ловится, и я умираю с голоду. Не будь вас, мой высокопоставленный утешитель, я бросился бы в реку!

Рыбак рассказал все это не сразу, потому что Задиг, вне себя от волнения, прерывал его на каждом слове.

— Значит, вам ничего неизвестно об участи царицы?

— Нет, господин мой, — отвечал рыбак, — я знаю только, что царица и Задиг не заплатили мне за сливочные сыры, что у меня отняли жену и что я в отчаянии.

— Я убежден, — сказал Задиг, — ваши деньги не пропадут. Мне говорили об этом Задиге, что он честный человек: если только он вернется в Вавилон, как он надеется, то возместит вам с избытком все, что должен; что же касается вашей жены, которая не так честна, как Задиг, то вряд ли вам стоит добиваться ее возвращения. Послушайте меня, отправляйтесь в Вавилон; я там буду раньше вас, так как еду верхом, а вы пойдете пешком. Обратитесь к прославленному Кадору, скажите ему, что встретили его друга, и ожидайте меня у него. Ступайте... Авось вы не всегда будете так несчастны. О могущественный Оромазд, — продолжал он, — ты избрал

меня, дабы я утешил этого человека, но кого ты избе-
решь, дабы утешить меня? — С этими словами он отдал
половину всех денег, что вывез из Аравии, рыбаку, и
тот, потрясенный и счастливый, облобызал ноги другу
Кадора, повторяя: «Вы мой ангел-спаситель!»

Между тем Задиг продолжал расспрашивать его о
Вавилоне, и из глаз его лились слезы.

— Что же это, господин мой, — воскликнул рыбак, —
неужели и вы тоже несчастны, вы, делающий столько
добра?

— Во сто раз несчастнее тебя, — отвечал Задиг.

— Возможно ли, — продолжал недоумевать про-
стак, — чтобы дающий был несчастнее берущего?

— Дело в том, — отвечал Задиг, — что твое главное
несчастье заключается в нужде, а виною моих бед — мое
же собственное сердце.

— Не отнял ли у вас Оркан жену? — спросил рыбак.
Это напомнило Задигу его злоключения, и он перебрал
в уме все свои беды, начиная с царицыной суки и кон-
чая встречей с Арбогадом.

— Да, — сказал он рыбаку, — Оркан заслуживает
наказания, но как раз такие люди и пользуются обычно
благосклонностью судьбы. Как бы то ни было, иди к
господину Кадору и жди у него.

Они расстались: рыбак шел, благословляя судьбу,
а Задиг ехал, сетуя на нее.

ВАСИЛИСК

Подъехав к прекрасному лугу, Задиг увидел на нем
женщин, которые что-то усердно искали. Он решился
спросить у одной из них, не может ли он помочь им в
поисках.

— Боже вас сохрани, — отвечала сириянка, — к тому,
что мы ищем, могут прикосаться одни только женщины.

— Это очень странно, — сказал Задиг. — Осмелюсь
ли задать вам вопрос, что это за вещь, к которой могут
прикосаться одни только женщины?

— Это василиск, — отвечала она.

— Василиск, сударыня? А для чего, скажите на ми-
лость, вы ищете василиска?

— Для нашего государя и повелителя Огула, дворец

которого вы видите вон там, на берегу реки, по ту сторону луга. Мы его покорные рабыни. Господин Огул болен; врач приказал ему съесть василиска, сваренного в розовой воде, а так как это очень редкое животное и дается в руки только женщинам, то господин Огул обещал сделать ту из нас, которая принесет ему василиска, любимой своей женою. Будьте же добры, не мешайте мне искать, потому что понимаете сами, сколько я потеряю, если мои подруги меня опередят.

Задиг не стал больше мешать сирянке и ее подругам искать василиска и продолжал свой путь. Подъехав к небольшому ручью, он увидел женщину, лежавшую на траве и ничего не искавшую. Облик ее был величествен, лицо скрыто покрывалом. Она наклонилась к ручью; тяжелые вздохи вырывались из ее груди. В руке она сжимала палочку и чертила ею буквы на прибрежном песке, отделявшем траву от ручья. Задиг любопытствовал взглянуть, что пишет эта женщина; он подошел поближе и увидел сначала букву «З», потом «а». Это его удивило. Потом появилось «д». Он вздрогнул. Удивлению его не было предела, когда он увидел две последние буквы своего имени. Несколько минут он оставался недвижим, потом проговорил прерывающимся голосом:

— Благородная дама, простите незнакомцу, гонимому судьбой, что он осмеливается спросить вас, по какому удивительному случаю ваша божественная рука начертала здесь имя Задига?

Услыхав голос Задига и его слова, женщина дрожащей рукой приподняла покрывало, взглянула на Задига, испустила крик удивления, любви и радости и, не выдержав столь сильных чувств, разом овладевших ею, упала без памяти в его объятия. То была Астарта, царица вавилонская, — та самая, которую Задиг обожал, не переставая упрекать себя за это, та самая Астарта, которая стояла ему стольких слез и за участь которой он так тревожился. На мгновение он сам лишился сознания, но когда глаза его встретились с томным взором Астарты, полным смущения и нежности, он воскликнул:

— О всемогущие боги! Вы, которые управляете судьбою слабых смертных, ужели вы наконец возвращаете мне Астарту? И где, в какое время, при каких обстоятельствах я вчовь ее обретаю! — С этими словами он опустился на колени перед царицей вавилонской и при-

ник лбом к праху у ее ног. Она подняла его и посадила рядом с собой на берегу ручья. Астарта то и дело вытирала глаза, на которые беспрестанно набегали радостные слезы, начинала говорить, но рыдания прерывали ее, принималась расспрашивать о том, какой случай свел их вместе, и, не давая ему ответить, задавала новые вопросы, рассказывала о своих бедах и в то же время требовала, чтобы Задиг поделился с нею своими. Когда оба немного успокоились, Задиг в нескольких словах поведал ей, какие злоключения привели его на этот луг.

— Но, несчастная и достойная царица, как вы оказались здесь, в этой глуши, в одежде рабыни, среди других рабынь, ищущих василиска, которого нужно сварить в розовой воде по предписанию врача?

— Пока они ищут василиска,— сказала прекрасная Астарта,— я расскажу вам все, что я вытерпела и что теперь прощаю небесам, ибо они все же позволили мне вновь свидеться с вами. Как вы знаете, царю, моему супругу, не нравилось, что вы были самым приятным человеком при дворе, и потому он однажды ночью решил удавить вас и отравить меня. Вы также знаете, что небо помогло моему немому карлику известить меня о приказе его величества. Верный Кадор, заставив вас исполнить мою волю и уехать, глухой ночью решился пробраться потайным ходом ко мне и насильно увел меня в храм Оромазда. Там его брат, маг, спрятал меня в колоссальную статую, которая своим основанием касалась пола, а головою — сводов храма. В ней я была, как в могиле, но мне прислуживал сам маг, и я ни в чем не нуждалась. Между тем на рассвете аптекарь его величества вошел в мою комнату с напитком, составленным из белены, опиума, цикуты, чемерицы и аконита, а к вам в это же время был послан один из царских телохранителей с припрятанным голубым шелковым шнурком. Но ни тот, ни другой не нашли своих жертв. Кадор, чтобы лучше обмануть царя, решил выступить перед ним нашим обвинителем. Он сказал, что вы бежали в Индию, а я скрылась в Мемфис; за мной и за вами была послана погоня.

Гонцы, отправленные за мной, не знали меня в лицо, так как я почти никому не показывалась, кроме вас, и то только в присутствии моего супруга и по его приказанию. Им описали меня, и они пустились в путь. На еги-

петской границе они увидели женщину одного со мною роста, но, может быть, более привлекательную. Она была в слезах, вне себя от горя. Не сомневаясь, что это царица вавилонская, они привели ее к Моабдару. Их ошибка сперва разгневала царя, но вскоре, рассмотрев эту женщину поближе, он нашел ее очень красивой и утешился. Ее звали Мисуфа. Я узнала потом, что на египетском языке это имя означает «прекрасная капризница». И действительно, она вполне заслуживала свое прозвище, но ловкость ей была присуща не менее, чем своенравность. Мисуфа понравилась Моабдару и покорила его до такой степени, что он сделал ее своей женой. Тогда-то ее нрав и проявился полностью: она требовала исполнения всех безумных прихотей, какие только приходили ей в голову. Однажды она пожелала, чтобы верховный маг, старый и больной подагрой, плясал перед нею, и когда он отказался, начала его жестоко преследовать. Потом она приказала главному конюшему испечь ей пирог с вареньем. Сколько тот ни уверял ее, что он не пирожник, все-таки ему пришлось испечь пирог, и его прогнали за то, что пирог пригорел. На место конюшего она назначила своего карлика, а на место канцлера — пажу! Так управляла она Вавилоном. Все стали жалеть обо мне. Царь, который был довольно здоровым человеком до той поры, пока не вздумал отравить меня и удавить вас, утопил, казалось, свои добродетели в чудовищной страсти к прекрасной капризнице. Он пришел в храм в великий день священного огня. Я слышала, как он молился за Мисуфу у подножия той статуи, в которой я была спрятана. Громким голосом крикнула я ему: «Боги отвергают молитвы царя, ставшего тираном, царя, который хотел умертвить благоразумную жену, чтобы жениться на сумасбродке». Моабдар был до того поражен этими словами, что ум его помутился. Моего приговора и тирании Мисуфы оказалось достаточно, чтобы он потерял рассудок. Он сошел с ума через несколько дней.

Его безумие, сочтенное вавилонянами за небесную кару, послужило сигналом к возмущению. Народ восстал и взялся за оружие. Вавилон, с давних пор погруженный в праздную негу, был охвачен страшной междоусобицей. Меня выпустили из моей статуи и поставили во главе одной из двух борющихся партий. Кадор помчался

за вами в Мемфис. Между тем князь гирканский, узнав об этих роковых происшествиях, привел с собою и третью партию — свою армию. Он атаковал царя, который вместе со своей сумасбродной египтянкой попытался дать ему отпор. Пронзенный неприятельскими копьями, Моабдар погиб, а Мисуфа попала в руки победителя. К своему несчастью, я тоже была захвачена гирканцами, и меня доставили к князю одновременно с Мисуфой. Вам, без сомнения, лестно будет услышать, что он нашел меня красивее египтянки, но зато вас огорчит, что он предназначил меня для своего гарема. Он очень решительно сказал, что придет ко мне сразу по окончании предпринятой им военной экспедиции. Можете себе представить, в каком я была отчаянье. Мои узы с Моабдаром были разорваны, я могла принадлежать Задигу, а между тем попала во власть к этому варвару! Я отвечала ему с гордостью, внушенной мне моим саном и моими чувствами. Я часто слышала, что особам моего ранга небо дарует то величие, которое одним словом, одним взглядом внушает безумцам, осмелившимся забыть, самое глубокое почтение. Я говорила, как царица, но со мной обошлись, как со служанкой. Гирканец, не удостоив меня даже словом, сказал своему черному евнуху, что я дерзка, но, на его взгляд, хороша собой. Он приказал ему обходиться со мной, как положено с фаворитками, холить и лелеять меня, чтобы оживить цвет моего лица и чтобы я стала более достойной его милости в тот день, когда он пожелает почтить меня ею. Я ему сказала, что убью себя. Он отвечал мне со смехом, что из-за этого женщины себя не убивают, что он привык к таким угрозам, и ушел от меня с видом человека, который раздобыл попугая для своего птичника. Достойное положение для величайшей на земле царицы и, более того, для сердца, принадлежащего Задигу!

При этих словах Задиг бросился к ее ногам и оросил их слезами. Астарта нежно подняла его и продолжала:

— Итак, я оказалась добычей варвара и соперницей сумасбродной женщины, вместе с которой была заключена. Она рассказала мне о своем приключении в Египте. По ее описанию, по времени, по верблюду и по всем остальным обстоятельствам я догадалась, что за нее бился Задиг. Я не сомневалась в том, что вы находитесь в Мемфисе, и решила бежать туда. «Прекрасная Мису-

фа,— сказала я ей,— у вас куда более веселый нрав, чем у меня, и вы сможете лучше развлечь гирканского князя. Помогите мне бежать, и вы одна будете им править, осчастливите меня и в то же время избавитесь от соперницы». Мисуфа согласилась, и я тайно бежала с рабой-египтянкой.

Я приближалась уже к Аравии, как вдруг знаменитый разбойник по имени Арбогад захватил меня в плен и продал купцам, которые и привели меня в замок, где живет господин Огул. Он купил меня, не зная, кто я такая. Это великий чревоугодник, который думает только о том, чтобы хорошо покушать, и считает, что бог создал его лишь для того, чтобы наслаждаться едой. Он так толст, что ему постоянно грозит опасность задохнуться. Врач, который его пользует, не имеет на него никакого влияния, когда желудок его в исправности, и деспотически управляет им, когда Огул объестся. Он-то и убедил Огула, что вылечить его можно только василиском, сваренным в розовой воде. Огул обещал свою руку той невольнице, которая принесет ему василиска. Как видите, я не спешу оспаривать у них эту честь, особенно с той минуты, как небеса даровали мне встречу с вами.

И тут Астарта и Задиг сказали друг другу все, что внушают благородным и страстным сердцам долго скрываемые чувства, нежная любовь и перенесенные бедствия, и духи, покровительствующие влюбленным, передали их слова самой Венере.

Женщины возвратились к Огулу с пустыми руками. Задиг также явился к нему и сказал следующее:

— Да снизойдет с небес бессмертное здоровье, чтобы заботиться о днях ваших. Я врач. Узнав о вашей болезни, я поспешил к вам и принес василиска, сваренного в розовой воде. Я, конечно, не собираюсь выйти за вас замуж и потому прошу вас только об одном: отпустите на волю молодую рабыню-вавилонянку, которую недавно привели к вам; если я не буду иметь счастья вылечить прославленного господина Огула, пусть он оставит меня рабом у себя вместо нее.

Предложение было принято. Астарта отправилась в Вавилон со слугою Задига, обещав тотчас же прислать к нему гонца и известить его обо всем, что там произойдет. Их прощание было столь же нежно, как и встреча.

Минута, когда люди обретают друг друга, и минута, когда расстаются,— две значительнейших эпохи в жизни человека, говорит великая книга Зенд. Задиг клялся царице в любви — и каждое его слово было правдой, а царица даже не могла выразить, как сильна ее любовь к Задигу.

Между тем Задиг сказал Огулу:

— Повелитель, моего василиска есть нельзя, его целебная сила должна проникнуть в вас через поры. Я зашил его в бурдючок из тонкой кожи, надутый воздухом. Вы должны изо всех сил бросать его мне, а я буду бросать его вам обратно, и через несколько дней вы увидите, как могущественно мое искусство.

В первый день Огул задышался, ему казалось, что он умрет от усталости. На другой день он устал уже меньше и спал лучше. Через неделю к нему вернулись его прежняя сила, здоровье, легкость и веселое расположение духа, словно он опять переживал лучшую пору своей жизни.

— Вы играли в мяч и были воздержанны в пище и питье,— сказал ему Задиг.— Узнайте же, что василиска в природе не существует, что здоровыми бывают только люди воздержанные и деятельные и что возможность совместить неумеренность со здоровьем — такая же химера, как философский камень, астрология и богословие магов.

Старший врач Огула, видя, как этот человек опасен для медицины, сговорился с придворным аптекарем отравить Задига искать василиска на том свете. Таким образом, Задиг, который всеми несчастьями обязан был своим добрым делам, и тут едва не погиб за то, что вылечил вельможного обжору. Его пригласили на великолепный обед и собирались отравить вторым блюдом, но он еще не доел первого, когда ему доложили о гонце от Астарты. Задиг встал из-за стола и уехал. «Кто любим прекрасной женщиной,— говорил великий Зороастр,— тот всегда вывернется из беды на этом свете».

ПОЕДИНКИ

Царица была принята в Вавилоне с тем восторгом, с каким всегда встречают прекрасных государынь, издавших превратности судьбы. В городе стало спокойнее.

Князь гирканский был убит в сражении. Вавилоняне, одержав победу, объявили, что Астарта выйдет замуж за того, кого они выберут царем. Но они не желали, чтобы высочайший в мире сан — сан царя вавилонского и мужа Астарты — зависел от интриг и козней. Они поклялись посадить на престол самого храброго и самого мудрого из претендентов. Для этого в нескольких милях от города устроили обширное ристалище и окружили его великолепно разукрашенным амфитеатром. Претендентам надлежало явиться туда в полном боевом убранстве. Каждому было отведено отдельное помещение позади амфитеатра, где никто не мог бы ни увидеть его, ни поговорить с ним. Им предстояло четырежды сразиться на копьях. Те, кому удалось бы победить четырех соперников, должны были потом сразиться друг с другом; оставшийся последним на поле сражения и будет победителем турнира. Четыре дня спустя он должен снова предстать в том же вооружении перед магами и разгадать предложенные ими загадки. Если он не разгадает загадок, то не сможет быть избран царем, и состязание начнется снова и продолжится до тех пор, пока не сыщется человек, который одержит победу в обоих турнирах. Вавилоняне непременно хотели избрать царем не только самого храброго, но и мудрейшего. Царица в это время должна была находиться под строгим надзором. Ей дозволялось присутствовать на турнирах, но только при условии, что лицо ее будет скрыто покрывалом и она не станет говорить ни с кем из претендентов, дабы устранить возможность пристрастия и несправедливости.

Об этом-то и извещала Астарта своего возлюбленного, выражая надежду, что ради нее он постарается быть и самым мужественным, и самым мудрым. Задиг пустился в путь, прося Венеру укрепить его мужество и просветить ум. Прибыв на берег Евфрата накануне великого дня, он вписал свой девиз в список девизов других рыцарей, скрывая, согласно предписанию, свое лицо и имя, и затем отправился отдохнуть в отведенное ему помещение. Его друг Кадор, возвратившийся в Вавилон после тщетных розысков в Египте, распорядился передать ему снаряжение, присланное царицей, а от себя прибавил великолепного персидского коня. Задиг понял, что все это — дары Астарты, и мужество его удвоилось, а любовь преисполнилась новыми упованиями.

На следующий день, когда царица уселась под балдахин, украшенным драгоценными камнями, а вавилонские дамы, вельможи и горожане заняли места в амфитатре, соперники появились на ристалище. Каждый положил свой девиз к ногам великого мага. Бросили жребий. Девиз Задига оказался последним. Первым выступил на арену некий богатый вельможа по имени Итобад, человек суетный, не блиставший храбростью, неуклюжий и недалекий. Челядь убедила Итобада, что он непременно должен стать царем, и он все время повторял: «Да, такой человек, как я, создан, чтобы царствовать». Он был вооружен с головы до ног; его золотые доспехи блистали зеленой эмалью, на шлеме развевались зеленые перья, копье украшали зеленые ленты. Уже по тому, как Итобад сидел на лошади, все сразу поняли, что скипетр Вавилона небо предназначило не ему. Первый противник вышиб его из седла, а второй опрокинул вверх тормашками на круп лошади. Итобад опять сел в седло, но так неловко, что весь амфитеатр стал хохотать. Третий противник даже не счел нужным пустить в ход копье; увернувшись от нападения, он схватил Итобада за правую ногу и, заставив описать в воздухе дугу, бросил на песок. Оруженосцы, смеясь, подбежали к нему и снова посадили в седло. Четвертый рыцарь, взяв его за левую ногу, тоже бросил на песок, но уже в другую сторону. Когда под общий свист Итобада вели в помещение, где по правилам ему предстояло провести ночь, он еле тащился, но все-таки повторял: «Как не повезло такому человеку, как я!»

Другие рыцари лучше справились со своей задачей. Некоторые победили двух противников подряд, иные даже трех. Но четырех победил один только князь Отам. Наконец наступил черед Задига: он с необычайной ловкостью выбил из седла четырех рыцарей подряд. Теперь все зависело от того, кто из двоих выйдет победителем, Отам или Задиг. На первом вооружение было голубое, с золотой насечкой и голубые перья на шлеме; доспехи Задига сверкали белизной. Зрители разделились на две партии: одни желали успеха голубому рыцарю, другие — белому. Царица с замиранием сердца молила небо за белый цвет.

Бойцы нападали и увертывались с такой ловкостью, наносили друг другу такие искусные удары копьем и так

крепко держались в седле, что всем, за исключением царицы, хотелось возвести на престол одновременно двух царей. Наконец, когда кони устали, а копья сломались, Задиг пустил в ход хитрость: он подъехал к голубому рыцарю сзади, вскочил на круп его коня и, схватив соперника поперек туловища, кинул его на арену. Затем, усевшись в седло, стал гарцевать вокруг распростертого Отама. Все зрители закричали: «Победа за белым рыцарем!» Тут Отам в бешенстве вскакивает и хватается за меч; Задиг спрыгивает с коня и тоже обнажает меч. И вот они снова сражаются, и сила и ловкость поочередно торжествуют.

Перья их шлемов, бляхи на ручей, кольца панцирей разлетаются под градом стремительных ударов. Рыцари колют и рубят направо и налево, целясь то в голову, то в грудь, отступают, сходятся, примериваются друг к другу, снова сходятся, схватываются, извиваются, словно змеи, нападают, словно львы. От наносимых ударов снопами сыплются искры. Но вот Задиг, собравшись с силами, останавливается, делает ложный выпад, потом повергает противника наземь и обезоруживает его.

— О белый рыцарь, — восклицает Отам, — вам царствовать в Вавилоне!

Царица была вне себя от радости. Белого и голубого рыцарей, согласно установленному порядку, отвели каждого в его помещение, так же как и остальных претендентов. Принесли пищу и прислуживали им немые рабы. Легко догадаться, что Задигу прислуживал карлик царицы. Потом им дали выспаться в одиночестве до следующего утра, то есть до того времени, когда победитель должен был представить свой девиз великому магу и назвать себя.

Задиг, хотя и был влюблен, спал от усталости мертвым сном. Но Итобад, чья каморка была рядом, совсем не спал. Он встал ночью, вошел к Задигу и, взяв его белое вооружение с девизом Задига, положил вместо него свое зеленое.

На рассвете он пошел к великому магу и гордо объявил, что победителем был не кто-нибудь, а такой человек, как он. Это было полной неожиданностью для всех, однако его провозгласили победителем. Задиг между тем продолжал спать. Изумленная и повергнутая в отчаяние

Астарта вернулась в Вавилон. К тому времени, когда Задиг проснулся, амфитеатр был уже почти пуст. Задиг стал искать свое вооружение, но нашел только зеленые доспехи, которые ему и пришлось надеть, ибо ничего другого не было. Недоумевая и негодуя, облачился он в них и в этом наряде явился на арену.

Все оставшиеся в амфитеатре и в цирке встретили его свистом. Его окружили со всех сторон и осыпали оскорбительными насмешками. Никогда еще человек не испытывал подобного унижения. Наконец Задиг, потеряв терпение, с саблей в руках заставил обидчиков разбежаться. Но он не знал, что ему предпринять. Он не мог увидеться с царицей, не мог потребовать, чтобы ему вернули белое вооружение, которое она ему прислала, потому что это значило бы ее скомпрометировать. Таким образом, в то время как она предавалась печали, он был в ярости и смятении. Перебирая в уме все свои неудачи, начиная со злоключения с женщиной, ненавидевшей кривых, и кончая пропажею вооружения, он одиноко шел по берегу Евфрата и думал, что родился под несчастливой звездой, обрекавшей его на безвыходные страдания. «Вот что значит,— говорил он себе,— проснуться слишком поздно; если бы я меньше спал, я был бы царем вавилонским и мужем Астарты. Мои знания, честность, мужество постоянно приносили мне только несчастья». Он стал даже роптать на провидение и готов был поверить, что миром управляет жестокий рок, который угнетает добродетельных людей и покровительствует негодяям. Огорчало его и то, что он вынужден был носить зеленые доспехи, навлекшие на него столько насмешек. Он продал их за бесценок проезжавшему мимо купцу и купил у него халат и высокую шапку. В этом наряде он продолжал идти берегом Евфрата и, полный отчаяния, клял в душе провидение, которое неустанно его преследовало.

ОТШЕЛЬНИК

Дорогой он встретил отшельника с почтенной седой бородой, доходившей тому до пояса. Старец держал в руках книгу и внимательно ее читал. Остановившись, Задиг отвесил ему глубокий поклон. Отшельник приветствовал его с таким достоинством и кротостью, что За-

дига охватило желание побеседовать с ним. Он спросил, какую книгу тот читает.

— Это книга судеб,— сказал отшельник.— Не хотите ли почитать?

Задиг взял у него книгу, но, несмотря на то, что знал много языков, не смог прочесть ни единого слова. Это лишь разожгло его любопытство.

— Мне кажется, вы чем-то очень опечалены,— сказал старик.

— Увы, я имею на то много причин,— ответил Задиг.

— Если позволите вам сопутствовать,— продолжал тот,— вы, быть может, не пожалеете об этом; мне удалось иногда влить бальзам утешения в души несчастных.

Задиг почувствовал глубокое уважение к облику, бороде и книге отшельника. В его словах заключалась как будто высокая мудрость. Отшельник говорил о судьбе, справедливости, нравственности, высшем благе, человеческой слабости, добродетелях и пороках с таким живым и трогательным красноречием, что Задиг ощутил непреодолимое влечение к нему. Он стал настоятельно упрашивать старика не оставлять его до возвращения в Вавилон.

— Я сам хотел просить вас об этом как о милости,— сказал отшельник.— Поклянитесь мне Оромаздом не покидать меня несколько дней, что бы я в это время ни делал.

Задиг поклялся, и они уже вместе продолжали путь.

Вечером путники подошли к великолепному замку. Отшельник попросил гостеприимства для себя и своего молодого друга. Привратник, похожий скорее на знатного барина, впустил их с видом презрительного снисхождения и провел к дворецкому, который показал им роскошные комнаты хозяина. За ужином их посадили в конце стола, и владелец замка не удостоил их даже взглядом. Однако их накормили столь же изысканно и обильно, как остальных. Для умывания им подали золотой таз, украшенный изумрудами и рубинами, спать их уложили в прекрасном покое, а на другое утро слуга принес каждому из них по золотому, после чего обоих отправили на все четыре стороны.

— Хозяин дома,— сказал Задиг дорогой,— кажется мне человеком гордым, но великодушным; гостеприим-

ство его исполнено благородства.— Говоря это, он заметил, что сума отшельника чем-то битком набита, и краем глаза увидел в ней украденный старцем золотой таз. Задиг был поражен тем, что старец его украл, но не решился ничего сказать.

Около полудня отшельник подошел к небольшому домику, в котором жил богатый скряга, и попросил у него гостеприимства на несколько часов. Старый, одетый в поношенное платье слуга принял их грубо, отвел на конюшню и принес им туда несколько гнилых оливок, черствого хлеба и прскисшего пива. Отшельник ел и пил с не меньшим удовольствием, чем накануне, потом обратился к старому слуге, смотревшему в оба, чтобы они чего-нибудь не украли, и торопившему их уйти, дал ему два золотых, полученных утром, и поблагодарил его за оказанное внимание.

— Прошу вас, позвольте мне поговорить с вашим господином,— сказал он в заключение.

Удивленный слуга отвел их к хозяину.

— Великодушный господин,— сказал отшельник,— я могу лишь очень скромно отблагодарить вас за ваше благородное гостеприимство. Соболаговолите принять этот золотой таз как слабый знак моей признательности.

Скупец чуть не упал наземь. Не дав ему времени прийти в себя, отшельник поспешно удалился со своим молодым спутником.

— Отец мой,— спросил его Задиг,— как объяснить все то, что я вижу? Вы совсем не похожи на других людей; вы крадете золотой таз, украшенный драгоценными камнями, у вельможи, оказавшего вам великолепный прием, и отдаете его скряге, который принял вас самым недостойным образом.

— Сын мой,— отвечал старик,— этот гордец, принимающий странников из одного только тщеславия и желания похвастать своими богатствами, станет разумнее, а скряга научится оказывать гостеприимство. Не удивляйтесь ничему и следуйте за мной.

Задиг не мог понять, с кем он имеет дело,— с безрассуднейшим или мудрейшим из смертных, но отшельник говорил так властно, что у Задига, связанного к тому же клятвой, не хватало духа покинуть его.

Вечером они пришли к небольшому, изящной архитектуры, но скромному дому, в котором не было ничего

ни от расточительности, ни от скупости. Хозяином оказался философ, который, удалившись от света, целиком посвятил себя занятиям добродетельным и мудрым и, несмотря на это, нисколько не скучал. Он с радостью построил это убежище, где принимал чужестранцев с достоинством, чуждым тщеславия. Он сам встретил обоих путешественников и прежде всего повел их отдохнуть в уютный покой, а немного погодя пригласил к опрятно и вкусно приготовленному ужину, во время которого сдержанно говорил о последних событиях в Вавилоне. Он, видимо, был искренне предан царице и считал, что было бы очень хорошо, если бы на арену в качестве претендента на корону вышел и Задиг.

— Но люди,— прибавил он,— не заслуживают такого государя.

Эти слова заставили Задига покраснеть и еще сильнее почувствовать свои несчастья. В ходе беседы сотрапезники единодушно признали, что события в этом мире не всегда происходят так, как того желали бы наиболее разумные из людей. Но отшельник все время утверждал, что никто не знает путей провидения и что люди не правы, когда берутся судить о целом по ничтожным крупичкам, доступным их пониманию.

Заговорили о страстях.

— Как они губельны! — воскликнул Задиг.

— Страсти — это ветры, надувающие паруса корабля,— возразил отшельник.— Иногда они его топят, но без них он не мог бы плавать. Желчь делает человека раздражительным и больным, но без желчи человек не мог бы жить. Все на свете опасно — и все необходимо.

Заговорили о наслаждении, и отшельник стал доказывать, что наслаждение — дар божества.

— Ибо,— сказал он,— человек не может сам себе давать ни ощущений, ни идей; все это он получает. Печали и удовольствия приходят к нему извне, равно как и сама жизнь.

Задиг удивился, как это человек, делавший столь сумасбродные вещи, может так здраво рассуждать. Наконец, после беседы, и поучительной и приятной, хозяин проводил обоих путешественников в отведенный для них покой, благословляя небо, пославшее ему столь мудрых и добродетельных гостей. Он с такой непринужденностью и благородством предложил им денег, что они

не могли этим оскорбиться. Отшельник от денег отказался и сказал, что хочет проститься с ним, так как еще до рассвета намерен отправиться в Вавилон. Попрошались они очень тепло; особенно был растроган Задиг, который проникся уважением и симпатией к этому достойному человеку.

Когда отшельник и Задиг остались в приготовленном для них покое, они долго восхваляли хозяина. На рассвете старец разбудил своего спутника.

— Пора отправляться,— сказал он ему.— Пока все спят, я хочу оставить этому человеку свидетельство своего уважения и преданности.— И с этими словами он взял факел и поджег дом.

Задиг в ужасе вскрикнул и попытался помешать ему совершить столь ужасное дело, но отшельник со сверхъестественной силой повлек его за собой. Дом был весь в огне. Отшельник, уже далеко отошедший с Задигом, спокойно смотрел на пожар.

— Хвала богу,— сказал он,— дом нашего хозяина разрушен до основания! Счастливец!

При этих словах Задигу захотелось одновременно и рассмеяться, и наговорить дерзостей почтенному старцу, и прибить его, и убежать от него. Но ничего этого он не сделал и, против воли повинуясь обаянию отшельника, покорно пошел за ним к последнему ночлегу.

Они пришли к одной милосердной и добродетельной вдове, у которой был четырнадцатилетний племянник, прекрасный юноша, ее единственная надежда. Вдова приняла их со всем возможным гостеприимством. На другой день она велела племяннику проводить гостей до моста, который недавно провалился и стал опасен для пешеходов. Услужливый юноша шел впереди. Когда они взошли на мост, отшельник сказал ему:

— Подойдите ко мне, я хочу засвидетельствовать мою признательность вашей тетушке.— С этими словами он схватил его за волосы и бросил в воду. Мальчик упал, показался на минуту на поверхности и снова исчез в бурном потоке.

— О чудовище! О изверг рода человеческого! — закричал Задиг.

— Вы обещали мне быть терпеливым,— прервал его отшельник.— Узнайте же, что под развалинами дома, сгоревшего по воле провидения, хозяин нашел несмет-

ные богатства, а мальчик, который погиб по воле того же провидения, через год убил бы свою тетку, а через два — вас.

— Кто открыл тебе все это, варвар? — воскликнул Задиг. — Да если бы ты даже прочел это в книге судеб, кто дал тебе право утопить дитя, которое не причиняло тебе зла?

Произнеся эти слова, вавилонянин вдруг увидел, что борода у старца исчезла и лицо его стало молодым. Одежда отшельника как бы растаяла, четыре великолепных крыла прикрывали величественное, лучезарное тело.

— О посланник неба! О божественный ангел! — воскликнул Задиг, падая ниц. — Значит, ты сошел с высоты небес, дабы научить слабого смертного покоряться предвечным законам?

— Люди, — отвечал ему ангел Иезрад, — судят обо всем, ничего не зная. Ты больше других достоин божественного откровения.

Задиг попросил дозволения говорить.

— Я не доверяю своему разумению, — сказал он, — но смею ли я просить тебя рассеять одно сомнение: не лучше ли было бы исправить это дитя и сделать его добродетельным вместо того, чтобы утопить?

Иезрад возразил:

— Если бы он был добродетелен и остался жить, судьба определила бы ему быть убитым вместе с женой, на которой бы он женился, и с сыном, который родился бы от нее.

— Что же, — спросил Задиг, — значит, преступления и бедствия необходимы? И необходимо, чтобы добродетельные люди были несчастны?

— Несчастья, — отвечал Иезрад, — всегда удел злодеев, существующих, дабы с их помощью испытывать немногих праведников, рассеянных по земле. И нет такого зла, которое не порождало бы добро.

— А что произошло бы, — снова спросил Задиг, — если бы вовсе не было зла и в мире царило одно добро?

— Тогда, — отвечал Иезрад, — этот мир был бы другим миром и связь событий определила бы другой премудрый порядок. Но такой совершенный порядок возможен только там, где вечно пребывает верховное существо, к которому зло не смеет приблизиться, суще-

ство, создавшее миллионы миров, ни в чем не похожих друг на друга, ибо бесконечное многообразие — один из атрибутов его безграничного могущества. Нет двух древесных листов на земле, двух светил в необозримом пространстве неба, которые были бы одинаковы, и все, что ты видишь на маленьком атоме, где родился, должно пребывать на своем месте и в свое время, согласно непреложным законам всеобъемлющего. Люди думают, будто мальчик упал в воду случайно, что так же случайно сгорел и дом, но случайности не существует,— все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвозвестие. Вспомни рыбака, который считал себя несчастнейшим человеком в мире. Оромазд послал тебя, дабы ты изменил его судьбу. Жалкий смертный, перестань роптать на того, перед кем должен благоговеть!

— Но...— начал Задиг. Но ангел уже воспарял на десятое небо.

Задиг упал на колени и покорился воле провидения... Ангел крикнул ему из воздушных сфер:

— Ступай в Вавилон!

ЗАГАДКИ

Потрясенный так, словно рядом с ним ударила в землю молния, Задиг слепо шел вперед. Он добрался до Вавилона в тот самый день, когда соперники уже собрались в большом зале дворца, чтобы отгадать загадки и ответить на вопросы великого мага. Все были в сборе, кроме рыцаря в зеленых доспехах. Едва Задиг вступил в город, как его окружила толпа народа. На него не могли насмотреться, люди благословляли его и желали ему стать царем. Завистник, увидев его, вздрогнул и отвернулся. Народ донес Задига на руках до самого входа в собрание. Страх и надежда овладели сердцем царицы, когда ей сообщили о его прибытии. Ее снедало беспокойство, она не могла понять, почему Задиг был без вооружения и каким образом Итобад завладел белыми доспехами. При появлении Задига поднялся невнятный шум. Все были удивлены и обрадованы, увидев его, но присутствовать на собрании позволялось только участникам состязания.

— Я тоже сражался,— сказал Задиг,— но другой носит здесь мои доспехи; в ожидании часа, когда я буду иметь честь доказать это, прошу допустить меня к разгадыванию загадок.

Собрали голоса: всем присутствующим была еще так памятна его безукоризненная честность, что они единодушно уважили его просьбу.

Великий маг предложил сперва такой вопрос:

— Что на свете всего длиннее и всего короче, всего быстрее и всего медленнее, что легче всего делится на величины бесконечно малые и достигает величин бесконечно больших, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего жалеют, без чего нельзя ничего совершить, что пожирает все ничтожное и воскрешает все великое?

Итобад отвечал первый. Он сказал, что такой человек, как он, ничего не смыслит в загадках, и довольно того, что он одержал победу с копьем в руке. Одни говорили, что в загадке речь идет о счастье, другие — о земле, третьи — о свете. Задиг сказал, что в ней говорится о времени.

— Потому что,— добавил он,— на свете нет ничего более длинного, ибо оно мера вечности, и нет ничего более короткого, ибо его не хватает на исполнение наших намерений; нет ничего медленнее для ожидающего, ничего быстрее для вкушающего наслаждение; оно достигает бесконечности в великом и бесконечно делится в малом; люди пренебрегают им, а потеряв — жалеют; все совершается во времени; оно уничтожает недостойное в памяти потомства и дарует бессмертие великому.

Все признали, что Задиг прав.

Потом была задана такая загадка:

— Что люди получают, не выражая благодарности, чем пользуются без раздумья, что передают другим в беспомыслии и теряют, сами того не замечая?

Каждый дал свое решение, но только Задиг правильно сказал, что это — жизнь. Так же легко разгадал он и остальные загадки. Итобад твердил, что это совсем не мудро и что он тоже не ударил бы лицом в грязь, дай он себе труд немножко подумать. Ответы Задига на вопросы о правосудии, о высшем благе, об искусстве управлять государством были признаны самыми основательными.

— Очень жаль,— говорили все,— что такой мудрый человек вместе с тем такой плохой воин.

— О прославленные мужи! — сказал Задиг. — Я имел честь стать победителем на ристалище. Белое вооружение принадлежит мне. Итобад похитил его у меня, когда я спал, полагая, вероятно, что оно ему больше к лицу, чем зеленое. Я готов в вашем присутствии доказать ему с одним лишь мечом против всех прекрасных белых доспехов, которые он у меня утащил, что честь победы над храбрым Отамом принадлежит мне.

Итобад принял вызов весьма самонадеянно. Он не сомневался в легкой победе, поскольку был с головы до ног закован в броню, а облачение его противника состояло из ночного колпака и халата. Задиг вынул из ножен меч, сперва отвесив поклон царице, которая смотрела на происходящее с радостью и страхом. Итобад обнажил свой меч, никому не поклонившись. Он бросился на Задига, как человек, которому нечего бояться, и намеревался рассечь ему голову. Но Задиг парировал удар, подставив противнику меч у самой рукояти, так что меч Итобада переломился. Тогда Задиг обхватил врага, поверг его на землю, приставив острие меча к просвету в латах, и крикнул:

— Сдавайтесь, или я вас убью!

Итобад, изумленный, что такого человека, как он, постигла неудача, перестал сопротивляться, и Задиг спокойно снял с него роскошный шлем, великолепные латы, красивые наручи и блестящие поножи, надел их на себя и в этом снаряжении бросился к ногам Астарты. Кадор без труда доказал, что снаряжение принадлежит Задигу, и тот единодушно был избран царем, к вящей радости Астарты, которая после стольких испытаний наслаждалась тем, что все наконец нашли любимого ею человека достойным быть ее супругом. Итобад утешился тем, что приказал своим домочадцам величать себя монсеньером. Задиг стал царем и был счастлив. Он навсегда запомнил то, что ему говорил ангел Иезрад. Помнил он также о песчинке, ставшей алмазом. Царица и он благословляли PROVIDЕНИЕ.

Задиг даровал свободу прекрасной капризнице Мисуфе. Он приказал разыскать разбойника Арбогада и сделал его военачальником своей армии, обещая возве-

сти в высший чин, если тот будет честно воевать, и повесить, если будет разбойничать.

Сеток был вызван из Аравии вместе с прекрасной Альмоной и поставлен во главе торгового ведомства Вавилона. Кадор был награжден и обласкан по заслугам: он остался другом царя, так что Задиг был единственным в мире монархом, имеющим друга. Маленький немой тоже не был забыт. Рыбаку дали превосходный дом и заставили Оркана заплатить ему много денег и вернуть жену. Но рыбак стал разумнее и взял только деньги.

Прекрасная Земира не могла утешиться, что поверила, будто Задиг окривеет, а Азора не переставала раскаиваться в своем намерении отрезать ему нос. Он утешил их богатыми подарками. Завистник умер от злобы и стыда. Государство наслаждалось миром, славой и изобилием. То был лучший век на земле: ею управляли справедливость и любовь. Все благословляли Задига, а Задиг благословлял небеса.



Кривой крючник

То, что у нас два глаза, не облегчает нашей участи: один глаз служит нам, чтобы видеть в жизни хорошие стороны, другой — чтобы видеть плохие. У многих есть дурная привычка закрывать первый глаз, и лишь немногие закрывают второй; вот почему столько людей предпочли бы вовсе ослепнуть, чем видеть то, что представляется их взору. Счастливы кривые, лишенные дурного глаза, который портит все, на что ни поглядит! Пример тому Мезрур.

Только слепой мог бы не заметить, что Мезрур крив на один глаз. Он был крив от рождения; но этот кривой был столь доволен своим положением, что ему и в голову не приходило пожелать себе второго глаза. Отнюдь не дары фортуны восполняли то, чего недодала ему природа, потому что был он простым крючником, и единственное его сокровище составляла крепкая спина; но он был счастлив, служа наглядным доказательством тому, что два глаза при недостатке работы не споспешествуют благоденствию. Деньги и аппетит приходили к нему всегда в соответствии с затраченными силами; он работал с утра, ел и пил вечером, ночью спал и каждый свой день почитал как бы за отдельную жизнь, так что никогда забота о будущем не мешала ему радоваться настоящему. Как видите, он был в одно и то же время кривым, крючником и философом.

Случилось так, что мимо него однажды проехала в блестящей карете некая принцесса, у которой было одним глазом больше, чем у него, что не помешало ему найти ее весьма красивой, а поскольку кривые отличаются от прочих мужчин лишь тем, что у них глазом мень-

ше, то он без памяти влюбился в нее. Может быть, скажут, что если ты крючник и кривой, то тебе не следует влюбляться, да еще в принцессу, тем более в принцессу, обладающую двумя глазами; я согласен, что тут есть большая вероятность не понравиться; но ведь любви без надежды не бывает, а наш крючник любил, поэтому он надеялся.

Поскольку ног у него было больше, чем глаз, и ноги были быстрые, он целых четыре лье бежал за каретой своей богини, уносимой шестеркой рослых белых лошадей. В те времена было модно, чтобы дамы ездили без лакеев и возницы и сами правили своим экипажем; мужья желали, чтобы они всегда пребывали в одиночестве — так было спокойнее за их добродетель, хотя это прямо противоречит мнению моралистов, которые говорят, будто в одиночестве нет добродетели.

Мезрур все бежал рядом с каретой, не сводя зрячего глаза с дамы, которая удивилась, заметив столь проворного крючника. Пока он доказывал таким манером, что любящий неутомим, когда дело касается предмета его любви, дикий зверь, преследуемый охотниками, перебежал дорогу и испугал лошадей, а те, закусив удила, понесли прекрасную даму прямо в пропасть. Вновь испеченный обожатель, испугавшись еще больше, чем перепуганная дама, чрезвычайно ловко перерезал постромки; шесть белых лошадей одни совершили смертоносный прыжок, дама же, хоть и стала белее их белоснежных грив, отделалась страхом.

— Кто бы вы ни были, — сказала она крючнику, — я никогда не забуду, что обязана вам жизнью; просите у меня что угодно: все, что у меня есть, принадлежит вам.

— Ах! С гораздо большим основанием могу сказать вам это я, — отвечал кривой. — Но предлагая вам все, я всегда буду предлагать меньше, чем вы, ибо у меня только один глаз, а у вас два; и все же один глаз, который глядит на вас, стоит больше, чем два глаза, не видящие ваших.

Дама улыбнулась, потому что любезности кривого — это любезности, и только, а любезности всегда вызывают улыбку.

— Я охотно подарила бы вам другой глаз, — сказала она. — Но такой подарок могла сделать вам лишь ваша родительница; однако следуйте за мною.

С этими словами она выходит из кареты и продолжает свой путь пешком; ее собачка тоже соскочила на землю и побежала за хозяйкой, лая на ее странного кавалера. Но я напрасно возвел крючника в ранг кавалера, ибо тщетно предлагал он даме опереться на его руку, она не пожелала согласиться на это под тем предлогом, что он слишком грязен; и сейчас вы увидите, как подвела ее чрезмерная чистоплотность. У дамы были очень маленькие ножки, а башмачки и того меньше, так что она не была ни создана, ни обута для долгой ходьбы.

Хорошенькие ножки искупают неумение ходить, когда проводишь всю жизнь полулежа на кушетке, в окружении толпы придворных щеголей, но зачем нужны туфельки, вышитые цветной соломкой, на каменистой дороге, где их может видеть только крючник, да и то одноглазый.

Мелинада (так звали даму; у меня была причина только сейчас открыть ее имя,— прежде оно еще не было придумано) как могла продвигалась вперед, проклиная башмачника, спотыкаясь о камни, обдирая свои туфельки, на каждом шагу рискуя вывихнуть себе ногу. Почти полтора часа шла она, как ходят высокородные дамы, а это значит, что она прошла уже целых четверть лье, как вдруг рухнула на дорогу от усталости.

Мезрур, чью помощь она отвергла, когда еще держалась на ногах, не решался предложить свои услуги теперь, боясь запачкать ее своим прикосновением; дама достаточно ясно дала ему понять, что он грязен, и еще яснее сделалось это ему, когда по пути он сравнивал себя со своей возлюбленной. На ней было платье из легкой серебристой ткани, увитое цветочными гирляндами, которое подчеркивало красоту ее стана, а он был одет в коричневую блузу, усеянную пятнами, всю в дырах и заплатках, причем заплатки приходились между дыр, а не прикрывали их, что было бы уместнее. Он сравнил свои узловатые мозолистые руки с маленькими ручками, белыми и нежными, как лилии. Наконец, сквозь прозрачную вуаль он различал прекрасные белокурые волосы Мелинады, частью заплетенные в высоко уложенные косы, частью завитые в длинные локоны. У него же была черная грива, жесткая и курчавая, украшенная лишь рваным тюрбаном.

Между тем Мелинада попыталась подняться; но она тут же упала снова, да так неудачно, что зрелище, открывшееся взгляду Мезрура, лишило его и той малой толики разума, которая у него еще оставалась, пока он созерцал лицо принцессы. Он забыл, что он крючник, что он кривой, он не думал больше о том, какое расстояние по воле судьбы отделяет его от Мелинады; он едва помнил даже, что он влюблен, ибо ему не хватило той деликатности, что слывет неразлучной с истинной любовью и порою составляет ее усладу, но куда чаще доuku; он воспользовался правом на грубость, какое давало ему звание крючника, он был груб и удачлив. Принцесса тем временем, по всей вероятности, лишилась чувств либо же стенала над своей участью; но будучи справедливой, она наверняка возблагодарила судьбу за то, что всякая невзгода влечет за собою утешение.

Ночь распростерла свой покров до самого горизонта и сокрыла во тьме истинное блаженство Мезрура и мнимое злосчастье Мелинады. Мезрур вкушал наслаждения совершенных любовников и вкушал их как крючник, иными словами (к стыду рода человеческого), наиболее совершенным образом; каждую минуту Мелинада испытывала новый приступ слабости, каждую минуту ее любовник испытывал новый прилив сил.

— Всемогушнй Магомет!—вдруг воскликнул он как человек, охваченный восторгом упоенья, но как дурной католик.— Мне недостает лишь одного: чтобы мое блаженство разделила со мною та, что мне его дарит; пока я пребываю в твоём раю, божественный пророк, окажи мне еще одну милость: пусть буду я в глазах Мелинады тем же, чем была бы она для моего глаза, если бы было светло.

Он кончил молиться и продолжал наслаждаться. Утренняя заря, всегда слишком торопливая для любовников, застала Мезрура и Мелинаду в таком же положении, в каком за несколько мгновений до того она сама могла быть застигнута с Титоном; но каково было удивление Мелинады, когда, открыв глаза навстречу солнечным лучам, она увидела себя в некоем волшебном краю рядом с молодым человеком благородной осанки, с лицом, подобным тому светилу, чьего возвращения ожидала земля! У него были розы на щеках и кораллы на устах; большие глаза, нежные и пылкие, выражали и возбуждали

сладострастие; за плечами у него висел золотой колчан, украшенный камнями, где от любовных утех звенели стрелы; длинные кудри, схваченные алмазной повязкой, вольно ниспадали до самых чресел, прозрачная ткань, шитая жемчугом, служила ему одеянием, не скрывая красоты его тела.

— Где я и кто вы? — вскричала Мелинада в коянем изумлении.

— Вы в обществе недостойного человека, который имел счастье спасти вас и так щедро вознагражден за свои труды.

Мелинада, столь же довольная, сколь и удивленная, пожалела, что превращение Мезрура не произошло раньше. Она приблизилась к сверкающему дворцу, поразившему ее взор, и прочла на воротах следующую надпись: «Удалитесь, непосвященные; эти врата отворяются лишь для обладателя перстня». Мезрур подошел тоже, чтобы прочесть ту же надпись, но он узрел иные письмены и прочитал следующие слова: «Стучись безбоязненно». Он постучался, и ворота с шумом отворились сами собой. Под звуки тысячи голосов и тысячи музыкальных инструментов любовники вступили в сени из паросского мрамора, а оттуда прошли в великолепную залу, где вот уже тысячу двести пятьдесят лет их ожидало самое восхитительное пиршество, причем ни одно блюдо не остыло; они уселись за стол, каждому прислуживала тысяча самых красивых рабов; трапеза перемежалась музыкой и танцами, а когда она закончилась, в стройном порядке явились все духи, разделенные на различные отряды, облаченные в самые роскошные и удивительные одежды, чтобы принести клятву верности обладателю перстня и поцеловать священный палец, на который он был надет.

Между тем в Багдаде проживал некий мусульманин, весьма набожный, который не мог ходить для омовения в мечеть и при помощи небольшой мзды, воздаваемой священнослужителю, заставил святую воду течь из мечети к себе домой. Только что завершив пятое омовение, он готовился приступить к пятой молитве, и его служанка, юная ветреница, отнюдь не столь набожная, вместо того чтобы убрать святую воду, выплеснула ее за окно. Вода пролилась на злополучного бедняка, который спал крепким сном, прикорнув у придорожной тумбы, служив-

шей ему изголовьем. Бедняк промок и пробудился. То был незадачливый Мезрур: возвращаясь из волшебной страны, он по дороге потерял Соломонов перстень. Он лишился своих великолепных одежд, на нем вновь была его старая блуза; его прекрасный золотой колчан превратился в деревянный крюк и, в довершение всех несчастий, где-то в пути остался один его глаз. Тут он вспомнил, что накануне выпил много водки, которая убаюкала его чувства и распалила воображение. Прежде он любил этот напиток за его вкус, отныне стал любить из благодарности; бодро вернулся он к своим трудам, твердо решив употреблять все заработанное на то, чтобы вновь обрести драгоценную свою Мелинаду. Иной пришел бы на его месте в отчаяние, сделавшись гадким крючником после того, как был обладателем пары прекрасных глаз; терпя отказы дворцовых подметальщиц после того, как удостоился милостей принцессы, более прекрасной, чем наложницы калифа; служа всем обывателям Багдада после того, как повелевал всеми духами; но у Мезрура не было глаза, который видит вещи с дурной стороны.



Кози-Санкта. Малое зло ради Великого Блага

Аожно изречение, гласящее, что не дозволено вершить малое зло, из коего может проистечь великое благо. Совершенно того же мнения был и блаженный Августин, в чем нетрудно убедиться, прочитав в его книге «О Граде Божием» рассказ о маленьком происшествии, случившемся в его епархии во времена проконсульства Септимия Ацидия.

Жил в Гиппоне старый священнослужитель, основатель многочисленных братств, исповедник всех молодых девиц своего прихода; поговаривали, будто на него нисходит божья благодать, потому что он брался предсказывать судьбу и недурно справлялся с этим делом.

Однажды привели к нему девушку по имени Кози-Санкта, прекраснейшую девицу во всей округе. Отец и мать ее были янсенисты и воспитали дочь в правилах самой суровой добродетели; и никому из ее воздыхателей не удавалось хоть на миг отвлечь ее от молитв. Уже несколько дней она была помолвлена с морщинистым старичком по имени Капито, состоявшим советником при суде в Гиппоне. То был угрюмый и ворчливый человек, не лишенный ума, но сухой, насмешливый и довольно злобный; к тому же он был ревнив, как венецианец, и ни за что не согласился бы сделаться приятелем поклонников своей жены. Юная девица изо всех сил старалась полюбить его, поскольку ему предстояло стать ее мужем, но при самом искреннем усердии ничуть в этом не преуспела.

Она отправилась к своему исповеднику, желая узнать, будет ли ее замужество счастливым. Добряк сказал ей

тоном пророка: «Дочь моя, твоя добродетель станет причиной многих несчастий, но придет день, когда тебя причислят к лику святых за то, что ты три раза будешь неверна своему мужу».

Такое предсказание удивило и крайне смутило невинную красавицу. Она расплакалась; она потребовала объяснений, полагая, что в словах священника кроется некий таинственный смысл. Однако он разъяснил ей лишь то, что три раза означает не три свидания с одним и тем же любовником, а три различных приключения.

Тут Кози-Санкта зарыдала во весь голос; она наговорила священнику дерзостей и поклялась, что никогда не будет причислена к лику святых. Между тем, как вы скоро увидите, случилось так, как он предсказал.

В недолгом времени она вышла замуж. Свадьба была самая приличная, Кози-Санкта довольно твердо выдержала все непристойные речи, все пошлые двусмысленности, все чуть прикрытые грубости, какими, по обыкновению, смущают стыдливость новобрачной. Она очень грациозно танцевала с несколькими молодыми людьми, весьма стройными и миловидными, коих ее супруг нашел на редкость безобразными.

Она улеглась в постель с маленьким Капито, испытывая некоторое отвращение. Большую часть ночи она проспала и проснулась в самом мечтательном расположении духа. Однако предметом ее мечтаний был не столько муж, сколько некий молодой человек по имени Рибальдос, который помимо ее воли запал ей в голову. Сей молодой человек, казалось, был вылеплен руками самого Амура; он перенял его грацию, его дерзость и ветреность; он был немного нескромен, но лишь с теми, которые того сами желали; он был баловнем Гиппона. Все женщины в городе перессорились из-за него, а он перессорился со всеми мужьями и мамами. Обычно он влюблялся по легкомыслию, иногда и по тщеславию; но в Кози-Санкту влюбился по сердечному влечению, и тем сильнее, что победы над нею добиться было нелегко.

Как умный человек, он сперва постарался понравиться мужу. Он льстил ему на все лады, хвалил его внешность, его легкий и приятный нрав. Он проигрывал ему в карты и всякий день по-дружески открывался ему в какой-нибудь безделице. Кози-Санкта находила его самым любезным кавалером на свете: она уже любила его

больше, чем сознавала сама; она об этом не догадывалась, но муж догадался за нее. Хоть и был он самолюбив, как только может быть самолюбив низкорослый мужчина, все же начал сомневаться, что Рибальдос посещает их дом только ради него одного. Под каким-то пустячным предлогом он порвал с молодым человеком и отказал ему от дома.

Кози-Санкта очень огорчилась и не посмела этого высказать; а Рибальдос от чинимых ему препятствий влюбился еще сильнее и только и делал, что подстерегал случай с ней увидиться. Он рядился монахом, торговкой женскими прикрасами, комедиантом, водящим марионетки; но этого оказалось слишком мало, чтобы восторжествовать над его милой, и слишком много, чтобы остаться не признанным ее мужем. Будь Кози-Санкта заодно со своим воздыхателем, они сообща приняли бы надежные меры, чтобы усыпить его подозрения, но она боролась со своей склонностью к Рибальдосу, ей не в чем было себя упрекнуть, она спасла все, кроме обманчивой видимости, и муж счел ее кругом виноватой.

Старикашка, весьма гневливый по природе, вообразил, будто честь его зависит от верности жены, осыпал ее оскорблениями и наказал за то, что ее находили красивой. Она очутилась в самом ужасном положении, в каком только может очутиться женщина: муж несправедливо обвинил ее и дурно с нею обращался, а сердце ее разрывалось от страсти, которую она пыталась одолеть.

Она подумала, что если возлюбленный перестанет ее преследовать, то, может быть, муж перестанет проявлять к ней несправедливость; ей казалось, что она с радостью избавится от любви, коей нечем будет более питаться. И с этой мыслью она решилась написать Рибальдосу следующее письмо:

«Если вы достойный человек, не длите моего несчастья; вы меня любите, и ваша любовь навлекает на меня подозрения и жестокость со стороны господина, коему я отдана на всю жизнь. И дал бы господь, чтобы то была единственная грозящая мне опасность! Сжальтесь надо мною, прекратите ваши преследования, заклинаю вас той самой любовью, что составляет ваше и мое несчастье и никогда не сделает вас счастливым».

Бедная Кози-Санкта не предусмотрела, что столь нежное, хоть и добродетельное письмо может произвести действие прямо противоположное тому, на которое она рассчитывала. Письмо это до крайности воспламенило сердце ее возлюбленного, и он решил поставить на карту жизнь, лишь бы увидеться с предметом своей страсти.

Капито оказался достаточно глуп, пожелал узнать все и завел хороших шпионов; поэтому он узнал, что Рибальдос, перерядившись монахом нищенствующего ордена кармелитов, явится просить подавания у его жены. Он решил, что все пропало: ему вообразилось, будто ряса кармелита для чести мужа опаснее всякой иной одежды. Он везде расставил своих людей, чтобы как должно отделить Рибальдоса, и те постарались свыше всякой меры. При входе в дом молодой человек был встречен этими господами, и, сколько он ни кричал, что он честный кармелит и что так не обращаются с бедными монахами, его жестоко отколотили, и недели через две он умер от полученного по голове удара. Все женщины Гиппона оплакивали его. Кози-Санкта была безутешна, даже сам Капито остался недоволен, но по иной причине: он угодил в крайне неприятную историю.

Рибальдос был родственником прокссула Ацидия. Сей римлянин пожелал примерно наказать виновников убийства, а поскольку у него были нелады с гиппонским судом, он не прочь был повесить одного из судейских. Не представляло затруднений устроить так, чтобы жребий пал на Капито: ведь он был самый тщеславный, самый несносный крючкотвор во всем крае.

Итак, Кози-Санкта увидела своего возлюбленного убитым, ей предстояло увидеть своего мужа повешенным; и все по той единственной причине, что она была добродетельна; ибо, как я уже говорил, ей куда легче было бы обмануть мужа, если бы она подарила свою благосклонность Рибальдосу.

Вот каким образом исполнилась первая половина прощания священника. Кози-Санкта вспомнила об этом и очень испугалась, как бы не исполнилась и вторая половина; но, поразмыслив, она пришла к убеждению, что нельзя оспаривать судьбу, и отдалась на волю провидения, кое повело ее к конечной цели самыми благовидными путями.

Проконсул Ацидий был человек скорее распутный, нежели сладострастный; он не видел удовольствия в долгих ухаживаниях, был груб и развязен, как истинный гарнизонный лев; в провинции его очень боялись, и все женщины Гиппона уступали его домогательствам единственно для того, чтобы с ним не ссориться.

Он велел привести к себе госпожу Кози-Санкту; она явилась вся в слезах, но от этого лишь возросла ее привлекательность.

— Вашего мужа должны повесить, сударыня,— сказал проконсул,— и вы одна можете его спасти.

— Я бы отдала свою жизнь за его жизнь,— отвечала дама.

— Не то от вас требуется,— возразил проконсул.

— А что же надо сделать? — спросила она.

— Я прошу у вас лишь одну вашу ночь,— сказал проконсул.

— Мои ночи мне не принадлежат,— отвечала Кози-Санкта.— Это достояние моего мужа. Чтобы спасти его, я отдала бы всю свою кровь, но не могу отдать свою честь.

— А если ваш муж согласится?

— Он хозяин,— отвечала Кози-Санкта.— Каждый волен распоряжаться своим достоянием, как ему угодно. Но я знаю своего мужа: он человек упрямый, он скорее согласится быть повешенным, чем позволит дотронуться до меня хотя бы пальцем.

— Ну, это мы посмотрим,— возразил разгневанный судья.

Он тут же посылает за преступником. Он предлагает ему на выбор сделаться висельником либо сделаться роносом; решать надо немедленно. Старикашка все же упрямится. Наконец поступает так, как поступил бы на его месте всякий. Жена из милосердия спасла ему жизнь; и это была первая неверность из трех.

В тот же день захворал ее сын, заболел необычайной болезнью, не известной никому из лекарей в Гиппоне. Только один врачеватель знал секрет этой болезни, но он жил в Аквиле, в нескольких лье от Гиппона. А в те времена лекарю, обосновавшемуся в каком-нибудь городе, запрещалось заниматься своим ремеслом еще и в другом месте. Кози-Санкте пришлось самолично отправиться в Аквилу в сопровождении брата, нежно ею лю-

бимого, чтобы постучаться в двери к лекарю. По дороге ее остановили разбойники. Главарию этих господ она показалась весьма привлекательной; а так как разбойники уже собирались убить ее брата, главарь приблизился к даме и сказал ей, что, если она проявит некоторую снисходительность, брат ее останется в живых и это ничего не будет ей стоить. Дело не терпело отлагательства; Кози-Санкта только что спасла мужа, которого вовсе не любила; ей грозила потеря брата, коего она любила всею душой; к тому же ее тревожило опасное состояние сына; нельзя было терять ни минуты. Она поручила себя господу и сделала то, что от нее требовалось, и это была вторая неверность из трех.

В тот же день прибыла она в Аквилу и вышла из кареты у дома врачевателя. То был модный лекарь, за какими женщины посылают, когда им делается дурно и когда им ничего не делается. Для одних он был наперсником, для других любовником; человек учтивый и снисходительный, впрочем, пребывавший в несколько натянутых отношениях с медицинским факультетом, над которым при случае весьма остроумно насмешничал.

Кози-Санкта изложила ему все признаки болезни своего сына и предложила ему большой сестерций (заметьте, что большой сестерций, в переводе на французскую монету, составляет тысячу эку и более).

— Не такой монетой я желаю быть вознагражден, сударыня,— сказал галантный лекарь.— Я предложил бы вам все мое состояние, ежели бы вы согласились принять плату за лечение, кое можете произвести вы сами: исцелите меня от страданий, которые вы мне причиняете, и я верну здоровье вашему сыну.

Такое предложение показалось нашей даме сумасбродным, но судьба уже приучила ее к странным вещам. Лекарь упорствовал и не желал никакого иного вознаграждения за свое лекарство. Рядом с Кози-Санкттой не было мужа, чтобы посоветоваться, а могла ли она дать умереть обожаемому сыну, не оказав ему такой пустячной помощи? Она была столь же доброй матерью, как и доброй сестрой. Она купила лекарство по запрошенной цене; и это была последняя неверность из трех.

Она вернулась в Гиппон вместе с братом, который всю дорогу непрестанно благодарил ее за то мужество, с каким она спасла ему жизнь.

Так Кози-Санкта, будучи непреклонной, погубила своего возлюбленного и способствовала присуждению к смерти своего мужа, а проявив снисходительность, сохранила жизнь брату, сыну и мужу. Люди сочли, что такая женщина крайне необходима в каждой семье; после кончины ее причислили к лику святых за то, что она, приняв мученичество, сделала так много добра своим близким, и на могиле ее начертали:

Малое зло ради великого блага.



Мир, каков он есть, Видение Бабука, записанное им самим

Среди духов, управляющих государствами, Итуриэль занимает одно из первых мест; в его ведении северная часть Азии. Как-то утром он снизошел в дом скифа Бабука, на берегу Окса, и сказал ему:

— Бабук, безумства и бесчинства персов вызвали наш гнев; вчера состоялось совещание духов северной Азии, чтобы решить вопрос: подвергнуть ли Персеполис каре ему же в назидание или вовсе разрушить его. Отправляйся в этот город, все разузнай; привезешь мне подробный отчет, и на его основании я решу, наказать ли город или вовсе стереть его с лица земли.

— Но, повелитель, я никогда не бывал в Персии,— скромно отвечал Бабук,— я никого там не знаю.

— Тем лучше,— возразил ангел,— значит, ты будешь беспристрастен; Небо наделило тебя здравомыслием, а я добавлю к этому дар внушать людям доверие; ступай, смотри, слушай, наблюдай и ничего не опасайся, повсюду ждет тебя радушный прием.

Бабук взобрался на своего верблюда и в сопровождении слуг отправился в дорогу. Спустя несколько дней он повстречал в Сеннаарской равнине персидскую армию, готовившуюся к бою с индийской. Сначала он обратился к солдату, стоявшему в сторонке. Он заговорил с ним и спросил, из-за чего началась война.

— Клянусь всеми богами,— отвечал солдат,— понятия не имею. Это меня не касается: мое ремесло — убивать или быть убитым,— этим я зарабатываю себе на жизнь; кому я служу — не имеет ни малейшего значения.

Я даже мог бы хоть завтра перейти на сторону индийцев, ведь говорят, что они платят воинам почти на полдрахмы медной больше, чем платят нам на проклятой персидской службе. Если желаете знать, из-за чего дерутся,— обратитесь к моему командиру.

Бабук сделал солдату небольшой подарок, затем вошел в лагерь. Вскоре он познакомился с командиром и спросил у него, из-за чего началась война.

— Откуда же мне знать? — ответил командир, — да и зачем мне это? Я живу в двухстах лье от Персеполиса; до меня доходит слух, что объявлена война; я тотчас покидаю семью и отправляюсь, как водится у нас, на поиски богатства или смерти, поскольку ничего другого мне не остается.

— Ну а товарищи ваши,— продолжал Бабук,— может быть, они знают немного больше вашего?

— Нет,— возразил офицер,— одним только нашим главным сатрапам доподлинно известно, из-за чего началась драка.

Бабук, крайне удивленный, отправился к генералам, сблизился с ними. Один из них сказал наконец Бабуку:

— Поводом к войне, которая уже двадцать лет раздирает Азию, послужила ссора евнуха одной из жен великого короля Персии с чиновником из канцелярии великого короля Индии. Речь шла о праве собирать подать, приносившую около тридцатой части дарики. Наш премьер-министр и премьер-министр Индии достойно отстаивали права своих повелителей. Распря разгоралась. С той и другой стороны были выставлены армии численностью в миллион штыков. Ежегодно приходится рекрутировать еще по четыреста тысяч солдат. Нет конца убийствам, разбою, пожарам, опустошениям, весь мир страдает, а неистовство продолжается. Наш премьер-министр и индийский постоянно уверяют, что они действуют, только руководствуясь благом рода человеческого, и каждое их уверение сопровождается разгромом какого-нибудь города и разорением нескольких провинций.

На другой день, когда разнесся слух, что скоро будет заключен мир, персидский военачальник и индийский поспешили сразиться; битва была кровопролитной. Бабук лицезрел все сопутствующие ей бесчинства и мерзости; он стал свидетелем происков главных сатрапов, которые делали все возможное, чтобы погубить своего на-

чальника. Он видел командиров, убитых их собственными солдатами; он видел солдат, которые приканчивали своих смертельно раненных товарищей, дабы вырвать у них какие-нибудь окровавленные, рваные, грязные лохмотья. Он заглянул в госпитали, куда свозили раненых, большинство коих погибало из-за преступного нерадения тех, кому персидский король платил довольно щедро за то, чтобы они помогали пострадавшим...

— Люди это или дикие звери? — вскричал Бабук. — Да, я убеждаюсь: Персеполис будет стерт с лица земли.

Размышляя таким образом, он отправился в лагерь индийцев; как и было ему предсказано, его приняли там не менее радушно, чем у персов, но у индийцев он увидел те же мерзости, которые привели его в ужас у персов. «Что ж, — подумал он, — если ангел Итуруиэль намерен уничтожить персов, так и ангелу Индии придется уничтожать индийцев». Затем, подробнее расспросив обо всем, что происходило в той и другой армии, он узнал о поступках, говоривших о благородстве, величии души, человеколюбии, и это и удивило его, и привело в восторг.

— Непостижимые существа, — воскликнул он, — как можете вы сочетать в себе столько низости и величия, столько добродетелей и пороков?

Между тем был заключен мир. Начальники обеих армий, из коих ни один не одержал победы, а оба лишь из своекорыстия пролили столько крови себе подобных, теперь отправлялись во дворцы своих монархов домогаться наград. В печати прославляли мир, возвещая, что на земле отныне воцаряются добродетель и счастье.

— Да будет благословен бог! — сказал Бабук. — Персеполис станет приютом невинности; он не будет разрушен, как того хотели озлобленные духи; поспешим же в эту азиатскую столицу!

Он въехал в огромный город через древние ворота, совсем варварские с виду и оскорблявшие взор своей отвратительной грубостью. На всей этой части города лежал отпечаток того времени, когда она была построена, ибо, несмотря на упорство, с каким люди восхваляют старину в ущерб новизне, следует признать, что в любой области первым опытам всегда свойственна неуклюжесть.

Бабук смешался с толпой, состоявшей из самых грязных, самых безобразных мужчин и женщин. Толпа ошалело устремлялась к обширному, темному, огороженному участку. По непрерывному гулу, по сутолоке, которую Бабук увидел здесь, по тому, как одни давали деньги другим, чтобы получить право сесть, он подумал, что находится на базаре, где торгуют стульями с соломенными сиденьями; но вскоре заметив, что многие женщины опускаются на колени, делая вид, будто пристально смотрят перед собою, а на деле искоса поглядывая на мужчин, он убедился, что находится в храме. Купол отражал звуки хриплых, пронзительных, диких, неблагозвучных голосов, произносивших невнятные слова и напоминавших мычанье диких ослов из Пиктавской долины, когда они отвечают на зов пастушечьего рожка. Он заткнул себе уши, но, когда он увидел рабочих, вошедших в храм с лопатами и ломом, ему захотелось также зажмуриться и заткнуть нос. Рабочие приподняли широкую плиту и разбросали по сторонам землю, издававшую зловоние, затем в яму опустили покойника и положили плиту на место.

— Как же так,— вскричал Бабук,— этот народ хоронит своих покойников в тех же местах, где поклоняется божеству! Как же так? Их храмы вымощены трупами! Теперь я не удивлюсь, что Персеполис так часто страдает от заразных болезней. Гниющие мертвецы и орда живых, собравшихся и сгрудившихся в одном и том же месте, может отравить весь земной шар. Ах, что за мерзкий город Персеполис! Видно, ангелы хотят разрушить его, чтобы построить лучший город и населить его жителями почистоплотнее и поющими получше. У Провидения могут быть свои доводы; предоставим Ему действовать.

Тем временем солнце подходило к вершине своего пути. Бабуку предстояло отправиться на обед в другой конец города, к даме, муж которой, состоявший на военной службе, дал ему рекомендательное письмо. Сначала Бабук погулял по городу; он увидел другие храмы, удачнее построенные и удачнее украшенные, где виден был народ почище и слышалось благозвучное пение; он увидел общественные фонтаны, хоть и нелепо расположен-

ные, зато радовавшие взор своей красотой; площади, где казались живыми бронзовые короли, лучшие из числа тех, что правили Персией; увидел и другие площади, где слышались возгласы горожан: «Когда же увидим мы здесь нашего возлюбленного повелителя?» Он полюбился прекрасными мостами, переброшенными через реку, прелестными и удобными набережными, великолепными, благоустроенными кварталами, дворцами, высящимися тут и там, огромным домом, где тысячи престарелых раненых солдат, некогда одержавших победу, воздавали хвалу Покровителю армий. Наконец он появился у дамы, которая ждала его к обеду в обществе благовоспитанных людей. Дом был опрятный, хорошо обставленный, обед превосходный, дама молодая, миловидная, остроумная, привлекательная, гости казались достойными ее. И Бабук то и дело говорил себе: «Ангел Итуриэль насмехается над людьми, желая разрушить столь очаровательный город».

Тем временем он заметил, что хозяйка, сначала ласково расспросившая его о своем муже, под конец обеда заговорила еще ласковее с молодым магом. Он обратил также внимание на чиновника, который, в присутствии собственной жены, самозабвенно обнимал некую вдову, а снисходительная вдова обвила рукою шею чиновника, другую же протянула юному горожанину, весьма красивому и весьма скромному. Супруга чиновника прежде всех встала из-за стола и направилась в соседнюю гостиную, чтобы поговорить со своим духовником, опоздавшим к обеду; духовник, мужчина красноречивый, побеседовал с нею в этой гостиной столь пылко и столь умильно, что у дамы, когда она вернулась, глаза были влажные, щеки пылали, походка стала шаткой и голос дрожал.

Тут у Бабука возникло сомнение — не прав ли дух Итуриэль. Обладая даром внушать окружающим доверие к себе, он в тот же день узнал все секреты этой дамы: она ему призналась в слабости к молодому магу и заверила, что во всех персепольских домах он встретит то же, что видит в ее доме. Бабук пришел к убеждению, что такое общество существовать не может; что ревность, раздоры, жажда мести должны подрывать тут все семьи;

что слезы и кровь должны литься непрерывно; что мужья, разумеется, перебьют возлюбленных своих жен или сами будут ими перебиты и, наконец, что Итуриэль поступит прекрасно, если одним взмахом уничтожит город, погрязший в нескончаемых бесчинствах.

Он был погружен в эти мрачные мысли, когда в дверях показался степенный человек в черном одеянии и смиренно попросил позволения переговорить с молодым чиновником. Тот, не вставая с места, не удаивая вошедшего взглядом, надменно, с рассеянным видом протянул ему несколько бумаг и отпустил его. Бабук спросил, что это за человек. Хозяйка дома шепотом ответила:

— Это один из лучших адвокатов в городе; уже пятьдесят лет он изучает законы. А этому господину только двадцать пять лет, два дня как он сатрап законов, и вот он поручил адвокату составить конспект тяжбы, которую ему предстоит судить и с которой он еще не успел ознакомиться.

— Молодой повеса правильно поступает, прося совета у старика,— заметил Бабук,— но почему судьей будет не сам старик?

— Шутите,— ответили ему,— никогда чиновники, состарившиеся на низших трудных должностях, не достигают высокого положения. Этот молодой человек занимает ответственный пост потому, что его отец — богач, а у нас право отправлять правосудие покупается точно так же, как участок земли.

— О нравы! О злосчастный город! — воскликнул Бабук.— Дальше идти некуда. Купившие право судить, несомненно, торгуют своими приговорами. Я вижу здесь только бездны несправедливостей.

В то время как Бабук изливался так в своем изумлении и скорби, юный воин, в тот самый день возвратившийся из армии, сказал ему:

— Почему вы против того, чтобы чиновничьи должности продавались? Купил же я право встретиться со смертью во главе двух тысяч солдат, которыми я команду; за то, чтобы лежать на земле тридцать ночей подряд в красном мундире, а затем получить две раны от стрел, которые я чувствую и по сей день, мною уплачено в этом году сорок тысяч золотых дариков. Если я разо-

рюсь на том, чтобы служить персидскому императору, которого никогда в глаза не видел, то господин судейский сатрап вполне может кое-что заплатить за удовольствии судить тяжущихся.

Возмущенный Бабук не мог не порицать в душе страну, где с торгов продаются военные и цивильные должности; он сразу же пришел к заключению, что тут, по видимому, совершенно незнакомы ни с требованиями войны, ни с законами и что, даже если Итуриэль не уничтожит эти племена, они сами погибнут от своих отвратительных порядков.

Его мнение о них стало еще хуже, когда появился толстый мужчина, который, весьма бойко поклонившись всей компании, подошел к молодому офицеру и сказал ему:

— Я могу одолжить вам не более пятидесяти тысяч золотых дариков, ибо, уверяю, таможни империи принесли мне в этом году всего лишь триста тысяч.

Бабук осведомился, кто этот человек, жалующийся, что заработал так мало; ему разъяснили, что в Персеполесе живет сорок плебейских царьков, они арендуют Персидскую империю и кое-что платят за это монарху.

После обеда Бабук отправился в один из прекраснейших храмов города; он занял место среди многочисленных женщин и мужчин, пришедших сюда провести время. На высоком помосте появился маг и долго разглагольствовал насчет пороков и добродетели. Он подробно уточнял то, что вовсе и не требовало уточнений, он последовательно разъяснял то, что и так было ясно; он учил тому, что всем было известно. Он деланно воодушевлялся и наконец спустился с помоста, запыхавшись и весь в поту. Тут все собравшиеся очнулись; они считали, что выслушали поучение. Бабук сказал:

— Этот человек старался изо всех сил, чтобы его сограждане скучали; но делал он это из лучших побуждений и тут нет повода для разрушения Персеполеса.

По выходе из этого собрания его повели на общественное празднество, которое дается каждодневно круглый год; происходило оно в своего рода базилике, в глубине коей виднелся дворец. Самые красивые персеполисские горожанки, самые влиятельные сатрапы, разместив-

шись рядами, являли столь чарующую картину, что Баbuk поначалу решил, что в этом и заключается все зрелище. Вскоре в вестибюле дворца появились две-три особы, казавшиеся королями и королевами; речь их сильно отличалась от народной; они говорили размеренно, сладкозвучно и возвышенно. Никто не спал, все слушали в глубокой тишине, которая нарушалась только изъявлениями восторга и чувствительности присутствующих. О долге королей, о стремлении к добродетели, о коварстве страстей говорилось так красноречиво и трогательно, что Баbuk прослезился. Он был уверен, что герои и героини, короли и королевы, которых он слышит, не кто иные, как проповедники этого государства; он даже вознамерился посоветовать Итуриэлю послушать их и не сомневался, что это навсегда примирит ангела с этим городом.

Когда празднество кончилось, он пожелал увидаться с главной королевой, которая проповедовала в этом великолепном дворце столь благородную и возвышенную мораль; он попросил представить его Ее Величеству; его повели по узкой лесенке на второй этаж, в убого обставленную комнату, где он увидел небрежно одетую женщину, которая сказала ему трогательно и благородно:

— Ремеслом этим я не могу заработать на жизнь; один из принцев, которых вы видели, наградил меня ребенком; скоро мне родить; денег у меня нет, а как же родить без денег?

Баbuk дал ей сто золотых дариков, сказав:

— Если этим ограничиваются пороки города, напрасно Итуриэль так гневается.

Засим он отправился провести вечер к торговцам бесполезных предметов роскоши. Повел его туда умный человек, с которым он познакомился; он выбрал то, что ему приглянулось, и ему отменно вежливо продали вещи, взяв с него гораздо больше, чем они стоили. Друг Бабука, когда они вернулись к нему домой, объяснил ему, как ловко его обманули. Баbuk записал в свою книжку имя торговца, чтобы Итуриэль опознал его, когда будут наказывать город. Пока он писал, в дверь постучались; оказалось, что это не кто иной, как сам торговец; он принес кошелек, который Баbuk по оплошности оставил на прилавке.

— Как можете вы,—воскликнул Баbuk,—быть столь щепетильным и великодушным после того, как вы не по-

стыдились взять с меня за безделушки вчетверо дороже их цены.

— В городе не найдется ни одного более или менее известного коммерсанта, который не вернул бы вам кошелька, — ответил торговец. — Однако вас ввели в заблуждение, сказав, что я взял с вас за украшения вчетверо больше, чем следовало; я продал их вам в десять раз дороже, и вы убедитесь в этом, если через месяц надумаете их продать; вы не выручите и десятой части. И все же это вполне справедливо; цену таким пустячкам придает лишь людская прихоть; за счет этой прихоти живет сотня мастеров, работающих у меня по найму; благодаря ей у меня прекрасный дом, удобный экипаж, лошади; именно она поощряет промышленность, содействует хорошему вкусу, товарообороту, изобилию. Те же побрякушки я продаю соседним народам еще дороже, чем продал вам, и тем самым приношу пользу государству.

Подумав немного, Бабук вычеркнул его из своей книжечки.

В полном недоумении — как же относиться к Персеполису, Бабук решил повидаться с магами и учеными, ибо одни изучают мудрость, а другие — религию; и он понадеялся, что заслуги этих людей искупят пороки остальных слоев народа. На следующее же утро он отправился в семинарию магов. Архимандрит признался ему, что располагает рентою в сто тысяч экю за то, что дал обет бедности, и пользуется значительной властью за то, что дал обет смирения; затем он передал Бабука в руки послушника, который и занялся гостем.

Пока послушник знакомил Бабука с роскошью этой обители покаяния, разнесся слух, будто он явился, чтобы преобразовать все подобного рода обители. Тотчас же из всех обителей к нему стали поступать докладные записки, и во всех говорилось в основном одно и то же: «Сохраните нашу обитель и распустите все остальные». Если верить их самовосхвалению, все они были крайне полезны; если верить их взаимным обвинениям, всех их надо было распустить. Бабук удивлялся, что не обнаружил ни одной записки, в которой не содержалось бы требования неограниченной власти над человечеством, дабы поучать его. Тут появился низкорослый человек, который был полумагом; он сказал Бабуку:

— Вижу, что скоро настанет светопреставление, ибо Зердюст вновь снизошел на землю; маленькие девочки пророчат, когда их пощипывают спереди и постегивают сзади. Поэтому мы просим, чтобы вы защитили нас от великого ламы.

— Как так? — удивился Бабук, — защитить от великого жреца-короля, восседающего в Тибете?

— Именно от него.

— Значит, вы воюете с ним, выставляете против него войска?

— Нет; но он говорит, что человек свободен, а мы этому не верим; мы сочиняем против него брошюры, которых он не читает: он знает о нас лишь понаслышке, он только приказал осудить нас — как хозяин приказывает подрезать сучки на деревьях в его садах.

Бабук содрогнулся от безрассудства этих присяжных мудрецов, от происков тех, что презрели свет, от гордыни и надменных притязаний тех, что проповедуют смирение и бескорыстие; он пришел к выводу, что у Итуриэля есть полное основание уничтожить все это отродье.

Возвратившись домой, он послал слугу купить книжные новинки, чтобы немного утешиться, и пригласил к обеду нескольких ученых для развлечения. Их пришло вдвое больше, чем ему хотелось; они слетелись, как осы на мед. Бездельники торопились поесть и наговориться; они восхваляли две категории людей — покойников и самих себя, но отнюдь не современников, если не считать хозяина дома. Когда кому-нибудь удавалось хорошо сострить, остальные потупляли взоры и покусывали себе губы от досады, что острога сказана не ими. Они были не так скрытны, как маги, потому что притязания у них были помельче. Каждый из них домогался должности лакея и хотел прослыть великим человеком; они говорили друг другу в лицо дерзости, воображая, что это очень остроумно. Они кое-что знали о миссии Бабука. Один из них шепотом попросил его разгромить некоего автора, который пять лет тому назад недостаточно расхвалил его; другой пожелал гибели какого-то гражданина оттого, что тот никогда не смеется, смотря его комедии; третий просил распустить Академию, потому что ему так и не удалось стать академиком. По окончании обеда каждый ушел в одиночку, ибо во всей компании не нашлось и двух человек, которые выносили бы один другого

и могли бы беседовать друг с другом в ином месте, кроме дома богача, к столу которого их пригласили. Бабук подумал, что не велика будет утрата, если эта нечисть погибнет во всеобщем крушении.

Отделавшись от них, он принялся читать новые книжки. Он узнавал в них дух своих недавних гостей. С особым негодованием просмотрел он эти сборники злословия, эти залежи дурного вкуса, продиктованные завистью, подлостью и голодом, эти гнусные сатиры, где оберегают ястреба и раздирают голубка, эти лишенные воображения романы, где видишь столько портретов женщин, которых автор никогда не видел.

Он бросил все эти мерзкие писания в огонь и отправился на вечернюю прогулку. Ему представили пожилого писателя, который не был у него в числе прочих блюдолизов. Этот писатель всегда чуждался толпы; хорошо зная людей, он извлекал из этого пользу и держался скромно. Бабук с грустью заговорил с ним о том, что ему довелось увидеть и прочитать.

— Вы читали вещи, достойные презрения,— сказал ему мудрый литератор,— но во все времена и во всех странах и во всех жанрах дурное кишмя кишит, а хорошее редко. Вы принимали у себя самые отбросы учебного сословия, ибо в любой профессии все самое недостойное всегда предстает особенно нагло. Истинные мудрецы живут в своей среде, уединенно и тихо; среди нас все же есть люди и книги, достойные вашего внимания.

Пока они так рассуждали, к ним подошел еще один писатель; их беседа была столь приятна и поучительна, столь возвышалась над предрассудками и так соответствовала добродетели, что Бабук признался, что никогда не слышал ничего подобного.

— Вот люди, которых ангел Итуриэль не решится тронуть, разве что окажется совсем безжалостным,— прошептал он.

Примирившись с литераторами, он все же по-прежнему негодовал против остальной части народа. «Вы иностранец,— сказал ему здравомыслящий человек, с которым он беседовал,— недостатки предстают перед вами толпою, а добро, зачастую потаенное и вытекающее иной

раз именно из этих недостатков, ускользает от вас». Тут он узнал, что среди писателей попадаются и независтники и что даже среди магов встречаются люди добродетельные. Он узнал наконец, что эти крупные объединения, которые воюют друг с другом и тем самым готовят свою собственную гибель, по существу, являются установлениями благотворными; что каждое объединение магов служит уздой для его соперников; что если эти соревнующиеся и отличаются друг от друга в некоторых вопросах, то они все же преподают одну и ту же нравственность, что они просвещают народ, что они послушны законам и подобны тем домашним воспитателям, которые руководят юношами, в то время как хозяин руководит ими самими. Он познакомился с несколькими из них и оценил их небесно-чистые души. Он даже узнал, что среди безумцев, воображающих, будто им под стать воевать с великим ламой, есть и поистине великие люди. У него под конец возникло сомнение: не так же ли обстоит в Персеполисе дело с нравами, как и со зданиями, из коих одни представились ему достойными жалости, а другие привели в восторг?

Он сказал этому писателю: «Я признаю, что маги, которые поначалу показались мне столь опасными, в действительности весьма полезны, особенно когда разумное правительство не допускает, чтобы они стали чересчур необходимыми; но согласитесь все же, что ваши молодые чиновники, покупающие должность судьи, едва научившись сидеть в седле, неминуемо являют в судах самое нелепое невежество и всю мерзость самоуправства; не подлежит сомнению, что лучше предоставлять эти места бесплатно старым юристам, которые всю жизнь занимались взвешиванием «за» и «против».

Писатель возразил ему: «Перед тем как пожаловать в Персеполис, вы видели нашу армию; вы знаете, что наши молодые офицеры дерутся превосходно, хотя свои должности они и купили; может быть, вы убедитесь, что наши молодые судьи судят неплохо, хоть они и заплатили за право судить».

На другой день писатель повел его в суд, где разбиралось запутанное дело. Повод для тяжбы был всем известен. Все старые адвокаты, обсуждая казус, высказывались весьма неопределенно; они ссылались на множе-

ство законов, из коих, в сущности, ни один не был применен к данному случаю; они рассматривали дело со множества сторон, из коих ни одна не была убедительна; судьбы вынесли приговор скорее, чем ожидали адвокаты. Мнение их было почти единодушно; одни судили хорошо потому, что руководствовались светом разума, другие же рассуждали дурно потому, что основывались только на книгах.

Бабук сделал вывод, что в заблуждениях нередко содержится много хорошего. Он в тот же день убедился, что богатства финансистов, которые так возмущали его, могут быть весьма полезны, ибо когда императору понадобились деньги, он при содействии финансистов за час собрал такую сумму, какой не собрал бы и в полгода, если бы действовал обычными путями; он понял, что эти огромные тучи, напитавшись земной росой, возвращают земле то, что получают от нее. К тому же и дети этих новых людей, зачастую воспитанные лучше, чем отпрыски самых древних родов, иной раз заслуживают предпочтения, ибо нет никаких помех к тому, чтобы стать справедливым судьей, храбрым воином, талантливым государственным деятелем, если отец твой был сметлив и расчетлив.

Постепенно Бабук прощал финансистам их алчность, ибо они алчны не больше других и притом полезны. Он мирился с безрассудством тех, кто разоряется, чтобы получить возможность судить и воевать, с безрассудством, порождающим великих юристов и героев. Он снисходил к зависти писателей, среди коих находились люди, просвещающие современников; он мирился с притязаниями и происками магов, у которых оказывалось больше великих добродетелей, чем мелких пороков; но все-таки многим он был недоволен, особенно же беспокоило и пугало его легкомыслие женщин и горести, которые оно влечет за собою.

Он хотел ознакомиться с укладом всех слоев населения и попросил поэтому отвести его к какому-нибудь министру; но по пути он содрогался от опасения, не была бы какая-нибудь женщина в его присутствии убита своим мужем. Прибыв к государственному деятелю, он вынужден был два часа просидеть в приемной, прежде чем о нем доложили, и еще два часа после этого. Истомившись в ожидании, он решил пожаловаться ангелу

Итуруриэлю и на министра, и на его наглых чиновников. Приемная была полна дамами разных сословий, магами всех толков, судьями, купцами, офицерами, учеными олухами; все были недовольны министром. Скупец и ростовщик говорили: «Этот человек, несомненно, грабит провинции»; фантазер ставил ему в упрек, что он ведет себя странно; сластолюбец говорил: «Он думает только о собственных утехах»; склочник рассчитывал, что он скоро падет вследствие какой-то интриги; женщины надеялись, что в недалеком будущем им дадут министра помоложе.

Бабук прислушивался ко всем этим толкам; он не мог не подумать: «Вот счастливый человек; все его враги собрались у него в приемной; он своей властью подавляет завидующих ему; он находит у своих ног ненавидящих его». Наконец Бабук вошел к министру; он увидел маленького старичка, согбенного под гнетом лет и забот, но еще шустрого и остроумного.

Бабук понравился ему, и сам он показался Бабуку человеком, достойным уважения. Беседа завязалась интересная. Министр признался ему, что он человек крайне несчастный, что он слывет богачом, в то время как он беден; что думают, будто он всемогущ, а ему постоянно противостоят; что среди благодетельствованных им оказались одни только неблагодарные и что за сорок лет непрерывного труда ему выпало лишь несколько утешительных мгновений. Бабук был очень расстроган и подумал, что если этот человек и совершил ошибки и если ангел Итуруриэль хочет покарать его, то не надо его уничтожать, а достаточно оставить его в прежней должности.

Пока он разговаривал с министром, в кабинет стремительно вошла та дама, у которой Бабук обедал; взор ее и лицо выражали скорбь и гнев. Она разразилась упреками в адрес государственного деятеля, она залилась слезами; она горько сетовала на то, что он отказал ее мужу в должности, на которую тот мог рассчитывать, принимая во внимание его знатное происхождение и в воздаяние его заслуг и полученных ран; она выражалась столь решительно, она жаловалась столь изящно, она отвергала возражения столь ловко, она приводила

доводы столь красноречиво, что добилаь своего и супруг ее был благодетельствован.

Бабук протянул ей руку и сказал:

— Возможно ли, сударыня, так стараться ради человека, которого вы не любите и от которого можете ожидать всяческих неприятностей?

— Человека, которого я не люблю? — воскликнула она. — Да будет вам известно, что муж — самый мой лучший друг на свете, что я готова пожертвовать ради него всем, кроме моего любовника, и он также сделает для меня все, только не расстанется со своей любовницей. Я познакомлю вас с нею; это очаровательное существо, остроумное, с прекрасным характером; сегодня вечером мы ужинаем все вместе, с мужем и моим любезным магом; приходите разделить с нами нашу радость.

Дама повезла Бабука к себе домой. Муж, вернувшийся наконец в весьма грустном настроении, встретил жену с восторгом и был полон глубочайшей признательности; он поочередно целовал жену, любовницу, любезного мага и Бабука. За ужином царили веселье, согласие, остроумие и изящество.

— Знай, — сказала Бабука хозяйка дома, — что женщины, которых считают непорядочными, зачастую наделены качествами весьма порядочного человека, а чтобы убедиться в этом, поедemте завтра со мною к прекрасной Теоне. Кое-кто из старых недотрог нападает на нее, но она одна делает больше добра, чем они все вместе. Она не допустит ни малейшей несправедливости даже ради большой выгоды; она дает своему любовнику лишь великодушные советы; она заботится только об его добром имени, а ему стало бы стыдно перед нею, упусти он случай сделать добро, ибо ничто так не подвигает на благие дела, как любовница, которая является свидетельницей и судьей твоих поступков и уважение коей ты хочешь заслужить.

Бабук принял приглашение. Он увидел дом, где царили всевозможные утехы. Сама Теона царила над всем; с каждым она находила общий язык. Ее непринужденный ум никого не стеснял; она всем нравилась, вовсе не стремясь к этому; она была столь же любезна, сколь и добра, а все эти чарующие качества подкреплялись еще и тем, что она была очень хороша собою.

Бабук, хоть и был скифом, да еще посланцем духа, подумал, что поживи он еще немного в Персеполисе, он забудет Итуруриэля ради Теоны. Он все больше привязывался к городу, население которого воспитанно, ласково и благожелательно, хоть и легкомысленно, тщеславно и злоязычно. Его тревожило, как бы Персеполис не подвергся осуждению, его тревожил даже доклад, который ему надо было представить.

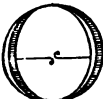
Вот как он взялся за составление доклада. Он заказал лучшему в городе литейщику отлить небольшую статую из всех имеющихся металлов, всех сортов глины и из самых драгоценных и самых простых камней. Он отнес эту статую Итуруриэлю.

— Разобьете ли вы эту прелестную фугурку только потому, что в ней содержатся не одни лишь алмазы и золото?

Итуруриэль понял его с полуслова; он решил даже не помышлять больше об исправлении Персеполиса и предоставить миру оставаться таким, каков он есть, «ибо,— заметил он,— если и не все в нем хорошо, то все терпимо». Итак, Персеполис оставили в целости, и Бабук отнюдь не сетовал на это, в отличие от Ионы, который разгневался, что не разрушили Ниневию. Но когда просидишь трое суток во чреве китовом, настроение становится совсем не то, что у человека, побывавшего в опере, в комедии и поужинавшего в приятной компании.



Мемнон, или Благоразумие людское

днажды Мемнон возымел безрассудное намерение достигнуть совершеннейшего благоразумия. Нет на свете человека, которому хоть раз в жизни не взбрела бы в голову подобная глупость. «Чтобы стать очень благоразумным, а стало быть, очень счастливым,— рассудил Мемнон,— надо лишь избавиться от страстей; каждый знает, что это легче легкого. Во-первых, я никогда не полюблю женщину, ибо, увидев самую безупречную красавицу, скажу себе: «Эти щечки когда-нибудь увянут, эти прекрасные глаза западут и покраснеют, эта пышная грудь станет плоской и обвислой, эти чудесные волосы выпадут». Значит, мне надо будет всего лишь взглянуть на нее теми глазами, какими я смотрел бы на нее в будущем, и уж тогда при виде ее головки я наверняка не потеряю голову.

Во-вторых, я всегда буду воздержан в еде; пусть сколько угодно искушают меня изысканные яства, тонкие вина, приятное общество; стоит лишь мне представить себе последствия излишеств,— тяжесть в голове, стеснение в желудке, потерю рассудка, здоровья и времени, как я стану принимать пищу только в силу необходимости; здоровье мое останется неизменным, мысли чистыми и ясными. Все это так легко, что в достижении этого нет никакой заслуги.

Затем,— сказал Мемнон,— надо подумать и о моем благосостоянии; желания мои умеренны, мои деньги надежно помещены у главного сборщика податей Ниневии, мне есть на что вести независимое существование, а это уже величайшее благо. Никогда не будет мне грозить

жестокая необходимость низкопоклонствовать при дворе, никому не стану я завидовать, и никто не станет завидовать мне. Это тоже весьма просто. У меня есть друзья,— продолжал он,— я их сохраню, потому что им нечего будет у меня оспаривать. Я никогда не стану злиться на них, а они не станут злиться на меня. Это не представляет затруднений».

Завершив таким образом свой скромный план благоразумной жизни, который он сочинял, сидя у себя в комнате, Мемнон высунул голову в окошко. Он увидел двух женщин, которые прогуливались под чинарами возле его дома. Одна была стара и, казалось, ни о чем не думала. Другая была молода, красива и выглядела весьма озабоченной. Она вздыхала, она плакала и от этого становилась еще прелестней. Наш разумник был тронут — не красотой дамы (он был совершенно уверен, что не может поддасться подобной слабости), но той печалью, в коей она, как он заметил, пребывала. Он вышел из дому и приблизился к юной ниневийке, намереваясь утешить ее разумным словом. Сия прекрасная особа с самым простодушным и трогательным видом поведала ему о том, какие притеснения терпит она от дядюшки, которого у нее не было; посредством каких хитросплетений отнял он у нее состояние, коим она никогда не владела, и чего только не приходится ей терпеть от его тиранства.

— Вы кажетесь мне человеком, способным давать столь разумные советы,— сказала она Мемнону,— что, ежели бы вы снизошли до того, чтобы посетить мой дом и вникнуть в мои дела, вы, я уверена, помогли бы мне выпутаться из тяжелого положения, в коем я пребываю.

Мемнон без колебаний последовал за нею, дабы, призвав на помощь весь свой разум, вникнуть в ее дела и дать ей добрый совет.

Огорченная дама привела его в благоуханные покои и почтительно подвела к широкой софе, на которой они и уселись друг против друга, скрестив под собою ноги. Дама заговорила, опустив глаза; из них то и дело вытекала слезинка, а когда они поднимались, то неизменно встречались с глазами благоразумного Мемнона. Речи их были полны умиления, которое удваивалось, когда они смотрели друг на друга. Мемнон весьма близко принял к сердцу ее дела и с каждой минутой испытывал все

большее желание услужить такой порядочной и несчастливой особе. В пылу беседы они уже не сидели друг против друга. Они уже не поджимали под себя скрещенные ноги. Мемнон давал ей советы со столь близкого расстояния и столь нежные, что ни тот, ни другая уже не могли говорить о делах и уже не понимали, что с ними происходит. Пока они пребывали в таком состоянии, как и следовало ожидать, явился дядюшка; он был вооружен с головы до ног и первым делом, разумеется, заявил, что сейчас же убьет благоразумного Мемнона и свою племянницу, а под конец обмолвился, что мог бы их простить за большие деньги. Мемнону пришлось отдать все, что у него было при себе. В те счастливые времена людям еще удавалось так дешево отделаться. Америка еще не была открыта, и опечаленные дамы были далеко не столь опасны, как в наши дни.

Мемнон, пристыженный и расстроенный, вернулся к себе домой; там он нашел записку, в коей его приглашали отобедать с несколькими близкими друзьями. «Если я останусь один дома,— рассудил он,— голова моя будет занята моим злосчастным приключением и я вообще не смогу есть; я заболел. Лучше разделить незатейливую трапезу с моими близкими друзьями. В их милом сердцу обществе я позабуду совершенную поутру глупость». Он отправляется на место встречи; его находят невеселым. Его заставляют пить, чтобы рассеять печаль. Несколько глотков вина всегда полезны для тела и души. Так думает благоразумный Мемнон; и он напивается допьяна. После обеда ему предлагают сыграть в кости. Честная игра с друзьями — достойное времяпрепровождение. Он играет; проигрывает все содержимое своего кошелька и еще в четыре раза больше под честное слово. Во время игры завязывается спор; страсти разгораются; один из близких друзей запускает в Мемнона стаканчиком для игральные кости и попадает ему в глаз. Благоразумного Мемнона относят домой пьяного, без денег и без одного глаза.

Немного протрезвившись и придя в себя, он посылает слугу за деньгами к главному сборщику податей Ниневии, чтобы расплатиться с близкими друзьями. Ему сообщают, что тот нынче утром сделался злостным банкротом, разорив сотню семейств. Оскорбленный Мемнон с пластырем на глазу и с прощением в руке отправляется

ко двору умолять царя о правосудии. В дворцовой гостиной ему встречаются несколько дам, с непринужденностью носящих кринолины, окружностью в двадцать четыре фута. Одна из них, немного знакомая с Мемноном, сказала, искоса взглянув на него: «Ах, какой ужас!» Другая, знавшая его немного ближе, сказала: «Добрый вечер, господин Мемнон; право, я так рада вас видеть, господин Мемнон. Кстати, господин Мемнон, как это вы потеряли один глаз?» И она прошла мимо, не дожидаясь ответа. Мемнон забился в угол и стал караулить удобную минуту, чтобы броситься к ногам монарха. Минута наступила. Он трижды облобызал землю и подал свое прошение. Всемиловитвейший государь весьма благосклонно принял грамоту и передал ее одному из своих сатрапов, веля разобраться в этом деле. Сатрап отводит Мемнона в сторону и говорит ему высокомерным тоном с язвительной насмешкой:

— Я нахожу вас весьма забавным кривым, коль скоро вы обращаетесь не ко мне, а к государю, и еще того забавнее, коль скоро вы смеете жаловаться на честного банкрота, коего я сам осчастливил своим покровительством и койй является племянником горничной моей любовницы. Оставьте это дело, друг мой, если вы хотите сохранить в целости другой глаз.

Так Мемнон, утром отказавшийся от женщин, от излишеств в еде, от игры и всяких ссор, а главное, от двора, оказался еще до наступления ночи обворован прекрасной дамой, напился, играл, поссорился, дал выбить себе глаз и явился ко двору, где над ним насмеялись.

Отупев от потрясений, с обливающимся кровью сердцем вернулся он домой. Он хочет войти к себе и находит в своем доме судейских чиновников, которые, по требованию кредиторов, вывозят его мебель. Почти бесчувственным опустился он на землю под чинарой; и тут он увидел прекрасную даму, встреченную им поутру, которая прогуливалась с дражайшим своим дядюшкой и расхохоталась, заметив Мемнона с его пластырем. Наступила ночь; Мемнон улегся на соломе под стеною своего дома. У него началась лихорадка; во время приступа он заснул, и во сне ему явился небесный дух.

Дух излучал сияние. У него было шесть прекрасных крыл, но не было ни ног, ни головы, ни хвоста, и он был непохож ни на что на свете.

— Кто ты? — спросил Мемнон.

— Твой добрый гений,— отвечал тот.

— Тогда верни мне мой глаз, мое здоровье, мое добро и мое благоразумие,— сказал Мемнон. После чего он подал духу, как потерял все это за один день.

— Вот превратности, которых никогда не претерпеваем мы в том мире, в котором обитаем,— сказал дух.

— А в каком мире вы обитаете? — спросил опечаленный человек.

— Моя родина,— отвечал дух,— находится в пятистах миллионов лье от солнца, на маленькой звезде близ Сириуса, которую ты можешь узреть отсюда.

— Прекрасная страна! — сказал Мемнон.— Как? У вас там нет потаскух, которые обирают бедного человека, нет близких друзей, которые обыгрывают его в карты и выбивают ему глаз, нет банкротов, нет сатрапов, которые издеваются над ним и отказывают ему в правосудии?

— Нет,— отвечал обитатель звезды,— у нас нет ничего подобного. Нас никогда не обманывают женщины, потому что у нас нет женщин; мы не предаемся излишествам за столом, потому что мы не едим; у нас нет банкротов, потому что нет ни золота, ни серебра; нам нельзя выбить глаз, потому что у нас нет тела, подобного вашему; а сатрапы не совершают у нас несправедливостей, потому что на нашей маленькой звезде все равны.

На это Мемнон заметил ему:

— Сударь, на что же вы употребляете свое время, если у вас нет ни женщин, ни обедов?

— На то, чтобы оберегать иные планеты, нам доверенные; и я явился сюда, дабы тебя утешить.

— Увы! — сказал Мемнон.— Почему не явились вы вчера вечером и не помешали мне совершить столько безумств?

— Я был у твоего старшего брата Хассана,— отвечал житель небес.— Он достоин большей жалости, нежели ты. Всемиловитейший государь царь Индии, при дворе которого он имел счастье состоять, велел выколоть ему оба глаза за совершенную им маленькую нескромность, и в настоящее время он находится в темнице, скованный цепями по рукам и ногам.

— Стоит ли иметь в семействе доброго гения,— ска-

зал Мемнон, если при этом один брат стал кривым, другой слепым, один спит на соломе, другой в тюрьме?

— Твоя судьба переменится,— возразила звездная тварь.— Правда, ты навсегда останешься кривым, но, не считая этого, будешь очень счастлив, если только никогда больше не станешь строить глупые прожекты, как достигнуть совершеннейшего благоразумия.

— Значит, этого состояния достигнуть невозможно? — со вздохом воскликнул Мемнон.

— Так же невозможно, как невозможно достигнуть совершенства в ловкости, совершенства в силе, совершенства в могуществе, совершенства в счастье. Даже мы далеки от этого. Есть одна планета, где все это существует; но между ста тысячами миллионов миров, рассеянных в пространстве, все распределяется в строгой последовательности. Во втором мире меньше разума и наслаждений, чем в первом, в третьем меньше, чем во втором. И так далее, вплоть до последнего мира, населенного одними лишь безумцами.

— Боюсь,— сказал Мемнон,— что наш маленький шар как раз и есть тот сумасшедший дом вселенной, о котором вы сделали мне честь упомянуть.

— Не совсем,— отвечивал дух.— Но он к этому приближается; всему свой черед.

— Как же так? — сказал Мемнон.— Ведь в таком случае глубоко ошибаются некоторые поэты, некоторые философы, когда говорят, что *все идет хорошо*.

— Они глубоко правы,— возразил вышний философ,— если иметь в виду устройство всей вселенной в целом.

— Ах, я поверю в это только тогда, когда перестану быть кривым,— сказал бедный Мемнон.



Письмо одного турка о факирах и о его друге Бабабеке

В бытность мою в городе Бенаресе на берегах Ганга, там, откуда пошли брахманы, я старался разузнать о них как можно более. Я порядочно понимал индийскую речь, я много слушал и все примечал. Поселился я у Омри, с коим уже прежде вел переписку; то был самый достойный человек, какого я когда-либо знал. Он исповедовал религию брахманов, я же имею честь быть мусульманином; и нам никогда не случалось повисить голос, рассуждая о Магомете или Брахме. Мы бок о бок совершали омовения, мы пили один и тот же прохладительный напиток, ели один и тот же рис, как два брата.

Однажды мы вместе отправились в Гаванийскую пагоду. Там мы увидели несколько групп факиров, одни из которых были йоги, что значит факиры-созерцатели, другие же были ученики древних гимнософистов и вели деятельную жизнь. Факиры, как известно, владеют неким ученым языком, языком самых древних брахманов, и написанной на этом языке книгой, которую они называют Веды. Это бесспорно самая древняя книга во всей Азии, не считая Зенд-Авесты.

Я прошел мимо факира, читавшего эту книгу.

— Ах, презренный неверный! — воскликнул он. — Из-за тебя я сбился и перепутал количество гласных букв, которые подсчитывал; и теперь моя душа перейдет в тело зайца, а не в тело попугая, как я имел все основания надеяться.

Чтобы утешить его, я дал ему рупию.

Отойдя от него на несколько шагов, я, на свою беду,

чихнул, и звук, произведенный мною, разбудил факира, пребывавшего в экстазе.

— Где я? — сказал он. — Какое ужасное несчастье! Я не вижу более кончика моего носа, небесный свет исчез¹.

— Если я причиной тому, что вы наконец стали видеть дальше своего носа, — сказал я, — то вот вам рупия, дабы исправить причиненное мною зло; созерцайте снова свой небесный свет.

Отделавшись от него столь благоразумным образом, я перешел к другим гимнософистам; многие из них принесли мне хорошенькие гвоздики и хотели воткнуть их мне в руки и ляжки в честь Брахмы. Я купил у них эти гвоздики и велел прибить ими мои ковры. Одни факиры плясали на руках, другие ходили по слабо натянутой веревке; иные прыгали на одной ноге. Были и такие, что носили цепи, а иные вьючные седла; некоторые засунули голову в глиняный очаг; словом, все были милейшие люди. Мой друг Омри отвел меня в келью одного из самых знаменитых: его звали Бабабек, он был голый, как обезьяна, на шее у него висела толстая цепь, весом более чем шестьдесят ливров. Он сидел на деревянном стуле, изящно украшенном торчащими гвоздиками, которые впились ему в ягодицы, но можно было подумать, будто он сидит на атласном ложе. Многие женщины приходили просить у него совета — он был семейным оракулом, и надо сказать, что у него была весьма высокая репутация. Я сделался свидетелем долгой беседы между ним и Омри.

— Как вы думаете, отец мой, — спросил Омри, — смогу ли я, пройдя через испытания семи перевоплощений, достигнуть обители Брахмы?

— Это зависит от обстоятельств, — отвечал факир. — Какую ведете вы жизнь?

— Я стараюсь, — сказал Омри, — быть добрым гражданином, добрым мужем, добрым отцом, добрым другом; при случае я даю деньги в долг без процентов богатым людям; раздаю деньги бедным, поддерживаю мир между моими соседями.

¹ Когда факиры желают узреть небесный свет — что бывает с ними весьма часто, — они сосредоточивают свой взгляд на кончике носа.

— А втыкаете ли вы когда-нибудь гвозди себе в задницу? — спросил брахман.

— Никогда, высокочтимый отец.

— Очень жаль, — возразил факир, — вы наверняка попадете только на девятнадцатое небо, а сие весьма прискорбно.

— Почему же? — возразил Омри. — Это весьма почетно, я как нельзя более доволен своим жребием: какая мне разница, будет ли это девятнадцатое или двадцатое небо, лишь бы я исполнил свой долг во время земного странствия и хорошо был принят на последнем привале! Разве не достаточно быть порядочным человеком в этой обители, а потом быть счастливым в обители Брахмы? На какое же небо думаете попасть вы, господин Бабабек, с вашими гвоздями и цепями?

— На тридцать пятое, — сказал Бабабек.

— Я нахожу забавным, что вы надеетесь попасть выше, чем я, — возразил Омри. — Это, разумеется, следствие чрезмерного честолюбия. Вы осуждаете тех, кто ищет почестей в земной жизни, почему же вы желаете для себя столь высоких почестей в жизни иной? И на каком основании рассчитываете вы, что с вами будут обходиться лучше, чем со мною? Знайте же, что я за десять дней раздаю больше милостыни, чем вы тратите за десять лет на все свои гвозди, какие вонзаете себе в зад! Какое дело Брахме до того, что вы весь день проводите голышом с цепью на шее; нечего сказать, великую услугу отечеству вы этим оказываете! Я во сто раз более ценю человека, который сеет овощи либо сажает деревья, нежели всех ваших собратьев, разглядывающих кончик своего носа или от избытка душевного благородства навьючивающих на себя седло.

Высказавшись таким образом, Омри смягчился, обладал факира, убедил его в своей правоте, наконец, заставил бросить гвозди и переселиться к нему, чтобы вести достойную жизнь. Факира отмыли от грязи, натерли благовониями, одели в приличное платье; две недели прожил он самым благоразумным образом и признался, что чувствует себя во сто крат счастливее, нежели прежде. Но он потерял все свое влияние в народе; женщины перестали приходить к нему за советом; он покинул Омри и вновь уселся на свои гвозди, дабы пользоваться прежним почетом.

Микромегас

Философская повесть

Глава первая

ПУТЕШЕСТВИЕ ОБИТАТЕЛЯ СИСТЕМЫ СИРИУСА НА ПЛАНЕТУ САТУРН

На одной из планет, что обращаются вокруг звезды, именуемой Сириус, жил молодой человек, отличающийся весьма острым умом; я имел честь познакомиться с ним, когда он путешествовал по нашему ничтожному муравейнику. Звали молодого человека Микромегас — имя это весьма подходит тем, кто велик. Росту в нем было восемь лье; под восемью же лье я подразумеваю двадцать четыре тысячи геометрических шагов, каждый по пять футов.

Иные алгебраисты, люди, во все времена крайне необходимые обществу, вероятно, тут же схватятся за перья и, проделав вычисления, придут к следующему неоспоримому выводу: поскольку в обитателе системы Сириуса господине Микромегасе от пяток до макушки двадцать четыре тысячи шагов, что составляет сто двадцать тысяч футов, а мы, земные жители, редко бываем выше пяти футов, и поскольку окружность нашей планеты составляет девять тысяч лье, то, следовательно, планета, откуда он происходит, по окружности в двадцать один миллион шестьсот тысяч раз больше нашей крохотной Земли. Что ж, в природе подобные явления естественны и отнюдь не редкость. Владения иных государей в Германии или Италии можно обойти за полчаса, но даже их сравнение с Московией, Турецкой или Китайской империями дает весьма слабое понятие о тех

поразительных различиях, которые являет нам в своих творениях природа.

Поскольку его превосходительство был именно той высоты, какую я назвал, наши скульпторы и живописцы, узнав, что стан его имел в объёме пятьдесят тысяч футов, вне всякого сомнения, согласятся, что сложен он весьма пропорционально.

Могу смело утверждать, что господин Микромегас — один из самых просвещённых умов: он очень многое знает и даже что-то изобрел. Он сам, собственным разумом, дошел до доказательства более чем пятидесяти теорем Эвклида, когда ему еще не было и двухсот пятидесяти лет и он, как это принято на его планете, учился в иезуитском коллеже. То есть он на восемнадцать теорем превзошел Блеза Паскаля, который, как свидетельствует его сестра, играя, открыл и доказал тридцать две, став после этого достаточно посредственным геометром и весьма скверным метафизиком. Едва выйдя из отрочества, в четыреста пятьдесят лет, Микромегас принялся препарировать тех мельчайших, недоступных для наблюдения в обычную лупу, насекомых, диаметр которых не достигает и сотни футов; впоследствии он написал о них прелюбопытнейшую книгу, чем, правда, навлек на себя некоторые неприятности. Муфтий его страны, человек крайне мелочный и безгранично невежественный, обнаружил в книге подозрительные, дерзкие, вольнодумные и даже похабные ересь мысли и восставил гонение на автора; вопрос был в том, тождественна ли по своей природе субстанциональная форма сирийских блох и слизи. Защищался Микромегас с большим остроумием, привлек на свою сторону дам, и процесс затянулся на двести пятьдесят лет. Тем не менее муфтий вынудил судейских запретить книгу, несмотря на то что они не читали ее; автору же было запрещено в течение восьмисот лет появляться при дворе.

Микромегас весьма мало печалился удалением от двора, занятого сплетнями и ничтожными интригами. Сочинив насмешливую песенку о муфтии, на которую тот не обратил внимания, он отправился путешествовать по чужим планетам, чтобы, по известному выражению, завершить образование *ума и сердца*. Те, что путешествуют в почтовых каретах или берлинах, несомнен-

но, будут немало изумлены экипажами, которые в ходу у обитателей иных миров: ведь мы, живущие на комке грязи, способны воспринимать только то, к чему привычны. Наш же путешественник прекрасно знал законы тяготения и умел использовать притягивающие и отталкивающие силы. И вот, то с помощью солнечных лучей, то на попутной комете он вместе со своими слугами перелетал с планеты на планету, подобно тому как перепархивает с ветки на ветку птица. Таким способом он за недолгий срок облетел весь Млечный Путь, но я вынужден заявить, что сквозь звезды, каковыми тот густо усеян, Микромегас не увидел того дивного эмпирического неба, которое прославленный викарий Дерем, как он сам похвалялся, сподобился узреть в простую подзорную трубу. Нет, боже упаси, я вовсе не хочу сказать, будто господина Дерема подвели глаза, но Микромегас побывал там, наблюдатель он превосходный. что же касается меня, я не собираюсь никого опровергать.

Наконец, покинув Млечный Путь, Микромегас прибыл на планету Сатурн. И хотя он привык сталкиваться с новым и необычным, но, увидев, как мала планета и ее обитатели, все же не смог сдержать пренебрежительной улыбки, иной раз мимовольно проскальзывающей и у мудрецов. И правду сказать, Сатурн всего раз в девятьсот больше Земли, и его жители, чей рост примерно тысяча туазов,— настоящие карлики. Сперва Микромегас и его спутники посмеивались над ними, точь-в-точь как смеется над музыкой Люлли приехавший во Францию итальянский музыкант. Но будучи весьма здравомыслящ, Микромегас скоро понял, что разумное существо, пусть даже его рост всего шесть тысяч футов, не становится от этого смешным. Поначалу Микромегас поразил сатурнианцев, но вскоре сдружился с ними. Особенно близкую дружбу он свел с секретарем Сатурнианской академии, человеком изрядного ума, который хоть сам ничего не изобрел, прекрасно понимал и описывал чужие изобретения, сносно сочинял приятные стишки и проделывал большие расчеты. Я приведу здесь, для удовольствия читателей, крайне любопытный разговор, состоявшийся однажды между Микромегасом и господином секретарем.

БЕСЕДА ОБИТАТЕЛЯ СИРИУСА С ОБИТАТЕЛЕМ
САТУРНА

Его превосходительство улегся, секретарь академии уселся возле его головы, и Микромегас произнес:

— Нельзя не признать, что природа чрезвычайно многолика.

— О да,— подхватил сатурнианец,— природа подобна цветнику, цветы которого...

— При чем здесь цветник? — прервал его Микромегас.

— Она подобна,— не унимался секретарь,— собранию блондинок и брюнеток, чьи уборы...

— Ну что мне в ваших брюнетках! — опять прервал его Микромегас.

— Она подобна портретной галерее, где лица...

— Да нет же! — воскликнул путешественник.— Уверяю вас, природа — это просто природа. Зачем вы ищите для нее сравнений?

— Чтобы развлечь вас,— ответил секретарь.

— Я жажду не развлечений, а знаний,— заметил его превосходительство.— И для начала поведайте мне, сколько чувств у людей на вашей планете.

— Семьдесят два,— сообщил академик,— но мы непрестанно сетуем, что их так мало. Воображение наше рвется за пределы отпущенного нам; да, у нас семьдесят два чувства, кольцо вокруг планеты, пять лун, и все же мы сознаем всю нашу ограниченность и, несмотря на пытливость и многочисленные страсти, следствие семидесяти двух чувств, у нас всегда хватает времени скушать.

— Понимаю вас,— промолвил путешественник.— У обитателей моей планеты около тысячи чувств, и все же нас постоянно томит какая-то неясная жажда, смутная тревога, беспрерывно нашептывая нам, что мы ничтожны и что есть существа куда совершеннее нас. Я немного поездил по свету, видел смертных, находящихся на более низком уровне, в сравнении с нами, видел и тех, что намного нас превосходят, но таких, чьи желания совпадали бы с насущными потребностями, а потребности с возможностями их удовлетворения, не

встречал. Быть может, когда-нибудь я отыщу страну, где всего в избытке, но пока никто не смог уделить мне точных сведений о ее месторасположении.

Тут сатурнианец и житель Сириуса принялись изощряться в предположениях на этот счет, однако после многих весьма замысловатых, но и весьма туманных умозаключений сочли за благо вернуться к прежней теме.

— Сколько вы живете? — поинтересовался житель Сириуса.

— Ах, безумно мало! — воскликнул малорослый сатурнианец.

— Вот и мы тоже, — заметил Микромегас, — вечно сетуем на краткость жизни. Надо думать, это универсальный закон природы.

Сатурнианец вздохнул:

— Увы! Наша жизнь длится не более пятиста полных оборотов солнца (около пятнадцати тысяч лет по нашему счету). Видите сами, мы умираем чуть ли не в момент рождения; срок, отпущенный нам, — мгновенен; наша жизнь — краткий миг; наша планета — крохотный атом. Едва начинаешь приобщаться к знанию, как тут же, прежде чем придет опыт, наступает смерть. Признаюсь вам, я не смею строить никаких планов на будущее и чувствую себя ничтожной каплей в безмерном океане. Я сгораю от стыда, тем паче перед вами, из-за того, что являю собой в этом мире столь курьезную картину.

На это Микромегас ответил так:

— Не будь вы философом, я, чтобы не огорчать вас, не решился бы вам сказать, что мы в семьсот раз долговечнее, однако вы прекрасно знаете, что для всех приходит пора возвратить свое тело силам природы и возродиться в ней в иной форме и что когда наступает миг этого преобразования, то есть смерть, безразлично, вечность ты прожил или день. Я бывал в странах, обитатели которых живут тысячекратно дольше нас, и, оказалось, они тоже ропщут. Но всюду существуют разумные люди, они научились мириться с судьбой и возносят благодарения творцу природы. Он создал мир таким безгранично разнообразным, и однако в нем господствует принцип поразительного единообразия. Вот вам

пример: все мыслящие существа отличны друг от друга и все схожи в одном — дарованной способностью мыслить и желать. Материя существует везде, но на каждой планете у нее разные свойства. Кстати, сколько насчитывается свойств у материи вашей планеты?

— Если вы имеете в виду те свойства, — ответил сатурнианец, — без которых, как мы полагаем, наша планета была бы иной, нежели сейчас, то мы их насчитываем триста, а именно, протяженность, непроницаемость, подвижность, вес, делимость и прочая.

— Вероятно, — заметил путешественник, — столь малое их количество соответствовало замыслу создателя, когда он творил вашу крохотную обитель. Я восхищаюсь, сколь мудр он во всем: всюду я вижу различия, но всюду и соответствия. Планета ваша невелика, и ей под стать ее обитатели; у вас мало чувств, а у вашей материи свойств; такими вас создало провидение. Вы занимались исследованием вашего солнца? Какого оно цвета?

— Белое, но с желтоватым оттенком, — ответил сатурнианец. — Когда же мы разложили солнечный луч, оказалось, что он состоит из семи цветов.

— Наше солнце ближе к красному, — сказал пришелец с Сириуса, — и у нас тридцать девять основных цветов. Надо сказать, все солнца, к которым я близко подлетал, так же отличны друг от друга, как не похожи лица обитателей Сатурна.

Задав множество подобных вопросов, Микромегас осведомился, сколько принципиально отличных существ насчитывается на Сатурне, и узнал, что их более тридцати: Бог, пространство, материя, протяженные существа, наделенные способностью ощущения, протяженные существа, наделенные способностью ощущения и мышления, существа мыслящие, но не протяженные, субстанции проницаемые, субстанции непроницаемые и прочая. Житель Сириуса совершенно потряс сатурнианского философа, когда сказал, что на его планете таких существ насчитывают триста и что, путешествуя, он открыл еще три тысячи оных. Они вели подобные беседы в течение полного оборота солнца, сообщив друг другу то немного, что знали, и многое из того, чего не знали, и в конце концов порешили совершить вдвоем небольшое философическое путешествие.

ПУТЕШЕСТВИЕ ОБИТАТЕЛЯ СИРИУСА
И ОБИТАТЕЛЯ САТУРНА

Наши философы, запасшиеся великолепным набором математических инструментов, уже собрались подняться в атмосферу Сатурна, как вдруг вся в слезах появилась любовница сатурнианца, только сейчас узнавшая об их отъезде, и стала осыпать его упреками. Это была очаровательная брюнетка, правда, ростом всего в шестьсот шестьдесят туазов, но ее прелести вполне искупали миниатюрность.

— О жестокосердый! — вскричала она. — Полтора тысячелетия противилась я тебе и лишь сто лет назад согласилась уступить и пала в твои объятия, а ты уже покидаешь меня ради путешествия с каким-то великаном из другого мира! Я не удерживаю тебя, ибо ты никогда не ведал любви! Ты ищешь только новизны! Когда б ты был истинным сатурнианцем, то остался бы верен мне! Куда устремляешься ты? Чего ищешь? Да наши пять лун по сравнению с тобой — домоседы, наше кольцо — образец постоянства! Конец, конец всему! Я больше никого не смогу полюбить!

Сатурнианец заключил ее в объятия, расцеловал и, хотя был подлинным философом, прослезился; дама лишилась чувств, а придя в себя, постаралась найти утешение с одним из сатурнианских щеголей.

Любознательные путешественники тем временем отправились в путь; первым делом они перескочили на кольцо Сатурна и обнаружили, что оно достаточно плоское, как, кстати, весьма точно предсказывал один прославленный обитатель нашей крохотной планеты, а затем стали переправляться с луны на луну. Неподдалеку от последней пролетала комета, и путешественники вместе со слугами и инструментами вспрыгнули на нее. Преодолев на ней около ста пятидесяти миллионов лье, они достигли спутников Юпитера. С них путешественники перебрались на Юпитер, где провели целый год; за это время они узнали множество прелюбопытнейших тайн, которые давно уже были бы опубликованы у нас, не сочти господа инквизиторы кое-какие положения несколько сомнительными. Но я читал рукопись: известный архиепископ де *** столь великодушно и с такой

добротой позволил мне ознакомиться с нею в своей библиотеке, что я просто не знаю, как его благодарить.

Однако вернемся к нашим путешественникам. Покинув Юпитер, они пролетели в пространстве примерно сто миллионов лье и поравнялись с Марсом, который, как известно, пятикратно меньше нашей крохотной планеты; они обнаружили, что вокруг него обращаются две луны, правда, ускользающие от глаз земных астрономов. Уверен, что отец Кастель выступит с памфлетом, и даже весьма остроумным, опровергая существование у Марса двух спутников, однако позволю себе сослаться на тех, кто привык делать умозаключения при помощи аналогии. Этим умнейшим философам ясно, что Марс, который так удален от Солнца, вряд ли бы смог обойтись менее, чем двумя лунами. Как бы там ни было, наши путешественники сочли эту планету слишком мелкой и, боясь, что не найдут там, где переночевать, отправились дальше, подобно путникам, которые, гнушаясь сельским постоянным двором, едут в соседний городок. Но Микромегас и его друг скоро раскаялись в своем решении. Они летели уже довольно долго, но ничего не нашли. Наконец заметили какое-то слабое мерцание: это была Земля, и после Юпитера она показалась им довольно жалкой. Однако, опасаясь, как бы не пришлось раскисаться снова, они решили сделать на ней остановку. Путешественники пересели на хвост кометы, вскоре заметили крайне удобное северное сияние, нырнули в него и, полюбовавшись им изнутри, 5 июля 1737 года по новому стилю прибыли на Землю, а именно на северное побережье Балтийского моря.

Глава четвертая

О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО С НИМИ НА ЗЕМНОМ ШАРЕ

После недолгого отдыха путешественники позавтракали двумя горами: слуги приготовили их довольно сносно. Затем они решили ознакомиться с планеткой, на которой оказались, и тронулись в направлении с севера на юг. Нормальный шаг жителя Сириуса и его людей составляет примерно тридцать тысяч футов; карлик с Сатурна бежал за ними следом, еле переводя дыхание:

на один шаг Микромегаса ему приходилось делать дюжину; представьте себе (если подобные сравнения допустимы) собачку из тех, что дамы носят в муфтах, поспевающую за капитаном гвардии прусского короля.

Пришельцы шли довольно быстро и обогнули земной шар за тридцать шесть часов; Солнце, а точнее, Земля, проделывает подобное путешествие за двадцать четыре часа, но ведь каждый согласится, что вращаться вокруг своей оси куда легче, чем шагать на своих двоих. Итак, они возвратились туда, откуда вышли, встретив на своем пути море, именуемое *Средиземным*, которого, надо сказать, даже не заметили, и небольшой пруд, что зовется *Великим океаном* и окружает со всех сторон нашу кротовую кучку. Карлику кое-где он был по колено, а Микромегас разве что омочил в нем каблуки. На старом месте они обшарили все вокруг, наклонялись, ложились, ощупывали землю руками, короче, делали все, чтобы выяснить, обитаема планета или нет. Но их глаза и руки были слишком велики, а крохотные существа, которые здесь пресмыкаются, слишком ничтожны, и поэтому органы чувств наших путешественников не подсказали им, что мы и наши ближние, обитатели этой планеты, имеем честь существовать.

Карлик, который порой бывал слишком скоропалителен в своих суждениях, тут же заявил, что на Земле нет жизни. Основывался он на том, что никого не видит. Микромегас вежливо дал ему почувствовать, что вывод этот несколько опрометчив. Он сказал:

— Ваши маленькие глаза не видят звезд пятидесятой величины, которые я вижу совершенно отчетливо. Неужели же вы на этом основании придете к выводу, что этих звезд не существует?

— Но я же ощупывал! — настаивал карлик.

— У вас недостаточно чуткие пальцы, — ответил Микромегас.

— И устроена эта планета скверно, — успорствовал карлик, — все на ней неправильной формы, все нелепо, все хаотично. Взгляните на эти ручейки: ни один из них не течет прямо. А эти прудочки! Они не круглые, не овальные, не квадратные... Очертания у них самые невероятные. А эти маленькие остроконечные штуки, которые торчат по всей планете! (Он имел в виду горы.) Они мне все ноги изранили. Обратите внимание на фор-

му планеты: она сплюснута у полюсов и обращается вокруг Солнца так несуразно, что климат в полярных областях непригоден для жизни. Все это позволяет мне думать, что планета необитаема, да и какие здравомыслящие существа согласятся обитать на ней?

— Вполне возможно, что это планета не для здравомыслящих людей,— заметил Микромегас.— И все-таки существует вероятность, что сотворена она не зря. Вас возмущает здешняя неправильность форм только потому, что на Юпитере и Сатурне все по линейке. А вдруг здесь все несколько хаотично именно в противовес тамошнему порядку? Я ведь, кажется, говорил вам, что, путешествуя, повсюду отмечал поразительные различия?

Но у сатурнианца на все находился ответ. Спор так никогда бы и не кончился, если бы не счастливая случайность: Микромегас, горячо доказывая свою точку зрения, порвал алмазное ожерелье. Алмазы — прекрасные камешки разной величины, самый большой из которых весил четыреста фунтов, а самый маленький пятьдесят,— рассыпались по земле. Карлик поднял несколько, поднес, рассматривая, к глазам и обнаружил, что хорошо ограненный алмаз великолепно может заменить лупу. Себе он выбрал небольшую лупу — диаметром в сто шестьдесят футов, а Микромегас — в две тысячи пятисот. На первых порах друзья ничего не увидели: лупы были превосходны, но к ним нужно было привыкнуть. Наконец сатурнианец заметил в волнах Балтийского моря еле различимое существо; это был кит. Карлик мигом подцепил его мизинцем, переложил на ноготь большого пальца и продемонстрировал жителю Сириуса; тот вторично не смог удержаться от смеха, и на сей раз причиной послужила исключительная ничтожность обитателей нашей планеты. Убедившись в наличии жизни на Земле, сатурнианец мгновенно сделал вывод, что населена она одними китами, а поскольку он был великий умник, ему захотелось выяснить, за счет чего движется этот крохотный атом, присущи ли ему идеи, воля, свобода выбора. Пытаясь разрешить этот сложный вопрос, Микромегас тщательно осмотрел животное, и приговор был таков: трудно предположить, что в подобной козявке может найтись место для души. Оба путешественника уже готовы были согласиться, что у обитателей

Земли нет разума, но тут через свои лупы увидели в волнах Балтийского моря нечто гораздо крупнее кита. А надобно знать, что в это время целый выводок философов возвращался из-за Полярного круга, где они производили наблюдения, мысль о которых никому до них не приходила в голову. Газеты сообщали, что их корабль налетел на скалы у берегов Ботнического залива и философы еле спаслись; до сей поры никто в мире не знал истинной подоплеки этого события. Я расскажу, что произошло на самом деле, расскажу без прикрас, ничего не прибавив от себя, хотя от историка это требует немало самостречения.

Глава пятая

ИЗЫСКАНИЯ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБОИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Микромегас протянул два пальца к появившемуся предмету, но, боясь промахнуться, отдернул, развел их, свел, ловко подхватил корабль вместе с плывущими на нем философами и осторожно, стараясь не раздавить, переложил на ноготь большого пальца.

— Смотрите-ка, это животное иной породы! — изумился карлик с Сатурна.

Микромегас положил мнимое животное себе на ладонь. Пассажиры и команда, решившие, что их подхватил ураган и выбросил на скалу, кинулись спасаться: матросы выкатили из трюма бочки с вином и спустили их на ладонь великана, а следом попрыгали сами. Геометры, захватив свои квадранты, астролябии и лапландских девиц, сошли к нему на пальцы. Они развернули там такую бурную деятельность, что Микромегас в конце концов почувствовал слабый укол в указательный палец: это ученые вогнали ему туда на целый фут железный стержень. Микромегас решил, что его укусило животное, которое он держит на ладони; об истинных виновниках он и не подозревал. Лупа, сквозь которую он с трудом различал кита и корабль, оказалась слишком слаба, чтобы разглядеть столь мизерные существа, какими являются люди. Нет, нет, я не собираюсь задевать здесь ничью гордыню, однако вынужден попросить всех тех, кто сверх меры доволен собой, учесть следую-

щее соображение: если принять, что рост человека примерно пять футов, то с Землей он соотносится приблизительно так же, как животное высотой в одну шестисоттысячную долю дюйма, сидящее на шаре окружностью десять футов, соотносится с этим шаром. А теперь представьте некое существо, в чьей ладони спокойно помещается Земля и чьи органы пропорциональны нашим (вполне может оказаться, что таких существ во вселенной много), и, пожалуйста, вообразите, что оно могло бы подумать о наших сражениях, где победой называют взятие какой-то несчастной деревушки, которую вскоре снова сдают неприятелю.

Не сомневаюсь, что если это сочинение прочтет какой-нибудь капитан гренадеров, он тут же прикажет сделать шапки-гренадерки ражих солдат своей роты по крайней мере на два фута выше, но я смею заверить его, что при всем при этом он и его подчиненные были и останутся величинами бесконечно малыми.

Какую же поразительную зоркость должен был иметь философ с Сириуса, чтобы обнаружить атомы, о которых я только что говорил! Когда Левенгук и Хартсекер впервые увидели или поверили, что видят, клетки, из которых мы состоим, их удивление своим открытием ни в какое сравнение не шло с изумлением Микромегаса. Что за восторг ощутил он, видя, как эти крохотные организмы двигаются, перемещаются с места на место, производят разнообразные действия! Какой возглас издал! С какой радостью протянул одну из луп своему сотоварищу!

— Я вижу их! — наперебой восклицали путешественники. — Взгляните: они перетаскивают тяжести, наклоняются, опять выпрямляются!

Руки у них дрожали от радости, что им удалось обнаружить эти диковинные существа, и от страха потерять их. Сатурнианец, который из слишком неверующего мигмом обратился в верующего чрезмерно, решил, что существа занимаются размножением.

— Ура! — воскликнул он. — Я поймал природу с личным!

Но он просто ложно истолковал увиденное; увы, это случается весьма часто и при наблюдении в лупу, и при наблюдении невооруженным глазом.

О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО МЕЖДУ
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ И ЛЮДЬМИ

Микромегас, оказавшийся гораздо лучшим наблюдателем, чем карлик, обнаружил, что атомы разговаривают между собой, и обратил на это внимание своего товарища. Однако тот, устыдясь, что так ошибся с размножением, никак не хотел поверить, будто эти козявки могут обмениваться мыслями. Способности к языкам у него были ничуть не хуже, чем у обитателя Сириуса, но он не слышал голосов атомов и потому заключил, что они не говорят. Да и где у этих неразличимых козявок может быть орган речи? Что они могут сообщить друг другу? Чтобы говорить, надо хоть чуть-чуть мыслить, а чтобы мыслить, они должны иметь нечто, равнозначущее душе. Но абсурдно же предполагать, будто у этих существ может быть что-то, хотя бы отдаленно напоминающее душу!

— Тем не менее совсем недавно вы были уверены, что они занимаются любовью,— заметил Микромегас.— Значит, вы считаете, что любовью можно заниматься, не думая и не произнося ни слова или хотя бы не попытавшись понять друг друга? Иначе говоря, вы полагаете, что придумать довод куда труднее, чем родить ребенка? Мне же и то и другое представляется величайшим таинством.

— Я не смею больше ни утверждать, ни отрицать,— отвечал карлик.— У меня нет никакого мнения. Попытаемся исследовать этих насекомых, судить же будем после.

— Весьма разумно,— согласился Микромегас.

Он извлек ножницы и принялся стричь себе ногти; ноготь, обстриженный с большого пальца, он свернул воронкой, соорудив нечто наподобие слуховой трубки, каковую вставил себе в ухо. Широкой же стороной воронки он накрыл корабль вместе с командой и философами. Круговые волокна ногтя проводили даже самые слабые звуки, и таким образом великан-философ благодаря своей изобретательности прекрасно слышал жужжание крохотных насекомых. Часа через два-три он уже различал слова и в конце концов стал понимать по-французски. Карлик достиг того же, правда, с бóльшим

трудом. Изумление путешественников возрастало с каждой секундой. Они убедились, что речь козявок вполне осмысленна, хотя никак не могли объяснить подобную игру природы. Надеюсь, вы не усомнитесь, что оба они сгорали от нетерпения завязать разговор с атомами, однако сатурнианец опасался, как бы его громopodobный голос, а тем паче голос Микромегаса, не оглушил их, после чего, разумеется, ни о каком взаимопонимании не будет и речи. Путешественники взяли в рот по небольшой зубочистке, а острые их концы приблизили к кораблю. Микромегас на коленях держал карлика, а на ногте корабль с командой и пассажирами. И вот, наконец, наклонив голову и соблюдая тысячи всевозможных предосторожностей, он тихо произнес:

— О невидимые насекомые, которых Творец соблаговолил создать в безднах бесконечно малого, я возношу ему благодарения за то, что он сподобил меня открыть тайны, казавшиеся непостижимыми. У нас при дворе вас, вероятно, не удостоили бы и взглядом, но я не презираю никого и предлагаю вам свое покровительство.

Невозможно описать, как были поражены люди, услышав это обращение. Они не понимали, кто с ними говорит. Судовой капеллан принялся читать молитвы, дабы изгнать дьявола, матросы — изрыгать проклятия, философы — строить философские системы, но ни одна из них не смогла объяснить, кто произнес эти слова. Карлик-сатурнианец, чей голос был мелодичнее, чем у Микромегаса, в нескольких словах растолковал им, с существами какого рода довелось им иметь дело. Он рассказал людям про путешествие с Сатурна, сообщил, кто такой господин Микромегас, и, выразив соболезнование по поводу их крохотности, поинтересовался, всегда ли они пребывали в столь ничтожном состоянии, граничащем уже с небытием; что они делают на планете, хозяевами которой, по всем признакам, являются киты; счастливы ли они, способны ли размножаться, есть ли у них душа, и задал еще множество вопросов в том же духе.

Некий мыслитель, бывший посмелее прочих и притом возмущенный высказанным сомнением в наличии у него души, навел на сатурнианца квадрант, снял, глядя через диоптры, два отсчета, а после третьего изрек:

— Милостивый государь, вы, очевидно, полагаете, что если в вас от макушки до пят тысяча туазов, то вам позволительно...

— Тысяча туазов! — вскричал карлик. — Праведное небо! Откуда он знает, что мой рост тысяча туазов? Он ни на дюйм не ошибся! Выходит, этот атом меня измерил. Он геометр и знает мой рост, а я вижу его только в лупу и не способен определить, каких он размеров!

— Да, сударь, я измерил вас, — подтвердил физик, — и могу измерить вашего сотоварища-великана.

Предложение было принято, и его превосходительство растянулся на земле, потому что, стоя, он уходил головою за облака. Сначала философы установили на нем высокий шест в том месте, которое доктор Свифт несомненно назвал бы, но о котором я из глубочайшего почтения к дамам умолчу. Затем, пользуясь системой соединенных между собой треугольников, они пришли к выводу, что наблюдаемый ими предмет в действительности является молодым человеком ростом в сто двадцать тысяч футов.

И тогда Микромегас произнес следующую тираду:

— Теперь я более, чем когда-либо, убежден, что ни о чем нельзя судить по его размерам. Господи, ты даровал разум столь неприметным, крохотным существам! Для тебя сотворить бесконечно малое так же просто, как бесконечно большое, и если возможны существа еще меньше этих, то они вполне могут разумом превосходить те величественные твои создания, которых я встречал на далеких звездах и которые способны своей ступней накрыть эту планету.

На это один из философов сказал ему, что он может не сомневаться в существовании разумных тварей, которые гораздо меньше человека. Он поведал Микромегасу про пчел, но отнюдь не мифические истории Вергилия, а то, что открыл Сваммердам и подтвердил анатомическими исследованиями Реомюр. А под конец добавил, что имеются животные, которые по размерам соотносятся с пчелами так же, как пчелы с человеком или уроженец Сириуса с теми гигантскими созданиями, о которых он только что упомянул, а они, в свой черед, с другими существами, по сравнению с которыми кажутся атомами. Беседа мало-помалу становилась все интересней, и Микромегас сказал:

Глава седьмая
РАЗГОВОР С ЛЮДЬМИ

— О разумные атомы, в которых Вечное Существо являет свое безграничное всемогущество, вы на своей планете, несомненно, должны вкушать одни только чистые радости. В вас столь мало материи, вы кажетесь воплощением духовного и жизнь свою, видимо, проводите в наслаждениях и размышлениях, ибо в этом и состоит истинная жизнь духа. Я нигде не видел подлинного счастья, но здесь, вне всякого сомнения, встретил его.

После этих его слов философы смущенно потупились, а самый откровенный из них честно признался, что все человечество, за очень небольшим исключением, отношение к которому, кстати, весьма пренебрежительное,— это свора безумцев, злодеев и несчастных.

— Материального в нас,— добавил он,— вполне достаточно, чтобы непрерывно творить зло, если принять, что оно — порождение материи; но если зло — порождение духа, то и духовного в нас хватает с избытком. Знайте, что сейчас, пока мы с вами разговариваем, сто тысяч безумцев, принадлежащих к человеческому роду и носящих шляпы, и сто тысяч безумцев той же разновидности, но носящих чалмы, яростно убивают друг друга. И такое с незапамятных времен происходит по всей Земле.

Микромегас содрогнулся и спросил, какова причина такой жестокой распри между столь ничтожными существами.

— Несколько кучек грязи размером с ваш каблук,— ответил философ.— Но ни один из миллионов людей, участвующих во взаимном истреблении, не притязает на обладание хотя бы крупинкой этой грязи. Война ведется для того, чтобы определить, кому во владение перейдут эти кучки: человеку, которого титулуют *султаном*, или тому, кого по неведомой причине именуют *кесарем*. Ни тот, ни другой никогда не видел и не увидит клочка земли, из-за которого ведется война, равно как почти никто из тех, что взаимно уничтожают друг друга, никогда не видел существа, ради которого убивает или позволяет себя убить.

— О гнусность! — в негодовании вскричал обитатель Сириуса.— Откуда в них столько неистовой злобы?

У меня возникает желание несколькими пинками разнести этот муравейник, обиталище бессмысленных убийц!

— Не трудитесь,— был ему ответ.— Они сами постараются извести себя. Поверьте, лет через десять в живых не останется и сотой доли этих несчастных; даже если бы они не прибегли к оружию, голод, труд и пороки почти всех их свели бы в могилу. Да и карать надо не их, а тех извергов, что восседают в своих палатах и, предаваясь трудам пищеварения, посылают на бойню сотни тысяч людей, а после устраивают пышные благодарственные молебны.

У путешественника невольно шевельнулась жалость к человеческому роду, в котором ему открылись такие поразительные противоречия. И он спросил у философов:

— Скажите, а чем занимаетесь вы, принадлежащие, как я понял, к разумному меньшинству и, очевидно, не убивающие за деньги подобных себе?

— Препарируем мух,— ответил один из философов,— измеряем прямые и кривые, складываем числа. Мы пришли к согласию в отношении нескольких проблем, которые нам понятны, и спорим по нескольким тысячам, непонятным для нас.

И у Микромегаса, и у сатурнианца явилась мысль узнать, в чем пришли к согласию эти разумные атомы.

— Каково расстояние между Сириусом и звездой Кастор в созвездии Близнецов?

— Тридцать два с половиной градуса,— хором ответили философы.

— А отсюда до Луны?

— Примерно шестьдесят земных полудиаметров.

— Сколько весит ваш воздух?

Микромегас надеялся этим вопросом поставить их в тупик, но они так же хором ответили, что воздух весит приблизительно в девятьсот раз меньше такого же объема дистиллированной воды и в тысячу девятьсот раз меньше, чем червонное золото.

Потрясенный их ответами карлик-сатурнианец готов был считать этих людей чуть ли не волшебниками, хотя всего четверть часа назад отказывался допустить, что у них есть душа.

И тогда Микромегас спросил:

— Поскольку вы обладаете столь обширными знаниями о том, что вне вас, вы, несомненно, должны быть еще лучше осведомлены о том, что внутри вас. Скажите, что такое душа и как образуются у вас мысли?

Философы опять заговорили все вместе, но теперь каждый говорил свое. Самый старый процитировал Аристотеля, один произнес имя Декарта, другой Мальбранша, кто-то упомянул Лейбница, кто-то Локка. Ветхий перипатетик громко и безапелляционно изрек:

— Душа — это *энтелехия*, и единственная причина, по которой она имеет возможность существовать, состоит в том, что она существует. Именно так утверждает Аристотель, смотри луврское издание, страницу шестьсот тридцать третью: *'Εντελεχῆτα ἔστι*.

— Я не слишком хорошо понимаю по-гречески, — сказал великан.

— Я тоже, — признался крошечный философ.

— Зачем же вы тогда цитируете по-гречески какого-то Аристотеля? — удивился Микромегас.

— То, чего не понимаешь, лучше всего цитировать на языке, который знаешь хуже всего, — отвечивал ученый муж.

В разговор вступил картезианец и заявил:

— Душа — это чистый дух, воспринявший в материнском чреве все метафизические идеи, однако после выхода из него ей приходится опять начинать учение и заново постигать то, что она так хорошо знала, но чего никогда уже не узнает.

— Право, твоей душе не имело смысла быть такой ученой в материнском чреве, чтобы стать совершенно невежественной, когда у тебя появится борода, — отрезало восьмимильное существо. — А что такое, по-твоему, дух?

— Не спрашивайте меня о подобных вещах, — ответил мыслитель. — Я не имею об этом ни малейшего представления. Считается, что он не материален.

— Но ты хотя бы знаешь, что такое материя?

— Несомненно, — ответил человек. — Возьмем, например, этот камень: он серого цвета, обладает определенной формой, тремя измерениями, весом, делимостью...

— Хорошо, — заметил Микромегас. — Тебе этот предмет кажется серым, делимым, обладающим весом,

но все же ответь, что он такое? Тебе открыты отдельные его признаки, но известна ли его сущность?

— Нет,— отвечал картезианец.

— Тогда ты не знаешь, что такое материя.

Затем господин Микромегас обратился к следующему мудрецу из находившихся на его большом пальце и задал вопрос, что такое душа и в чем проявляется ее деятельность. Философ, бывший последователем Мальбранша, ответил:

— Ни в чем. Все за меня творит бог; я все созерцаю в нем; все, что происходит со мной, происходит в нем; он источник всего, я же ни к чему не причастен.

— Это выходит вовсе не жить,— заметил философ с Сириуса и поинтересовался у стоящего рядом лейбни-цианца: — А по-твоему, друг мой, что есть душа?

— Душа,— заявил тот,— это стрелка часов, показывающая время, меж тем как тело отбивает его, или, если угодно, она отбивает, а тело показывает; иначе говоря, душа — это зеркало, в котором отражается мир, а тело — рама зеркала. По-моему, это совершенно очевидно.

Спрошенный следующим приверженец Локка так ответил на вопрос:

— Мне неизвестно, каким образом я мыслю, но я знаю, что мысли у меня возникают лишь вследствие моих ощущений. У меня нет сомнений в том, что есть разумные нематериальные сущности, но зато я весьма сомневаюсь, что богу не под силу наделить материю способностью мыслить. Я благоговею перед его извечным всемогуществом и считаю, что не подобает ставить ему пределы. Не берусь ничего утверждать — мне достаточно уверенности, что на свете существует многое такое, чего мы и представить себе не можем.

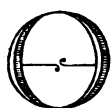
Обитатель Сириуса улыбнулся, сочтя, что этот ответ ничуть не глупее прочих, а карлик с Сатурна с радостью заключил бы последователя Локка в объятия, не препятствуя этому вопиющая несоразмерность их тел. Но на корабле, к несчастью, находилась еще одна инфузория в четырехугольной профессорской шапочке; она ворвалась в разговор, не дав высказаться остальным мудрствующим козявкам. Профессор заявил, что все тайны бытия ему известны и изложены они в «Сумме» святого Фомы Аквинского. Взирая сверху вниз на пришельцев с неба, он изрек, что все — они сами, их миры,

их солнца, их звезды — сотворено только ради человека. Тут наши путешественники повалились друг на друга, изнемогая от того неодолимого, несказанного смеха, который, согласно Гомеру, является лишь уделом богов; их тела сотрясались в таких конвульсиях, что корабль слетел у Микромегаса с ногтя и упал в карман панталон. Добросердечные путешественники долго его искали, но в конце концов нашли и водворили на прежнее место. Господин Микромегас возобновил беседу с козявками и говорил с ними чрезвычайно благожелательно, хотя в глубине души был несколько уязвлен тем, что этим бесконечно малым существам присуща прямо-таки бесконечно большая гордыня. Он пообещал написать для них самым убористым почерком философский трактат, из которого они смогут узнать о мире все от начала до конца. И действительно, прежде чем отправиться в обратный путь, он вручил им том, который и был доставлен в Париж, в Академию наук, но когда секретарь Академии раскрыл его, оказалось, что все страницы сияют девственной белизной.

— Я так и предполагал,— промолвил он.



Двое утешенных



днажды великий философ Цитофил сказал отчаявшейся женщине, у которой были все основания отчаиваться:

— Сударыня, королева Англии, дочь великого Генриха IV, была столь же несчастлива, как и вы: ее изгнали из ее владений, она едва не погибла в океане во время бури, она стала свидетельницей смерти на эшафоте своего сиятельного супруга.

— Мне очень жаль ее,— сказала дама; и она принялась оплакивать свои собственные несчастья.

— Но вспомните Марию Стюарт,— продолжал Цитофил.— Она всей душой любила бравого музыканта, обладавшего на редкость красивым басом. Ее муж прямо у нее на глазах убил ее музыканта; а потом ее добрая приятельница и добрая родственница королева Елизавета, называвшая себя девственницей, велела отрубить ей голову на плахе, обтянутой черным сукном, предварительно продержав ее восемнадцать лет в тюрьме.

— Это ужасно жестоко,— отвечала дама и снова погрузилась в меланхолию.

— Может быть, вы слышали,— не унимался утешитель,— о прекрасной Жанне Неаполитанской, той, что была схвачена и удушена?

— Я смутно вспоминаю об этом,— сказала дама все так же уныло.

— Мне следует рассказать вам,— продолжал философ,— историю одной государыни, которая, уже на моем веку, была свергнута с престола после ужина и умерла на пустынном острове.

— Я хорошо знаю эту историю,— возразила дама.

— Ну что ж, в таком случае я поведаю вам о том, что случилось с другой принцессой, которую я обучал философии. Как у всякой прекрасной принцессы, у нее был любовник. Отец ее вошел к ней в спальню и застал там любовника с пылающим лицом и горящими глазами; дама тоже вся раздурманилась. Лицо молодого человека до того не понравилось отцу красавицы, что он влепил ему самую звонкую пощечину, какую когда-либо слышали во всем государстве. Любовник схватил каминные щипцы и так ударил по голове своего тестя, что тот едва оправился, и у него до сих пор виден шрам от этой раны. Принцесса, обезумев от страха, выпрыгнула в окно и вывихнула себе ногу, вследствие чего она теперь заметно прихрамывает, хотя вообще-то у нее восхитительная фигура. Любовник был приговорен к смерти за то, что проломил голову владельческому принцу. Можете себе представить, в каком состоянии была принцесса, когда ее возлюбленного вели на виселицу. Я подолгу беседовал с нею, когда она была в тюрьме; она никогда ни о чем не говорила, кроме своих горестей.

— Почему же вы хотите, чтобы я не думала о своих? — сказала дама.

— Потому,— отвечал философ,— что о них не следует думать, и потому, что если уж столько знатных дам были так несчастливы, вам не пристало отчаиваться. Вспомните Гекубу, вспомните Ниобею!

— Ах! Если бы я жила в их времена,— возразила дама,— или во времена всех этих прекрасных принцесс, и если бы, чтобы их утешить, вы рассказали им о моих несчастьях,— неужто вы думаете, что они стали бы вас слушать?

На другой день философ потерял единственного сына и сам едва не умер от горя. Дама составила список всех монархов, утративших своих детей, и отнесла его к философу; тот прочел список, нашел его весьма точным, но продолжал плакать. Спустя три месяца они свиделись опять и были удивлены, заметив, что пребывают в весьма веселом расположении духа. Они велели воздвигнуть стацию Времени и сделать на ней следующую надпись:

Тому, кто утешает.

История путешествий Скарментадо, написанная им самим

Я родился в городе Кандии в 1600 году. Мой отец был там правителем; и я вспоминаю, что некий посредственный поэт, но зато выдающийся тупица, по имени Иро, сочинил скверные стишки в мою честь, в коих восхвалял меня как потомка Миноса по прямой линии; но когда отец мой впал в немилость, он сочинил другие стишки, в коих я назывался уже лишь потомком Пасифаи и ее любовника. Дрянной человечиска был этот Иро и самый докучный мошенник на всем острове.

Когда мне минуло пятнадцать лет, отец послал меня учиться в Рим. Я прибыл туда в надежде познать все истины, ибо до тех пор меня обучали прямо противоположному, по обычаю невежественного мира, протянувшегося от Китая до самых Альп. Монсеньер Профондо, коему меня препоручили, был странный человек и один из самых неистовых ученых на свете. Он хотел научить меня аристотелевым категориям и готов был зачислить меня в категорию любимцев своего сердца; мне удалось благополучно избежать этой чести. Я видел торжественные шествия, видел изгнание дьявола и несколько грабежѣй. Говорили, хотя это было в высшей степени неверно, будто синьора Олимпия, весьма осмотрительная особа, продавала многое, чего не следует продавать. Я был в таком возрасте, что все это казалось мне чрезвычайно занятным. Одна молодая дама весьма покладистого нрава, по имени синьора Фатело, вознамерилась меня полюбить. За ней ухаживали преподобный отец Пуаньярдини и преподобный отец Аконити, молодые монахи ныне уже

не существующего ордена; она примирила их между собой, одарив своей благосклонностью меня; но в то же время я подвергался опасности быть отлученным от церкви и отравленным. Я уехал из Рима, весьма довольный архитектурой собора святого Петра.

Я совершил путешествие во Францию; то было время царствования Людовика Справедливого. Первым делом меня спросили, не желаю ли я получить на завтрак кусочек маршала д'Анкр, которого изжарили по требованию народа и теперь продавали в розницу всем желающим по сходной цене.

Это государство постоянно находилось во власти гражданских войн, которые велись иногда из-за места в государственном совете, иногда из-за контроверзы на двух страницах. Уже более шести десятков лет этот огонь, то угасающий, то раздуваемый с новой силой, опустошал сию прекрасную страну. Так проявлялась свобода галликанской церкви. «Увы,— подумал я.— А ведь народ этот рожден был мягкосердечным, что же могло так извратить его характер? Он шутит и устраивает Варфоломеевскую ночь. Блаженно то время, когда он будет только шутить!»

Я отправился в Англию; такие же распри возбуждали там такое же ожесточение. Благочестивые католики ради блага Церкви решили взорвать при посредстве пороха короля, королевскую фамилию и весь парламент, дабы избавить Англию от сих еретиков. Мне показали то место, где, по велению блаженной памяти королевы Марии, дочери Генриха VII, сожгли более пятисот ее подданных. Один ибернийский священник заверил меня, что это было весьма доброе дело: во-первых, потому, что сожженные были англичане, во-вторых, потому, что они никогда не употребляли святой воды и не веровали в вертеп святого Патрика. Он в особенности удивлялся, как это королева донныне не причислена к лику святых; но он уповал, что это сделано будет в недалгом времени, как только кардинал-племянник улучит для этого свободную минуту.

Я поехал в Голландию в надежде найти больше покоя у более флегматичных ее народов. Когда я прибыл в Гаагу, как раз отрубали голову одному почтенному старцу. То была плешивая голова первого министра Барневельдта, самого заслуженного человека в Республике.

Поддавшись жалости, я осведомился, в чем состояло его преступление, может быть, он совершил государственную измену?

— Он совершил нечто гораздо худшее,— ответил мне проповедник в черной мантии.— Этот человек полагал, будто можно с тем же успехом спастись добрыми делами, как и верою. Вы, разумеется, понимаете, что ни одна республика не выдержит, ежели распространятся подобные суждения, и что надобны суровые законы, дабы пресечь такую мерзость и позор.

Некий глубокомысленный политик тех мест сказал мне со вздохом:

— Увы, сударь, добрые времена не будут длиться вечно; этот народ по чистой случайности проявляет ныне такое рвение; в глубине души он отвержен отвратительному догмату терпимости, и когда-нибудь он к этому и придет; от такой мысли я прихожу в трепет.

И я в ожидании зловещего будущего, когда восторжествует умеренность и снисхождение, с великой поспешностью покинул страну, в коей царила суровость, не смягчаемая никакими удовольствиями, и, погрузившись на судно, отправился в Испанию.

Двор находился в Севилье, галионы уже прибыли, все дышало довольством и изобилием, стояло самое прекрасное время года. В конце аллеи из апельсиновых и лимонных деревьев я увидел некое подобие огромного ристалища, окруженного ступенчатыми скамьями, кои покрыты были драгоценными тканями. Под великолепным балдахином восседали король, королева, принцы и принцессы. Напротив августейшего семейства стоял другой трон, но более высокий. Обратившись к одному из моих спутников, я сказал:

— Не вижу, зачем может быть нужен этот трон, разве что он прибережен для самого господина бога.

Эти опрометчивые слова были услышаны одним важным испанцем и дорого мне стоили. Я все еще воображал, что мы сейчас увидим какую-нибудь карусель или бой быков, как вдруг на трон взшел великий инквизитор и благословил оттуда короля и народ.

Вслед за тем явилась целая армия монахов, шествовавших попарно, черных, серых, обутых, босых, бородастых, безбородых, в остроконечных капюшонах и без капюшонов; за ними шел палач; затем окруженные альгва-

зилами и грандами, показались человек сорок, одетые в балахоны из мешковины, на коих намалеваны были черти и языки пламени. То были евреи, упорно не желавшие отречься от Моисея, христиане, которые женились на своих кумах, либо не поклонялись божьей матери Аточской, либо не захотели избавиться от своих наличных денег в пользу братьев иеремиев. Сперва проникновенно пропели очень красивые молитвы, а затем сожгли на медленном огне всех преступников, что было чрезвычайно поучительно для всей королевской фамилии.

Вечером, когда я уже ложился спать, ко мне явились два сыщика инквизиции в сопровождении служителей святой Германдады; они нежно обняли меня и, не говоря ни слова, отвели в темницу, весьма прохладную, обстановка которой состояла из циновки и красивого креста. Там оставался я шесть недель, после чего преподобный отец-инквизитор послал за мною с просьбой явиться к нему для беседы; некоторое время он сжимал меня в объятиях с чисто отеческой теплотой; он сказал мне, что был искренне огорчен, узнав, что меня поместили в столь скверное жилище, но все апартаменты его дома переполнены, и он надеется, что в следующий раз меня устроят с большими удобствами. Затем он по-дружески спросил меня, не знаю ли я, по какой причине там очутился. Я отвечал преподобному отцу, что, по-видимому, по причине моих прегрешений.

— А за какое именно прегрешение, дорогое дитя мое? Доверьтесь мне безбоязненно.

Но сколько я ни ломал голову, все же никак не мог догадаться, и тогда он милостиво навел меня на верный путь.

Наконец я вспомнил свои опрометчивые слова. Я расплатился за них шестью неделями выучки и штрафом в тридцать тысяч реалов. Меня отвели на поклон к великому инквизитору; то был вежливый человек, он спросил меня, как мне понравился его маленький праздник. Я ответил, что это было восхитительно, и начал торопить моих спутников покинуть эту страну, как она ни была прекрасна. Они успели рассказать мне о всех великих деяниях, кои совершили испанцы во имя религии. Они прочитали записки знаменитого епископа Чиапского, судя по которым десять миллионов неверных в Америке были зарезаны, сожжены либо утоплены во имя обращения их в

истинную веру. Я подумал, что сей епископ преувеличивает; но даже если свести число жертв к пяти миллионам, то и это достойно восхищения.

Страсть к путешествиям по-прежнему томила меня. Я рассчитывал завершить обзор Европы Турцией; туда мы и отправились. Я решил не высказывать более своего мнения о празднествах, какие мне доведется узреть.

— Эти турки,— сказал я своим спутникам,— неверные, они не были крещены, а стало быть, окажутся еще более жестокими, нежели преподобные отцы-инквизиторы. Пока мы будем у магометан, давайте хранить молчание.

Итак, я отправился к магометанам. К великому моему удивлению, в Турции было гораздо больше христианских храмов, чем в Кандии. Я даже видел многочисленных монахов, коим дозволялось свободно молиться деве Марии и проклинать Магомета то по-гречески, то по-латыни, а иногда по-армянски.

— Что за славные люди турки! — воскликнул я.

В Константинополе греческие и латинские христиане пребывали в смертельной вражде между собою; их рабы грызлись, как уличные собаки, которых хозяева разгоняют палками. В те времена великий визирь покровительствовал грекам. Греческий патриарх обвинил меня в том, что я ужинал с латинским патриархом, и государственный совет единодушно приговорил меня к сотне палочных ударов по пяткам, от коих можно было откупиться пятью сотнями цехинов. Назавтра великого визиря удушили; на послезавтра его преемник, который стоял на стороне латинской партии и был удушен месяцем позже, присудил меня к такому же штрафу за то, что я ужинал с греческим патриархом. Я очутился перед горестной необходимостью не посещать более ни греческую, ни латинскую церковь. Чтобы утешиться, я нанял на срок чрезвычайно красивую черкешенку, самую нежную особу, когда она бывала со мною наедине, и самую благочестивую, когда она бывала в мечети. Однажды ночью, в упоении нежной любви, она, целуя меня, воскликнула:

— *Аллах, илля Аллах!*

Это сакраментальные слова турков; а я думал, что это сакраментальные слова любви; и я вскричал столь же нежно:

— *Аллах, илля Аллах!*

— Хвала милосердному господу, вы турок,— сказала она.

Я ответил, что благословлял Аллаха за то, что он даровал мне силу, и почувствовал себя весьма счастливым. Наутро явился имам, чтобы совершить надо мною обрезание, и так как я оказал некоторое сопротивление, кади того квартала, человек, приверженный закону, предложил посадить меня на кол; я спас мою крайнюю плоть и мой зад при помощи тысячи цехинов и незамедлительно бежал в Персию, твердо решившись не слушать более ни греческой, ни латинской обедни в Турции и не восклицать «Аллах, илля Аллах!» во время любовных утех.

По прибытии в Исфаган меня спросили, предпочитаю ли я черного либо белого барана. Я отвечал, что мне это глубоко безразлично, было бы нежным его мясо. Надо знать, что еще доныне персияне разделяются на секты *Черного барана* и *Белого барана*. Они подумали, будто я насмехаюсь над обеими сторонами, так что не успел я войти в городские ворота, как уже впутался в серьезное судебное дело; чтобы разделаться с баранами, мне пришлось употребить большое количество цехинов.

Я достиг пределов Китая в сопровождении толмача, который уверил меня, что это страна, где живут весело и свободно. Там хозяйничали татары, предавшие всю страну огню и мечу; и преподобные отцы иезуиты, с одной стороны, так же как преподобные отцы доминиканцы — с другой, говорили, что они втайне от всех отвоевывают души для господ бога. Никогда еще не бывало столь ревностных обратителей в истинную веру, ибо они поочередно преследовали друг друга; они строчили в Рим целые фолианты, заполненные клеветой, они называли друг друга неверными и совратителями душ человеческих. Особенно ужасная распря возникла у них по вопросу о том, как следует кланяться. Иезуиты желали, чтобы китайцы приветствовали своих отцов и матерей на китайский манер, а доминиканцы хотели, чтобы они делали это по римскому обычаю. Случилось так, что иезуиты приняли меня за доминиканца. Его татарскому величеству доложили, будто я папский шпион. Высший государственный совет поручил первому мандарину, а тот приказал военному чину, который командовал четырьмя сбирами этого округа, арестовать меня и связать по всем

правилам церемонии. После ста сорока колснопреклонений я был представлен его величеству. Властитель велел спросить меня, правда ли, что я шпион папы, и верно ли, что этот князь церкви собирается прибыть сюда собственной персоной и свергнуть его с престола. Я отвечал, что папа — это священнослужитель семидесяти лет от роду, что живет он в сорока тысячах лье от его божественного татаро-китайского величества; что у него есть около двух тысяч солдат, которые несут караул, держа над ним балдахин; что он никого не свергает с престола, и его величество может спать спокойно. Это приключение оказалось наименее гибельным из всех мною пережитых. Меня отправили в Макао, а там я погрузился на судно, держащее курс на Европу.

У берегов Голконды мое судно потребовало ремонта. Я воспользовался стоянкой, чтобы посетить двор великого Ауранг-зеба, о котором рассказывали чудеса; он тогда располагался в Дели. Мне выпала утеха лицезреть его в день пышной церемонии вручения ему небесного дара от шерифа Мекки. То была метла, коей подметали каабу — святилище Аллаха. Метла эта — символ, она выметает все нечистоты из души. Ауранг-зев, казалось, в этом не нуждался: он был самый благочестивый человек во всем Индустане. Правда, он удавил одного из своих братьев и отравил отца. Двадцать раджей и столько же эмиров умерли под пытками; но это не имело значения, и люди говорили только о его благочестии. Его приравнивали лишь к его августейшему величеству, светлейшему султану Марокко Малик-Исмаилу, который рубил головы каждую пятницу после молитвы.

Я не проронил ни единого слова; путешествия должным образом воспитали меня, и я чувствовал, что мне не пристало отдавать предпочтение кому-нибудь из двух августейших особ. Должен признаться, что один молодой француз, с коим вместе я стоял на квартире, не выказал почтения ни императору Индии, ни султану Марокко. Он весьма неосмотрительно осмелился сказать, будто в Европе имеются весьма благочестивые государи, которые успешно правят своими владениями и даже часто бывают в церкви, не убивая при этом своих отцов и братьев и не рубя головы своим подданным. Наш толмач перевел на хинди нечестивые речи моего молодого приятеля. Наученный прошлым опытом, я велел седлать

своих верблюдов, и мы с французом уехали. Впоследствии я узнал, что той же ночью служители великого Ауранг-зеба явились, чтобы схватить нас, но нашли лишь толмача. Он был публично казнен, и все придворные без всякой лести признали, что то была совершенно справедливая казнь.

Мне осталось повидать Африку, дабы насладиться сладостным климатом нашего континента. Я действительно ее повидал. Корабль, на котором я плыл, был захвачен негритянскими корсарами. Хозяин судна разразился жалобами и стенаниями; он спросил, почему они нарушают законы, установленные между народами. Негритянский капитан отвечал ему:

— У вас длинный нос, а у нас плоский; у вас прямые волосы, а у нас курчавые; у вас кожа цвета пепла, а у нас цвета черного дерева; стало быть, в согласии со священными законами природы, мы всегда должны быть врагами. Вы покупаете нас на торжищах на берегах Гвиней, как вьючный скот, чтобы мы исполняли для вас столь же тяжелую, как и нелепую, работу. Вы заставляете нас под ударами бичей рыться в горах и добывать какую-то желтую землю, которая сама по себе ни на что не пригодна и не стоит доброй египетской луковицы; поэтому, когда мы с вами встречаемся и сила на нашей стороне, мы обращаем вас в рабов, заставляем трудиться на наших полях или отрезаем вам носы и уши.

На столь разумную речь нечего было возразить. Я отправился работать в поле, принадлежащее одной старой негритянке, чтобы сохранить свои уши и нос. Через год меня выкупили. Я насмотрелся на все прекрасное, доброе и достойное восхищения, что есть на земле; отныне я решил смотреть лишь на своих пенатов. Я женился в наших краях, я сделался рогоносцем и увидел, что это самое благостное положение на свете.



Кандид, или Оптимизм

*Перевод с немецкого доктора Ральфа
с добавлениями, которые были найдены в кармане у доктора,
когда он скончался в Миндене в лето благодати господней 1759.*

Глава первая

КАК БЫЛ ВОСПИТАН В ПРЕКРАСНОМ ЗАМКЕ КАНДИД И КАК ОН БЫЛ ОТТУДА ИЗГНАН

В Вестфалии, в замке барона Гундер-тен-Тронка, жил юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он — сын сестры барона и одного доброго и честно-го дворянина, жившего по соседству, за которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной силой времени.

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи становились егерями; деревенский священник был его великим милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньером и смеялись, когда он рассказывал о своих приключениях.

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение.

Ее дочь, Кунигунда, семнадцать лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера.

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона — прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса — лучшая из возможных баронесс.

— Доказано, — говорил он, — что все таково, каким должно быть; так как все создано сообразно цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков, потому мы и носим очки. Ноги, очевидно, назначены для того, чтобы их обувать, вот мы их и обуваем. Камни были сотворены для того, чтобы их тесать и строить из них замки, и вот монсеньер владеет прекраснейшим замком; у знатнейшего барона всего края должно быть наилучшее жилище. Свиньи созданы, чтобы их ели, — мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость, — нужно говорить, что все к лучшему.

Кандид слушал внимательно и верил простодушно: он находил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда и не осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, что, после счастья родиться бароном Тундер-тен-Тронком, вторая степень счастья — это быть Кунигундой, третья — видеть ее каждый день и четвертая — слушать учителя Панглоса, величайшего философа того края и, значит, всей земли.

Однажды Кунигунда, гуляя поблизости от замка в маленькой роще, которая называлась парком, увидела между кустарниками доктора Панглоса, который давал урок экспериментальной физики горничной ее матери, маленькой брюнетке, очень хорошенькой и очень покладистой. Так как у Кунигунды была большая склонность к наукам, то она, притаив дыхание, принялась наблюдать без конца повторявшиеся опыты, свидетельницей которых она стала. Она поняла достаточно ясно доказательства доктора, усвоила их связь и последовательность и ушла взволнованная, задумчивая, полная стремления к познанию, мечтая о том, что она могла бы стать пред-

метом опыта, убедительного для юного Кандида, так же как и он — для нее.

Возвращаясь в замок, она встретила Кандида и покраснела; Кандид покраснел тоже. Она поздоровалась с ним прерывающимся голосом, и смущенный Кандид ответил ей что-то, чего и сам не понял. На другой день после обеда, когда все выходили из-за стола, Кунигунда и Кандид очутились за ширмами. Кунигунда уронила платок, Кандид его поднял, она невинно пожала руку Кандида. Юноша невинно поцеловал руку молодой баронессы, но при этом с живостью, с чувством, с особенной нежностью; их губы встретились, и глаза их горели, и колени подгибались, и руки блуждали. Барон Тундerten-Тронк проходил мимо ширм и, уяснив себе причины и следствия, здоровым пинком вышвырнул Кандида из замка. Кунигунда упала в обморок; как только она очнулась, баронесса надавала ей пощечин; и было великое смятение в прекраснейшем и приятнейшем из всех возможных замков.

Глава вторая

ЧТО ПРОИЗОШЛО С КАНДИДОМ У БОЛГАР

Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел, сам не зная куда, плача, возводя глаза к небу и часто их обращая к прекраснейшему из замков, где жила прекраснейшая из юных баронесс. Он лег спать без ужина посреди полей, между двумя бороздами; снег падал большими хлопьями. На другой день Кандид, весь иззябший, без денег, умирая от голода и усталости, дотащился до соседнего города, который назывался Вальдбергхоф-Трарбкдикдорф. Он печально остановился у двери кабачка. Его заметили двое в голубых мундирах.

— Приятель,— сказал один,— вот статный молодой человек, да и рост у него подходящий.

Они подошли к Кандиду и очень вежливо пригласили его пообедать.

— Господа,— сказал им Кандид с милой скромностью,— вы оказываете мне большую честь, но мне нечем расплатиться.

— Ну,— сказал ему один из голубых,— такой чело-

век, как вы, не должен платить; ведь ростом-то вы будете пять футов и пять дюймов?

— Да, господа, мой рост действительно таков,— сказал Кандид с поклоном.

— Садитесь же за стол. Мы не только заплатим за вас, но еще и позаботимся, чтобы вы впредь не нуждались в деньгах. Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу.

— Верно,— сказал Кандид,— это мне и Пангос всегда говорил, и я сам вижу, что все к лучшему.

Ему предложили несколько эку. Он их взял и хотел внести свою долю, ему не позволили и усадили за стол.

— Вы, конечно, горячо любите?..

— О да,— отвечал он,— я горячо люблю Кунигунду.

— Нет,— сказал один из этих господ,— мы вас спрашиваем, горячо ли вы любите болгарского короля?

— Вовсе его не люблю,— сказал Кандид.— Я же его никогда не видел.

— Как! Он — милейший из королей, и за его здоровье необходимо выпить.

— С большим удовольствием, господа!

И он выпил.

— Довольно,— сказали ему,— вот теперь вы опора, защита, заступник, герой болгар. Ваша судьба решена и слава обеспечена.

Тотчас ему надели на ноги кандалы и угнали в полк. Там его заставили поворачиваться направо, налево, заряжать, прицеливаться, стрелять, маршировать и дали ему тридцать палочных ударов. На другой день он проделал упражнения немного лучше и получил всего двадцать ударов. На следующий день ему дали только десять, и товарищи смотрели на него, как на чудо.

Кандид, совершенно ошеломленный, не мог взять в толк, как это он сделался героем. В один прекрасный весенний день он вздумал прогуляться и пошел куда глаза глядят, полагая, что пользоваться ногами в свое удовольствие — неотъемлемое право людей, так же как и животных. Но не прошел он и двух миль, как четыре других героя, по шести футов ростом, настигли его, связали и отвели в тюрьму. Его спросили, строго следуя судебной процедуре, что он предпочитает: быть ли прогнанным сквозь строй тридцать шесть раз или получить сразу двенадцать свинцовых пуль в лоб. Как он ни уве-

рля, что его воля свободна и что он не желает ни того, ни другого,—пришлось сделать выбор. Он решился, в силу божьего дара, который назывался свободой, пройти тридцать шесть раз сквозь строй; вытерпел две прогулки. Полк состоял из двух тысяч солдат, что составило для него четыре тысячи палочных ударов, которые от шеи до ног обнажили его мышцы и нервы. Когда хотели приступить к третьему прогону, Кандид, обессилев, попросил, чтобы уж лучше ему раздробили голову; он добился этого снисхождения. Ему завязали глаза, его поставили на колени. В это время мимо проезжал болгарский король; он спросил, в чем вина осужденного на смерть; так как этот король был великий гений, он понял из всего доложенного ему о Кандиде, что это молодой метафизик, не сведущий в делах света, и даровал ему жизнь, проявив милосердие, которое будет прославляемо во всех газетах до скончания века. Искусный костоправ вылечил Кандида в три недели смягчающими средствами, указанными Диоскоридом. У него уже стала нарастать новая кожа и он уже мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю аваров.

Глава третья

КАК СПАСЯ КАНДИД ОТ БОЛГАР И ЧТО ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ПРОИЗОШЛО

Что может быть прекраснее, подвижнее, великолепнее и слаженнее, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создавали музыку столь гармоничную, какой не бывает и в аду. Пушки уложили сначала около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало тридцати тысяч душ. Кандид, дрожа от страха, как истый философ, усердно прятался во время этой героической бойни.

Наконец, когда оба короля приказали пропеть «Те Деум»¹, каждый в своем лагере, Кандид решил, что

¹ Первые слова благодарственной молитвы «Тебя, господи, славим...» (лат.).

лучше ему уйти и рассуждать о следствиях и причинах в каком-нибудь другом месте. Наступая на валявшихся повсюду мертвых и умирающих, он добрался до соседней деревни; она была превращена в пепелище. Эту аварскую деревню болгары спалили согласно законам общественного права. Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимающие детей к окровавленным грудям; там девушки со вспоротыми животами, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; в другом месте полусожженные люди умоляли добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной отрубленными руками и ногами.

Кандид поскорее убежал в другую деревню; это была болгарская деревня, и герои-авары поступили с нею точно так же. Все время шагая среди корчащихся тел или пробираясь по развалинам, Кандид оставил наконец театр войны, сохранив немного провианта в своей сумке и непрестанно вспоминая Кунигунду.

Когда он пришел в Голландию, запасы его иссякли, но он слышал, будто в этой стране все богаты и благочестивы, и не сомневался, что с ним будут обращаться не хуже, чем в замке барона, прежде чем он был оттуда изгнан из-за прекрасных глаз Кунигунды.

Он попросил милостыни у нескольких почтенных особ, и все они ответили ему, что если он будет и впредь заниматься этим ремеслом, то его запрут в исправительный дом и уж там научат жить.

Потом он обратился к человеку, который только что битый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот проповедник, косо посмотрев на него, сказал:

— Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважительная причина?

— Нет следствия без причины,— скромно ответил Кандид.— Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Надо было, чтобы я был разлучен с Кунигундой и изгнан, чтобы я прошел сквозь строй и чтобы сейчас выпрашивал на хлеб в ожидании, пока не смогу его заработать; все это не могло быть иначе.

— Мой друг,— сказал ему проповедник,— верите ли вы, что папа — антихрист?

— Об этом я ничего не слышал,— ответил Кандид,— но антихрист он или нет, у меня нет хлеба.

— Ты не достоин есть его! — сказал проповедник.— Убирайся, бездельник, убирайся, проклятый, и больше никогда не приставай ко мне.

Жена проповедника, высунув голову из окна и обнаружив человека, который сомневался в том, что папа — антихрист, вылила ему на голову полный... О, небо! До каких крайностей доводит женщин религиозное рвение!

Человек, который не был крещен, добросердечный анабаптист по имени Яков, видел, как жестоко и постыдно обошлись с одним из его братьев, двуногим существом без перьев, имеющим душу; он привел его к себе, пообчистил, накормил хлебом, напоил пивом, подарил два флорина и хотел даже пристроить на свою фабрику персидских тканей, которые выделываются в Голландии.

Кандид, низко кланяясь ему, воскликнул:

— Учитель Панглос верно говорил, что все к лучшему в этом мире, потому что я неизмеримо более тронут вашим чрезвычайным великодушием, чем грубостью господина в черной мантии и его супруги.

На следующий день, гуляя, он встретил нищего, покрытого гнойными язвами, с потускневшими глазами, искривленным ртом, провалившимся носом, гнилыми зубами, глухим голосом, измученного жестокими приступами кашля, во время которых он каждый раз выплевывал по зубу.

Глава четвертая

КАК ВСТРЕТИЛ КАНДИД СВОЕГО ПРЕЖНЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЛОСОФИИ, ДОКТОРА ПАНГЛОСА, И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

Кандид, чувствуя больше сострадания, чем ужаса, дал этому похожему на привидение страшному нищему те два флорина, которые получил от честного анабаптиста Якова. Нищий пристально посмотрел на него, залился слезами и бросился к нему на шею. Кандид в испуге отступил.

— Увы! — сказал несчастливец другому несчастливцу, — вы уже не узнаете вашего дорогого Панглоса?

— Что я слышу? Вы, мой дорогой учитель, вы в таком ужасном состоянии! Какое же несчастье вас постигло? Почему вы не в прекраснейшем из замков? Что сде-

лалось с Кунигундой, жемчужиной среди девушек, лучшим творением природы?

— У меня нет больше сил,— сказал Панглос.

Тотчас же Кандид отвел его в хлев анабаптиста, накормил хлебом и, когда Панглос подкрепился, снова спросил:

— Что же с Кунигундой?

— Она умерла,— ответил тот.

Кандид упал в обморок от этих слов; друг привел его в чувство с помощью нескольких капель уксуса, который случайно отыскался в хлеву. Кандид открыл глаза.

— Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от какой болезни она умерла? Не оттого ли, что видела, как я был изгнан из прекрасного замка ее отца здоровым пинком?

— Нет,— сказал Панглос,— она была замучена болгарскими солдатами, которые сперва ее изнасиловали, а потом вспороли ей живот. Они размозжили голову барону, который вступился за нее; баронесса была изрублена в куски; с моим бедным воспитанником поступили точно так же, как с его сестрой; а что касается замка, там не осталось камня на камне — ни гумна, ни овцы, ни утки, ни дерева; но мы все же были отомщены, ибо авары сделали то же с соседним поместьем, которое принадлежало болгарскому вельможе.

Во время этого рассказа Кандид снова лишился чувств; но, придя в себя и высказав все, что было у него на душе, он осведомился о причине, следствии и достаточном основании жалкого состояния Панглоса.

— Увы,— сказал тот,— всему причина любовь — любовь, утешительница рода человеческого, хранительница мира, душа всех чувствующих существ, нежная любовь.

— Увы,— сказал Кандид,— я знал ее, эту любовь, эту властительницу сердец, эту душу нашей души; она подарила мне один только поцелуй и двадцать пинков. Как эта прекрасная причина могла привести к столь гнусному следствию?

Панглос ответил так:

— О мой дорогой Кандид, вы знали Пакету, хорошенькую служанку высокородной баронессы; я вкушал в ее объятиях райские наслаждения, и они породили те адские муки, которые, как вы видите, я сейчас терплю. Она была заражена и, быть может, уже умерла. Пакета

получила этот подарок от одного очень ученого францисканского монаха, который доискался до первоисточника заразы; он подцепил ее у одной старой графини, а ту наградила кавалерийский капитан, а тот был обязан ею одной маркизе, и та получила ее от пажа, а паж от иезуита, который, будучи послушником, приобрел ее по прямой линии от одного из спутников Христофора Колумба. Что касается меня, я ее не передам никому, ибо я умираю.

— О Панглос,— воскликнул Кандид,— вот удивительная генеалогия! Разве не диавол — ствол этого дерева?

— Отнюдь нет,— возразил этот великий человек,— это вещь неизбежная в лучшем из миров, необходимая составная часть целого; если бы Колумб не привез с одного из островов Америки болезни, заражающей источник размножения, часто даже мешающий ему и, очевидно, противной великой цели природы,— мы не имели бы ни шоколада, ни кошенили; надо еще заметить, что до сего дня на нашем материке эта болезнь присуща только нам, как и богословские споры. Турки, индейцы, персы, китайцы, сиамцы, японцы еще не знают ее; но есть достаточное основание и им узнать эту хворь, в свою очередь, через несколько веков. Меж тем она неслыханно распространялась среди нас, особенно в больших армиях, состоящих из достойных, благовоспитанных наемников, которые решают судьбы государств; можно с уверенностью сказать, что когда тридцать тысяч человек сражаются против войска, равного им по численности, то тысяч двадцать с каждой стороны заражены сифилисом.

— Это удивительно,— сказал Кандид.— Однако вас надо вылечить.

— Но что тут можно сделать? — сказал Панглос.— У меня нет ни гроша, мой друг, а на всем земном шаре нельзя ни пустить себе кровь, ни поставить клистира, если не заплатишь сам или за тебя не заплатят другие.

Услышав это, Кандид сразу сообразил, как ему поступить: он бросился в ноги доброму анабаптисту Якову и так трогательно изобразил ему состояние своего друга, что добряк, не колеблясь, принял доктора Панглоса; он его вылечил на свой счет. Панглос от этого лечения потерял только глаз и ухо. У него был хороший слог, и

он в совершенстве знал арифметику. Анабаптист Яков сделал его своим счетоводом. Когда через два месяца Якову пришлось поехать в Лиссабон по торговым делам, он взял с собой на корабль обоих философов. Панглос объяснил ему, что все в мире к лучшему. Яков не разделял этого мнения.

— Конечно,— говорил он,— люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не рождаются волками, а лишь становятся ими: господь не дал им ни двадцатичетырехфутовых пушек, ни штыков, а они смастерили себе и то и другое, чтобы истреблять друг друга. К этому можно добавить и банкротства, и суд, который, захватывая добро банкротов, обездоливает кредиторов.

— Все это неизбежно,— отвечал кривой философ.— Отдельные несчастья создают общее благо, так что, чем больше таких несчастий, тем лучше.

Пока он рассуждал, вдруг стало темно, задули со всех четырех сторон ветры, и корабль был застигнут ужаснейшей бурей в виду Лиссабонского порта.

Глава пятая

БУРЯ, КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ДОКТОРОМ ПАНГЛОСОМ, КАНДИДОМ И АНАБАПТИСТОМ ЯКОВОМ

Половина пассажиров, ослабевших, задыхающихся в той невыразимой тоске, которая приводит в беспорядок нервы и все телесное устройство людей, бросаемых качкою корабля во все стороны, не имела даже силы тревожиться за свою судьбу. Другие пассажиры кричали и молились. Паруса были изорваны, мачты сломаны, корабль дал течь. Кто мог, работал, никто никому не повиновался, никто не отдавал приказов. Анабаптист пытался помочь в работе; он был на палубе; какой-то разъяренный матрос сильно толкнул его и сшиб с ног, но при этом сам потерял равновесие, упал за борт вниз головой и повис, зацепившись за обломок мачты. Добрый Яков бросается ему на помощь, помогает взобраться на палубу, но, не удержавшись, сам низвергается в море на глазах у матроса, который оставляет его погибать, не удостоив даже взглядом. Кандид подходит ближе, видит, что его благодетель на одно мгновение показывается на

поверхности и затем навеки погружается в волны. Кандид хочет броситься в море, философ Панглос его останавливает, доказывая ему, что Лиссабонский рейд на то и был создан, чтобы этот анабаптист здесь утонул. Пока он это доказывал а ргіоі, корабль затонул, все погибли, кроме Панглоса, Кандида и того грубого матроса, который утопил добродетельного анабаптиста. Негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглос и Кандид были выброшены на доске.

Немного придя в себя, они направились к Лиссабону; у них остались еще деньги, с помощью которых они надеялись спастись от голода, после того как избавились от бури.

Едва успели они войти в город, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит под их ногами. Море в порту, кипя, поднимается и разбивает корабли, стоявшие на якоре: вихри огня и пепла бушуют на улицах и площадях; дома рушатся; крыши падают наземь, стены рассыпаются в прах. Тридцать тысяч жителей обоего пола и всех возрастов погибли под развалинами. Матрос говорил, посвистывая и ругаясь:

— Здесь будет чем поживиться.

— Хотел бы я знать достаточную причину этого явления,— говорил Панглос.

— Наступил конец света! — восклицал Кандид.

Матрос немедленно бежит к развалинам, бросая вызов смерти, чтобы раздобыть денег, находит их, завладевает ими, напивается пьяным и, проспавшись, покупает благосклонность первой попавшейся девицы, встретившейся ему между разрушенных домов, среди умирающих и мертвых. Тут Панглос потянул его за рукав.

— Друг мой,— сказал он ему,— это нехорошо, вы пренебрегаете всемирным разумом, вы дурно проводите ваше время.

— Кровь и смерть! — отвечал тот.— Я матрос и родился в Батавии; я четыре раза топтал распятие в четырех японских деревнях, так мне ли слушать о твоём всемирном разуме!

Несколько осколков камня ранили Кандида; он упал посреди улицы, и его засыпало обломками. Он говорил Панглосу:

— Вот беда! Дайте мне немного вина и оливкового масла, я умираю.

— Хорошо, но землетрясение совсем не новость,— отвечал Панглос.— Город Лима в Америке испытал такое же в прошлом году; те же причины, те же следствия; несомненно, под землю от Лимы до Лиссабона существует серная залежь.

— Весьма вероятно,— сказал Кандид,— но, ради бога, дайте мне немного оливкового масла и вина.

— Как «вероятно»? Я утверждаю, что это вполне доказано.

Кандид потерял сознание, и Панглос принес ему немного воды из соседнего фонтана.

На следующий день, бродя среди развалин, они нашли кое-какую еду и подкрепили свои силы. Потом они работали вместе с другими, помогая жителям, избежавшим смерти. Несколько горожан, спасенных ими, угостили их обедом, настолько хорошим, насколько это было возможно среди такого разгрома. Конечно, трапеза была невеселая, гости орошали хлеб слезами, но Панглос утешал гостей, уверяя, что иначе и быть не могло.

— Потому что,— говорил он,— если вулкан находится в Лиссабоне, то он и не может быть в другом месте; невозможно, чтобы что-то было не там, где должно быть, ибо все хорошо.

Маленький чернявый человечек, свой среди инквизиторов, сидевший рядом с Панглосом, вежливо сказал:

— По-видимому, вы, сударь, не верите в первородный грех, ибо, если все к лучшему, не было бы тогда ни грехопадения, ни наказания.

— Я усерднейше прошу прощения у вашей милости,— отвечал Панглос еще более вежливо,— но без падения человека и проклятия не мог бы существовать этот лучший из возможных миров.

— Вы, следовательно, не верите в свободу? — спросил чернявый.

— Ваша милость, извините меня,— сказал Панглос,— но свобода может сосуществовать с абсолютной необходимостью, ибо необходимо, чтобы мы были свободны, так как, в конце концов, обусловленная причинностью воля...

Панглос не успел договорить, как чернявый уже сделал знак головою своему слуге, который наливал ему вина, называемого «опорто» или «порто».

КАК БЫЛО УСТРОЕНО ПРЕКРАСНОЕ АУТОДАФЕ,
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ,
И КАК БЫЛ ВЫСЕЧЕН КАНДИД

После землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, мудрецы страны не нашли способа более верного для спасения от окончательной гибели, чем устройство для народа прекрасного зрелища аутодафе. Университет в Коимбре постановил, что сожжение нескольких человек на малом огне, но с большой церемонией, есть, несомненно, верное средство остановить содрогание земли.

Вследствие этого схватили одного бискайца, уличенного в том, что он женился на собственной куме, и двух португальцев, которые срезали сало с дыпленка, прежде чем его съесть. Были схвачены сразу после обеда доктор Панглос и его ученик Кандид, один за то, что говорил, другой за то, что слушал с одобрительным видом. Обоих порознь отвели в чрезвычайно прохладные помещения, обитателей которых никогда не беспокоило солнце. Через неделю того и другого одели в санбенито и увенчали бумажными митрами. Митра и санбенито Кандида были расписаны опрокинутыми огненными языками и дьяволами, у которых, однако, не было ни хвостов, ни когтей; дьяволы же Панглоса были хвостатые и когтистые, и огненные языки стояли прямо. В таком одеянии они прошествовали к месту казни и выслушали очень возвышенную проповедь под прекрасные звуки заунывных песнопений. Кандид был высечен в такт пению, бискаец и те двое, которые не хотели есть сало, были сожжены, а Панглос был повешен, хотя это и шло наперекор обычаю. В тот же день земля с ужасающим грохотом затряслась снова.

Кандид, испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь дрожащий, спрашивал себя:

«Если это лучший из возможных миров, то каковы же другие? Ну хорошо, пусть меня высекли, это уже случилось со мной у болгар; но мой дорогой Панглос, величайший из философов, почему было нужно, чтобы вас при мне вздернули на виселицу неведомо за какую вину? О мой дорогой анабаптист, лучший из людей, почему было нужно вам утонуть в этой гавани? О Куни-

гунда, жемчужина среди девушек, почему было нужно, чтобы вам распероли живот?»

Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпущение грехов и благословение, он шел, еле держась на ногах, когда к нему подошла старуха и сказала ему: — Сын мой, ободритесь, идите за мной.

Глава седьмая

КАК СТАРУХА ЗАБОТИЛАСЬ О КАНДИДЕ И КАК ОН НАШЕЛ ТО, ЧТО ЛЮБИЛ

Кандид не ободрился, но пошел за старухой в какой-то ветхий домишко. Она дала ему горшок мази, чтобы натираться, принесла есть и пить и уложила его на маленькую, довольно чистую кровать. Подле кровати лежало новое платье.

— Ешьте, пейте, спите, — сказала она ему, — да сохранил вас Аточская божья мать, святой Антоний Падуанский и святой Иаков Компостельский. Я вернусь завтра.

Кандид, весьма удивленный всем, что он видел, всем, что он выстрадал, и еще более милосердием старухи, хотел поцеловать ей руку.

— Не мою руку надо целовать, — сказала старуха. — Завтра я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите.

Кандид, несмотря на все свои несчастья, поел и уснул. На следующий день старуха приносит завтрак, осматривает ему спину, натирает ее сама другой мазью; потом приносит обед; снова приходит вечером и приносит ужин. На третий день она проделывает то же самое.

— Кто вы? — непрестанно спрашивал ее Кандид. — Почему вы так добры? Чем я могу вас отблагодарить?

Старуха ничего ему не отвечала. Но вот она возвращается однажды вечером и не приносит ужина.

— Идите за мной, — говорит она, — и не произносите ни слова.

Она берет его под руку и идет с ним в деревню за четверть мили от города. Они приходят в уединенный дом, окруженный садом и каналами. Старуха стучит в маленькую дверь. Ей открывают; она ведет Кандида по тайной лестнице в раззолоченный кабинет, оставляет

его на парчовом диване, закрывает дверь и уходит. Кандиду казалось, что он грезит; вся его жизнь казалась ему страшным сном, а эта минута — сном приятным.

Старуха скоро возвратилась. Она вела, с трудом подерживая, трепещущую женщину могучего сложения, блистающую драгоценными камнями, покрытую вуалью.

— Сними с нее покрывало, — сказала старуха Кандиду.

Молодой человек приближается; робкою рукою он снимает покрывало. Какая минута! Какая неожиданность! Ему кажется, будто он видит Кунигунду. Он видит ее на самом деле, это она. Силы оставляют его, он не может произнести ни слова, он падает к ее ногам. Кунигунда падает на диван. Старуха спрыскивает их водой со спиртом. Они приходят в чувство, они начинают говорить друг с другом. Сперва это отрывочные слова, вопросы и ответы, которые перекрещиваются, вздохи, слезы, восклицания. Старуха просит их поменьше шуметь и оставляет одних.

— Как, это вы? — говорил ей Кандид. — Вы живы! Я обрел вас в Португалии! Значит, вы не были обесчещены? Вам не вспороли живот, как уверял меня философ Панглос?

— Все так и было, — сказала прекрасная Кунигунда. — Но не всегда эти несчастные происшествия приводят к смерти.

— Но ваш отец и ваша мать убиты?

— Увы, это верно, — сказала Кунигунда, плача.

— А ваш брат?

— Мой брат тоже убит.

— Но почему вы в Португалии? Как узнали, что я здесь? И по какой странной случайности меня привезли в этот дом?

— Я вам все расскажу, — сказала она, — но сначала расскажите мне вы все, что случилось с вами после невинного поцелуя, который вы мне дали, и пинков, которые получили.

Кандид почтительно исполнил ее желание; и, хотя он был смущен, хотя голос у него был слабый и дрожащий, хотя спину у него ломило, но он рассказал простосердечнейшим образом все, что испытал с мгновения их разлуки. Кунигунда возводила глаза к небу и проливала

слезы о смерти доброго анабаптиста и Панглоса. Потом вот что она рассказала Кандиду, который глотал каждое ее слово и пожирал ее глазами.

Глава восьмая

ИСТОРИЯ КУНИГУНДЫ

— Я крепко спала в своей постели, когда небу угодно было наслать болгар на наш прекрасный замок Тундер-тен-Тронк. Они зарезали моего отца и моего брата, а мою мать изрубили в куски. Огромный болгарин, шести футов ростом, видя, что при этом зрелище я потеряла сознание, бросился меня насиловать. Это привело меня в чувство, я кричала, сопротивлялась, кусалась, пыталась выцарапать глаза этому огромному болгарину, не зная, что все, случившееся в замке моего отца, было делом обычным. Изверг пырнул меня ножом в левый бок; след этого удара до сих пор еще заметен.

— Увы! Надеюсь, я увижу его,— сказал простодушный Кандид.

— Вы его увидите,— сказала Кунигунда,— но я продолжаю.

— Продолжайте,— сказал Кандид.

Она снова принялась рассказывать.

— Вошел болгарский капитан. Он увидел, что я вся в крови. Солдат не обратил на него никакого внимания. Капитан пришел в ярость, видя, что этот изверг не проявляет к нему ни малейшего уважения, и убил его на мне. Потом он приказал перевязать мне рану и увел меня к себе в качестве военной добычи. Я стирала ему рубашки, которых у него было немного, и стряпала. Он, надо признаться, находил, что я очень хорошенькая; не буду отрицать, что он был отлично сложен и что кожа у него была белая и нежная; правда, ему не хватало остроумия, не хватало философских знаний; сразу бросалось в глаза, что он воспитан не доктором Панглосом. К концу третьего месяца, прокутивши все деньги и пресытившись мною, он продал меня еврейю по имени дом-Иссахар, который ведет торговлю в Голландии и Португалии и страстно любит женщин. Этот еврей очень привязался ко мне, но не мог меня победить: ему я противилась успешнее, чем болгарскому солдату. Один раз

благородная особа может быть обесчещена, но ее добродетель только укрепляется от этого. Чтобы приручить меня, еврей поселил меня в этом загородном доме, где мы сейчас находимся. Раньше я думала, что ничего нет на земле прекраснее, чем замок Тундер-тен-Тронк; я ошибалась.

Однажды, во время обедни, меня заметил великий инквизитор. Он долго разглядывал меня, а потом велел сказать мне, что ему надо поговорить со мной о секретных делах. Меня привели к нему во дворец. Я рассказала ему о моем происхождении. Он объяснил мне, как унижительно для особы моего звания принадлежать израильтянину. Дом-Иссахару было предложено уступить меня монсеньеру. Но дом-Иссахар, придворный банкир и человек с весом, решительно отказался. Инквизитор пригрозил ему аутодафе. Наконец мой напуганный еврей заключил сделку, по которой дом и я перешли в их общее владение: еврею достались понеделники, среды и субботы, а инквизитору — остальные дни недели. Полгода уже соблюдается этот договор. Не обошлось и без ссор; частенько они спорили из-за того, должна ли ночь с субботы на воскресенье принадлежать Ветхому завету или Новому. Что касается меня, я до настоящего времени отказывала им обоим и думаю, потому-то они оба еще меня любят. Наконец, чтобы утишить ярость землетрясений и заодно напугать Иссахара, господин инквизитор почел за благо совершить торжественное аутодафе. Он оказал мне честь, — пригласил туда и меня. Мне отвели отличное место. Между обедней и казнию дамам разносили прохладительные напитки. Признаюсь, я пришла в ужас, видя, как сжигают двух евреев и того славного бискайца, который женился на своей куме; но каково было мое удивление, мой ужас, мое смятение, когда я увидела в санбенито и митре человека, лицо которого напоминало мне Панглоса! Я протирала глаза, я смотрела внимательно, я видела, как его вешают, я упала в обморок. Едва пришла я в себя, как увидела вас, раздетого донага; это зрелище наполнило меня недоумением, трепетом, скорбью, отчаяньем. Скажу вам по правде, ваша кожа еще белее и с еще более розовым оттенком, чем кожа моего болгарского капитана, — и это удвоило мои страдания. Я вскрикнула, я хотела сказать: «Остановитесь, варвары!» — но голос мой замер, да и мольбы

мои были бы напрасны. Пока вас так жестоко секли, я спрашивала себя, как могло случиться, что милый Кандид и мудрый Панглос очутились в Лиссабоне — один, чтобы получить сто ударов розгами, другой, чтобы окончить жизнь на виселице по приказанию господина инквизитора, влюбленного в меня. Итак, Панглос жестоко обманывал меня, когда говорил, что все в мире к лучшему. Взволнованная, растерянная, то приходя в неистовство, то почти умирая от слабости, я вспоминала убийство моего отца, моей матери, моего брата, насилие гнусного болгарина, удар ножом, который он мне нанес, мое рабство, мою службу в кухарках, моего болгарского капитана, моего мерзкого дом-Иссахара, моего отвратительного инквизитора, повешение доктора Панглоса, заунывное «*misereere*», под звуки которого вас секли, но более всего поцелуй, который я вам дала за ширмой в тот день, когда видела вас в последний раз. Я возблагодарила бога, который вернул мне вас после стольких испытаний. Я приказала моей старухе служанке позаботиться о вас и привести сюда, как только это будет возможно. Она отлично выполнила мое поручение. Я испытываю неизъяснимое удовольствие, видя вас, слыша вас, говоря с вами. Вы, должно быть, страшно проголодались, у меня превосходный аппетит, сперва поужинаем.

Вот они оба садятся за стол, а после ужина располагаются на прекрасном диване, о котором уже было сказано выше. Вдруг входит дом-Иссахар, один из хозяев дома. День был субботний. Дом-Иссахар пришел воспользоваться своими правами и выразить свою нежную любовь.

Глава девятая

О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КУНИГУНДОЮ, С КАНДИДОМ, С ВЕЛИКИМ ИНКВИЗИТОРОМ И С ЕВРЕЕМ

Этот Иссахар был самый желчный из всех евреев, какие только существовали в Израиле со времен вавилонского пленения.

— Как,— вскричал он,— галилейская собака, мало тебе господина инквизитора? Надо еще, чтобы и с этим разбойником мне пришлось делиться?

Говоря так, он вытаскивает длинный кинжал, который всегда был при нем, и, уверенный, что у его противника нет оружия, бросается на Кандида; но наш доблестный вестфалец получил от старухи вместе с платьем также и отличную шпагу. Хотя он был и кроткого нрава, но тут выхватывает эту шпагу, и вмиг израильтянин падает мертвый на пол к ногам прекрасной Кунигунды.

— Пресвятая дева! — вскричала она. — Что нам делать? У меня в доме убит человек! Если сюда придут, мы погибли.

— Если бы Панглос не был повешен, — сказал Кандид, — он дал бы нам хороший совет в этой беде, ведь он был великий философ. Но поскольку его нет, посоветуемся со старухой.

Она оказалась очень благоразумною, но только начала высказывать свое мнение, как вдруг отворилась другая маленькая дверь. Был час после полуночи, начало воскресенья. Этот день принадлежал господину инквизитору. Он входит и видит высеченного Кандида со шпагой в руке, мертвеца, распростертого на земле, испуганную Кунигунду и старуху, дающую советы. Вот что происходило в эту минуту в душе Кандида и каково было его решение:

«Если этот святой человек позовет на помощь, меня непременно сожгут; то же, пожалуй, будет и с Кунигундой. Он меня немилосердно высек; он мой соперник; раз я уже начал убивать, нечего и колебаться».

Вывод этот был короток и ясен; не давая инквизитору времени опомниться от удивления, Кандид протыкает его насквозь, так что тот валится рядом с евреем.

— Вот и второй! — сказала Кунигунда. — Не будет нам пощады. Нас отлучат от церкви. Пришел наш последний час. Как это вы, от природы такой кроткий, в две минуты убили еврея и прелата?

— Моя милая, — отвечал Кандид, — когда человек влюблен, ревнив и высечен инквизицией, он себя не помнит.

Тут вмешалась в разговор старуха и сказала:

— В конюшне стоят три андалузских коня, там же хранятся их седла и сбруя. Пусть храбрый Кандид их оседлает. Вы, барышня, собирайте деньги и драгоценности. Хотя у меня только ползада, а все-таки живет ся-

дем на коней и поедем в Кадикс. Погода прекрасная, и очень приятно путешествовать в часы ночной прохлады.

Тотчас Кандид седлает трех лошадей; Кунигунда, старуха и он скачут тридцать миль без отдыха. В то время, как они были в дороге, служители святой Германдады пришли в дом. Инквизитора похоронили в прекрасной церкви, Иссахара бросили на свалку.

Кандид, Кунигунда и старуха были уже в маленьком городке Авасена посреди гор Сиерра-Морены; в одном кабачке у них произошел такой разговор.

Глава десятая

КАК НЕСЧАСТЛИВО КАНДИД, КУНИГУНДА И СТАРУХА ПРИБЫЛИ В КАДИКС И КАК ОНИ СЕЛИ НА КОРАБЛЬ

— Кто это украл мои деньги и бриллианты? — плача, говорила Кунигунда. — Как мы будем жить? Что будем делать? Где найти инквизиторов и евреев, которые снова дадут мне столько же?

— Увы, — сказала старуха, — я сильно подозреваю преподобного отца кордельера, который ночевал вчера в бадахосской гостинице, где останавливались и мы. Боже меня упаси судить опрометчиво, но он два раза входил в нашу комнату и уехал задолго до нас.

— Увы! — сказал Кандид. — Добрый Панглос мне всегда доказывал, что блага земные принадлежат всем людям и каждый имеет на них равные права. Кордельер, конечно, должен был бы, следуя этому закону, оставить нам что-нибудь на дорогу. Значит, у вас совсем ничего не осталось, моя прелестная Кунигунда?

— Ни единого мараведиса, — сказала она.

— Что же делать? — спросил Кандид.

— Продадим одну лошадь, — сказала старуха. — Хоть у меня и ползада, я усядусь как-нибудь позади барышни, и мы доедем до Кадикса.

В той же самой гостинице остановился приор-бenedиктинец. Он купил лошадь за сходную цену. Кандид, Кунигунда и старуха поехали через Лусену, Хилью, Лебриху и добрались наконец до Кадикса. Там снаряжали в это время флот и собирали войско, чтобы проучить преподобных отцов иезуитов в Парагвае, которых обвиняли

в том, что они подняли одну из своих орд близ города Сан-Сакраменто против испанского и португальского королей.

Кандид недаром служил у болгар,— он показал генералу маленькой армии все болгарские воинские приемы с таким изяществом, ловкостью, проворством, живостью, легкостью, что ему сразу дали командовать ротой пехоты.

И вот он — капитан; он садится на корабль вместе с Кунигундою, старухою, двумя слугами и двумя андалузскими лошадьми, которые принадлежали великому инквизитору Португалии.

Во время этого переезда они много рассуждали о философии бедного Панглоса.

— Мы едем в Новый Свет,— говорил Кандид,— и в нем-то, без сомнения, все хорошо; ведь невозможно не посетовать на телесные и душевные страдания, которые приходится претерпевать в нашей части света.

— Я люблю вас всем сердцем,— сказала Кунигунда,— но моя душа истомлена тем, что я видела, тем, что испытала.

— Все будет хорошо,— возразил Кандид.— Уже и море этого нового мира лучше морей нашей Европы: оно спокойнее, и ветры постояннее. Конечно, Новый Свет — самый лучший из возможных миров.

— Дай-то бог,— сказала Кунигунда,— но я была так несчастна в нашем прежнем мире, что мое сердце почти закрылось для надежды.

— Вы жалуетесь,— сказала ей старуха.— Увы! Не испытали вы таких несчастий, как я.

Кунигунда едва удержалась от смеха, таким забавным показалось ей притязание этой доброй женщины на большие несчастья, чем те, которые претерпела она.

— Увы,— сказала она старухе,— милая моя, если вы по меньшей мере не были изнасилованы двумя болгарами, если не получили двух ударов ножом в живот, если не были разрушены два ваших замка, если не были зарезаны на ваших глазах две матери и два отца, если вы не видели, как двух ваших любовников высекли во время аутодафе, то я не вижу, как вы можете заноситься передо мною. Прибавьте, что я родилась баронессой в семьдесят втором поколении, а служила кухаркой.

— Барышня,— отвечала старуха,— вы не знаете моего происхождения, а если бы я вам показала мой зад, вы бы так не говорили и переменили бы ваше мнение.

Эта речь до чрезвычайности возбудила любопытство Кунигунды и Кандида. Старуха рассказала им следующее.

Глава одиннадцатая

ИСТОРИЯ СТАРУХИ

— Не всегда у меня были глаза с такими красными веками, нос не всегда сходился с подбородком, и не всегда я была служанкой. Я дочь папы Урбана Десятого и княгини Палестрины. До четырнадцати лет я воспитывалась в таком дворце, которому замок любого из ваших немецких баронов не годился бы и в конюшни. Каждое мое платье стоило больше, чем вся роскошь Вестфалии. Красивая, грациозная, богато одаренная от природы, я росла, окруженная удовольствиями, поклонением, честолюбивыми чаяниями; уже я внушала любовь, моя грудь развивалась, и какая грудь! Белая, крепкая, совершенная по форме, как у Венеры Медицейской! А какие глаза! Какие ресницы! Какие черные брови! Каким огнем блистали мои взоры,— по словам наших поэтов, они затмевали сверкание звезд. Женщины, которые меня одевали и раздевали, впадали в экстаз, разглядывая меня спереди и сзади, и все мужчины хотели бы быть на их месте.

Я была обручена с владетельным князем Масса-Карара. Какой вельможа! Такой же прекрасный, как я, мягкого нрава, исполненный приятности, блистающий умом и пылающий любовью. Я любила его, как любят в первый раз, с обожанием и самозабвением. Все было готово к свадьбе; начались дни торжеств, неслыханно великолепных,— празднества, конные состязания, операбуфф, непрерывные увеселения; со всех концов Италии я получала сонеты, из которых ни один не был скольнибудь сносным. Уже близился миг моего счастья, когда одна старая маркиза, которая прежде была любовницей князя, пригласила его на чашку шоколада; менее чем через два часа он умер в страшных судорогах. Но не то еще ждало меня впереди. Моя мать, в отчаянии, хотя и несравнимом с моим, захотела хоть на некоторое время

оставить столь гибельные места. У нее было прекрасное имение близ Гаэты; мы сели на галеру, разукрашенную, как алтарь святого Петра в Риме. Но вот корсар из Сале настигает нас и берет нашу галеру на абордаж. Наши солдаты защищаются точь-в-точь, как папские солдаты: они все падают на колени, бросают оружие и просят у корсара отпущение грехов *in articulo mortis*¹.

Их тотчас же раздели догола, как обезьян, так же как и мою мать, и женщин из нашей свиты, и меня. Удивительно, с какой ловкостью эти господа умеют раздевать! Но более всего поразило меня то, что они всем нам засовывали пальцы в такие места, куда мы, женщины, ставим только клистир. Эта церемония показалась мне очень странной: ведь всему удивишься, пока не побываешь за границей. Вскоре я поняла, что это делается для того, чтобы узнать, не спрятали ли мы там бриллианты; это обычай, принятый с незапамятных времен всеми просвещенными нациями, которые ведут морскую торговлю. Я узнала, что и благочестивые мальтийские рыцари всегда поступали так же, когда забирали в плен турок и турчанок; это закон международного права, который никто никогда не оспаривал.

Не стану распространяться о том, сколь тяжело для юной и знатной девицы вдруг превратиться в невольницу, которую вместе с матерью увозят в Марокко; вам должно быть понятно, что мы перенесли на корабле корсара. Моя мать была еще очень красива; дамы нашей свиты, даже наши служанки, обладали большими прелестями, чем все африканские женщины, вместе взятые. Что касается меня, я была восхитительна — сама красота, само очарование, и к тому же я была девственницей; не долго я оставалась ею: цветок, который сберегался для прекрасного князя Масса-Карара, был похищен капитаном корсаров. Этот отвратительный негр еще воображал, будто оказывает мне большую честь. Что говорить, княгиня Палестрина и я отличались, должно быть, необычайной выносливостью, иначе не выдержали бы всего, что пришлось нам испытать до прибытия в Марокко. Но довольно об этом; это дела столь обычные, что не стоит на них останавливаться.

Когда мы прибыли в Марокко, там текли реки крови. У каждого из пятидесяти сыновей императора Малик-

¹ На смертном одре (лат.).

Исмаила были свои сторонники; это и явилось причиной пятидесяти гражданских войн черных против черных, черных против коричневых, коричневых против коричневых, мулатов против мулатов — непрерывная резня на всем пространстве империи.

Не успели мы высадиться, как на нас напали черные из партии, враждовавшей с партией моего корсара, и стали отнимать у него добычу. После бриллиантов и золота всего драгоценнее были мы. Я стала свидетельницей такой битвы, какой не увидишь под небесами вашей Европы. У северных народов не такая горячая кровь, ими не владеет та бешеная страсть к женщинам, которая обычна в Африке. Можно подумать, что у европейцев молоко в жилах, тогда как у жителей Атласских гор и соседних стран не кровь, а купорос, огонь. Чтобы решить, кому мы достанемся, эти люди дрались с неистовством африканских львов, тигров и змей. Мавр схватил мою мать за правую руку, помощник моего капитана удерживал ее за левую; мавританский солдат тянул ее за одну ногу, один из наших пиратов — за другую. Почти на каждую из наших девушек приходилось в эту минуту по четыре воина. Мой капитан прикрыл меня собою; он размахивал ятаганом и убивал всякого, кто осмеливался противиться его ярости. В конце концов все наши итальянки, моя мать в том числе, были растерзаны, изрублены, перебиты чудовищами, которые их друг у друга оспаривали. Пленники и те, которые их пленили, — солдаты, матросы, черные, коричневые, белые, мулаты и, наконец, мой капитан, — все были убиты; я лежала полумертвая под этой грудой мертвецов. Подобные сцены происходили, как всем известно, на пространстве более трехсот лье, но при этом никто не забывал пять раз в день помолиться, согласно установлению Магомета.

С большим трудом выбралась я из-под окровавленных трупов и дотащилась до большого померанцевого дерева, которое росло неподалеку, на берегу ручья. Я свалилась там от усталости, страха, ужаса, отчаяния и голода. Вскоре изнеможение мое перешло в сон, который скорее был обмороком, нежели отдыхом.

Еще я была в этом состоянии слабости и бесчувственности, между жизнью и смертью, когда почувствовала, как что-то на меня давит, что-то движется на моем

теле. Я открыла глаза и увидела белого человека с добродушной физиономией, который, вздыхая, боомотал сквозь зубы: «Ma che sciagura d' essere senza coglioni!»¹

Глава двенадцатая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗЛОКЛЮЧЕНИЙ СТАРУХИ

— Удивленная и обрадованная тем, что слышу язык моего отечества, и не менее пораженная словами этого человека, я ответила ему, что бывают большие несчастья, нежели то, на которое он жаловался; я рассказала ему в кратких словах о перенесенных мною ужасах и снова лишилась чувств. Он отнес меня в соседний дом, уложил в постель, накормил, ухаживал за мной, утешал меня, ласкал, говорил, что не видел женщины прекраснее и что никогда еще так не сожалел о том, чего никто не мог ему возвратить.

— Я родился в Неаполе,— сказал он мне.— Там оскопляют каждый год две-три тысячи детей; одни из них умирают, другие приобретают голос, красивее женского, третьи даже становятся у кормила власти. Мне сделали эту операцию превосходно, я стал певцом в капелле княгини Палестрины.

— Моей матери! — воскликнула я.

— Вашей матери? — воскликнул он, плача.— Значит, вы та княжна, которую я воспитывал до шести лет и которая уже тогда обещала стать красавицей?

— Это я; моя мать лежит в четырехстах шагах отсюда, изрубленная в куски, под грудой трупов...

Я рассказала ему все, что случилось со мной; он мне тоже поведал свои приключения. Я узнала, что он был послан к марокканскому королю одной христианской державой, дабы заключить с этим монархом договор, согласно которому ему доставляли бы порох, пушки и корабли для уничтожения торговли других христиан.

— Моя миссия исполнена,— сказал этот честный евнух,— я сяду на корабль в Сеуте и отвезу вас в Италию. Ma che sciagura d' essere senza coglioni!

Я поблагодарила его со слезами умиления, но, вместо того чтобы отвезти в Италию, он отправил меня в Алжир и продал бею этого края. Едва бей успел меня

¹ Какое несчастье, что меня оскопили! (итал.)

купить, как чума, обошедшая Африку, Азию и Европу, со всей яростью разразилась в Алжире. Вы видели землетрясение, но, барышня, вы никогда не видели чумы.

— Никогда,— подтвердила баронесса.

— Если бы вы видели ее,— сказала старуха,— вы признали бы, что это не чета какому-то землетрясению. Чума часто посещает Африку. Я заболела ею. Представьте себе, каково это для дочери папы, пятнадцати лет от роду,— в течение трех месяцев испытать бедность, рабство, почти ежедневно подвергаться насилию, увидеть свою мать изрубленной в куски, пережить голод, войну и умереть от чумы в Алжире! Впрочем, я-то выжила, но и мой евнух, и бей, и почти весь алжирский сераль вымерли.

Когда свирепость этой ужасной немочи поутихла, невольниц бея продали. Я стала собственностью купца, который отвез меня в Тунис и там продал другому купцу, который перепродал меня в Триполи; из Триполи я была продана в Александрию, из Александрии в Смирну, из Смирны в Константинополь. Я досталась, наконец, янычарскому аге, который вскоре был послан защищать Азов против осаждавших его русских.

Ага, который любил радости жизни, взял с собой весь свой сераль; он поместил нас в маленькой крепости на Меотийском болоте, где мы находились под стражей двух черных евнухов и двадцати солдат. Русских убили очень много, но они сторицей отплатили за это. Азов был предан огню и мечу; не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков; держалась только наша маленькая крепость; неприятель решил взять нас измором. Двадцать янычар поклялись не сдаваться. Муки голода довели их до того, что, не желая нарушать клятву, они принуждены были съесть двух евнухов. Наконец, через несколько дней они решили взяться за женщин. С нами был очень благочестивый и сострадательный имам, который произнес прекрасную проповедь, убеждая их не убивать нас.

— Отрежьте,— сказал он,— только по половине зада у каждой из этих дам: у вас будет отличное жаркое. Если положение не изменится, то через несколько дней вы сможете пополнить ваши запасы; небо будет милоствиво к вам за столь человеколюбивый поступок и придет к вам на помощь.

Он был очень красноречив; он убедил их; они проделали над нами эту ужасную операцию; имам приложил к нашим ранам тот бальзам, который применяют, когда над детьми производят обряд обрезания; мы все были при смерти.

Едва янычары кончили свой обед, которым мы их снабдили, как явились русские на плоскодонных лодках; ни один янычар не спасся. Русские не обратили никакого внимания на положение, в котором мы находились. Впрочем, везде есть французские хирурги; один из них, очень искусный, заботливо занялся нами и вылечил нас. Я никогда не забуду, что, когда мои раны зажили, он объяснился мне в любви. Правда, он всем нам объяснился в любви, чтобы нас утешить; при этом он уверял нас, что мы не исключение, что подобные случаи уже происходили иногда при осадах и что таков закон войны.

Как только я и мои подруги смогли ходить, нас отправили в Москву; я досталась одному боярину, у которого работала садовницей и ежедневно получала по двадцати ударов кнутом; но через два года этот боярин сам был колесован вместе с тридцатью другими из-за какой-то придворной смуты. Я воспользовалась этим случаем и убежала; я прошла всю Россию; долгое время была служанкой в кабачке в Риге, потом в Ростове, в Веймаре, в Лейпциге, в Касселе, в Утрехте, в Лейдене, в Гааге, в Роттердаме; я состарилась в нищете и позоре, имея только половину зада, всегда вспоминая, что я дочь папы; сотни раз я хотела покончить с собой, но я все еще люблю жизнь. Эта нелепая слабость, может быть, один из самых роковых наших недостатков: ведь ничего не может быть глупее, чем желание беспрерывно нести ношу, которую хочется сбросить на землю; быть в ужасе от своего существования и влачить его; словом, ласкать пожирающую нас змею, пока она не изложет нашего сердца.

Я видела в странах, где судьба заставляла меня скитаться, и в кабачках, где я служила, несчетное число людей, которым была тягостна их жизнь, но всего двенадцать из них добровольно положили конец своим бедствиям — трое негров, четверо англичан, четверо женеццев и один немецкий профессор по имени Робек. Кончила я тем, что поступила в услужение к еврею дом-Иссахару; он приставил меня к вам, моя прелестная ба-

рышня, я привязалась к вам, и ваши приключения стали занимать меня больше, нежели мои собственные. Я никогда не начала бы рассказывать вам о своих несчастьях, если бы вы меня не задели за живое и если бы не было обычая рассказывать на корабле разные истории, чтобы скоротать время. Да, барышня, у меня немалый опыт, я знаю свет; доставьте себе удовольствие, расспросите пассажиров, пусть каждый расскажет вам свою историю; и если найдется из них хоть один, который не проклинал бы частенько свою жизнь, который не говорил бы самому себе, что он несчастнейший из людей, тогда утопите меня в море.

Глава тринадцатая

КАК КАНДИД БЫЛ ПРИНУЖДЕН РАЗЛУЧИТЬСЯ С КУНИГУНДОЙ И СО СТАРУХОЙ

Прекрасная Кунигунда, выслушав историю старухи, осыпала ее всеми любезностями, какие приличествуют особе столь высокого происхождения и достоинства. Она согласилась с ее предложением и убедила всех пассажиров рассказать ей поочередно свои приключения. И тогда Кандид и Кунигунда увидели, что старуха была права.

— Очень жаль,— говорил Кандид,— что мудрый Панглос, вопреки обычаю, был повешен во время аутодафе; он изрек бы нам удивительные слова о физическом и нравственном зле, которые царят на земле и на море, и у меня хватило бы смелости почтительно сделать ему несколько возражений.

А пока каждый рассказывал свою историю, корабль плыл все дальше, и вот они уже в Буэнос-Айресе. Кунигунда, капитан Кандид и старуха пошли к губернатору дону Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса. Этот вельможа отличался необыкновенной надменностью, как и подобает человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми так высокомерно, так задирал нос, так безжалостно повышал голос, принимал такой внушительный тон и такую горделивую осанку, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильнейшее искушение поколотить его. Женщин он любил неистово. Кунигунда ему показалась прекраснее

всех, когда-либо им виденных. Первым делом он спросил, не жена ли она капитана. Тон, которым был задан этот вопрос, встревожил Кандида. Он не осмелился сказать, что она его жена, потому что Кунигунда ею не была, но и назвать ее сестрой он тем более не смел; хотя эта невинная ложь некогда была очень в ходу у древних, да и в наше время может быть полезна, но его душа была слишком чиста, чтобы изменить истине.

— Девица Кунигунда,— сказал он,— согласилась оказать мне честь выйти за меня, и мы умоляем ваше превосходительство дать нам на это ваше благосклонное разрешение.

Дон Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса горько улыбнулся, шевельнув усами, и приказал капитану Кандиду произвести смотр своей роте. Кандид повиновался; губернатор остался с Кунигундою... Он открыл ей свою страсть и объявил, что завтра женится на ней в церкви или как-нибудь иначе, до того он очарован ее прелестями.

Кунигунда попросила у него четверть часа, чтобы подумать, посоветоваться со старухою и на что-то решиться.

Старуха сказала Кунигунде:

— Барышня, у вас семьдесят два поколения предков и ни гроша за душой. Ничто не препятствует вам стать женою самого влиятельного человека во всей Южной Америке, у которого к тому же такие великолепные усы. С какой стати вам хранить верность, невзирая на все превратности судьбы? Вы были изнасилованы болгарами; еврей и инквизитор пользовались вашими милостями. Несчастья дают людям известные права. Признаюсь, будь я на вашем месте, я не задумалась бы выйти за губернатора и помогла бы капитану Кандиду сделать карьеру.

Пока старуха говорила, выказывая благоразумие, даруемое годами и опытом, в гавань вошел маленький корабль; на нем были алькальд и альгвасилы, и вот что случилось дальше.

Старуха верно угадала, что это нечистый на руку кордельер украл деньги и драгоценности Кунигунды в городе Бадахосе, куда она поспешно бежала с Кандидом. Этот монах захотел продать несколько камней ювелиру. Купец признал в них собственность великого инквизитора. Кордельер, перед тем как его повесили, признался,

что он их украл, описал тех, кого обворовал, и указал, куда они поехали. О бегстве Кунигунды и Кандида было уже известно. Их проследили до Кадикса; затем послали, не теряя времени, корабль в погоню за ними. И вот корабль был уже в гавани Буэнос-Айреса. Распространился слух, что алькальд скоро сойдет на берег и что он ищет убийц великого инквизитора. Благоразумная старуха вмиг смекнула, что делать.

— Вы не сможете бежать,— сказала она Кунигунде,— да вам и нечего бояться: не вы убили его преосвященство; кроме того, губернатор вас любит и не позволит, чтобы с вами дурно обошлись. Оставайтесь.

Она поспешно идет к Кандиду.

— Бегите,— говорит она ему,— или через час вы будете сожжены.

Нельзя было терять ни минуты, но как расстаться с Кунигундою и куда укрыться?

Глава четырнадцатая

КАК БЫЛИ ПРИНЯТЫ КАНДИД И КАКАМБО ПАРАГВАЙСКИМИ ИЕЗУИТАМИ

Кандид вывез из Кадикса одного из тех слуг, каких множество в Испании и ее колониях. В жилах его была едва четверть испанской крови; его отец был метис из Тукумана; сам он побывал и певчим в церковном хоре, и лакеем. Его звали Какамбо, и он очень любил своего хозяина, потому что его хозяин был очень добрый человек. Он проворно оседлал двух андалузских коней.

— Едемте, господин, последуем совету старухи, бежим без оглядки.

Кандид залился слезами.

— О моя дорогая Кунигунда! Приходится покинуть вас как раз в ту минуту, когда губернатор собирается устроить нашу свадьбу. Кунигунда, брошенная так далеко от родины, что с вами станется?

— Как-нибудь да устроится,— ответил Какамбо.— Женщина нигде не пропадет. Господь о ней заботится. Бежим.

— Куда ты поведешь меня? Куда мы направимся? Как обойдемся без Кунигунды? — говорил Кандид.

— Клянусь святым Иаковом Компостельским,— ска-

зал Какамбо,— вы собирались воевать против иезуитов, а теперь будете воевать вместе с ними; я неплохо знаю дорогу и проведу вас в их государство; они будут рады заполучить капитана, который прошел военную выучку у болгар; вы сделаете блестящую карьеру. Не нашли счастья в одном месте, ищите в другом. К тому же, что может быть приятнее, чем видеть и делать что-то новое!

— Ты, значит, уже бывал в Парагвае? — спросил Кандид.

— А как же! — сказал Какамбо.— Я был сторожем в Асунсионской коллегии и знаю государство de los padres¹, как улицы Кадикса. Удивительное у них государство! Оно более трехсот миль в диаметре; разделено на тридцать провинций. Los padres владеют там всем, а народ ничем; не государство, а образец разума и справедливости. Что касается меня, то я в восторге от los padres: они здесь ведут войну против испанского и португальского королей, а в Европе их же исповедуют; здесь убивают испанцев, а в Мадриде им же даруют место в раю. Как тут не восхищаться! Вот увидите, вы будете там счастливейшим из людей. Как обрадуются los padres, когда у них появится капитан, знающий болгарскую службу!

Когда они подъехали к первой заставе, Какамбо сказал подошедшему часовому, что капитан желает переговорить с комендантом. Пошли известить караульного начальника. Парагвайский офицер проворно побежал к коменданту и доложил о вновь прибывших. Сначала Кандида и Какамбо обезоружили, потом отобрали у них андалузских коней. Двух иностранцев провели между двумя шеренгами солдат; комендант ждал их; на нем была трехрогая шляпа, подвязанная ряса, шпага на боку, в руке эспонтон. Он подал знак; тотчас же двадцать пять солдат окружают наших путешественников. Сержант говорит им, что надо подождать, что комендант не может вести с ними переговоры, что преподобный отец провинциал запрещает говорить с испанцами иначе, как только в его присутствии, и не позволяет им оставаться более трех часов в стране.

— А где же преподобный отец провинциал? — спросил Какамбо.

¹ Святых отцов (исп.).

— Он принимает парад после обедни,— ответил сержант,— и вы сможете поцеловать его шпоры только через три часа.

— Но господин капитан умирает от голода, да и я тоже,— сказал Какамбо.— Он вовсе не испанец, он немец: нельзя ли нам позавтракать до прибытия его преподобия?

Сержант тотчас же передал эти слова коменданту.

— Слава богу! — воскликнул этот сеньор.— Если он немец, я имею право беседовать с ним; пусть его отведут в мой шалаш.

Кандида немедленно отвели в беседку из зелени, украшенную красивыми колоннами золотисто-зеленого мрамора и вольерами, в которых летали попугаи, колибри и все самые редкостные птицы. В золотых чашах был приготовлен превосходный завтрак; когда парагвайцы сели посреди поля, на солнцепеке, есть маис из деревянных чашек, преподобный отец комендант вошел в беседку.

Он был молод и очень красив — полный, белолицый, румяный, с высоко поднятыми бровями, с быстрым взглядом, с розовыми ушами, с алыми губами, с гордым видом,— но гордость эта была не испанского или иезуитского образца. Кандиду и Какамбо вернули отобранное у них оружие, так же как и андалузских коней; Какамбо задал им овса у беседки и не спускал с них глаз, опасаясь неожиданностей.

Кандид сначала поцеловал край одежды коменданта, потом они сели за стол.

— Итак, вы — немец? — спросил иезуит по-немецки.

— Да, преподобный отец,— сказал Кандид.

Оба, произнося эти слова, смотрели друг на друга с чрезвычайным удивлением и волнением, которого не могли скрыть.

— Вы из какой части Германии? — спросил иезуит.

— Из грязной Вестфалии,— сказал Кандид.— Я родился в замке Тундер-тен-Тронк.

— О, небо! Возможно ли? — воскликнул комендант.

— Какое чудо! — воскликнул Кандид.

— Это вы? — спросил комендант.

— Это невероятно! — сказал Кандид.

Они бросаются один к другому, обнимаются, проливая ручьи слез.

— Как! Это вы, преподобный отец? Вы, брат Кунигунды! Вы, убитый болгарами! Вы, сын господина барона! Вы, парагвайский иезуит! Надо признать, что этот мир удивительно устроен. О Панглос, Панглос! Как бы вы были рады, если бы не были повешены.

Комендант велел уйти неграм-невольникам и парагвайцам, которые подавали питье в кубках из горного хрусталя. Он тысячу раз возблагодарил бога и святого Игнатия; он сжимал Кандида в объятиях; их лица были орошены слезами.

— Вы будете еще более удивлены и растроганы,— сказал Кандид,— когда услышите, что ваша сестра, которая, как вы думаете, зарезана, госпожа Кунигунда, благополучно здравствует.

— Где?

— Неподалеку от вас, у губернатора в Буэнос-Айресе; а я прибыл в Новый Свет, чтобы воевать с вами.

Все, что они рассказывали друг другу в течение этой долгой беседы, несказанно дивило их. Их души говорили их устами, внимали их ушами, светились у них в глазах. Так как они были немцы, то, в ожидании преподобного отца провинциала, они не спешили выйти из-за стола; и вот что рассказал комендант своему дорогому Кандиду.

Глава пятнадцатая

КАК КАНДИД УБИЛ БРАТА СВОЕЙ ДОРОГОЙ КУНИГУНДЫ

— Всю жизнь я буду помнить ужасный день, когда при мне убили моих отца и мать и обесчестили сестру. После ухода болгар мою обожаемую сестру так нигде и не нашли; мать, отца, меня, двух служанок и трех маленьких зарезанных мальчиков положили на тележку и отправили для погребения в иезуитскую часовню, в двух милях от замка моих предков. Иезуит окропил нас святой водою; она была страшно солонa; несколько капель попало мне в глаза; патер заметил, что веки мои дрогнули; он положил руку на мое сердце и почувствовал, что оно бьется; меня привели в сознание, и через три недели я выздоровел. Вы знаете, мой дорогой Кандид, как я был красив; я сделался еще красивее; поэтому преподоб-

ный отец Круст, тамошний настоятель, воспыал ко мне самой нежной дружбой; он сделал меня послушником, и немного спустя я был послан в Рим. Отцу генералу нужен был новый набор молодых иезуитов-немцев. Правители Парагвая не желали испанских иезуитов, они предпочитали иностранных, надеясь, что те будут покладистее. Преподобный отец генерал рассудил, что я подхожу для работы на этом винограднике. Нас отправилось трое: поляк, тиролец и я. По приезде я был удостоен сана иподьякона и чина лейтенанта; теперь я полковник и священник. Мы мужественно встретим войско испанского короля. Ручаюсь, что они будут разбиты и отлучены. Провидение посылает вас сюда, чтобы нам помочь. Но правда ли это, что моя дорогая сестра Кунигунда находится по соседству, у губернатора Буэнос-Айреса?

Кандид клятвенно заверил его, что так оно и есть. Они оба опять расплакались. Барон без конца обнимал Кандида; он называл его своим братом, своим спасителем.

— Ах, может быть,— сказал он ему,— мы вместе с вами, мой дорогой Кандид, войдем победителями в город и освободим мою сестру Кунигунду.

— Это предел моих желаний,— сказал Кандид,— потому что я надеялся и надеюсь жениться на ней.

— Вы нахал! — отвечал барон.— Как у вас хватает бесстыдства мечтать о браке с моей сестрой, которая насчитывает семьдесят два поколения предков? И вы еще имеете наглость рассказывать мне о столь дерзком плане!

Кандид, ошеломленный этой речью, отвечал ему:

— Преподобный отец, все поколения в мире ничего тут поделать не смогут; я вырвал вашу сестру из рук еврея и инквизитора, она многим мне обязана и хочет вступить со мною в брак. Учитель Пангос всегда говорил мне, что люди равны, и, конечно, я женюсь на ней.

— Это мы посмотрим, негодяй! — сказал иезуит барон Тундер-тен-Тронк и ударил Кандида шпагою плашмя по лицу. Кандид мигом выхватывает свою шпагу и погружает ее до рукоятки в живот барона-иезуита; но, вытащив ее оттуда, всю покрытую кровью, он принялся плакать.

— О боже мой! — сказал он.— Я убил моего прежнего господина, моего друга, моего брата. Я добрейший

человек на свете и тем не менее уже убил троих; из этих троих — двое священники.

Тут прибежал Какамбо, стоявший на страже у дверей беседки.

— Нам остается дорого продать свою жизнь,— сказал ему его господин.— Конечно, в беседку сейчас войдут. Надо умереть с оружием в руках.

Какамбо, который побывал в разных переделках, несколько не растерялся; он схватил иезуитскую рясу барона, надел ее на Кандида, дал ему шляпу умершего и посадил на лошадь. Все это было сделано во мгновение ока.

— Живее, сударь, все примут вас за иезуита, который едет с приказами, и мы переправимся через границу прежде, чем за нами погонятся.

С этими словами он помчался, крича по-испански:

— Дорогу, дорогу преподобному отцу полковнику!

Глава шестнадцатая

ЧТО ПРОИЗОШЛО У ДВУХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ С ДВУМЯ ДЕВУШКАМИ, ДВУМЯ ОБЕЗЬЯНАМИ, ДИКАРЯМИ, ЗОВУЩИМИСЯ ОРЕЛЬОНАМИ

Кандид и его слуга уже были по ту сторону границы, а в лагере еще никто не знал о смерти немецкого иезуита. Предусмотрительный Какамбо позаботился о том, чтобы наполнить корзину хлебом, шоколадом, ветчиной, фруктами и сосудами с вином. На своих андалузских конях они углубились в неизвестную страну, но не обнаружили там ни одной дороги. Наконец прекрасный луг, прорезанный ручейками, представился им. Наши путники пустили лошадей на траву. Какамбо предложил своему господину поесть и показал ему в этом пример.

— Как ты хочешь,— сказал Кандид,— чтобы я ел ветчину, когда я убил сына моего господина барона и к тому же чувствую, что осужден больше никогда не видеть прекрасной Кунигунды? Зачем длить мои несчастные дни, если мне придется влачить их в разлуке с нею, в угрызениях совести и в отчаянии? И что скажет «Вестник Треву»?

Так говорил Кандид, отправляя в рот кусок за куском. Солнце садилось. Издалека до путников донеслись

женские крики. Они не могли разобрать, были то крики скорби или радости, но оба стремительно вскочили, полные беспокойства и тревоги, всегда порождаемых в нас незнакомой местностью. Оказалось, что это вскрикивали две совершенно голые девушки, которые стремительно бежали по обочине луга, меж тем как две обезьяны, преследуя их, кусали их за ягодицы. Кандиду стало жаль девушек; у болгар он научился метко стрелять и мог сбить орешек с куста, не задев ни единого листка. Он хватает свое испанское двуствольное ружье, стреляет и убивает обезьян.

— Слава богу, дорогой Какамбо, я избавил от великой опасности этих бедняжек; если я и согрешил, убив инквизитора и иезуита, то теперь загладил свой грех — спас жизнь двум девушкам. Они, может статься, знатные девицы, и тогда мое деяние принесет нам большую пользу в этой стране.

Он хотел сказать еще что-то, но слова замерли у него на губах, когда он увидел, что девушки нежно обнимают обезьян, проливают слезы над их телами и наполняют окрестность горестными жалобами.

— Вот не ожидал, что у них такая добрая душа, — обратился он наконец к Какамбо.

Но тот возразил ему:

— Славное вы сделали дело, сударь, — вы убили любовников этих девиц.

— Их любовники! Возможно ли это? Ты смеешься надо мной, Какамбо; с чего ты это взял?

— Мой дорогой господин, — отвечал Какамбо, — вас постоянно все удивляет; почему вам кажется странным, что в некоторых странах обезьяны пользуются благосклонностью женщин? Обезьяна — четверть мужчины, как я — четверть испанца.

— Увы, — отвечал Кандид, — я вспоминаю, что слышал от Панглоса, будто во время оно подобные случаи бывали. Он рассказывал, что так появились на свет египтаны, фавны, сатиры, которых собственными глазами видели иные из великих людей древности; но я считал это баснями.

— Теперь вы убедились, — сказал Какамбо, — что это правда. Этим, как видите, занимаются особы, даже не получившие должного воспитания; боюсь только, как бы эти дамы не наделали нам хлопот.

Это основательное соображение побудило Кандида оставить луг и углубиться в лес. Там он поужинал с Какамбо; и оба они, проклиная португальского инквизитора, буэнос-айресского губернатора и барона, уснули на ложе из мха. Проснувшись, они почувствовали, что не могут пошевелиться; дело в том, что девицы донесли на них местным жителям, орельонам, и те ночью связали наших путников веревками из древесной коры. Кандид и Какамбо были окружены полсотней орельонов, совершенно голых, вооруженных стрелами, палицами и каменными топорами; одни кипятили воду в большом котле, другие приготавливали вертелы, и все кричали:

— Это иезуит, это иезуит! Отомстим и заодно славно пообедаем. Съедем иезуита, съедем иезуита!

— Говорил я вам, мой дорогой господин,— уныло сказал Какамбо,— что эти девушки сыграют с нами скверную шутку!

Кандид, заметив котлы и вертелы, вскричал:

— Нас, наверное, изжарят или сварят. Ах, что сказал бы учитель Пангрос, если бы увидел, какова природа в естественном своем виде! Все к лучшему, пускай так, но, право, очень жестокий удел — потерять Кунигунду и попасть на вертел к орельонам.

Какамбо никогда не терял головы.

— Не отчаивайтесь,— сказал он опечаленному Кандиду,— я немного понимаю язык этого народа и поговорю с ними.

— Не забудьте,— сказал Кандид,— внушить им, что варить людей — бесчеловечно и совсем не по-христиански.

— Господа,— сказал Какамбо,— вы, конечно, рассчитываете съесть сегодня иезуита; это очень хорошо; нет ничего справедливее, чем так поступать со своими врагами. В самом деле, естественное право учит нас убивать наших ближних, и этот обычай распространен по всей земле. Мы не пользуемся правом их съесть лишь потому, что у нас довольно другой пищи; но у вас нет таких запасов. Без сомнения, лучше съесть врага, чем отдать воронам и воронам плоды своей победы. Но, господа, не хотите же вы съесть ваших друзей. Вы собираетесь зажарить на вертеле иезуита, но ведь перед вами ваш защитник, враг ваших врагов, и из него-то вы предполагаете сделать жаркое! Что касается меня, я родился

в вашей стране; господин, которого вы видите, мой хозяин и вовсе не иезуит; он только что убил иезуита и носит его шкуру: отсюда ваша ошибка. Можете проверить мои слова: возьмите эту рясу, отнесите ее на границу государства *los rades* и справьтесь, убил ли мой господин иезуитского офицера; это не займет у вас много времени, и, если окажется, что я солгал, вы нас съедите. Но если я сказал правду, вы достаточно знаете принципы общественного права, обычаи и законы и помилите нас.

Орельоны нашли, что его речь разумна; они отправили двух старейшин, чтобы те поскорее разузнали истину. Посланцы исполнили их поручение весьма толково и вскоре возвратились с добрыми вестями. Орельоны развязали пленников, стали с ними необычайно учтивы, предложили им девушек, угостили их лакомствами и прохладительными напитками и проводили до границы своего государства, весело крича:

— Он не иезуит, он не иезуит!

Кандид не переставал удивляться причине своего избавления.

— Какой народ,— говорил он,— какие люди, какие нравы! Если бы я не имел счастья проткнуть шпагой брата Кунигунды, я был бы съеден без всякой пощады. Но оказалось, что природа сама по себе вовсе не плоха, так как эти простые люди, вместо того, чтобы меня съесть, оказали мне тысячу любезностей, едва лишь узнали, что я не иезуит.

Глава семнадцатая

ПРИБЫТИЕ КАНДИДА И ЕГО СЛУГИ В СТРАНУ ЭЛЬДОРАДО И ЧТО ОНИ ТАМ УВИДЕЛИ

Когда они были уже за пределами земли орельонов, Какамбо сказал Кандиду:

— Видите, это полушарие ничуть не лучше нашего; послушайте меня, вернемся поскорее в Европу.

— Как нам вернуться туда,— сказал Кандид,— и куда? На моей родине болгары и авары режут всех подряд, в Португалии меня сожгут, а здесь мы ежеминутно рискуем попасть на вертел. Но как решиться оставить края, где живет Кунигунда?

— Поедемте через Кайенну,— сказал Какамбо,— там мы найдем французов, которые бродят по всему све-

ту; быть может, они нам помогут. Должен же господь сжалиться над нами.

Нелегко было добраться до Кайенны. Положим, они понимали, в каком направлении надо ехать; но горы, реки, пропасти, разбойники, дикари — повсюду их ждали устрашающие препятствия. Лошади пали от усталости; провизия была съедена; целый месяц они питались дикими плодами. Наконец они достигли маленькой речки, окаймленной кокосовыми пальмами, которые поддержали их жизнь и надежды.

Какамбо, который всегда давал такие же хорошие советы, как и старуха, сказал Кандиду:

— Мы не в силах больше идти, мы довольно отшагали; я вижу пустой челнок на реке, наполним его кокосовыми орехами, сядем в него и поплывем по течению. Река всегда ведет к какому-нибудь обитаемому месту. Если мы не найдем ничего приятного, то, по крайней мере, отыщем что-нибудь новое.

— Едем,— сказал Кандид,— и вручим себя providению.

Они проплыли несколько миль меж берегов, то цветущих, то пустынных, то пологих, то крутых. Река становилась все шире; наконец она потерялась под сводом страшных скал, вздымавшихся до самого неба. Наши путешественники решились, вверив себя волнам, пуститься под скалистый свод. Река, стесненная в этом месте, понесла их с ужасающим шумом и быстротой. Через сутки они вновь увидели дневной свет, но их лодка разбилась о подводные камни; целую милю пришлось им перебираться со скалы на скалу; наконец перед ними открылась огромная равнина, окруженная неприступными горами. Земля была возделана так, чтобы радовать глаз и вместе с тем приносить плоды; все полезное сочеталось с приятным; дороги были заполнены, вернее, украшены изящными экипажами из какого-то блестящего материала; в них сидели мужчины и женщины редкостной красоты; большие красные бараны влекли эти экипажи с такой резвостью, которая превосходила прыть лучших коней Андалузии, Тетуана и Мекнеса.

— Вот,— сказал Кандид,— страна получше Вестфалии.

Они с Какамбо остановились у первой попавшейся им на пути деревни. Деревенские детишки в лохмотьях из

золотой парчи играли у околицы в шары. Пришельцы из другой части света с любопытством глядели на них; игральными шарами детям служили крупные, округлой формы камешки, желтые, красные, зеленые, излучавшие странный блеск. Путешественникам пришло в голову поднять с земли несколько таких кругляшей; это были самородки золота, изумруды, рубины, из которых меньший был бы драгоценнейшим украшением трона Могола.

— Без сомнения,— сказал Какамбо,— это дети здешнего короля.

В эту минуту появился сельский учитель и позвал детей в школу.

— Вот,— сказал Кандид,— наставник королевской семьи.

Маленькие шалуны тотчас прервали игру, оставив на земле шарики и другие свои игрушки. Кандид поднимает их, бежит за наставником и почтительно протягивает ему, объясняя знаками, что их королевские высочества забыли свои драгоценные камни и золото. Сельский учитель, улыбаясь, бросил камни на землю, с большим удивлением взглянул на Кандида и продолжил свой путь.

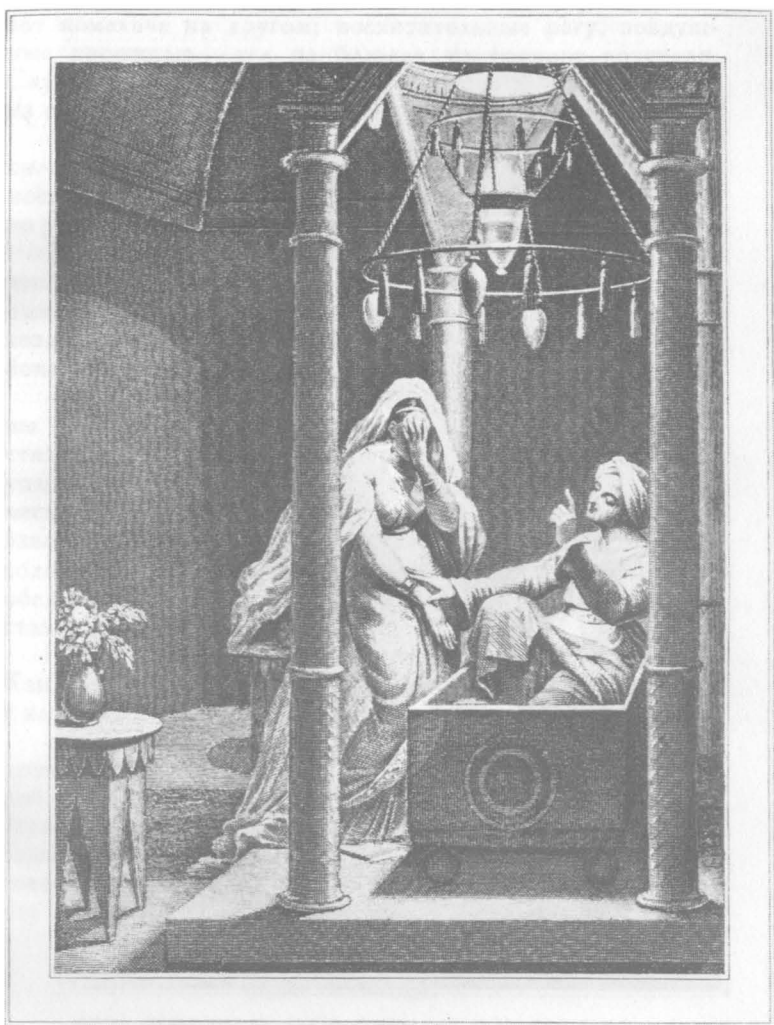
Путешественники подобрали золото, рубины и изумруды.

— Где мы? — вскричал Кандид.— Должно быть, королевским детям дали в этой стране на диво хорошее воспитание, потому что они приучены презирать золото и драгоценные камни.

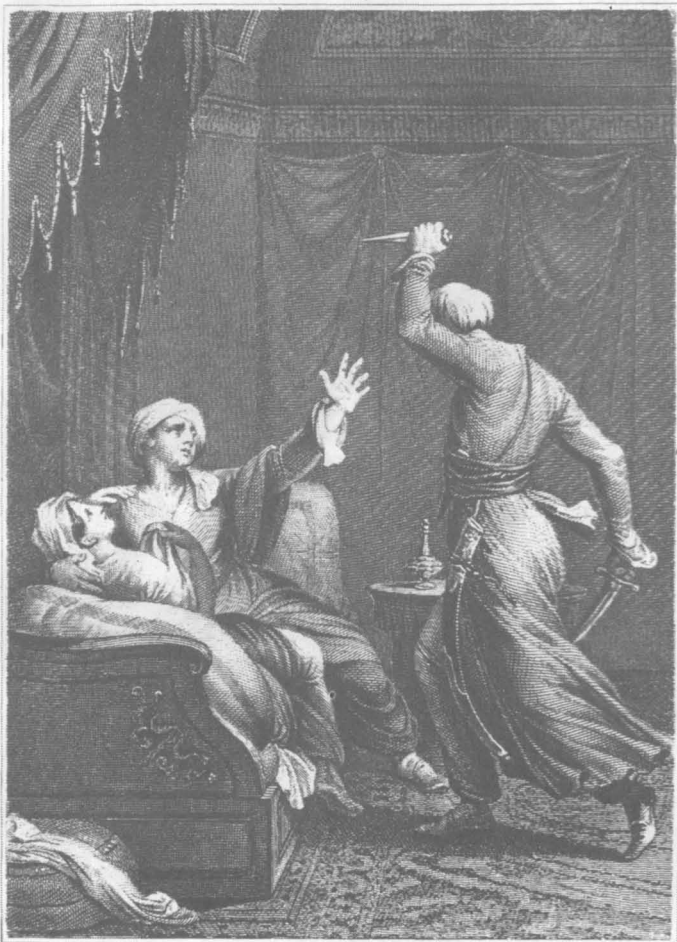
Какамбо был удивлен не менее, чем Кандид. Наконец они подошли к первому деревенскому дому; он напоминал европейский дворец. Толпа людей суетилась в дверях и особенно в доме; слышалась приятная музыка, из кухни доносились нежные запахи. Какамбо подошел к дверям и услышал, что говорят по-перуански; это был его родной язык, ибо, как известно, Какамбо родился в Тукумане, в деревне, где другого языка не знали.

— Я буду вашим переводчиком,— сказал он Кандиду,— войдем, здесь кабачок.

Тотчас же двое юношей и две девушки, служившие при гостинице, одетые в золотые платья, с золотыми лентами в волосах, пригласили их сесть за общий стол. На обед подали четыре супа, из них каждый был приготовлен из двух попугаев, вареного кондора, бесившего



«Задни»



«Мемнон»

двести фунтов, двух жареных обезьян, превосходных на вкус; триста колибри покрупнее на одном блюде и шестьсот помельче на другом; восхитительные рагу, воздушные пирожные,— все на блюдах из горного хрусталя. Слуги и служанки наливали гостям различные ликеры из сахарного тростника.

Посетители большею частью были купцы и возчики — все чрезвычайно учтивые; они с утонченной скромностью задали Какамбо несколько вопросов и очень охотно удовлетворяли любопытство гостей.

Когда обед был окончен, Какамбо и Кандид решили, что щедро заплатят, бросив хозяину на стол два крупных кусочка золота, подобранных на земле; хозяин и хозяйка гостиницы расхохотались и долго держались за бока. Наконец они успокоились.

— Господа,— сказал хозяин гостиницы,— конечно, вы иностранцы, а мы к иностранцам не привыкли. Простите, что мы так смеялись, когда вы нам предложили в уплату камни с большой дороги. У вас, без сомнения, нет местных денег, но этого и не надобно, чтобы победать здесь. Все гостиницы, устроенные для проезжих купцов, содержатся за счет государства. Вы здесь неважно победили, потому что это бедная деревня, но в других местах вас примут как подобает.

Какамбо перевел Кандиду слова хозяина гостиницы. Кандид слушал их с тем же удивлением и недоумением, с каким его друг Какамбо переводил.

— Что же, однако, это за край,— говорили они один другому,— неизвестный всему остальному миру и природой столь непохожий на Европу? Вероятно, это та самая страна, где все обстоит хорошо, ибо должна же такая страна хоть где-нибудь да существовать. А что бы ни говорил учитель Панглос, мне часто бросалось в глаза, что в Вестфалии все обстоит довольно плохо.

Глава восемнадцатая

ЧТО ОНИ ВИДЕЛИ В СТРАНЕ ЭЛЬДОРАДО

Какамбо засыпал вопросами хозяина гостиницы; тот ему сказал:

— Я человек неученый и тем доволен; но есть у нас здесь старец, бывший придворный,— он самый обра-

зованный человек в государстве и очень разговорчивый.

Тотчас он проводил Какамбо к старцу. Кандид же оказался теперь на вторых ролях и молча сопровождал своего слугу. Они вошли в дом, очень простой, так как дверь была всего-навсего из серебра, а обшивка комнат всего-навсего из золота; но все было сработано с таким вкусом, что не проиграло бы и при сравнении с самыми богатыми дверями и обшивкой. Приемная, правда, была украшена только рубинами и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось, искупал с избытком эту чрезвычайную простоту.

Старец принял двух иностранцев, сидя на софе, набитой пухом колибри, угостил их ликерами в алмазных чашах, потом в следующих словах удовлетворил их любопытство:

— Мне сто семьдесят два года, и я узнал от моего покойного отца, королевского конюшего, об удивительных переворотах в Перу, свидетелем которых он был. Наше государство — это древнее отечество инков, которые поступили очень неблагоприятно, когда отправились завоевывать другие земли: в конце концов они сами были уничтожены испанцами.

Те государи из этой династии, которые остались на родине, были куда благоразумнее; с народного согласия они издали закон, следуя которому ни один житель не имел права покинуть пределы своей маленькой страны; этим мы сберегли нашу простоту и наше благоденствие.

У испанцев было лишь смутное представление о нашем государстве; они назвали его Эльдorado, а один англичанин, некий кавалер Ролей, даже приблизился к нашим границам около ста лет назад, но так как мы окружены неприступными скалами и пропастями, то вплоть до настоящего времени нам нечего было бояться посягательств европейских народов, которыми владеет непостижимая страсть к грязи и камням нашей земли и которые, дабы завладеть ими, готовы были бы перебить нас всех до единого.

Разговор длился долго: говорили о государственном устройстве, о нравах, о женщинах, о зрелищах, об искусствах. Наконец Кандид, у которого всегда была склонность к метафизике, велел Какамбо спросить, есть ли в этой стране религия.

Старец слегка покраснел.

— Как вы можете в этом сомневаться? — сказал он.— Неужели вы считаете нас такими неблагодарными людьми?

Какамбо почтительно спросил, какая религия в Эльдорадо. Старец опять покраснел.

— Разве могут существовать на свете две религии? — сказал он.— У нас, я думаю, та же религия, что и у вас; мы неустанно поклоняемся богу.

— Только одному богу? — спросил Какамбо, который все время переводил вопросы Кандида.

— Конечно,— сказал старец,— их не два, не три, не четыре. Признаться, люди из вашего мира задают очень странные вопросы.

Кандид продолжал расспрашивать этого доброго старика; он хотел знать, как молятся богу в Эльдорадо.

— Мы ничего не просим у него,— сказал добрый и почтенный мудрец,— нам нечего просить: он дал нам все, что нам нужно; мы непрестанно его благодарим.

Кандиду было любопытно увидеть священнослужителей, он велел спросить, где они. Добрый старец засмеялся.

— Друзья мои,— сказал он,— мы все священнослужители; и наш государь, и все отцы семейств каждое утро торжественно поют благодарственные гимны; им аккомпанируют пять-шесть тысяч музыкантов.

— Как! У вас нет монахов, которые всех поучают, ссорятся друг с другом, управляют, строят козни и сжигают инакомыслящих?

— Смею надеяться, мы здесь не сумасшедшие,— сказал старец,— все мы придерживаемся одинаковых взглядов и не понимаем, что такое ваши монахи.

При этих словах Кандид пришел в восторг. Он говорил себе: «Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке господина барона; если бы наш друг Пангос побывал в Эльдорадо, он не утверждал бы более, что замок Тундerten-Тронк — лучшее место на земле. Вот как полезно путешествовать!»

После этой длинной беседы добрый старец велел запрячь в карету шесть баранов и приказал двенадцати слугам проводить путешественников ко двору.

— Простите меня,— сказал он им,— за то, что мой возраст лишает меня счастья сопровождать вас. Госу-

дарь примет вас так, что вы не останетесь недовольны и, без сомнения, отнесетесь снисходительно к тем обычаям страны, которые вам, возможно, не понравятся.

Кандид и Какамбо садятся в карету; шесть баранов летят во всю прыть, и менее чем в четыре часа они приезжают в королевский дворец, расположенный на окраине столицы. Портал дворца был двухсот двадцати пяти футов высотой и ста — шириной; невозможно было определить, из чего он сделан, но бросалось в глаза, что дивный материал этого здания не идет и в сравнение с теми булыжниками и песком, которые мы именуем золотом и драгоценными камнями.

Двадцать прекрасных девушек из охраны встретили Кандида и Какамбо, когда те вышли из кареты, проводили их в баню, надели на них одежды из пуха колибри; после этого придворные кавалеры и дамы, согласно принятому обычаю, ввели их в покои его величества, причем им пришлось идти между двумя рядами музыкантов, число которых достигало двух тысяч. Когда они подошли к тронному залу, Какамбо спросил у камергера, как здесь полагается приветствовать его величество. Встать ли на колени или распластаться на полу? Положить ли руки на голову или скрестить за спиной? Лизать пыль с пола? Одним словом, какова церемония?

— Обычай таков, — сказал камергер, — что каждый обнимает короля и целует в обе щеки.

Кандид и Какамбо бросаются на шею его величеству, который принимает их столь милостиво, что это не поддается описанию, и любезно приглашает на ужин.

В ожидании ужина им показали город, общественные здания, вздымавшиеся до облаков, рынки, украшенные тысячью колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны розовой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые неустанно текли в большие водоемы, выложенные каким-то драгоценным камнем, издававшим запах, подобный запаху гвоздики и корицы. Кандид попросил показать ему, где у них заседает суд; ему ответили, что этого учреждения у них нет, что в Эльдорадо никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьмы, и ему сказали, что и тюрем у них нет. Более всего удивил и порадовал Кандида дворец науки с галереей в две тысячи шагов, уставленной математическими и физическими инструментами.

Они успели осмотреть лишь тысячную часть города, как уже пришло время ехать к королю. Кандида посадили за стол вместе с его величеством, слугою Какамбо и несколькими дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и не бывал в обществе столь остроумного собеседника, каким оказался его величество. Какамбо переводил Кандиду остроты короля, и даже в переводе они сохраняли свою соль. Это удивляло Кандида не меньше, чем все остальное.

Они провели месяц в этой гостеприимной стране. Кандид без устали повторял Какамбо:

— Воистину, мой друг, замок, где я родился, хуже страны, где мы теперь находимся. А все-таки здесь нет Кунигунды, да и у вас, без сомнения, осталась любовница в Европе. Если мы поселимся здесь, мы ничем не будем отличаться от местных жителей. А вот если вернемся в наш мир и привезем с собой только двенадцать баранов, нагруженных эльдорадскими камнями, мы будем богаче, чем все короли, вместе взятые. Мы больше не будем бояться инквизиторов и без труда освободим Кунигунду.

Эти рассуждения были по душе Какамбо; люди так любят блуждать по свету, чваниться перед соотечественниками и похваляться увиденным во время странствий, что двое счастливцев решили отказаться от своего счастья и попросить у его величества, чтобы он позволил им уехать.

— Вы делаете глупость,— сказал им король.— Я знаю, страна моя не бог весть что; но где можно прожить недурно, там и надо оставаться. Я, разумеется, не имею права удерживать иностранцев; это тирания, которая противна и нашим обычаям, и нашим законам; все люди свободны; вы уедете, когда захотите, но помните, что выбраться отсюда очень трудно. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом спустились и которая течет под сводом скал. Горы, окружающие мое государство, достигают десяти тысяч футов в высоту и отвесны, как стены; в ширину они достигают более десяти миль и обрываются в бездонные пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уехать, я прикажу механикам построить машину, чтобы вас удобно переправить через горы. Но уж дальше на провожатых не рассчитывайте, ибо мои подданные дали клятву никогда

не переступать границ королевства и не нарушат ее—они достаточно разумные люди. Не считая этого, просите у меня все, что вам заблагорассудится.

— Мы просим у вашего величества,— сказал Какамбо,— только нескольких баранов, нагруженных съестными припасами, камнями и грязью вашей страны.

Король засмеялся.

— Не понимаю,— сказал он,— что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи, но берите ее, сколько хотите, и пусть она пойдет вам на пользу.

Он немедленно отдал приказ механикам соорудить машину, чтобы переправить этих странных людей за пределы королевства. Три тысячи ученых физиков работали над нею; через две недели она была готова и стоила всего двадцать миллионов стерлингов в ходячей монете той страны. Кандид и Какамбо сели в машину; с собой у них были два больших красных барана, оседланных и взнузданных, чтобы ехать на них, когда путники уже преодолеют горы; двадцать вьючных баранов, нагруженных съестными припасами; тридцать — с образцами того, что было в стране наиболее любопытного; пятьдесят — груженых золотом, самоцветными камнями и алмазами. Король нежно обнял залетных гостей.

Прекрасное зрелище представлял их отъезд, и занятно было смотреть, с каким искусством были подняты они со своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в безопасное место и вернулись. У Кандида теперь не было иного желания и иной мысли, как подарить этих баранов Кунигунде.

— У нас есть,— говорил он,— чем заплатить губернатору Буэнос-Айреса, если только Кунигунду вообще можно оценить в деньгах. Едем в Кайенну, сядем на судно, а потом посмотрим, какое королевство нам купить.

Глава девятнадцатая

ЧТО ПРОИЗОШЛО В СУРИНАМЕ И КАК КАНДИД ПОЗНАКОМИЛСЯ С МАРТЕНОМ

Первый день прошел для наших путешественников довольно приятно. Их ободряла мысль, что они обладают сокровищами, превосходящими богатства Азии, Европы и Африки. Кандид в восторге писал имя Кунигун-

ды на каждом дереве. На другой день два барана увязли в болоте и погибли со всем грузом; два других околели от усталости несколько дней спустя; семь или восемь подошли от голода в пустыне; несколько баранов сорвалось в пропасть. Прошло сто дней пути — и вот у них осталось только два барана. Кандид сказал Какамбо:

— Мой друг, ты видишь, как преходящи богатства мира сего; нет на свете ничего прочного, кроме добродетели и счастья новой встречи с Кунигундой.

— Согласен, — сказал Какамбо, — но у нас осталось еще два барана с сокровищами, каких не было и не будет даже у короля Испании. Вот я вижу вдали город, — думаю, что это Суринам, принадлежащий голландцам. Наши беды приходят к концу, скоро начнется благоденствие.

По дороге к городу они увидели негра, распростертого на земле, полуголого, — на нем были только синие полотняные панталоны; у бедняги не хватало левой ноги и правой руки.

— О боже мой! — воскликнул Кандид и обратился к негру по-голландски: — Что с тобою, мой друг, и почему ты в таком ужасном состоянии?

— Я жду моего хозяина господина Вандердендура, известного купца, — отвечал негр.

— Так это господин Вандердендур так обошелся с тобою? — спросил Кандид.

— Да, господин, — сказал негр, — таков обычай. Два раза в год нам дают только вот такие полотняные панталоны, и это вся наша одежда. Если на сахароварне у негра попадает палец в жернов, ему отрезают всю руку; если он вздумает убежать, ему отрубают ногу. Со мной случилось и то и другое. Вот цена, которую мы платим за то, чтобы у вас в Европе был сахар. А между тем, когда моя мать продала меня на Гвинейском берегу за десять патагонских монет, она мне сказала: «Дорогое мое дитя, благословляй наши фетиши, почитай их всегда, они принесут тебе счастье; ты удостоился чести стать рабом наших белых господ и вместе с тем одарил богатством своих родителей». Увы! Я не знаю, одарил ли я их богатством, но сам-то я счастья не нажил. Собаки, обезьяны, попугай в тысячу раз счастливее, чем мы; голландские жрецы, которые обратили меня в свою веру, твер-

дят мне каждое воскресенье, что все мы — потомки Адама, белые и черные. Я не силен в генеалогии, но если проповедники говорят правду, мы и впрямь все сродни друг другу. Но подумайте сами, можно ли так ужасно обращаться с собственными родственниками?

— О Панглос! — воскликнул Кандид. — Ты не предвидел этих гнусностей. Нет, отныне я навсегда отказываюсь от твоего оптимизма.

— Что такое оптимизм? — спросил Какамбо.

— Увы, — сказал Кандид, — это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо.

И он залился слезами, глядя на негра; плача о нем, он вошел в Суринам.

Первым делом они справились, нет ли в порту какого-нибудь корабля, отплывающего в Буэнос-Айрес. Тот, к кому они обратились, оказался испанским судовладельцем и согласился заключить с ними честную сделку. Он назначил им свидание в кабаке. Кандид и верный Какамбо отправились туда вместе со своими двумя баранами и стали его ждать.

У Кандида всегда было что на душе, то и на языке; он рассказал испанцу все свои приключения и признался, что хочет похитить Кунигунду.

— Нет, я поостерегусь везти вас в Буэнос-Айрес, — меня там повесят, да и вас тоже: прекрасная Кунигунда — любимая наложница губернатора.

Эти слова поразили Кандида как удар грома. Он долго плакал; наконец он обратился к Какамбо.

— Вот, мой друг, — сказал он ему, — что ты должен сделать: у каждого из нас брильянтов в карманах на пять-шесть миллионов. Ты хитрее меня; поезжай в Буэнос-Айрес и освободи Кунигунду. Если губернатор откажет, дай ему миллион; если и тут заупрямится — дай два. Ты не убивал инквизитора, тебе бояться нечего. Я снаряжу другой корабль и буду тебя ждать в Венеции. Это свободная страна, где можно не страшиться ни болгар, ни аваров, ни евреев, ни инквизиторов.

Какамбо одобрил это благоразумное решение. Он был в отчаянии, что надо разлучиться с добрым господином, который сделался его задушевым другом; но радостное сознание, что он будет полезен Кандиду, превозмогло скорбь. Они обнялись, обливаясь слезами; Кандид наказал ему не забывать доброй старухи. В тот же

день Какамбо отправился в путь; очень добрый человек был Какамбо.

Кандид остался еще на некоторое время в Суринаме, ожидая, пока другой какой-нибудь купец не согласится отвезти в Италию его и двух баранов, которые у него еще остались. Он нанял слуг, купил все необходимое для долгого путешествия; наконец к нему явился господин Вандердендур, хозяин большого корабля.

— Сколько вы возьмете, — спросил Кандид этого человека, — чтобы доставить меня прямым путем в Венецию — меня, моих людей, мой багаж и двух вот этих баранов?

Купец запросил десять тысяч пиастров.

Кандид, не раздумывая, согласился.

«Ого! — подумал Вандердендур. — Этот иностранец дает десять тысяч пиастров, не торгуясь, — должно быть, он очень богат».

Вернувшись через минуту, он объявил, что не повезет его иначе, как за двадцать тысяч.

— Ну, хорошо! Вы получите двадцать тысяч, — сказал Кандид.

«Ба! — сказал себе купец. — Этот человек дает двадцать тысяч пиастров с такой же легкостью, как и десять».

Он снова приходит и говорит, что меньше, чем за тридцать тысяч пиастров, он не согласится.

— Что ж, заплачу вам и тридцать тысяч, — отвечал Кандид.

«Ну и ну! — опять подумал голландский купец. — Тридцать тысяч пиастров ничего не значат для этого человека; без сомнения, его бараны навьючены несметными сокровищами; не будем более настаивать, возьмем пока тридцать тысяч, а там увидим».

Кандид продал два некрупных алмаза, из которых меньший стоил столько, сколько требовал судохозяин. Он заплатил деньги вперед. Бараны были переправлены на судно. Кандид отправился вслед за ними в маленькой лодке, чтобы на рейде сесть на корабль. Купец немедля поднимает паруса и выходит из гавани, пользуясь попутным ветром. Кандид, растерянный и изумленный, вскоре теряет его из виду.

— Увы! — воскликнул он. — Вот поступок, достойный обитателя Старого Света!

Кандид вернулся на берег, погруженный в горестные думы,— он потерял то, что могло бы обогатить двадцать монархов.

Он отправился к голландскому судье. Так как он был несколько взволнован, то сильно постучал в дверь, а войдя, рассказал о происшествии немного громче, чем следовало бы. Судья начал с того, что оштрафовал его на десять тысяч пиастров за произведенный шум, потом терпеливо выслушал Кандида, обещал заняться его делом тотчас же, как возвратится купец, и заставил заплатить еще десять тысяч пиастров судебных издержек.

Этот порядок судопроизводства окончательно привел Кандида в отчаяние; ему пришлось испытать, правда, несчастья, в тысячу раз более тяжелые, но хладнокровие судьи и наглое воровство судохозяина воспламенили его желчь и повергли его в черную меланхолию. Людская злоба предстала перед ним во всем своем безобразии; в голову ему приходили только мрачные мысли. Наконец, когда стало известно, что в Бордо отплывает французский корабль, Кандид, у которого уже не было баранов, нагруженных брильянтами, нанял каюту по справедливой цене и объявил в городе, что заплатит за проезд, пропитание и даст сверх того еще две тысячи пиастров честному человеку, который захочет совершить с ним путешествие, но с тем условием, что этот человек будет самым разочарованным и самым несчастным во всей этой провинции.

К нему явилась толпа претендентов, которую едва ли вместил бы и целый флот. Кандид по внешнему виду отобрал человек двадцать, показавшихся ему довольно обходительными; все они утверждали, что вполне отвечают его требованиям. Он собрал их в кабачке и накормил ужином, потребовав, чтобы каждый поклялся правдиво рассказать свою историю; он обещал им выбрать того, кто покажется ему наиболее достойным жалости и наиболее правым в своем недовольстве судьбою; остальным пообещал небольшое вознаграждение.

Беседа затянулась до четырех утра. Кандид, слушая рассказы собравшихся, вспоминал слова, сказанные ему старухой на пути в Буэнос-Айрес, и ее предложение побиться об заклад насчет того, что нет человека на корабле, который не перенес бы величайших несчастий. При

каждом новом рассказе он возвращался мыслью к Панглосу.

«Панглосу,— думал он,— трудно было бы теперь отстаивать свою систему. Хотел бы я, чтобы он был здесь. Все идет хорошо, это правда, но только в одной-единственной из всех земных стран — в Эльдорадо».

Наконец он остановил свой выбор на бедном ученом, который десять лет гнул спину на амстердамских книгопродавцев. Кандид решил, что нет в мире ремесла, которое могло бы внушить большее отвращение к жизни.

Этого ученого, который сверх того был добрый человек, обокрала жена, избил сын и покинула дочь, бежавшая с каким-то португальцем. Он лишился скромной должности, которая давала ему средства к жизни, и суринамские проповедники преследовали его за социнианство. Говоря по правде, другие были не менее несчастны, чем он, но Кандид надеялся, что ученый разгонит его тоску во время путешествия. Все прочие претенденты нашли, что Кандид был к ним глубоко несправедлив, но он утешил их, подарив каждому по сто пиастров.

Глава двадцатая

ЧТО БЫЛО С КАНДИДОМ И МАРТЕНОМ НА МОРЕ

Итак, с Кандидом в Бордо отправился старый ученый по имени Мартен. Они оба многое повидали и многое испытали и, пока корабль плыл от Суринама до Японии, мимо мыса Доброй Надежды, успели всласть наговориться о зле нравственном и зле физическом.

У Кандида было большое преимущество перед Мартемом: он надеялся снова увидеть Кунигунду, а Мартену надеяться было не на что. Кроме того, у Кандида были золото и брильянты, и, хотя он потерял сто больших красных баранов, нагруженных величайшими в мире сокровищами, хотя не мог забыть о мошенничестве голландского купца, однако, вспоминая о том, что у него осталось, и рассказывая о Кунигунде, особенно к концу обеда, он опять склонялся к системе Панглоса.

— А вы, господин Мартен,— спрашивал он ученого,— что думаете обо всем этом вы? Какого мнения придерживаетесь о зле нравственном и физическом?

— Меня обвинили в том,— отвечал Мартен,— что я социнианин, но, сказать по правде, я манихей.

— Вы смеетесь надо мной,— сказал Кандид,— манихеев больше не осталось на свете.

— Остался я,— сказал Мартен.— Не знаю, как тут быть, но по-другому думать я не могу.

— Значит, в вас сидит дьявол? — спросил Кандид.

— Дьявол вмешивается во все дела этого мира,— сказал Мартен,— так что, может быть, он сидит и во мне и повсюду; признаюсь вам, бросив взгляд на этот земной шар, или, вернее, на этот шарик, я пришел к выводу, что господь уступил его какому-то зловредному существу; впрочем, я исключая Эльдорадо. Мне ни разу не привелось видеть города, который не желал бы погибели соседнему городу, не привелось увидеть семьи, которая не хотела бы уничтожить другую семью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми они пресмыкаются, а сильные обходятся с ними, как со стадом, шерсть и мясо которого продают. Миллион головорезов, разбитых на полки, носится по всей Европе, убивая и разбойничая, и зарабатывает этим себе на хлеб насущный, потому что более честному ремеслу эти люди не обучены. В городах, которые как будто наслаждаются благами и где цветут искусства, пожалуй, не меньше людей погибает от зависти, забот и тревожений, чем в осажденных городах от голода. Тайные печали еще более жестоки, чем общественные бедствия. Одним словом, я так много видел и так много испытал, что я манихей.

— Однако на свете существует добро,— возразил Кандид.

— Может быть,— сказал Мартен,— но я с ним не знаком.

Они еще продолжали спорить, когда раздались пушечные выстрелы. Грохот разрастался с каждой минутой. Кандид и Мартен схватили подзорные трубы. На расстоянии около трех миль от них шел бой между двумя кораблями. Ветер подогнал их так близко к французскому кораблю, что наблюдать за боем было очень удобно. Наконец один из этих кораблей дал по другому столь удачный залп, что потопил его. Кандид и Мартен ясно видели сотню человек на палубе корабля, погружавшегося в воду; они все поднимали руки к небу, испуская страшные вопли; через минуту все исчезло в волнах.

— Ну, что? — сказал Мартен. — Вот видите, как люди обращаются друг с другом.

— Верно, — сказал Кандид. — В этом сражении есть нечто дьявольское.

Говоря так, он заметил какой-то ярко-красный блестящий предмет, плавающий неподалеку от корабля. Спустили шлюпку, чтобы рассмотреть, что это такое. Оказалось, это один из украденных баранов. Радость, испытанная Кандидом, когда этого барана выловили, во много раз превзошла горе, пережитое им при потере ста баранов, груженных эльдорадскими брильянтами.

Французский капитан вскоре узнал, что капитан, потопивший корабль, был испанец, а капитан потопленного корабля — голландский пират; это был тот самый купец, который обокрал Кандида. Неисчислимы богатства, украденные этим негодяем, вместе с ним пошли на дно морское, и спасся только один-единственный баран. «Вот видите, — сказал Кандид Мартену, — что преступление иногда бывает наказано; этот мерзавец, голландский купец, понес заслуженную кару». — «Да, — сказал Мартен, — но разве было так уж необходимо, чтобы погибли и пассажиры его корабля? Бог наказал плута, дьявол потопил всех остальных».

Между тем корабли французский и испанский продолжали свой путь, а Кандид продолжал беседовать с Мартеном. Они спорили пятнадцать дней кряду и на пятнадцатый день рассуждали точно так же, как в первый. Но что из того! Они говорили, обменивались мыслями, утешали друг друга. Кандид ласкал своего барана.

— Раз я снова обрел тебя, — сказал он, — значит, обрету, конечно, и Кунигунду.

Глава двадцать первая

КАНДИД И МАРТЕН ПРИБЛИЖАЮТСЯ К БЕРЕГАМ ФРАНЦИИ И ПРОДОЛЖАЮТ РАССУЖДАТЬ

Наконец они увидели берега Франции.

— Бывали вы когда-нибудь во Франции? — спросил Кандид.

— Да, — сказал Мартен, — я объехал несколько французских провинций. В иных половина жителей безумны,

в других чересчур хитры, кое-где добродушны, но туповаты, а есть места, где все сплошь остряки; но повсюду главное занятие — любовь, второе — злословие и третья — болтовня.

— Но, господин Мартен, а в Париже вы жили?

— Да, я жил в Париже. В нем средоточие всех этих качеств. Париж — это всесветная толчея, где всякий ищет удовольствий и почти никто их не находит, — так, по крайней мере, мне показалось. Я пробыл там недолго: едва я туда приехал, как меня обчистили жулики на Сен-Жерменской ярмарке. Притом меня самого приняли за вора, и я неделю отсидел в тюрьме; потом я поступил правщиком в типографию, чтобы было на что вернуться в Голландию хоть пешком. Навидался я всякой сволочи — писак, проныр и конвульсионеров. Говорят, в Париже есть вполне порядочные люди; хотелось бы этому верить.

— Что касается меня, то я не испытываю никакого желания изучать Францию, — сказал Кандид. — Сами понимаете, прожив месяц в Эльдорадо, уже не захочешь ничего видеть на земле, кроме Кунигунды. Я буду ждать ее в Венеции. Мы проедем через Францию в Италию. Не согласитесь ли вы меня сопровождать?

— Очень охотно, — сказал Мартен. — Говорят, в Венеции хорошо живется только венецианским нобилем, но, однако, там хорошо принимают и иностранцев, если у них водятся деньги. У меня денег нет, зато у вас их много. Я согласен следовать за вами повсюду.

— Кстати, — сказал Кандид, — думаете ли вы, что земля первоначально была морем, как это написано в толстой книге, которая принадлежит капитану корабля?

— Я этому не верю, — сказал Мартен, — да и вообще больше не верю фантазиям, которые нам с давних пор вбивают в голову.

— А все же, с какой целью был создан этот мир? — спросил Кандид.

— Чтобы постоянно бесить нас, — отвечал Мартен.

— Но разве не удивила вас, — продолжал Кандид, — любовь этих двух орельонских девушек к обезьянам, о которой я вам рассказывал?

— Нисколько, — сказал Мартен. — Не вижу в этой страсти ничего странного; я столько видел удивительного на своем веку, что меня уже ничто не удивляет.

— Как вы думаете,— спросил Кандид,— люди всегда уничтожали друг друга, как в наше время? Всегда ли они были лжецами, плутами, неблагодарными, изменниками, разбойниками, ветрениками, малодушными, трусами, завистниками, обжорами, пьяницами, скупцами, честолюбцами, клеветниками, злодеями, развратниками, фанатиками, лицемерами и глупцами?

— А как вы считаете,— спросил Мартен,— когда ястребам удавалось поймать голубей, они всегда расклевывали их?

— Да, без сомнения,— сказал Кандид.

— Так вот,— сказал Мартен,— если свойства ястребов не изменились, можете ли вы рассчитывать, что они изменились у людей?

— Ну, знаете,— сказал Кандид,— разница все же очень большая, потому что свободная воля...

Рассуждая таким образом, они прибыли в Бордо.

Глава двадцать вторая

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КАНДИДОМ И МАРТЕНОМ ВО ФРАНЦИИ

Кандид провел в Бордо ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы продать несколько эльдорадских брильянтов и приобрести хорошую двухместную коляску, ибо теперь он уже не мог обойтись без своего философа Мартена; его огорчала только разлука с бараном, которого он подарил Бордоской академии наук. Академия объявила конкурс, предложив соискателям выяснить, почему шерсть у этого барана красная. Премия была присуждена одному ученому с севера, доказавшему посредством формулы A плюс B минус C , деленное на X , что баран неизбежно должен быть красным и что он умрет от овечьей оспы.

Между тем все путешественники, которых Кандид встречал в придорожных кабачках, говорили ему:

— Мы едем в Париж.

Всеобщее стремление в столицу возбудило в нем наконец желание поглядеть на нее, тем более что для этого почти не приходилось отклоняться от прямой дороги на Венецию.

Он въехал в город через предместье Сен-Марсо, и ему показалось, что он попал в наихудшую из вестфальских деревушек.

Едва Кандид устроился в гостинице, как у него началось легкое недомогание от усталости. Так как все заметили, что у него на пальце красуется огромный брильянт, а в экипаже лежит очень тяжелая шкатулка, то к нему сейчас же пришли два врача, которых он не звал, несколько близких друзей, которые ни на минуту не оставляли его одного, и две святоши, которые разогрели ему бульон. Мартен сказал:

— Я вспоминаю, что тоже заболел во время моего первого пребывания в Париже. Но я был очень беден, и около меня не было ни друзей, ни святоши, ни докторов, поэтому я выздоровел.

Между тем с помощью врачей и кровопусканий Кандид расхворался не на шутку. Один завсегдатай гостиницы очень любезно попросил у него денег в долг под вексель с уплатою в будущей жизни. Кандид отказал. Святоши уверяли, что такова новая мода; Кандид ответил, что он совсем не модник. Мартен хотел выбросить просителя в окно. Клирик поклялся, что Кандида после смерти откажут хоронить. Мартен поклялся, что он похоронит клирика, если тот не отвяжется. Разгорелся спор, Мартен взял клирика за плечи и грубо его вытолкал. Произошел большой скандал, и был составлен протокол.

Кандид выздоровел, а пока он выздоравливал, у него собиралась за ужином славная компания. Велась крупная игра. Кандид очень удивлялся, что к нему никогда не шли тузы, но Мартена это несколько не удивляло.

Среди гостей Кандида был аббатик из Перигора, из того сорта хлопотунов, веселых, услужливых, беззастенчивых, ласковых, сговорчивых, которые подстерегают проезжих иностранцев, рассказывают им столичные сплетни и предлагают развлечения на любую цену. Аббатик прежде всего повел Кандида и Мартена в театр. Там играли новую трагедию. Кандид сидел рядом с несколькими остроумцами, что не мешало ему плакать над сценами, превосходно сыгранными. Один из этих умников сказал ему в антракте:

— Вы напрасно плачете: эта актриса очень плоха, актер, который играет с нею, и того хуже, а пьеса еще

хуже актеров. Автор ни слова не знает по-арабски, между тем действие происходит в Аравии; кроме того, этот человек не верит во врожденные идеи. Я принесу вам завтра несколько брошюр, направленных против него.

— А сколько всего театральных пьес во Франции? — спросил Кандид аббата.

— Тысяч пять-шесть, — ответил тот.

— Это много, — сказал Кандид. — А сколько из них хороших?

— Пятнадцать — шестнадцать, — ответил тот.

— Это много, — сказал Мартен.

Кандид остался очень доволен актрисой, которая играла королеву Елизавету в одной довольно плоской трагедии, еще удержавшейся в репертуаре.

— Эта актриса, — сказал он Мартену, — мне очень нравится, в ней есть какое-то сходство с Кунигундой. Мне хотелось бы познакомиться с нею.

Аббат из Перигора предложил ввести его к ней в дом. Кандид, воспитанный в Германии, спросил, какой соблюдается этикет и как обходятся во Франции с английскими королевами.

— Это как где, — сказал аббат. — В провинции их водят в кабачки, а в Париже боготворят, пока они красивы, и отвозят на свалку, когда они умирают.

— Королев на свалку? — удивился Кандид.

— Да, — сказал Мартен, — господин аббат прав. Я был в Париже, когда госпожа Монима перешла, как говорится, из этого мира в иной; ей отказали в том, что эти господа называют «посмертными почестями», то есть в праве истлевать на скверном кладбище, где хоронят всех плутов с окрестных улиц. Товарищи по сцене погребли ее отдельно на углу Бургонской улицы. Должно быть, она была очень опечалена этим, у нее были такие возвышенные чувства.

— С ней поступили крайне неучтиво, — сказал Кандид.

— Чего вы хотите? — сказал Мартен. — Таковы эти господа. Вообразите самые немыслимые противоречия и несообразности — и вы найдете их в правительстве, в судах, в церкви, в зрелищах этой веселой нации.

— Правда ли, что парижане всегда смеются? — спросил Кандид.

— Да,— сказал аббат,— но это смех от злости. Здесь жалуются на все, покатываясь со смеху, и, хохоча, совершают гнусности.

— Кто,— спросил Кандид,— этот жирный боров, который наговорил мне столько дурного о пьесе, тронувшей меня до слез, и об актерах, доставивших мне столько удовольствия?

— Это злоязычник,— ответил аббат.— Он зарабатывает себе на хлеб тем, что бранит все пьесы, все книги. Он ненавидит удачливых авторов, как евнухи — удачливых любовников; он из тех ползучих писак, которые питаются ядом и грязью; короче, он — газетный пасквилянт.

— Что это такое — газетный пасквилянт? — спросил Кандид.

— Это,— сказал аббат,— бумагомаратель, вроде Фрерона.

Так рассуждали Кандид, Мартен и перигориец, стоя на лестнице, во время театрального разъезда.

— Хотя мне и не терпится вновь увидеть Кунигунду,— сказал Кандид,— я все-таки поужинал бы с госпожою Клерон, так я ею восхищаюсь.

Аббат не был вхож к госпоже Клерон, которая принимала только избранное общество.

— Она сегодня занята,— сказал он,— но я буду счастлив, если вы согласитесь поехать со мной к одной знатной даме: там вы так узнаете Париж, как если бы прожили в нем четыре года.

Кандид, который был от природы любопытен, согласился пойти к даме в предместье Сент-Оноре. Там играли в фараон: двенадцать унылых понтеров держали в руках карты — суетный реестр их несчастий. Царило глубокое молчание, лица понтеров были бледны, озабоченно было и лицо банкомета. Хозяйка дома сидела возле этого неумолимого банкомета и рысьими глазами следила за тем, как гнут пароли: все попытки сплутовать она останавливала решительно, но вежливо и без раздражения, чтобы не растерять клиентов. Эта дама именовала себя маркизою де Паролиньяк. Ее пятнадцатилетняя дочь была в числе понтеров и взглядом указывала матери на мошенничества несчастных, пытавшихся смягчить жестокость судьбы.

Аббат-перигориец, Кандид и Мартен вошли; никто не поднялся, не поздоровался с ними, не взглянул на них; все были поглощены картами.

— Госпожа баронесса Тундер-тен-Тронк была учтивее, — сказал Кандид.

Тем временем аббат шепнул что-то на ухо маркизе, та приподнялась и приветствовала Кандида любезной улыбкой, а Мартена — величественным кивком. Она указала место и протянула колоду карт Кандиду, который проиграл пятьдесят тысяч франков в две тальи. Потом все весело поужинали, весьма удивляясь, однако, тому, что Кандид не опечален своим проигрышем; лакеи говорили между собою на своем лакейском языке:

— Должно быть, это какой-нибудь английский милорд.

Ужин был похож на всякий ужин в Париже; сначала молчание, потом неразборчивый словесный гул, потом шутки, большей частью несмешные, лживые слухи, глупые рассуждения, немного политики и много злословия; говорили даже о новых книгах.

— Вы читали, — спросил аббат-перигориец, — роман господина Гошá, доктора богословия?

— Да, — ответил один из гостей, — но так и не смог его одолеть. Много у нас нелепых писаний, но и все вместе они не так нелепы, как книга Гошá, доктора богословия; я так пресытился этим потоком отвратительных книг, которым нас затопляют, что пустился понтировать.

— А заметки архидьяксна Т., что вы о них скажете? — спросил аббат.

— Ах, — сказала госпожа Паролиньяк, — он скучнейший из смертных! С какой серьезностью преподносит он то, что и так всем известно! Как длинно рассуждает о том, о чем и походя говорить не стоит! Как тупо присваивает себе чужое остроумие! Как портит все, что ему удастся украсть! Какое отвращение он мне внушает! Но впредь он уже не будет мне докучать: с меня довольно и тех страниц архидьякона, которые я прочла.

За столом оказался некий ученый, человек со вкусом, — он согласился с мнением маркизы. Потом заговорили о трагедии. Хозяйка спросила:

— Почему иные трагедии можно смотреть, но невозможно читать?

Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть занимательной и при этом не имеющей почти никаких литературных достоинств; он доказал в немногих словах, что недостаточно одного или двух положений, которые встречаются во всех романах и всегда подкупают зрителей,— надо еще поразить новизной, не отвращая странностью, подчас подниматься до высот пафоса, всегда сохраняя естественность, знать человеческое сердце и заставить его говорить, быть большим поэтом, но не превращать в поэтов действующих лиц пьесы, в совершенстве знать родной язык, блюсти его законы, хранить гармонию и не жертвовать смыслом ради рифмы.

— Кто не соблюдает этих правил,— продолжал он,— тот способен сочинить одну-две трагедии, годные для сцены, но никогда не займет места в ряду хороших писателей. У нас очень мало хороших трагедий. Иные пьесы— это идиллии в диалогах, неплохо написанные и неплохо срифмованные; другие — наводящие сон политические трактаты или отвратительно многословные пересказы; некоторые представляют собою бред бесноватого, изложенный бессвязным, варварским слогом, с длинными воззваниями к богам, потому что автор не умеет говорить с людьми, с неверными положениями, с напыщенными общими местами.

Кандид слушал эту речь внимательно и проникся глубоким уважением к говоруну; а так как маркиза позаботилась посадить его рядом с собой, то он наклонился к ней и шепотом спросил, кто этот человек, который так хорошо говорил.

— Это ученый,— сказала дама,— который не играет; вместе с аббатом он иногда приходит ко мне ужинать. Он знает толк в трагедиях и в книгах и сам написал трагедию, которую освистали, и книгу, которую никогда не видели вне лавки его книгопродавца, за исключением одного экземпляра, подаренного им мне.

— Великий человек! — сказал Кандид.— Это второй Пангос.— Затем, обернувшись к нему, он спросил: — Вы, без сомнения, думаете, что все к лучшему в мире физическом и нравственном и что иначе не может и быть?

— Совсем напротив,— отвечал ему ученый,— я нахожу, что у нас все идет наыворот, никто не знает, каково его положение, в чем его обязанности, что он делает

и чего делать не должен. Не считая этого ужина, который проходит довольно весело, так как сотрапезники проявляют достаточное единодушие, все наше время занято нелепыми раздорами: янсенисты выступают против молинистов, законники против церковников, литераторы против литераторов, придворные против придворных, финансисты против народа, жены против мужей, родственники против родственников. Это непрерывная война.

Кандид возразил ему:

— Я видел вещи и похуже, но один мудрец, который имел несчастье попасть на виселицу, учил меня, что все в мире отлично, а зло — только тень на прекрасной картине.

— Ваш висельник издевался над людьми, — сказал Мартен, — а ваши тени — отвратительные пятна.

— Пятна сажают люди, — сказал Кандид, — они никак не могут обойтись без пятен.

— Значит, это не их вина, — сказал Мартен.

Большая часть понтеров, ничего не понимая в этом разговоре, продолжала пить; Мартен беседовал с ученым, а Кандид рассказывал о некоторых своих приключениях хозяйке дома.

После ужина маркиза повела Кандида в свой кабинет и усадила его на кушетку.

— Итак, вы все еще без памяти от баронессы Кунигунды Тундер-тен-Тронк? — спросила она его.

— Да, сударыня, — отвечал Кандид.

Маркиза сказала ему с нежной улыбкой:

— Вы мне отвечаете, как молодой человек из Вестфалии. Француз сказал бы: да, я любил баронессу Кунигунду, но, увидев вас, сударыня, боюсь, что перестал ее любить.

— О сударыня, — сказал Кандид, — я отвечу, как вам будет угодно.

— Вы загорелись страстью к ней, — сказала маркиза, — когда подняли ее платок. Я хочу, чтобы вы подняли мою подвязку.

— С большим удовольствием, — сказал Кандид и поднял подвязку.

— Но я хочу, чтобы вы мне ее надели, — сказала дама.

Кандид исполнил и это.

— Дело в том,— сказала дама,— что вы иностранец; своих парижских любовников я иногда заставляю томиться по две недели, но вам отдаюсь с первого вечера, потому что надо же быть гостеприимной с молодым человеком из Вестфалии.

Заметив два огромных брильянта на пальцах молодого иностранца, красавица так расхвалила их, что они тут же перешли на ее собственные пальцы.

Кандид, возвращаясь домой с аббатом-перигорийцем, терзался угрызениями совести из-за измены Кунигунде. Аббат всей душой разделял его печаль: он получил всего лишь малую толику из пятидесяти тысяч франков, проигранных Кандидом, и из стоимости двух брильянтов, полуподаренных, полувывпрошенных. Он твердо решил воспользоваться всеми преимуществами, которые могло ему доставить знакомство с Кандидом. Он охотно говорил с Кандидом о Кунигунде, и тот сказал, что выпросит прощение у своей красавицы, когда увидит ее в Венеции.

Перигориец удвоил любезность и внимание и выказал трогательное сочувствие ко всему, что Кандид ему говорил, ко всему, что он делал, ко всему, что собирался делать.

— Значит, у вас назначено свидание в Венеции? — спросил он.

— Да, господин аббат,— сказал Кандид,— я непременно должен там встретиться с Кунигундой.

Потом, радуясь возможности говорить о той, кого любил, Кандид рассказал, по своему обыкновению, часть своих походов с этой знаменитой уроженкой Вестфалии.

— Полагаю,— сказал аббат,— что баронесса Кунигунда очень умна и умеет писать прелестные письма.

— Я никогда не получал от нее писем,— сказал Кандид.— Посудите сами, мог ли я писать Кунигунде, будучи изгнанным из замка за любовь к ней? Потом меня уверили, будто она умерла, потом я снова нашел ее и снова потерял; я отправил к ней, за две тысячи пятьсот миль отсюда, посланца и теперь жду ее ответа.

Аббат выслушал его внимательно и, казалось, призадумался. Вскоре он ушел, нежно обняв на прощание обоих иностранцев. Назавтра, проснувшись поутру, Кандид получил письмо такого содержания:

«Дорогой мой возлюбленный! Я здесь уже целую неделю и лежу больная. Я узнала, что вы здесь, и полетела бы к вам в объятия, но не могу двинуться. Я узнала о вашем прибытии в Бордо; там я оставила верного Камбо и старуху, которые приедут вслед за мной. Губернатор Буэнос-Айреса взял все, но у меня осталось ваше сердце. Я вас жду, ваш приход возвратит мне жизнь или заставит умереть от радости».

Это прелестное, это неожиданное письмо привело Кандида в неизъяснимый восторг; но болезнь милой Кунигунды удручала его. Раздираемый столь противоречивыми чувствами, он берет свое золото и брильянты и едет с Мартеном в гостиницу, где остановилась Кунигунда. Он входит, трепеща от волнения, сердце его бьется, голос прерывается. Он откидывает полог постели, приказывает принести свет.

— Что вы делаете,— говорит ему служанка,— свет ее убьет.— И тотчас же задергивает полог.

— Дорогая моя Кунигунда,— плача, говорит Кандид,— как вы себя чувствуете? Если вы не можете меня видеть, хотя бы скажите мне что-нибудь.

— Она не в силах говорить,— произносит служанка.

Дама протягивает с постели пухленькую ручку, которую Кандид сперва долго орошает слезами, а потом наполняет брильянтами; на кресло он кладет мешок с золотом.

В это время входит полицейский, сопровождаемый аббатом-перигорийцем и стражею.

— Так вот они,— говорит полицейский,— эти подозрительные иностранцы.

Он приказывает своим молодцам схватить их и немедленно отвести в тюрьму.

— Не так обращаются с иностранцами в Эльдorado,— говорит Кандид.

— Я теперь еще более манихей, чем когда бы то ни было,— говорит Мартен.

— Куда же вы нас ведете? — спрашивает Кандид.

— В яму,— отвечает полицейский.

Мартен, к которому вернулось его обычное хладнокровие, рассудил, что дама, выдававшая себя за Кунигунду,— мошенница, господин аббат-перигориец — мошенник, ловко злоупотребивший доверчивостью Канди-

да, да и полицейский тоже мошенник, от которого легко будет откупиться.

Чтобы избежать судебной процедуры, Кандид, вздумленный советом Мартена и горящий нетерпением снова увидеть настоящую Кунигунду, предлагает полицейскому три маленьких брильянта стоимостью в три тысячи пистолей каждый.

— Ах, господин,— говорит ему человек с жезлом из слоновой кости,— да соверши вы все мыслимые преступления, все-таки вы были бы честнейшим человеком на свете. Три брильянта, каждый в три тысячи пистолей! Господин, пусть мне не сносить головы, но в тюрьму я вас не упрячу. Арестовывают всех иностранцев, но тем не менее я все улажу: у меня брат в Дьеппе в Нормандии, я вас провожу туда, и если у вас найдется брильянт и для него, он позаботится о вас, как забочусь сейчас я.

— А почему арестовывают всех иностранцев? — спросил Кандид.

Тут взял слово аббат-перигориец:

— Их арестовывают потому, что какой-то негодяй из Артебазии, наслушавшись глупостей, покусился на отцеубийство, не такое, как в тысяча шестьсот десятом году, в мае, а такое, как в тысяча пятьсот девяносто четвертом году, в декабре; да и в другие годы и месяцы разные людишки, тоже наслушавшись глупостей, совершали подобное.

Полицейский объяснил, в чем дело.

— О чудовища! — воскликнул Кандид. — Такие ужасы творят сыны народа, который пляшет и поет! Поскорее бы мне выбраться из страны, где обезьяны ведут себя, как тигры. Я видел медведей на моей родине, — людей я встречал только в Эльдорадо. Ради бога, господин полицейский, отправьте меня в Венецию, где я должен дожидаться Кунигунды.

— Я могу отправить вас только в Нормандию, — сказал полицейский.

Затем он снимает с него кандалы, говорит, что вышла ошибка, отпускает своих людей, везет Кандида и Мартена в Дьепп и поручает их своему брату. На рейде стоял маленький голландский корабль. Нормандец, получив три брильянта, сделался самым услужливым человеком на свете; он посадил Кандида и его слуг на корабль, который направлялся в Портсмут, в Англию.

Это не по дороге в Венецию, но Кандиду казалось, что он вырвался из преисподней, а поездку в Венецию он рассчитывал предпринять при первом удобном случае.

Глава двадцать третья

ЧТО КАНДИД И МАРТЕН УВИДАЛИ
НА АНГЛИЙСКОМ БЕРЕГУ

— Ах, Панглос, Панглос! Ах, Мартен, Мартен! Ах, моя дорогая Кунигунда! Что такое наш подлунный мир? — восклицал Кандид на палубе голландского корабля.

— Нечто очень глупое и очень скверное, — отвечал Мартен.

— Вы хорошо знаете англичан? Они такие же безумцы, как французы?

— У них другой род безумия, — сказал Мартен. — Вы знаете, эти две нации ведут войну из-за клочка обледелой земли в Канаде и израсходовали на эту достойную войну гораздо больше, чем стоит вся Канада. Мои слабые познания не позволяют мне сказать вам точно, в какой из этих двух стран больше людей, на которых следовало бы надеть смирительную рубашку. Знаю только, что в общем люди, которых мы увидим, весьма жестокого нрава.

Беседуя так, они прибыли в Портсмут. На берегу толпился народ; все внимательно глядели на дородного человека, который с завязанными глазами стоял на коленях на палубе военного корабля; четыре солдата, стоявшие напротив этого человека, преспокойно всадили по три пули в его череп, и публика разошлась, чрезвычайно довольная.

— Что же это такое, однако? — сказал Кандид. — Какой демон властвует над землей?

Он спросил, кем был этот толстяк, которого убили столь торжественно.

— Адмирал, — отвечали ему.

— А за что убили этого адмирала?

— За то, — сказали ему, — что он убил слишком мало народу; он вступил в бой с французским адмиралом и, по мнению наших военных, подошел к врагу недостаточно близко.

— Но,— сказал Кандид,— ведь и французский адмирал был так же далеко от английского адмирала, как английский от французского?

— Несомненно,— отвечали ему,— но в нашей стране полезно время от времени убивать какого-нибудь адмирала, чтобы взбодрить других.

Кандид был так ошеломлен и возмущен всем увиденным и услышанным, что не захотел даже сойти на берег и договорился со своим голландским судовладельцем (даже с риском быть обворованным, как в Суринаме), чтобы тот без промедления доставил его в Венецию.

Через два дня корабль был готов к отплытию. Обогнули Францию, проплыли мимо Лиссабона — и Кандид затрепетал. Вошли через пролив в Средиземное море; наконец добрались до Венеции.

— Слава богу,— сказал Кандид, обнимая Мартена,— здесь я снова увижу прекрасную Кунигунду. Я надеюсь на Какамбо, как на самого себя. Все хорошо, все прекрасно, все идет как нельзя лучше.

Глава двадцать четвертая

О ПАКЕТЕ И О БРАТЕ ЖИРОФЛЕ

Как только Кандид приехал в Венецию, он принялся разыскивать Какамбо во всех кабачках, во всех кофейнях, у всех веселых девиц, но нигде не нашел его. Он ежедневно посылал справляться на все корабли, на все барки; ни слуху ни духу о Какамбо.

— Как! — говорил он Мартену.— Я успел за это время попасть из Суринама в Бордо, добраться из Бордо в Париж, из Парижа в Дьепп, из Дьеппа в Портсмут, обогнуть Португалию и Испанию, переплыть все Средиземное море, провести несколько месяцев в Венеции, а прекрасной Кунигунды все нет. Вместо нее я встретил лишь непотребную женщину и аббата-перигорийца. Кунигунда, без сомнения, умерла,— остается умереть и мне. Ах, лучше бы мне навеки поселиться в эльдорадском раю и не возвращаться в эту гнусную Европу. Вы правы, милый Мартен: все в жизни обманчиво и превратно.

Он впал в черную меланхолию и не выказывал никакого интереса к опере *alla moda*¹ и к другим карнавальным увеселениям; ни одна дама не тронула его сердца. Мартен сказал ему:

— Поистине, вы очень простодушны, если верите, будто слуга-метис, у которого пять-шесть миллионов в кармане, поедет отыскивать вашу любовницу на край света и привезет ее вам в Венецию. Он возьмет ее себе, если найдет; а не найдет — возьмет другую; советую вам, забудьте вашего слугу Какамбо и вашу возлюбленную Кунигунду.

Слова Мартена не были утешительны. Меланхолия Кандида усилилась, а Мартен без устали доказывал ему, что на земле нет ни чести, ни добродетели, разве что в Эльдорадо, куда путь всем заказан.

Рассуждая об этих важных предметах и дожидаясь Кунигунды, Кандид заметил на площади Св. Марка молодого театинца, который держал под руку какую-то девушку. У театинца, мужчины свежего, полного, сильного, были блестящие глаза, уверенный взгляд, надменный вид, горделивая походка. Девушка, очень хорошенькая, что-то напевала; она влюбленно смотрела на своего театинца и порою щипала его за толстую щеку.

— Согласитесь, — сказал Кандид Мартену, — что хоть эти-то люди счастливы. До сих пор на всей обитаемой земле, исключая Эльдорадо, я встречал одних только несчастных; но готов биться об заклад, что эта девушка и этот театинец очень довольны жизнью.

— А я бьюсь об заклад, что нет.

— Пригласим их на обед, — сказал Кандид, — и тогда посмотрим, кто прав.

Тотчас же он подходит к ним, любезно приветствует и приглашает их зайти в гостиницу откусать макарон, ломбардских куропаток, осетровой икры, выпить вина «Монтепульчано», «Лакрима-Кристи», кипрского и самосского. Барышня покраснела, театинец принял предложение, и она последовала за ним, поглядывая на Кандида изумленными и смущенными глазами, на которые набегали слезы.

Едва войдя в комнату Кандида, она сказала ему:

— Неужели, господин Кандид, вы не узнаете Пакеты?

¹ Модной, пользующейся успехом (итал.).

При этих словах Кандид, который до того времени смотрел на нее рассеянным взором, потому что был занят только мыслями о Кунигунде, воскликнул:

— Мое бедное дитя, вас ли я вижу? Когда я встретил доктора Панглоса, он был в славном состоянии, и виноваты в этом были вы, не так ли?

— Увы! Это действительно я,— сказала Пакета.— Значит, вы уже все знаете. Я слышала о страшных несчастьях, постигших семью госпожи баронессы и прекрасной Кунигунды. Клянусь вам, моя участь не менее печальна. Я была еще очень неопытна, когда вы меня знали. Один кордельер, мой духовник, без труда обольстил меня. Последствия были ужасны; мне пришлось покинуть замок вскоре после того, как господин барон выставил вас оттуда здоровыми пинками в зад. Я умерла бы, если бы надо мной не сжалился один искусный врач. В благодарность за это я некоторое время была любовницей этого врача. Его жена, ревнивая до бешенства, немилосердно избивала меня каждый день; не женщина, а настоящая фурия. Этот врач был безобразнейшим из людей, а я несчастнейшим из всех земных созданий: подумайте сами, какво постоянно ходить в синяках из-за человека, которого не любишь! Вы понимаете, господин Кандид, как опасно для сварливой женщины быть женой врача. Доктор, выведенный из себя поведением жены, дал ей выпить однажды, чтобы вылечить легкую простуду, такое сильное лекарство, что через два часа она умерла в страшных судорогах. Родственники дамы притянули его к уголовному суду; он сбежал, а меня упрятали в тюрьму. Моя невиновность не спасла бы меня, не будь я недурна собой. Судья меня освободил с условием, что он наследует врачу. Вскоре у меня появилась соперница, и меня выгнали без всякого вознаграждения. Я принуждена была снова взяться за это гнусное ремесло, которое вам, мужчинам, кажется таким приятным, а нам сулит неисчислимые бедствия. Я уехала в Венецию. Ах, господин Кандид, вы не представляете себе, что это значит — быть обязанной ласкать без разбора и дряхлого купца, и адвоката, и монаха, и гондольера, и аббата, подвергаясь при этом несчетным обидам, несчетным притеснениям! Иной раз приходится брать напрокат юбку, чтобы ее потом задрал какой-нибудь омерзительный мужчина. А бывает, все, что получишь

с одного, украдет другой. Даешь взятки чиновникам, а впереди видишь только ужасную старость, больницу, свалку. Поверьте, я — одно из самых несчастных созданий на свете.

В таких словах Пакета открыла свое сердце доброму Кандиду; присутствовавший при этом Мартен сказал ему:

— Вот видите, я уже наполовину выиграл пари.

— Но позвольте,— сказал Кандид Пакете,— у вас был такой веселый, такой довольный вид, когда я вас встретил; вы пели, вы ласкали театинца так нежно и не-принужденно! Право, вы показались мне столь же счастливою, сколь, по вашему утверждению, вы несчастны.

— Ах, господин Кандид,— отвечала Пакета,— вот еще одна из бед моего ремесла: вчера меня обокрал и избил какой-то офицер, а сегодня я должна казаться веселою, чтобы угодить монаху.

С Кандида было довольно — он признал, что Мартен прав. Они сели за стол с Пакетой и театинцем; обед прошел довольно оживленно, и под конец все разоткровенничались.

— Отец мой,— сказал Кандид монаху,— вы, мне кажется, так наслаждаетесь жизнью, что всякий вам позавидует; у вас цветущее здоровье, ваша физиономия выражает счастье, вы развлекаетесь с хорошенькой девушкой и как будто вполне довольны тем, что стали театинцем.

— Признаться, я хотел бы, чтобы все театинцы сгинули в морской пучине,— сказал брат Жирофле.— Сотни раз брало меня искушение поджечь монастырь и сделаться турком. Мои родители заставили меня в пятнадцать лет надеть эту ненавистную рясу, чтобы увеличить наследство моего старшего брата, да поразит его, проклятого, господь бог! В обители царят раздоры, зависть, злоба. Правда, я произнес несколько плохих проповедей, и они принесли мне немного денег; впрочем, половину отобрал у меня настоятель; остальные я трачу на девочек. Но когда я возвращаюсь вечером в монастырь, мне хочется разбить себе голову о стены дортуара. Все мои собратья чувствуют себя не лучше, чем я.

Мартен обратился к Кандиду с обычным своим хладнокровием:

— Не считаете ли вы, что я выиграл всё пари целиком?

Кандид дал две тысячи пиастров Пакете и тысячу — брату Жирофле.

— Ручаюсь вам, — сказал он, — что с этими деньгами они будут счастливы.

— Как раз напротив, — сказал Мартен, — ваши пиастры, быть может, сделают их еще несчастнее.

— Ну, будь что будет, — сказал Кандид, — но кое-что меня все же утешает: я вижу, порою встречаешь людей, которых уже и не надеялся встретить. Если я нашел моего красного барана и Пакету, то, возможно, найду и Кунигунду.

— От души желаю, — сказал Мартен, — чтобы она когда-нибудь составила ваше счастье, но сильно сомневаюсь в этом.

— Вы очень жестоки, — сказал Кандид.

— У меня немалый опыт, — сказал Мартен.

— Вот посмотрите на этих гондольеров, — сказал Кандид, — они поют не умолкая!

— Вы не знаете, какие они дома, с женами и несносными детишками, — сказал Мартен. — У дожа свои печали, у гондольеров — свои. Правда, все-таки участь гондольера завиднее, нежели участь дожа, но, я думаю, разница так невелика, что о ней и говорить не стоит.

— Мне рассказывали, — сказал Кандид, — о сенаторе Пококуранте, который живет в прекрасном дворце на Бренте и довольно охотно принимает иностранцев. Утверждают, будто этот человек никогда не ведал горя.

— Хотел бы я посмотреть на такое диво, — сказал Мартен.

Кандид тотчас же послал просить у господина Пококуранте позволения навестить его на следующий день.

Глава двадцать пятая

ВИЗИТ К СИНЬОРУ ПОКОКУРАНТЕ, БЛАГОРОДНОМУ ВЕНЕЦИАНЦУ

Кандид и Мартен сели в гондолу и поплыли по Бренте ко дворцу благородного Пококуранте. Его сады содержались в отличном порядке и были украшены вели-

колепными мраморными статуями; архитектура дворца не оставляла желать лучшего. Хозяин дома, человек лет шестидесяти, известный богач, принял наших любознательных путешественников учтиво, но без особой предупредительности, что смутило Кандида и, пожалуй, поправило Мартену.

Сначала две девушки, опрятно одетые и хорошенькие, подали отлично взбитый шоколад. Кандид не мог удержаться, чтобы не похвалить их красоту, услужливость и ловкость.

— Они довольно милые создания,— согласился сенатор.— Иногда я беру их к себе в постель, потому что городские дамы мне наскучили своим кокетством, ревностью, ссорами, прихотями, мелочностью, спесью, глупостью и сонетами, которые нужно сочинять или заказывать в их честь; но и эти девушки начинают мне надоедать.

Кандид, прогуливаясь после завтрака по длинной галерее, был поражен красотой висевших там картин. Он спросил, каким художником написаны первые две.

— Они кисти Рафаэля,— сказал хозяин дома.— Несколько лет назад я из тщеславия заплатил за них слишком дорого. Говорят, они из лучших в Италии, но я не нахожу в них ничего хорошего: краски очень потемнели, лица недостаточно округлы и выпуклы, драпировка ничуть не похожа на настоящую материю,— одним словом, что бы там ни говорили, я не вижу здесь верного подражания природе. Картина нравится мне только тогда, когда при взгляде на нее я словно созерцаю самую природу, но таких картин не существует. У меня много полотен, но я уже более не смотрю на них.

ПококурANTE в ожидании обеда позвал музыкантов. Кандиду музыка показалась восхитительной.

— Этот шум,— сказал ПококурANTE,— можно с удовольствием послушать полчаса, не больше, потом он всем надоедает, хотя никто не осмеливается в этом признаться. Музыка нынче превратилась в искусство умело исполнять трудные пассажи, а то, что трудно, не может нравиться долго. Я, может быть, любил бы оперу, если бы не нашли секрета, как превращать ее в отвратительное чудовище. Пусть кто хочет смотрит и слушает плохонькие музыкальные трагедии, сочиненные только для того, чтобы совсем некстати ввести несколько глупейших пе-

сен, в которых актриса щеголяет своим голосом; пусть кто хочет и может замирает от восторга при виде кастрата, напевающего монологи Цезаря или Катона и спесиво расхваливающего на подмостках. Что касается меня, я давно махнул рукой на этот вздор, который в наши дни прославил Италию и так дорого ценится высочайшими особами.

Кандид немного поспорил, но без особой горячности. Мартен согласился с сенатором.

Сели за стол, а после превосходного сбеда перешли в библиотеку. Кандид, увидев Гомера, прекрасно переплетенного, начал расхваливать вельможу за его безукоризненный вкус.

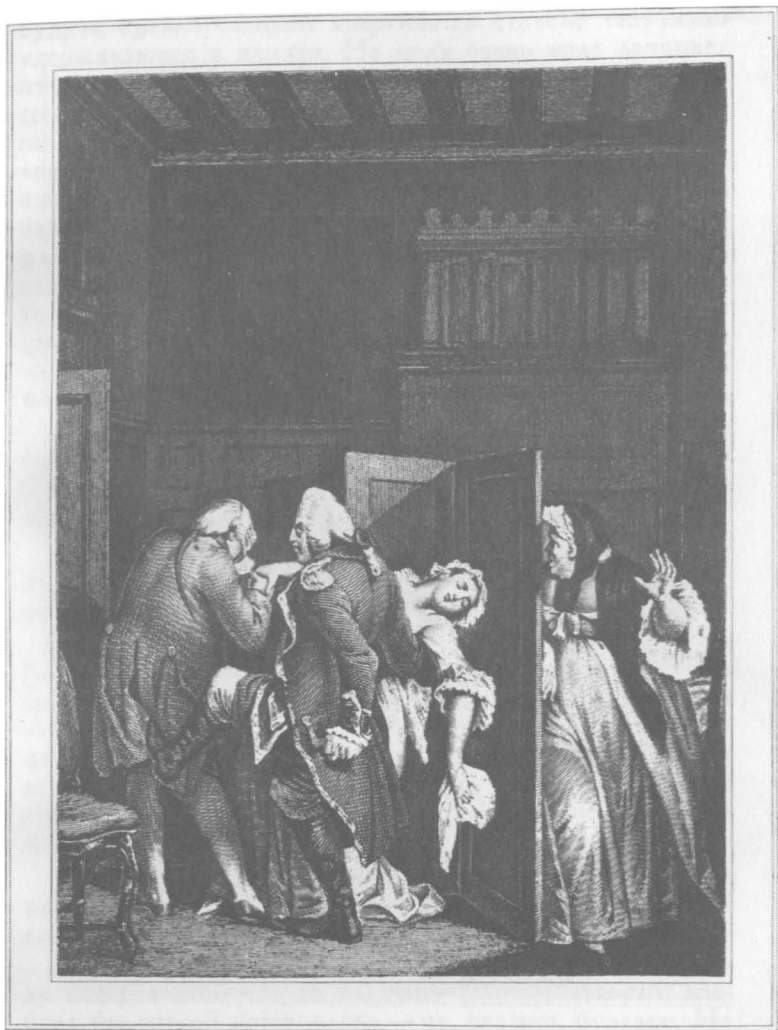
— Вот книга,— сказал он,— которой всегда наслаждался великий Панглос, лучший философ Германии.

— Я ею отнюдь не наслаждаюсь,— холодно промолвил Пококуранте.— Когда-то мне внушали, что, читая ее, я должен испытывать удовольствие, но эти постоянно повторяющиеся сражения, похожие одно на другое, эти боги, которые вечно суетятся, но ничего решительного не делают, эта Елена, которая, послужив предлогом для войны, почти не участвует в действии, эта Троя, которую осаждают и никак не могут взять,— все это нагоняет на меня смертельную скуку. Я спрашивал иной раз ученых, не скучают ли они так же, как я, при этом чтении. Все прямодушные люди признались мне, что книга валится у них из рук, но что ее все-таки надо иметь в библиотеке как памятник древности, как ржавые монеты, которые не годятся в обращении.

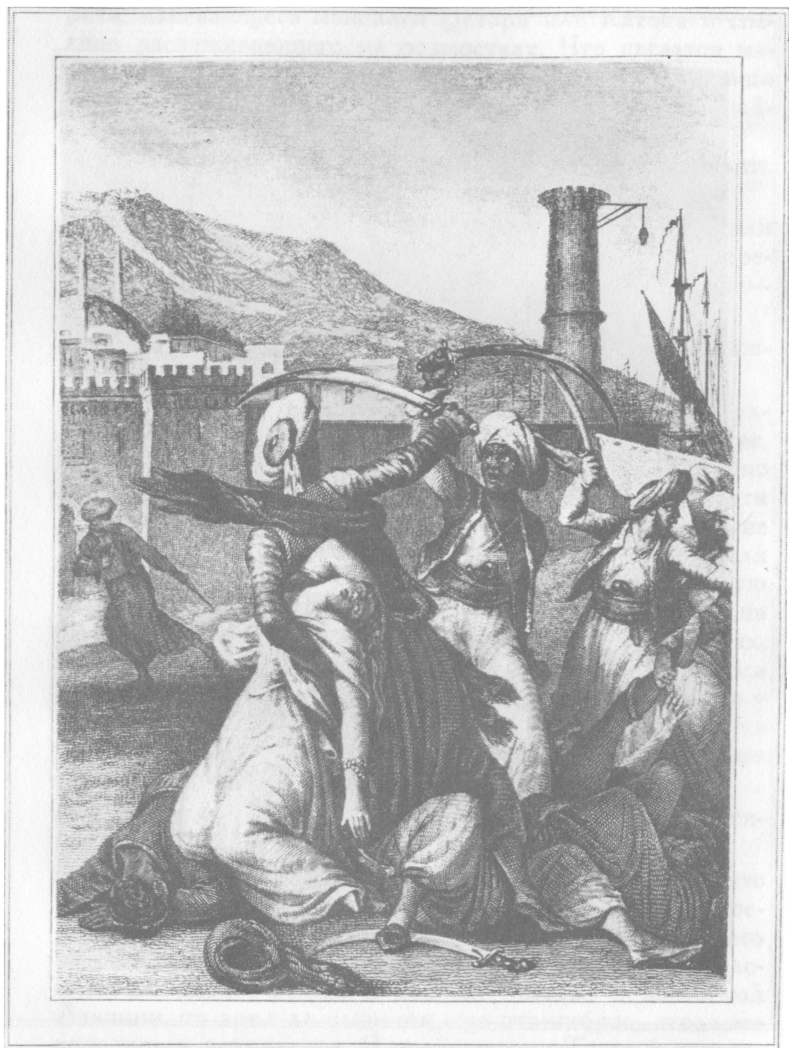
— Ваша светлость, конечно, иначе судит о Вергилии? — спросил Кандид.

— Должен признать,— сказал Пококуранте,— что вторая, четвертая и шестая книги его «Энеиды» превосходны; но что касается благочестивого Энея, и могучего Клоанта, и друга Ахата, и маленького Аскания, и сумасшедшего царя Латина, и пошлой Аматы, и несносной Лавинии, то вряд ли сыщется еще что-нибудь, столь же холодное и неприятное. Я предпочитаю Тассо и невероятные рассказы Ариосто.

— Осмелюсь спросить,— сказал Кандид,— не испытываете ли вы истинного удовольствия, когда читаете Горация?



«Кандид»



«Кандид»

— У него есть мысли,— сказал Пококуранте,— из которых просвещенный человек может извлечь пользу; будучи крепко связаны энергичным стихом, они легко удерживаются в памяти. Но меня очень мало занимает путешествие в Бриндизи, описание дурного обеда, грубая ссора неведомого Рупилия, слова которого, по выражению стихотворца, «полны гноя», с кем-то, чьи слова «пропитаны уксусом». Я читал с чрезвычайным отвращением его грубые стихи против старух и колдуний и не нахожу ничего, достойного похвалы, в обращении Горация к другу Меценату, в котором он говорит, что если этот самый Меценат признает его лирическим поэтом, то он достигнет звезд своим возвышенным челом. Глупцы восхищаются всем в знаменитом писателе, но я читаю для собственного услаждения и люблю только то, что мне по душе.

Кандид, которого с детства приучили ни о чем не иметь собственного суждения, был сильно удивлен речью Пококуранте, а Мартен нашел такой образ мыслей довольно разумным.

— О, я вижу творения Цицерона! — воскликнул Кандид.— Ну, этого-то великого человека вы, я думаю, перечитываете постоянно?

— Я никогда его не читаю,— отвечал венецианец.— Какое мне дело до того, кого он защищал в суде — Рабирия или Клуенция? С меня хватает тяжб, которые я сам вынужден разбирать. Уж скорее я примирился бы с его философскими произведениями; но, обнаружив, что и он во всем сомневался, я заключил, что знаю столько же, сколько он, а чтобы оставаться невеждой, мне чужой помощи не надо.

— А вот и труды Академии наук в восьмидесяти томах! — воскликнул Мартен.— Возможно, в них найдется кое-что разумное.

— Безусловно,— сказал Пококуранте,— если бы среди авторов этой чепухи нашелся человек, который изобрел бы способ изготовлять — ну, скажем, булавки. Но во всех этих томах одни только бесполезные отвлеченности и ни одной полезной статьи.

— Сколько театральных пьес я вижу здесь,— сказал Кандид,— итальянских, испанских, французских!

— Да,— сказал сенатор,— их три тысячи, но не больше трех десятков действительно хороши. Что касается этих сборников проповедей, которые все, вместе взятые, не стоят одной страницы Сенеки, и всех этих богословских фолиантов, вы, конечно, понимаете, что я никогда не заглядываю в них, да и никто не заглядывает.

Мартен обратил внимание на полки, уставленные английскими книгами.

— Я думаю,— сказал он,— что республиканцу должна быть по сердцу бóльшая часть этих трудов, написанных с такой свободой.

— Да,— ответил Пококуранте,— хорошо, когда пишут то, что думают,— это привилегия человека. В нашей Италии пишут только то, чего не думают; люди, живущие в отечестве Цезарей и Антониев, не осмеливаются обнародовать ни единой мысли без позволения монаха-якобита. Я приветствовал бы свободу, которая вдохновляет английских писателей, если бы пристрастность и фанатизм не искажали всего, что в этой драгоценной свободе достойно уважения.

Кандид, заметив Мильтона, спросил хозяина, не считает ли он этого автора великим человеком.

— Мильтона? — переспросил Пококуранте.— Этого варвара, который в десяти книгах тяжеловесных стихов пишет длинный комментарий к Первой Книге Бытия; этого грубого подражателя грекам, который искажает рассказ о сотворении мира? Если Моисей говорит о Предвечном Существо, создавшем мир единым словом, то Мильтон заставляет Мессию брать большой циркуль из небесного шкафа и чертить план своего творения! Чтобы я стал почитать того, кто изуродовал ад и дьяволов Тассо, кто изображал Люцифера то жабою, то пигмеем и заставлял его по сто раз повторять те же речи и спорить о богословии, кто, всерьез подражая шуткам Ариосто об изобретении огнестрельного оружия, вынуждал демонов стрелять из пушек в небо? Ни мне, да и никому другому в Италии не могут нравиться эти жалкие нелепицы. Брак Греха со Смертью и те ехидны, которыми Грех разрешается, вызывают тошноту у всякого человека с тонким вкусом, а длинейшее описание больницы годится только для гробовщика. Эта поэма, мрачная, дикая и омерзительная, при самом своем появлении в

свет была встречена презрением; я отношусь к ней сейчас так же, как некогда отнеслись в ее отечестве современники. Впрочем, я говорю, что думаю, и очень мало озабочен тем, чтобы другие думали так же, как я.

Кандид был опечален этими речами: он чтит Гомера, но немножко любил и Мильтона.

— Увы! — сказал он тихо Мартену. — Я очень боюсь, что к нашим германским поэтам этот человек питает величайшее пренебрежение.

— В этом еще нет большой беды, — сказал Мартен.

— О, какой необыкновенный человек! — шепотом повторял Кандид. — Какой великий гений этот Пококуранте! Ему все не нравится!

Обозрев таким образом все книги, они спустились в сад. Кандид принялся хвалить его красоты.

— Этот сад — воплощение дурного вкуса, — сказал хозяин, — столько здесь ненужных украшений. Но завтра я распорядюсь разбить новый сад по плану более благородному.

Когда любознательные посетители простились с вельможей, Кандид сказал Мартену:

— Согласитесь, что это счастливейший из людей: он взирает сверху вниз на все свои владения.

— Вы разве не видите, — сказал Мартен, — что ему все опротивело? Платон давным-давно сказал, что отнюдь не лучший тот желудок, который отказывается от всякой пищи.

— Но какое это, должно быть, удовольствие, — сказал Кандид, — все критиковать и находить недостатки там, где другие видят только красоту!

— Иначе сказать, — возразил Мартен, — удовольствие заключается в том, чтобы не испытывать никакого удовольствия?

— Ну, хорошо, — сказал Кандид, — значит, единственным счастливецом буду я, когда снова увижу Кунигунду.

— Надежда украшает нам жизнь, — сказал Мартен.

Между тем дни и недели бежали своим чередом, Камбо не появлялся, и Кандид, поглощенный своей скорбью, даже не обратил внимания на то, что Пакета и брат Жирофле не пришли поблагодарить его.

О ТОМ, КАК КАНДИД И МАРТЕН УЖИНАЛИ
С ШЕСТЬЮ ИНОСТРАНЦАМИ И КЕМ ОКАЗАЛИСЬ
ЭТИ ИНОСТРАНЦЫ

Однажды вечером, когда Кандид и Мартен собирались сесть за стол вместе с иностранцами, которые жили в той же гостинице, человек с лицом, темным, как сажа, подошел сзади к Кандиду и, взяв его за руку, сказал: — Будьте готовы отправиться с нами, не замешкайтесь.

Кандид оборачивается и видит Какамбо. Сильнее удивиться и обрадоваться он мог бы лишь при виде Кунигунды. От радости Кандид чуть не сошел с ума. Он обнимает своего дорогого друга.

— Кунигунда, конечно, тоже здесь? Где она? Веди меня к ней, чтобы я умер от радости возле нее.

— Кунигунды здесь нет, — сказал Какамбо, — она в Константинополе.

— О небо! В Константинополе! Но будь она даже в Китае, все равно я полечу к ней. Едем!

— Мы поедем после ужина, — возразил Какамбо. — Больше я ничего не могу вам сказать, я невольник, мой хозяин меня ждет; я должен прислуживать за столом; не говорите ни слова, ужинайте и будьте готовы.

Кандид, колеблясь между радостью и печалью, довольный тем, что снова видит своего верного слугу, удивленный, что видит его невольником, исполненный надежды вновь обрести свою возлюбленную, чувствуя, что сердце его трепещет, а разум мутится, сел за стол с Мартемом, который хладнокровно взирал на все, и с шестью иностранцами, которые приехали в Венецию на карнавал.

Какамбо, наливавший вино одному из этих иностранцев, наклонился к нему в конце трапезы и сказал:

— Ваше величество, вы можете отплыть в любую минуту, — корабль под парусами.

Сказав это, он вышел. Удивленные гости молча переглянулись; в это время другой слуга, приблизившись к своему хозяину, сказал ему:

— Государь, карета вашего величества ожидает в Падуе, а лодка готова.

Господин сделал знак, и слуга вышел. Гости снова переглянулись, всеобщее удивление удвоилось. Третий слуга подошел к третьему иностранцу и сказал ему:

— Государь, заверяю вас, вашему величеству не придется здесь долго ждать, я все приготовил.

И тотчас же исчез.

Кандид и Мартен уже не сомневались, что это карнавальный маскарад. Четвертый слуга сказал четвертому хозяину:

— Ваше величество, если угодно, вы можете ехать.

И вышел, как другие.

Пятый слуга сказал то же пятому господину. Но зато шестой слуга сказал совсем иное шестому господину, сидевшему подле Кандида. Он заявил:

— Ей-богу, государь, ни вашему величеству, ни мне не хотят более оказывать кредит. Нас обоих могут упрятать в тюрьму нынче же ночью. Пойду и постараюсь как-нибудь выкрутиться из этой истории. Прощайте.

Когда слуги ушли, шестеро иностранцев, Кандид и Мартен погрузились в глубокое молчание, прерванное наконец Кандидом.

— Господа,— сказал он,— что за странная шутка! Почему вы все короли? Что касается меня, то, признаюсь вам, ни я, ни Мартен этим похвалиться не можем.

Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно сказал по-итальянски:

— Это вовсе не шутка. Я — Ахмет III. Несколько лет я был султаном; я сверг с престола моего брата; мой племянник сверг меня; всех моих визирей зарезали; я кончаю свой век в старом серале. Мой племянник, султан Махмуд, позволяет мне иногда путешествовать для поправки здоровья; сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Молодой человек, сидевший возле Ахмета, сказал:

— Меня зовут Иван, я был императором российским; еще в колыбели меня лишили престола, а моего отца и мою мать заточили; я был воспитан в тюрьме; иногда меня отпускают путешествовать под присмотром стражи; сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Третий сказал:

— Я — Карл-Эдуард, английский король; мой отец уступил мне права на престол; я сражался, защищая их;

восьмистам моим приверженцам вырвали сердца и этими сердцами били их по щекам. Я сидел в тюрьме; теперь направляюсь в Рим — хочу навестить короля, моего отца, точно так же лишенного престола, как я и мой дед. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Четвертый сказал:

— Я король польский; превратности войны лишили меня наследственных владений; моего отца постигла та же участь; я безропотно покоряюсь провидению, как султан Ахмет, император Иван и король Карл-Эдуард, которым господь да ниспошлет долгую жизнь. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Пятый сказал:

— Я тоже польский король и терял свое королевство дважды, но провидение дало мне еще одно государство, где я делаю больше добра, чем все короли сарматов сделали когда-либо на берегах Вислы. Я тоже покоряюсь воле провидения; сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Слово было за шестым монархом.

— Господа,— сказал он,— я не столь знатен, как вы; но я был королем точно так же, как и прочие. Я Теодор, меня избрали королем Корсики, называли «ваше величество», а теперь в лучшем случае именуют «милостивый государь». У меня был свой монетный двор, а теперь нет ни гроша за душой, было два статс-секретаря, а теперь лишь один лакей. Сперва я восседал на троне, а потом долгое время валялся в лондонской тюрьме на соломе. Я очень боюсь, что то же постигнет меня и здесь, хотя, как и ваши величества, я приехал на венецианский карнавал.

Пять других королей выслушали эту речь с благородным состраданием. Каждый из них дал по двадцать цехинов королю Теодору на платье и белье; Кандид преподнес ему алмаз в две тысячи цехинов.

— Кто же он такой,— воскликнули пять королей,— этот человек, который может подарить — и не только может, но и дарит! — в сто раз больше, чем каждый из нас? Скажите, сударь, вы тоже король?

— Нет, господа, и не стремлюсь к этой чести.

Когда они кончали трапезу, в ту же гостиницу прибыли четверо светлейших принцев, которые тоже потеряли свои государства из-за превратностей войны и при-

ехали на венецианский карнавал. Но Кандид даже не обратил внимания на вновь прибывших. Он был занят только тем, как ему найти в Константинополе обожаемую Кунигунду.

Глава двадцать седьмая

ПУТЕШЕСТВИЕ КАНДИДА В КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Верный Какамбо упросил турка-судовладельца, который должен был отвезти султана Ахмета в Константинополь, принять на борт и Кандида с Мартеном. За это наши путешественники низко поклонились его злощастному величеству. Поспешая на корабль, Кандид говорил Мартену:

— Вот мы ужинали с шестью свергнутыми королями, и вдобавок одному из них я подал милостыню. Быть может, на свете немало властителей, еще более несчастных. А я потерял всего лишь сто баранов и сейчас лечу в объятья Кунигунды. Мой дорогой Мартен, я опять убеждаюсь, что Пангос прав, все к лучшему.

— От всей души желаю, чтобы вы не ошиблись,— сказал Мартен.

— Но то, что случилось с нами в Венеции,— сказал Кандид,— кажется просто неправдоподобным. Где это видано и где слыхано, чтобы шесть свергнутых с престола королей собрались вместе в кабачке?

— Это ничуть не более странно,— сказал Мартен,— чем бóльшая часть того, что с нами случилось. Короли часто лишаются престола, а что касается чести, которую они нам оказали, отужинав с нами,— это вообще мелочь, не заслуживающая внимания. Важно не то, с кем ешь, а то, что ешь.

Взойдя на корабль, Кандид немедленно бросился на шею своему старому слуге, своему другу Какамбо.

— Говори же,— тербил он его,— как поживает Кунигунда? По-прежнему ли она — чудо красоты? Все ли еще любит меня? Как ее здоровье? Ты, наверно, купил ей дворец в Константинополе?

— Мой дорогой господин,— сказал Какамбо,— Кунигунда моет площадки на берегу Пропонтиды для властительного князя, у которого площадок — раз-два и обчелся. Она невольница в доме одного бывшего правителя по

имени Рагоцци, которому султан дает по три экю в день пенсионна. Печальнее всего то, что Кунигунда утратила красоту и стала очень уродливая.

— Хороша она или дурна,— сказал Кандид,— я человек порядочный, и мой долг — любить ее по гроб жизни. Но как могла она дойти до столь жалкого положения, когда у нас в запасе пять-шесть миллионов, которые ты ей отвез?

— Посудите сами,— сказал Какамбо,— разве мне не пришлось уплатить два миллиона сеньору дону Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Су-са, губернатору Буэнос-Айреса, за разрешение увезти Кунигунду? А пират разве не обчистил нас до последнего гроша? Этот пират провез нас мимо мыса Матапан, через Милос, Икарию, Самос, Петру, Дарданеллы, Мраморное море, в Скутари. Кунигунда и старуха служат у князя, о котором я вам говорил, я — невольник султана, лишенного престола.

— Что за ужасное сцепление несчастий! — сказал Кандид.— Но все-таки у меня еще осталось несколько брильянтов. Я без труда освобожу Кунигунду. Как жаль, что она подурнела! — Потом, обратясь к Мартену, он спросил: — Как по вашему мнению, кого следует больше жалеть — императора Ахмета, императора Ивана, короля Эдуарда или меня?

— Не знаю,— сказал Мартен.— Чтобы это узнать, надо проникнуть в глубины сердца всех четверых.

— Ах,— сказал Кандид,— будь здесь Панглос, он знал бы и все разъяснил бы нам.

— Мне непонятно,— заметил Мартен,— на каких весах ваш Панглос стал бы взвешивать несчастья людей и какой мерой он оценивал бы их страдания. Но полагаю, что миллионы людей на земле в сто раз более достойны сожаления, чем король Карл-Эдуард, император Иван и султан Ахмет.

— Это вполне возможно,— сказал Кандид.

Через несколько дней они достигли пролива, ведущего в Черное море. Кандид начал с того, что за очень дорогую цену выкупил Какамбо; затем, не теряя времени, он сел на галеру со своими спутниками и поплыл к берегам Пропонтиды на поиски Кунигунды, какой бы уродливой она ни стала.

Среди гребцов галеры были два каторжника, которые гребли очень плохо; шкипер-левантинец время от времени хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид, движимый естественным состраданием, взглянул на них внимательнее, чем на других каторжников, а потом и подошел к ним. В их искаженных чертах он нашел некоторое сходство с чертами Панглоса и несчастного иезуита, барона, брата Кунигунды. Сходство это тронуло и опечалило его. Он посмотрел на них еще внимательнее.

— Послушай,— сказал он Какамбо,— если бы я не видел, как повесили учителя Панглоса, и не имел бы несчастья самолично убить барона, я подумал бы, что это они там гребут на галере.

Услышав слова Кандида, оба каторжника громко вскрикнули, замерли на скамье и уронили весла. Левантинец подбежал к ним и принялся стегать их с еще большей яростью.

— Не трогайте их, не трогайте! — воскликнул Кандид.— Я заплачу вам, сколько вы захотите.

— Как! Это Кандид? — произнес один из каторжников.

— Как! Это Кандид? — повторил другой.

— Не сон ли это? — сказал Кандид.— Наяву ли я на этой галере? Неужели передо мною барон, которого я убил, и учитель Панглос, которого при мне повесили?

— Это мы, это мы,— отвечали они.

— Значит, это и есть тот великий философ? — спросил Мартен.

— Послушайте, господин шкипер,— сказал Кандид,— какой вы хотите выкуп за господина Тундер-тен-Тронка, одного из первых баронов империи, и за господина Панглоса, величайшего метафизика Германии?

— Христианская собака,— отвечал левантинец,— так как эти две христианские собаки, эти каторжники — барон и метафизик, и, значит, большие люди в своей стране, ты должен дать мне за них пятьдесят тысяч цехинов.

— Вы их получите, господин шкипер: везите меня с быстротою молнии в Константинополь, и вам будет заплачено все сполна. Нет, сперва везите меня к Кунигунде.

Но левантинец уже направил галеру к городу и велел грести быстрее, чем летит птица.

Кандид то и дело обнимал барона и Панглоса.

— Как это я не убил вас, мой дорогой барон? А вы, мой дорогой Панглос, каким образом вы остались живы, после того как вас повесили? И почему вы оба на турецких галерах?

— Правда ли, что моя дорогая сестра находится в этой стране? — спросил барон.

— Да, — ответил Какамбо.

— Итак, я снова вижу моего дорогого Кандида! — воскликнул Панглос.

Кандид представил им Мартена и Какамбо. Они обнимались и говорили все сразу. Галера летела, и вот они уже в порту. Позвали еврея, и Кандид продал ему за пятьдесят тысяч цехинов брильянт стоимостью в сто тысяч: еврей поклялся Авраамом, что больше дать не может. Кандид тут же выкупил барона и Панглоса. Панглос бросился к ногам своего освободителя и омыл их слезами; барон поблагодарил его легким кивком и обещал возвратить эти деньги при первом же случае.

— Но возможно ли, однако, что моя сестра в Турции? — спросил он.

— Вполне возможно и даже более того, — ответил Какамбо, — поскольку она судомойка у трансильванского князя.

Тотчас позвали двух евреев, Кандид продал еще несколько брильянтов, и все отправились на другой галере освобождать Кунигунду.

Глава двадцать восьмая

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КАНДИДОМ, КУНИГУНДОЙ, ПАНГЛОСОМ, МАРТЕНОМ И ДРУГИМИ

— Еще раз, преподобный отец, — говорил Кандид барону, — прошу прощения за то, что проткнул вас шпагой.

— Не будем говорить об этом, — сказал барон. — Должен сознаться, я немного погорячился. Если вы желаете знать, по какой случайности я оказался на галерах, извольте, я вам все расскажу. После того, как мою рану вылечил брат аптекарь коллегии, я был атакован

и взят в плен испанским отрядом. Меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе сразу после того, как моя сестра уехала из этого города. Я потребовал, чтобы меня отравили в Рим к отцу генералу. Он назначил меня капелланом при французском посланнике в Константинополе. Не прошло и недели со дня моего вступления в должность, как однажды вечером я встретил весьма стройного ичоглана. Было очень жарко. Молодой человек вздумал искупаться, я решил последовать его примеру. Я не знал, что если христианина застают голым в обществе молодого мусульманина, его наказывают, как за тяжкое преступление. Кади повелел дать мне сто ударов палкой по пяткам и сослал меня на галеры. Нельзя себе представить более вопиющей несправедливости. Но хотел бы я знать, как моя сестра оказалась судомойкой трансильванского князя, укрывающегося у турок?

— А вы, мой дорогой Панглос,— спросил Кандид,— каким образом оказалась возможной эта наша встреча?

— Действительно, вы присутствовали при том, как меня повесили,— сказал Панглос.— Разумеется, меня собирались сжечь, но помните, когда настало время превратить мою персону в жаркое, хлынул дождь. Ливень был так силен, что не смогли раздуть огонь, и тогда, потеряв надежду сжечь, меня повесили. Хирург купил мое тело, принес к себе и начал меня резать. Сначала он сделал крестообразный надрез от пупка до ключицы. Я был повешен так скверно, что хуже не бывает. Палач святой инквизиции в сане иподьякона сжигал людей великолепно, надо отдать ему должное, но вешать он не умел. Веревка была мокрая, узловатая, плохо скользила, поэтому я еще дышал. Крестообразный надрез заставил меня так громко вскрикнуть, что мой хирург упал навзничь, решив, что он разрезал дьявола. Затем вскочил и бросился бежать, но на лестнице упал. На шум прибежала из соседней комнаты его жена. Она увидела меня, растянутого на столе, с моим крестообразным надрезом, испугалась еще больше, чем ее муж, тоже бросилась бежать и упала на него. Когда они немного пришли в себя, я услышал, как супруга сказала супругу:

— Дорогой мой, как это ты решился резать еретика! Ты разве не знаешь, что в этих людях всегда сидит дьявол. Пойду-ка я скорее за священником, пусть он изгонит беса.

Услышав это, я затрепетал и, собрав остаток сил, крикнул:

— Сжальтесь надо мной!

Наконец португальский костоправ расхрабрился и зашил рану; его жена сама ухаживала за мною; через две недели я встал на ноги. Костоправ нашел мне место, я поступил лакеем к мальтийскому рыцарю, который отправлялся в Венецию; но у моего господина не было средств, чтобы платить мне, и я перешел в услужение к венецианскому купцу; с ним-то я и приехал в Константинополь.

Однажды мне пришла в голову фантазия зайти в мечеть; там был только старый имам и молодая богомолка, очень хорошенькая, которая шептала молитвы. Шея у нее была совершенно открыта, между грудей красовался роскошный букет из тюльпанов, роз, анемон, лютиков, гиацинтов и медвежьих ушек; она уронила букет, я его поднял и водворил на место очень почтительно, но делал я это так старательно и медленно, что имам разгневался и, обнаружив, что я христианин, позвал стражу. Меня повели к кади, который приказал дать мне сто ударов тростью по пяткам и сослал меня на галеры. Я попал на ту же галеру и ту же скамью, что и барон. На этой галере было четверо молодых марсельцев, пять неаполитанских священников и два монаха с Корфу; они объяснили нам, что подобные приключения случаются ежедневно. Барон утверждал, что с ним поступили гораздо несправедливее, чем со мной. Я утверждал, что куда приличнее положить букет на женскую грудь, чем оказаться нагишом в обществе ичоглана. Мы спорили непрерывно и получали по двадцать ударов ремнем в день, пока сцепление событий в этой вселенной не привело нас на нашу галеру, и вот вы нас выкупили.

— Ну, хорошо, мой дорогой Панглос,— сказал ему Кандид,— когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали считать, что все в мире к лучшему?

— Я всегда был верен своему прежнему убеждению,— отвечал Панглос.— В конце концов, я ведь философ, и мне не пристало отречься от своих взглядов; Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония всего прекраснее в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя.

КАК КАНДИД НАШЕЛ КУНИГУНДУ И СТАРУХУ

Пока Кандид, барон, Панглос, Мартен и Какамбо рассказывали друг другу о своих приключениях, обсуждали происшествия случайные и неслучайные в этом мире, спорили о следствиях и причинах, о зле нравственном и зле физическом, о свободе и необходимости, об утешении, которое можно найти и на турецких галерах,— они приплыли к берегу Пропонтиды, к дому трансильванского князя. Первые, кого они увидели, были Кунигунда со старухой, развешивавшие на веревках мокрые кухонные полотенца.

Барон побледнел при этом зрелище. Нежно любящий Кандид, увидев, как почернела прекрасная Кунигунда, какие у нее воспаленные глаза, иссохшая шея, морщинистые щеки, красные, потрескавшиеся руки, в ужасе отступил на три шага, но потом, движимый учтивостью, снова приблизился к ней. Она обняла Кандида и своего брата, они обняли старуху. Кандид выкупил обеих.

По соседству находилась маленькая ферма. Старуха предложила Кандиду поселиться на ней, пока вся компания не подыщет себе лучшего приюта. Кунигунда не знала, что она подурнела,— никто ей этого не говорил; она напомнила Кандиду о его общании столь решительным тоном, что добряк не осмелился ей отказать. Он сообщил барону, что намерен жениться на его сестре.

— Я не потерплю,— сказал барон,— такой низоности с ее стороны и такой наглости с вашей. Этого позора я ни за что не допущу — ведь детей моей сестры нельзя будет записать в немецкие родословные книги. Нет, никогда моя сестра не выйдет замуж ни за кого, кроме как за имперского барона.

Кунигунда бросилась к его ногам и оросила их слезами, но он был неумолим.

— Сумасшедший барон,— сказал ему Кандид,— я избавил тебя от галер, заплатил за тебя выкуп, выкупил и твою сестру. Она мыла здесь посуду, она уродлива — я, по своей доброте, готов жениться на ней, а ты еще противишься. Я снова убил бы тебя, если бы поддался своему гневу.

— Ты можешь снова убить меня,— сказал барон,— но, пока я жив, ты не женишься на моей сестре.

Глава тридцатая
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охоты жениться на Кунигунде, но чрезвычайная наглость барона подстрекала его вступить с нею в брак, а Кунигунда торопила его так настойчиво, что он не мог ей отказать. Он посоветовался с Панглосом, Мартеном и верным Какамбо. Панглос написал прекрасное сочинение, в котором доказывал, что барон не имеет никаких прав на свою сестру и что, согласно всем законам империи, она может вступить в морганатический брак с Кандидом. Мартен склонялся к тому, чтобы бросить барона в море; Какамбо считал, что нужно возратить его левантинскому шкиперу на галеры, а потом, с первым же кораблем, отправить в Рим к отцу генералу. Совет признали вполне разумным; старуха его одобрила; сестре барона ничего не сказали. План был приведен в исполнение,—разумеется, за некоторую мзду, и все радовались тому, что провели иезуита и наказали спесивого немецкого барона.

Естественно было ожидать, что после стольких бедствий Кандид, женившись на своей возлюбленной и живя с философом Панглосом, философом Мартеном, благо-разумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много брильянтов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он столько раз был обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма; его жена, делаясь с каждым днем все более уродливой, стала сварливой и несносной; старуха одряхлаела, и характер у нее был еще хуже, чем у Кунигунды. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, изнемогал под бременем работ и проклинал судьбу. Панглос был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь немецком университете. Что касается Мартена, он был твердо убежден, что везде одинаково плохо, и терпеливо переносил тяготы жизни. Кандид, Мартен и Панглос спорили иногда о метафизике и нравственности. Они частенько видели проплывавшие мимо их фермы корабли, набитые пашами, эфенди и кадиями, которых ссылали на Лемнос, на Митилену, в Эрзерум; другие кади, другие паши, другие эфенди занимали места изгнанных и в свой черед

отправлялись в изгнание; видели они иногда и аккуратно набитые соломой человеческие головы,— их везли в подарок могучему султану. Эти зрелища рождали новые споры; а когда они не спорили, воцарялась такая невыносимая скука, что как-то раз старуха осмелилась сказать:

— Хотела бы я знать, что хуже: быть похищенной и сто раз изнасилованной неграми-пиратами, лишиться половины зада, пройти сквозь строй у болгар, быть высеченным и повешенным во время аутодафе, быть разрезанным, грести на галерах — словом, испытать те несчастья, через которые все мы прошли, или прозябать здесь, ничего не делая?

— Это большой вопрос,— сказал Кандид.

Речь старухи породила новые споры. Мартен доказывал, что человек рождается, дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался, но ничего и не утверждал. Панглос признался, что всю жизнь терпел страшные муки, но, однажды усвоив, будто все идет на диво хорошо, будет всегда держиваться этого взгляда, отвергая все прочие точки зрения.

Новые события окончательно утвердили Мартена в его отвратительных принципах, поколебали Кандида и смутили Панглоса. Однажды к ним на ферму явились Пакета и брат Жирофле в самом бедственном состоянии. Они очень быстро проели свои три тысячи пиастров, расстались, потом помирились, снова поссорились, попали в тюрьму, убежали оттуда, и, наконец, брат Жирофле сделался турком. Пакета продолжала заниматься своим ремеслом, но уже почти ничего им не заобатывала.

— Я ведь предвидел,— сказал Мартен Кандиду,— что они быстро промотают ваши дары и тогда станут еще несчастнее, чем были. Вы и Какамбо растранижили миллионы пиастров и не более счастливы, чем брат Жирофле и Пакета.

— Само небо привело вас сюда к нам, мое бедное дитя,— сказал Панглос Пакете.— Знаете ли вы, что стоили мне кончика носа, одного глаза и уха? Да и вы в каком сейчас виде! О, что это за мир, в котором мы живем!

Это происшествие дало им новую пищу для философствования.

По соседству с ними жил очень известный дервиш, который считался лучшим философом в Турции. Они пошли посоветоваться с ним. Панглос сказал так:

— Учитель, мы пришли спросить у вас, для чего создано столь странное животное, как человек?

— А тебе-то что до этого? — сказал дервиш. — Твое ли это дело?

— Но, преподобный отец, — сказал Кандид, — на земле ужасно много зла.

— Ну и что же? — сказал дервиш. — Какое имеет значение, дарит на земле зло или добро? Когда султан посылает корабль в Египет, разве он заботится о том, хорошо или худо корабельным крысам?

— Что же нам делать? — спросил Панглос.

— Молчать, — ответил дервиш.

— Я льстил себя надеждой, — сказал Панглос, — что смогу побеседовать с вами о следствиях и причинах, о лучшем из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии.

В ответ на эти слова дервиш захлопнул дверь у них перед носом.

Во время этой беседы распространилась весть, что в Константинополе удавили двух визирей и муфтия и посадили на кол несколько их друзей. Это событие наделало много шума на несколько часов. Панглос, Кандид и Мартен, возвращаясь к себе на ферму, увидели почтенного старика, который наслаждался прохладой у порога своей двери под тенью апельсинного дерева. Панглос, который был не только любитель рассуждать, но и человек любопытный, спросил у старца, как звали муфтия, которого удавили.

— Вот уж не знаю, — отвечал тот, — да и, признаться, никогда не знал имен никаких визирей и муфтиев. И о происшествии, о котором вы мне говорите, не имею понятия. Я полагаю, что вообще люди, которые вмешиваются в общественные дела, погибают иной раз самым жалким образом и что они этого заслуживают. Но я-то нисколько не интересуюсь тем, что делается в Константинополе; хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды из сада, который возделываю.

Сказав это, он предложил чужеземцам войти в его дом; две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов домашнего шербета, каймак, приправленный ли-

монной коркой, варенной в сахаре, апельсины, лимоны, ананасы, финики, фисташки, моккский кофе, ксторый не был смешан с плохим кофе из Батавии и с Американских островов. Потом дочери этого доброго мусульманина надушили Кандиду, Панглосу и Мартену бороды.

— Должно быть, у вас обширное и великолепное поместье? — спросил Кандид у турка.

— У меня всего только двадцать арпанов, — отвечал турок. — Я их возделываю сам с моими детьми; работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду.

Кандид, возвращаясь на ферму, глубокомысленно рассуждал по поводу речей этого турка. Он сказал Панглосу и Мартену:

— Судьба доброго старика, на мой взгляд, завиднее судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать.

— Высокий сан, — сказал Панглос, — связан с большими опасностями; об этом свидетельствуют все философы. Судите сами: Еглон, царь моавитский, был убит Аодом; Авессалом повис на своих собственных волосах и был пронзен тремя стрелами; царь Нават, сын Иеороваома, был убит Ваасою; царь Эла — Замврием; Охозия — Иеговой; Гофолия — Иодаем; цари Иоаким, Иоехония и Седекия попали в рабство. Знаете вы, как погибли Крез, Астиаг, Дарий, Дионисий Сиракузский, Пирр, Персей, Ганнибал, Югурта, Ариовист, Цезарь, Помпей, Нерон, Оттон, Вителлий, Домициан, Ричард II английский, Эдуард II, Генрих VI, Ричард III, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха французских, император Генрих IV? Знаете вы...

— Я знаю также, — сказал Кандид, — что надо возделывать наш сад.

— Вы правы, — сказал Панглос. — Когда человек был поселен в саду Эдема, это было *ut operaretur eum*, — дабы и он работал. Вот вам доказательство того, что человек родился не для покоя.

— Будем работать без рассуждений, — сказал Мартен, — это единственное средство сделать жизнь сносною.

Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением; каждый начал изощрять свои способности. Небольшой участок земли приносил много плодов. Кунигунда, правда, была очень некрасива, но зато превосходно пекла пироги; Пакета вышивала; старуха

заботилась о белье. Даже брат Жирофле пригодился: он стал очень недурным столяром, более того — честным человеком, и Панглос иногда говорил Кандиду:

— Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком в зад за любовь к Кунигунде, если бы не были взяты инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо, — не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни фисташек.

— Это вы хорошо сказали, — отвечал Кандид, — но надо возделывать наш сад.



История Доброго Брамина

В моих странствиях по свету мне довелось встретиться со стариком брамином, человеком чрезвычайно мудрым, очень остроумным и весьма ученым; вдобавок он был богат, а следовательно, особенно мудр, ибо, ни в чем не нуждаясь, мог никого не обманывать. Хозяйство его отлично вели три прекрасные женщины, всячески старавшиеся ему угождать; когда он не развлекался с ними, он погружался в размышления.

Неподалеку от его дома, весьма привлекательного, окруженного и украшенного прелестными садами, жила старуха индианка — набожная, глупая и бедная.

Однажды брамин сказал мне: «Я предпочел бы вовсе не появляться на свет». Я спросил у него — почему? Он ответил: «Я занимаюсь наукой сорок лет, и все эти сорок лет потрачены зря; я учу других, а сам в полном неведении; это так унижительно и противно, что жить мне невозможно. Я родился, я живу во времени, а не знаю, что такое время; я нахожусь, как говорят мудрецы, в некоей точке между двумя вечностями, а не имею о вечности никакого представления. Я состою из некоего вещества; я мыслю, но никогда не мог уразуметь, что порождает мысль; я не ведаю, является ли присущее мне понимание просто способностью, подобной способности ходить, переваривать пищу, и мыслю ли я головою так же, как беру что-либо руками. Не только механизм моей мысли мне неизвестен, но скрыт от меня и механизм моих движений; я не ведаю, зачем я существую. Между тем мне изо дня в день задают вопросы на этот счет; приходится отве-

чать; ничего толкового я сказать не могу; я говорю много, но, сказав все это, смущаюсь, и мне становится стыдно перед самим собою.

Еще хуже, когда меня спрашивают, действительно ли Вишну порожден Брамой или оба они предвечны. Бог мне свидетель, я ничего не знаю на этот счет, да это и чувствуется в моих ответах. «Ах, глубоководный отче,— говорят мне,— объясните нам, почему зло наводило землю». Я сам в таком же затруднении, как те, что задают мне этот вопрос: иной раз я говорю им, что все в мире прекрасно; но люди, разорившиеся и искалеченные во время войны, не верят этому, как и сам я не верю; я замыкаюсь в своем жилище, подавленный жаждой знания и собственным неведением. Я читаю наши древние писания, а они только сгущают тьму. Я обращаюсь к друзьям; они отвечают мне, что надо наслаждаться жизнью и пренебрегать людьми; другим кажется, будто они что-то знают,— эти блуждают в каких-то нелепых умозаключениях; все это усугубляет мучительное чувство, владеющее мною. Иной раз я готов впасть в отчаяние при мысли, что после стольких исканий я не знаю, ни откуда я появился, ни что я такое, ни куда я иду, ни что со мною станется».

Состояние этого человека повергло меня в истинную скорбь; невозможно было бы найти другого, столь же разумного и достойного. Я понял, что чем светлее его разум и чем чувствительнее его сердце, тем он несчастнее.

В тот день я поговорил с женщиной, которая жила по соседству с ним; я спросил у нее: огорчала ее когда-нибудь мысль, что ей неизвестно, как устроена ее душа? Она даже не поняла моего вопроса: за всю свою жизнь она ни на минуту не задумывалась над загадками, которые терзали брамина; она всем сердцем верила в перевоплощения Вишну и считала себя счастливейшей женщиной в мире — только бы ей иногда удавалось добыть из Ганга немного воды для омовения.

Я был поражен, что это жалкое создание чувствует себя таким счастливым, и, вернувшись к философу, сказал ему: «Неужели вам не совестно считать себя несчастным, когда у вашего порога живет механическое существо, ни над чем не задумывающееся и всем довольное?»

— Вы правы,— отвечал он,— я сотни раз говорил себе, что был бы счастлив, будь я так же глуп, как моя соседка, и все же мне не хотелось бы такого счастья.

Эти слова брамина произвели на меня больше впечатления, чем все остальное; я подумал о самом себе и понял, что и я не пожелал бы счастья, если бы ради него надо было стать дураком.

Я изложил это философам, и они со мною согласились. «Однако в таком образе мыслей какое-то чудовищное противоречие,— говорил я,— ведь о чем же, в сущности, идет речь? О том, чтобы быть счастливым. Не все ли равно, быть умным или дураком? Более того: все довольные своей судьбой вполне уверены в том, что довольны; те же, что рассуждают, не уверены в том, что рассуждают здраво. Таким образом ясно,— говорил я,— что предпочтительнее не обладать здравым смыслом по той простой причине, что здравый смысл способствует нашему несчастью».

Все согласились со мною, и тем не менее никто не хотел быть дураком, чтобы быть счастливым. Отсюда я заключил, что если мы дорожим счастьем, то еще больше дорожим разумом.

Но, если пораздумать, окажется, что предпочитать разум счастью значит быть безрассудным. Как же объяснить это противоречие? Так же, как все прочие. Тут есть о чем поговорить.



Белое и черное

В провинции Кандагар все знают историю молодого Рустана. Он был единственным сыном местного мирзы, а мирза — это то же самое, что маркиз у нас или барон у немцев. Отец Рустана честно нажил свое состояние. Молодому Рустану была предназначена в жены дочь такого же мирзы. Обе семьи страстно желали этого брака. Рустан должен был утешить на старости лет родителей, составить счастье своей жены, а также и свое собственное.

Но, на свою беду, он увидел принцессу Кашмира на ярмарке в Кабуле: эта ярмарка самая знаменитая на свете, куда более многолюдная, чем ярмарки в Бассоре или Астрахани; а приехал туда старый принц Кашмира вместе со своей дочерью вот почему.

У него пропали два самых ценных сокровища: алмаз, величиной с куриное яйцо, на котором индийские мастера выгравировали портрет его дочери (тогда они еще владели этим искусством, а теперь же вовсе его утратили), и дротик, который поражал любую цель, стоило владельцу лишь того пожелать, что не вызывает удивления у нас, но было необычным в Кашмире.

Эти сокровища похитил у принца собственный его факир и отдал их принцессе.

— Берегите как зеницу ока две эти вещи,— сказал он ей,— от них зависит ваша судьба.

После чего он исчез, и никто его больше не видел. Тогда-то принц Кашмира в отчаянии решил отправиться на ярмарку в Кабул — вдруг у кого-нибудь из

купцов, съехавшихся сюда со всех концов земли, окажется его алмаз или дротик. А с дочерью он никогда не расставался. Принцесса взяла алмаз с собой, зашив его в пояс, но, не найдя столь надежного тайника для дротика, она оставила его в Кашмире, надежно спрятав в большой китайский сундук.

В Кабуле они встретились с Рустаном и полюбили друг друга со всей пылкостью юности и нежностью жителей их страны. Принцесса в залог своей любви дала Рустану алмаз, а Рустан на прощанье обещал тайно приехать к ней в Кашмир.

У молодого мирзы было два любимца, которые выполняли обязанности секретарей, конюших, дворецких и камердинеров. Одного звали Топаз, он был красив, хорошо сложен, кожа его была белей, чем у черкешенки, вежлив и услужлив, как армянин, мудр, как ученик Зороастра. Второй был красавец негр, еще более предупредительный и находчивый, чем Топаз, не смущавшийся никакими трудностями, и звали его Эбен. Рустан поведал им о своем намерении посетить Кашмир. Топаз постарался отговорить хозяина с осторожным усердием слуги, не желающего попасть в немилость, он напомнил Рустану, чем он рискует. Неужто он повергнет обе семьи в отчаяние? Неужто вонзится нож в сердце своих родителей? Рустан заколебался, но Эбен укрепил его в первоначальном решении и развеял все его сомнения.

Для столь долгого путешествия у молодого мирзы не было денег. Мудрый Топаз не сумел их добыть, Эбену это удалось. Он ловко выкрал алмаз у своего хозяина, заменил его поддельным, но похожим на него как две капли воды, а настоящий отдал под залог одному армянину за несколько тысяч рупий.

Получив деньги, маркиз мог отправиться в путь. Его пожитки погрузили на слона, все сели на лошадей. Топаз обратился к своему хозяину:

— Я имел смелость предостеречь вас от этой затеи, но, коль скоро я вас предостерег, мне остается только повиноваться, я в вашем полном распоряжении, моя любовь к вам беспредельна, я последую за вами хоть на край света, но по дороге обратимся за советом к оракулу, который находится всего в двух парасангах отсюда.

Рустан согласился. Оракул ответил!

— Ежели ты поедешь на восток, ты приедешь на запад.

Рустан не понял, что это должно означать. Топаз счел, что в таком ответе нет ничего хорошего. Эбен же, всегда готовый услужить, уверил Рустана, что ответ весьма благоприятный.

В Кабуле был еще один оракул, они обратились и к нему. Этот оракул ответил им следующими словами:

— Владая, ты владеть не будешь, победив, ты не победишь, ты Рустан, но перестанешь быть Рустаном.

Это предсказание было еще более непонятным, чем первое.

— Берегитесь,— говорил Топаз.

— Не бойтесь ничего,— говорил Эбен, и, как можно догадаться, этот советчик, поощрявший страсть и надежды своего господина, всегда оказывался прав.

Выехав из Кабула, караван вступает в бескрайний лес, они останавливаются перекусить и пускают лошадей пастись. Они собираются разгрузить слона, на которого навьючена вся снедь и посуда, как вдруг замечают, что в их маленьком караване не хватает Топаза и Эбена. Их зовут, их имена оглашают лес, слуги ищут их повсюду, надрываются в крике, но возвращаются ни с чем — никто не откликнулся на их зов.

— Мы видели только коршуна, он вступил в схватку с орлом и вырвал у него все перья,— говорят они Рустану.

Этот рассказ возбуждает любопытство Рустана, он идет к месту боя, но нет там ни коршуна, ни орла, зато он находит своего слона, так и не разгруженного, на которого набросился огромный носорог. Носорог пытается пронзить слона своим рогом, а тот отбивается хоботом. При появлении Рустана носорог бросает свою жертву, слуги приводят слона обратно, но тем временем исчезают лошади.

— Странные дела творятся в лесу, когда путешествуешь! — восклицает Рустан.

Слуги пришли в уныние, а их господин был в полном отчаянии, ведь он потерял сразу всех лошадей, милого сердцу негра и мудрого Топаза, которого тоже любил от души, хотя тот ему и смел перечить.

Утешая себя надеждой вскоре пасть к ногам прекрасной принцессы Кашмира, Рустан продолжал свой путь,

как вдруг навстречу ему попадается большой полосатый осел, которого изо всех сил колотит палкой здоровенный и страшный на вид детина. Нет более редкой, более красивой и более ходкой породы, чем эти полосатые ослы. На яростные удары осел отвечал таким могучим ляганьем, что вполне мог свалить дуб. Молодой мирза, как и следовало ожидать, встал на защиту осла, ибо тот был поистине прелестным созданием. Детина убежал, крикнув ослу:

— Ты мне еще заплатишься за это.

Осел на своем языке поблагодарил спасителя: подошел к Рустану, позволил себя приласкать и приласкался сам. Утолив голод, Рустан садится на осла и вместе со своими слугами, которые следуют за ним, кто на слоне, кто пешком, направляется к Кашмиру.

Но, вместо того чтобы ехать по дороге в Кашмир, осел сразу же сворачивает к Кабулу. Рустан посылает осла в другую сторону, сжимает его бока, вонзает шпоры, отпускает уздечку, натягивает ее, стегает упряма и справа и слева — все напрасно, осел бежит в Кабул.

Рустан выбивается из сил, обливается потом, впадает в отчаяние и тут встречает торговца верблюдами, который говорит ему:

— Господин, ваш осел слишком хитер, он везет вас совсем не туда, куда вы желаете, уступите его мне, а взамен я дам вам на выбор четырех моих верблюдов.

Рустан благодарит providение, ниспославшее ему такую выгодную сделку.

— Топаз был неправ,— говорит он,— предсказывая, что мое путешествие будет неудачным.

Рустан садится на самого красивого верблюда, остальные три следуют за ним, догоняет свой караван, воображая себя на пути к счастью.

Не успел он проехать и четырех парасангов, как перед ним возник бурливый поток, широкий и глубокий, ниспадавший со скал, белых от пены. Поток обрывался в такую пропасть, что кружилась голова и леденела кровь. Нет надежды ни переправиться через него, ни обойти стороной.

— Сдается мне, что Топаз был прав, осуждая мое путешествие,— сказал Рустан,— и я зря пустился в путь; будь он здесь, он мог бы меня предостеречь. А будь со

мною Эбен, он бы меня утешил и нашел бы какой-нибудь выход, но у меня отняли все.

Уныние слуг усугубляло его отчаяние, ночь была темная, и они провели ее в горестных сетованиях. Наконец влюбленный путешественник забылся сном, сраженный усталостью и горем. Он просыпается с восходом солнца и видит прекрасный мраморный мост, перекинутый над потоком от одного берега до другого.

Сколько тут было удивленных восклицаний, радостных криков:

— Возможно ли такое? Не сон ли это? Ну и чудо! Ну и волшебство! Решимся ли мы перейти на другую сторону?

Люди то падают на колени, то вскакивают на ноги, бегут к мосту, целуют землю, обращают взоры к небесам, простирают вверх руки, дрожа, ступают на мост, делают несколько шагов, возвращаются, приходят в экстаз, а Рустан говорит:

— На сей раз небеса благосклонны ко мне. Топаз сам не знал, что говорил, оракулы предсказали мне успех. Эбен был прав, но почему его нет с нами?

Едва только караван переправился на другой берег, как мост со страшным грохотом рухнул в воду.

— Тем лучше, тем лучше,— воскликнул Рустан.— Хвала богу! Благословение небесам! Бог не возжелал, чтобы я вернулся обратно, туда, где мне суждено остаться обыкновенным дворянином, он возжелал, чтобы я женился на той, кого люблю. Я стану принцем Кашмира, и таким образом, *владея* своей возлюбленной, я не буду *владеть* своим маленьким поместьем в Кандагаре. *Я буду Рустаном и не буду им*, коль стану принцем: стало быть, большая часть предсказания сбывается в мою пользу, остальное сбудется также; как я счастлив! Но почему со мной нет Эбена? Я жалею о нем в тысячу раз больше, чем о Топазе.

В превосходнейшем расположении духа он проехал еще несколько парасангов, а к вечеру неприступные цепи гор, круче, нежели стены крепости, и выше, чем Вавилонская башня, будь она даже достроена, преградили дорогу путешественникам, которых вновь обуял ужас.

Все закричали:

— Бог обрекает нас на погибель! Он разрушил мост, чтобы отнять у нас надежду на возвращение; он возвел

горы, чтобы лишить нас возможности двигаться вперед. О Рустан! О несчастный маркиз! Никогда мы не увидим Кашмира, никогда мы не вернемся в Кандагар.

Безудержная радость и пьянящие надежды, которыми недавно была полна душа Рустана, уступили место жгучей печали и тяжкому унынию. Теперь он уже не пытался толковать прорицания оракулов в свою пользу.

— О небо! О боги моих предков! Зачем я лишился моего друга Топаз!

Так восклицал он, испуская глубокие вздохи и проливая слезы, окруженный своими несчастными слугами, как вдруг основание горы расступается и длинная сводчатая галерея, освещенная тысячью светильников, предстает перед потрясенными путешественниками; Рустан вскрикивает, люди его падают на колени, кто-то от изумления валится навзничь, все кричат:

— Чудо, чудо! Рустан — любимец Вишну, возлюбленный Браммы, он станет властелином мира.

Рустан и сам уже верит в это, он в восторге, вне себя от счастья.

— Ах, Эбен, дорогой Эбен, где же ты? Посмотрел бы ты на эти чудеса! Где я тебя потерял? Прекрасная принцесса Кашмира, когда же я вновь буду любоваться вашей красотой?

Вместе со своими слугами, слоном и верблюдами он вступает под свод горы, и вскоре перед ними открывается усыпанный цветами луг с протекающим по нему ручьем, за лугом простираются тенистые аллеи, ведущие к реке, вдоль которой в окружении прелестных садиков расположены загородные дома. Отовсюду доносится музыка и пение, Рустан видит танцующих людей, он спешит перейти по мосту через реку и спрашивает у первого же встречного, что это за прекрасная страна.

Тот, к кому он обратился, ответил:

— Вы в провинции Кашмир, вы видите жителей в радости и веселье, мы празднуем бракосочетание нашей прекрасной принцессы, она выходит замуж за синьора Барбабу, которому отец обещал ее руку; да дарует им бог вечное счастье!

Услышав эти речи, Рустан упал без чувств, и кашмирец, решив, что он страдает падучей, перенес его к себе домой, где он долго лежал без памяти. Послали за двумя самыми искусными лекарями провинции, они пощупа-

ли пульс у больного, который, немного оправившись, стал рыдать, закатывать глаза и выкрикивать время от времени:

— Топаз, Топаз, как ты был прав!

Один из лекарей сказал кашмирцу:

— Судя по выговору, этот молодой человек из Кандагара, ему вреден воздух нашей страны, его надо отправить обратно; по глазам видно, что он лишился рас-судка, доверьте его моим заботам, я отвезу его на родину и вылечу.

Второй же лекарь утверждал, что Рустан заболел от горя и его нужно отправить на свадьбу принцессы, пусть он там потанцует. Пока они совещались, к больному вернулись силы, обоих лекарей отослали, и Рустан остался наедине с хозяином дома.

— Господин,— сказал он ему,— прошу простить меня за то, что я потерял сознание в вашем присутствии, я понимаю, сколь это было невежливо с моей стороны; умоляю вас принять моего слона в благодарность за те услуги, что вы мне оказали.— Затем он поведал ему все свои приключения, умолчав лишь о цели своего путешествия.— Именем Вишну и Браммы заклинаю вас,— сказал он,— откройте мне, кто же этот счастливый Барбабу, который женится на принцессе Кашмира, почему принц выбрал его себе в зятя и почему принцесса дала согласие стать его супругой.

— Господин,— отвечивал кашмирец,— принцесса совсем не желает выходить замуж за Барбабу, напротив, она льет горячие слезы, и, пока вся провинция торжественно празднует бракосочетание, она заперлась в дворцовой башне и даже слышать не хочет ни о каких увеселениях, а ведь они устроены в ее честь.

При этих словах Рустан почувствовал, что вновь возродился к жизни, и на лице его заиграл поблекший было от всех пережитых несчастий румянец.

— Тогда ответьте мне, почему же принц Кашмира непременно хочет отдать свою дочь какому-то Барбабу, который ей не мил?

— Дело вот в чем,— ответил кашмирец.— Известно ли вам, что у нашего высочайшего принца пропали огромный алмаз и волшебный дротик, которые были ему так дороги?

— Ах, мне это прекрасно известно,— вздохнул Рустан.

— Так знайте же,— продолжал хозяин,— что, не имея известий о своих пропавших сокровищах и объехав весь свет в поисках их, наш принц пообещал отдать свою дочь тому, кто доставит ему хотя бы одно из них. И вот явился Барбабу с алмазом, и завтра он женится на принцессе.

Рустан побледнел, пробормотал несколько слов благодарности, попрощался с хозяином дома и понесся на своем дромадере в столицу, где должна была состояться праздничная церемония. Он подъезжает к замку, говорит, что ему необходимо сообщить принцу важные сведения, он просит аудиенции, ему отвечают, что принц занят приготовлениями к свадьбе.

— Именно поэтому я и должен с ним поговорить,— не отступает Рустан. Он так настойчив, что его пропускают.

— Ваше высочество,— говорит он ему,— да увенчает бог ваши дни славой и богатством! Ваш зять мошенник.

— Как так мошенник? Да как вы смеете? Ведь вы говорите о зяте герцога Кашмира!

— И все же он мошенник,— повторил Рустан,— и в доказательство — вот алмаз, который я вручаю вашему высочеству.

Потрясенный герцог сравнивает алмазы, а поскольку он в них ничего не смыслит, то и не может определить, какой из них настоящий.

— Алмаза два,— говорит он,— а дочь у меня только одна, ну и в историю я попал!

Он посылает за Барбабу и спрашивает, не обманщик ли он. Барбабу клянется, что он купил этот алмаз у одного армянина, Рустан же не говорит, откуда у него алмаз, но предлагает выход из затруднительного положения: пусть его высочество сообразовалит разрешить ему сейчас же сразиться с соперником.

— Ваш зять должен не только вернуть вам алмаз, но и доказать свою храбрость, и будет справедливо, если на принцессе женится тот, кто убьет соперника,— говорит Рустан.

— Вот и хорошо,— обрадовался принц,— и к тому же двор насладится прекрасным зрелищем, скорей начи-

найте бой, победитель, как принято в Кашмире, получит вооружение побежденного и женится на моей дочери.

Оба жениха тут же спускаются во двор. На лестнице им встречаются сорока и ворон. Ворон кричал: «Деритесь, деритесь!», а сорока: «Не деритесь!». Это рассмешило принца, а соперники прошли мимо, не обратив внимания; они начинают бой, и придворные окружают их тесным кольцом. Принцесса по-прежнему не выходит из башни, не желая присутствовать на поединке, — так ей отвратителен Барбабу; ей даже в голову не приходит, что ее возлюбленный в Кашмире. Бой закончился наилучшим образом, Барбабу сражен наповал, чему все рады, поскольку он был урод, а Рустан красавец, ведь именно так публика выбирает своих фаворитов.

Победитель надевает кольчугу, перевязь и шлем побежденного и, сопровождаемый всем двором, под звуки фанфар отправляется под окна своей возлюбленной. Все кричат:

— Прекрасная принцесса, взгляните на вашего красавца супруга, который убил своего гадкого соперника.

Ее служанки повторяли эти слова. На свою беду, принцесса выглядывает в окно и, увидев доспехи ненавистного жениха, в отчаянии бросается к китайскому сундуку, выхватывает роковой дротик, который в тот же миг, найдя просвет в кольчуге, пронзает тело Рустана; Рустан испускает ужасный крик, и принцессе кажется, что она слышит голос своего несчастного возлюбленного.

Она сбегает вниз, растрепанная, со смертельным ужасом в глазах и остановившимся сердцем. Рустан, весь окровавленный, лежит на руках ее отца. Она узнает его: о, страшный миг! о, это зрелище! о, эта встреча! Сколько в ней боли, нежности и ужаса. Она бросается к нему, лобзает его, восклицает:

— Первый и последний поцелуй тебе дарит твоя возлюбленная и убийца.

Она выдергивает клинок из раны, вонзает его в свое сердце и умирает на груди обожаемого возлюбленного. Отец, потерявший голову от ужаса, сам готовый покончить с собой, пытается вернуть ее к жизни, но тщетно — она мертва. Он проклинает роковой дротик, разламывает его пополам, швыряет прочь оба злополучных алмаза и, пока вместо свадьбы готовятся похороны его дочери, ве-

лит перенести во дворец истекающего кровью Рустана, в котором еще теплится жизнь.

Его кладут на кровать. Первое, что он видит,— это Топаз и Эбен, стоящие по обе стороны от его смертного одра. Удивление его столь велико, что к нему возвращаются силы.

— Ах, жестокие,— восклицает он,— почему вы меня покинули! Останьтесь вы с бедным Рустаном, и, может, принцесса Кашмира была бы сейчас жива!

— Я с вами не расставался ни на минуту,— говорит Топаз.

— Я все время был рядом с вами,— говорит Эбен.

— Ах, зачем вы это говорите? Можно ли надругаться над умирающим? — отвечает Рустан еле слышно.

— Я говорю сущую правду,— продолжает Топаз,— вы знали, что я никогда не одобрял этого влосчастного путешествия, ужасные последствия которого я предвидел. Это я был орлом, который бился с коршуном и потерял при этом перья, я был слоном, который унес кладь, чтобы вынудить вас вернуться на родину, я был полосатым ослом, который против вашей воли вез вас назад, к отцу, это я увел лошадей, я создал поток, который преградил вам путь, я возвел гору, которая закрыла перед вами дорогу, ведущую к гибели, я был лекарем, который прописал вам воздух родины, я был сорокой, которая кричала, чтобы вы не дрались.

— А я,— сказал Эбен,— был тем коршуном, который ошипал орла, носорогом, который напал на слона, детской, который колотил полосатого осла, торговцем, который дал вам верблюдов, дабы вы поспешили к гибели, я построил мост, по которому вы переправились через поток, я прорыл туннель, через который вы прошли, я был врачом, который старался приободрить вас, вороном, который призывал вас драться.

— Увы! Вспомни предсказания оракулов,— сказал Топаз: — *Ежели ты поедешь на восток, ты приедешь на запад.*

— Верно,— сказал Эбен,— здесь мертвецов хоронят лицом на запад: предсказание было совершенно ясным, почему ты не понял его? Ты владел сокровищем, но и не владел, ибо твой алмаз был фальшивым, и ты этого не знал. Ты победитель, и вот ты умираешь. Ты Рустан, и ты перестаешь им быть: все исполнилось.

Пока Эбен так говорил, за плечами Топаза выросли четыре белых крыла, а за его плечами четыре черных.

— Что я вижу? — вскричал Рустан.

Топаз и Эбен ответили хором:

— Ты видишь двух своих гениев.

— Эх, господа, — сказал им несчастный Рустан, — зачем вы вмешивались не в свое дело? Да и к чему два гения одному человеку?

— Таков закон, — ответил Топаз, — каждый человек имеет по два гения, первым сказал об этом Платон, другие это подтвердили, теперь ты видишь сам, что это совершенно справедливо, я, говорящий сейчас с тобой, я твой добрый гений, и моей обязанностью было заботиться о тебе до последнего твоего вздоха, что я и выполнял.

— Но, — возразил умирающий, — если ты был обязан мне служить, значит, я по природе превосхожу тебя, и потом, как ты смеешь говорить, что ты мой добрый гений, раз ты не помешал мне совершить все то, что я совершил, а теперь позволяешь мне и моей возлюбленной умереть жалкой смертью?

— Увы! Такова твоя судьба, — сказал Топаз.

— Если все зависит от судьбы, — возразил умирающий, — для чего же тогда нужен добрый гений? А раз у тебя, Эбен, крылья черные, стало быть, ты мой злой гений?

— Именно так, — ответил Эбен.

— Так, значит, ты был злым гением и у моей принцессы?

— Нет, у нее имелся свой собственный, а я просто неплохо ему помог.

— Ах, проклятый Эбен, но раз ты такой злой, то как ты можешь вместе с Топазом служить одному и тому же хозяину? Вы должны происходить от двух разных начал, одно из которых — добро по своей природе, а другое — зло.

— Тут нет такой зависимости, — отозвался Эбен, — все гораздо сложнее.

— Не может быть, чтобы милосердное существо создало столь ужасного гения, — вновь заговорил умирающий.

— Возможно или невозможно, это так, — ответил Эбен.

— Ах, мой бедный друг,— сказал Топаз,— разве ты не видишь, что этот хитрец и мошенник еще пытается спорить с тобой, чтобы нарочно взволновать тебя и приблизить твой смертный час?

— Оставь меня,— промолвил опечаленный Рустан,— чем ты лучше его? Он хотя бы признается, что желал мне зла, а ты притязал меня защищать, а на самом деле ничем мне не помог.

— Мне очень жаль,— ответил добрый гений.

— Мне тоже,— сказал умирающий.— Во всем этом есть что-то такое, чего я никак не могу понять.

— И я тоже,— вздохнул несчастный добрый гений.

— Наверное, скоро все объяснится,— сказал Рустан.

— Посмотрим,— сказал Топаз.

Тут все исчезло. Рустан оказался в доме своего отца, из которого не выходил, в своей собственной постели, он спал всего час.

Он внезапно просыпается, весь в поту, растерянный, ощупывает себя, зовет, кричит, звонит. Топаз, его лакей, в ночном колпаке, зевая, является на зов.

— Я умер или я жив? — спрашивает Рустан.— Жива ли прекрасная принцесса Кашмира?..

— Господина мучают кошмары? — спокойно спрашивает Топаз.

— Ах,— кричит Рустан,— что же случилось с этим негодяем Эбеном и его черными крылами? Это по его вине я умираю такой жестокой смертью.

— Господин, он храпит там наверху, я могу его позвать, если вам угодно.

— Негодяй, уже полгода он терзает меня, это он привез меня на злосчастную ярмарку в Кабул, это он подменил алмаз, который мне подарила принцесса, он один виноват в роковом путешествии, в смерти принцессы и в том, что, пронзенный дротиком, я умираю в самом расцвете сил.

— Успокойтесь,— ответил Топаз,— никогда вы не были в Кабуле, никакой принцессы Кашмира не существует на свете, у ее отца только двое сыновей, которые сейчас учатся в коллеже. У вас никогда не было алмаза; принцесса не могла умереть, коль она не рождалась, а вы в полном здравии.

— Как, разве не ты был со мной, когда я умирал на постели принца Кашмира? Разве не ты признался мне,

что, стараясь уберечь меня от стольких бед, ты превращался в орла, слона, полосатого осла, врача и со-року?

— Господин, вам все это приснилось. Мы не властны над нашими мыслями ни во сне, ни наяву. Быть может, господь бог послал вам эту вереницу видений, чтобы через них внушить наставление к вашей же пользе.

— Ты смеешься надо мной! — вскричал Рустан. — Как долго я спал?

— Господин, вы спали всего один час.

— Так как же ты хочешь, проклятый резонер, чтобы я за один час успел побывать на ярмарке в Кабуле шесть месяцев тому назад, вернуться оттуда, совершить путешествие в Кашмир и умереть вместе с Барбабу и принцессой?

— Господин, в этом нет ничего невероятного и необычного, на самом деле вы могли бы совершить кругосветное путешествие и пережить гораздо больше приключений и за более короткий срок. Разве вы не можете прочесть за час краткую историю персов, написанную Зороастром, хотя она охватывает восемь тысяч лет? Эти события одно за другим проходят перед вашими глазами в течение одного часа, согласитесь же, что для Браммы совершенно все равно, сжать ли их в один час или растянуть на восемь тысяч лет. Представьте себе, что время — это вращающееся колесо, диаметр которого бесконечен. В этом огромном колесе расположены одно в другом бесчисленное множество более мелких колес, центральное колесо невидимо, но оно делает бесконечное множество оборотов за то время, пока огромное колесо проходит всего один. Отсюда ясно, что все события, от начала мира и до конца его, могут произойти, сохранив ту же последовательность, за гораздо меньший срок, чем соты-сячная доля секунды; теперь вы можете сказать, что так оно и есть.

— Я тут ничего не понимаю, — сказал Рустан.

— У меня есть попугай, который легко вам все объяснит, — предложил Топаз. — Он родился незадолго до потопа, побывал в ковчеге, многое повидал, однако ему всего полтора года. Он расскажет вам свою историю, она очень и очень занимательна.

— Иди скорее за попугаем, — сказал Рустан, — он меня позабавит, пока я снова не засну.

— Он у моей сестры, монахини,— ответил Топаз.— Я сейчас же отправлюсь за ним, вы останетесь довольны, у него превосходная память, он рассказывает просто, без прикрас, не стараясь при каждом удобном случае щегольнуть умом.

— Тем лучше,— сказал Рустан.— Я обожаю сказки!

Ему принесли попугая, и тот начал свой рассказ так...
Н. В. Мадемуазель Катрин Ваде так и не нашла историю попугая в бумагах своего покойного кузена Антуана Ваде, автора этой сказки. Это весьма досадно, если вспомнишь, каких времен попугаю довелось быть свидетелем.



Жанно и Колен

Многие достойные доверия люди видели Жанно и Колена в школе в овернском городе Иссуаре, славящемся на весь мир своим училищем и котельными мастерскими. Жанно был сыном известного торговца мулами, а Колен был обязан появлением на свет честному земледельцу из окрестностей, который обрабатывал свой участок с помощью четырех мулов и к концу года после уплаты подати, налогов, недоимок, подушных, пошлин и прочих поборов оказывался не так уж богат.

Жанно и Колен для овернцев были очень милovidны; они горячо любили друг друга, делились своими маленькими тайнами, доверяли один другому, о чем всегда приятно бывает вспомнить впоследствии, когда встречаешься, уже расставшись со школой.

Время их учения подходило к концу, когда к Жанно явился портной с трехцветным бархатным кафтаном и лионским камзолом отменнейшего вкуса; к этому было приложено письмо на имя господина де Ля Жаннотьера. Колен был обворожен нарядом, но зависти не почувствовал; зато Жанно возомнил о себе, и Колен был этим огорчен. С того дня Жанно перестал учиться, все красовался перед зеркалом и стал презирать весь свет. Немного погодя в почтовой карете прибыл лакей со вторым посланием к маркизу де Ля Жаннотьеру: в нем содержалось распоряжение маркиза-отца привезти маркиза-младшего в Париж. Жанно сел в коляску и, по-барски покровительственно улыбаясь, протянул Колену руку.

Колен почувствовал собственное ничтожество и прослезился. Жанно укатил в сиянии своей славы.

Любознательным читателям надо пояснить, что господин Жанно-отец в довольно короткий срок нажил в делах огромное состояние. Вы спросите, как наживаются большие деньги? Тут все дело в счастье. Господин Жанно отличался приятной внешностью, жена его тоже, причем в ней еще сохранилась некоторая свежесть. Они отправились в Париж из-за разорительного судебного процесса, а тут судьба, по прихоти своей возвышающая или принижающая людей, свела их с супругою некоего устроителя армейских госпиталей, человека великих способностей, имевшего все основания хвалиться тем, что за год уморил больше солдат, чем их уничтожили пушки за десять лет. Жанно приглянулся даме, жена Жанно приглянулась ее супругу. Жанно вскоре вошел пайщиком в дело, вошел и в другие предприятия. Когда угодишь в стремнину, остается отдать себя во власть течения; тут без труда соберешь огромное состояние. Бедняки, наблюдающие с берега, как вы плывете на всех парусах, изумлены; им непонятно, каким образом вам удалось столь преуспеть; их снедает зависть, и они сочиняют на вас пасквили, которых вы не читаете. Именно так и случилось с Жанно-отцом, который вскоре превратился в господина де Ля Жаннотьера, а полгода спустя купил маркизат и затребовал из школы сына, маркиза-младшего, чтобы ввести его в парижский свет.

По-прежнему сердечный Колен написал своему бывшему товарищу письмо, *в первых строках* коего поздравил его. Маленький маркиз ему не ответил, и Колен чуть не заболел от огорчения.

Прежде всего родители наняли для юного маркиза воспитателя; воспитатель, мужчина весьма представительной внешности и совершенный невежда, не мог ничему научить своего подопечного. Отец хотел, чтобы сын изучил латынь, мать этого не хотела. Рассудить их они просили некоего сочинителя, прославившегося к тому времени своими приятными произведениями. Пригласили его к обеду. Хозяин дома начал с того, что обратился к гостю со словами:

— Сударь, поскольку вы знаете латынь и бываете при дворе...

— Что вы, сударь, какая латынь! Да я ни звука не

знаю по-латыни,— отвечал остроумец.— Как известно, на родном языке говоришь гораздо лучше, если остаешься верен ему и не обременяешь себя знанием иностранного. Взгляните на наших дам, у них ум гораздо приятнее, чем у мужчин, их письма во сто раз изящнее, и этим превосходством, сравнительно с нами, они обязаны именно тому, что не знают латыни.

— Вот видите? Говорила же я! — подхватила хозяйка.— Я хочу, чтобы мой сын стал человеком остроумным, чтобы он преуспевал в свете. Теперь вам ясно, что, знай он латынь, он совсем пропал бы. Скажите на милость, разве оперы и комедии представляют на латинском языке? Разве в суде выступают на латинском языке? Разве на латинском языке объясняются в любви?

Хозяин, обезоруженный этими доводами, признал свою несостоятельность, и было решено, что молодому маркизу не стоит тратить время на Цицерона, Горация и Вергилия. Но что же он станет изучать? Ведь надо же ему что-то знать. Не познакомить ли его чуточку с географией?

— А на что она ему? — возразил воспитатель.— Когда маркиз пожелает отправиться в свои поместья, неужели почтари не найдут дороги? Будьте покойны, не заблудятся. Для путешествий нет нужды в буссоли, и из Парижа в Овернь люди отлично добираются, не ведая, на какой они широте.

— Вы правы,— отвечал отец.— Но я слышал об одной прекрасной науке, которая называется, если не ошибаюсь, *астрономией*.

— Какое заблуждение,— воскликнул воспитатель,— да разве в свете руководствуются небесными светилами? И неужели молодому маркизу изнурять себя, вычисляя какое-нибудь затмение, когда легко узнать о нем в календаре, где можно, кроме того, справиться обо всех подвижных праздниках, о возрасте Луны, как и о возрасте любой европейской принцессы?

Маркиза вполне соглашалась с мнением воспитателя. Маленький маркиз был вне себя от радости. Отец колебался.

— Чему же следует учить моего сына? — недоумевал он.

— Быть приятным,— отвечал друг, с которым они советовались,— и если он будет знать, как нравиться, то

тем самым он будет знать все; этому искусству он научится у своей матушки, и ни ей, ни ему это не будет стоить ни малейшего труда.

При этих словах маркиза поцеловала много невежду, говоря:

— По всему видно, сударь, что вы человек ученейший; мой сын будет обязан вам всем своим образованием; думаю, однако, что не худо бы ему кое-что знать из истории.

— Помилуйте, сударыня, к чему это? — отвечал он. — Приятна и полезна только история нынешнего дня. Все древние летописи, как заметил один из наших блестящих умов, всего лишь ходячие побасенки, а что касается истории новой — так тут такая путаница, что и не разберешься. Какое дело вашему сыну, что Карл Великий учредил совет двенадцати пэров Франции и что его преемник был заика?

— Прекрасно сказано! — воскликнул воспитатель, — под ворохом бесполезных знаний душат ум детей; но из всех наук, по-моему, самая нелепая и способная только подавить любое дарование — это геометрия. Предмет этой вздорной науки — плоскости, линии, точки, не существующие в природе. Ребенка заставляют проводить десятки тысяч кривых между окружностью и касательной прямой, хотя в действительности тут не протянешь и соломинки. Вся геометрия, по сути дела, всего лишь дурная шутка.

Супруги мало что поняли в рассуждении воспитателя, однако были с ним вполне согласны.

— Такому барину, как маркиз, ваш сын, не следует изнурять мозги в этих бесполезных занятиях. Если в один прекрасный день ему потребуются ученый геометр, чтобы размежевать его владения, он даст соответствующее распоряжение, и за деньги все будет исполнено. А пожелай он уточнить древность своего рода, теряющегося в отдаленнейшем прошлом, он пригласит к себе бенедиктинца. То же можно сказать и обо всех искусствах. Барчук из знатной семьи — не живописец, не музыкант, не зодчий, не ваятель, но он поощряет все искусства, и они процветают его щедротами. Что и говорить, куда лучше покровительствовать им, чем самому ими заниматься; маркизу достаточно будет иметь вкус, а дело художников — работать на него; поэтому вполне справед-

ливо считают, что знатные люди (я имею в виду очень богатых), ничему не учась, все умеют, ибо они, в конце концов, прекрасно судят обо всем, что заказывают и за что платят деньги.

Тут слово взял милый невежда:

— Вы справедливо заметили, сударыня, что главная задача человека — преуспеть в обществе, — сказал он. — И в самом деле, при помощи ли наук достигается успех? Затевают ли когда-либо в благородном обществе разговор о геометрии? спрашивают ли когда-либо у порядочного человека, какая нынче звезда восходит одновременно с Солнцем? Осведомляются ли за ужином о том, удалось ли Хлодиону Лохматому переправиться через Рейн?

— Но нет, конечно, никогда не спрашивают, — воскликнула маркиза де ля Жаннотьер, прелести коей открыли ей несколько раз доступ в великосветские круги, — и маркизу, моему сыну, отнюдь не следует затуманивать ум изучением всех этих глупостей. Но, однако, чему же его учить? Ведь надо, чтобы молодой барин при случае блеснул в разговоре, как говорит мой муж. Помнится, я слышала когда-то, как один аббат говорил, что самая приятная наука это... забыла, как она называется, как-то на букву «г».

— На «г», сударыня? Не геологию ли вы имеете в виду?

— Нет, он говорил не о геологии, повторяю: на букву «г», а кончается на «ка».

— Ах, догадываюсь, сударыня: геральдика! Это действительно весьма глубокая наука, но она вышла из моды с тех пор, как перестали украшать гербами дверцы карет; это был обычай чрезвычайно полезный для благоустроенного государства. Однако ей нет предела: ведь нынче у всякого цирюльника есть герб, а, как изволите знать, все, что становится обыденным, мало ценится.

В конце концов, когда были рассмотрены сильные и слабые стороны всех наук, порешили: юный маркиз будет учиться танцевать.

Природа, от которой все зависит, наделила его талантом, вскоре чудесно развившимся, а именно: он стал весьма приятно петь куплеты. Очарование юности, вкуче с этим неоценимым даром, привело к тому, что он прослыл юношей, подающим великие надежды. Женщины влюблялись в него; голова его была полным-полна песен-

ками, и он сочинял их для своих возлюбленных. У одного поэта он заимствовал Вакха и Амура, у другого—День и Ночь, Чары и Тучи—у третьего, но так как в его песенках постоянно то не хватало слога, то оказывался слог лишний, ему приходилось отдавать их на исправление и за каждую платить по двадцать луидоров. Некоторые из них были напечатаны в журнале «Литературный год» наравне с песенками Ла Фара, Шольё, Гамильтона, Сарравена и Вуатюра.

Тут маркиза вообразила себя матерью выдающейся личности и стала устраивать ужины для его парижских собратьев. У юноши вскоре вскружилась голова: он овладел искусством говорить, сам не понимая, что говорит, и стал усовершенствоваться в собственной непригодности к чему-либо. Когда отец понял, сколь сын его красноречив, он горько пожалел о том, что мальчика не научили латыни, ибо тогда он купил бы ему важную должность в судебном ведомстве. Мать, женщина с более возвышенными понятиями, взялась выхлопотать для сына полк, а в ожидании полка он занялся любовью. Но любовь иной раз обходится дороже, чем полк. Он много тратил, да и родители к тому же старались жить на самую широкую ногу.

Некая молодая вдова из благородных, их соседка, обладавшая весьма скромным достатком, решила сберечь их огромное состояние, присвоив его путем брака с юным маркизом. Она привлекла его к себе, позволила себя любить, дала ему понять, что и он ей не безразличен, все больше подогревала его, очаровывала и без труда поработила. Она то расхваливала его, то давала ему советы; она стала лучшим другом отца и матери. Старуха соседка выступила свахой; родители, ослепленные великолепием этого союза, с радостью приняли предложение; они отдавали своего единственного отпрыска лучшему другу. Юному маркизу предстояло жениться на женщине, которую он боготворил и которою был любим; друзья дома поздравляли их; принялись за составление брачного договора, не забывая в то же время о свадебных нарядах и эпиталаме.

Как-то поутру маркиз сидел у ног своей очаровательной невесты и мечтал о дне, когда любовь, уважение, дружба приведут ее в его объятия; нежно и страстно воркуя, они предвкушали близкое счастье; они готови-

лись к блаженной жизни, как ни с того ни с сего появилась растерянный лакей маркизы.

— Ошеломляющие новости! — воскликнул он. — Судебные пристава вывозят имущество из дома маркиза; по жалобе кредиторов на все наложен арест; поговаривают о тюрьме, и я думаю, как бы поскорее получить свое жалованье.

— Пойдите, пойдите! Что такое? — сказал маркиз. — Что все это означает?

— Конечно, — подхватила вдова, — идите скорее, проберите хорошенько этих мошенников.

Маркиз бежит, входит в дом; отец его уже в тюрьме; слуги позаботились о себе, как могли, — каждый унес, что удалось. Мать его сидела одна, беспомощная, безутешная, вся в слезах; у нее осталось только воспоминание о былом, о богатстве, красоте, прегрешениях и безумных тратах.

Сын долго плакал вместе с нею, потом сказал:

— Не будем отчаиваться; молодая вдова любит меня без памяти; она богата и бесконечно великодушна, я за нее ручаюсь; побегу к ней и приведу ее сюда.

Он возвращается к своей возлюбленной и застаёт ее в обществе весьма привлекательного офицера.

— Вот как? Это вы, господин де ля Жаннотьер? Зачем вы сюда пожаловали? Как же вы могли оставить мать в таком состоянии? Ступайте к этой несчастной женщине и скажите ей, что я по-прежнему желаю ей добра; мне требуется горничная, и я предпочту ее всякой другой.

— Ты, приятель, кажется, ловкий малый, — сказал ему офицер, — если хочешь наняться ко мне в полк, я тебя недурно устрою.

Ошеломленный маркиз вне себя от бешенства отправился к своему бывшему воспитателю, излился перед ним в своих горестях и попросил совета. Тот посоветовал ему стать, как и он сам, воспитателем детей.

— Увы, я ничего не знаю, вы меня ничему не научили, вы — главная причина моего несчастья.

И, говоря так, он разрыдался.

— Сочиняйте романы, — сказал ему некий мудрец, присутствовавший тут же, — в Париже это прекрасный источник заработка.

В полном отчаянии молодой человек поспешил к духовнику своей матери; то был весьма уважаемый театинец, руководивший лишь женщинами самого высокого ранга; едва увидев маркиза, он бросился к нему:

— Боже мой! Где же ваша карета, маркиз? Как чувствует себя почтенная маркиза, ваша матушка?

Несчастный поведал ему о бедствии, постигшем их семью. По мере того как он говорил, лицо театинца все более и более мрачнело, выражение его становилось все безразличнее, все высокомернее:

— Сын мой, вот каким господь хотел видеть вас: богатство только развращает сердца. Значит, бог оказал вашей матушке милость и привел ее к нищете?

— Да, сударь.

— Тем лучше, теперь она может быть уверена в спасении своей души.

— А пока что, нет ли, отец мой, какой-либо возможности обрести помощь в нашем земном существовании?

— Прощайте, сын мой; одна придворная дама дожидается меня.

Маркиз был близок к обмороку. Почти так же отнеслись к нему и его приятели, и за полдня он глубже познал свет, чем за всю остальную свою жизнь.

Он стоял, погруженный в беспросветное отчаяние, и вдруг увидел старомодную двуколку, своего рода крытую тележку с кожаными занавесками, вслед за которой тащились четыре огромные подводы с кладью. В двуколке восседал по-деревенски одетый молодой человек; лицо его, круглое и свежее, дышало добротой и благодушием. Рядом с ним помещалась его молоденькая смугленькая жена, не лишенная грубоватой прелести. Коляска не мчалась на всех парах, как экипаж щеголя, а поэтому путешественник вполне мог разглядеть неподвижно стоящего, погруженного в скорбь маркиза.

— Батюшки! — воскликнул он. — Да ведь это, кажется, Жанно!

При этом имени маркиз поднимает взор, двуколка останавливается.

— Да, это не кто иной, как Жанно! Это Жанно!

Маленький, толстый человек выпрыгивает из экипажа и бросается обнимать своего бывшего товарища. Жанно узнал Колена; краска стыда и слезы заливают его лицо.

— Ты покинул меня,— говорит Колен,— но, хоть ты и знатный барин, я всегда буду любить тебя!

Смущенный и растроганный Жанно, рыдая, поведал ему кое-что из своей истории.

— Поедем на постоялый двор, где я остановлюсь, и там доскажешь мне остальное,— сказал ему Колен,— поцелуй мою женушку, потом вместе пообедаем.

Все трое отправляются пешком, кладь следует за ними.

— Что это за скарб? Он принадлежит вам?

— Да, все это мое и женино. Мы из родных мест; я ведаю большим заводом оцинкованного железа и медных изделий. Я женился на дочери богатого коммерсанта, который торгует кухонной утварью, нужной и знатым и простым людям; мы с божьей помощью много работаем; мы остались все такими же; мы всем довольны, и мы пособим нашему другу Жанно. Не будь больше маркизом; все земные почести не стоят одного верного друга. Ты вернешься со мною в родные края, я выучу тебя ремеслу, оно не такое уж мудреное; я возьму тебя в долю, и мы весело заживем в том уголке земли, где родились.

Ошеломленного Жанно раздирали скорбь и радость, умиление и стыд; он думал: «Все мои светские друзья изменили мне, а Колен, которого я презирал, один спешит мне на помощь. Какой урок!» Душевная доброта Колена согрела в сердце Жанно зерно добра, еще не совсем загубленное светом. Он почувствовал, что не может бросить отца и мать.

— Мы позаботимся о твоей матери,— сказал Колен,— а что до твоего папеньки, сидящего в тюрьме, так я малость понаторел в делах; поняв, что с него многого уже не возьмешь, кредиторы удовлетворятся малым; я беру это на себя.

Колен действовал так ловко, что вызволил беднягу из тюрьмы. Жанно вместе с родителями вернулся в свои края, и они занялись прежним делом. Жанно женился на сестре Колена, нравом очень похожей на брата, и супруги зажили счастливо. И Жанно-отец, и Жанетта-мать, и Жанно-сын теперь убедились, что не в тщеславии счастье.



Маленькое отклонение

В начале, когда был только основан Приют Трехсот, все его обитатели, как известно, были равны между собою и свои маленькие дела решали большинством голосов. Они на ощупь легко отличали медную монету от серебряной, никто из них никогда не спутал бургундского с вином из Бри. Обоняние у них было тоньше, чем у их соседей, обладавших двумя глазами. Они прекрасно рассуждали о четырех чувствах, другими словами, знали о них все, что вообще дозволено знать, и жили мирно и счастливо, поскольку это возможно для слепых. Но, к несчастью, один из их учителей возомнил, что имеет ясное понятие о чувстве зрения; он стал горячо в этом всех убеждать, посеял смуту, приобрел единомышленников; кончилось тем, что его признали главою заведения. Он принялся самоуверенно судить о красках, и тут все пошло вкривь и вкось.

Этот первый диктатор Приюта Трехсот учредил при себе небольшой совет, при помощи коего стал распоряжаться всеми пожертвованиями. Поэтому никто уже не решался ему перечить. Он решил, что вся одежда Трехсот белая; слепцы поверили ему; только и разговору было что об их прекрасных белых одеяниях, хоть ни одно из них белым не было. Окружающие стали насмехаться над ними; слепцы пошли к диктатору, но он принял их весьма сурово; он обозвал их вольнодумцами, новаторами, бунтовщиками, которые поддались ошибочным суждениям зрячих и осмеливаются сомневаться в непогрешимости своего учителя. Эта распря расколола слепых на два лагеря.

Чтобы утихомирить их, диктатор издал постановление, которым вся их одежда объявлялась красной. Во всем Приюте Трехсот не было ни одного красного одеяния. Над ними стали потешаться еще пуще. Посыпались новые жалобы братии. Диктатор пришел в ярость, слепцы тоже; долго продолжались раздоры, и мир восстановился лишь после того, как всем Тремстам было разрешено повременить с суждением о цвете их одежды.

Некий глухой, прочитав этот маленький рассказ, признал, что слепцы напрасно взялись судить о цвете своей одежды; но он твердо держался мнения, что лишь глухим дано судить о музыке.

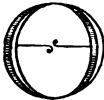


Простодушный

*Правдивая повесть,
извлеченная из рукописей отца Кенеля*

Глава первая

О ТОМ, КАК ПРИОР ХРАМА ГОРНОЙ БОГОМАТЕРИ
И ЕГО СЕСТРА ПОВСТРЕЧАЛИ ГУРОНА

днажды святой Дунстан, ирландец по национальности и святой по роду занятий, отплыл из Ирландии на пригорке к французским берегам и добрался таким способом до бухты Сен-Мало. Сойдя на берег, он благословил пригорок, который, отвесив ему несколько низких поклонов, воротился в Ирландию тою же дорогою, какою прибыл.

Дунстан основал в этих местах небольшой приорат и нарек его Горным, каковое название он носит и поныне, что известно всякому.

В тысяча шестьсот восемьдесят девятом году месяца июля числа 15-го, под вечер, аббат де Керкабон, приор храма Горной богоматери, решив подышать свежим воздухом, прогуливался с сестрой своей по берегу моря. Приор, уже довольно пожилой, был очень хороший священник, столь же любимый сейчас соседями, как в былые времена — соседками. Особенное уважение снискал он тем, что из всех окрестных настоятелей был единственным, кого после ужина с братьями не приходилось тащить в постель на руках. Он довольно основательно знал богословие, а когда уставал от чтения блаженного Августина, то тешил себя книгою Рабле: поэтому все и отзывались о нем с похвалой.

Его сестра, которая никогда не была замужем, хотя и имела к тому великую охоту, сохранила до сорокапятiletнего возраста некоторую свежесть: нрав у нее был

добрый и чувствительный; она любила удовольствия и была набожна.

Приор говорил ей, глядя на море:

— Увы! Отсюда в тысяча шестьсот шестьдесят шестом году на фрегате «Ласточка» отбыл на службу в Канаду наш бедный брат со своей супругой, а нашей дорогой невесткой, госпожой де Керкабон. Не будь он убит, у нас была бы надежда свидеться с ним.

— Полагаете ли вы, — сказала м-ль де Керкабон, — что нашу невестку и впрямь съели ирокезы, как нам о том сообщили? Надо полагать, если бы ее не съели, она вернулась бы на родину. Я буду оплакивать ее всю жизнь — ведь она была такая очаровательная женщина; а наш брат, при его уме, добился бы немалых успехов в жизни.

Пока они предавались этим трогательным воспоминаниям, в устье Ранса вошло на волнах прилива маленькое суденышко: это англичане привезли на продажу кое-какие отечественные товары. Они соскочили на берег, не поглядев ни на господина приора, ни на его сестру, которую весьма обидело подобное невнимание к ее особе.

Иначе поступил некий очень статный молодой человек, который одним прыжком перемахнул через головы своих товарищей и очутился перед м-ль де Керкабон. Еще не обученный раскланиваться, он кивнул ей головой. Лицо его и наряд привлекли к себе взоры брата и сестры. Голова юноши была не покрыта, ноги обнажены и обуты лишь в легкие сандалии, длинные волосы заплетены в косы, тонкий и гибкий стан охвачен коротким камзолом. Лицо его выражало воинственность и вместе с тем кротость. В одной руке он держал бутылку с барбадосской водкой, в другой — нечто вроде кошелька, в котором были стаканчик и отличные морские сухари. Чужеземец довольно изрядно изъяснялся по-французски. Он попотчевал брата и сестру барбадосской водкой, отведал ее и сам, потом угостил их еще раз, — и все это с такой простотой и естественностью, что они были очарованы и предложили ему свои услуги, сперва осведомившись, кто он и куда держит путь. Молодой человек ответил, что он этого не знает, что он любопытен, что ему захотелось посмотреть, каковы берега Франции, что он прибыл сюда, а затем вернется восвояси.

Прислушавшись к его произношению, господин приор понял, что юноша — не англичанин, и позволил себе спросить, из каких он стран.

— Я гурон,— ответил тот.

Мадемуазель де Керкабон, удивленная и восхищенная встречей с гуроном, который притом обошелся с ней учтиво, пригласила его отужинать с ними: молодой человек не заставил себя упрашивать, и они отправились втроем в приорат Горной богоматери.

Низенькая и кругленькая барышня глядела на него во все глаза и время от времени говорила приору:

— Какой лилейно-розовый цвет лица у этого юноши! До чего нежна у него кожа, хотя он и гурон!

— Вы правы, сестрица,— отвечал приор.

Она без передышки задавала сотни вопросов, и путешественник отвечал на них весьма толково.

Слух о том, что в приорате находится гурон, распространился с необычайной быстротой, и к ужину там собралось все высшее общество округа. Аббат де Сент-Ив пришел со своей сестрой, молодой особой из Нижней Бретани, весьма красивой и благовоспитанной. Судья, сборщик податей и их жены также не замедлили явиться. Чужеземца усадили между м-ль де Керкабон и м-ль де Сент-Ив. Все изумленно глядели на него, все одновременно и рассказывали ему что-то, и спрашивали его,— гурона это ничуть не смущало. Казалось, он руководился правилом милорда Болингброка: «*Nihil admirari*»¹. Но напоследок, выведенный из терпения этим шумом, он сказал тоном довольно спокойным:

— Господа, у меня на родине принято говорить по очереди; как же мне отвечать вам, когда вы не даете возможности услышать ваши вопросы?

Вразумляющее слово всегда заставляет людей углубиться на несколько мгновений в самих себя: воцарилось полное молчание. Господин судья, который всегда, в чьем бы доме ни находился, завладевал вниманием чужеземцев и слыл первым на всю округу мастером по части расспросов, проговорил, широко разевая рот:

— Как вас зовут, сударь?

— Меня всегда звали Простодушный,— ответил гурон.— Это имя утвердилось за мной и в Англии, пото-

¹ Ничему не удивляться (лат.).

му что я всегда чистосердечно говорю то, что думаю, подобно тому как и делаю все, что хочу.

— Каким же образом, сударь, родившись гуроном, попали вы в Англию?

— Меня привезли туда; я был взят в плен англичанами в бою, хотя и не худо оборонялся; англичане, которым по душе храбрость, потому что они сами храбры и не менее честны, чем мы, предложили мне либо вернуть меня родителям, либо отвезти в Англию. Я принял это последнее предложение, ибо по природе своей до страсти люблю путешествовать.

— Однако же, сударь,— промолвил судья внушительным тоном,— как могли вы покинуть отца и мать?

— Дело в том, что я не помню ни отца, ни матери,— ответил чужеземец.

Все общество умилилось, и все повторили:

— Ни отца, ни матери!

— Мы ему заменим родителей,— сказала хозяйка дома своему брату, приору.— До чего мил этот гурон!

Простодушный поблагодарил ее с благородной и горделивой сердечностью, но дал понять, что ни в чем не нуждается.

— Я замечаю, господин Простодушный,— сказал достопочтенный судья,— что по-французски вы говорите лучше, чем подобает гурону.

— Один француз,— ответил тот,— которого в годы моей ранней юности мы захватили в Гуронии и к которому я проникся большой приязнью, обучил меня своему языку: я усваиваю очень быстро то, что хочу усвоить. Приехав в Плимут, я встретил там одного из ваших французских изгнанников, которых вы, не знаю почему, называете «гугенотами»; он несколько усовершенствовал мои познания в вашем языке. Как только я научился объясняться вразумительно, я направился в вашу страну, потому что французы мне нравятся, когда не задают слишком много вопросов.

Невзирая на это тонкое предостережение, аббат де Сент-Ив спросил его, какой из трех языков он предпочитает: гуронский, английский или французский.

— Разумеется, гуронский,— ответил Простодушный.

— Возможно ли! — воскликнула м-ль де Керкабон.— А мне всегда казалось, что нет языка прекраснее, чем французский, если не считать нижнебретонского.

Тут все наперебой стали спрашивать Простодушного, как сказать по-гуронски «табак», и он ответил: «тайя»; как сказать «есть», и он ответил: «эссентен». М-ль де Керкабон захотела во что бы то ни стало узнать, как сказать «ухаживать за женщинами». Он ответил: «травандер»¹ и добавил, по-видимому не без основания, что эти слова вполне равноценны соответствующим французским и английским. Гости нашли, что «травандер» звучит очень приятно.

Господин приор, в библиотеке которого имелась гуронская грамматика, подаренная ему преподобным отцом Сагаром Теода, францисканцем и славным миссионером, вышел из-за стола, чтобы навести по ней справку. Вернулся он, задыхаясь от восторга и радости, ибо убедился, что Простодушный воистину гурон. Поговорили чуть-чуть о многочисленности наречий и пришли к заключению, что, если бы не происшествие с Вавилонской башней, все народы говорили бы по-французски.

Неистошимый по части вопросов судья, который до сих пор относился к новому лицу с недоверием, теперь проникся к нему глубоким почтением; он беседовал с ним гораздо вежливее, чем прежде, чего Простодушный не приметил.

Мадемуазель де Сент-Ив полюбопытствовала насчет того, как ухаживают кавалеры в стране гуронов.

— Совершают подвиги,— ответил он,— чтобы понравиться особам, похожим на вас.

Гости удивились его словам и дружно зааплодировали. М-ль де Сент-Ив покраснела и весьма обрадовалась. М-ль де Керкабон покраснела тоже, но обрадовалась не очень; ее задело за живое, что любезные слова были обращены не к ней, но она была столь благодушна, что расположение ее к гурону ничуть от этого не пострадало. Она чрезвычайно приветливо спросила его, сколько возлюбленных было у него в Гуронии.

— Одна-единственная,— ответил Простодушный.— То была м-ль Абакаба, подруга дорогой моей кормилицы. Абакаба превосходила тростник стройностью, горноста́я — белизной, ягненка — кротостью, орла — гордостью и оленя — легкостью. Однажды она гналась за зайцем по соседству с нами, примерно в пятидесяти лье

¹ Все эти слова в самом деле гуронские.

от нашего жилья. Некий неблаговоспитанный алгонкинец, живший в ста лье оттуда, перехватил у нее добычу; я узнал об этом, помчался туда, свалил алгонкинца ударом палицы и, связав по рукам и ногам, поверг его к стопам моей возлюбленной. Родители Абакабы изъявили желание съесть его, но я никогда не питал склонности к подобным пиршествам; я вернул ему свободу и обрел в его лице друга. Абакаба была так тронута моим поступком, что предпочла меня всем прочим своим любовникам. Она любила бы меня и доселе, если бы ее не съел медведь. Я покарал медведя и долго потом носил его шкуру, но это меня не утешило.

Мадемуазель де Сент-Ив почувствовала тайную радость, узнав из этого рассказа, что у Простодушного была всего одна возлюбленная и что Абакабы нет более на свете, но не стала разбираться в причинах своей радости. Все не сводили глаз с Простодушного и очень хвалили его за то, что он не позволил своим товарищам съесть алгонкинца.

Неумолимый судья, будучи не в силах подавить испугленную страсть к расспросам, довел свое любопытство до того, что осведомился, какую веру исповедует г-н гурон, — избрал ли он англиканскую, галликанскую или гугенотскую веру?

— У меня своя вера, — ответил тот, — как у вас своя.

— Увы! — воскликнула м-ль де Керкабон, — я вижу, этим злополучным англичанам даже не пришлось в голову окрестить его.

— Ах, боже мой! — проговорила м-ль де Сент-Ив. — Как же это так? Разве гуроны не католики? Неужели преподобные отцы иезуиты не обратили их всех в христианство?

Простодушный уверил ее, что у него на родине никого нельзя обратить, что настоящий гурон ни за что не изменит убеждений и что на их наречии даже нет слова, означающего «непостоянство». Эти его слова чрезвычайно понравились м-ль де Сент-Ив.

— Мы его окрестим, окрестим! — говорила м-ль де Керкабон г-ну приору. — Эта честь выпадет вам, дорогой брат; мне ужасно хочется стать его крестной матерью; господин аббат де Сент-Ив, конечно, не откажется стать его воспитателем. Какая будет блиста-

тельная церемония! Толки о ней пойдут по всей Нижней Бретани, и нас это безмерно прославит.

Все общество вторило хозяйке дома, все гости кричали:

— Мы его окрестим!

Простодушный ответил, что в Англии каждый имеет право жить так, как ему заблагорассудится. Он заявил, что это предложение ему вовсе не по душе и что гуронское вероисповедание по меньшей мере равноценно нижнебретонскому; в заключение он сказал, что завтра же уезжает. Допив его бутылку барбадосской водки, все разошлись на покой.

Когда Простодушного проводили в приготовленную для него комнату, м-ль де Керкабон и ее приятельница Сент-Ив не могли удержаться от того, чтобы не поглядеть в широкую замочную скважину, как почивает гурон. Они узрели, что он постелил одеяло прямо на полу и расположился на нем самым живописным образом.

Глава вторая

ГУРОН, ПРОЗВАННЫЙ ПРОСТОДУШНЫМ, УЗНАН СВОЕЙ РОДНЕЙ

Простодушный проснулся, по своему обыкновению, вместе с солнцем, под пеньем петуха, которого в Англии и в Гуронии именуют «трубой рассвета». Он не уподобляется праздным вельможам, которые валяются в постели, пока солнце не пройдет половину своего пути, которые не могут ни спать, ни встать, которые теряют столько драгоценных часов в этом промежуточном состоянии между жизнью и смертью да еще жалуются, что жизнь слишком коротка.

Отшагав уже два-три лье, уложив меткой пулей штук тридцать разной дичи, он вернулся в приорат и увидел, что приор храма Горной богоматери и его благоразумная сестра прогуливаются в ночных колпаках по саду. Он преподнес им всю свою добычу и, вытащив из-под рубашки нечто вроде маленького талисмана, который обычно носил на шее, просил принять его в знак благодарности за гостеприимство.

— Это величайшая моя драгоценность,— сказал он им.— Меня уверяли, что я буду неизменно счастлив,

пока ношу эту безделушку; я дарю ее вам, чтобы вы были неизменно счастливы.

Чистосердечие Простодушного вызвало у приора и у его сестры улыбку умиления. Подарок состоял из двух портретов довольно скверной работы, связанных очень засаленным ремешком.

Мадемуазель де Керкабон спросила, есть ли художники в Гуронии.

— Нет,— ответил Простодушный,— эту редкую вещь я получил от кормилицы; ее муж добыл мой талисман в бою, обобрав каких-то канадских французов, которые воевали с нами. Вот и все, что я знаю о нем.

Приор внимательно разглядывал портреты: он изменился в лице, разволновался, руки у него затряслись.

— Клянусь Горной богородицей! — воскликнул он.— Мне сдается, что это — изображение моего брата-капитана и его жены!

Мадемуазель де Керкабон, рассмотрев портреты с неменьшим волнением, пришла к тому же заключению. Оба были охвачены удивлением и радостью, смешанной с горем; оба умилялись, плакали, сердца у них трепетали; они вскрикивали; они вырывали друг у друга портреты; раз по двадцать каждый хватал их у другого и снова отдавал; они пожирали глазами и портреты и гурона; они спрашивали его то каждый порознь, то оба зараз, где, когда и как попали эти миниатюры в руки его кормилицы; они сопоставляли, высчитывали сроки, истекшие со времени отъезда капитана, вспоминали полученное когда-то сообщение о том, что он добрался до страны гуронов, после чего о нем не было больше никаких известий.

Простодушный говорил им накануне, что не помнит ни отца, ни матери. Приор, человек сообразительный, заметил, что у Простодушного пробивается борода, а ему было хорошо известно, что гуроны — безбородые. «У него на подбородке пушок, стало быть, он сын европейца; брат и невестка после предпринятого в тысяча шестьсот шестьдесят девятом году похода на гуронов больше не появлялись; мой племянник был в то время, вероятно, еще грудным ребенком, кормилица-гуронка спасла ему жизнь и заменила мать». В конце концов после сотни вопросов и сотни ответов приор и его сестра пришли к убеждению, что гурон — их соб-

ственный племянник. Они обнимали его, проливая слезы, а Простодушный смеялся, ибо представить себе не мог, как это гурон вдруг оказался племянником нижнебретонского приора.

Все общество спустилось в сад; г-н де Сент-Ив, великий физиономист, сличил оба портрета с наружностью Простодушного. Он сразу подметил, что глаза у него материнские, лоб и нос — как у покойного капитана де Керкабона, а щеки отчасти напоминают мать, отчасти отца.

Мадемуазель де Сент-Ив, которая никогда не видала родителей Простодушного, утверждала, что он похож на них совершенно. Они дивились провидению и сцеплению событий в сем мире. Насчет происхождения Простодушного сложилось напоследок такое твердое убеждение, такая уверенность, что он и сам согласился стать племянником г-на приора, сказав, что ему безразлично, приор или кто другой приходится ему дядюшкой.

Все отправились в храм Горной богоматери, чтобы воздать благодарение богу, в то время как гурон с полным равнодушием остался дома допивать вино.

Англичане, которые вчера его доставили и готовились теперь поднять паруса, сказали ему, что пора отправляться в обратный путь.

— Вероятно,— ответил он,— вы не обрели тут дядюшек и тетушек. Я остаюсь. Возвращайтесь в Плимут. Дарю вам все свои пожитки; мне больше ровно ничего не нужно, ибо я — племянник приора.

Англичане подняли паруса, весьма мало беспокоясь о том, есть ли у Простодушного родня в Нижней Британии.

После того как дядюшка, тетушка и все общество отслужили молебен, после того как судья сызнова одолел Простодушного вопросами, после того как исчерпано было все, что можно сказать под влиянием удивления, радости, нежности,— приор Горного храма и аббат де Сент-Ив порешили как можно скорее окрестить Простодушного. Но взрослый двадцатидвухлетний гурон — это не младенец, которого возрождают к новому бытию без его ведома. Надобно было сперва наставить его на путь истинный, а это представлялось затруднительным,

так как аббат де Сент-Ив полагал, что человек, родившийся не во Франции, лишен здравого смысла.

Приор заметил во всеулышание, что, если г-н Простодушный, его племянник, не имел счастья родиться в Нижней Бретани, все же это не мешает ему обладать разумом, что судить о том можно по всем его ответам и что природа, бесспорно, наделила его щедрыми дарами как с отцовской, так и с материнской стороны.

Простодушного спросили прежде всего, случилось ли ему читать хоть какую-нибудь книгу. Он ответил, что читал Рабле в английском переводе и кое-какие отрывки из Шекспира, заученные им наизусть, что эти книги он достал у капитана корабля, на котором плыл из Америки в Плимут, и что остался ими весьма доволен. Судья немедленно стал его расспрашивать об этих книгах.

— Признаюсь вам,— сказал Простодушный,— кое-что я в них, кажется, разгадал, остального же не понял.

Аббат де Сент-Ив, услышав эту речь, подумал, что и сам он обычно читал так же, да и большинство людей читает именно так, а не иначе.

— Библию вы, без сомнения, читали? — спросил он гуруна.

— Нет, не читал, господин аббат; у капитана ее не было: я ничего о ней не слышал.

— Вот каковы эти проклятые англичане! — вскричала м-ль де Керкабон.— Пьесы Шекспира, плумпудинг и бутылка рома дороже им, чем Пятикнижие. Оттого и получилось, что никого они в Америке не обратили в христианство. Они, конечно, прокляты богом, и мы в недалеком будущем отберем у них Ямайку и Виргинию.

Как бы то ни было, из Сен-Мало пригласили самого искусного портного и поручили ему одеть Простодушного с головы до ног. Общество разошлось; судья отправился задавать вопросы в других местах. М-ль де Сент-Ив, уходя, несколько раз оглянулась на Простодушного, а он проводил ее поклонами такими низкими, каких не отвешивал еще никому и никогда в жизни.

Судья, перед тем как откланяться, представил м-ль де Сент-Ив своего сына, рослого балбеса, кончившего училище, но она еле взглянула на него, до того тронула ее сердце учтивость гуруна.

ГУРОН, ПРОЗВАННЫЙ ПРОСТОДУШНЫМ, ОБРАЩЕН
В ХРИСТИАНСТВО

Господин приор, имея в виду свой уже преклонный возраст и то обстоятельство, что бог послал ему в утешение племянника, твердо решил, что если удастся его окрестить и понудить к вступлению в духовное звание, то можно будет передать ему приход.

У Простодушного была превосходная память. Благодаря могучему нижебретонскому телосложению, которое еще укрепил канадский климат, голова у него стала такая прочная, что, когда по ней били, он этого почти не чувствовал, а когда в нее что-нибудь врезалось, то никогда уже не изглаживалось. Он ничего не забывал. Его понятливость была тем живее и отчетливее, что детство его не было обременено в свое время тем бесполезным вздором, каким отягчено бывает наше детство, и поэтому мозг воспринимал все предметы в неискаженном виде. Приор решился наконец засадить племянника за чтение Нового завета. Простодушный проглотил его с большим удовольствием; но, не зная, в какие времена и в какой стране произошли рассказанные в этой книге события, он ничуть не сомневался в том, что местом действия была Нижняя Бретань, и даже поклялся при первой же встрече с Кайафой и Пилатом отрезать нос и уши этим бездельникам.

Дядюшка, очарованный добрыми намерениями Простодушного, объяснил ему, в чем дело; он похвалил его за рвение, но растолковал, что рвение это — тщетное, ибо упоминаемые в Новом завете люди умерли примерно тысяча шестьсот девяносто лет тому назад. Вскоре Простодушный выучил почти всю книгу наизусть. Он задавал иной раз трудноразрешимые вопросы, сильно огорчавшие приора. Тому частенько приходилось совещаться с аббатом де Сент-Ив, который, не зная, что отвечать, вызвал некоего нижебретонского иезуита, с тем чтобы завершить обращение гурона в истинную веру.

Благодать оказала наконец свое действие: Простодушный дал обещание сделаться христианином; при этом он не сомневался, что придется начать с обряда обрезания.

— Так как,— говорил он,— в этой книге, которую дали мне прочесть, я не нахожу ни одного лица, которое не подвергалось бы этому обряду, надо, очевидно, и мне пожертвовать своей крайней плотью; чем скорее, тем лучше.

Не долго думая, он послал за деревенским хирургом и попросил сделать ему операцию, полагая, что м-ль де Керкабон да и все общество бесконечно обрадуются, когда дело будет сделано. Лекарь, которому никогда еще не приходилось делать подобную операцию, дал знать об этом семейству Простодушного, и там поднялись громкие вопли. Добрая м-ль де Керкабон боялась, как бы племянник, по всей видимости решительный и проворный, не проделал над собой операции сам, и притом весьма неловко, и как бы не произошло от того печальных последствий, которым дамы по доброте душевной уделяют всегда много внимания.

Приор вразумил гурона: он убедил его, что обрезание вышло из моды; что крещение и приятнее и спасительнее; что закон милующий лучше закона карающего. Простодушный, у которого было много здравого смысла и прямоты, сперва поспорил, но затем признал свое заблуждение, а в Европе это довольно редко случается со спорящими; в конце концов он сказал, что готов креститься когда угодно.

Сначала нужно было исповедаться, и в этом заключалась главная трудность. Простодушный всегда носил в кармане книгу, подаренную дядей, и так как ему не удалось пайти в ней никаких указаний на то, что хоть кто-нибудь из апостолов исповедовался, то он заупрямился. Приор заставил его умолкнуть, показав в послании апостола Иакова-младшего слова, столь огорчительные для еретиков: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Гурон примолк и исповедался некоему францисканцу. Кончив исповедь, он вытащил францисканца из исповедальни, сел на его место и, мощной рукой поставив монаха перед собой на колени, произнес:

— Ну, друг мой, приступим к делу; сказано: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Я открыл тебе свои грехи, и ты не выйдешь отсюда, пока не откроешь мне своих.

Говоря так, он упирался могучим своим коленом

в грудь противника. Францисканец поднимает вой, от которого гудит вся церковь. На шум сбегается народ и видит, что новообращенный тузит монаха во имя апостола Иакова-младшего. Радость по поводу предстоящего крещения гуруно-английского нижнебретонца была столь велика, что на эти странности не обратили внимания. Многие богословы даже пришли к мысли, что исповедь не нужна, поскольку крещение совмещает в себе все.

День был назначен по соглашению с епископом Малуанским; епископ, будучи, само собой разумеется, польщен приглашением крестить гуруна, прибыл в роскошной карете, сопровождаемый причтом. М-ль де Сент-Ив, благословляя бога, нарядилась в самое лучшее свое платье и, чтобы блеснуть на крестинах, выписала из Сен-Мало парикмахершу. Вопрошающий судья привел с собой всю округу. Церковь была разукрашена великолепно; но когда пошли за гуруном, чтобы вести его к купели, новообращенного нигде не оказалось.

Дядюшка и тетушка искали его повсюду. Думали, что он, по обыкновению, отправился на охоту. Все приглашенные на торжество стали рыскать по окрестным лесам и селениям: гурун не подавал о себе вестей.

Начали опасаться, не уехал ли он назад в Англию, так как все помнили, с какой похвалой он отзывался об этой стране. Г-н приор и его сестра были убеждены, что жители ходят там некрещенные, и с трепетом помышляли о гибели, грозящей душе их племянника. Епископ, крайне смущенный, уже собирался возвращаться восвояси; приор и аббат де Сент-Ив были в отчаянии; судья с обычной важностью спрашивал всех встречных и поперечных; м-ль де Керкабон плакала, м-ль де Сент-Ив не плакала, но испускала глубокие вздохи, которые свидетельствовали, по-видимому, об ее приверженности церковным таинствам. Печально прогуливаясь мимо лозняка и камышей, растущих на берегу речушки Ранс, подруги вдруг увидели, что посреди реки стоит, скрестив руки, высокая, довольно белая человеческая фигура. Они громко вскрикнули и отворотились. Но любопытство вскоре взяло верх над всеми прочими соображениями, они тихонько прокрались сквозь камыши и, убедившись, что их не видно, принялись разглядывать, кто это забрался в реку.

ПРОСТОДУШНЫЙ ОКРЕЩЕН

Приор и аббат, подбежав к реке, спросили Простодушного, что он там делает.

— Дожидаюсь крещения, черт подери! Битый час стою по горло в воде; с вашей стороны очень нехорошо заставлять меня мерзнуть.

— Дорогой племянничек,— нежно сказал ему приор,— в Нижней Бретани крещение совершается не так; оденьтесь и идите с нами.

Услышав эту речь, м-ль де Сент-Ив спросила шепотом подругу:

— Как вы думаете, неужели он так сразу и оденется?

Гурон меж тем возразил приору:

— Теперь вам не удастся обморочить меня, как в тот раз; с тех пор я научился многому и совершенно уверен, что другого способа креститься не существует. Евнух царицы Кандакии был окрещен в ручье: попробуйте-ка доказать по книге, которую вы мне подарили, что хоть когда-нибудь это дело делалось иначе. Либо я вовсе откажусь креститься, либо буду креститься в реке.

Сколько ему ни твердили, что обычаи изменились, Простодушный упрямо стоял на своем, как истый бретонец и гурон. Он все толковал про евнуха царицы Кандакии, и хотя тетушка и м-ль де Сент-Ив, наблюдавшие за ним сквозь кусты лозняка, были вправе сказать, что не годится ему равнять себя с вышеупомянутым евнухом, однако же скромность их была так велика, что они не издали ни звука. Сам епископ пытался уговорить его, а это много значит; но и он ничего не добился: гурон заспорил и с епископом.

— Докажите,— сказал он,— по книге, подаренной мне дядюшкой, что хоть один человек был крещен не в реке, и тогда я сделаю все, что вам заблагорассудится.

Пришедшая в полное отчаяние тетушка вдруг вспомнила, что, когда ее племянник впервые стал раскланиваться, он отвесил м-ль де Сент-Ив поклон более низкий, чем другим членам общества, и что даже самого г-на епископа он приветствовал с меньшим почтением и сердечностью, чем эту прелестную барышню. Она ре-

шила в этом затруднительном положении обратиться к помощи м-ль де Сент-Ив и умоляла ее употребить свое влияние на гурона, дабы заставить его креститься так, как это принято у бретонцев, ибо ей казалось, что племянник не станет настоящим христианином, если будет упорствовать в своем намерении креститься в проточной воде.

Мадемуазель де Сент-Ив втайне так обрадовалась этому почетному поручению, что даже вся раскраснелась. Она скромно подошла к Простодушному и, благороднейшим образом пожимая ему руку, спросила:

— Неужели вы не сделаете для меня такой малости?

Произнося эти слова, она грациозно и трогательно то вскидывала на него глаза, то потупляла их.

— Ах, все, что вам будет угодно, мадемуазель, все, что прикажете: крещение водой, крещение огнем, крещение кровью,— я не откажу вам ни в чем.

На долю м-ль де Сент-Ив выпала честь с первых двух слов достигнуть того, чего не достигли ни старания приора, ни многократные вопросы судьи, ни даже рассуждения г-на епископа. Она сознавала свою победу, но не сознавала еще всего ее значения.

Таинство было совершено и воспринято со всей возможной благопристойностью, великолепием и приятностью. Дядюшка и тетюшка уступили аббату де Сент-Ив и его сестре почетные обязанности восприемников Простодушного от купели. М-ль де Сент-Ив сияла, радуясь, что стала крестной матерью. Она не понимала, на что обрекает ее это высокое звание; она согласилась принять предложенную честь, не ведая, к каким роковым последствиям это поведет.

Так как за всякой церемонией следует званый обед, то по окончании обряда крещения все уселись за стол. Нижнебретонские шутники говорили, что вино не нуждается в крещении. Г-н приор толковал, что вино, по словам Соломона, веселит сердце человеческое. Г-н епископ добавил от себя, что патриарх Иуда привязывал ослика к виноградной лозе и окунал плащ в виноградный сок, чего, к великому сожалению, нельзя сделать в Нижней Бретани, которой бог отказал в винограде. Каждый старался отпустить какую-нибудь шутку по поводу крещения Простодушного и наговорить любез-

ностей крестной матери. Судья, неизменно вопрошающий, спросил гурона, останется ли он верен христианским обетам.

— Как же, по-вашему, могу я изменить обетам,— ответил гурон,— когда я дал их в присутствии мадемуазель де Сент-Ив?

Гурон разгорячился; он много раз пил за здоровье своей крестной матери.

— Если бы вы крестили меня своей рукой,— сказал он,— то не сомневаюсь, меня обожгла бы холодная вода, которую лили мне на затылок.

Судья нашел, что это чересчур уж поэтично, ибо не знал, как распространен в Канаде аллегорический стиль. Крестная же мать осталась чрезвычайно довольна.

Новокрещеного нарекли Гераклом. Епископ Малуанский все доискивался, что это за святой, о котором он никогда не слышал. Иезуит, отличавшийся большей ученостью, объяснил, что это был угодник, совершивший двенадцать чудес. Было еще тринадцатое, которое одно стоило остальных двенадцати, однако иезуиту не пристало говорить о нем: оно состояло в превращении пятидесяти девиц в женщин на протяжении одной ночи. Некий находившийся тут же забавник стал усиленно восхвалять это чудо. Все дамы потупились и решили, что Простодушный, судя по внешности, достоин того святого, имя которого получил.

Глава пятая

ПРОСТОДУШНЫЙ ВЛЮБЛЕН

Надо признаться, что после этих крестин и этого обеда м-ль де Сент-Ив до страсти захотелось, чтобы г-н епископ сделал ее вместе с г-ном Гераклом Простодушным участницей еще одного прекрасного таинства. Однако же, будучи благовоспитанной и весьма скромной, она даже самой себе не решалась сознаться до конца в своих нежных чувствах. Когда же вырывались у нее взгляд, слово, движение или мысль, она обволакивала их покровом бесконечно милого целомудрия. Она была нежная, живая и благонравная девушка.

Едва только г-н епископ уехал, Простодушный и м-ль де Сент-Ив встретились как бы случайно, вовсе

не помышляя о том, что искали этой встречи. Они разговорились, не предвидя заранее, о чем поведут речь. Простодушный начал с того, что любит ее всем сердцем и что прекрасная Абакаба, по которой он с ума сходил у себя на родине, никак не может сравниться с нею. Барышня ответила с обыною своей скромностью, что надобно поскорее переговорить об этом с его дядюшкой, г-ном приором, и с его тетушкой, что она, со своей стороны, шепнет об этом словечко своему дорогому братцу, аббату де Сент-Ив, и что она льстит себя надеждою на общее согласие.

Простодушный отвечает, что не нуждается ни в чьем согласии, что находит крайне нелепым спрашивать у других совета, как ему следует поступить, что раз обе стороны пришли к соглашению, нет надобности привлекать для примирения их интересов третье лицо.

— Я ни у кого не спрашиваюсь,— сказал он,— когда мне хочется завтракать, охотиться или спать; мне хорошо известно, что в делах любви неплохо заручиться согласием той особы, к которой питаешь любовь; но так как влюблен я не в дядюшку и не в тетушку, то не к ним надо обращаться мне по этому делу, и вы тоже, поверьте мне, отлично обойдетесь без господина аббата де Сент-Ив.

Красавица бретонка пустила, разумеется, в ход всю тонкость своего ума, чтобы ввести гурона в границы приличия. Она даже разгневалась, однако вскоре опять смягчилась. Неизвестно, к чему бы привел в конце концов этот разговор, если бы на склоне дня г-н аббат не увел сестру в свое аббатство. Простодушный не препятствовал дядюшке и тетушке улечься спать, так как они были несколько утомлены церемонией и затянувшимся обедом, но сам он часть ночи провел за писанием стихов к возлюбленной на гуронском языке, ибо надобно помнить, что нет на земле такой страны, где любовь не обращала бы влюбленных в поэтов.

На следующий день после завтрака его дядюшка в присутствии м-ль де Керкабон, пребывавшей в полном умилении, повел такую речь:

— Хвала небесам за то, что вам выпала честь, дорогой племянник, стать христианином и бретонцем! Но этого еще недостаточно; годы у меня уже довольно преклонные; после брата остался только маленький кло-

чок земли, который представляет собой ничтожную ценность; зато у меня доходный приорат; если вы, как я надеюсь, пожелаете стать иподьяконом, то я переведу приорат на вас, и вы, утешив мою старость, будете жить затем в полном довольстве.

Простодушный ответил:

— Всяких вам благ, дядюшка! Живите, сколько проживется. Я не знаю, кто такой иподьякон и что значит перевести приорат, но я пойду на все, лишь бы обладать мадемуазель де Сент-Ив.

— Ах, боже мой, что вы такое говорите, племянник? Вы, стало быть, любите до безумия эту красивую барышню?

— Да, дядюшка.

— Увы, племянник, вам нельзя на ней жениться.

— Нет, очень даже можно, дядюшка, потому что она не только пожала мне руку на прощание, но и обещала, что будет проситься за меня замуж, и я, конечно, на ней женюсь.

— Это невозможно, говорю вам: она — ваша крестная мать; пожимать руку своему крестнику — ужасный грех; вступать в брак с крестной матерью не разрешается; это запрещено и божескими и людскими законами.

— Вы шутите, дядюшка! Чего ради запрещать брак с крестной матерью, если она молода и хороша собой. В книге, которую вы мне подарили, нигде не сказано, что грешно человеку жениться на девушке, которая помогла ему креститься. Я вижу, у вас тут каждый день происходит множество вещей, о которых нет ни слова в вашей книге, и не выполняется ровно ничего из того, что в ней написано; признаюсь, это и удивляет меня и сердит. Если под предлогом крещения меня лишат прекрасной Сент-Ив, то, предупреждаю вас, я увезу ее и раскрещусь.

Приор совсем растерялся; сестра его заплакала.

— Дорогой братец, — проговорила она, — мы не можем допустить, чтобы наш племянник обрек себя на вечную гибель. Святейший папа может дать ему дозволение на этот брак, и тогда он будет по-христиански счастлив с той, кого любит.

Простодушный, заключив тетушку в объятия, спросил:

— Кто же он, этот превосходный человек, который так добр, что помогает юношам и девушкам в устройстве их любовных дел? Я сейчас же схожу и потолкую с ним.

Ему объяснили, кто такой папа; Простодушный удивился пуще прежнего.

— В вашей книге, дорогой дядюшка, про все это нет ни звука; мне довелось путешествовать, я знаю, как неверно море; мы тут находимся на берегу океана, а мне придется покинуть мадемуазель де Сент-Ив и просить разрешения любить ее у человека, который живет вблизи Средиземного моря, за четыреста лье отсюда, и говорит на непонятном мне языке; это до не постижимости нелепо. Сейчас же пойду к аббату де Сент-Ив, который живет всего в одном лье отсюда, и ручаюсь вам, что женюсь на моей возлюбленной сегодня же.

Не успел он договорить, как вошел судья и, верный своему обыкновению, спросил Простодушного, куда он идет.

— Иду жениться,— отвечал тот, убегая.

И через четверть часа он был уже у своей прекрасной и дорогой бретонки, которая еще спала.

— Ах, братец! — сказала м-ль де Керкабон приору. — Не бывать нашему племяннику иподьяконом.

Судья был очень раздосадован намерением Простодушного, так как предполагал женить на м-ль де Сент-Ив своего сына, который был еще глупее и несноснее, чем отец.

Глава шестая

ПРОСТОДУШНЫЙ СПЕШИТ К ВОЗЛЮБЛЕННОЙ И ВПАДАЕТ В НЕИСТОВСТВО

Прибежав в аббатство, Простодушный спросил у старой служанки, где спальня ее госпожи, распахнул незапертую дверь и кинулся к кровати. М-ль де Сент-Ив, внезапно пробудившись, вскрикнула:

— Как, это вы? Ах, это вы? Остановитесь, что вы делаете?

Он ответил:

— Женюсь на вас.

И женился бы на самом деле, если бы она не стала

отбиваться со всей добросовестностью, какая приличествует хорошо воспитанной особе.

Простодушному было не до шуток; ее жеманство представлялось ему крайне невежливым.

— Не так вела себя мадемуазель Абакаба, первая моя возлюбленная. Вы поступаете нечестно: обещали вступить со мной в брак, а теперь не хотите; вы нарушаете основные законы чести; я научу вас держать слово и верну на путь добродетели.

А добродетель у Простодушного была мужественная и неустрашимая, достойная его патрона Геракла, чьим именем он был наречен при крещении. Он готов был уже пустить ее в ход во всем ее объеме, когда на пронзительные вопли барышни, более сдержанной в проявлении добродетели, сбежались благоразумный аббат де Сент-Ив со своей ключницей, его старый набожный слуга и еще некий приходский священник. При виде их отвага нападающего умерилась.

— Ах, боже мой, дорогой сосед,— сказал аббат,— что вы тут делаете?

— Исполняю свой долг,— ответил молодой человек.— Хочу выполнить свои обеты, которые священны.

Раскрасневшаяся Сент-Ив начала приводить себя в порядок. Простодушного увели в другую комнату. Аббат стал ему объяснять всю гнусность его поведения. Простодушный сослался в свое оправдание на преимущества естественного права, известного ему в совершенстве. Аббат стал доказывать, что следует отдать решительное предпочтение праву гражданскому, ибо, не будь между людьми договорных соглашений, естественное право почти всегда обращалось бы в естественный разбой.

— Нужны нотариусы, священники, свидетели, договоры, дозволения,— говорил он.

Простодушный в ответ на это выдвинул соображение, неизменно приводимое дикарями:

— Вы, стало быть, очень бесчестные люди, если вам нужны такие предосторожности.

Нелегко было аббату найти правильное решение этого запутанного вопроса.

— Признаюсь,— вымолвил он,— среди нас немало ветреников и плутов, и столько же было бы их и у гуронов, живи они скопом в большом городе, однако же

встречаются и благодетельные, честные, просвещенные души, и вот этими-то людьми и установлены законы. Чем лучше человек, тем покорнее должен он им подчиняться. Надо подавать пример порочным, которые уважают узду, наложенную на себя добродетелью.

Этот ответ поразил Простодушного. Уже замечено было ранее, что он обладал способностью судить здраво. Его укротили льстивыми словами, ему подали надежду: таковы две западни, в которые попадают люди обоих полушарий. К нему привели даже м-ль де Сент-Ив, после того как она оделась. Все обошлось благопристойнейшим образом, но, невзирая на соблюдение всех приличий, сверкающие глаза Простодушного заставляли его возлюбленную потуплять очи и повергали в трепет все общество.

Спровести его назад, к дядюшке и тетушке, оказалось делом крайне трудным. Пришлось снова пустить в ход влияние прекрасной Сент-Ив. Чем яснее сознавала она свою власть над ним, тем большею проникалась к нему любовью. Она принудила его удалиться и была этим очень огорчена. Наконец, когда он ушел, аббат, который не только приходился братом м-ль де Сент-Ив, но, будучи на много лет старше ее, был также и ее опекуном, решил избавить свою подопечную от усердных ухаживаний исступленного обожателя. Он решил поговорить с судьей, и тот, мечтая женить сына на сестре аббата, посоветовал заточить бедную девушку в обитель. Это был жестокий удар: если бы отдали в монастырь бесчувственную, и та возопила бы, но влюбленную, да еще так нежно, и притом благодетельную! — было от чего впасть в отчаяние.

Простодушный, вернувшись к приору, рассказал все с обычным своим чистосердечием. Ему пришлось выслушать все те же увещания; они оказали некоторое действие на его рассудок, но никак не на его чувства. На следующий день, когда он собрался было снова навестить свою прекрасную возлюбленную, чтобы порассуждать с ней о естественном праве и праве гражданском, истекающем из договоров, г-н судья сообщил ему с оскорбительным злорадством, что она в монастыре.

— Ну что ж, — ответил тот, — порассуждаем в монастыре.

— Это невозможно,— сказал судья.

Он пространно объяснил ему, что такое монастырь, и сказал, что французское слово «couvent» или «convent» происходит от латинского «conventus»,— то есть «собрание», но гурон не понимал, почему он не может быть допущен на это собрание. Однако, как только его поставили в известность, что означенное собрание является подобием тюрьмы, где молодых девушек держат взаперти,— жестокость, неведомая ни гуроном, ни англичанам,— он расвирепел так же, как патрон его Геракл, когда Эврит, царь Эхалийский, не менее безжалостный, чем аббат де Сент-Ив, отказался выдать за него свою дочь, прекрасную Иолу, не менее прекрасную, чем сестра аббата. Он заявил, что подожжет монастырь и похитит возлюбленную или сгорит вместе с нею. М-ль де Керкабон, придя в ужас, потеряла всякую надежду на посвящение племянника в иподьяконы и вымолвила со слезами, что с тех пор, как его крестили, в него вселился дьявол.

Глава седьмая

ПРОСТОДУШНЫЙ ОТБИВАЕТ АНГЛИЧАН

Простодушный, погруженный в мрачное и глубокое уныние, прогуливался по берегу моря с двуствольным ружьем за плечом, с большим ножом у бедра, постреливал птиц и частенько испытывал желание выстрелить в себя; однако жизнь была ему еще дорога из-за м-ль де Сент-Ив. То он проклинал дядю, тетку, всю Нижнюю Бретань и свое крещение, то благословлял их, ибо только благодаря им познакомился с той, кого любил. Он принимал решение поджечь монастырь и сразу же отступался от него из опасения, что сожжет и возлюбленную. Волны Ла-Манша не бушуют так под напором восточных и западных ветров, как бушевало его сердце под воздействием противоречивых побуждений.

Он шел большими шагами, сам не ведая куда, когда вдруг услышал барабанный бой. Вдалеке видна была целая толпа; какие-то люди бежали к берегу, другие поспешно отступали.

Со всех сторон раздаются многоголосые вопли; любопытство и отвага гонят Простодушного туда, откуда

они доносятся. Начальник гарнизона, который ужинал с ним в свое время у приора, узнал его тотчас же и подбежал к нему с распростертыми объятиями:

— Ах, это Простодушный! Он будет сражаться за нас.

Его солдаты, умиравшие со страху, приободрились и тоже закричали:

— Это Простодушный! Это Простодушный!

— В чем дело, господа? — спросил он. — Чем вы так встревожены? Или ваших возлюбленных отдали в монастырь?

Тогда сотни нестройных голосов закричали:

— Разве вы не видите, что англичане причаливают к берегу?

— Ну так что же? — возразил гурон. — Это хорошие люди; они не отнимали у меня моей возлюбленной.

Начальник объяснил ему, что англичане собираются ограбить Горное аббатство, выпить вино его дядюшки и, может быть, похитить м-ль де Сент-Ив; что у кораблика, на котором Простодушный прибыл в Бретань, была только одна цель — произвести разведку, что они открыли военные действия, не объявив войны французскому королю, и что вся область в опасности.

— А если так, то они нарушают естественное право; предоставьте мне действовать по-своему; я долго жил у них, знаю их язык, и я потолкую с ними; не думаю, чтобы у них были такие злостные намерения.

Пока шел этот разговор, английская эскадра приблизилась; вот гурон бежит к берегу, вскакивает в лодку, подплывает, всходит на адмиральский корабль и спрашивает, верно ли, что они собираются опустошить страну, не объявив по-честному войны. Адмирал и вся команда покатались со смеху, напоили Простодушного пуншем и выпроводили вон.

Простодушный, обидевшись, уже не помышляет ни о чем другом, как только сразиться с прежними друзьями, став на защиту нынешних своих соотечественников и г-на приора; отовсюду сбегаются окрестные дворяне; он присоединяется к ним; у них было несколько пушек; он заряжает их, наводит и стреляет из каждой поочередно. Англичане высаживаются на берег; он бросается на них, убивает троих и даже ранит адмирала, который давеча посмеялся над ним. Доблесть его

возбуждает мужество отряда; англичане бегут на свои корабли, и весь берег оглашается победными криками:

— Да здравствует король! Да здравствует Простодушный!

Все обнимали его, все спешили унять кровь, сочившуюся из полученных им легких ран.

— Ах,— говорил он,— если бы мадемуазель де Сент-Ив была здесь, она наложила бы мне повязку.

Судья, который во время боя прятался в погребе, пришел вместе с другими поздравить его. Каково же было его изумление, когда он услышал, что Геракл Простодушный, обращаясь к дюжине окружавших его благонамеренных молодых людей, сказал:

— Друзья мои, выручить из беды Горное аббатство — это ничего не стоит, а вот надо выручить девушку.

Пылкая молодежь мгновенно воспламенилась от таких слов. За Простодушным уже следовала толпа, все уже бежали к монастырю. Если бы судья не дал сразу же знать начальнику гарнизона, если бы за веселым воинством не была направлена погоня, дело было бы сделано. Простодушного водворили назад, к дядюшке и тетушке, которые оросили его слезами нежности.

— Вижу, что не бывать вам ни иподьяконом, ни приором,— сказал дядюшка.— Из вас выйдет офицер, еще более храбрый, чем мой брат-капитан, и, вероятно, такой же голодранец, как он.

А мадемуазель де Керкабон все плакала, обнимая его и приговаривая:

— Убьют его, как братца. Куда было бы лучше, если бы он сделался иподьяконом.

Простодушный подобрал во время боя большой, набитый гинейми кошелек, который обронил, вероятно, адмирал. Он не сомневался, что на эти деньги можно скупить всю Нижнюю Бретань, а главное, превратить м-ль де Сент-Ив в знатную даму. Все убеждали его съездить в Версаль и получить вознаграждение по заслугам. Начальник гарнизона и старшие офицеры снабдили его множеством удостоверений. Дядюшка и тетушка отнеслись к этому путешествию племянника одобрительно. Добиться представления королю не составит труда, и вместе с тем это чудесно прославит его на весь округ. Оба добряка пополнили английский

кошелек кругленькой суммой из собственных сбережений. Простодушный размышлял про себя: «Когда увижу короля, я попрошу у него руки м-ль де Сент-Ив, и он, конечно, мне не откажет». И уехал под приветственные клики всей округи, удушенный объятиями и орошенный слезами тетушки, получив благословение дядюшки и поручив себя молитвам прекрасной Сент-Ив.

Глава восьмая

ПРОСТОДУШНЫЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ КО ДВОРУ. ПО ДОРОГЕ ОН УЖИНАЕТ С ГУГЕНОТАМИ

Простодушный поехал по Сомюрской дороге в почтовой колымаге, потому что в те времена не было более удобных способов передвижения. Прибыв в Сомюр, он удивился, застав город почти опустевшим и увидав несколько отъезжающих семейств. Ему сказали, что шесть лет назад в Сомюре было более пятнадцати тысяч душ, а сейчас в нем нет и шести тысяч. Он не преминул заговорить об этом в гостинице за ужином. За столом было несколько протестантов; одни из них горько сетовали, другие дрожали от гнева, иные говорили со слезами:

...Nos dulcia linquimus arva,
Nos patriam fugimus...

Простодушный, не зная латыни, попросил растолковать ему эти слова; они означали: «Мы покидаем наши милые поля, мы бежим из отчизны».

— Отчего же вы бежите из отечества, господа?

— От нас требуют, чтобы мы признали папу.

— А почему вы его не признаете? Вы, стало быть, не собираетесь жениться на своих крестных матерях? Мне говорили, что он дает разрешения на такие браки.

— Ах, сударь, папа говорит, что он — хозяин королевских владений.

— Позвольте, господа, а у вас-то какой род занятий?

— Большинство из нас сукноторговцы и фабриканты.

— Если ваш папа говорит, что он хозяин ваших сукон и фабрик, то вы правы, не признавая его, но что

касается королей, это уж их дело: вам-то зачем в него вмешиваться?

Тогда в разговор вступил некий человек, одетый во все черное, и очень толково изложил, в чем заключается их неудовольствие. Он так выразительно рассказал об отмене Нантского эдикта и так трогательно оплакал участь пятидесяти тысяч семейств, спасшихся бегством, и других пятидесяти тысяч, обращенных в католичество драгунами, что Простодушный, в свою очередь, пролил слезы...

— Как же это так получилось,— промолвил он,— что столь великий король, чья слава простирается даже до страны гуронов, лишил себя такого множества сердец, которые могли бы его любить, и такого множества рук, которые могли бы служить ему?

— Дело в том, что его обманули, как обманывали и других великих королей,— ответил черный человек.— Его уверили, что стоит ему только сказать слово, как все люди станут его единомышленниками, и он заставит нас переменить веру так же, как его музыкант Люлли в один миг меняет декорации в своих операх. Он не только лишается пятисот — шестисот тысяч полезных ему подданных, но и наживает в них врагов. Король Вильгельм, который правит теперь Англией, составил несколько полков из тех самых французов, которые могли бы сражаться за своего монарха. Это бедствие тем более удивительно, что нынешний папа, ради которого Людовик Четырнадцатый пожертвовал частью своего народа,— его открытый враг. Они до сих пор в ссоре, и она длится девять лет. Эта ссора зашла так далеко, что Франция уже надеялась сбросить наконец ярмо, подчиняющее ее столько веков иноземцу, а главное, не платить ему больше денег, которые являются самым важным двигателем в делах мира сего. Итак, очевидно, что великому королю внушили ложное представление о его выгодах, равно как и о пределах его власти, и нанесли ущерб великодушию его сердца.

Простодушный, растроганный, спросил, кто же эти французы, смеющие обманывать подобным образом столь любезного гуронам монарха.

— Это иезуиты,— сказали ему в ответ,— и в особенности отец де Ла Шез, духовник его величества. Надеюсь, что бог накажет их когда-нибудь и что

они будут гонимы так же, как сейчас гонят нас. Какое горе сравнится с нашим? Господин де Лувуа насылет на нас со всех сторон иезуитов и драгунов.

— О господи! — воскликнул Простодушный, будучи уже не в силах сдерживать себя.— Я еду в Версаль, чтобы получить награду, которая следует мне за мои подвиги; я потолкую с господином Лувуа, мне говорили, что в королевском министерстве он ведает военными делами. Я увижу короля и открою ему истину, а познав истину, нельзя ей не последовать. Я скоро вернусь назад и вступлю в брак с мадемуазель де Сент-Ив; прошу вас пожаловать на свадьбу.

Его приняли за вельможу, путешествующего инкогнито в почтовой колымаге, а иные — за королевского шута.

За столом сидел переодетый иезуит, состоявший сыщиком при преподобном отце де Ла Шез. Он осведомлял его обо всем, а отец де Ла Шез передавал эти сообщения г-ну де Лувуа. Сыщик настроил письмо. Простодушный прибыл в Версаль почти одновременно с этим письмом.

Глава девятая

ПРИБЫТИЕ ПРОСТОДУШНОГО В ВЕРСАЛЬ. ПРИЕМ ЕГО ПРИ ДВОРЕ

Простодушный въезжает в «горшке»¹ на задний двор. Он спрашивает у носильщиков королевского паланкина, в котором часу можно повидаться с королем. Те в ответ только нагло смеются — совсем как английский адмирал. Простодушный обошелся с ними точно так же, как с адмиралом, то есть отколотил их. Они не захотели остаться в долгу, и дело, вероятно, дошло бы до кровопролития, если бы проходивший мимо лейб-гвардеец, бретонец родом, не разогнал челядь.

— Сударь,— сказал ему путешественник,— вы, сдается мне, порядочный человек. Я — племянник господина приора храма Горной богородицы; я убил несколько англичан, и мне нужно поговорить с королем. Проведите меня, пожалуйста, в его покои.

¹ Это экипаж, возивший из Парижа в Версаль, похожий на маленькую крытую двуколку.

Гвардеец, обрадовавшись встрече с земляком, не сведущим, по-видимому, в придворных порядках, сообщил ему, что так с королем не поговоришь, а надо, чтобы он был представлен его величеству монсеньором де Лувуа.

— Так проведите меня к монсеньору де Лувуа, который, без сомнения, представит меня королю.

— Разговора с монсеньором де Лувуа еще труднее добиться, чем разговора с его величеством,— ответил гвардеец.— Но я провожу вас к господину Александру, начальнику военной канцелярии; это то же самое, что поговорить с самим министром.

Они идут к этому господину Александру, начальнику канцелярии, но попасть к нему не могут: он занят важным разговором с некой придворной дамой, и к нему никого не пускают.

— Ну что ж,— говорит гвардеец,— беда не велика; пойдем к старшему письмоводителю господина Александра: это все равно, что поговорить с ним самим.

Крайне изумленный гурон следует за своим вожаком; они полчаса сидят в тесной приемной.

— Что же это такое? — недоумевал Простодушный.— Неужели в здешних местах все люди невидимки? Куда легче сражаться в Нижней Бретани с англичанами, чем увидеть в Версале тех, к кому имеешь дело.

Он развеял скуку, рассказав гвардейцу историю своей любви. Однако бой часов напомнил тому, что пора возвращаться к исполнению служебных обязанностей. Они уговорились завтра повидаться снова, а пока что Простодушный просидел в приемной еще полчаса, размышляя о м-ль де Сент-Ив и о том, как трудно добиться разговора с королями и старшими письмоводителями.

Наконец этот важный начальник появился.

— Сударь,— сказал Простодушный,— если бы, намереваясь отбить англичан, я стал зря терять столько времени, сколько потерял его сейчас, ожидая, чтобы вы меня приняли, англичане спокойнейшим образом успели бы разорить Нижнюю Бретань.

Чиновник был совершенно ошеломлен такой речью.

— Чего вы домогаетесь? — спросил он наконец.

— Награды,— ответил тот.— Вот мои бумаги.— И он протянул все свои удостоверения.

Чиновник прочитал их и сказал, что, возможно, подателю разрешат купить чин лейтенанта.

— Купить? Чтобы я еще платил деньги за то, что отбил англичан? Чтобы покупал право быть убитым в сражении за вас, пока вы тут спокойненько принимаете посетителей? Вам, видимо, угодно посмеяться надо мной! Я желаю получить командование кавалерийской ротой безвозмездно; желаю, чтобы король выпустил мадемуазель де Сент-Ив из монастыря и выдал бы ее замуж за меня; желаю поговорить с королем об оказании милости пятидесяти тысячам семейств, которые я намерен вернуть ему. Одним словом, я желаю быть полезным; пусть меня приставят к делу и производят в чин.

— Кто вы такой, сударь, что осмеливаетесь говорить так громко?

— Ах, так! — воскликнул Простодушный. — Выходит, вы не прочли моих удостоверений? Таков, значит, ваш обычай? Мое имя — Геракл де Керкабон; я крещеный, стою в гостинице «Синие часы» и обязательно пожалею на вас королю.

Письмоводитель, подобно сомюрцам, решил, что Простодушный не в своем уме, и не придал его словам особого значения.

В тот же день преподобный отец де Ла Шез, духовник Людовика XIV, получил письмо от своего шпиона; тот обвинял бретонца Керкабона в тайном сочувствии гугенотам и в порицании иезуитов. Г-н де Лувау, со своей стороны, получил письмо от вопрошающего судьи, который изображал Простодушного как повесу, намеревающегося жечь монастыри и похищать невинных девушек.

Простодушный, погуляв по версальским садам, которые нагнали на него скуку, поужинав по-гуронски и по-нижнебретонски, улегся спать, питая сладостную надежду, что завтра увидит короля, испросит его согласия на брак с м-ль де Сент-Ив, получит по меньшей мере роту кавалерии и добьется прекращения гонений на гугенотов. Он убаюкивал себя этими радужными мечтами, когда в комнату вошли стражники. Они первым делом отобрали у него двустольное ружье и огромную саблю.

Составив опись наличных денег Простодушного, его отвезли в замок, построенный королем Карлом, сыном Иоанна, близ улицы Св. Антония, у Башенных ворот.

Как был потрясен Простодушный во время этого путешествия, вообразите сами. Сперва ему казалось, что это сон; он был в оцепенении, но потом вдруг схватил за горло двух своих провожатых, сидевших с ним в карете, выбросил их вон, сам бросился вслед за ними и увлек за собой третьего, который пытался его удержать. Он упал от изнеможения, тогда его связали и опять усадили в карету.

— Так вот какова награда за изгнание англичан из Нижней Бретани! — воскликнул он. — Что сказала бы ты, прекрасная Сент-Ив, если бы увидела меня в этом положении!

Подъезжают наконец к предназначенному ему жилью и молча, как покойника на кладбище, вносят в камеру, где ему предстоит отбывать заключение. Там уже два года томился некий старый отшельник из Пор-Рояля по имени Гордон.

— Вот, привел вам товарища, — сказал ему начальник стражи.

И тотчас же задвинулись огромные засовы на массивной двери, окованной железом. Узники были отлучены от всего мира.

Глава десятая

ПРОСТОДУШНЫЙ ЗАКЛЮЧЕН В БАСТИЛИЮ С ЯНСЕНИСТОМ

Гордон был ясный духом и крепкий телом старик, обладавший двумя великими талантами: стойко переносить превратности судьбы и утешать несчастных. Он подошел к Простодушному, обнял его и сказал с искренним сочувствием:

— Кто бы ни были вы, пришедший разделить со мной эту могилу, будьте уверены, что я в любую минуту готов забыть о себе ради того, чтобы облегчить ваши страдания в той адской бездне, куда мы погружены. Преклонимся перед провидением, которое привело нас сюда, будем смиренно терпеть ниспосланные нам горести и надеяться на лучшее.

Эти слова подействовали на душу гурона, как английские капли, которые возвращают умирающего к жизни и заставляют его удивленно открывать глаза.

После первых приветствий Гордон, отнюдь не пытаюсь выведать у Простодушного, что послужило причиной его несчастья, мягкостью своего обращения и тем участием, которым проникаются друг к другу страдальцы, внушил тому желание облегчить душу и сбросить гнетущее ее бремя; но так как гурон сам не понимал, из-за чего с ним случилась эта беда, то считал ее следствием без причины. Он мог только дивиться, и вместе с ним дивился добряк Гордон.

— Должно быть,— сказал янсенист гурону,— бог предназначает вас для каких-то великих дел, раз он привел вас с берегов озера Онтарио в Англию и Францию, дозволил принять крещение в Нижней Бретани, а потом, ради вашего спасения, заточил сюда.

— По совести говоря,— ответил Простодушный,— мне кажется, что судьбой моей распорядился не бог, а дьявол. Мои американские соотечественники ни за что не допустили бы такого варварского обращения, какое я сейчас терплю: им бы это просто в голову не пришло. Их называют дикарями, а они хотя и грубы, но добродетельны, тогда как жители этой страны хотя и утонченны, но отъявленные мошенники. Разумеется, я не могу не изумляться тому, что приехал из Нового Света в Старый только для того, чтобы очутиться в камере за четырьмя засовами в обществе священника; но тут же я вспоминаю великое множество людей, покинувших одно полушарие и убитых в другом или потерявших кораблекрушение в пути и съеденных рыбами. Что-то я не вижу во всем этом благих предначертаний божьих.

Им подали через окошечко обед. Разговор от провидения перешел на приказы об арестах и на умение не падать духом в несчастье, которое может постичь в этом мире любого смертного.

— Вот уже два года, как я здесь,— сказал старик,— и утешение нахожу только в самом себе и в книгах; однако я ни разу не впадал в уныние.

— Ах, господин Гордон! — воскликнул Простодушный.— Вы, стало быть, не влюблены в свою крестную

мать! Будь вы, подобно мне, знакомы с мадемуазель де Сент-Ив, вы тоже пришли бы в отчаянье.

При этих словах он невольно залился слезами, после чего почувствовал, что уже не так подавлен, как прежде.

— Отчего слезы приносят облегчение? — спросил он. — По-моему, они должны были бы производить обратное действие.

— Сын мой, все в нас — проявление физического начала, — ответил почтенный старик. — Всякое выделение жидкости полезно нашему телу, а что приносит облегчение телу, то облегчает и душу: мы просто-напросто машины, которыми управляет провидение.

Простодушный, обладавший, как мы говорили уже много раз, большим запасом здравого смысла, глубоко задумался над этой мыслью, зародыш которой существовал в нем, кажется, и ранее. Немного погодя он спросил своего товарища, почему его машина вот уже два года находится под четырьмя засовами.

— Такова искупительная благодать, — ответил Гордон. — Я слышу янсенистом, знаком с Арно и Николем; иезуиты подвергли нас преследованиям. Мы считаем папу обыкновенным епископом, и на этом основании отец де Ла Шез получил от короля, своего духовного сына, распоряжение отнять у меня величайшее из людских благ — свободу.

— Как все это странно! — сказал Простодушный. — Во всех несчастьях, о которых мне пришлось слышать, всегда виноват папа. Что касается вашей искупительной благодати, то, признаться, я ничего в ней не смыслю, но зато величайшей благодатью считаю то, что в моей беде бог послал мне вас, человека, который смог утешить мое, казалось бы, безутешное сердце.

С каждым днем их беседы становились все занимательнее и поучительнее, а души все более и более сближались. У старца были немалые познания, а у молодого — немалая охота к их приобретению. Геометрию он изучил за один месяц, — он прямо-таки пожирал ее. Гордон дал ему прочитать «Физику» Рого, которая в то время была еще в ходу, и Простодушный оказался таким сообразительным, что усмотрел в ней одни неясности.

Затем он прочитал первый том «Поисков истины». Все предстало перед ним в новом свете.

— Как! — говорил он. — Воображение и чувство до такой степени обманчивы! Как! Внешние предметы не являются источником наших представлений! Более того — мы даже не можем по своей воле составить себе их!

Прочитав второй том, он уже не был так доволен и решил, что легче разрушать, чем строить.

Его товарищ, удивленный тем, что молодой невежда высказал мысль, доступную лишь искушенным умам, возымел самое высокое мнение о его рассудке и привязался к нему еще сильнее.

— Ваш Мальбранш, — сказал однажды Простодушный, — одну половину своей книги написал по внушению разума, а другую — по внушению воображения и пр-драссудков.

Несколько дней спустя Гордон спросил его:

— Что же думаете вы о душе, о том, как складываются у нас представления, о нашей воле, о благодати и о свободе выбора?

— Ничего не думаю, — ответил Простодушный. — Если и были у меня какие-нибудь мысли, так только о том, что все мы, подобно небесным светилам и стихиям, подвластны Вечному Существо, что наши помыслы исходят от него, что мы — лишь мелкие колесики огромного механизма, душа которого — это Существо, что воля его проявляется не в частных намерениях, а в общих законах. Только это кажется мне понятным, остальное — темная бездна.

— Но, сын мой, по-вашему выходит, что и грех — от бога.

— Но, отец мой, по вашему учению об искупительной благодати выходит то же самое, ибо все, кому отказано в ней, не могут не грешить; а разве тот, кто отдает нас во власть злу, не есть исток зла?

Его наивность сильно смущала доброго старика; тщетно пытаясь выбраться из трясины, он нагромождал столько слов, казалось бы, осмысленных, а на самом деле лишенных смысла (вроде физической премоции), что Простодушный даже проникся жалостью к нему. Так как все, очевидно, сводилось к происхождению добра и зла, то бедному Гордону пришлось пустить в ход

и ларчик Пандоры, и яйцо Оромазда, продавленное Ариманом, и нелады Тифона с Озирисом, и, наконец, первородный грех; оба друга блуждали в этом непроглядном мраке и так и не смогли сойтись. Тем не менее эта повесть о похождениях души отвлекла их взоры от лицезрения собственных несчастий, и мысль о множестве бедствий, излитых на вселенную, по какой-то непонятной причине умалила их скорбь: раз кругом все страждет, они уже не смели жаловаться на собственные страдания.

Но в ночной тишине образ прекрасной Сент-Ив изгонял из сознания ее возлюбленного все метафизические и нравственные идеи. Он просыпался в слезах, и старый янсенист, забыв об искупительной благодати, и о Сен-Сиранском аббате, и Янсениусе, утешал молодого человека, находившегося, по его мнению, в состоянии смертного греха.

После чтения, после отвлеченных рассуждений они начинали вспоминать все, что с ними случилось, а после этих бесцельных разговоров снова принимались за чтение, совместное или раздельное. Ум молодого человека все более развивался. Он особенно преуспел бы в математике, если бы его все время не отвлекал от занятий образ м-ль де Сент-Ив.

Он начал читать исторические книги, и они опечалили его. Мир представлялся ему слишком уж ничтожным и злым. В самом деле, история — это не что иное, как картина преступлений и несчастий. Толпа людей, невинных и кротких, неизменно теряется в безвестности на обширной сцене. Действующими лицами оказываются лишь порочные честолюбцы. История, по-видимому, только тогда и нравится, когда представляет собой трагедию, которая становится томительной, если ее не оживляют страсти, злодейства и великие невзгоды. Клио надо вооружать кинжалом, как Мельпомену.

Хотя история Франции, подобно истории всех прочих стран, полна ужасов, тем не менее она показалась ему такой отвратительной вначале, такой сухой в середине, напоследок же, даже во времена Генриха IV, такой мелкой и скудной по части великих свершений, такой чуждой тем прекрасным открытиям, какими прославили себя другие народы, что Простодушному приходилось перебарывать скуку, одолевая подробное повествование

о мрачных событиях, происходивших в одном из закоулков нашего мира.

Тех же взглядов держался и Гордон: обоих разбирал презрительный смех, когда речь шла о государях фезансакских, фезансагетских и астаракских. Да и впрямь, такое исследование пришлось бы по душе разве что потомкам этих государей, если бы таковые нашлись. Прекрасные века Римской республики сделали гурона на время равнодушным к прочим странам земли. Победоносный Рим, законодатель народов,— это зрелище поглотило всю его душу. Он воспламенялся, любуясь народом, которым в течение целых семи столетий владела восторженная страсть к свободе и славе.

Так проходили дни, недели, месяцы, и он почитал бы себя счастливым в этом приюте отчаянья, если бы не любил.

По своей природной доброте он горевал, вспоминая о приоре храма Горной богоматери и о чувствительной м-ль де Керкабон.

«Что подумают они,— часто размышлял он,— не получая от меня известий? Разумеется, сочтут меня неблагодарным!»

Эта мысль тревожила Простодушного: тех, кто его любил, он жалел гораздо больше, чем самого себя.

Глава одиннадцатая

КАК ПРОСТОДУШНЫЙ РАЗВИВАЕТ СВОИ ДАРОВАНИЯ

Чтение возвышает душу, а просвещенный друг доставляет ей утешение. Наш узник пользовался обоими этими благами, о существовании которых раньше и не подозревал.

— Я склонен уверовать в метаморфозы,— говорил он,— ибо из животного превратился в человека.

На те деньги, которыми ему позволили располагать, он составил себе отборную библиотеку. Гордон побуждал его записывать свои мысли. Вот что написал Простодушный о древней истории:

«Мне кажется, что народы долгое время были такими, как я, что лишь очень поздно они достигли образованности, что в продолжение многих веков их занимал только текущий день, прошедшее же очень мало, а буду-

щее было совсем безразлично. Я обошел всю Канаду, углублялся в эту страну на пятьсот — шестьсот лье и не набрал ни на один памятник прошлого: никто не знает, что делал его прадед. Не таково ли естественное состояние человека?

Порода, населяющая этот материк, более развита, на мой взгляд, чем та, которая населяет Новый Свет. Уже в течение нескольких столетий расширяет она пределы своего бытия с помощью искусств и наук. Не оттого ли это, что подбородки у европейцев обросли волосами, тогда как американцам бог не дал бороды? Думаю, что не оттого, так как вижу, что китайцы, будучи почти безбородыми, упражняются в искусствах уже более пяти тысяч лет. В самом деле, если их летописи насчитывают не менее четырех тысячелетий, стало быть, этот народ около пятидесяти веков назад уже был един и процветал.

В древней истории Китая особенно поражает меня то обстоятельство, что почти все в ней правдоподобно и естественно, что в ней нет ничего чудесного.

Почему же все прочие народы приписывают себе сказочное происхождение? Древние французские летописцы, не такие уж, впрочем, древние, производят французов от некоего Франка, сына Гектора; римляне утверждают, что происходят от какого-то фригийца, невзирая на то, что в их языке нет ни единого слова, которое имело бы хоть какое-нибудь отношение к фригийскому наречию; в Египте десять тысяч лет обитали боги, а в Скифии — бесы, породившие гуннов. До Фукидида я не нахожу ничего, кроме романов, которые напоминают «Амадисов», только гораздо менее увлекательны. Всюду привидения, прорицания, чудеса, волхвования, превращения, истолкованные сны, которые решают участь как величайших империй, так и мельчайших племен: тут говорящие звери, там звери обожествленные, боги, преображенные в людей, и люди, преображенные в богов. Если уж нам так нужны басни, пусть они будут, по крайней мере, символами истины! Я люблю басни философские, смеюсь над ребяческими и ненавижу придуманные обманщиками».

Однажды ему попала в руки история императора Юстиниана. Там было сказано, что константинопольские апедевты издали на очень дурном греческом языке

эдикт, направленный против величайшего полководца того века, ссылаясь на то, что герой этот произнес как-то в пылу разговора такие слова: «Истина сияет собственным светом, и не подобает просвещать умы пламенем костров». Апедевты утверждали, что это положение еретическое, отдающее ересью, и что единственно правильной, всеобъемлющей и греческой является обратная аксиома: «Только пламенем костров просвещаются умы, ибо истина не способна сиять собственным светом». Подобным же образом осудили линоστοлы и другие речи полководца и издали эдикт.

— Как! — воскликнул Простодушный. — И такие-то вот люди издают эдикты?

— Это не эдикты, — возразил Гордон, — это контрэдикты, над которыми в Константинополе издевались все, и в первую голову император; это был мудрый государь, который сумел поставить апедевтов-линостолов в такое положение, что они имели право творить только добро. Он знал, что эти господа и еще кое-кто из пастофоров истощали терпение предшествовавших императоров контрэдиктами по более важным вопросам.

— Он правильно сделал, — сказал Простодушный. — Надо, поддерживая пастофоров, сдерживать их.

Он записал еще много других своих мыслей, и они привели в ужас старого Гордона.

«Как! — думал он, — потратил пятьдесят лет на свое образование, но боюсь, что этот полудиккий мальчик далеко превосходит меня своим прирожденным здравым смыслом. Страшно подумать, но, кажется, я укреплял только предрассудки, а он внемлет одному лишь голосу природы».

У Гордона были кое-какие критические сочинения; периодические брошюры, в которых люди, неспособные произвести что-либо свое, поносят чужие произведения; в которых всякие Визе хулят Расинов, а Фэйди — Фенелонов. Простодушный бегло прочитал их.

— Они подобны тем мошкам, — сказал он, — что откладывают яйца в заднем проходе самых резвых скакунов; однако кони не становятся от этого менее резвы.

Оба философа удостоили лишь мимолетным взглядом эти литературные испражнения.

Вслед за тем они вместе прочитали начальный учеб-

ник астрономии. Простодушный вычертил небесные полушария; его восхищало это величавое зрелище.

— Как печально,— говорил он,— что я приступил к изучению неба как раз в то время, когда у меня отняли право глядеть на него! Юпитер и Сатурн катятся по необозримым просторам, миллионы солнц озаряют миллионы миров, а в том уголке земли, куда я заброшен, есть существа, лишаящие меня, зрячее и мыслящее существо, и всех этих миров, которые я мог бы охватить взором, и даже того мира, где, по промыслу божию, я родился! Свет, созданный на потребу всей вселенной, мне не светит. Его не таили от меня под северным небосклоном, где я провел детство и юность. Не будь здесь вас, мой дорогой Гордон, я впал бы в ничтожество.

Глава двенадцатая

ЧТО ДУМАЕТ ПРОСТОДУШНЫЙ О ТЕАТРАЛЬНЫХ ПЬЕСАХ

Юноша Простодушный был похож на одно из тех выросших на бесплодной земле могучих деревьев, чьи корни и ветви быстро развиваются, стоит их пересадить на благоприятную почву. Как ни удивительно, такой почвой для него оказалась тюрьма.

Среди книг, заполнявших досуг обоих узников, нашлись стихи, переводы греческих трагедий и кое-какие французские театральные пьесы. Стихи, где речь шла о любви, и радовали и печалили Простодушного. Все они говорили ему о его бесценной Сент-Ив! Басня о двух голубях пронзила ему сердце: он-то был лишен возможности вернуться в свою голубятню!

Мольер привел его в восторг: с его помощью гурон познакомился с нравами парижан и одновременно всего рода человеческого.

— Какая из его комедий нравится вам всего более?

— «Тартюф», без сомнения.

— Мне тоже,— сказал Гордон.— В эту темницу свверг меня Тартюф, и возможно, что виновниками вашего несчастья тоже были Тартюфы. А какого вы мнения о греческих трагедиях?

— Для греков они хороши,— ответил Простодушный.

Но когда он прочитал новую «Ифигению», «Федру», «Андромаху», «Гофолию», он пришел в полное восхищение, вздыхал, лил слезы и, не заучивая, запомнил их наизусть.

— Прочтите «Родогуну»,— сказал Гордон.— Говорят, это верх театрального совершенства; другие пьесы, доставившие вам столько удовольствия, не идут с ней в сравнение.

После первой же страницы молодой человек вскричал:

— Это не того автора!

— Почему вы так думаете?

— Не знаю, но эти стихи ничего не говорят ни уму, ни сердцу.

— Ну, это из-за их качества.

— Зачем же писать стихи такого качества? — возразил Простодушный.

Прочитав внимательнейшим образом всю пьесу ради того лишь, чтобы насладиться ею, Простодушный удивленно уставился на своего друга сухими глазами и не знал, что сказать. Но так как тот требовал, чтобы гурон дал отчет в своих чувствах, он сказал:

— Начала я не понял; середина меня возмутила; последняя сцена очень взволновала, хотя и показалась мало правдоподобной; никто из действующих лиц не возбудил во мне сочувствия; я не запомнил и двадцати стихов, хотя запоминаю все до единого, когда они мне по душе.

— А между тем считается, что это лучшая наша пьеса.

— В таком случае,— ответил Простодушный,— она подобна людям, недостойным мест, которые они занимают. В конце концов, это дело вкуса; мой вкус, должно быть, еще не сложился; я могу и ошибиться; но вы же знаете, я привык говорить все, что думаю, или, скорее, что чувствую. Подозреваю, что людские суждения часто зависят от обманчивых представлений, от моды, от прихоти. Я высказался сообразно своей природе; она, может быть, весьма несовершенна, но может быть и так, что большинство людей недостаточно прислушивается к голосу своей природы.

После этого он произнес несколько стихов из «Ифигении», которых знал множество, и хотя декламировал

он неважно, однако вложил в свое чтение столько искренности и задушевности, что вызвал у старого янсениста слезы. Затем Простодушный прочитал «Цинну»; тут он не плакал, но восхищался.

Глава тринадцатая

ПРЕКРАСНАЯ СЕНТ-ИВ ЕДЕТ В ВЕРСАЛЬ

Пока наш незадачливый гурон скорее просвещается, чем утешается, пока его способности, долго находившиеся в пренебрежении, развиваются так быстро и бурно, пока природа его, совершенствуясь, вознаграждает за обиды, нанесенные ему судьбой, посмотрим, что тем временем происходит с г-ном приором, с его доброй сестрой и с прекрасной затворницей Сент-Ив. Первый месяц прошел в беспокойстве, а на третий месяц они погрузились в скорбь; их пугали ложные догадки и неосновательные слухи; на исходе шестого месяца все сочли, что гурон умер. Наконец г-н де Керкабон и его сестра узнали из письма, давным-давно отправленного бретонским лейб-гвардейцем, что какой-то молодой человек, похожий по описанию на Простодушного, прибыл однажды вечером в Версаль, но что в ту же ночь его куда-то увезли и что с тех пор никто ничего о нем не слышал.

— Увы,— сказала м-ль де Керкабон,— наш племянник сделал, вероятно, какую-нибудь глупость и попал в беду. Он молод, он из Нижней Бретани, откуда же ему знать, как себя вести при дворе? Дорогой братец, я не бывала ни в Версале, ни в Париже; вот отличный случай их посмотреть. Мы разыщем, быть может, нашего бедного племянника,— он сын нашего брата, наш долг помочь ему. Как знать, возможно, когда умирится в нем юношеский пыл, нам в конце концов все же удастся сделать его иподьяконом. У него были большие способности к наукам. Помните, как он рассуждал о Ветхом и Новом завете? Мы отвечаем за его душу — ведь это мы уговорили его креститься. К тому же его милая возлюбленная Сент-Ив целыми днями плачет о нем. Нет, в Париж съездить необходимо. Если он застрял в одном из тех мерзких веселых домов, о которых я столько наслышалась, мы вызволим его оттуда.

Приора тронули речи сестры. Он отправился в Сен-Мало к епископу, который крестил гурона, и попросил у него покровительства и совета. Прелат одобрил мысль о поездке. Он снабдил приора рекомендательными письмами к отцу де Ла Шез, королевскому духовнику и высшему сановнику в королевстве, к парижскому архиепископу Арле и к Боссюэ, епископу города Мо.

Наконец брат и сестра пустились в путь. Однако, приехав в Париж, они потерялись в нем, словно в обширном лабиринте люди, не имеющие путеводной нити. Средства у них были скромные, между тем для розысков им каждый день требовалась карета, а розыски ни к чему не приводили.

Приор отправился к преподобному отцу де Ла Шез, но у того сидела м-ль дю Трон, и ему было не до приоров. Он толкнулся к архиепископу; прелат заперся с прекрасной г-жой де Ледигьер и занимался с ней церковными делами. Он помчался в загородный дом епископа города Мо, но тот в обществе м-ль де Молеон подвергал разбору «Мистическую любовь» г-жи де Гюйон. Ему удалось все же добиться, чтобы эти прелаты выслушали его; оба заявили, что не могут заняться судьбой его племянника, так как он не иподьякон.

Напоследок он повидался с иезуитом; отец де Ла Шез принял его с распростертыми объятиями, уверяя, что всегда питал к нему особое уважение, хотя и не был с ним знаком. Он поклялся, что общество Иисуса всегда было благорасположено к нижнебретонцам.

— Но, быть может,— спросил он,— ваш племянник имеет несчастье быть гугенотом?

— Что вы, преподобный отец, разумеется, нет.

— А он случайно не янсенист?

— Смею заверить вас, ваше преподобие, что и христианин-то он совсем новорожденный: мы крестили его всего одиннадцать месяцев назад.

— Вот и хорошо, вот и хорошо, мы о нем позаботимся. А богат ли ваш приход?

— О нет, совсем бедный, а племянник обходится нам недешево.

— Нет ли у вас по соседству янсенистов? Будьте очень осторожны, господин приор: они опаснее гугенотов и атеистов.

— Их у нас нет, преподобный отец: в приходе Горной богоматери не знают, что такое янсенисты.

— Тем лучше. Поверьте, нет такой вещи, которой я не сделал бы для вас.

Он любезно проводил приора до дверей и мигом забыл о нем.

Время шло; приор и его сестра совсем уже отчаялись.

Между тем гнусный судья торопил свадьбу своего олуха-сына с прекрасной Сент-Ив, которую ради этого выпустили из монастыря. Она по-прежнему любила своего крестника так же сильно, как ненавидела навязанного ей жениха. От обиды на то, что ее заточили в монастырь, страсть только возросла; приказание выйти замуж за сына судьи довершило дело. Сожаление, нежность и страх волновали ей душу. Девичья любовь, как известно, куда изобретательнее, чем привязанность какого-нибудь старого приора или тетушки, которой перевалило за сорок. К тому же молодая девушка очень развилась за время пребывания в монастыре благодаря романам, которые украдкой там прочла.

Она не забыла про письмо, отправленное в свое время лейб-гвардейцем в Нижнюю Бретань и вызвавшее там толки, и решила, что сама разведает дело в Версале, бросится к ногам министра, если верны слухи, что ее возлюбленный в тюрьме, и добьется его оправдания. Какое-то тайное чувство подсказывало ей, что при дворе красивой девушке не откажут ни в чем; но она не знала, во что ей это обойдется.

Приняв решение, она утешилась; она спокойна, не отталкивает больше болвана-жениха, приветливо встречает отвратительного свекра, ласкается к брату, наполняет дом весельем; потом, в тот самый день, когда должна была состояться брачная церемония, уезжает тайком в четыре часа утра, захватив с собой мелкие свадебные подарки и все, что удалось собрать. Все было так хорошо рассчитано, что, когда около полудня зашли к ней в комнату, она была уже за десять лье от дома. Велико было общее изумление и замешательство. Пытливый судья задал за этот день не меньше вопросов, чем обычно задавал за целую неделю, нареченный же супруг превратился еще в большего дурака, чем был раньше. Аббат де Сент-Ив решил в сердцах пуститься в погоню за сестрой. Судья с сыном взяли его сопровождать. Таким

образом почти целый округ Нижней Бретани оказался волею судьбы в Париже.

Прекрасная Сент-Ив понимала, что за ней погонятся. Она ехала верхом и хитро выпрашивала обгонявших ее королевских гонцов, не видели ли они на Парижской дороге толстого аббата, огромного судью и молодого олуха. Узнав на третий день, что они уже нагоняют ее, она свернула на другую дорогу и была столь ловка и удачлива, что добралась до Версаля, в то время как ее тщетно разыскивали в Париже.

Но как вести себя в Версале? Как ей, молодой, красивой, лишенной советчика, лишенной поддержки, ни с кем не знакомой, беззащитной перед опасностями, решиться на поиски лейб-гвардейца? Она надумала обратиться к одному иезуиту низшего ранга: там водились иезуиты всякого рода, пригодные для людей любых сословий. Подобно тому как бог, говорили они, даровал разным породам животных различную пищу, так даровал он и королю особого духовника, которого все искатели духовных должностей величали «главой галликанской церкви»; далее следовали духовники принцесс; у министров не было духовных отцов: не так они были просты, чтобы обзаводиться ими. Были иезуиты, представленные к придворным служителям, и особые иезуиты при горничных, через которых выведывались тайны их хозяек; эта должность считалась очень важной. Прекрасная Сент-Ив обратилась к одному из этих последних; имя его было Тут-и-там. Она исповедалась у него, открыла ему свои похождения, свое звание, свои страхи и заклинала его поселить ее у какой-нибудь небожной особы, которая оградила бы ее от всех соблазнов.

Отец Тут-и-там направил ее к жене одного из придворных виночерпиев, своей вернейшей духовной дочери. Оказавшись у нее в доме, м-ль де Сент-Ив поспешила завоевать доверие и дружбу этой женщины, навела у нее справки о бретонском лейб-гвардейце и пригласила его к себе. Узнав от него, что ее возлюбленный был увезен после разговора со старшим письмоводителем, она бежит к этому чиновнику. При виде красивой женщины тот смягчается, ибо нельзя же спорить с тем, что бог только на то и создал женщин, чтобы укрощать мужчин.

Письмоводитель, развежась, признался ей во всем:

— Ваш возлюбленный уже около года в Бастилии и, не будь вас, просидел бы там, быть может, всю жизнь.

Нежная Сент-Ив упала в обморок. Когда она пришла в себя, письмоводитель сказал ей:

— Я неправомочен творить добро; вся моя власть сводится к тому, что время от времени я могу делать зло. Послушайтесь меня, сейчас же идите к родственнику и любимцу монсеньера де Лувуа, господину де Сен-Пуанж, который творит и добро и зло. У нашего министра две души: одна из них — господин де Сен-Пуанж, другая — госпожа де Дюбеллуа, но ее нет сейчас в Версале. Выход у вас один: умиловить названного мной покровителя.

Прекрасная Сент-Ив, в чьей душе толика радости боролась с глубокой скорбью и слабая надежда — с горестными опасениями, преследуемая братом, обожающая возлюбленного, утирая слезы и проливая их вновь, дрожа, слабея и снова набираясь мужества, устремилась к г-ну де Сен-Пуанж.

Глава четырнадцатая

ПРОСТОДУШНЫЙ РАЗВИВАЕТ СВОЙ УМ

Простодушный быстро преуспевал в науках, особенно в науке о человеке. Быстрое развитие его умственных способностей было вызвано отчасти его душевными свойствами, отчасти же — дикарским воспитанием, ибо, ничему не научившись в детстве, он не имел и предрассудков. Его разум, не искривленный заблуждениями, сохранил всю свою природную прямоту. Он видел вещи такими, каковы они есть, меж тем как мы под воздействием представлений, сообщенных нам в детстве, видим их всю жизнь такими, какими они не бывают.

— Ваши гонители гнусны, — говорил он своему другу Гордону. — Мне жаль, что вас преследуют, но жаль также, что вы — янсенист. Всякая секта представляется мне скопищем заблудших людей. Скажите, существуют ли секты среди математиков?

— Нет, дорогое мое дитя, — ответил ему со вздохом Гордон. — Все люди единодушно признают истину, когда она доказана, но непомерны их раздоры, когда речь идет об истинах неразъясненных.

— Скажите лучше — о неразъясненных заблуждениях. Если бы под грудой доводов, которые обсуждаются столько веков подряд, таилась некая единая истина, ее, несомненно, открыли бы и хоть на этот счет все на свете пришли бы к согласию. Будь эта истина нужна, как солнце нужно земле, она и сверкала бы, как солнце. Нелепо, оскорбительно для всего рода человеческого и преступно по отношению к Верховному и Бесконечному Существо утверждать, будто есть какая-то истина, существенно важная для человека, которую бог утаил.

Все, что говорил юный невежда, научаемый природой, производило глубокое впечатление на обездоленного старого ученого.

— Неужели же,— воскликнул он,— я обрек себя на несчастье ради каких-то бредней? В существовании своего горя я куда более уверен, чем в существовании икупительной благодати. Я трачу дни на рассуждения о свободе бога и рода человеческого, а своей свободы я лишился; ни блаженный Августин, ни святой Проспер не изведут меня из бездны, в которой я обретаюсь.

Простодушный, верный своей натуре, сказал наконец:

— Хотите, чтобы я высказался прямо и откровенно? Тех, кто подвергается гонениям из-за пустых, никому не нужных споров, я нахожу не очень мудрыми, а их гонителей считаю извергами.

Оба узника вполне сходились во взглядах на то, что их обоих заключили в тюрьму несправедливо.

— Я во сто крат более достоин сожаления, чем вы,— говорил Простодушный.— Я родился свободным, как воздух, и дорожил в жизни только этой свободой и предметом моей любви; их у меня отняли. И вот оба мы в оковах, не зная и не имея возможности спросить, за что. Двадцать лет прожил я гуроном. Их называют варварами, потому что они мстят врагам, но зато они никогда не притесняют друзей. Стоило мне вступить на французскую землю, как я пролил кровь за нее; я, быть может, спас целую провинцию — и в награду ввергнут в эту усыпальницу живых, где без вас умер бы от бешенства. Выходит, в этой стране нет законов? Здесь можно осудить человека, не выслушав его... В Англии так не бывает. Ах, не с англичанами мне следовало сражаться!

Так его нарождавшаяся философия не могла укротить натуру, чье наипервейшее право было поругано, и не преграждала путь праведному гневу.

Его товарищ не перечил ему. Разлука всегда усиливает неудовлетворенную любовь, а философия не способна ее умалить. Простодушный говорил о своей дорогой Сент-Ив так же часто, как о морали и метафизике. Чем более очищалось его чувство, тем крепче он ее любил. Он прочитал несколько новых романов. Только в очень немногих нашел он изображение своего душевного состояния. Он чувствовал, что в его сердце скрыто больше, чем во всех прочитанных им книгах.

— Ах,— говорил он,— все эти писатели отличаются только остроумием и мастерством!

Добрый священник-янсенист незаметно стал поверенным его нежной любви. В былые времена любовь была знакома ему только как грех, в котором каются на исповеди. Теперь он научился видеть в ней чувство не только нежное, но и благородное, способное и возвысить и смягчить душу, а порою даже породить добродетель. В конце концов совершилось настоящее чудо: гурон обратил на путь истинный янсениста.

Глава пятнадцатая

ПРЕКРАСНАЯ СЕНТ-ИВ НЕ СОГЛАШАЕТСЯ НА ЩЕКОТЛИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Итак, прекрасная Сент-Ив, преисполненная еще большей нежности, чем ее возлюбленный, отправилась к г-ну де Сен-Пуанж в сопровождении приятельницы, у которой жила,— обе укрытые вуалями. Первый, кого увидела она в дверях, был ее брат, аббат де Сент-Ив, вышедший оттуда. Она оробела, но набожная приятельница успокоила ее.

— Именно потому, что там говорили о вас дурно, должны и вы сказать свое слово. Будьте уверены, что в здешних краях обвинители всегда оказываются правы, если их вовремя не обличить. К тому же, если предчувствие меня не обманывает, вы своим видом окажете гораздо большее влияние, чем ваш брат самыми убедительными словами.

Стоит лишь немного ободрить страстно влюбленную женщину, и она становится неустрашимой. М-ль де Сент-Ив входит в приемную. Ее молодость, ее чарующая внешность, ее нежные очи, чуть увлажненные слезами, привлекли к ней все взоры. Клеветы помощника министра забыли на миг о кумире власти и начали любоваться кумиром красоты. Сен-Пуанж провел ее в свой кабинет. Речь ее была проникновенна и изящна; Сен-Пуанж был растроган; девушка дрожала, он ее успокаивал.

— Приходите сегодня вечером,— сказал он ей.— Ваши дела заслуживают того, чтобы поразмыслить и потолковать о них на досуге. Здесь слишком много народу и прием посетителей производится слишком поспешно, а мне надо серьезно поговорить с вами обо всем, что касается вас.

Затем, воздав хвалу ее красоте и чувствам, он предложил ей прийти к семи часам вечера.

Она явилась без опоздания. Набожная приятельница сопровождала ее и на этот раз, но осталась в приемной, где занялась чтением «Христианского педагога», между тем как Сен-Пуанж и прекрасная Сент-Ив ушли во внутренние покои.

— Поверите ли, сударыня,— начал он,— что ваш брат просил меня отдать приказ о взятии вас под стражу? По правде говоря, я охотно отдал бы приказ о высылке его самого в Нижнюю Бретань.

— Увы, сударь, ваши канцелярии, видно, очень щедры на такие приказы, если за ними приезжают, как за пенсиями, из самых глухих углов королевства. Я очень далека от намерения хлопотать о подобном приказе в отношении моего брата. У меня много оснований жаловаться на него, но я уважаю людскую свободу и прошу об одном — даровать свободу тому, за кого я намерена выйти замуж. Этот человек, сын офицера, убитого на королевской службе, уже спас одну из французских провинций и в будущем тоже может быть очень полезен королю. В чем обвиняют его? Как это возможно, что с ним так жестоко обошлись, даже не выслушав его объяснений?

Тогда помощник министра показал ей письма иезуита-шпиона и коварного судьи.

— Как! Неужели на свете существуют такие изверги? Подумать только, меня хотят насильно выдать замуж за глупейшего сына этого глупейшего и к тому же злобного человека. И от подобных наветов зависит здесь участь граждан!

Она упала на колени и, рыдая, молила выпустить на волю честного юношу, который так горячо ее любит. Состояние, в котором она находилась, только подчеркнуло все ее прелести. Она была так хороша, что Сен-Пуанж, потеряв всякий стыд, намекнул на возможность полного успеха ее ходатайства, если она подарит ему первины того, что бережет для возлюбленного. М-ль де Сент-Ив в ужасе и замешательстве долго притворялась, что ничего не понимает; Сен-Пуанжу пришлось объясниться начистоту. Сдержанное слово, сорвавшееся с уст, породило другое, более откровенное, за которым последовало еще более выразительное. Он предложил ей не только отмену приказа об аресте, но и награду, деньги, почести, выгодные должности, и чем больше обещал, тем сильнее хотел добиться согласия.

Упав на диван, м-ль де Сент-Ив плакала, задыхалась, отказывалась верить тому, что слышала. Сен-Пуанж, в свою очередь, упал к ее ногам. Он был недурен собой, и в другом, менее предубежденном сердце не вызвал бы страха. Но м-ль де Сент-Ив боготворила своего возлюбленного и считала, что изменить ему даже ради его пользы было бы настоящим преступлением. Сен-Пуанж продолжал расточать мольбы и обещания. Напоследок голова у него пошла кругом, и он заявил, что это единственное средство извлечь из тюрьмы человека, в чьей судьбе она принимает такое нежное и страстное участие. Станный разговор затягивался. Богомолка в приемной, читая «Христианского педагога», бормотала: «Боже мой! Что же они там делают целых два часа? Никогда не случалось, чтобы монсеньер де Сен-Пуанж давал кому-нибудь такую долгую аудиенцию. Может быть, он отказал бедной девушке наотрез, а она продолжает его спрашивать?»

Наконец ее приятельница вышла из внутренних покоев, растерянная, онемевшая, погруженная в глубокие размышления о нравах вельмож и полувельмож, которые так легко приносят в жертву людскую свободу и женскую честь.

За всю дорогу она не проронила ни слова. Лишь вернувшись домой, прекрасная Сент-Ив не выдержала и рассказала подруге все. Богомолка принялась размашисто креститься.

— Моя дорогая, надо завтра же посоветоваться с нашим духовником, отцом Тут-и-там; он пользуется большим доверием у г-на де Сен-Пуанж; у него исповедуются многие служанки из этого дома; он человек благочестивый, доброжелательный и наставляет не только горничных, но и знатных дам. Доверьтесь ему вполне, — я всегда так поступаю, и благодаря этому все идет у меня хорошо. Нам, бедным женщинам, необходимо мужское руководство. Так вот, моя дорогая, завтра же я пойду к отцу Тут-и-там.

Глава шестнадцатая

ОНА СОВЕТУЕТСЯ С ИЕЗУИТОМ

Как только прекрасная, удрученная горем Сент-Ив оказалась наедине с добрым духовником, она призналась ему, что некий могущественный сластолюбец предлагает выпустить из тюрьмы того, с кем она намерена сочетаться законным браком, но за эту услугу требует слишком дорогой платы, что ей отвратительна подобная измена и что, если бы речь шла о ее собственной жизни, она предпочла бы умереть.

— Что за омерзительный грешник! — сказал отец Тут-и-там. — Скажите мне имя этого негодяя: не сомневаюсь, что он — янсенист. Я донесу на него его преподобию, отцу де Ла Шез, и он отправит его в то обиталище, где томится сейчас ваш дорогой нареченный.

Несчастливая девушка сперва никак не могла решиться, но после долгих колебаний все же назвала имя Сен-Пуанжа.

— Господин де Сен-Пуанж! — воскликнул иезуит. — Ах, дочь моя, это совсем другое дело! Он — родня величайшего из всех бывших и настоящих министров, он добродетельный человек, ревнитель нашего правого дела, хороший христианин; такая мысль ему и в голову не могла бы прийти. Вы, наверно, не поняли его.

— Ах, отец мой, я слишком хорошо его поняла. Как бы я ни поступила, мне все равно пропадать; либо го-

ре, либо позор — другого выбора у меня нет: или моему возлюбленному быть погребенным заживо, или мне стать недостойной жизни. Я не могу допустить, чтобы он погиб, но и спасти его тоже не могу.

Отец Тут-и-там постарался успокоить ее кроткими речами.

— Во-первых, дочь моя, никогда не произносите этих слов — «мой возлюбленный», — в них есть нечто светское и богопротивное; говорите «мой супруг», ибо хотя он еще и не супруг ваш, однако вы рассматриваете его как супруга, и это как нельзя более справедливо.

Во-вторых, хотя и в мыслях ваших и надеждах он ваш супруг, однако в действительности он еще не супруг; стало быть, вы не можете впасть в прелюбодеяние, в этот великий грех, которого по мере возможности следует избегать.

В-третьих, человеческие поступки не греховны, когда вызваны благими намерениями, а нет ничего чище намерения вернуть свободу своему нареченному.

В-четвертых, святая древность дала примеры, которые могут послужить вам чудесными образцами поведения. Блаженный Августин рассказывает, что при проконсуле Септимии Акиндине в год нашего спасения триста сороковой некий бедняк, не имевший возможности уплатить кесарево кесарю, был приговорен к смерти, невзирая на правило: «На нет и королевского суда нет». Дело шло о фунте золота. У осужденного была жена, которую бог наделил красотой и благоразумием. Старый богач обещал даме фунт золота, а то и больше, при условии, что она совершит с ним гнусный грех. Дама сочла, что, спасая мужа, не сотворит зла. Блаженный Августин весьма одобрительно отзывался о ее великодушной покорности обстоятельствам. Правда, старый богач обманул ее, возможно даже, что муж и не избежал виселицы; однако она сделала все, что могла, дабы спасти ему жизнь.

Будьте уверены, дочь моя, что, если уж иезуит ссылается на блаженного Августина, стало быть, этот святой изрек непреложную истину. Я ничего вам не советую, вы девушка разумная: надо полагать, вы поможете вашему мужу. Монсеньер де Сен-Пуанж порядочный человек, он вас не обманет; вот и все, что я могу вам

сказать. Я помолюсь за вас и надеюсь, что все устроится к вящей славе божьей.

Прекрасная Сент-Ив, которую речи иезуита испугали не меньше, чем предложения помощника министра, вернулась к приятельнице совсем растерянная. Ей хотелось умереть и таким образом избавиться от ужасной необходимости оставить в тяжелой неволе возлюбленного, которого она обожала, или от позорной возможности освободить его ценой того, что было ей всего дороже и что должно было принадлежать только этому злосчастному возлюбленному.

Глава семнадцатая

ДОБРОДЕТЕЛЬ ВЫНУЖДАЕТ ЕЕ ПАСТЬ

Она просила приятельницу убить ее, но эта женщина, столь же снисходительная, как иезуит, высказалась еще откровеннее, чем он.

— Увы! — проговорила она. — При этом дворе, столь изысканном, любезном, прославленном, чего-нибудь добиться можно лишь таким способом. Должности, и самые незаметные и самые важные, нередко получают только за ту плату, которую требуют от вас. Послушайте, вы внушили мне доверие и приязнь: признаюсь вам, будь я так несговорчива, как вы, мой муж не занимал бы и того скромного места, которое дает ему возможность существовать. Он это знает и не только не сердится, но, напротив, видит во мне благодетельницу, а на себя смотрит как на моего ставленника. Неужели вы думаете, что люди, которые управляли провинциями или командовали армиями, обязаны почестями и богатством одним своим достоинством. Среди них немало таких, которые в долгу за это перед своими супругами. Высоких воинских званий домогались ценою любви, и место доставалось тому, чья жена красивее.

Вы находитесь в положении гораздо более выгодном: речь идет о том, чтобы освободить из тюрьмы возлюбленного и выйти за него замуж; это ваш священный долг, и вы обязаны его выполнить. Тех прекрасных и знатных дам, о которых я вам рассказываю, не осудил никто, ну, а вам будут рукоплескать, скажут, что вы совершили проступок от избытка добродетели.

— Какая уж тут добродетель! — воскликнула прекрасная Сент-Ив.— Что за лабиринты беззаконий! Что за страна и какую надо пройти науку, чтобы узнать людей! Какой-то отец де Ла Шез и какой-то глупейший судья сажают моего возлюбленного в тюрьму, моя родня преследует меня, и в столь тяжкое время мне протягивают руку помощи лишь затем, чтобы меня обесчестить! Один иезуит погубил благородного человека, другой хочет погубить меня; кругом одни только западни, и я близка к гибели. Надо либо покончить с собой, либо поговорить с королем: я кинусь ему в ноги на его пути к обедне или в театр.

— Вас к нему не подпустят,— ответила ей приятельница.— А если бы вы, себе на горе, заговорили с ним, господин де Лувуа и преподобный отец де Ла Шез упрятали бы вас до скончания ваших дней в монастырь.

В то время, как эта почтенная особа усугубляла подобным образом смущение отчаявшейся девушки и все глубже вонзала ей кинжал в сердце, от г-на де Сен-Пуанж явился нарочный с письмом и парой великолепных серег. Сент-Ив, рыдая, отшвырнула их, но ее приятельница подобрала серьги.

Едва лишь нарочный ушел, как наперсница вслух прочла письмо, в котором Сен-Пуанж приглашал их обеих вечером к себе на ужин. Сент-Ив поклялась, что не пойдет. Богомолка попыталась примерить ей алмазные серьги, но она решительно отказалась от этого. Целый день бедняжка боролась с собой и наконец, помышляя только о возлюбленном, побежденная, влекомая силком, не понимая, куда ее ведут, отправилась на роковое свидание. Никакими уговорами нельзя было заставить ее надеть серьги. Наперсница принесла их с собой и, перед тем как сесть за стол, насильно вдела их в уши подруги. Сент-Ив была так смущена и взволнована, что не смогла воспротивиться назойливым приставаниям приятельницы, а хозяин дома усмотрел в этом доброе для себя предзнаменование. Под конец трапезы наперсница неприметно скрылась. Тогда Сен-Пуанж показал распоряжение об отмене ареста, указ о крупной денежной награде, патент на капитанский чин и не поспешил на посулы.

— Ах,— сказала ему Сент-Ив,— как я полюбила бы вас, если бы вы не требовали моей любви!

После долгого сопротивления, рыданий, воплей, слез, ослабевшая от борьбы, растерянная, истомленная, она принуждена была сдаться. Ей оставалось только одно утешение — пообещать себе, что в то время, когда жестокосердный человек будет безжалостно пользоваться ее безвыходным положением, она все свои помыслы обратит к Простодушному.

Глава восемнадцатая

ОНА ОСВОБОЖДАЕТ ВОЗЛЮБЛЕННОГО И ЯНСЕНИСТА

На рассвете, заручившись министерским приказом, она мчится в Париж. Трудно описать, что делается дорогой в ее сердце. Вообразите себе добродетельную душу, униженную позором, исполненную нежностью, истерзанную укорами совести из-за измены возлюбленному, проникнутую радостным сознанием, что освободит предмет своего обожания! Память о вкушенной горечи, о борьбе и достигнутом успехе примешивалась ко всем ее мыслям. Это была уже не прежняя простенькая девушка, чьи понятия были ограничены провинциальным воспитанием. Любовь и несчастье образовали ее. Чувство достигло в ней такого же развития, какого достиг разум в ее несчастном возлюбленном. Девушки легче научаются чувствовать, нежели мужчины — мыслить. Ее приключения оказались назидательнее четырехлетней монастырской жизни.

Одета она была до крайности просто. С отвращением смотрела она на убор, в котором предстала вчера перед своим жестоким благодетелем: алмазные серьги она оставила приятельнице, даже не поглядев на них. Смущенная и обрадованная, боготворя Простодушного и ненавидя себя, приближается она наконец к воротам.

Сей страшной крепости, твердыни злобной мести,
Где заточен порок с невинностью вместе.

Когда подъехали к месту заточения, она совсем обесилела, и кто-то помог ей выйти из кареты. Сердце ее трепетало, глаза были влажны, лицо печально. Ее приводят к коменданту, она хочет заговорить с ним, но голос ей изменяет. Едва пролепетав несколько слов, она

протягивает грамоту. Коменданту был по душе узник, и он порадовался за него. Сердце у этого человека не ожесточилось, как у некоторых его собратьев, у тех почтенных тюремщиков, которые, помышляя только о жалованье, положенном за охрану заключенных, умножая свои доходы за счет несчастных жертв и строя благоденствие на чужой беде, втайне жестоко радуются слезам обездоленных.

Он вызывает узника к себе. Влюбленные встречаются, и оба теряют сознание. Прекрасная Сент-Ив долго лежала неподвижная и бездыханная, Простодушный же вскоре пришел в себя.

— Это, видимо, ваша супруга,— сказал ему комендант.— Вы не говорили мне, что женаты. Как мне передавали, своим освобождением вы обязаны ее великодушным заботам.

— Ах, я недостойна быть его женой,— дрожащим голосом проговорила прекрасная Сент-Ив и снова потеряла сознание.

Очнувшись, она, по-прежнему дрожа, показала указ о денежной награде и патент на капитанский чин. Простодушный, растроганный не менее, чем удивленный, словно пробудился от одного сна, чтобы впасть в другой.

— За что меня здесь держали? Как удалось вам вызволить меня? Где изверги, из-за которых я сюда попал? Вы — божество, сошедшее с небес, чтобы меня спасти.

Прекрасная Сент-Ив то потуплялась, то снова взглядывала на возлюбленного, но тотчас заливалась краской и отводила в сторону глаза, увлажненные слезами. Наконец она сообщила ему все ведомое ей и испытанное ею, за исключением лишь того, что желала бы скрыть и от самой себя и что всякому другому, лучше знающему свет и посвященному в придворные обычаи, чем Простодушный, сразу стало бы ясно.

— Как же это может быть, чтобы какой-то негодяй, вроде вашего судьи, мог лишить меня свободы? Я вижу, что люди подобны самым мерзким животным: всякий старается навредить ближнему. Но возможно ли все-таки, чтобы монах, иезуит, королевский духовник, содействовал моему несчастью в такой же мере, как и нижнебретонский судья, причем я даже представить се-

бе не могу, под каким предлогом этот гнусный прохо-
диму подверг меня гонениям? Но неужели вы все время
помнили обо мне? Я этого не заслужил; в те времена я
был настоящим дикарем. И вы решились, не получив
ни от кого ни совета, ни помощи, совершить путеше-
ствие в Версаль? Вы появились там, и мои цепи разбиты!
Есть, стало быть, в красоте и добродетели непобедимое
очарование, перед которым распахиваются железные во-
рота и смягчаются каменные сердца!

При слове «добродетель» прекрасная Сент-Ив раз-
рыдалась. Она не сознавала, какая добродетель была в
том преступлении, за которое так себя корила.

— Ангел, расторгнувший мои узы,— продолжал ее
возлюбленный,— если у вас оказались столь сильные
связи (кстати, я о них и не подозревал), что вам удалось
добиться моего оправдания, то добейтесь того же и для
старца, который впервые научил меня мыслить, подобно
тому как вы научили любить. Горе сблизило нас с ним;
он мне дорог, как родной отец, и я не могу жить ни без
вас, ни без него.

— Я? Чтобы я обратилась с ходатайством к челове-
ку, который...

— Да, я хочу навеки и всем быть обязанным вам и
только вам: напишите этому влиятельному человеку,
осыпьте меня благодеяниями, довершите начатое, увен-
чайте и этим чудом уже содеянные чудеса.

Она чувствовала, что должна исполнить все, чего
требует возлюбленный: она села писать, но рука ей не
повиновалась. Трижды принималась она за письмо и
трижды его рвала, потом все же написала и вместе с
Простодушным вышла из тюрьмы, обняв на прощание
мученика искупительной благодати.

Счастливая и полная отчаянья, Сент-Ив знала, в ка-
ком доме живет ее брат; она пошла туда; в том же до-
ме снял помещение и ее возлюбленный.

Не успели они прийти, как покровитель уже прислал
ей приказ об освобождении из-под стражи почтенного
старца Гордона и просьбу о свидании на завтра. Итак,
ценою ее каждого справедливого и великодушного по-
ступка было бесчестие. Обычай торговать людским сча-
стьем и несчастьем казался ей омерзительным. Приказ
об освобождении она передала Простодушному, а от
свидания наотрез отказалась, ибо от одного вида свое-

го благодетеля умерла бы от стыда и горя. Простодушный согласился на время расстаться с ней только затем, чтобы освободить друга: он немедленно отправился в тюрьму. Выполняя этот долг, он размышлял о том, какие удивительные события происходят в этом мире, и восхищался отважной добродетелью девушки, которой два несчастливца были обязаны больше, чем жизнью.

Глава девятнадцатая

ПРОСТОДУШНЫЙ, ПРЕКРАСНАЯ СЕНТ-ИВ И ИХ РОДСТВЕННИКИ ОКАЗЫВАЮТСЯ В СБОРЕ

Великодушная и достойная уважения изменница находилась в обществе своего брата, аббата де Сент-Ив, м-ль де Керкабон и приора храма Горной богоматери. Все были в одинаковой мере удивлены, но чувства и положение у всех были разные. Аббат де Сент-Ив оплакивал свою вину у ног сестры, сразу его простившей. Приор и его добрая сестра плакали тоже, но от радости. Негодяй судья и его несносный сын не нарушали своим присутствием этой трогательной сцены: они поспешили уехать, едва разнесся слух об освобождении их врага, и укрыли в провинциальной глуши и свою глупость, и свои страхи.

Всех четырех обуревало множество самых разнообразных тревог, пока они дожидались возвращения молодого человека и его друга, которого он должен был освободить. Аббат де Сент-Ив не смел взглянуть сестре в глаза. Добрая м-ль де Керкабон приговаривала:

— Итак, я снова увижусь с моим дорогим племянником.

— Да, вы с ним увидите, — подтвердила прелестная Сент-Ив, — но это уже не тот человек. Осанка, тон, образ мыслей, ум — все стало у него другим. Насколько прежде он был несведущ и простоват, настолько теперь достоин уважения. Он станет гордостью и утешением вашей семьи, а вот мне не суждено осчастливить свою семью!

— Вы тоже не та, что прежде, — сказал приор. — Скажите, почему вы так переменялись?

Во время этого разговора появился Простодушный об руку с янсенистом. Разыгралась новая, еще более

трогательная сцена. Началась она с нежных объятий дядюшки, тетушки и племянника. Аббат де Сент-Ив чуть не пал на колени перед Простодушным, который уже не был простодушным. Любовники переговаривались взглядами, выразившими все переполнявшие их чувства. На лице одного сияли удовлетворение и благодарность, в нежных, несколько растерянных очах другой читалось смущение. Всех удивляло, что к ее великой радости примешивается скорбь.

Старик Гордон мгновенно стал дорог всей семье. Он терпел страдания вместе с юным узником, и это наделило его великими правами. Свободой он был обязан обоим влюбленным — как же мог он не примириться с любовью? Янсенист отказался от суровости былых своих воззрений и, подобно гурону, стал настоящим человеком. В ожидании ужина каждый поведал о своих злоключениях. Аббаты и тетушка слушали, как дети, которым рассказывают сказку о привидениях, и как люди, глубоко взволнованные повестью о столь тяжких бедствиях.

— Увы! — сказал Гордон. — Пятьсот, а то и более добродетельных людей томятся сейчас в таких же оковах, какие удалось разбить мадемуазель де Сент-Ив, но их страдания никому не ведомы. Истязать несчастных — на это всегда хватает рук, а мало кто протягивает руку помощи.

Это столь справедливое заключение вызвало у старика новый прилив умиления и благодарности. Торжество прекрасной Сент-Ив было полное: все восторгалось величием и твердостью ее души. К восторгу примешивалось и то почтение, которое невольно вызывает человек, имеющий, по общему мнению, вес при дворе. Однако время от времени аббат де Сент-Ив приговаривал:

— Как это удалось моей сестре сразу же приобрести такой вес?

Они решили пораньше сесть за ужин. Но вот появляется версальская приятельница, ничего не знающая о том, что произошло за этот день; она подкатывает в карете, запряженной шестеркой лошадей: кому принадлежит этот выезд, понятно без объяснений. Она входит с внушительным видом придворной дамы, приветствует собравшихся легким кивком головы и отводит в сторону прекрасную Сент-Ив.

— Что же вы мешкаете? Едем со мной; вот забытые вами алмазы.

Она произнесла эти слова недостаточно тихо, и Простодушный их услышал; он увидел алмазы: брат прекрасной Сент-Ив был ошеломлен, а дядюшка и тетюшка, в простоте душевной, только удивлялись невиданному великолепию серег. Молодого человека, которого воспитал год напряженных раздумий, это происшествие невольно повергло в недоумение, и на минуту он, видимо, встревожился. Его возлюбленная это заметила, ее пленительное лицо смертельно побледнело, она задрожала и едва устояла на ногах.

— Ах, сударыня! — сказала она злополучной своей приятельнице. — Вы погубили меня! Вы меня убиваете!

Ее восклицание пронзило сердце Простодушного, но теперь он научился владеть собой и промолчал из опасения взволновать возлюбленную в присутствии ее брата, однако побледнел, как и она.

Сент-Ив, потеряв голову при виде того, как изменился в лице ее избранник, выводит женщину из комнаты в тесные сени и швыряет на пол алмазы.

— Не они соблазнили меня, вы это отлично знаете! Тот, кто подарил их, никогда больше меня не увидит.

Подруга подобрала серьги, а Сент-Ив продолжала:

— Пусть он возьмет их себе или подарит вам. Уходите и не заставляйте меня больше стыдиться самой себя.

Посланица наконец ушла, так и не поняв тех терзаний совести, свидетельницей которых была.

Прекрасная Сент-Ив, измученная горем, ослабевшая и задыхающаяся, принуждена была лечь в постель; не желая тревожить родных, она умолчала о телесных страданиях и, сославшись на усталость, попросила позволения немного отдохнуть, успокоив сперва всех утешительными и ласковыми словами и несколько раз взглянув на возлюбленного таким взором, что вся его душа воспламенилась.

Ужин, не оживленный присутствием прекрасной Сент-Ив, начался печально, но это была та плодотворная печаль, которая порождает полезную и содержательную беседу, столь отличную от суетного веселья, за которым обычно так гонятся люди и которое сводится обычно лишь к докучному шуму.

Гордон вкратце рассказал о янсенизме и молинизме, а также о гонениях, которым одна сторона подвергала другую, и об упорстве, проявленном обеими. Простодушный осудил и ту и другую и высказал сожаление по поводу того, что люди, не довольствуясь распрями, которые возникают между ними из-за существенных благ, навлекают на себя беды из-за несуществующих призраков и невнятных бредней. Гордон рассказывал, Простодушный критиковал, остальные слушали с волнением, и разум их озарялся новым светом. Толковали о длительности наших невзгод и быстротечности жизни, о том, что в каждом ремесле есть свои пороки и свои опасности, что нет человека, будь то вельможа или нищий, который не служил бы укором людской природе. Сколько на свете людей, которые за какие-то гроши становятся гонителями, истязателями, палачами себе подобных! С каким нечеловеческим равнодушием сановный человек подписывает приказ, разрушающий счастье целой семьи, и с какой еще более варварской радостью выполняют этот приказ наемники!

— В юности,— сказал Гордон,— я встречался с родственником маршала де Марильяка, скрывавшимся под вымышленным именем в Париже из-за преследований, которым он подвергался у себя в провинции в связи с делом этого прославленного и несчастного вельможи. Родственнику маршала, о котором я говорю, было семьдесят два года. В таких же примерно годах была и неразлучная с ним жена. Их сын, отличавшийся распутством, в четырнадцатилетнем возрасте бежал из родительского дома; став солдатом, а потом дезертиром, он прошел все ступени разврата и нищеты. Наконец, приняв новую фамилию по названию родового поместья, он поступил в гвардейскую часть к кардиналу де Ришелье (ибо у этого священнослужителя, как потом у Мазарини, была своя гвардия) и стал в этом сборище сателлитов ефрейтором. Ему было поручено арестовать старика и его супругу, и он поспешил исполнить поручение со всей жестокостью человека, жаждущего угодить хозяину. Конвоируя их, негодяй слышал, как они сетовали на неисчислимыя бедствия, испытанные ими с колыбели. Распутство сына и его побег были для отца и матери одним из величайших несчастий их жизни. Он узнал родителей и тем не менее отвел их в тюрьму, заявив, что

главным своим долгом почитает службу его преосвященству. Его преосвященство щедро наградил проходимца за усердие.

Я был свидетелем того, как некий шпион отца де Ла Шез предал родного брата в надежде получить выгодную духовную должность, которая, однако, так ему и не досталась; этот человек умер, но не от угрызений совести, а от досады на обманувшего его иезуита.

Обязанности духовника, долгое время исполняемые мною, близко познакомили меня с жизнью многих семей; я не видел ни одной, которая не утопала бы в горестях, тогда как вне дома, прикрывшись личиной веселья, все они, казалось, купались в довольстве. И я не преминул обнаружить, что почти все большие несчастья оказываются следствием нашего необузданного корыстолюбия.

— А вот я полагаю,— сказал Простодушный,— что честный, благородный и чувствительный человек может прожить счастливо, и твердо рассчитываю, соединившись с прекрасной и великодушной Сент-Ив, вкушать ничем не омраченное блаженство, ибо льщу себя надеждой,— добавил он, обращаясь с дружелюбной улыбкой к ее брату,— что не получу от вас отказа, как в прошлом году, и что сам на этот раз буду вести себя более пристойно.

Аббат рассыпался в извинениях и стал всячески заветывать Простодушного в своей безграничной преданности ему.

Дядюшка Керкабон сказал, что в его жизни не было дня счастливее, чем этот. Добрая тетюшка, восторгаясь и плача от радости, воскликнула:

— Я же говорила, что не быть вам иподьяконом! Но это таинство еще лучше, чем то; бог не дал мне познать его, но я заменяю вам мать.

Тут все наперебой принялись хвалить нежную Сент-Ив.

У ее нареченного сердце было так переполнено тем, что она сделала для него, он так ее любил, что происшествие с алмазами его не смутило. Но отчетливо услышанные им слова: «Вы меня убиваете!» — продолжали пугать Простодушного и отравляли ему радость, в то время как от похвал, расточаемых прекрасной Сент-

Ив, его любовь все возрастала. Напоследок перестали толковать только о ней и повели речь о заслуженном обоими любовниками счастье; сговаривались, как бы поселиться всем вместе в Париже; строили предположения о грядущем богатстве и славе; предавались тем надеждам, которые так легко зарождаются при малейшем проблеске удачи. Но Простодушный, повинувшись какому-то тайному чувству, гнал от себя эти мечты. Он перечитывал обязательства, данные Сен-Пуанжем, и указы за подписью Лувуа, слушал описания этих людей, основанные на истине или, напротив, на заблуждении; каждый из присутствующих рассуждал о министрах и министерствах с той застойной свободой, которая во Франции почитается самой драгоценной из всех свобод.

— Будь я французским королем,— сказал Простодушный,— я избрал бы военным министром человека знатнейшего рода, ибо у него в подчинении дворяне; я потребовал бы, чтобы он был офицером, который, начав с младшего чина, дослужился, по крайней мере, до генерал-лейтенанта армии, достойного производства в маршалы: ибо разве можно, не служа, узнать как следует все тонкости службы? И разве не стали бы офицеры во сто крат охотнее выполнять приказы военного человека, который, как и они, сотни раз выказывал мужество, нежели приказы человека кабинетного, который, как бы он ни был умен, может руководить военными действиями только наугад? Я был бы не прочь, чтобы во сто крат охотнее выполнять приказы военного чиняло иной раз затруднения королевскому казначею. Мне было бы приятно, чтобы работа у него спорилась и чтобы он отличался той остроумной веселостью, которая присуща лишь даровитым деятелям: она по душе народу, и благодаря ей любое бремя перестает быть тягостным.

Простодушному потому хотелось, чтобы у министра был такой нрав, что он не раз замечал: хорошее расположение духа несовместимо с жестокостью.

Возможно, монсеньер де Лувуа остался бы недоволен подобными пожеланиями Простодушного, поскольку его достоинства были совсем иного рода.

Меж тем, пока они сидели за столом, болезнь несчастной девушки приняла зловещий характер: начался

сильный жар, открылась пагубная горячка; прекрасная Сент-Ив страдала, но не жаловалась, стараясь не отравлять общую радость.

Брат, зная, что она не спит, подошел к ее изголовью: ее состояние поразило его. Сбежались все, вслед за братом пришел возлюбленный. Он был более всех встревожен и опечален; но ко всем дарам, которыми наделила его природа, теперь присоединилась еще и сдержанность; тонкое понимание благопристойности заняло в его душе важнейшее место.

Тотчас же вызвали жившего по соседству врача, из той породы медиков, что на скорую руку осматривают больных, путают недавно виденный недуг с тем, который видят сейчас, упрямо следуют рутине в той науке, которая остается опасно шаткой, даже когда ею занимаются люди, обладающие здоровым, зрелым и осмотрительным разумом. Этот врач, поспешив прописать больной модное в то время лекарство, лишь ухудшил ее состояние. Мода повсюду, даже во врачевании! В Париже это просто повальное помешательство.

И все же усугубил болезнь Сент-Ив не столько врач, сколько гнет горестных раздумий. Душа убивала тело. Мысли, обуревавшие ее, вливали в вены страдальницы отраву более губительную, чем яд самой лютой горячки.

Глава двадцатая

ПРЕКРАСНАЯ СЕНТ-ИВ УМИРАЕТ, И КАКИЕ ПРОИСТЕКАЮТ ОТСЮДА ПОСЛЕДСТВИЯ

Призвали другого врача, этот, вместо того чтобы прийти на помощь природе, предоставив ей полную свободу в борьбе за молодое существо, все органы которого взывали к жизни, только и делал, что препирался с собратом по ремеслу. Через два дня болезнь стала смертельной. Мозг, который считается обиталищем разума, был поражен так же сильно, как и сердце, которое, как говорят, является обиталищем страстей.

«Какая непостижимая механика подчиняет наши органы воздействию чувства и мысли? Каким образом одна-единственная горестная мысль нарушает обращение крови? И, с другой стороны, каким образом расстройство кровообращения влияет на разум человека?»

Какой неведомый, но, бесспорно, существующий ток, более быстрый и деятельный, чем свет, пронесется по всем жизненным руслам, порождает ощущения, воспоминания, грусть или веселье, разумное суждение или безумный бред, заставляет вспомнить с ужасом о том, что хотелось бы забыть, и обращает мыслящее животное либо в предмет восхищения, либо в предмет жалости и слез?»

Так думал добрый Гордон, но эти столь естественные размышления, тем не менее так редко приходящие людям в голову, ничуть не уменьшали его горести, ибо он не принадлежал к числу тех несчастных философов, которые селятся быть бесчувственными. Участь девушки печалила его, как отца, наблюдавшего за медленным умиранием любимого ребенка. Аббат де Сент-Ив был в отчаянии; у приора и у его сестры слезы лились ручьем. Но кто сумел бы описать состояние ее возлюбленного? Ни на одном наречии не подыскать слов, способных выразить это невыразимое горе: человеческие наречия слишком несовершенны.

Тетушка, сама еще живая, немощными руками поддерживала голову умирающей; в изножье кровати преклонил колени брат; возлюбленный сжимал ей руку, орошая ее слезами, и громко рыдал; он называл ее своей благодетельницей, своей надеждой и жизнью, половиной своего существа, своей любимой, своей женой. При слове «жена» она вздохнула, посмотрела на него с невыразимой нежностью и вдруг вскрикнула от ужаса; потом, в один из тех промежутков, когда изнеможение, подавленность и страдания не так сильно давали себя знать и душа ее вновь обрела свободу, она воскликнула:

— Я? Ваша жена? О мой возлюбленный, это название, это счастье, эта награда не для меня; я умираю, и смерть моя заслуженна. Ангел души моей, вы, кого я принесла в жертву адским демонам! Вы видите, все кончено, я понесла наказание, живите счастливо.

В этих нежных и страстных словах таилась неразрешимая загадка, но они заронили в сердца ее близких ужас и сочувствие. У нее хватило мужества объяснить, и при каждом ее слове присутствующие содрогались от изумления, горя и сострадания. Все, как один, прониклись ненавистью к могущественному человеку, который

согласился устранить вопиющую несправедливость лишь ценою преступления и вынудил благородную невинность стать его сообщницей.

— Как? Вы виноваты? — сказал ей возлюбленный. — Нет, это неправда; преступление может быть совершено, только если в нем принимает участие сердце; а ваше сердце предано добродетели и мне.

Он выражал свои чувства словами, которые, казалось, возвращали жизнь прекрасной Сент-Ив. Утешенная в своей скорби, она тем не менее удивлялась, что ее продолжают любить. Старый Гордон осудил бы ее в былые времена, когда был всего лишь янсенистом, но теперь, превратившись в мудреца, воздавал ей должное уважение и плакал.

В то время как столько было слез и тревог, как все сердца были удручены и полны опасений за жизнь прекрасной Сент-Ив, — вдруг говорят, что прибыл придворный гонец. Гонец? От кого же? И зачем? Оказалось, что он явился к приору храма Горной богоматери от имени королевского духовника; но писал не отец де Ла Шез, а брат Вадбле, его прислужник, человек в ту пору очень влиятельный: это он передавал архиепископам волю его преподобия, принимал посетителей, обещал духовные должности, а иной раз даже писал приказы о взятии под стражу. Он сообщал аббату храма Горной богоматери, что «его преподобие осведомлен о происшествии с его племянником, который по ошибке был заточен в тюрьму; такие мелкие неприятности случаются часто, и на них не надо обращать внимания. Приору надлежит завтра привести на прием своего племянника, захватив с собою и достопочтенного Гордона, а он, брат Вадбле, представит их его преподобию и монсеньеру де Лувуа, который скажет им несколько слов у себя в приемной».

Он добавлял, что об истории Простодушного и о его сражении с англичанами было доложено королю, что король, наверное, соизволит заметить его, когда будет следовать по галерее, — может быть, даже кивнет ему головой. Письмо кончалось лестными для него предположениями, что все придворные дамы будут, вероятно, подзывать к себе его племянника, что многие из них даже скажут ему: «Здравствуйте, господин Простодушный», — и что о нем, несомненно, пойдет речь за коро-

левским столом. Письмо было подписано: «Преданный вам Вадбле, брат иезуит».

Когда приор вслух прочитал это письмо, его племянник расвирепел, но, совладав на время со своим гневом, ничего не сказал подателю письма; обратившись к товарищу по несчастью, он спросил, какого тот мнения о слоге этого послания. Гордон ответил:

— С людьми здесь обращаются, как с обезьянами: бьют, а потом заставляют плясать.

Простодушный, снова сделавшись самим собой, что случается всегда при больших потрясениях, изорвал письмо на клочки и швырнул посланному в лицо:

— Вот мой ответ.

Его дядюшке почудилось со страху, будто грянул гром и целых два десятка приказов об аресте свалилось ему на голову. Он быстро настрочил ответ и попросил, как умел, прощения за племянника, допустившего то, в чем приор усмотрел юношескую заносчивость и что в действительности было проявлением душевного величия.

Однако более тягостные заботы заполнили тем временем все сердца. Несчастливая красавица Сент-Ив чувствовала, что конец ее близок; она была спокойна, но тем ужасным спокойствием ослабевшего организма, который уже не в силах бороться.

— О мой любимый! — сказала она угасающим голосом. — Смерть карает меня за мой проступок, но я утешаюсь сознанием, что вы на свободе. Я любила вас, изменяя вам, и люблю, прощаясь с вами навеки.

Ей чужда была показная твердость духа и то жалкое тщеславие, которое жаждет, чтобы два-три соседа сказали: «Она мужественно приняла смерть». Можно ли без сожалений и без раздирающей душу тоски в двадцать лет навеки терять возлюбленного, жизнь и то, что именуется «честью»? Она чувствовала весь ужас своего положения и давала почувствовать его другим словами и меркнувшим взглядом, которым присуща такая властная выразительность. И она плакала вместе со всеми в минуты, когда хватало сил плакать.

Пусть иные восхваляют пышную кончину тех, кто бесчувственно расстаётся с жизнью, — но таково ведь поведение и любого животного! Мы только тогда умираем равнодушно, когда возраст или болезнь, притупляя на-

ше понимание, уподобляют нас животным. У кого великие утраты, у того и великие сожаления; если же он заглушает их, стало быть, вплоть до объятий смерти хранит в душе тщеславие.

Когда наступило роковое мгновение, у всех присутствующих хлынули слезы и вырвались стоны. Простодушный лишился сознания. У людей, сильных духом, если им свойственна нежность, чувства проявляются более бурно, чем у других. Добрый Гордон, который знал его достаточно хорошо, опасался, как бы, придя в себя, он не покончил с собой. Убрали все оружие; несчастный молодой человек заметил это; без слез, без упреков, без волнения сказал он своим родным и Гордону:

— Неужели вы думаете, что есть на земле человек, который имел бы право и мог бы помешать мне совершить самоубийство?

Гордон воздержался от повторения тех скучных общих мест, с помощью которых пытаются доказать, что человек не имеет права воспользоваться своей свободой и лишить себя жизни, когда жить ему больше невозможно, что не следует уходить из дому, когда нет больше сил в нем оставаться, что человек на земле — как солдат на посту: как будто Существу Существ есть дело до того, в этом ли или в другом месте находится данное соединение частиц материи! Все это — тщетные доводы, которых не послушается твердое и обдуманное отчаяние и на которые Катон ответил ударом кинжала.

Угрюмое, грозное молчание Простодушного, его мрачные глаза, дрожащие губы, озноб, пробежавший по его телу, вселяли в сердца тех, кто глядел на него, ту смесь сострадания и ужаса, которая сковывает все душевные движения, исключает возможность слов и проявляется только в виде несвязных восклицаний. Прибежала хозяйка гостиницы вместе со своим семейством; все трепетали при виде его скорби, с него не спускали глаз, следили за всеми его жестами. Оледеневшее тело прекрасной Сент-Ив вынесли в залу с низким потолком, подальше от глаз Простодушного, который, казалось, еще искал ее, хотя больше ничего уже не мог видеть.

В то время, когда смерть являла такое зрелище, когда тело уже было выставлено у дверей дома и два

священника, стоя у кропильницы, рассеянно читали молитвы, а прохожие от нечего делать брызгали на гроб святой водой или равнодушно шли своей дорогой, когда родные плакали, а жених готов был лишиться себя жизни,—заявился вдруг Сен-Пуанж с версальской приятельницей.

Мимолетная прихоть, только единожды удовлетворенная, обратилась у него в любовь. Отказ от его благоденствий задел вельможу за живое. Отец де Ла Шез никогда и не подумал бы заглянуть в этот дом, но Сен-Пуанж, непрестанно воскрешая образ прекрасной Сент-Ив, горя желанием утолить страсть, которая после однократного наслаждения вонзилась в его сердце острым жалом, сам, не колеблясь, пришел за той, с кем не захотел бы увидиться и трех раз, если бы она явилась к нему по собственному почину.

Он выходит из кареты и первое, что видит,—это гроб; он отводит глаза с естественным отвращением человека, вскормленного наслаждениями и считающего, что должен быть избавлен от зрелища людского горя. Он собирается войти в дом. Женщина из Версаля спрашивает из любопытства, кого хоронят; ей говорят, что м-ль де Сент-Ив. При этом имени она бледнеет и громко вскрикивает; Сен-Пуанж оборачивается, его душа наполняется изумлением и скорбью. Добряк Гордон был тут же, весь в слезах. Прервав свои печальные молитвы, он сообщает царедворцу об ужасном несчастье. Он говорит с той властью, которой наделяют человека скорбь и добродетель. Сен-Пуанж по природе не был злым; поток дел и забав увлек его душу, не успевшую познать себя. Он был еще далек от старости, которая обыкновенно ожесточает сердца вельмож, и слушал Гордона, потупившись, затем утер несколько слезинок, пролившихся, к его собственному удивлению: он изведдал раскаяние.

— Я непременно хочу повидать,—проговорил он,—необыкновенного человека, о котором вы мне рассказали; он приводит меня почти в такое же умиление, как та невинная жертва, которая умерла по моей вине.

Гордон следует за ним в комнату, где приор, м-ль де Керкабон, аббат де Сент-Ив и кое-кто из соседей приводят в сознание молодого человека, лишившегося чувств.

— В вашем несчастье повинен я,— сказал ему помощник министра,— и готов потратить всю жизнь на то, чтобы его загладить.

Первым побуждением Простодушного было убить его, а затем и себя. Это было бы всего уместнее, но он был безоружен и за ним зорко следили. Сен-Пуанжа не расхолодили отказы, сопровождавшиеся укорами, а также знаками презрения и отвращения, вполне им заслуженными.

Время смягчает все. Монсеньеру де Лувуа удалось в конце концов сделать из Простодушного превосходного офицера, который под другим именем появился в Париже и в армии, заслужил одобрение всех порядочных людей и неизменно выказывал себя истинным воином, равно как и философом.

О былом он никогда не говорил без стенаний, а между тем все его утешение было в том, чтобы говорить о нем. До последнего мига жизни чтил он память нежной Сент-Ив. Аббат де Сент-Ив и приор оба получили выгодные духовные должности. Добрая м-ль де Керкабон утвердилась во мнении, что воинские почести — лучший удел для ее племянника, чем сан иподьякона. Алмазные серьги так и остались у версальской богомолки, которой был преподнесен еще один прекрасный подарок. Отец Тут-и-там получил много коробок шоколада, кофе, леденцов, лимонных цукатов, а в придачу еще «Размышления преподобного отца Круазе» и «Цвет святости» в сафьяновых переплетах. Добрый Гордон до самой смерти был в теснейшей дружбе с Простодушным; он тоже получил хороший приход и навсегда позабыл и об искупительной благодати, и о соприсутствующей помощи. «Нет худа без добра»,— такова была его любимая поговорка. А сколько на свете честных людей, которые могли бы сказать: «Из худа не бывает добра!»



Царевна Вавилонская

Старый Бел, владыка Вавилона, почитал себя избранником среди смертных, ибо все его царедворцы повторяли ему это, а историографы подкрепляли их слова доводами. Оправданием его тщеславия служило то, что предки его действительно основали Вавилон тридцать тысяч лет назад, а он сам много способствовал украшению города. Известно, что его дворец и парк, расположенные в нескольких парасангах от Вавилона, простирались между реками Евфратом и Тигром, которые омывали эти дивные берега. Обширный дворец, в три тысячи шагов вдоль фасада, возносился до облаков. Плоская крыша была обнесена белой мраморной балюстрадой высотой в пятьдесят футов и уставлена гигантскими изваяниями всех царей и всех великих мужей государства. Эта плоская крыша из двойного ряда кирпичей, крытая из конца в конец плотным свинцовым настилом, была засыпана слоем земли толщиной в двенадцать футов. Там зеленели целые заросли оливковых, апельсиновых, лимонных, пальмовых, гвоздичных, кокосовых и коричных деревьев, которые образовывали тенистые аллеи, непроницаемые для солнечных лучей.

Воды Евфрата, накачиваемые насосами в сотню высоких колонн, струились в эти заросли, наполняя обширные мраморные бассейны; потом они низвергались по другим каналам и образовывали в парке каскады длиною в шесть тысяч футов и сотню тысяч фонтанов, бьющих на такую высоту, что верх струи был еле раз-

личим; затем воды вновь возвращались в лоно Евфрата. Висячие сады Семирамиды, изумлявшие Азию несколько столетий спустя, были лишь слабым подражанием этим древним чудесам, так как во времена Семирамиды уже начиналось общее вырождение как мужского, так и женского пола.

Но что было всего прекраснее в Вавилоне и что затмевало все остальное, это дочь царя — Формозанта. Спустя века с ее изображений и статуй Пракситель изваял Афродиту — ту, что известна под именем Венеры Прекраснозадой. Но какая разница, о небо, между оригиналом и копиями! И Бел справедливо гордился дочерью больше, чем царством. Ей минуло восемнадцать лет. Пора было найти ей достойного супруга; но где искать его? Древний оракул предсказал, что Формозанта будет принадлежать лишь тому, кто натянет лук Нимврода. Нимврод, сильный зверолов перед господом, оставил после себя лук в семь вавилонских футов, изготовленный из черного дерева, более твердого, чем железо Кавказских гор, которое куют в кузницах Дербента. Ни один смертный со времен Нимврода не мог натянуть тетиву этого удивительного лука.

И еще было предсказано, что рука, натянувшая лук, умертвит самого грозного, самого свирепого из львов, каких только видели на арене Вавилонского цирка. Но и это было еще не все: стрелок из лука, победитель льва должен был одолеть всех своих соперников, а главное — должен был обладать острым умом, быть сильнейшим и великодушнейшим из людей и владеть редчайшим сокровищем, которое когда-либо существовало на земле.

Три властелина дерзнули оспаривать руку Формозанты: египетский фараон, индийский шах и великий хан скифов.

Бел назначил день поединка и выбрал местом для него обширное поле в отдаленной части парка, которую омывали сливавшиеся здесь воды Евфрата и Тигра. Вокруг ристалища возвели мраморный амфитеатр, вмещавший пятьсот тысяч зрителей. Против амфитеатра воздвигли трон царя, который должен был появиться с Формозантой, сопровождаемый своим двором. Справа и слева, между троном и амфитеатром, расположены были места трех соискателей и всех прочих царей, которые

пожелали бы присутствовать на этом августейшем празднестве.

Первым явился египетский фараон. Он ехал верхом на священном быке Аписе, держа в руке сistr богини Изиды. Его сопровождали две тысячи жрецов в полотняных одеждах белее снега, две тысячи евнухов, две тысячи магов и две тысячи воинов.

Вслед за ним появился вскоре владыка Индии на колеснице, влекомой двенадцатью слонами. Он был окружен еще более пышной и многочисленной свитой, нежели египетский фараон.

Последним прибыл повелитель скифов. С ним были лишь отборные воины, вооруженные луками и стрелами. Царь восседал на укрошенном им великолепно тигре, не менее рослом, чем самый прекрасный персидский конь. Своей осанкой, представительной и величественной, этот монарх затмевал соперников. Его обнаженные белые и мускулистые руки, казалось, уже натягивали лук Нимврода.

Владыки простерлись перед Белом и Формозантой. Египетский фараон преподнес царевне двух самых прекрасных нильских крокодилов, двух гиппопотамов, двух зебр, двух египетских крыс, две мумии и книги великого Гермеса — редчайшее земное сокровище, по убеждению владыки.

Царь Индии поднес ей в дар сто слонов, на спинах которых высились деревянные золоченые башенки, и положил к ее стопам «Веды», написанные рукой самой Ксаки.

Скифский царь, не умевший ни читать, ни писать, подарил ей сто боевых коней, покрытых чепраками из шкурок черно-бурых лисиц.

Царевна потупила взор перед своими поклонниками и грациозно, с достоинством, поклонилась им.

Бел приказал усадить царей на предназначенные им места.

— Почему у меня не три дочери? — воскликнул он. — Сегодня я мог бы осчастливить шесть человек.

Затем он повелел бросить жребий, кому первому должно натянуть лук Нимврода. Имена трех соперников бросили в золотой шлем. Первым оказался египетский фараон, вторым — индийский царь. Скифский царь, по-

глядя на лук и на соперников, не пожалел о том, что его черед — третий.

Пока шли приготовления к этим блистательным испытаниям, двадцать тысяч пажей и двадцать тысяч молодых девушек, ловко проходя по рядам зрителей, предлагали прохладительные напитки. Все единодушно решили, что боги создали царей лишь для того, чтобы ежедневно устраивать празднества, — разумеется, разнообразные; что жизнь слишком быстролетна, чтобы заполнять ее чем-нибудь иным; что тяжбы, интриги, войны, богословские споры, укорачивающие человеческое существование, бессмысленны и отвратительны; что человек рожден лишь для счастья; что не любил бы он столь страстно и неизменно наслаждения, если бы не был создан для них; что жажда радости заложена в человеческой природе, а все остальное — суета. Эта превосходная философия не была опровергнута никогда и ничем, кроме фактов.

Когда все было готово к состязаниям, которые должны были решить судьбу Формозанты, какой-то юный незнакомец, верхом на единороге, в сопровождении слуги, тоже на единороге, подъехал к барьеру, держа на руке большую птицу. Стража была поражена при виде человека богоподобной внешности, восседавшего на столь удивительном звере. Он был, как говорили впоследствии, Геракл станом и Адонис лицом. Величие в соединении с изяществом. Его черные брови и длинные белокурые волосы — прекрасное сочетание, доселе неизвестное в Вавилоне, — пленили собравшихся. Весь амфитеатр поднялся, стараясь получше разглядеть его; придворные дамы взирали на него с изумлением, и даже сама Формозанта, которая все время сидела, потупив очи, взглянула на него и покраснела. Три царя побледнели. Зрители, сравнивая Формозанту с незнакомцем, восклицали:

— В целом мире только этот юноша красотой подобен царице!

Телохранители Бела, придя в себя от удивления, спросили чужеземца, не царь ли он. Он ответил, что судьба не удостоила его этой чести, но что он прибыл издалека, любопытствуя увидеть, есть ли на свете цари, достойные Формозанты. Его провели в первый ряд амфитеатра вместе со слугой, единорогами и птицей. Он

низко склонился перед Белом, его дочерью, тремя царями, все собранием и, раздевшись, занял свое место. Единороги легли у его ног, птица села ему на плечо, а слуга, державший небольшой мешочек, устроился рядом с ним.

Состязания начались. Из золотого футляра был вынут лук Нимврода. Главный церемониймейстер, в сопровождении пятидесяти пажей и предшествуемый двадцатью трубачами, поднес лук египетскому фараону, который повелел своим жрецам освятить его, а затем возложил его на голову священного быка Аписа. Теперь он был твердо уверен, что победит в этом первом испытании. Он выходит на середину арены, он пытается натянуть лук, он напрягает все силы, он делает судорожные движения, вызывая смех зрителей, заставляя улыбнуться даже Формозанту.

К нему приближается его верховный жрец.

— Пусть ваше величество,— сказал он,— откажется от этой суетной чести, для которой нужны лишь нервы и мышцы. Вы восторгаетесь в остальном. Вы победите льва, ибо вам принадлежит меч Озириса. Царевна вавилонская должна принадлежать тому властелину, который мудрее всех, а вы уже проникли во многие тайны. Она должна стать супругой того, кто всех добродетельнее, а вы являетесь таковым, ибо воспитаны жрецами Египта. Ее должен назвать своей самый щедрый, а вы подарили ей двух самых прекрасных крокодилов и двух самых прекрасных во всей дельте крыс. Вам принадлежит священный бык Апис и книги Гермеса — редчайшие сокровища на земле. Никто не может оспаривать у вас Формозанту.

— Ты прав,— ответил фараон и снова занял свое место.

Лук вручили царю Индии. У того две недели после состязаний не сходили с рук мозоли, и он утешал себя тем, что царь скифов окажется не более счастливым, чем он. И вот царь скифов, в свою очередь, попытался натянуть тетиву. Он проявил и ловкость и силу. Казалось, лук приобрел в его руках некоторую гибкость; царю удалось слегка согнуть его, но натянуть тетиву он так и не смог. Зрители, которым приятное лицо царя внушило симпатию, испустили вздох разочарования при

виде его неуспеха и решили, что прекрасной царице не суждено выйти замуж.

Тогда юный незнакомец одним прыжком соскочил на арену.

— Не удивляйтесь тому, ваше величество,— сказал он царю скифов,— что вы не добились полного успеха. Эти луки из черного дерева выделывают на моей родине, тут необходимо знать, как взяться. Гораздо больше чести для вас согнуть его слегка, чем для меня — натянуть тетиву.

Он взял стрелу, натянул лук Нимврода, и стрела полетела далеко за пределы ристалища. Буря рукоплесканий встретила этот подвиг. Вавилон гремел от приветственных кликов, и женщины восклицали:

— Какое счастье, что столь прекрасный юноша обладает такой силой!

Затем, вынув из кармана маленькую пластинку слоновой кости, он золотой иглой начертил на ней что-то, прикрепил ее к луку и с грацией, восхитившей зрителей, преподнес царице. Потом скромно возвратился на свое место и сел между птицей и слугой. Вавилоняне были поражены. Трое владык — смущены. Незнакомец, казалось, не замечал этого.

Формозанта удивилась еще более, прочитав на пластинке слоновой кости следующие стихи, написанные на превосходном халдейском языке:

Нимврода лук — оружие боевое,
Амура лук — оружие любви.
Владея им, блаженство неземное
Вы дарите, будя огонь в крови.
Вступили три владыки в состязанье.
Ваш благосклонный взгляд для них закон.
Счастливец тот, чье сбудется желанье,
Несчастен тот, что будет побежден.

Этот изящный мадригал отнюдь не разгневал царицу. Несколько убеленных сединами царедворцев раскритиковали его, сказав, что в добрые старые времена Бела сравнили бы с солнцем, а Формозанту — с луной, шею ее — с башней, а грудь — с четвериком пшеницы. Они утверждали, что у чужеземца отсутствует воображение и что он отступил от правил истинной поэзии, но дамы нашли стихи весьма изысканными. Они восхищались тем, что человек, столь ловко натянувший

тетиву, вместе с тем и столь умен. Статс-дама царевны сказала:

— Ваше высочество, вот поистине таланты, пропа-
дающие втуне. Что принесет этому молодому человеку
его ум и лук Нимврода?

— Всеобщее восхищение,— ответила Формозанта.

— Ах, вот как! — пробормотала сквозь зубы статс-
дама.— Еще один мадригал — и его полюбят.

Между тем Бел, посоветовавшись со своими мага-
ми, объявил, что, хотя ни один из трех царей не натя-
нул тетивы лука Нимврода, тем не менее дочь его обя-
зательно должна вступить в брак, поэтому она будет
обвенчана с тем, кто умертвит огромного льва, специаль-
но вскормленного в зверинце. Египетский фараон, впи-
тавший всю мудрость своей отчизны, решил, что в выс-
шей степени нелепо подвергать себя, всемогущего вла-
дыку, опасности быть растерзанным диким зверем лишь
для того, чтобы потом вступить в брак. Он не отрицал,
что обладание Формозантой — высокая награда, но по-
лагал, что если лев растерзает его, тем самым он на-
всегда лишится возможности стать супругом прекрасной
вавилонянки. Царь Индии был того же мнения. Они
пришли к заключению, что вавилонский царь издевает-
ся над ними; что им следует призвать войска, дабы на-
казать его; что у них достаточно подданных, которые
почтут за честь умереть по приказу своих повелителей,
и тогда с их венценосных голов не упадет ни единого
волоска; что они легко свергнут с престола царя вави-
лонского и бросят жребий, кому из них обладать пре-
красной Формозантой.

Придя к такому соглашению, оба царя отправили
каждый в свою страну гонцов со спешным приказом на-
брать трехсоттысячную армию, чтобы похитить царевну.

На арену сошел один только скифский царь, воору-
женный кривой саблей. Он вовсе не был влюблен без
памяти в прелестную Формозанту. До сей поры единст-
венной его страстью была слава, она-то и привлекла его
в Вавилон. Он хотел доказать, что если у владык Ин-
дии и Египта достало благоразумия не связываться со
львом, то у него достанет мужества вступить в этот по-
единок и восстановить честь царского венца. Его ред-
костная отвага воспретила ему прибегнуть к помощи тигра.
И вот он выступает вперед, столь легко вооруженный,

в стальном шлеме с золотой насечкой, на котором реяли три белых, как снег, конских хвоста.

Против него выпускают самого огромного льва, какой когда-либо был вскормлен в горах Антиливана. Кажется, чудовищные когти льва способны растерзать сразу всех трех царей, а огромная пасть — поглотить их. Яростное рычание разносится по всему амфитеатру. Доблестные противники стремительно бросаются навстречу друг другу. Мужественный скиф глубоко вонзает саблю в отверстие пасти льва, но острое, наткнувшись на один из тех крепких клыков, которых ничто не в силах раздробить, разлетается в куски, и чудище, расшвырвав от нанесенной ему раны, уже запускает окровавленные когти в тело царя.

Юный незнакомец, встревоженный опасностью, грозящей отважному царю, молниеносно спрыгивает на арену и отсекает голову льву с той ловкостью, с какой впоследствии наши молодые кавалеры снимали на каруселях голову мавра или кольцо.

Потом, вынув маленькую шкатулку, он преподнес ее скифскому царю со следующими словами:

— Ваше величество, в этой шкатулке вы найдете настоящий ясец, произрастающий на моей родине; он мгновенно исцелит ваши почетные раны. Лишь случайность помешала вам убить льва, но это отнюдь не умаляет вашей доблести.

Царь скифов, более склонный к признательности, чем к зависти, поблагодарил своего избавителя, нежно обнял его и удалился в свои покои, чтобы приложить ясец к ранам.

Незнакомец отдал львиную голову своему слуге, тот вымыл ее в водоеме, расположенном ниже амфитеатра, выпустил из нее кровь и, достав из мешка клещи, выдернул из львиной пасти все сорок зубов, а на их место вставил сорок алмазов равной величины.

Его господин, с присущей ему скромностью, возвратился на свое место. Он отдал львиную голову птице.

— Прекрасная птица, — сказал он, — положи к ногам Формозанты этот ничтожный знак моего восхищения.

Птица взлетает, держа в когтях грозный трофей. Она кладет его к ногам царевны, распластавшись перед ней и почтительно изогнув шею. Глаза собравшихся были ослеплены алмазами. В пышном Вавилоне еще не ве-

дали этих великолепных камней. Там считали, что самые драгоценные украшения — это изумруды, топазы, сапфиры и карбункулы. Бел и весь двор пришли в восхищение. Птица, преподнесшая столь прекрасный дар, изумила их еще больше. Величиной она не уступала орлу, но глаза ее были так же кротки и нежны, как горды и грозны орлиные очи. Ее розовый клюв чем-то неумовимо напоминал прелестные уста Формозанты. Шея птицы отливала всеми цветами радуги, но более яркими, более ослепительными. Оперение играло тысячью золотистых оттенков, лапы были словно из серебра и пурпура, и хвосты тех чудесных птиц, которых впоследствии впрягали в колесницу Юоны, меркли перед ее хвостом.

Внимание, любопытство, изумление, восторг всего двора устремлялись то на сорок алмазов, то на птицу. Она примостилась на балюстраде между Белом и его дочерью. Формозанта гладила, ласкала, целовала ее. Птица, казалось, принимала ее ласки с почтительным удовольствием. Когда царица целовала птицу, та возвращала поцелуй, а потом глядела на нее растроганным взглядом. Она брала от царицы бисквиты и фисташки, хватая их своей серебристо-пурпуровой лапой, и с невыразимой грацией подносила потом к клюву.

Бел, внимательно разглядывавший алмазы, подумал, что едва ли хоть какая-нибудь из его провинций могла бы оплатить стоимость столь богатого дара. Он повелел приготовить для незнакомца подарка роскошнее тех, которые предназначались трем правителям.

— Этот юноша, — сказал царь, — несомненно, сын китайского императора или владыки той части света, которую именуют Европой и о которой до меня доходили слухи, а может быть, он сын африканского царя, чьи земли, говорят, граничат с Египтом.

Царь немедленно отправил своего обер-шталмейстера приветствовать незнакомца и спросить его, не царь ли он одного из этих государств и почему, владея такими изумительными сокровищами, он прибыл в сопровождении лишь одного слуги, нагруженного маленьким мешком.

В то время, как обер-шталмейстер приближался к амфитеатру, чтобы выполнить приказание, появился

другой слуга, верхом на единороге. Он обратился к юноше со следующими словами:

— Ормар, отец ваш заканчивает свое земное существование; я прибыл сообщить вам об этом.

Незнакомец поднял глаза к небу, залился слезами и произнес только два слова:

— В путь!

Обер-шталмейстер, передав приветствие Бела победителю льва, дарителю сорока алмазов, хозяину чудесной птицы, спросил у слуги, каким же царством правит отец этого юного героя.

— Его отец — старый пастух, горячо любимый в округе,— ответил слуга.

Пока шел этот короткий разговор, незнакомец успел вскочить на единорога.

— Сударь,— сказал он обер-шталмейстеру,— благоволите передать выражение моей величайшей преданности Белу и его дочери; скажите ей, что я умоляю ее взять на свое попечение птицу, которую оставляю. Птица эта подобна самой царевне — другой такой нет на свете.

Сказав это, он умчался подобно молнии. Двое его слуг устремились вслед за ним и вскоре исчезли из виду.

Формозанта громко вскрикнула. Птица, обернувшись к амфитеатру, где недавно сидел ее хозяин, и не видя его, печально нахохлилась. Затем пристально посмотрела на царевну и нежно потерлась клювом о ее прекрасную руку. Она, казалось, посвящала себя служению ей.

Царь был совершенно ошеломлен, узнав, что необыкновенный юноша — сын пастуха, и не поверил этому. Он приказал догнать его, но вскоре ему доложили, что единорогов, на которых умчались трое всадников, невозможно настичь, ибо таким галопом, каким они скачут, они делают, надо полагать, по сто лье в день.

2

Все толковали об этом странном происшествии и напрасно ломали себе головы, строя всевозможные догадки. Каким образом сын пастуха мог преподнести сорок крупных алмазов? Почему он ездит на единороге? Эти вопросы ставили всех в тупик; меж тем Формо-

занта, лаская птицу, была погружена в глубокое раздумье.

Княжна Алдея, ее троюродная сестра, стройная и почти столь же прекрасная, как Формозанта, сказала ей:

— Не знаю, кузина, действительно ли этот юный полубог — сын пастуха, но, сдаётся мне, он выполнил все условия, дающие ему право на вашу руку. Он натянул лук Нимврода, он победил льва, он очень умен, ибо посвятил вам довольно изящный экспромт. Вы получили от него сорок огромных алмазов и не станете отрицать, что он самый щедрый из людей. Его птица — редчайшее сокровище на земле, а добродетель ни с чем не сравнима, так как, имея возможность остаться с вами, он тем не менее уехал, едва услышал о болезни отца. Все требования оракула он выполнил, кроме одного, — повергнуть ниц соперников; но он поступил благородней, — спас жизнь единственному, которого мог опасаться. Что же касается двух остальных, то, надеюсь, вы понимаете, как легко он одолел бы их, если бы возникла в том необходимость.

— Все это сущая правда, — ответила Формозанта, — но возможно ли, что величайший из людей, а может быть, и самый любезный из них сын пастуха?

Статс-дама, вмешавшись в беседу, заметила, что нередко под словом «пастырь» разумеют царя; что пастырями их зовут из-за усердия, с каким они стригут свою паству; что то была, вероятно, лишь неподобающая шутка его слуги; что этот юный герой появился в сопровождении столь скромной свиты лишь затем, чтобы подчеркнуть, насколько присущие ему достоинства превышают блеск царей, и быть обязанным завоеванием Формозанты только самому себе. В ответ на эти слова царевна осыпала птицу нежнейшими ласками.

Тем временем шли приготовления к блистательному пиршеству в честь трех царей и всех властителей, приехавших на празднество. Дочь и племянница царя должны были почтить пир своим присутствием. Царям отнесли подарки, достойные великолепия Вавилона. Бел, в ожидании трапезы, созвал Совет, дабы решить вопрос о браке прекрасной Формозанты. Будучи тонким политиком, он заявил:

— Я стар, ума не приложу, что делать и за кого отдать мою дочь. Заслуживший ее — ничтожный пастух.

Царь Индии и фараон Египта — трусы. Царь скифов подошел бы больше других, но он не выполнил ни одного из требуемых условий. Я еще раз спрошу оракула, а вы меж тем посоветуйтесь, и смотря по ответу оракула мы решим, что делать, ибо царю всегда надлежит поступать согласно священной воле бессмертных богов.

Он идет в свою молельню. Оракул, как обычно, отвечает кратко: «Дочь твоя вступит в брак не раньше, чем постранствует по свету». Изумленный Бел возвращается и сообщает собравшимся этот ответ.

Все министры питали глубокое уважение к оракулам, все признавали или делали вид, что признают, будто они — основа религии, что разуму должно умолкнуть перед ними, что с их помощью цари управляют народами, а жрецы — царями, что, не будь оракулов, не было бы на земле ни добродетели, ни покоя. В конце концов, выразив оракулу самое глубокое почтение, министры почти единогласно решили, что на этот раз предсказание оказалось дерзким, что ему не следует подчиняться, что непристойно девице, к тому же дочери могучего царя Вавилона, пускаться в бесцельные странствия, что это верный способ или никогда не выйти замуж, или обвенчаться тайно, недостойно, неприлично; одним словом, что оракул этот лишен здравого смысла.

Самый молодой и самый умный из министров, по имени Онадаз, сказал, что, несомненно, оракул имел в виду какое-нибудь паломничество к святым местам, и предложил сопровождать царевну. Совет согласился с его мнением, но каждый предлагал в сопровождающие себя. Царь решил, что царевна может отправиться в храм, находящийся в трехстах парасангах от города по дороге в Аравию, на поклонение святому, слышшему устройтелем счастливых браков, и что сопровождать ее будет старейшина Совета. Приняв это решение, все отправились ужинать.

3

Среди садов, между двумя каскадами, высился овальной формы чертог в триста футов диаметром. Его лазоревый свод, усеянный золотыми звездами, воспроизводил точное расположение созвездий и планет. Он вращался, подобно заоблачной тверди, управляемый такими же невидимыми механизмами, как те, которые уп-

равляют движением небес. Сто тысяч светильников в цилиндрах из горного хрусталя озаряли столовую изнутри и снаружи. Буфет, имевший вид амфитеатра, заключал в себе двадцать тысяч золотых ваз и блюд. Ступени напротив были заняты музыкантами. Два других амфитеатра были наполнены один — плодами всех времен года, второй — хрустальными амфорами, в которых искрились вина со всей земли.

Гости заняли места за пиршественным столом, украшенным цветами и фруктами из драгоценных камней. Прекрасная Формозанта сидела между царем индийским и фараоном египетским, прекрасная же Алдея сидела рядом с царем скифов. Было еще тридцать других государей, и возле каждого сидела какая-нибудь придворная красавица. Царь Вавилона, восседавший напротив дочери, казался, и скорбел, что не нашел ей достойного супруга, и в то же время радовался, что она еще с ним. Формозанта попросила у него разрешения посадить свою птицу возле себя на столе. Царь охотно согласился.

Под звуки музыки монархи могли непринужденно беседовать. Пир протекал и весело и пышно. Формозанте подали рагу, любимое кушанье Бела. Она сказала, что это яство следовало бы сперва подать его величеству; с неподражаемой ловкостью птица тотчас же схватила блюдо и поднесла царю. Все несказанно удивились. Бел, как и его дочь, приласкал птицу, после чего та полетела обратно к Формозанте. На лету птица распустила такой чудесный хвост, ее распростертые крылья отливали такими дивными красками, золото оперения так ослепительно блестело, что все не сводили с нее глаз. Музыканты перестали играть и словно окаменели. Никто не ел, разговоры прекратились, слышен был лишь восхищенный шепот. В продолжение всего ужина царевна ласкала птицу, забыв обо всех царях на свете. Цари же — индийский и египетский — все больше досадовали и возмущались, и каждый дал себе слово ускорить прибытие своих трехсоттысячных армий, чтобы отомстить за пренебрежение к себе.

Что же до скифского царя, то он был поглощен беседой с прелестной Алдеей. Его гордое сердце отвечало презрением на холодность Формозанты и было исполнено скорее безразличием, нежели обидой и гневом.

— Она прекрасна, слов нет,— говорил он,— но, кажется, принадлежит к числу тех женщин, которые поглощены лишь своей красотой и полагают, что род человеческий должен быть им очень признателен, если они удостоят показаться в свете. В моей стране не поклоняются идолам. Я предпочел бы приветливую и обходительную дурнушку этой прекрасной статуе. Вы, ваше высочество, не менее очаровательны, однако снисходите до беседы с чужеземцами. С откровенностью скифа признаюсь, что отдаю предпочтение вам перед вашей кузиной.

Однако он заблуждался относительно характера Формозанты: она не была такой высокомерной, какой казалась, но комплимент его был весьма благосклонно принят княжной Алдеей. Беседа их становилась все оживленнее, они были очень довольны друг другом и уже до того, как закончился пир, вполне сговорились.

После ужина все отправились погулять в сад. Царь скифов и Алдея отыскивали укромную беседку. Алдея, очень откровенная по натуре, сказала царю:

— Я не питаю ненависти к кузине, хотя она прекраснее меня и ей предназначен трон Вавилона. Я имею честь нравиться вам — мне это дороже красоты. Скифию с вами я предпочитаю Вавилону без вас. Но по праву, если только в мире вообще существует право, вавилонская корона принадлежит мне, ибо я происхожу от старшей ветви потомков Нимврода, а Формозанта — от младшей. Ее дед отнял престол у моего деда и приказал его казнить.

— Так вот как уважают кровное родство цари Вавилона! — воскликнул скиф. — Как звали вашего деда?

— Его имя было Алдей, как мое. Отец мой носил то же имя, он вместе с матерью был сослан в глубь страны, и Бел, успокоившись после их смерти, пожелал воспитывать меня вместе со своей дочерью, но решил никогда не выдавать замуж.

— Я отомщу за вашего отца, за вашего деда и за вас! — заявил царь скифов. — Ручаюсь вам, что вы выйдете замуж. Я увезу вас на утренней заре послезавтра, потому что завтра должен присутствовать на обеде у вавилонского царя, а затем вернусь сюда с трехсоттысячной армией и восстановлю ваши поправные права.

— Я буду ждать вас,— отвечала прекрасная Алдея, и, поклявшись друг другу в верности, они расстались.

Давно уже несравненная Формозанта удалась к себе в опочивальню. Она приказала поставить возле своего ложа серебряный ящик с апельсинным деревцем, чтобы птица могла дремать на его ветвях. Полог был задернут, но Формозанте не спалось, слишком взволнованы были ее сердце и воображение. Перед ее мысленным взором всплывал образ прекрасного незнакомца. То она видела, как он натягивает лук Нимврода, то следила, как одним взмахом сабли отсекает голову льву, то повторяла его мадригал; наконец, она представила себе, как, вырвавшись из толпы, он мчится на своем единороге,— и, разразившись рыданиями, горестно воскликнула:

— Я никогда не увижу его больше! Он никогда не вернется!

— Он вернется, ваше высочество,— ответила ей с верхушки апельсинного дерева птица.— Можно ли, однажды увидев вас, не загореться желанием увидеть вновь?

— О небо! О силы небесные! Моя птица заговорила на чистейшем халдейском языке! — воскликнула царица и, откинув полог, встала на колени и протянула к ней руки.— Не божество ли вы, сошедшее на землю, не таится ли сам великий Оромазд под этим дивным оперением? Прошу вас, если вы божество, верните мне прекрасного юношу.

— Я всего лишь птица,— сказала та,— но я родилась еще в ту пору, когда животные умели говорить, и птицы, змеи, ослицы, кони, грифы запросто беседовали с людьми. Я не хотела говорить в присутствии людей из опасения, что ваши придворные дамы примут меня за колдунью, и решила открыться вам одной.

Потрясенная, сбита с толку, очарованная такими чудесами, Формозанта взволнованно требовала ответов на сотни вопросов. Но прежде всего она хотела знать, сколько же птице лет.

— Двадцать семь тысяч девятьсот лет и шесть месяцев, ваше высочество,— ответила та.— Мне столько же лет, сколько длится малое возмущение небесных тел, которое ваши жрецы именуют предварением равноденствия, то есть около двадцати восьми тысяч лет по ва-

шему летосчислению. Бывают возмущения куда более длительные, равно как бывают среди нас создания куда более древние, чем я. Двадцать тысяч лет назад, во время одного из моих путешествий, я научилась говорить по-халдейски. Мне очень нравится этот язык, но мои соплеменники отказались говорить на нем в ваших краях.

— Почему же, моя божественная птица?

— Потому, увы, что люди начали поедать нас, вместо того чтобы учиться у нас и беседовать с нами. Варвары! Им следовало бы понять, что мы, обладая теми же органами, теми же чувствами, теми же потребностями, теми же стремлениями, что и они, обладаем и так называемой душой, что мы — сродни людям и что варить и есть можно только злых животных. Мы настолько родственны вам, что великий творец, бессмертный создатель, заключив договор с людьми¹, сознательно упомянул в нем о нас. Он запретил вам питаться нашей кровью, а нам — высасывать вашу.

Басни вашего древнего Локмана, переведенные на множество языков, останутся незыблемым свидетельством того счастливого общения, которое вы когда-то поддерживали с нами. Все они начинаются словами: «В ту пору, когда животные умели говорить». Правда, многие ваши женщины и сейчас еще разговаривают со своими собаками, но те решили никогда больше не отвечать им, с тех пор как ударами плети их стали принуждать охотиться и таким образом становиться сообщниками убийства наших прежних общих друзей: оленей, ланей, зайцев и куропаток.

В ваших древних поэмах кони говорят на человеческом языке, а ваши возницы и ныне обращаются к ним с речами, но при этом употребляют такие грубые и подлые слова, что эти животные, некогда очень привязанные к вам, стали вас ненавидеть.

Страна, где проживает ваш прекрасный незнакомец, самый совершенный из людей, — единственная страна, где людская порода еще умеет любить нас и беседовать с нами, и это единственный край на земле, где люди справедливы.

¹ Смотри главу 9 Бытия и главу 3 «Екклесиаста».

— Где же находится страна моего дорогого незнакомца? Как имя этого героя? Как называется государство, которым он правит? Мне столь же трудно поверить в то, что он пастух, как в то, что вы — летучая мышь.

— Его страна, ваше высочество, — это страна гангаридов, народа добродетельного и несокрушимого, населяющего восточный берег Ганга. Имя моего друга — Амазан. Он не царь, и я сильно сомневаюсь, чтобы он пожелал низвести себя до этого сана. Он слишком любит своих соотечественников, поэтому он такой же пастух, как они. Но не думайте, что эти пастухи похожи на ваших, едва прикрытых лохмотьями, которые пасут овец, одетых неизмеримо теплее, чем они, и, изнемогая под бременем нищеты, выплачивают сборщику податей половину своего жалкого заработка. Среди гангаридских пастухов царит равенство, они — хозяева бесчисленных овец, пасущихся на вечноцветущих равнинах. Овец этих никогда не убивают, ибо нет большего оскорбления Гангу, чем убить и съесть себе подобного. Шерсть этих овец, более тонкая и блестящая, чем самый великолепный шелк, служит главным предметом торговли со странами Востока. К тому же земля гангаридов родит все, что только может пожелать человек. Эти крупные брильянты, которые Амазан имел честь поднести вам, добыты из россыпи, ему принадлежащей. Все гангариды, так же как и он, ездят на единорогах. Это самое прекрасное, самое гордое, самое грозное и самое ласковое из животных, украшающих землю. Достаточно сотни гангаридов и сотни единорогов, чтобы рассеять бессчетное войско. Около двухсот лет назад некий индийский царь был столь безумен, что, пожелав завоевать страну гангаридов, явился туда в сопровождении десяти тысяч слонов и миллиона воинов. Единороги пронзали слонов, словно тех полевых жаворонков, нанизанных на маленькие золотые вертелы, которых я видела на вашем столе во время пира. Под взмахами сабель гангаридов враги падали, как стебли риса, срезанные жителями Востока. Царя и более шестисот тысяч воинов взяли в плен. Его омыли в целебных водах Ганга и заставили есть только то, что едят местные жители, то есть растения, самой природой предназначенные в пищу всему живому. В людях, питающихся убоиной и отравленных крепкими винами, течет кровь прокисшая и вос-

паленная, она на сто ладов сводит их с ума, и главное их безумие — это страсть проливать кровь ближних и опустошать плодородные земли, чтобы потом царствовать над кладбищами. Полгода понадобилось для полного исцеления царя Индии. Когда врачи убедились наконец, что пульс его стал ровнее и разум просветлел, они представили Совету гангаридов свидетельство о состоянии его здоровья. Совет, выслушав также мнение единокоров, великодушно разрешил царю Индии, глупым придворным и невежественным воинам возвратиться к себе на родину. Этот урок образумил их, и с той поры народы Индии уважают гангаридов, подобно тому как у вас невежды, жаждущие знаний, уважают халдейских философов, сравняться с которыми не могут.

— Кстати, моя дорогая птица, есть ли у гангаридов религия? — спросила царица.

— Конечно, ваше высочество! Каждое полнолуние мы собираемся, чтобы возблагодарить бога. Мужчины — в обширном храме из кедра, женщины, боясь отвлечься, — в другом таком же храме. Все птицы слетаются в рощу, четвероногие собираются на чудесном лугу. Мы благодарим бога за все ниспосланные нам дары. А самые лучшие проповеди произносят у нас попугаи. Такова отчизна моего дорогого Амазана. Там живу и я. Мои дружеские чувства к нему столь же горячи, как любовь, которую он внушил вам. Поверьте мне: поедете туда, вы отдадите ему визит.

— Поистине, дорогая птица, вы занялись отличным ремеслом, — сказала, улыбаясь, царица, горевшая желанием отправиться в путь, но не дерзавшая высказать это.

— Я служу моему другу, — отвечала птица, — и величайшее благо, после счастья любить вас, это — способствовать вашей любви.

Формозанта никак не могла прийти в себя: ей казалось, что она парит над землей. Все, чему она в течение дня была свидетельницей, все, что видела сейчас, все, что слышала, а главное, все, что ощущала в своем сердце, дарило ей упоение, далеко превосходящее то, которое испытывают взысканные судьбою мусульмане, когда, освобожденные от земных уз, они зрят себя на девятом небе, в объятиях гурий, и их опьяняет и овекает слава и небесное блаженство.

Всю ночь царица провела в расспросах об Амазанае. Она теперь называла его не иначе, как «мой пастушок», — прозвище, которое с тех пор у многих народов стало тождественно со словом «возлюбленный». То она хотела знать, не было ли у Амазана других возлюбленных. «Нет», — отвечала птица, и Формозанта чувствовала себя на вершине счастья. То она допытывалась, какой образ жизни он ведет, и с восторгом узнавала, что он занят добрыми делами, содействует развитию искусств, старается проникнуть в тайны природы, стремится к самоусовершенствованию. То она спрашивала, почему, если душа птицы сродни душе ее возлюбленного, птица прожила двадцать восемь тысяч лет, а возлюбленный — лишь восемнадцать-девятнадцать? Она задавала сотни подобных вопросов, на которые птица отвечала сдержанно, чем еще сильнее возбуждала ее любопытство. Наконец сон смежил их очи и отдал Формозанту во власть ниспосылаемых богами сладостных сновидений, которые живостью своей превосходят порою самое действительность и дать истолкование которых не всегда может даже халдейская философия.

Формозанта проснулась очень поздно. В опочивальне еще царил полумрак, когда отец ее вошел к ней. Птица встретила его величество с изысканной почтительностью, вышла ему навстречу, захлопала крыльями, изогнула шею и затем снова взлетела на апельсинное дерево. Царь присел на ложе дочери, еще больше похорошевшей от приятных сновидений. Коснувшись длинной бородой ее прекрасного лица и дважды поцеловав, царь сказал:

— Дорогая дочь моя, вопреки моим надеждам, вчера вы не смогли обрести себе супруга. Однако вы должны выйти замуж, этого требует благо государства. Я советовался с оракулом, который, как вам известно, никогда не лжет и руководит всеми моими поступками. Он приказал мне отправить вас странствовать. Вам необходимо совершить путешествие.

— Ах, — воскликнула царица, — конечно, к гангаридам!

Но как только у нее вырвались эти необдуманно слова, она спохватилась, что сболтнула лишнее. Царь,

не имевший никакого понятия о географии, спросил ее, кто такие эти гангариды. Формозанта легко нашла отговорку. Царь сообщил ей, что она должна совершить паломничество, что он уже назначил людей в ее свиту. Это — старейшина Государственного совета, верховный жрец, придворная дама, врач, аптекарь и ее птица, а также необходимое ей число слуг. Формозанта, которая никогда не покидала дворца своего царственного родителя и вплоть до дня празднества в честь трех владык и Амазана вела жизнь хотя и полную обманчивого веселья, но однообразную и подчиненную пышному придворному этикету, была в восторге от предстоящего ей паломничества. «Кто знает,— думала она,— быть может, боги внушат моему дорогому гангариду мысль тоже предпринять паломничество к тому же храму и мне улыбнется счастье повстречать паломника?» Она нежно поблагодарила отца, уверив его, что всегда чувствовала тайное влечение к божеству, поклониться которому ее посылают.

Царь дал в честь гостей изысканный обед, на котором присутствовали только мужчины. Выбор приглашенных оказался неудачным: цари, князья, министры, священники — все завидовали друг другу, все взвешивали каждое свое слово, все были в тягость своим соседям и самим себе. Трапеза протекала уныло, невзирая на обильные возлияния. Обе царевны не выходили из своих покоев, занятые предотъездными хлопотами. Каждая пообедала в скромном уединении. Затем Формозанта отправилась на прогулку в дворцовый парк, взяв с собой свою дорогую птицу; та, чтобы ее позабавить, перелетала с дерева на дерево, распутив свой великолепный хвост и блистая божественным оперением.

Египетский фараон, разгоряченный вином, чтобы не сказать пьяный, приказал своему пажу подать ему лук и стрелы. По правде говоря, этот правитель был самым неловким стрелком в своем государстве. Когда он стрелял в цель, самым безопасным местом было то, куда он метил. Но дивная птица, такая же быстрая в полете, как стрела, метнулась под выстрел и упала, истекая кровью, на руки Формозанте. Фараон, глупо засмеявшись, удалился в свои покои. Царевна пронзительно закричала, зарыдала, стала раздирать ногтями себе лицо и грудь. Птица, умирая, прошептала:

— Сожгите меня и непременно отвезите мой пепел в Счастливую Аравию, к востоку от города Адема, или Эдема, там положите его на солнце, на небольшой костер из гвоздичного и коричневого деревьев.

И она испустила дух.

Долго лежала Формозанта в беспамятстве, а когда пришла в себя, залилась снова слезами.

Отец разделял ее скорбь и проклинал фараона, не сомневаясь, что это происшествие предвещает мрачное будущее. Он немедленно отправился к оракулу, дабы испросить у него совета. Оракул сказал: «Все вместе — смерть и жизнь, измена и постоянство, утрата и выигрыш, бедствие и счастье». Ни царь, ни члены Совета ничего не поняли, но все же владыка был доволен, что совершил обряд благочестия.

Пока он вопрошал оракула, его безутешная дочь, приказав исполнить предсмертную волю птицы, решила увезти ее пепел в Аравию, хотя бы и рискуя жизнью. Птицу вместе с апельсинным деревом, на котором та ночевала, завернули в ткань из горного льна и сожгли. Царевна собрала пепел в золотую урну, украшенную карбункулами и брильянтами, извлеченными из львиной пасти. Ах, если бы она могла вместо исполнения этого печального похоронного обряда заживо сжечь ненавистного египетского фараона! Это было ее единственное желание. В порыве досады она приказала убить двух его крокодилов, обоих гиппопотамов, обеих зебр, обеих крыс и бросить в Евфрат обе его мумии; попадись ей в руки бык Апис, она и его не пощадила бы.

Египетский фараон, вне себя от подобного оскорбления, немедленно покинул страну, намереваясь ускорить прибытие своей трехсоттысячной армии. Индийский царь, видя, что его союзник отбыл, в тот же день последовал его примеру, твердо решив присоединить триста тысяч своих воинов к египетскому войску. Царь скифов, вместе с Алдеей, тайно уехал ночью, непреклонно решив возвратиться во главе трехсоттысячной армии скифов, чтобы отвоевать у узурпатора вавилонское царство, принадлежащее Алдее, как единственной представительнице старшей ветви. В свою очередь, прекрасная Формозанта в три часа утра пустилась в путь, сопровождаемая свитой и утешаясь мыслью, что едет в Аравию исполнить последнюю волю своей птицы и что,

быть может, милость бессмертных богов вернет ей дорогого Амазана, без которого жизнь казалась ей теперь невозможной.

Итак, царь вавилонский, проснувшись, оказался в одиночестве.

— Конец празднествам! — воскликнул он. — Но какую странную пустоту ощущаешь в душе после всего этого шума и суеты! — Однако он воспылал поистине царским гневом, когда узнал о похищении Алдеи. Он приказал разбудить всех министров и созвать Совет. В ожидании их прихода он не преминул обратиться к оракулу, но не добился от него иных слов, кроме тех, которые стали потом знамениты во всем мире: «Если девушек не выдают замуж, они сами находят себе мужей».

Немедленно отдан был приказ трехсоттысячной армии выступить в поход против скифского царя. И вот вспыхнула одна из самых ужасных войн, вызванная самым блистательным из всех возможных празднеств.

Четыре армии, по триста тысяч человек каждая, обрекали Азию на опустошение. Всякий поймет, что Троянская война, удивившая несколько столетий спустя весь мир, была по сравнению с этой войной лишь детской забавой, но следует также принять во внимание, что в Троянской войне распря возникла из-за женщины уже пожилой и весьма распутной, дозволившей дважды себя похитить, тогда как здесь дело касалось двух девушек и птицы.

Индийский царь решил поджидать свою армию на широкой, великолепной дороге, которая тянулась тогда от Вавилона до Кашмира. Скифский царь с Алдеей выбрали живописный путь, который вел к горе Имаус. Впоследствии все эти дороги из-за небрежного к ним отношения исчезли. Египетский фараон направился на запад и двинулся вдоль берегов небольшого моря, именуемого Средиземным, которое невежественные евреи прозвали потом «Великим морем».

А прекрасная Формозанта следовала по Бассорской дороге, обсаженной высокими пальмами, всегда дававшими тень и во все времена года приносившими плоды. Храм, куда она направлялась на поклонение, находился в самой Бассоре. Святой, в честь которого он был воздвигнут, мало чем отличался от того, которому впослед-

ствии поклонялись в Лампсаке. Он не только раздобывал девушкам мужей, но нередко сам заменял их. Это был наиболее чтимый в Азии святой.

Формозанту ничуть не занимал бассорский святой. Ей грезился лишь ее любимый гангаридский пастух, ее прекрасный Амазан. Она предполагала сесть в Бассоре на корабль и отправиться в Счастливую Аравию, чтобы исполнить последнюю волю птицы.

На третьем ночлеге, едва лишь она вошла в гостиницу, где гоффурьеры приготовили для нее помещение, как ей доложили, что туда же прибыл и фараон Египта. Получив от своих шпионов сведения о пути следования царевны, он, в сопровождении многочисленной свиты, тотчас же изменил первоначально намеченный путь.

Он приезжает в гостиницу, он ставит у всех выходов стражу, он поднимается в опочивальню прекрасной Формозанты и говорит ей:

— Ваше высочество, именно вас-то я и искал. Вы мало обращали на меня внимания в Вавилоне. Справедливость требует, чтобы спесивые и ветреные девицы были наказаны; вы окажете мне любезность и отужинаете со мной сегодня вечером; вы разделите со мной ложе, а в дальнейшем я поступлю в зависимости от того, буду я вами доволен или нет.

Формозанта тотчас же сообразила, что сила не на ее стороне. Она великолепно понимала, что здравый смысл требует применяться к обстоятельствам, и решила отделаться от фараона с помощью какой-нибудь невинной хитрости. Искоса взглянув на него, что много веков спустя стало называться «делать глазки», вот что молвила она ему с такой скромностью, прелестью, вкрадчивостью и множеством иных очаровательных ужимок, которые могли бы свести с ума самого разумного мужчину и ослепить самого прозорливого:

— Признаюсь вам, ваше величество, что я ни разу не осмеливалась взглянуть на вас, когда вы удостоили моего царственного отца чести посетить его. Я боялась собственного сердца, стыдилась своего чрезмерного простодушия. Я трепетала, опасаясь, что мой отец и ваши соперники заметят предпочтение, которое я оказываю вам, чего вы, несомненно, заслуживаете. Но теперь я могу свободно отдаться своим чувствам. Клянусь быком Аписом, которого после вас почитаю больше всего на

свете, что ваши предложения восхищают меня. Я уже имела честь ужинать с вами у царя, моего отца, и еще раз с удовольствием поужинаю с вами здесь, не стесняемая его присутствием. Единственно, о чем я прошу вас,— пусть ваш верховный жрец выпьет вместе с нами. В Вавилоне он показался мне очень приятным сопразником. У меня с собой чудесное ширазское вино, я хочу, чтобы вы оба отведали его. Что же касается вашего второго предложения, то оно очень соблазнительно, но не пристало знатной девушке говорить об этом. Удовлетворитесь тем, что я считаю вас самым могущественным правителем и самым очаровательным мужчиной.

Эти слова вскружили фараону голову. Он охотно согласился позвать на ужин верховного жреца.

— Хочу просить вас еще об одной милости,— сказала царица.— Допустите ко мне моего аптекаря. Молодые девушки часто страдают легкими недугами, требующими известного внимания. То у них головокружение, то сердцебиение, то колики, то удушье,— болезни, которые при некоторых обстоятельствах нуждаются в лечении. Одним словом, мне срочно нужен мой аптекарь, и, надеюсь, вы не откажете мне в этом скромном доказательстве любви.

— Ваше высочество,— ответил фараон,— хотя мы с аптекарем стоим на совершенно противоположных точках зрения и орудия его ремесла не совпадают с моими, но я слишком хорошо воспитан, чтобы отказать вам в такой законной просьбе. Я велю, чтобы он явился к вам еще до ужина. Несомненно, путешествие несколько утомило вас. Вам, конечно, необходима служанка. Прикажите позвать ту, которая вам всего приятнее, а затем я буду ждать ваших повелений и надеяться на вашу благосклонность.

Он удалился. Вошли аптекарь и служанка по имени Ирла. Царица вполне доверяла ей. Она приказала Ирле принести шесть бутылок ширазского вина к ужину и таким же вином напоить всю стражу, несущую караул возле арестованных вавилонских офицеров. Затем она приказала аптекарю всыпать в бутылки снотворное, от которого люди засыпали на двадцать четыре часа и которое аптекарь всегда держал про запас. Ее приказания были исполнены в точности. Через полчаса явился фара-

он в сопровождении верховного жреца. Ужин прошел очень оживленно. Фараон и жрец осушили шесть бутылок до дна и признали, что подобного вина в Египте не найти. Служанка постаралась напоить слуг, которые подавали к столу. Сама Формозанта не выпила ни капли, объясняя это тем, что врач предписал ей диету. Вскоре все уснули.

У верховного жреца египетского фараона была борода роскошнее, чем у любого другого представителя его сана. Формозанта очень ловко отрезала ее и, приказав пришить к ленточке, подвязала потом к своему подбородку. Она облачилась в одеяние жреца и нацепила на себя все его знаки отличия, а служанку нарядила жрецом богини Изиды. Захватив урну и драгоценности, она вышла из гостиницы, благополучно миновав стражей, спавших так же крепко, как их господин. Сопровождавшая ее служанка позаботилась о том, чтобы у ворот стояли две оседланные лошади. Царевна не могла взять с собой никого из своей свиты, иначе их задержал бы нарядный караул.

Формозанта и Ирла проехали сквозь двойной ряд воинов, принимавших царевну за верховного жреца, величавших ее «ваше преосвященство» и просивших благословения. Беглянки добрались до Бассоры за сутки, прежде чем фараон успел проснуться. Сбросив, чтобы не возбуждать подозрений, свое маскарадное одеяние, они спешно зафрахтовали судно, которое доставило их через Оромаздский пролив к прекрасному берегу Эдема, в Счастливую Аравию. Это был тот самый Эдем, сады которого так прославились, что впоследствии их стали считать обителью праведников. Они явились прообразом Елисейских полей, садов Гесперид и садов на островах Счастья, ибо обитатели жарких стран не мыслят себе большего блаженства, нежели тенистая сень и журчание воды. Человеческие существа, которые так и не научились понимать друг друга и не умеют ни мыслить, ни точно выражаться, считают, что вечная жизнь на небесах перед ликом божества равноценна прогулкам по райским садам.

Как только царевна прибыла в эту страну, она поспешила воздать своей дорогой птице погребальные почести, которые та перечислила перед смертью. Своими прекрасными руками она сложила из гвоздичных и ко-

ричных сучьев небольшой костер. Каково же было ее изумление, когда, рассыпав на эти сучья прах птицы, она увидела, что костер вспыхнул сам собой. Все быстро сгорело, но теперь вместо пепла там лежало большое яйцо, из которого затем вылупилась ее птица, еще более ослепительная, чем прежде. Это было самое прекрасное мгновение в жизни царевны. Прекраснее могло быть лишь одно; она страстно желала этого, но не смела надеяться.

— Теперь я вижу,— сказала она,— что вы птица Феникс, о которой мне так много рассказывали. Я готова умереть от радости и удивления. Прежде я никогда не верила в воскресение мертвых, но счастье мое убедило меня.

— Ваше высочество, воскресение из мертвых — самое обычное явление в мире,— ответил ей Феникс.— Родиться дважды не менее естественно, чем родиться один раз. Все в мире возрождается. Гусеница воскресает в бабочке, орех, упавший наземь,— в дереве. Все животные, зарытые в землю, перерождаются в травы, в растения и питают других животных, становясь, таким образом, их плотью. Все частицы, составлявшие некогда живое существо, превращаются в другие существа. Правда, только мне могущественный Оромазд даровал милость — воскресать в своем былом обличье.

Формозанта, которая с той поры, как увидела Амазана и Феникса, не переставала ежеминутно удивляться, сказала:

— Я понимаю, что великое божество могло возродить из вашего праха птицу Феникс, очень на вас похожую, но, признаюсь, мне непонятно, как можете вы быть тем же существом и обладать той же душой, какой обладали: где она была, пока я после вашей смерти носила вас в кармане?

— Боже мой, ваше высочество, разве великому Оромазду труднее сохранить крошечную искру — мою душу, нежели сотворить ее вновь? Некогда он уже даровал мне чувства, память, способность мыслить и вот опять дарует их. Благословил ли он этой милостью только частицу таящегося во мне первоначального огня или все мое существо — от этого ведь ничего не меняется. И птица Феникс, и люди никогда не узнают, как это происходит. Но величайшее благодеяние, оказанное мне

божеством, состоит в том, что воскресило оно меня для вас. Ах, почему те двадцать восемь тысяч лет, которые мне суждено прожить до нового возрождения, я не смогу провести с вами и моим дорогим Амазаном!

— Мой милый Феникс, вспомните, что первые слова, сказанные вами мне в Вавилоне, слова, которые я никогда не забуду, окрылили меня надеждой вновь увидеть моего дорогого пастуха. Давайте же вместе отправимся к гангаридам и затем привезем его в Вавилон.

— Таково и мое намерение, — сказал Феникс. — Нельзя терять ни минуты. Мы помчимся к Амазану кратчайшим путем, то есть по воздуху. В Счастливой Аравии, всего в ста пятидесяти милях отсюда, живут два грифа, мои близкие друзья. Я пошлю им с голубиной почтой письмо, и они прилетят сюда еще до наступления темноты. Мы успеем заказать для вас небольшой удобный диван с ящиками для необходимой провизии; вам и вашей служанке будет очень уютно в такой повозке. Эти грифы — самые сильные среди им подобных. Каждый вцепится когтями в одну из ручек дивана. Но повторяю: дорого каждое мгновение.

Птица тут же отправилась с Формозантой к знакомому мебельному мастеру и заказала диван. Спустя четыре часа он был готов. Ящики его набили сдобными хлебцами, бисквитами, превосходившими качеством вавилонские, лимонами, ананасами, кокосовыми орехами, фисташками и эдемским вином, которое настолько же вкуснее ширазского, насколько последнее превосходит сюренское.

Диван был и удобен, и легок, и прочен. Грифы прилетели в назначенный час. Формозанта и Ирла уселись в экипаж. Грифы подняли его, словно перышко. Феникс то летал рядом, то садился на спинку дивана. Грифы устремились к Гангу с быстротой стрелы, рассекающей воздух. Остановки были недолгими, лишь ночью, чтобы поесть и напоить пернатых возниц.

Наконец они прибыли в страну гангаридов. Сердце царевны трепетало от надежды, любви, радости. Феникс приказал спуститься возле дома Амазана. Он попросил слуг доложить о нем, но ему ответили, что три часа назад Амазан покинул дом и уехал в неизвестном направлении.

Нет слов даже на языке гангаридов, чтобы передать отчаяние, овладевшее Формозантой.

— Увы! Этого-то я и опасался,— сказал Феникс.— Те три часа, которые вы провели в гостинице, по дороге в Бассору, с этим злополучным египетским фараоном, отняли у вас, быть может, навсегда, счастье вашей жизни. Боюсь, что вы безвозвратно утратили Амазана.

Феникс спросил, нельзя ли им приветствовать мать Амазана, но слуги ответили, что супруг ее позавчера скончался и она никого не принимает.

Феникс, бывавший прежде в этом доме запросто, провел вавилонскую царевну в покой, стены которого были обшиты апельсиновым деревом и выложены пластинками слоновой кости. Подпаски-мальчики и подпаски-девочки в длинных белоснежных одеждах, опоясанные ярко-оранжевыми лентами, подали ей в ста корзиночках из простого фарфора сто изысканных яств, среди которых не было убоины, зато были рис, саго, манна, вермишель, макароны, омлеты, фрукты, такие душистые и сладкие, о каких не имеют и понятия в других странах. Были также поданы в изобилии прохладительные напитки, куда более вкусные, чем самые лучшие вина.

В то время как царевна вкушала яства, нежась на ложе из роз, четыре павлина или павы, по счастью, немые, оведали ее своими блистающими крыльями. Двести птиц, сто пастухов и сто пастушек исполняли концерт. Соловьи, канарейки, малиновки, зяблики вместе с пастушками вели первую партию, пастухи исполняли партии альтов и басов, а в общем, все было прекрасно и естественно, как сама природа. Царевна признала, что если Вавилон блистал большей роскошью, то у гангаридов природа была в тысячу раз пленительнее. Но пока звучала утешительная и ласкающая слух музыка, царевна плакала.

— Пастухи и пастушки, соловьи и канарейки наслаждаются любовью, а я в разлуке с гангаридом — героем, достойным предметом моих самых нежных и страстных мечтаний.— Так говорила она своей служанке Ирле.

В то время как она ужинала и то восхищалась, то плакала, Феникс говорил матери Амазана:

— Госпожа моя, вы не можете отказать в свидании вавилонской царевне. Вы знаете...

— Я знаю все, вплоть до ее приключения в гостинице по дороге в Бассору. Сегодня утром мне обо всем рассказал черный дрозд. Этот жестокий дрозд виноват в том, что мой сын, обезумев от отчаяния, покинул отчий дом.

— А было ли вам известно, что царица воскресила меня?

— Нет, дорогое дитя, дрозд мне сказал, что вы умерли, и я была неутешна. Меня так расстроили ваша смерть, кончина моего мужа, внезапный отъезд сына, что я закрыла для всех двери своего дома. Но так как вавилонская царица оказала мне честь посетить меня, то скорее зовите ее сюда. Мне необходимо сообщить ей очень важные известия. Прошу и вас присутствовать при этом свидании...

И она тотчас же направилась в соседний покой, навстречу царице.

Мать Амазана двигалась с трудом — ей было уже около трехсот лет, но красота ее еще не совсем поблекла. Лет в двести тридцать — двести сорок она, видимо, была ослепительно хороша.

Формозанту она приняла почитательно и с достоинством; ее сочувствие и печаль произвели на царицу сильное впечатление.

Формозанта прежде всего выразила ей соболезнование по случаю кончины ее супруга.

— Увы, — ответила мать Амазана, — его смерть кажется вам гораздо больше, чем вы думаете.

— Конечно, я очень огорчена, — ответила Формозанта, — ведь он был отцом... — Сказав это, она заплакала. — Только ради него спешила я сюда, подвергаясь множеству опасностей, ради него покинула отца и самый блестящий в мире двор. Царь Египта, которого я ненавижу, похитил меня. Ускользнув от этого насильника, я пролетела огромное пространство, чтобы увидеть того, кого люблю. Я здесь, и что же? Он бежит от меня!

Слезы и рыдания пресекли ее речь.

Тогда заговорила мать Амазана:

— Ваше высочество, когда царь Египта задержал вас и вы ужинали с ним по дороге в Бассору, когда вы вашими прекрасными руками наливали ему ширазское вино, не заметили ли вы порхающего по комнате черного дрозда?

— Присмотрела, но тогда не обратила на него внимания, а сейчас припоминаю очень отчетливо: когда фараон встал из-за стола, чтобы поцеловать меня, этот дрозд, пронзительно чирикавая, вылетел в окно и уже не возвращался.

— Увы, сударыня! — сказала мать Амазана. — Это послужило причиной всех ваших несчастий. Мой сын послал этого дрозда, для того чтобы тот разузнал, как вы себя чувствуете и что происходит в Вавилоне, рассчитывая скоро возвратиться туда, пасть к вашим ногам и посвятить вам всю свою жизнь. Вы и представить себе не можете, как пламенно он вас обожает. Все гангариды умеют любить и хранить верность, но мой сын самый страстный и самый постоянный из них. Дрозд увидел вас в гостинице: вы весело пиروвали с фараоном и с каким-то гнусным жрецом. Он заметил наконец, как вы нежно поцеловали того самого царя, который убил Феникса и к которому мой сын питает непреодолимое отвращение. Увидев это, дрозд почувствовал справедливое негодование и улетел, проклиная вашу злосчастную склонность к фараону. Сегодня он вернулся сюда и все рассказал, но, — о небо! — он прилетел в тот час, когда мы с сыном оплакивали смерть его отца, смерть Феникса, в тот час, когда Амазан узнал от меня, что приходится вам троюродным братом.

— Силы небесные! Мой троюродный брат! Возможно ли это? Каким образом? О, как я счастлива! И как несчастна — ведь я его оскорбила!

— Сын мой — ваш троюродный брат, — продолжала мать, — и я докажу вам это. Но, обретя родственницу, я потеряла сына. Ему не пережить горя, причиненного поцелуем, который вы подарили царю Египта.

— О тетушка! — воскликнула прекрасная Формозанта. — Клянусь вашим сыном и великим Оромаздом, этот злосчастный поцелуй отнюдь не был изменой, он был самым неопровержимым доказательством любви, какое я могла дать вашему сыну. Ради Амазана я ослушалась отца; ради него совершила путь от Евфрата до Ганга. Будучи захвачена недостойным царем Египта, я лишь обманном путем смогла бежать. Призываю в свидетели прах и душу Феникса, которые были в то время в моем кармане! Он может подтвердить, что я невинна. Но каким образом сын ваш, рожденный на бе-

регах Ганга, мог оказаться моим родственником, когда наш род уже столько веков царствует на берегах Евфрата?

— Знаете ли вы,— сказала почтенная гангаридка,— что ваш двоюродный дед Алдей был вавилонским царем и что его сверг с престола отец Бела?

— Да, я это знаю.

— А известно вам, что его сын имел рожденную в законном браке дочь, царевну Алдею, воспитанную при вашем дворе? Вот этот-то царь, преследуемый вашим отцом, бежал в нашу благословенную страну, где скрывался под чужим именем. Он стал моим супругом, у нас родился сын Алдей-Амазан, самый прекрасный, самый сильный, самый неустрашимый, самый добродетельный из смертных, а ныне самый безумный. Он отправился на празднество в Вавилон, наслышавшись о вашей красоте. С той поры он боготворит вас, и, быть может, я никогда больше не увижу сына.

Она разложила перед царевной все грамоты, подтверждающие знатность рода Алдеев. Формозанта еле удостоила их взглядом.

— Ах,— воскликнула она,— как можно бесстрастно исследовать то, что любишь! Сердце мое верит вам. Но где Алдей-Амазан? Где мой родственник, мой возлюбленный, мой царь? Где жизнь моя? Куда направил он стопы свои? Я буду искать его на всех планетах вселенной, самым прекрасным украшением которых он является. Я буду искать его на звезде Каноп, на звездах Шит и Альдебаран. Я докажу ему и свою любовь, и свою невиновность.

Феникс подтвердил невиновность царевны в преступлении, якобы совершенном ею, по утверждению дрозда, то есть в том, что она с любовью поцеловала фараона; но необходимо было переубедить в этом Амазана и вернуть его домой. Феникс разослал во все концы птиц и единорогов, и наконец ему донесли, что Амазан отправился в Китай.

— Едем же в Китай! — воскликнула царевна. — Путь туда недалог... Не позже, чем через две недели, я надеюсь возвратить вам сына.

Как плакали, расставаясь, мать гангариды и вавилонская царевна, сколько поцелуев, сколько сердечных излияний!

Феникс тут же приказал заложить в карету шесть единорогов. Мать Амазана предоставила царевне-племяннице охрану в двести всадников и подарила ей несколько тысяч лучших местных алмазов. Феникс, огорченный злом, которое принесла болтливость дрозда, распорядился изгнать из страны всех черных дроздов, и с той поры они уже не водятся на берегах Ганга.

5

Единороги менее чем за неделю домчали Формозанту, Ирлу и Феникса в Камбалу — столицу Китая. Город этот был обширней Вавилона, и его великолепие было совсем иного рода. Своеобразие обстановки и всеобразие нравов позабавили бы Формозанту, не будь она так поглощена мыслями об Амазане.

Едва лишь китайский император узнал, что к одним из ворот столицы приближается вавилонская царица, как тотчас же выслал ей навстречу четыре тысячи мандаринов, облаченных в парадные одежды. Все они простерлись перед царицей, и каждый преподнес ей приветствие, начертанное золотыми буквами на свитках алого шелка. Формозанта сказала им, что, будь у нее четыре тысячи языков, она, конечно, тут же ответила бы каждому мандарину в отдельности, но, имея всего лишь один, она просит у мандаринов прощения за то, что поблагодарит их всех вместе.

Мандарины почтительно проводили ее к императору.

Это был самый справедливый, самый вежливый, самый мудрый правитель на земле. Он первый из всех владык своими царственными руками обработал небольшое поле, дабы внушить народу уважение к земледелию. Он первый ввел награды за добродетель, тогда как во всех других странах законы постыдно ограничивались лишь наказанием за преступления. Этот же император только что изгнал из империи шайку чужеземных бонз, прибывших с запада в безрассудной надежде заставить весь Китай мыслить, как они, и, под предлогом провозвестия истины, уже успевших нажить богатства и приобрести влияние.

Вот, увековеченные в летописях страны, подлинные слова, которые произнес император, изгоняя этих иноземцев:

«Вы могли бы посеять здесь столько же зла, сколько посеяли в других местах. Вы прибыли проповедовать догматы нетерпимости самому веротерпимому народу на земле. Я вас изгоняю, чтобы не быть когда-нибудь вынужденным покарать. Вас с почетом проводят до границ моей империи, снабдив всем необходимым, чтобы вы могли спокойно возвратиться в пределы того полушария, откуда вы прибыли. Идите с миром, если можете пребывать в мире, и больше сюда не возвращайтесь».

Царевна вавилонская с радостью узнала об этом приговоре и этих словах. Теперь она была более уверена в благосклонном приеме при дворе, поскольку сама отличалась большой веротерпимостью. Китайский император, обедая с ней вдвоем, был так учтив, что отменил все стеснительные церемонии этикета. Царевна представила ему Феникса, которого император обласкал. Птица села на спинку его кресла. В конце обеда Формозанта доверчиво поведала ему о цели своего приезда и попросила дать приказ найти в Камбалу прекрасного Амазана, о злоключениях которого рассказала, не утаив также своей роковой страсти к юному герою.

— Я его отлично знаю! — воскликнул китайский император. — Пленительный Амазан приехал в мою столицу, чем доставил мне большое удовольствие. Он очаровал меня своей учтивостью. Правда, он очень печален, но прелесть его от этого еще трогательнее. Ни один из моих приближенных не сравнится с ним по уму, ни один мандарин судейского сословия не обладает столь обширными познаниями, ни один мандарин военного звания не отличается столь мужественной и героической внешностью, как он. Его молодость лишь повышает цену его талантов. Будь я столь ничтожен и столь покинут Тянь и Шанди, что мной овладела бы страсть к завоеваниям, я попросил бы Амазана стать во главе моих войск и не сомневался бы, что одержу победу над всей вселенной. Очень жаль, что горе иногда мутит его разум.

— Ах, ваше величество, — с глубокой печалью, душевным волнением и укором воскликнула, залившись румянцем, Формозанта, — почему же вы не пригласили Амазана к обеду? Позовите его скорее, или я умру от горя.

— Ваше высочество, он уехал сегодня утром и не сказал, в какие края направляет свой путь.

Формозанта обратилась к Фениксу:

— О Феникс! Видели ли вы когда-нибудь девушку несчастнее меня? Но, ваше величество,— продолжала она,— почему решился он покинуть так неожиданно столь гостеприимный двор, как ваш, при котором, мне кажется, каждый пожелал бы остаться на всю жизнь?

— Произошло следующее, ваше высочество: одна из самых очаровательных китайских царевен влюбилась в него и назначила ему в полдень свидание у себя. А он уехал на рассвете, оставив моей родственнице письмо, над которым она пролила немало слез: «Прекрасная китайская царевна, вы заслуживаете сердца, которое до вас никогда и никого не любило. Я же дал клятву бессмертным богам любить вечно одну Формозанту, вавилонскую царевну, и научить ее, как обуздывать свои страсти во время путешествий. Она имела несчастье прельститься недостойным фараоном египетским. Я несчастнейший из людей. Я утратил отца, и Феникса, и надежду быть любимым Формозантой. Я покинул угнетенную горем мать и отчизну, ибо не мог оставаться там, где узнал, что Формозанта любит другого. Я поклялся объехать весь мир и при этом сохранить верность своей любви. Вы питали бы ко мне презренье и боги покарали бы меня, нарушь я свою клятву. Изберите себе другого возлюбленного, ваше высочество, и будьте так же верны, как я».

— Ах, отдайте мне это достойное удивления письмо, оно будет моим утешением! — воскликнула прекрасная Формозанта.— В моем несчастье я все же счастлива. Амазан любит меня! Ради меня Амазан отвергает любовь китайских царевен. На всем земном шаре только он один способен одержать над собой такую победу. Он подает мне великий пример верности, но Феникс знает, что я в примере не нуждаюсь. Как жестоко лишиться возлюбленного из-за самого невинного поцелуя, который я дала, движимая лишь желанием сохранить верность. Но все же куда он поехал? Какой избрал путь? Благоволите разъяснить это мне — и я еду!

Китайский император ответил, что, судя по полученным сведениям, ее возлюбленный направился в страну скифов. Тотчас же запрягли единорогов, и царевна, сердечно распростившись с императором, двинулась в путь

в сопровождении Феникса, служанки Ирлы и всей свиты.

Прибыв в Скифию, она яснее чем когда-либо увидела, насколько люди и правительства отличаются и всегда будут отличаться друг от друга до той поры, пока какой-нибудь народ, более просвещенный, чем остальные, не передаст из рук в руки светоч знания после тысячелетней тьмы невежества и в варварских странах не появятся героические души, сильные и упорные, которые смогут превратить скотов в людей. В Скифии не было городов, а следовательно, и никаких изящных искусств. Кругом простирались лишь обширные степи, и целые племена жили в палатках или повозках. Это зрелище внушало ужас. Формозанта спросила, в какой палатке или повозке обитает царь. Ей ответили, что неделю назад он, во главе трехсот тысяч всадников, двинулся в поход против вавилонского царя, у которого похитил племянницу, прекрасную царевну Алдею.

— Он похитил мою троюродную сестру! — воскликнула Формозанта. — Вот неожиданная новость! Как! Моя кузина, которая почитала за счастье прислуживать мне, теперь царица, а я еще не замужем!

И она приказала немедленно проводить ее в палатку царицы.

Неожиданная встреча в столь отдаленной стране, необычайные новости, которыми они поделились, придали этому свиданию задушевность и заставили их забыть, что они никогда не любили друг друга. Они встретились радостно. Истинную нежность заменила сладостная иллюзия. Они обнимались, проливая слезы, и между ними воцарилась даже дружеская непринужденность и откровенность, так как это происходило не во дворце.

Алдея узнала Феникса и доверенную служанку Ирлу. Она подарила кухне собольи меха, а та подарила ей алмазы. Говорили о войне между царями Скифии и Вавилона, оплакивали участь тех, кого монархи по своей прихоти посылают уничтожать друг друга из-за распрей, с которыми двое порядочных людей могли бы покончить в час. Но главным образом говорили о прекрасном чужестранце, победителе льва, дарителе самых крупных в мире алмазов, авторе мадригала, владельце птицы Феникс, ставшем по вине черного дрозда несчастнейшим из людей.

— Это мой дорогой брат! — говорила Алдея.

— Это мой возлюбленный! — восклицала Формозанта.— Вы, разумеется, видели его? Может быть, он ещё здесь? Ибо он ведь знает, кузина, что он ваш брат, и не покинет вас так внезапно, как покинул китайского императора.

— О, боги! Видела ли я его! — воскликнула Алдея.— Он прожил у меня четыре дня. Ах, кузина, как несчастен мой брат! Ложный донос совершенно свел его с ума. Он скитается по свету, не ведая, куда несут его ноги. Вообразите, безумие настолько овладело им, что он отверг любовь самой прекрасной женщины в Скифии. Он уехал вчера, оставив ей письмо, которое привело ее в отчаяние. Теперь он направился к киммерийцам.

— Хвала божеству! — воскликнула Формозанта.— Еще одно отречение, и все из-за меня! Счастье мое превысило мои надежды, как несчастье — мои опасения. Отдайте мне это чудесное письмо, и я уеду, я последую за ним, свято храня свидетельства его верности. Прощайте, кузина, Амазан у киммерийцев, лечу туда и я.

Алдея нашла, что царица Формозанта, ее кузина, еще более безумна, чем Амазан, но так как она сама недавно пережила приступ той же болезни, отказавшись ради скифского царя от блеска и усад вавилонского двора, и так как женщины всегда сочувствуют безрассудству, причина которого — любовь, то она искренне растрогалась, пожелала Формозанте счастливого пути и обещала содействовать ее любви, если когда-нибудь ей улыбнется счастье новой встречи с братом.

6

Вскоре царица вавилонская и Феникс приехали в империю киммерийцев, правда, значительно менее населенную, чем Китай, но вдвое превосходящую его размерами, когда-то ничем не отличавшуюся от Скифии, но с некоторых пор ставшую такой же цветущей, как государства, которые чванятся тем, что просвещают другие страны.

После нескольких дней пути Формозанта прибыла в большой город, украшению которого способствовала царствующая императрица. Ее в городе не было: она в ту пору объезжала страну от границ Европы до границ

Азии, желая собственными глазами увидеть своих подданных, узнать об их нуждах, найти средства помочь им, умножить благосостояние, распространить просвещение.

Один из главных сановников этой древней столицы, уведомленный о прибытии вавилонянки и Феникса, поспешил устроить царице торжественную встречу, уверенный, что его государыня, самая любезная и самая блестящая из цариц, будет ему благодарна за то, что он оказал столь высокой особе те же почести, какие оказала бы она сама.

Формозанте отвели покои во дворце, от которого отогнали докучливую толпу. В ее честь устраивали затейливые празднества. Когда царица удалялась в свои покои, киммерийский вельможа — великий знаток естественных наук — много беседовал с Фениксом, который поведал ему, что когда-то уже побывал в стране киммерийцев и что теперь этой страны не узнать.

— Каким образом в столь короткий срок совершились такие благодетельные перемены? — удивлялся он. — Не минуло еще и трехсот лет с тех пор, как здесь во всей своей свирепости господствовала дикая природа, а ныне царят искусства, великолепие, слава и утонченность.

— Мужчина положил начало этому великому делу, — ответил киммериец, — а продолжила его женщина. Эта женщина оказалась лучшей законодательницей, чем Изида египтян и Церера греков. Большинство законодателей обладало мыслью ограниченной и деспотической, замкнувшей их кругозор пределами той страны, которой они управляли. Каждый рассматривал свой народ как единственный на свете или же как народ, обреченный жить во вражде с другими. Эти законодатели создавали учреждения каждый только для своего народа, вводили обычаи только для него одного и только для него одного придумывали религию. Вот почему египтяне, столь прославленные своими нагромождениями камней, опустились до скотского состояния и опозорили себя варварскими суевериями. Они смотрят на остальные народы как на невежд, они не вступают с ними в сношения, и, за исключением царского двора, который иногда пренебрегает низменными предрассудками, вы не встретите ни одного египтянина, который согласился бы есть из

того же блюда, каким пользовался чужестранец. Их жрецы жестоки и тупы. Лучше совсем не иметь законов и следовать только велению природы, запечатлевшей в сердцах наших понятие добра и зла, чем подчинять общество столь диким законам.

Наша императрица преследует совершенно иные цели. Она рассматривает свое обширное государство, которое обнимает все меридианы, как существующее для всех народов, живущих на этих меридианах. Первым законом, изданным ею, был закон о свободе вероисповеданий и терпимости ко всякого рода заблуждениям. С присущей ей гениальностью она поняла, что если вероисповедания различны, то законы нравственности повсюду одинаковы. Руководясь этим убеждением, она породнила свой народ с народами всего мира, и киммерийцы относятся к скандинавам и китайцам, как к братьям. Она сделала больше: пожелала, чтобы эта драгоценная веротерпимость, это основное звено, связующее людей, утвердилось бы и у ее соседей. Таким образом, она заслужила имя матери своего народа и заслужит имя благодетельницы рода человеческого, если будет настойчиво преследовать свою цель.

До нее люди, к сожалению, облеченные властью, посылали орды убийц грабить неизвестные племена и обгагрять их кровью земли, доставшиеся им от предков. Этим убийц называли героями, а разбой венчали славой. Наша государыня прославлена иным: она посылает свои войска, чтобы водворять мир, чтобы препятствовать людям причинять друг другу зло, чтобы заставлять их относиться друг к другу терпимо, и ее знамена — это знамена всеобщего умиротворения.

Восхищенный всем услышанным, Феникс сказал:

— Сударь, я живу на свете двадцать семь тысяч девятьсот лет и семь месяцев, но никогда не приходилось мне видеть ничего подобного тому, о чем вы рассказываете.

Он спросил, известно ли вельможе что-нибудь о его друге Амазане. Киммериец рассказал то же самое, что рассказывали царице у скифов и в Китае. Едва лишь какая-нибудь придворная дама назначала Амазану свидание, как он, боясь уступить ее домогательствам, покидал очередной императорский двор. Феникс поторопился сообщить Формозанте об этом новом доказательстве

постоянства ее возлюбленного, постоянства тем более примечательного, что, по убеждению Амазана, царица так никогда и не узнает об этом.

Он отбыл в Скандинавию. В этой стране Амазана поразили картины, до сей поры им не виданные. Тут королевская власть и свобода не враждовали между собой — их связывал союз, немыслимый в других государствах. Земледельцы принимали участие в законодательстве наравне с вельможами, а юный правитель подавал блестящие надежды на то, что он станет достойным главой свободной страны. Но еще удивительнее было то, что единственный король, который являлся самым неограниченным властелином на земле в силу договора со своим народом, был одновременно и самым молодым и самым справедливым.

У сарматов Амазан застал на троне философа. Его можно было назвать «королем анархии», ибо он являлся главою сотни мелких правителей, из которых каждый мог одним словом отменить решение всех остальных. Этому легче было управлять непрестанно спорящими между собой ветрами, чем этому монарху примирять все противоречивые стремления. Он был словно кормчий, чей корабль несется по разбушевавшемуся морю и меж тем не разбивается. Король был превосходным кормчим.

Проезжая эти страны, столь отличные от его родины, Амазан упорно бежал вставших на его пути соблазнов, ибо, постоянно терзаясь мыслью о поцелуе, подаренном Формозантой фараону, он все больше укреплялся в своем поразительном намерении показать царице пример верности, неколебимой и вечной.

Царица и Феникс следовали за ним по пятам, отставая лишь на один-два дня. Он был неутомим в своем стремлении вперед, она — в стремлении нагнать его.

Так пересекли они всю Германию, восхищаясь успехами разума и философии в северных краях. Властители там были просвещенные и поощряли свободу мысли. Их воспитание отнюдь не доверялось людям, которые по непониманию или из корысти вводили бы будущих монархов в обман. Они с молодых ногтей уважали нравственные правила и презирали суеверия. Во всех этих государствах был уничтожен бессмысленный обычай, ослаблявший и приводивший к вымиранию многие южные страны, — обычай погребать заживо в обширных

узилищах множество людей обоего пола, навеки разлучая их друг с другом, ибо несчастных вынуждали дать клятву, что они никогда не будут общаться между собой. Это ужасное безумие, веками поощряемое, опустошало землю не меньше, чем самые жестокие войны.

Северные правители поняли наконец, что если хочешь, чтобы конный завод процветал, то не следует отделять самых сильных жеребцов от кобылиц. Северяне уничтожили также и другие не менее странные и не менее вредные заблуждения. Наконец-то люди на этих бесконечных просторах осмелились стать разумными, тогда как в других странах еще держались убеждения, будто народами можно управлять лишь до тех пор, пока они тупоголовы.

7

Амазан приехал в Батавию. Его омраченная печалью душа все же испытала сладостное чувство, когда он увидел страну, отдаленно напоминавшую счастливый край гангаридов: свобода, равенство, опрятность, изобилие, веротерпимость. Но женщины там были столь холодны, что ни одна из них не попыталась, как это было повсюду, прельстить его. Ему не пришлось проявить стойкость. Если бы он обратил внимание на этих дам, то легко покорил бы их одну за другой, не будучи любим ни одной. Но он далек был от мысли о победах над сердцами.

Когда Амазан жил среди этого бесцветного народа, Формозанта чуть было не настигла его. Она опоздала, можно сказать, всего лишь на мгновение.

В Батавии Амазану так расхвалили некий остров Альбион, что он решил погрузиться вместе со своими единорогами на корабль, который, подгоняемый попутным восточным ветром, за четыре часа доплыл до берегов этой земли, более прославленной, нежели Тир и остров Атлантида.

Прекрасная Формозанта, следовавшая за ним берегом Двины, Вислы, Эльбы и Везера, добирается наконец до устья Рейна, вливавшего тогда свои быстрые воды в Немецкое море.

Она узнает, что ее дорогой возлюбленный поплыл к берегам Альбиона. Ей кажется, что вдали еще мелькает

его корабль. Она не в силах сдержать радостных восклицаний, вызывающих изумление женщин Батавии, которые не представляют себе, что молодой человек может явиться причиной такого восторга. Что же касается Феникса, то на него они не обращали никакого внимания, считая, что его перья меньше годятся на продажу, чем перья гусей или местных болотных птиц. Царевна вавилонская наняла или зафрахтовала два корабля, которые должны были перевезти ее со свитой на тот счастливый остров, чьим гостем вскоре станет единственный предмет ее желаний, дыхание ее жизни, кумир ее сердца.

В то самое мгновение, когда верный и несчастный Амазан уже вступал на берег Альбиона, вдруг, на беду, подул западный ветер. Суда вавилонской царевны не смогли отплыть. Глубокая печаль, горькая тоска, тяжкая скорбь охватили Формозанту. Горюя, легла она в постель; она надеялась, что ветер вот-вот переменится, но он дул с неистовой яростью целую неделю, и всю эту неделю, которая показалась царевне столетием, Ирла читала ей вслух романы. Это не значит, что батавцы умели их писать, но, будучи всемирными посредниками, они точно так же торговали мыслями других народов, как и их товарами. Царевна приказала купить у Марка-Мишеля Рея все сказки, написанные в странах авзонов и вельхов, где распространение этих сказок было мудро воспрещено с целью обогатить Батавию. Царевна надеялась отыскать в книгах что-нибудь похожее на ее злоключения и тем усыпить свое горе. Ирла читала, Феникс высказывал свое мнение, а царевна не находила ни в «Удачливой крестьянке», ни в «Софе», ни в «Четырех Факарденах» ничего, хоть отдаленно напоминавшего ее собственную жизнь. Она ежеминутно прерывала чтение, спрашивая, откуда дует ветер.

8

Тем временем Амазан в карете, запряженной шестеркой единорогов, уже подъезжал к столице Альбиона, грезя о царевне. Вдруг он заметил экипаж, съехавший в канаву. Слуги разбежались в поисках помощи, а сам хозяин спокойно сидел в экипаже, не выказывая ни малейшего нетерпения, и тешил себя курением, ибо в то время уже курили. Его звали милорд What-then, что в

переводе на тот язык, на который я перекладываю эту историю, означает приблизительно милорд «Ну-и-что-ж».

Амазан поспешил ему на выручку. Он поднял экипаж без посторонней помощи — настолько сила его превосходила силу других людей.

Милорд Ну-и-что-ж ограничился тем, что сказал:

— Вот так силач!

Приведенные слугами крестьяне обозлились на то, что их напрасно потревожили, и накинулись на чужеземца. Они поносили его, обзывая «чужеземным псом», и хотели отколотить.

Амазан схватил каждой рукой двоих и отбросил на двадцать шагов. Остальные преисполнились к нему почтением, стали кланяться и просить на водку. Он дал им денег больше, чем они когда-либо видели. Милорд Ну-и-что-ж сказал:

— Вы внушаете мне уважение. Пообедайте со мной в моем загородном доме, он отсюда всего в трех милях.

Он сел в карету Амазана, так как его собственный экипаж был поломан.

Помолчав четверть часа, милорд взглянул на Амазана и спросил:

— How do you do — то есть в буквальном переводе: «Как делаете вы делать?» — а по смыслу: «Как выживаете?» — что на любом языке ровно ничего не означает. Затем он добавил: — У вас прекрасная шестерка единорогов. — И продолжал курить.

Амазан сказал, что единороги к услугам милорда, что он приехал из страны гангаридов, и, воспользовавшись случаем, стал рассказывать о царевне вавилонской и роковом поцелуе, подаренном ею фараону Египта. На все это милорд не ответил, так как ему не было никакого дела ни до египетского фараона, ни до вавилонской царевны. Протекло еще четверть часа в молчании, после чего он снова осведомился у своего спутника: «Как он делает делать», — и едят ли в стране гангаридов сочный ростбиф. С присущей ему вежливостью путешественник ответил, что на берегах Ганга не принято есть своих собратьев, и изложил учение, ставшее спустя много столетий учением Пифагора, Порфирия и Ямвлиха. Милорд тем временем заснул и проспал до тех пор, пока не подъехали к дому.

Он был женат на прелестной молодой женщине, которую природа одарила столь же впечатлительной и чуткой душой, сколь равнодушной ко всему была душа ее мужа. В этот день к ней на обед съехались несколько вельмож Альбиона, люди самого разного нрава, так как страной почти всегда управляли иностранцы, и приехавшие с этими правителями знатные семейства привезли с собой и самые разнообразные обычаи. Среди собравшихся были и очень учтивые люди, и люди возвышенного ума, и люди ученые.

Хозяйка дома не была ни застенчивой, ни неуклюжей, ни чопорной, ни жеманной, в чем упрекали в ту пору молодых женщин Альбиона. Она отнюдь не прикрывала надменной осанкой и напускной сдержанностью отсутствие мыслей, а неловкостью и смущением — неспособность их выразить. Не было женщины пленительнее, чем она. Миледи приняла Амазана с присущей ей любезностью и приветливостью. Исключительная красота юного иностранца и разительное несходство с ее супругом, которое она невольно подметила, сильно взволновали ее.

За обедом она усадила Амазана рядом с собой и потчевала его всевозможными пудингами, зная с его слов, что гангариды не едят тех, кто получил от творца священный дар жизни.

Красота Амазана, его мужественность, нравы гангаридов, расцвет искусств, религия и образ правления в их странах — вот что являлось предметом приятной и содержательной беседы во время обеда, затянувшегося до ночи, в продолжение которого милорд Ну-и-что-ж много выпил и не произнес ни слова.

После обеда, в то время как миледи разливала чай, пожирая глазами юношу, он беседовал с членом парламента, — ибо всякому известно, что еще тогда существовал парламент, именовавшийся Витенагемот, что означает «Собрание умных людей». Амазан расспрашивал о конституции, о нравах, о законах, об армии, обычаях, искусствах — обо всем, что делало эту страну столь заслуживающей внимания. И собеседник рассказал ему следующее:

— Мы долгое время ходили голые, хотя климат отнюдь не располагал к этому. К нам долго относились как к рабам люди, которые явились из древней страны

Сатурна, омываемой водами Тибра. Но мы сами принесли себе гораздо больше зла, чем наши первые завоеватели. Один из наших королей до того унизился, что объявил себя подданным священнослужителя, обитавшего тоже на берегах Тибра и прозванного «Старцем семи холмов». Этим «семи холмам» суждено было долгое время владычествовать над большей частью Европы, населенной в ту пору варварами.

После времен унижения наступили века жестокости и анархии. Междоусобицы опустошили и залили кровью нашу землю, где свирепствовали бури, более жестокие, чем на омывающих ее морях. Несколько венценосцев были казнены. Более ста принцев крови окончили жизнь на эшафоте. Всем их приверженцам вырвали сердца и хлестали их этими сердцами по лицам. Историю нашего острова должен был бы писать палач, ибо все великие дела заканчивала его рука.

В довершение ужасов недавно несколько человек, одни в черных плащах, другие в белых рубахах, надетых поверх курток, будучи укушены бешеными собаками, заразили бешенством всю страну. Ее граждане стали либо убийцами, либо жертвами, либо палачами, либо мучениками, либо хищниками, либо рабами,— все это во имя неба и в поисках бога.

Кто мог бы поверить, что из этой страшной бездны, из этого хаоса распрей, свирепости, невежества и фанатизма возникнет в конце концов самый, быть может, совершенный в мире образ правления? Почитаемый и богатый король, могущественный, когда речь идет о благих делах, и лишенный прав совершать злые дела, стоит во главе свободного, воинственного, предприимчивого и просвещенного народа. Люди знатные, с одной стороны, представители городских сословий — с другой, разделяют с монархом законодательную власть.

Мы убедились, что, по роковому стечению обстоятельств, стоило королям добиться неограниченной власти, как неурядицы, гражданские войны, анархия и нищета начинали раздирать страну. Спокойствие, богатство, общее благосостояние воцарялись у нас лишь тогда, когда государи отрекались от неограниченной власти. Все становилось вверх дном, когда разгорались споры о предметах невразумительных, и все опять приходило в порядок, когда на них переставали обращать внимание.

Теперь наш победоносный флот прославляет нас по всем морям. Законы охраняют наши богатства: судья не может истолковать их произвольно или вынести приговор, не имея на то веских оснований. Мы как убийц покарали бы тех судей, которые осмелились бы приговорить к смерти гражданина, не приведя доказательств, уличающих его, и закона, карающего это преступление.

Правда, у нас все еще существуют две партии, ведущие борьбу с помощью пера и интриг; но они неизменно объединяются, когда надо с оружием в руках защищать родину и свободу. Обе эти партии бдительно следят друг за другом и не позволяют одна другой осквернять священную сокровищницу законов. Они ненавидят друг друга, но любят отчизну. Это ревнивые влюбленные, которые как нельзя лучше служат одной и той же владычице.

Благодаря тем же разумным основаниям, которые помогли нам понять и отстаивать права человеческой природы, мы подняли науки на такую высоту, какой они только способны достигнуть у людей. Ваши египтяне, которые слывут столь великими механиками, ваши индусы, которых почитают столь мудрыми философами, ваши вавилоняне, похваляющиеся тем, что в продолжение четырехсот тридцати тысяч лет наблюдали движение небесных светил, греки, вложившие в такое множество слов так мало мыслей,— все они решительно ничего не знают по сравнению с любым нашим школьником, изучающим открытия наших великих ученых. В течение одного столетия мы вырвали у природы больше тайн, чем род человеческий за бесчисленные века.

Таково сейчас положение вещей. Я не утаил от вас ничего — ни хорошего, ни дурного, ни наших падений, ни нашей славы, и ничего не преувеличил.

Слушая эти речи, Амазан почувствовал сильное желание познать все высокие науки, о которых ему рассказали. И если бы его истерзанным сердцем не владела столь безраздельно страсть к вавилонской царице, сыновняя почтительная привязанность к покинутой им матери и любовь к отчизне, он всю свою жизнь прожил бы на острове Альбионе. Но роковой поцелуй, подаренный его царицей египетскому фараону, так затемнил ему разум, что мешал погрузиться в науку.

— Признаюсь,— сказал он,— что, решив странствовать по свету и бежать от самого себя, я охотно посетил бы древнюю землю Сатурна, этот народ, живущий на берегах Тибра и на семи холмах, которому вы некогда подчинялись. Должно быть, это самый совершенный народ на всем земном шаре.

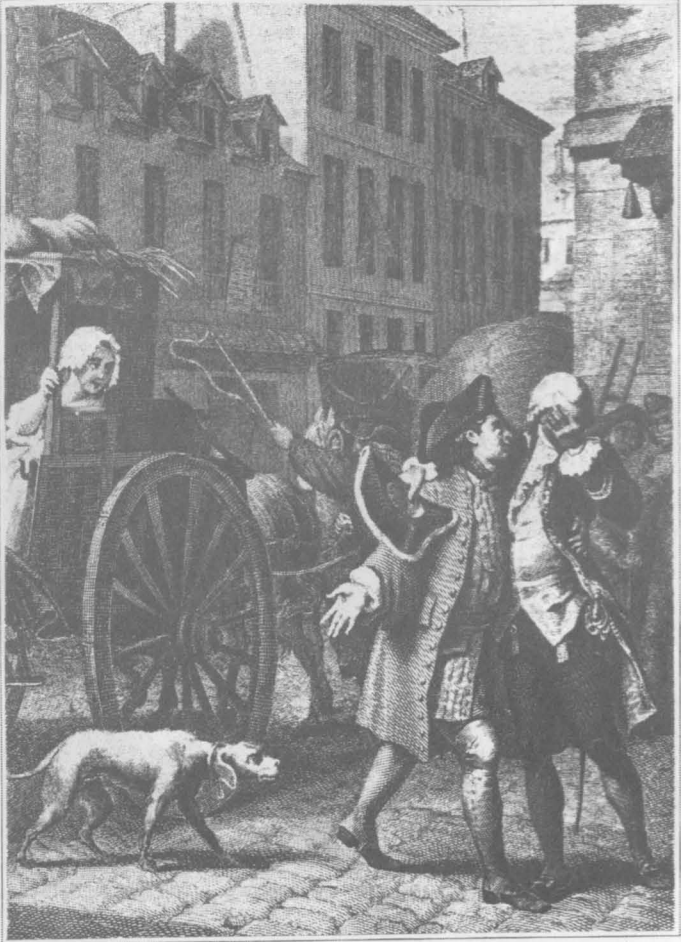
— Советую вам предпринять это путешествие,— сказал альбионец,— особенно если вы любите музыку и живопись. Мы сами очень часто ездим туда развеять нашу хандру. Но вы будете немало удивлены, увидев потомков наших завоевателей.

Беседа их была длительной. Хотя прекрасный Амазан был слегка поврежден в рассудке, однако он говорил так приветливо и таким за душу берущим голосом, держался так благородно и мило, что хозяйка дома, в свою очередь, захотела поговорить с ним наедине. Беседуя, она нежно пожимала ему руку, глядела на него влажными блестящими глазами, выдававшими ее чувства. Она пригласила его к ужину и оставила ночевать в замке. Каждое мгновение, каждое слово, каждый взгляд разжигали в ней страсть. Как только все удалились, она написала ему записку, не сомневаясь, что он придет разделить с ней ложе, в то время как милорд Ну-и-что-ж будет почивать у себя. Но Амазан и на этот раз нашел в себе силы устоять. Таково чудотворное действие крупичи безумия на сильную и глубоко оскорбленную душу.

Амазан, по своему обыкновению, послал даме почтительный ответ, в котором объяснял, как священна его клятва и неукоснителен долг научить царевну вавилонскую владеть своими страстями. Затем, приказав запрячь единорогов, он вернулся в Батавию, повергнув своих новых знакомцев в изумление, а хозяйку дома в отчаяние. От полного расстройств чувств она забыла спрятать письмо Амазана. На следующее утро милорд Ну-и-что-ж нашел и прочел его.

— Вот ерунда! — сказал он, пожав плечами, и отправился с несколькими пьянцами-соседями охотиться на лисиц.

Амазан между тем уже плыл по морю, снабженный географической картой, которую подарил ему ученый альбионец, беседовавший с ним у милорда Ну-и-что-ж.



«Жанно и Колен»



«Простодушный»

Он удивленно взирал на огромное земное пространство, уместившееся на маленьком клочке бумаги.

Его взгляд и воображение блуждали по этому маленькому листку. Он видел Рейн, Дунай, Тирольские Альпы, обозначенные в ту пору другими именами, видел все страны, которые ему надлежало проехать, чтобы достичь города на семи холмах. Но всего пристальнее рассматривал он страну гангаридов, Вавилон, где повстречал свою дорогую царевну, и роковую Бассору, где она поцеловала фараона. Он вздыхал, он лил слезы, но признавал, что альбионец, подаривший ему землю в столь уменьшенном виде, не ошибался, утверждая, что люди на берегах Темзы в тысячу раз образованней, чем на берегах Нила, Евфрата и Ганга.

Пока он возвращался в Батавию, оба судна царевны на всех парусах неслись к Альбиону. Корабль Амазана и корабль Формозанты встретились, почти столкнулись друг с другом. Влюбленные были совсем близко друг от друга, но даже не подозревали об этом. Ах, если бы они только знали! Но властный рок этого не допустил.

9

Высадившись на низком илистом берегу Батавии, Амазан быстрее стрелы помчался к городу на семи холмах. Ему пришлось пересечь южную часть Германии. Тут каждые четыре мили была новая страна с принцами и принцессами, придворными дамами и нищими. Его удивляло, что повсюду высокородные дамы и их фрейлины с чисто германским простодушием заигрывали с ним. Он скромно отклонял их ухаживания.

Перевалив через Альпы, он поплыл по Далматскому морю и причалил к городу, который не был похож ни на один из тех, какие он до сих пор видел. В нем море образовывало улицы, а дома поднимались из воды. На немногочисленных площадях этого города кишели толпы двуликих мужчин и женщин: у каждого из них было и собственное, дарованное природой лицо, и накладное из аляповато разрисованного картона. Поэтому казалось, что население состоит из призраков. Приезжавшие в страну иноземцы первым делом покупали себе «лица», как в других странах покупают головные уборы и обувь, Амазан пренебрег этой противоес-

тественной модой и предстал в своем природном обличе. В городе числилось двенадцать тысяч девушек, занесенных в большую книгу республики, которые приносили немалую пользу государству: они вели самую выгодную и самую приятную торговлю из всех, когда-либо обогащавших какую-либо страну. Обычные торговцы с большими затратами и большим риском отправляли свои товары на восток. Эти же очаровательные дамы вели без всякого риска оживленную торговлю своими прелестями. Все они пришли к Амазану, предоставляя ему сделать выбор между ними. Он поспешно скрылся, повторяя имя несравненной царицы вавилонской и клянясь бессмертными богами, что она прелестнее всех двенадцати тысяч венецианок, вместе взятых.

— Прекрасная негодница! — восклицал он в наплыве чувств. — Я научу вас быть верной!

Наконец взорам его предстали желтые воды Тибра, зловонные топи, тощие, изголодавшиеся люди, прикрытые старыми и дырявыми плащами, сквозь которые видна была их иссохшая смуглая кожа, — это означало, что он у врат города на семи холмах, города героев и законодателей, покоривших и цивилизовавших большую часть земного шара.

Он думал, что увидит у триумфальных ворот города пятьсот батальонов под началом героев, а в сенате — собрание полубогов, диктующих законы миру. Но вместо армии он нашел человек тридцать бездельников, которые стояли на карауле, укрываясь от солнца зонтиками. Зайдя в храм, показавшийся ему прекрасным, хотя и уступающим в красоте храмам Вавилона, он был крайне поражен, услышав мужчин, поющих женскими голосами.

— Вот так забавная страна, эта древняя страна Сатурна! — воскликнул он. — Я побывал в городе, где ни у кого нет своего лица, а теперь приехал в другой, где у мужчин нет ни мужского голоса, ни бороды.

Ему объяснили, что эти певцы уже не мужчины, так как их лишили всего мужского, дабы они пели приятными голосами хвалу великому множеству знатных людей. Амазан ровно ничего не понял из их объяснений. Эти господа попросили его спеть, и он, с присущим ему изяществом, исполнил гангаридскую песню. У него был чудесный тенор.

— Ах, синьор,— воскликнули они,— каким дивным сопрано могли бы вы петь, если бы...

— Что — если бы? Что вы хотите этим сказать?

— Ах, синьор!..

— Ну, что же дальше?

— Если бы у вас не было бороды!..

И они весьма забавно, со свойственной им потешной жестикуляцией, объяснили ему, в чем дело.

Амазан был потрясен.

— Я много путешествовал, но никогда не приходилось мне слышать ничего похожего на эту нелепицу,— сказал он.

Когда пение смолкло, Старец с семи холмов, во главе огромной процессии, направился к вратам храма. Он рассек рукою воздух на четыре части, подняв большой палец, протянув других два и согнув два оставшихся, и произнес на языке, на котором давно уже никто не говорил: «*Urbi et orbi*»¹.

Гангарид не мог понять, как два перста могут достать так далеко.

Затем перед его глазами прошел весь двор владыки мира. То были важные лица, одни — в пурпуровых мантиях, другие — в фиолетовых, почти все они умильно поглядывали на Амазана, кланялись ему и говорили друг другу: «*San Martino, che bel ragazzo! San Pancratio, che bel fanciullo!*»²

Усердствующие, чье ремесло заключалось в том, что они знакомили иностранцев с достопримечательностями города, поспешили показать ему развалины, в которых отказался бы переночевать даже погонщик мулов; это были памятники былого величия народа-владыки. Он увидел также картины двухсотлетней давности и статуи, изваянные двадцать веков назад. Они показались ему образцовыми произведениями искусства.

— Создаете ли вы и теперь подобные произведения?

— Нет, ваша светлость,— ответил один из усердствующих,— но мы презираем весь остальной мир на том основании, что у нас сохранились эти редкости. Мы, подобно старьевщикам, заимствуем нашу славу у старых одежд, залежавшихся в кладовых.

¹ Граду и миру (лат.).

² Святой Мартин, какой прелестный юноша! Святой Панкратий, какой прелестный мальчик! (итал.)

Амазан пожелал взглянуть на дворец владыки мира. Его провели туда. Он увидел людей в фиолетовых одеждах, подсчитывающих доходы государства: столько-то со страны, расположенной на Дунае, столько-то с других — на Луаре, Гвадалквивире, Висле.

— Ого! — воскликнул Амазан, взглянув на свою карту.— Я вижу, ваш господин владеет всей Европой, подобно древним героям города на семи холмах.

— Он, согласно божественной воле, должен царить над всей вселенной,— ответил ему человек в фиолетовом.— И даже было время, когда его предшественники почти завершили дело создания вселенской монархии, но потом их преемники по доброте своей стали довольствоваться деньгами, которые короли, их подданные, выплачивают им как дань.

— Значит, ваш господин действительно царь царей? И таков его титул? — спросил Амазан.

— Нет, ваша светлость, его титул — «слуга слуг». Первоначально он был рыбаком и привратником, вот почему знаки его достоинства — ключи и сети. Но он при этом повелевает царями. Недавно он отправил сто одно предписание кельтскому королю, и тот подчинился.

— Надо полагать, ваш рыбак послал также пятьсот — шестьсот тысяч человек, чтобы заставить выполнить это сто одно предписание?

— О нет, ваша светлость, наш святой повелитель не может оплатить содержание и десяти тысяч солдат. Но ему подчинены не то четыреста, не то пятьсот тысяч вдохновенных пророков, рассеянных по другим странам. Хотя эти пророки придерживаются разнообразных воззрений, но живут они, разумеется, за счет народа. Они именем божьим возвещают, что мой повелитель может своими ключами отомкнуть и замкнуть все замки, особенно же замки денежных сундуков. Некий нормандский священник, состоящий духовником при вышеупомянутом кельтском короле, убедил того, что он должен беспрекословно повиноваться ста одному велению моего владыки, ибо, да будет вам известно, одна из привилегий Старца семи холмов состоит в том, что он всегда прав,— и тогда, когда он соблаговолит что-нибудь сказать, и тогда, когда он соблаговолит что-нибудь написать.

— Ей-богу, это необычайный человек! — сказал Амазан. — Мне очень любопытно было бы пообедать с ним.

— Ваша светлость, будь вы даже царем, все равно он не посадил бы вас за один стол с собой. Самое большее, что он мог бы сделать для вас, это приказать накрыть для вас стол возле его стола, только поменьше и пониже. Но если вы желаете удостоиться чести говорить с ним, я выхлопочу вам аудиенцию, но, конечно, за *виопа мансиа*¹, который вы соблаговолите поднести мне.

— Охотно, — ответил Амазан.

Человек в фиолетовом поклонился.

— Я представлю вас завтра Старцу семи холмов, — сказал он. — Вы должны будете трижды преклонить перед ним колена и облобызать ему ноги.

При этих словах Амазан разразился оглушительным хохотом. Он вышел, держась за бока, хохотал до самой гостиницы, да и там долго еще продолжал смеяться.

Во время обеда к нему явились двадцать безбородых мужчин и двадцать скрипачей и дали концерт; потом до вечера за ним ухаживали самые знатные вельможи города. Они делали ему предложения еще более странные, нежели целование ног Старцу семи холмов. Так как Амазан был очень вежлив, он сперва предположил, что эти господа принимают его за женщину, и в самых изысканных выражениях разъяснял им их заблуждение. Но, теснимый чересчур настойчиво несколькими особенно предприимчивыми мужчинами в фиолетовых одеждах, он наконец вышвырнул их из окна, не почувствовав при этом, что приносит хоть какую-то жертву прекрасной Формозанте.

Он поспешил покинуть этот город владык мира, где предлагают целовать старца в ногу, словно у него на ноге щека, и где к молодым людям пристают с еще более странными предложениями.

Переезжая из края в край, равнодушный ко всяческому заигрываниям, неколебимо верный вавилонской царевне, исполненный гнева на египетского фараона,

¹ Щедрый подарок (итал.).

Амазан — этот образец постоянства — прибыл наконец в новую столицу галлов. Этот город, как и множество других городов, пережил все стадии варварства, невежества, глупости и убожества. Его древнее название означало «грязь и навоз», затем ему дали имя в честь Изиды, культ которой дошел и до него. Первый сенат состоял из лодочников. Город долгое время был порабощен героями-хищниками семи холмов, а спустя несколько столетий другие герои-грабители, прибывшие с противоположного берега Рейна, снова завладели его небольшой территорией.

Все изменяющее время разделило этот город на две половины: одну — очень внушительную и привлекательную, и другую — грубоватую и безвкусную. Каждая была как бы олицетворением своего населения. В городе жило по крайней мере сто тысяч человек, у которых не было иных занятий, кроме развлечений и веселья. Эти праздные люди выносили приговоры творениям искусства, хотя создавали их другие. Они ничего не знали о том, что происходит при дворе, — казалось, он находится не в четырех, а в шестистах милях от них. Беззаботное, легкомысленное времяпрепровождение в приятном обществе было их самым важным, их единственным занятием. Ими управляли, словно детьми, которым дарят игрушки, лишь бы они не капризничали. Когда им рассказывали о бедствиях, опустошавших их родину два века назад, о тех страшных временах, когда одна половина населения уничтожала другую из-за пустых мудрствований, они соглашались, что это действительно очень нехорошо, но затем снова принимались смеяться и петь куплеты.

Чем любезнее, обходительнее и приятнее были эти праздные люди, тем резче выступало различие между ними и людьми, занятыми делом.

Среди этих занятых, или делающих занятый вид, людей была кучка мрачных фанатиков, частью глупцов, частью плутов, одна внешность которых наводила уныние на весь мир; будь на то их воля, они, не задумываясь, перевернули бы его вверх ногами, только бы добиться хоть небольшого влияния. Но люди праздные, приплясывая и распевая, принуждали их скрываться в пещерах, подобно тому как птицы принуждают прятаться в развалины серых сов.

Другие занятые люди, менее многочисленные, выступали в роли хранителей древних варварских обычаев, против которых громко вопияла человеческая природа; руководились они при этом лишь своими истлевшими летописями. К любому отвратительному и бессмысленному обычаю, описанному там, они относились словно к священному закону. Вот из-за их гнусного нежелания мыслить самостоятельно и привычки черпать свои воззрения в тех стародавних временах, когда вообще не умели мыслить, в этом городе развлечений еще сохранились жестокие нравы. Именно в силу этого там не существовало никакого соответствия между преступлением и наказанием. Бывало, у невинного человека мучительными пытками вырывали признание в том, чего он не совершал. Легкий проступок какого-нибудь юноши карали столь же строго, как отравление или отцеубийство. Праздные люди начинали тогда громко протестовать, но на завтра все забывали и снова принимались болтать о последних модах.

Этот народ был свидетелем того, как за одно столетие изящные искусства поднялись на такую высоту совершенства, о какой прежде и не мечтали. В ту пору иностранцы приезжали в этот город, как в Вавилон, восхищаться великолепными памятниками архитектуры, волшебными садами, чудесными творениями скульптуры и живописи. Их очаровывала музыка, проникавшая в душу, не утомляя слуха.

Истинная поэзия, то есть поэзия естественная и гармоничная, столько же говорящая сердцу, сколько и уму, стала в этот счастливый век доступна народу. Новые образцы красноречия явились во всей своей величавой красоте. Особенно прославились в ту пору театры, где шли пьесы настолько совершенные, что ни одному народу не удалось создать произведений, подобных им. Наконец чувство изящного стало свойственно людям всех сословий, так что даже среди друидов появились хорошие писатели.

Но эти лавры, чьи главы возносились до небес, засохли вскоре на истощенной земле. Их осталось ничтожно мало — чахлых и увядающих. Упадок вызван был тем, что все научились писать бойко, и уже никто не старался писать хорошо, а также пресыщенностью пре-

красным и влечением к извращенному. Тщеславные глупцы лелеяли художников, возвращавших искусство вспять, ко временам варварства, и эти же тщеславцы, преследуя истинные таланты, вынуждали их покидать родину. Трутни изгоняли пчел.

Почти исчезли подлинные искусства, почти исчез гений. Заслугой считалось умение толковать вкривь и вкось о заслугах былого века. Пачкун кабацких стен с видом знатока критиковал полотна великих мастеров. Пачкуны бумаги искажали произведения великих писателей. Невежество и дурной вкус имели в услужении других пачкунов. Под различными заглавиями, в ста томах, повторялось одно и то же. Либо словарь, либо брошюра — иного выбора не было. Некий газетчик-друид дважды в неделю туманно писал о деяниях неведомых народу фанатиков и о небесных чудесах, будто бы совершаемых на чердаках оборванными нищими и нищенками. Отставные друиды в черных одеждах, умирающие от голода и злости, в сотнях стаетек сетовали на то, что им больше не позволяют обманывать людей и что это право предоставлено зловонным отщепенцам в серых одеждах. Несколько архидруидов сочиняли гнусные пасквили.

Амазан ничего этого не знал, а если бы и знал, то не стал бы этим интересоваться, так как всецело был поглощен мыслью о вавилонской царице, египетском фараоне и своей нерушимой клятве не поддаваться женским чарам, в какую бы страну ни направило горе его стопы.

Легкомысленные и невежественные зеваки, в высшей степени обладающие тем любопытством, которое всегда было присуще роду человеческому, непрерывно топтались вокруг единорогов. Женщины, как существа более здравомыслящие, ломались в дом, где остановился Амазан, стремясь лицезреть его самого.

Сначала он выразил своему хозяину желание отправиться ко двору, но праздные люди из светского общества, с которыми его свел случай, разъяснили ему, что теперь это не в моде, что времена изменились и что весело провести время можно только в городе.

В тот же вечер Амазан был приглашен на ужин к одной даме, прославленной умом и талантами за пределами своей отчизны и побывавшей в нескольких стра-

нах, где побывал и Амазан. Эта дама и собравшееся у нее общество очень понравились Амазану. Непринужденность здесь была пристойной, веселье не слишком шумным, ученость нисколько не отталкивающей, остроумие отнюдь не злым; он убедился, что слова «хорошее общество» не пустой звук, хотя определением этим часто злоупотребляют. На следующий день он обедал в обществе не менее приятном, но менее почтенном. Чем больше были ему по душе сотрапезники, тем больше нравился им он; Амазан почувствовал, как сердце его смягчается и тает, подобно тому как благовония его родной страны медленно тают на легком огне, распространяя сладостное благоухание.

После обеда его повели на очаровательный спектакль, осужденный друидами, потому что он отбивал у них тех зрителей, которыми они особенно дорожили. Спектакль этот являл сочетание приятных стихов, звучных песен, танцев, воплощающих движения души, и очаровательных, создающих полную иллюзию, декораций. Это зрелище, в котором соединились столь разнообразные виды искусства, называлось чужеземным словом «опера», что когда-то на языке семи холмов означало: труд, забота, занятие, промысел, предприятие, работа, дело.

Это дело очаровало Амазана. Особенно сильное впечатление произвела на него своим мелодичным голосом и грациозными движениями одна девушка. После спектакля эта так называемая «лицедейка» была представлена ему новыми друзьями. Он поднес ей горсть алмазов. Она была так признательна ему, что не покидала его весь остаток дня. Он ужинал с ней и за ужином забыл свою умеренность, а после ужина забыл и свою клятву оставаться неизменно бесчувственным к красоте и равнодушным к нежным заигрываниям. Какой пример человеческой слабости!

В это время приехала прекрасная царевна вавилонская с Фениксом, служанкой Ирлой и двумя сотнями гангаридских воинов на единорогах. Им пришлось довольно долго ждать, пока не открыли ворота. Прежде всего царевна осведомилась, все ли еще живет в этом городе самый прекрасный, самый храбрый, самый умный и самый верный человек на свете. Городские власти сразу же догадались, что она имеет в виду Амазана.

Формозанта потребовала, чтобы ее отвели к нему. Она вошла с трепещущим от любви сердцем, вся душа ее была исполнена невыразимым счастьем: наконец-то она вновь увидит в образе своего возлюбленного воплощение верности. Формозанта беспрепятственно вошла в его спальню. Полог был отдернут. Она увидела прекрасного Амазана, спящего в объятиях хорошенькой смуглянки: они оба сильно нуждались в отдыхе.

Царевна испустила горестный вопль, который разнесся по всему дому, но не разбудил ни ее кузена, ни лицедейку. Формозанта потеряла сознание и упала на руки Ирлы. Едва очнувшись, она с болью и гневом в душе немедленно покинула эту роковую комнату. Ирла бросилась разузнавать, кто такая эта молодая особа, проводившая в обществе прекрасного Амазана столь сладостные часы. Ей сообщили, что она — лицедейка, очень услужливая и, наряду с другими талантами, обладающая к тому же талантом довольно приятно петь.

— О, праведное небо! О, всемогущий Оромазд! — воскликнула, обливаясь слезами, прекрасная царевна вавилонская. — Он изменил мне, и ради кого! Тот, кто, храня мне верность, отклонял благосклонность высокородных дам, теперь бросил меня ради какой-то галльской комедиантки! Нет, такого позора я не переживу!

— Ваше высочество, — сказала Ирла, — молодые люди одинаковы на всем земном шаре. Будь они влюблены хоть в богиню красоты — бывают мгновения, когда они способны изменить ей с любой трактирной служанкой.

— Все кончено! — воскликнула царевна. — Больше я с ним никогда не увижусь. Прочь отсюда, пусть запрягают моих единорогов.

Феникс заклинал ее повременить, дожидаться хотя бы пробуждения Амазана, чтобы он мог поговорить с ним.

— Он этого не заслуживает, — ответила царевна. — К тому же это было бы слишком оскорбительно для меня, — Амазан может подумать, что я просила вас упрекнуть его, что ишу примирения с ним. Если вы меня любите, не присоединяйте этой обиды к той, которую нанес мне он.

Феникс был обязан вавилонской царевне жизнью, и ему только и оставалось, что повиноваться.

Она уехала со всей своей свитой.

— Куда же мы теперь направимся, ваше высочество? — спросила Ирла.

— Не знаю, — ответила царевна. — Едемте куда глаза глядят, только бы мне навеки скрыться от Амазана, — это все, чего я хочу.

Феникс, будучи более рассудительным, чем Формозанта, ибо он не был одержим страстью, утешал ее в пути. Он ласково доказывал ей, что прискорбно карать себя за ошибки другого; что Амазан показал многочисленные и поразительные примеры верности ей, поэтому следует простить ему его минутное увлечение; что он праведник, на мгновение обойденный благодатью Оромазда; что отныне он будет еще постоянное в любви и добродетели; что стремление искупить свою вину заставит его превзойти самого себя, поэтому она узнает с ним теперь еще большее счастье; что многие прославленные и высокородные дамы до нее прощали подобные прегрешения и потом об этом не жалели. Феникс приводил ей всевозможные примеры, а так как он владел могучим даром убеждения, то сердце Формозанты постепенно смягчилось и успокоилось. Теперь она сожалела, что уехала так поспешно. Она находила, что ее единороги мчатся слишком быстро, но не смела вернуться. Колеблясь между желанием простить и стремлением выказать свой гнев, между любовью и тщеславием, она не останавливала единорогов и продолжала странствование, как предсказал оракул.

Амазан, проснувшись, узнает о прибытии и отъезде Формозанты и Феникса, об отчаянии и ярости царевны. Ему говорят, что она поклялась никогда не прощать его вины.

— Мне остается только одно, — вскричал он, — следовать за ней и лишиться себя жизни у ее ног!

Праздные люди — его светские друзья, — услышав о происшествии, сбежались и стали доказывать ему, что гораздо разумнее остаться с ними; что их жизнь, посвященная искусствам и полная спокойной и сладостной неги, несравненно приятна; что множество чужеземцев, даже царей, предпочли отчизне и трону это мирное и пленительное существование, украшенное столь радующими душу занятиями; что, кроме того, экипаж его сломан и каретник ладит для него другой, в новом вкусе... что лучшие портные города уже скроили ему

дюжину костюмов по самой последней моде... что самые остроумные и очаровательные дамы, в чьих домах представляют такие прелестные комедии, заняли каждая свой приемный день празднеством в его честь. А тем временем лицедейка, сидя за туалетным столом, пила шоколад, смеялась, пела и поддразнивала прекрасного Амазана, который в конце концов убедился, что она глупее гусыни.

Так как характер этого замечательного царевича отличали не только великодушие и мужество, но и сердечность, искренность, прямота, он рассказал друзьям и о своих путешествиях, и о своих несчастьях. Они узнали, что он был троюродным братом царевны, и не остались в неизвестности насчет поцелуя, который она подарила египетскому фараону.

— Родные должны прощать друг другу подобного рода шалости,— утверждали они,— иначе вся жизнь уйдет на нескончаемые раздоры.

Ничто не могло поколебать его решения следовать за Формозантой. Но так как экипаж еще не был готов, Амазану пришлось три дня провести в обществе своих праздных друзей, веселясь и развлекаясь. Наконец он распрощался с ними, обнял их и заставил принять в подарок канцуснейшим образом оправленные алмазы своей страны; при этом он посоветовал друзьям всегда оставаться легкомысленными и беспечными, ибо это украшает их характер и дарует им счастье.

— Немцы,— говорил он,— это старцы Европы, жители Альбиона — зрелые мужи, а обитатели Галлии — дети, и я люблю играть с ними.

11

Его проводники без труда следовали за царевной; всюду только и говорили о ней и о ее огромной птице, жители были охвачены восторженным энтузиазмом. Впоследствии народы Далмации и округа Анконы были куда менее приятно изумлены, когда увидели дом, летающий по воздуху. На берегах Луары, Дордони, Гаронны и Жиронды еще не отзвучали ликующие возгласы.

Когда Амазан достиг подножия Пиренеев, чиновники и друиды страны принудили его полюбоваться на танцы с тамбурином, но едва он перевалил Пиренеи, не

стало ни веселья, ни забав. Если порой до него и доносились песни, то они всегда были печальны. Жители ходили степенно, носили четки и кинжалы на поясах. Народ одет был в черное, словно в траур. Если слуги Амазана спрашивали о чем-нибудь прохожих, те отвечали знаками. Если входили в гостиницу, хозяин в трех словах объяснял им, что в доме пусто и самое необходимое можно раздобыть лишь в нескольких милях отсюда.

Когда этих молчаливиков спрашивали, не видели ли они прекрасной вавилонской царевны, они отвечали с меньшей лаконичностью:

— Да, видели, но она вовсе не так уж хороша. Прекрасны лишь смуглые женщины; она же выставляет напоказ белую, как алебастр, грудь, а это самая противная вещь на свете и в наших краях почти не встречается.

Амазан приближался к провинции, орошаемой Бетисом. Прошло не более двенадцати тысяч лет с той поры, как эта страна была открыта жителями Тира, почти одновременно с открытием огромного острова Атлантиды, затонувшего несколько веков спустя. Жители Тира обработали землю Бетики, которую туземцы оставили невозделанной, ибо считали, что им не пристало копаться в земле и что для таких работ существуют галлы,— пусть приходят и занимаются этим делом.

Жители Тира привели с собой палестинцев, которые с той поры расселились по всем странам, где только можно нажитья. Эти палестинцы, ссужая в рост из пятидесяти на сто, сосредоточили в своих руках почти все богатства страны. Тогда жители Бетики решили, что палестинцы — колдуны; те, кого обвинили в колдовстве, были безжалостно сожжены бандой друидов, именуемых «разыскателями» или «антропокайями». Сии священнослужители сперва облачали приговоренных в маскарадные одеяния и присваивали их имущество, а потом набожно читали молитвы этих самых палестинцев, сжигая их на медленном огне *per l'amor de Dios*¹.

Формозанта приехала в город, который впоследствии называли Севильей. Она предполагала по рекам Бетису и Тиру вернуться в Вавилон, к своему отцу, и либо забыть, если хватит сил, коварного возлюбленного, либо стать его супругой. Царевна призвала к себе двух

¹ Во имя любви к богу (исп.).

палестинцев, занимавшихся всеми делами при дворе. Они должны были снарядить для нее три корабля. Феникс обо всем договорился с ними и, немного поторговавшись, условился о цене.

Хозяйка гостиницы отличалась набожностью, а ее муж, тоже очень набожный, был у друидов-разыскателей-антропокайев «своим человеком», иначе говоря — шпионом; он не замедлил донести, что у него в доме находится сейчас колдунья и два палестинца, заключающие договор с дьяволом, который воплотился в огромную золоченую птицу. Разыскатели, пронюхав, что у дамы много алмазов, сразу же признали ее колдуньей. Будучи весьма трусливы, они сперва дождались ночи и заперли обширные конюшни, где спали единороги и двести воинов. Основательно забаррикадив все выходы, они схватили царевну и Ирлу, но им не удалось поймать Феникса, улетевшего с быстротой стрелы: он был уверен, что по дороге из Галлии в Севилью встретит Амазана.

И действительно, он встретил его на границе Беттики и поведал ему о несчастье, постигшем царевну. Амазан слова не мог вымолвить, так он был взволнован и разъярен. Надев стальные латы с золотой насечкой, взяв пику длиной в двенадцать футов, два дротика и острый меч, прозванный «Грозным», который одним ударом рассекал деревья, скалы и друидов, он увенчал свою прекрасную голову золотым шлемом, украшенным перьями цапли и страуса. То были древние доспехи Магога, подаренные ему его сестрой Алдеей во время пребывания в Скифии. Немногочисленные приближенные, сопровождавшие его, сели, как и он, на единорогов.

Целуя своего дорогого Феникса, Амазан печально сказал ему:

— Это моя вина. Если бы я не переночевал с лицедейкой в городе праздных людей, прекрасная царевна вавилонская не оказалась бы в столь ужасном положении. Идем на антропокайев.

И вот он уже в Севилье. Полторы тысячи альгвасилов охраняют входы в конюшни, где заключены, лишенные пищи, двести гангаридов и их единороги. Все уже приготовлено для священнодействия, во время которого должны быть принесены в жертву Формозанта, ее служанка Ирла и два богатых палестинца.

Великий Антропокай, окруженный младшими антропокаями, восседал в своем священном судилище. Жители Севилю, с висящими на поясе четками, безмолвно стояли поодаль, молитвенно сложив руки. И вот привели прекрасную царевну, Ирлу и двух палестинцев со скрученными за спиною руками и облаченных в маскарадные одеяния.

Феникс влетел через слуховое окно в темницу, где запертые гангариды уже начали взламывать двери. Непобедимый Амазан помогал им снаружи. Они вырываются на волю, вооруженные, верхом на своих единорогах. Амазан становится во главе отряда. Он без труда побеждает альгвасилов и священнослужителей-антропокаев; каждый единорог сразу пронзает целую дюжину, а грозный меч Амазана рассекает надвое всех, попадающих на пути. Толпа в черных мантиях и грязных брыжах разбегается, не выпуская из рук четок, освященных *por l'amor de Dios!*

Амазан стащил с судейского кресла великого разыскателя и бросил его в костер, разложенный шагах в сорока от судилища. Туда же один за другим полетели и малые разыскатели, и тогда Амазан пал к ногам Формозанты.

— О, как вы добры! — воскликнула она. — Как я обожала бы вас, если бы вы не изменили мне с лицедейкой!

Пока он мирился с царевной, пока гангариды бросали в костер антропокаев и языки пламени взвивались к небесам, вдали показалось какое-то войско. Престарелый монарх, увенчанный короной, восседал на колеснице, влекомой восьмеркой мулов в веревочной упряжи. Сзади следовало сто других колесниц. Их сопровождали суровые всадники в черных плащах и в брыжах, на великолепных конях. Множество пеших людей с засаленными волосами молча следовали за ними.

Прежде всего Амазан построил вокруг себя своих гангаридов и выступил вперед с копьем наперевес. Но едва лишь король заметил его, как снял корону, сошел с колесницы, поцеловал стремя Амазана и сказал:

— Посланец божий, вы — мститель за род человеческий, освободитель моей отчизны, мой покровитель. Эти проклятые чудовища, от которых вы очистили страну, были, волею Старца семи холмов, моими властителями.

Мой народ отринул бы меня, если бы я попытался обуздать их страшную жестокость. Отныне я дышу, я царствую и этим обязан вам.

Затем он почтительно поцеловал руку Формозанты и попросил ее сесть вместе с Ирлой, Амазаном и Фениксом в его колесницу, запряженную восемью мулами. Придворные банкиры-палестинцы, от страха и признательности еще лежавшие ниц, встали, и воины на единых рогах двинулись вслед за королем Бетики в его дворец.

Поскольку достоинство короля этого серьезного народа требовало, чтобы его мулы везли колесницу медленно, Амазан и Формозанта успели рассказать ему свои злоключения. Король говорил и с Фениксом, любовался им и непрестанно целовал его. Он понял, до какой степени народы Запада, поедавшие животных и утратившие способность понимать их, невежественны, грубы и дики. Только гангариды не утратили первоначальной естественности и человеческого достоинства. Всей душой он соглашался с тем, что из всех смертных наибольшими варварами были разыскатели-антропикайи, от которых Амазан только что освободил человечество. Король не переставал его благодарить и благословлять. Прекрасная Формозанта уже успела забыть случай с лицедейкой и безгранично восхищалась отвагой героя, спасшего ей жизнь. Амазан, который узнал наконец о безгрешности поцелуя, данного египетскому фараону, и о воскрешении Феникса, вкушал чистую радость и был опьянен самой пылкой любовью.

Обедали во дворце, и яства были на редкость невкусные. Повара Бетики были наихудшими во всей Европе. Амазан посоветовал вызвать галльских поваров. Придворный оркестр исполнял во время обеда знаменитую арию, которую в позднейшие века окрестили «Испанским каприччо».

После обеда заговорили о делах. Царь спросил у прекрасного Амазана, прелестной Формозанты и чудесного Феникса, что они намереются предпринять.

— Я предполагаю вернуться в Вавилон, ибо я — законный наследник престола и буду просить у дяди моего Бела руки несравненной Формозанты, моей троюродной сестры, если только она не предпочтет жить со мною у гангаридов.

— Я решила, — сказала царица, — никогда не раз-

лучаться с моим троюродным братом. Но я думаю, что сейчас мне надлежит возвратиться к моему отцу, тем более что он разрешил мне только паломничество в Бассору, а я отправилась странствовать по свету.

— Что касается меня,— сказал Феникс,— я повсюду буду сопровождать этих нежных и великодушных влюбленных.

— И будете в этом совершенно правы,— сказал король Бетики.— Но обратный путь в Вавилон не так легок, как вы полагаете. Мне недавно принесли вести оттуда капитаны тирийских кораблей и палестинские банкиры, которые сносятся со всеми странами мира. На берегах Евфрата и Нила идет война. Царь Скифии, предводительствуя трехсоттысячной армией конников, требует возвращения наследства своей жены. Фараон египетский и царь Индии, каждый во главе трехсоттысячной армии, тоже опустошают берега Тигра и Евфрата, мстя за нанесенные им обиды. Пока фараон Египта воюет на чужбине, его враг, царь Эфиопии, предводительствуя армией в триста тысяч человек, разоряет Египет. Вавилонский царь располагает для защиты своей страны только шестьюстами тысячами человек. Признаюсь вам,— продолжал король,— когда я слышу об этих многочисленных армиях, которые изрыгает из своего чрева Восток, и об их поразительном великолепии, когда сравниваю их с нашими скромными отрядами в двадцать — тридцать тысяч человек, которых так трудно прокормить и одеть, я начинаю думать, что Восток возник значительно раньше Запада. Мы словно лишь позавчера родились из хаоса и только вчера покончили с варварством.

— Ваше величество,— заметил Амазан,— порой случается, что явившийся последним одерживает верх над тем, кто первым вступил на жизненное поприще. В моей стране полагают, что колыбель человечества — Индия, но я в этом не уверен.

— А вы,— обратился король Бетики к Фениксу,— что вы об этом думаете?

— Государь,— ответил Феникс,— я еще слишком молод, чтобы досконально знать древнюю историю. Я прожил около двадцати семи тысяч лет; но мой отец, проживший в пять раз больше, говорил мне, что слышал от своего отца, будто страны Востока всегда были

богаче и гуще заселены, чем прочие страны. Он слышал от своих предков, что все животные возникли некогда на берегах Ганга, но я не столь тщеславен, чтобы разделять эту точку зрения. Мне трудно поверить, что альбионские лисицы, альпийские сурки, галльские волки — все родом из моей страны, как не верю и тому, что дубы и ели вашей родины происходят от кокосовых пальм Индии.

— Но откуда же все-таки приходим мы? — спросил король.

— Этого я не знаю, — ответил Феникс. — Мне хотелось бы знать только одно: куда сейчас следует отправиться прекрасной царице вавилонской и моему дорогому Амазану?

— Сильно сомневаюсь, — продолжал король, — чтобы со своими двумя сотнями единорогов он смог пробиться сквозь такое множество армий по триста тысяч воинов каждая.

— А почему бы и нет? — возразил Амазан.

Король Бетики оценил величие слов: «А почему бы и нет?» — но он полагал, что для победы над бесчисленной ратью врагов одного величия недостаточно.

— Я советую вам, — сказал он, — попытаться заключить союз с царем Эфиопии. Я поддерживаю сношения с этим чернокожим владыкой через моих палестинцев. Я передам с вами послание к нему. Он враг фараона и будет очень счастлив увеличить свои силы союзом с вами. Я также могу дать вам подкрепление в две тысячи воинов, непьющих и храбрых. Если захотите, вы сможете нанять еще столько же среди племен, обитающих, или, точнее, карабкающихся по отрогам Пиренеев. Их называют басками или гасконцами. Отправьте туда одного из ваших воинов верхом на единороге и дайте ему с собой несколько алмазов. Любой гасконец покинет замок, вернее, хижину своего отца ради службы у вас. Они неутомимы, отважны и веселы. Вы будете очень довольны ими. В ожидании их приезда мы устроим в вашу честь празднества и оснастим корабли. Я навсегда останусь у вас в долгу за вашу услугу.

Амазан радовался, что вновь обрел Формозанту, и, беседуя с ней, мирно наслаждался всеми чарами заново упроченной любви, которые почти столь же пленительны, как чары любви зарождающейся.

Вскоре появился отряд веселых и гордых гасконцев, приплясывавших под звуки тамбурина. Другой отряд — суровых и гордых бетиканцев — был уже наготове. Старый смуглый царь нежно обнял обоих влюбленных. Он повелел нагрузить их корабли оружием, постелями, шахматами, черными мантиями, брыжами, луком, баранами, курами, мукой, большим запасом чесноку и пожелал им счастливого плавания, вечной любви и сраженных врагов.

Флот причалил к берегу там, где, как утверждают, спустя столетия, покинув город Тир, финикиянка Дидона, сестра Пигмалиона, супруга Сихея, основала великолепный город Карфаген, разрезав на узенькие ремешки воловью шкуру, согласно свидетельству самых великих авторов древности, которые никогда не сочиняли небывших, и учителей, писавших для маленьких мальчиков, хотя в Тире никто и никогда не звался Пигмалионом, или Дидоной, или Сихеем, то есть именами чисто греческими, и вообще в те времена в Тире не было государя.

Великолепный Карфаген не был еще тогда приморским городом; в тех местах жили только немногочисленные нумидийцы, вялившие рыбу на солнце. Затем путешественники поплыли вдоль Бизацены и берегов обоих Сиртов — плодоносных мест, где впоследствии возникли Кириния и великий Херсонес.

Наконец приплыли к первому устью священного Нила. Здесь, на окраине этой плодородной земли, гавань Каноп принимала уже тогда суда всех торговых народов, хотя никто не знал, бог ли Каноп основал этот город или жители Канопа выдумали бога, дала ли звезда Каноп свое имя городу или город дал свое имя звезде. Знали только, что и город и звезда очень древнего происхождения; и это все, что вообще можно знать о происхождении вещей, каковы бы они ни были.

Именно там царь Эфиопии, который только что опустошил весь Египет, увидел причалившие корабли непобедимого Амазана и очаровательной Формозанты. Его он принял за бога войны, ее — за богиню красоты. Амазан предъявил ему грамоты испанского короля. Царь Эфиопии, согласно обычаям того героического времени, устроил прежде всего великолепные празднества. Затем стал обсуждать, как истребить трехсоттысячную армию царя Индии и трехсоттысячную армию хана скифов, осадивших огромный, надменный, утопающий в роскоши город Вавилон.

Две тысячи испанцев, которых Амазан привел с собой, заявили, что для спасения Вавилона им не нужен эфиопский царь, что достаточно приказа их короля освободить город — и они справятся с этим сами.

Гасконцы заявили, что они участвовали и не в таких сражениях, что победят египтян, индусов и скифов и без посторонней помощи, что согласны выступить в поход вместе с испанцами только при условии, если те пойдут в арьергарде.

Двести гангаридов смеялись над самоуверенностью своих союзников, уверяя, что с сотней единорогов они обратят в бегство всех владык мира.

Прекрасная Формозанта благоразумными и умягчающими душу словами примирила спорщиков. Амазан представил чернокожему монарху своих гангаридов, единорогов, испанцев, гасконцев и чудесную птицу.

Вскоре все было готово, и войско выступило в поход через Мемфис, Гелиополис, Арсиною, Петру, через Артемиту, Сору и Апантè полное решимости атаковать трех царей и начать ту достопамятную войну, по сравнению с которой все последующие войны были лишь петушиными или перепелиными боями.

Все знают, как царь Эфиопии влюбился в прекрасную Формозанту и как застал ее врасплох на ложе, когда сладостный сон смежил ей вежды. Все помнят, что Амазану — свидетелю этой сцены, показалось, будто день и ночь почивают вместе. Известно также, что Амазан, возмущенный столь оскорбительным поступком, тут же выхватил свой грозный меч и мгновенно отсек наглому чернокожему его распутную голову, а потом изгнал из Египта всех эфиопов. Разве эти подвиги не запечатлены в хрониках Египта? Стоустая молва возвестила миру о победах, одержанных им над тремя царями с помощью испанцев, гасконцев и единорогов. Он вернул прекрасную Формозанту отцу и освободил всех приближенных своей возлюбленной, которых фараон египетский обратил в рабство. Великий хан скифов объявил себя вассалом Амазана, и тогда его брак с царевной Алдеей был узаконен. Непобедимый и великодушный Амазан, признанный наследником престола, победоносно вступил вместе с Фениксом в город Вавилон, приветствуемый сотней царей, его данников.

Свадебное торжество превзошло все празднества, ка-

кие когда-либо устраивал царь Бел. К столу подали зажаренного быка Аписа, фараон египетский и король Индии подавали новобрачным вино, и эта свадьба была воспета пятьюстами великими поэтами Вавилона.

О музы, к вам всегда обращаются, начиная какой-либо труд, я же взываю к вам, лишь кончая его. Пусть не упрекают меня в том, что я творю благодарственную молитву после обеда, не сотворив предобеденной. Музы, вы все же не лишите меня своего покровительства! Не позволяйте дерзновенным подделывателям исказить своими баснями истины, которые я поведал смертным в этом правдивом рассказе, подобно тому как они осмелились исказить «Кандида», «Простодушного» и целомудренные похождения целомудренной Жанны, которые некий бывший капуцин изуродовал в батавских изданиях стихами, достойными капуцина. Да не причинят они такого ущерба моему издателю, обремененному многочисленной семьей, у которого едва хватает средств на шрифт, бумагу и чернила.

О музы, заставьте умолкнуть мерзейшего Кожэ, профессора болтологии в коллеже Мазарини, который остался недоволен рассуждениями о нравственности Велизария и императора Юстиниана и дерзнул написать клеветнические пасквили на этих великих мужей.

Заткните кляпом рот педанта Ларше, который, не зная ни слова по-древнеавиловонски, не объехав, подобно мне, берегов Евфрата и Тигра, имел бесстыдство утверждать, будто прекрасная Формозанта, дочь могущественнейшего в мире царя, и царевна Алдея, и все женщины этого уважаемого двора делили за деньги ложе со всеми конюхами Азии в великом авиловонском храме, согласно своим религиозным убеждениям. Этот ученый распутник — ваш враг и враг целомудрия — обвиняет прекрасных мендесских египтянок в том, что они любили только козлов, и поэтому втайне намеревается предпринять поездку в Египет, дабы там вдоволь поразвлечься.

Так как современность столь же мало известна ему, как и старина, он, надеясь заслужить благосклонность какой-нибудь старухи, намекает, будто наша несравненная Нинон в возрасте восьмидесяти лет спала с аббатом Жедуэном, членом Французской Академии, а также

Академии истории и археологии. Он никогда не слышал об аббате де Шатонеф, которого путает с аббатом Жедуэном, и столь же мало знает о Нинон, сколь и о девах Вавилона.

Музы, дочери неба, ваш враг Ларше поступает и того хуже. Он восхваляет мужеложство. Он осмеливается утверждать, будто все отроки моей родины причастны к этой мерзости. Он надеется спасти себя, увеличив число виновных.

Благородные и непорочные музы, вы, равно ненавидящие как педантизм, так и мужеложство, защитите меня от мэтра Ларше!

Вам, мэтр Алиборон, по прозванию Фрерон, отставной иезуит, вам, чей Парнас помещается то в Бисетре, то в захудалом кабаке; вам, которому так много воздавали по заслугам на всех европейских сценах за благопристойную комедию «Шотландка»; вам, достойному сыну отца Дефонтена, рожденному от его любовной связи с одним из тех красивых мальчиков, которые, подобно сыну Венеры, не разлучаются с жезлом и повязкой и, подобно ему, взлетают к небесам, но не выше дымовой трубы,— вам, мой дорогой Алиборон, всегда внушавший мне великую нежность и заставлявший меня смеяться месяц подряд, когда шла эта самая «Шотландка», вам поручаю я мою «Царевну Вавилонскую». Наговорите о ней побольше дурного, чтобы ее побольше читали.

Не забуду я помянуть и вас, писака-богослов, знаменитый оратор конвульсионеров, отец церкви, основанной аббатом Бешераном и Авраамом Шомеем. Не премините написать в ваших листках, столь же благочестивых, сколь красноречивых и разумных, что «Царевна Вавилонская» еретична, деистична и атеистична. Особенно же постарайтесь убедить почтенного Рибалье в том, что он должен от имени Сорбонны осудить «Царевну Вавилонскую». Вы доставите этим огромное удовольствие моему издателю, которому я преподнес эту историю в качестве новогоднего подарка.



Письма Амабеда и др., переведенные аббатом Тампоне

ПЕРВОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ, ВЕРХОВНОМУ БРАМИНУ МАДУРЫ

*Бенарес, 2-го числа месяца мыши,
год от обновления мира 115 652-й¹.*

Светоч души моей и родитель помыслов, ведущий людей путями Предвечного, сердечный и почтительный привет тебе, высокоученый Шастраджит!

Следуя твоим мудрым советам, я уже настолько постиг язык китайцев, что с пользою для себя читаю пять их Цзинов, которые, на мой взгляд, не уступают в древности нашей Шастре, коей ты состоишь толкователем, изречениям первого Зороастра и книгам Тота египетского.

В душе своей, неизменно открытой перед тобой, я полагаю, что эти писания и религии ничем не обогатили друг друга: мы — единственные, кому Брама, наперсник Предвечного, поведал о восстании небожителей, о прощении, которое даровал им Предвечный, и о сотворении человека; другим народам неизвестно, по моему, ни слова об этих возвышенных предметах.

Думаю также, что ни мы, ни китайцы ничем не обязаны египтянам. Создать цивилизованное и просвещен-

¹ Дата эта соответствует 1512 году нашего обычного летоисчисления и отделена всего двухлетним промежутком от 1510-го, когда Альфонсо д'Альбукерк взял Гоа. Следует знать, что брамины насчитывают 111 100 лет со времени восстания и падения небожителей и 4552 года со дня обнародования Шастры, что и дает в сумме 115 652 года, соответствующие нашему 1512-му, эпохе правления Бабура в империи Великих Моголов, Исмаила Сафи в Персии, Селима в Турции, Максимилиана I в Германии, Людовика XII во Франции, Юлия II в Риме, Иоанны Безумной в Испании, Мануэла в Португалии.

ное общество они могли лишь гораздо позже нас: прежде чем возделывать поля и воздвигать города, им надо было укротить Нил.

Правда, божественной Шастре всего 4552 года, но, как доказывают наши памятники, заветы, изложенные в ней, передавались от отца к сыну еще за сто с лишним веков до появления этой священной книги.

После взятия Гоа в Бенарес прибыло несколько проповедников-европейцев. Одному из них я даю уроки индийского языка, а он, в свой черед, обучает меня наречию, имеющему хождение в Европе и называемому итальянским. Забавный язык! Почти все слова в нем оканчиваются на «а», «е», «и» или «о»; дается он мне легко, и скоро я буду иметь удовольствие читать европейские книги.

Зовется этот ученый отцом Фатутто, он приятный, учтивый человек, и я представил его Отраде Очей, прекрасной Адатее, которую ее и мои родители предназначают мне в жены. Она учится итальянскому вместе со мной. Спряжение глагола «любить» мы усвоили в первый же день. На остальные нам потребовалось еще два. Она ближе всех смертных моему сердцу; после нее — ты. Я молю Бирму и Брамму продлить тебе жизнь до ста тридцати лет, по достижении коих она становится лишь обузой.

ОТВЕТ ШАСТРАДЖИТА

Я получил твое письмо, дитя души моей. Да будут вечно простерты над тобой десять рук Дурги¹, восседающей на драконе истребительницы пороков!

Мы действительно — хотя этим отнюдь не следует тщеславиться — цивилизовались раньше других земных племен. Этого не оспаривают даже китайцы. Египтяне же просто очень юный народ, который сам выучился всему у халдеев. Так не будем гордиться тем, что мы

¹ Дурга — индийское слово, означающее «добродетель». Эту богиню изображают верхом на драконе и наделяют десятью руками, которыми она сражается с пороками — невоздержанностью, гневливостью, воровством, убийством, оскорблением, злоязычием, клеветой, леностью, неповиновением отцу и матери, неблагодарностью. Многие миссионеры принимают ее изваяния за статуи дьявола.

самые древние, а постараемся неизменно быть самыми праведными.

Тебе следует знать, дорогой Амабед, что с недавних пор слабый ответ нашего знания о падении небожителей и обновлении мира замерцал наконец и людям Запада. В арабском переводе некоей сирийской книги, написанной всего веков четырнадцать тому назад, я читаю: «...Господь... и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня»¹. В доказательство автор ссылается на сочинение человека по имени Енох, одного из прародителей их племени. Отсюда ты можешь заключить, что варварские народы всегда были озарены лишь случайным, тусклым и обманчивым отблеском дарованного нам света.

Мой дорогой сын, я смертельно боюсь вторжения европейских дикарей в наши благодатные края. Я слишком хорошо знаю, что представляет собой этот Альбукерк, нагрянувший с берегов Запада в страну, любимую светилом дня. Это один из самых отвязавшихся разбойников, когда-либо опустошавших землю. Он захватил Гоа в нарушение всех договоров, утопив в их собственной крови тысячи мирных и благочестивых людей. Пришельцы с Запада — обитатели бедного края, где почти не производят шелка и вовсе не производят ни хлопка, ни сахара, ни пряностей. У них нет даже глины, из которой мы делаем фарфор. Бог отказал им в кокосовой пальме, дающей тень, кров, одежду, пищу и питье детям Браммы. Им знаком лишь один-единственный напиток, да и тот лишает их рассудка. Подлинное их божество — золото, за которым они готовы лететь хоть на край света.

Хочу надеяться, что твой проповедник — порядочный человек, но Предвечный не поставит нам в грех недоверие к этим чужеземцам. В Бенаресе они овечки, зато, по слухам, сущие тигры там, где европейцы уже утвердились.

¹ Отсюда следует, что Шастраджит читал Библию по-арабски и знаком с посланием святого Иуды. Цитируемые слова действительно содержатся там в ст. 6. Апокрифическое сочинение, упоминаемое святым Иудой в ст. 14, — никогда не существовавшая книга Еноха.

От души желаю, чтобы ни у тебя, ни у прекрасной Адатеи никогда не было причин жаловаться на отца Фатутто! И все-таки тайное предчувствие томит меня. Прощай, и пусть Адатея поскорей соединится с тобой священными узами, дабы вкусить небесное блаженство в твоих объятиях!

Это письмо вручит тебе один бания, отбывающий отсюда не раньше полнолуния в месяце слона.

ВТОРОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ

Родитель помыслов моих, я выучил наречие европейцев еще до того, как твой торговец-бания достиг берегов Ганга. Отец Фатутто по-прежнему выказывает мне искреннюю дружбу. Я всерьез начинаю думать, что он совершенно не похож на тех, чьи коварство и злоба внушают тебе столь обоснованные опасения. Правда, он слишком часто хвалит меня и слишком редко — Отраду Очей, но это и все, что меня настораживает; в остальном он представляется мне человеком в высшей степени добродетельным и благожелательным. Вместе с ним мы прочли книгу, показавшуюся мне очень странной. Это всеобщая история, в которой ни слова не сказано о нашей древней державе, обширных странах за Гангом, Китае и необъятной Татарии. Видимо, сочинители, проживающие в этой части Европы, — изрядные невежды. Я сравнил бы их с крестьянами, красноречиво разглагольствующими о своих лачугах, но не знающими, как называется наша столица, а еще лучше — с теми, кто полагает, будто мир кончается там, где кончается для них горизонт.

Больше всего меня поразило, что отсчет времени от сотворения мира у европейцев совсем иной, нежели у нас. Мой проповедник показал мне церковный календарь, согласно которому его соотечественники живут сейчас в году от сотворения мира не то 5552-м, не то 6244-м, не то 6940-м¹ — кому как нравится. Эта нелепость изумила меня. Я спросил его, мыслимо ли относить одно событие к трем разным датам. «Тебе не может быть, — сказал я, — тридцать, сорок и пятьдесят

¹ Этим разнятся тексты древнееврейский, самарийский и семидесяти толковников.

однозременно. Почему же ты исчисляешь возраст мира от трех противоречащих друг другу дат?» Он ответил, что эти цифры взяты из одной и той же книги и что у них на родине все обязаны принимать на веру подобные противоречивые суждения, дабы смирять этим гордыню разума.

В той же книге говорится о первом человеке Адаме, о Каине, Мафусаиле и Ное, насадившем виноград, после того как океан затопил весь земной шар,— словом, о великом множестве такого, чего я не слыхивал и о чем не читал ни в одной из наших книг. Когда отец Фатутто ушел, нас с прекрасной Адатеей долго разбирал смех: мы ведь слишком хорошо воспитаны и слишком прониклись твоими правилами, чтобы смеяться над людьми в их присутствии.

Мне жаль несчастных европейцев, сотворенных, самое позднее, лишь 6940 лет тому назад, тогда как мы существуем уже 115 652 года. Еще больше мне их жаль по той причине, что они лишены перца, корицы, гвоздики, чая, кофе, хлопка, лака, ладана, благовоний — короче, всего, что делает жизнь приятной. И особенно уж они жалки мне тем, что, подвергаясь таким опасностям, плывут к нам за тридевять земель лишь ради одной цели — с оружием в руках отнимать у нас съестные припасы. Говорят, из-за перца они совершили в Каликуте страшные зверства; это приводит в содрогание все естество индийца, совершенно отличное от их естества: грудь и бедра у европейцев покрыты волосами, они носят длинные бороды, и желудок у них плотоядный. Они дурманят себя перебродившим соком винограда, насажденного, по их уверениям, еще Ноем. Даже учтивейший отец Фатутто зарезал двух цыплят, сварил их в котле и безжалостно съел. Этот варварский поступок навлек на него ненависть всей округи, и нам лишь с трудом удалось успокоить страсти. Да простит меня бог, но мне кажется, дай этому чужеземцу волю — и он съест даже священных коров, дарящих нам молоко! Правда, он поклялся не предавать смерти цыплят и довольствоваться свежими яйцами, молочными кушаньями, рисом, здешними превосходными овощами, финиками, кокосовыми орехами, миндалем, печеньем, ананасами, апельсинами и прочим, что производит наша благословенная Предвечным земля.

В последние дни он стал гораздо внимательнее к Отраде Очей и даже сложил для нее два итальянских стиха, оканчивающихся на «о». Такая предупредительность доставила мне большое удовольствие: ты ведь знаешь, как я счастлив, когда люди отдают должное моей дорогой Адатее.

Прощай! Припадаю к стопам твоим, которые всегда вели тебя стезей добродетели, и целую руки, не написавшие ни слова неправды.

ОТВЕТ ШАСТРАДЖИТА

Дорогой мой сын в Бирме и Бrame, мне вовсе не нравится твой Фатутто, убивающий цыплят и сочиняющий стихи в честь Адатеи. Молю Бирму, чтобы опасения мои не оправдались!

Могу поклясться, что, хотя Адам и Ной жили, по его словам, совсем недавно, о них не знает ни одна душа ни в одной части света. В Греции, куда в те дни, когда Александр подошел к нашим границам, стекались басни со всего мира,— и то не слышали этих имен. Не диво, что такие винопийцы, как жители Запада, носят с тем, кто, по их мнению, насадил лозу; но будь уверен, что ни один древний народ из числа известных нам не знал никакого Ноя.

Правда, во времена Александра в одном из уголков Финикии жило маленькое племя торгашей и ростовщиков, надолго угнанных перед тем в рабство вавилонянами. За годы пленения этот народец придумал себе историю, и только в ней можно найти упоминание о Ное. Когда впоследствии народец этот добился себе в Александрии всяческих привилегий, его история была переведена на греческий язык. Затем ее перевели на арабский, но известное представление о ней наши ученые получили лишь в последнее время и относятся к ней с не меньшим презрением, чем к жалкой орде, измыслившей ее¹.

В самом деле, было бы весьма забавно, если бы все народы, а они родные братья, разом утратили свои родословные записи и те отыскивались вдруг у крошечной

¹ Из сказанного явствует, что Шастраджит говорит здесь как истый брамин — человек, лишенный дара веры и чуждый благодати.

ветви человеческого рода, состоящей из ростовщиков и прокаженных. Боюсь, дорогой друг, что соотечественники твоего отца Фатутто, которые, как ты сообщаешь, усвоили подобные взгляды, могут оказаться столь же безумными и смешными, сколь они алчны, коварны и жестоки.

Женись-ка поскорее на своей очаровательной Адате: я еще раз повторяю, что опасаясь Фатутто еще больше, чем разных Ноев.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ

Благословен во веки веков Бирма, сотворивший мужчину для женщины! Благословен и ты, дорогой Шастраджит, столь способствовавший моему счастью! Отрада Очей — моя: мы поженились. Я не чую под собой земли — я на небесах; при совершении священного обряда недоставало только тебя. Проповедник Фатутто был свидетелем наших святых обетов и без всякого неудовольствия внимал нашим молитвам и песнопениям, хоть он и другой веры. На брачном пиру он также был очень весел. Я изнемогаю от блаженства. Тебе дана иная отрада — ты обладаешь мудростью; а мной обладает несравненная Адатея. Живи долго, будь счастлив и не ведай страстей, иначе, как я, утонешь в море наслаждений. Не могу больше ничего прибавить — вновь лечу в объятия Адатеи.

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ

Дорогой мой друг и отец, мы с нежной Адатеей едем просить твоего благословения. Пока мы не уплатили этот долг своему сердцу, наше блаженство неполно. Но веришь ли? Мы прибудем к тебе через Гоа, куда отправляемся в обществе известного купца Курсома и его жены. Фатутто уверяет, что Гоа стал прекраснейшим из всех городов Индии и что великий Альбукерк примет нас, как принимают послов, а после даст нам трехпарусное судно, на котором мы доплывем до Мадуры. Он уговорил мою жену совершить это путешествие, а ее желания — мои желания. Фатутто твердит, что итальянское наречие распространено в Гоа еще шире,

нежели португальское. Отраде Очей не терпится поговорить на языке, который она только что выучила, я же разделяю любое ее желание. Говорят, бывают супруги, у которых две разные воли; у нас с Адатеей — только одна, потому что душа у нас тоже одна. Словом, завтра мы отбываем, лелея сладостную надежду не позже чем через два месяца пролить в твоих объятиях слезы любви и радости.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ ШАСТРАДЖИТУ

*Гоа, 5-го числа месяца тигра,
год от обновления мира 115 652-й.*

Бирма, услышь мои стенания, воззрись на мои слезы, спаси моего дорогого супруга! Брама, сын Бирмы, повергни страх мой и боль мою к стопам своего отца! Ты оказался мудрее нас, благородный Шастраджит: ты предугадал наши несчастья. Амабед, твой ученик и мой возлюбленный супруг, больше не напишет тебе: он посажен в яму, которую эти варвары именуют тюрьмой. На другой день после нашего приезда какие-то люди, вернее, чудовища — их называют здесь *inquisitori*¹, но я не понимаю этого слова, — схватили нас с мужем и бросили в разные ямы, словно мы уже мертвецы, хотя будь это даже так, нас следовало бы по крайней мере похоронить вместе. Не знаю, что они сделали с моим милым супругом. Я кричала этим людоедам: «Где Амабед? Не убивайте его — убейте лучше меня!» Они молчали. «Где он? Зачем вы разлучили нас?» Вместо ответа меня заковали в цепи. Час назад положение мое немного облегчилось: купец Курсом нашел способ переправить мне хлопчатую бумагу, кисточку и тушь. Все это залито моими слезами, рука у меня дрожит, в глазах темно, я умираю.

ВТОРОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ ШАСТРАДЖИТУ ИЗ ТЮРЬМЫ ИНКВИЗИЦИИ

Божественный Шастраджит, вчера я долго была в беспамятстве и не смогла закончить письмо. Несколько придя в себя, я сложила его и спрятала на груди —

¹ Инквизиторы (*итал.*).

ей, увы, уже не кормить детей, которых я надеялась родить Амабеду: я умру раньше, чем Бирма ниспошлет мне потомство.

Сегодня с рассветом ко мне в подземелье явились два изверга с алебардами в руках, с нитью каких-то зерен на шее и с четырьмя красными нашивками на груди, расположенными в форме креста. Все так же молча они подхватили меня под руки и доставили в комнату, обстановку которой составляли большой стол, пять стульев и большая картина, изображавшая нагого мужчину с раскинутыми руками и сведенными вместе пятками.

Следом за ними вошли пять человек в рубахах, надетых на черные мантии, и с двумя длинными полосами пестрой ткани поверх рубах. Я в ужасе рухнула на пол. Но каково было мое удивление, когда среди этих призраков я увидела отца Фатутто! Я взглянула на него, он покраснел, но ответил мне кротким сострадательным взглядом, на минуту подбодрившим меня. «Ах, отец Фатутто! — вскричала я. — Что с Амабедом? В какую бездну вы меня ввергли? Говорят, есть племена, питающиеся человеческой кровью. Неужели нас тоже убьют и съедят?» Вместо ответа он воздел глаза и руки к небу с таким сокрушением и нежностью, что я окончательно растерялась.

Наконец председатель этого совета немых раскрыл рот и, обращаясь ко мне, спросил: «Правда ли, что вы крещены?» Я была так изумлена и потрясена всем случившимся, что долго не могла ничего ответить. Он страшным голосом повторил вопрос. Кровь во мне застыла, язык прилип к гортани. Председатель в третий раз повторил свои слова, и в конце концов я сказала: «Да», — ибо лгать никогда не следует. Я была крещена в водах Ганга, как все верные дети Браммы, как ты, божественный Шастраджит или мой дорогой злополучный Амабед. Да, я крещена; это мое утешение, моя гордость, и я призналась в этом совету призраков.

Не успело слово «да», символ истины, сорваться у меня с губ, как один из черно-белых призраков воскликнул: «Apostata!»¹ — и остальные подхватили: «Apostata!» Не знаю, что означает это слово, но

¹ Отступница (итал.).

произнесли они его таким мрачным, угрожающим тоном, что и сейчас, когда я пишу тебе, пальцы у меня сводит судорогой.

Тут заговорил отец Фатутто и, все так же ласково поглядывая на меня, уверил, что я, в сущности, одушевлена добрыми чувствами, что он в этом ручается, что благодать низойдет на меня, а он отвечает за мое исправление; речь свою он закончил фразой, которой я так и не поняла: «Io la convertiro»¹. Насколько я могу судить, по-итальянски это значит: «Я верну ее назад».

«Как! — подумала я. — Он вернет меня назад? Что он имеет в виду? Уж не хочет ли он сказать, что вернет меня на родину?»

— Ах, отец Фатутто, — взмолилась я, — верните тогда и молодого Амабеда, моего милого супруга. Верните мне мою душу, мою жизнь!

Он потупился, отвел четверых своих собратьев в угол, пошептался с ними, и призраки удалились вместе с обоими алебардчиками. Уходя, все склонились перед картиной, изображавшей нагого человека. Я осталась наедине с отцом Фатутто.

Он проводил меня в довольно опрятную комнату и обещал, что я не буду больше брошена в яму, если доверюсь его советам.

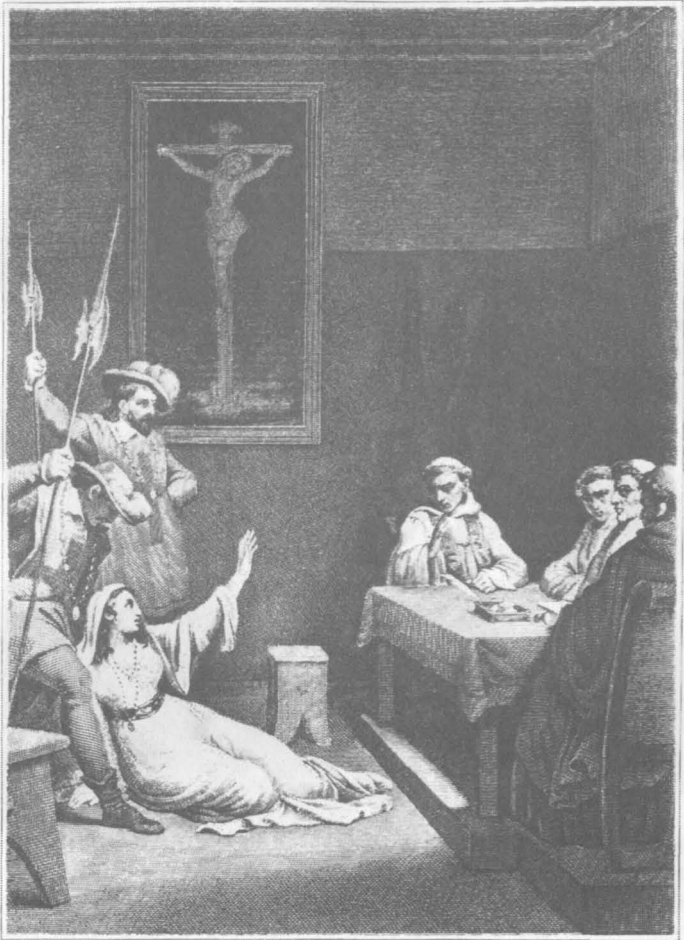
— Я не меньше вас удручен случившимся, — сказал он. — Я возражал сколько мог, но наши святые законы связали мне руки. Теперь, благодаря небу и мне, вы свободны и получили пристойное жилище, хотя и без права покидать его. Я буду часто навещать вас, утешать и печься о вашем счастье как в этой, так и в будущей жизни.

— Увы, дать мне счастье способен только мой дорогой Амабед, а он в яме! — возразила я. — За что его туда бросили? Кто эти чудовища, допрашивавшие меня, купалась я в Ганге или нет? Куда вы меня привели? Может быть, вы обманули меня? И не вы ли виновник всех этих страшных жестокостей? Позовите сюда купца Курсома — он мой земляк и порядочный человек. Верните мне Дару, мою служанку, наперсницу, подругу, которую разлучили со мной. Уж не в тюрьме

¹ Я ее обращу (итал.).



«Царевна Вавилонская»



«Письма Амабеда»

ли и она за то, что купалась? Приведите ее, дайте мне увидеться с Амабедом, или я умру!

На мои прерываемые рыданиями слова он ответил уверениями в преданности и готовности служить мне, которые тронули меня. Он дал слово докопаться до причин этой ужасной истории, упросить, чтобы мне вернули мою бедную Дару, а затем и добиться освобождения моего мужа. Он явно жалел меня — я даже заметила, что глаза у него подернулись влагой. Наконец зазвонил колокол, и отец Фатутто вышел из комнаты, на прощание взяв мою руку и прижав ее к своему сердцу. Как тебе известно, этот жест — зримое выражение скрытого доброжелательства. Он не обманет меня: он прижал мою руку к своему сердцу! Да и зачем ему обманывать меня? За что преследовать? Мы с мужем были так предупредительны с ним в Бенаресе. Я сделала ему столько подарков за уроки итальянского языка. Он сочинил для меня итальянские стихи. Он не может меня ненавидеть. Я буду считать его своим благодетелем, если он вернет мне моего несчастного супруга и мы с Амабедом, покинув землю, захваченную и заселенную людоедами, сумеем добраться до Мадуры, пасть к твоим ногам и получить твое святое благословение.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО АДАТЕИ ШАСТРАДЖИТУ

Ты, без сомнения, согласишься мне, великодушный Шастраджит, посылать тебе дневник моих неслыханных несчастий: ты любишь Амабеда, тронут моими слезами, и тебе не безразлично, что творится в истерзанной горем душе, которая поверяет тебе свои муки.

Сегодня мы плачем уже вдвоем: мне вернули верную мою подругу Дару. Эти изверги бросили в яму и ее. От Амабеда ни слуху ни духу. Мы в одном здании с ним, но между нами неизмеримое расстояние, непреодолимая пропасть. Однако вот новость, которая приведет в трепет твою добродетель и надорвет твое праведное сердце.

От одного из двух стражников, неизменно шествующих перед пятью людоедами, моя бедная Дара узнала, что португальцев крестят, как и нас. Не знаю только, каким путем они переняли наши святые обряды. Чудо-

вища вообразили, будто мы крещены по обряду их секты: в безмерном своем невежестве они даже не подозревают, что заимствовали крещение у нас и притом всего несколько веков тому назад. Эти дикари решили, что мы принадлежим к их секте, а затем отпали от нее. Именно таково значение слова «apostata», которым они так свирепо оглушили меня. По их мнению, исповедовать не их веру, а другую — гнусное преступление, заслуживающее самой страшной казни. Словами «io la convertigo» — «я обращаю ее» отец Фатутто хотел сказать, что вернет меня к вере разбойников. Тут уж я ничего не понимаю, туман застит мне зрение и разум. Может быть, отчаяние лишает меня способности рассуждать, но я не могу взять в толк, как Фатутто, прекрасно знающий меня, решился заявить, что вернет меня к религии, о которой я даже не помышляла, — в наших краях о ней знают не больше, чем знали о португальцах до того, как они с оружием в руках вторглись к нам в погоне за перцем. Мы с моей доброй Дарой теряемся в догадках. Она подозревает, что отцом Фатутто руководит какой-то тайный умысел, но упаси меня Бирма от скороспелых заключений!

Я собиралась написать главному разбойнику Альбукерку — пусть он вступится и освободит моего мужа, но мне сказали, что он отбыл в Бомбей, который намерен захватить и разграбить. Как! Приплыть к нам из такой дали с единственной целью разорить наши жилища и перебить нас самих? А ведь эти чудовища тоже крещены! Говорят, однако, что за Альбукерком числится и несколько благородных поступков. Словом, отныне я уповаю лишь на верховное существо: оно карает преступников и защищает невинных. Однако сегодня утром я видела, как тигр сожрал двух ягнят, и трепещу при мысли, что верховное существо не настолько дорожит мной, чтобы приспеть мне на помощь.

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ ШАСТРАДЖИТУ

От меня только что ушел отец Фатутто. Какое свидание! Какая смесь коварства, похоти и низости! Неужели в человеческом сердце может таиться такая бездна жестокости! И каково мне писать об этом праведнику!

Он вошел ко мне в комнату, потупив глаза и дрожа всем телом. Я дрожала еще сильнее. Вскоре он овладел собой и начал:

— Я не уверен, что смогу спасти вашего мужа. Здешние судьи проявляют иногда снисходительность к молодым женщинам, но неумолимо строги к мужчинам.

— Что? Жизнь моего мужа в опасности?

Я потеряла сознание. Он заметался в поисках ароматической воды, дабы привести меня в чувство, но ничего не нашел. Тогда он послал за нею мою добрую Дару в лавку на другом конце улицы, а сам расшнуровал меня, чтобы мне было легче дышать. Придя в себя, я с изумлением ощутила на своей груди его руки, а на губах — его губы. Я отчаянно вскрикнула и с отвращением отшатнулась.

— Я лишь проявил заботу о вас, продиктованную милосердием: освободил вашу грудь и удостоверился, дышите ли вы, — сказал он.

— Ах, позаботьтесь лучше, чтобы легче дышалось моему мужу! Неужели он до сих пор в этой мерзкой яме?

— Нет, — ответил он. — Мне с большим трудом удалось добиться его перевода в более удобную темницу.

— Я снова спрашиваю вас: в чем наше с ним преступление? Чем объяснить такую неслыханную жестокость? Почему в отношении нас попораны все законы гостеприимства, общества, природы?

— Этих небольших строгостей требует от нас наша святая вера. Вы с мужем обвиняетесь в том, что отреклись от крещения.

— Что вы несете? — воскликнула я. — Нас никогда не крестили на ваш манер: мы крестились в Ганге во имя Браммы. Не вы ли гнусно оклеветали нас перед теми извергами, что допрашивали меня? Какую цель вы этим преследовали?

Он решительно отменил такое предположение, заговорил о добродетели, истине, милосердии и на минуту почти рассеял мои подозрения, уверив, что те, кого я назвала извергами, — порядочные люди, служители господа и духовные судьи, у которых повсюду, особенно при чужеземцах, наезжающих в Гоа, есть благоче-

тивные соглашения. Эти соглашения, добавил он, поклялись его собратьям, духовным судьям, перед изображением нагого человека, что мы с Амабедом были крещены на манер португальских разбойников и, следовательно, Амабед — *apostato*, а я — *apostata*.

О добродетельный Шастраджит, то, что мне придется здесь видеть и слышать, преисполняет меня ужасом от корней волос до ногтей на мизинцах ног!

— Как,—спросила я отца Фатутто,—вы один из этих пяти слугителей господина и духовных судей?

— Да, милая Адатея, да, Отрада Очей, я один из пяти доминиканцев, которых наместник бога на земле послал сюда и облек неограниченной властью над душами и телами.

— Что такое доминиканец? Что такое наместник бога?

— Доминиканец — это духовная особа, чадо святого Доминика, инквизитор по делам веры, а наместник бога — священнослужитель, избранный господом, чтобы представлять его в этом мире, получать десять миллионов рупий в год и рассылать во все концы света доминиканцев, наместников наместника божия.

Надеюсь, великий Шастраджит, ты растолкуешь мне эту адскую галиматью, эту невыносимую смесь нелепостей и мерзостей, лицемерия и варварства.

Фатутто говорил с сокрушением и задушевностью, которые в другое время непременно подействовали бы на мою простую невежественную душу. Глаза он то поднимал к небу, то устремлял на меня. В них читались возбуждение и умиленность, но такая, которая заставляла меня дрожать всем телом от ужаса и отвращения. И на языке, и на уме у меня был только Амабед. «Верните мне моего дорогого Амабеда!» — вот к чему сводились, чем начинались и кончались все мои речи.

Тут появилась моя добрая Дара — она принесла мне имбирной и коричной воды. Милое создание! Она ухитрилась передать купцу Курсому три предыдущие мои письма. Курсом уезжает сегодня в ночь и через несколько дней будет в Мадуре. Великий Шастраджит пожалеет меня, оплачет жребий моего мужа, не откажет мне в совете, и луч его мудрости озарит мрак моей гробницы.

ОТВЕТ ВЕРХОВНОГО БРАМИНА ШАСТРАДЖИТА НА ТРИ ПЕРВЫЕ ПИСЬМА АДАТЕИ

Добродетельная и злополучная Адатея, супруга моего любимого ученика Амабеда, знай, Отрада Очей, что глаза мои оросили потоками слез все три твои письма. Какой противоестественно злобный демон спустил на нас из глубины европейской ночи чудовища, добычей которых стала Индия? Ах, нежная супруга дорогого моего ученика, неужели ты не видишь, что отец Фатутто — злодей, заманивший тебя в ловушку? Как ты не понимаешь, что он-то и упрятал твоего мужа в яму, куда засадил и тебя, чтобы ты оказалась обязана ему своим спасением? Чего только он не потребует в знак признательности! Я содрогаюсь от ужаса вместе с тобой и немедля сообщу об этом поправии международного права всем верховным служителям Браммы, всем эмирам, раджам, набобам и самому великому императору Индии, блистательному Бабуру, двоюродному брату солнца и луны, царю царей, сыну Мирзы Мухаммеда сына Байсункора сына Абу Саида сына Миран-шаха сына Тимура, дабы они соединенными усилиями положили конец разбою грабителей-европейцев. Какая бездна злодейства! Никогда жрецы Тимура, Чингисхана, Александра, Огуз-хана, Сусакима и Вакха, поочередно приходившие покорять нашу священную и мирную землю, не позволяли себе такого лицемерия и таких мерзостей; напротив, Александр повсюду оставил вечные памятники своего великодушия. Вакх творил лишь добро: он был избранник неба. Ночью его войско вел огненный столп, превращавшийся днем в тучу¹. Он посуху

¹ Можно не сомневаться, что сказания о Вакхе имели широкое хождение в Аравии и Греции задолго до того, как цивилизованные народы задалась вопросом, была или нет у евреев своя история. Иосиф признается даже, что евреи прятали свои богослужебные книги от соседних племен. Вакха чтили в Египте, Аравии, Греции много раньше, чем в этих странах стало известно имя Моисея. В древних орфических стихах Вакх именуется Миса или Моса. Он восходил на гору Ниса, что точно соответствует Синаю; затем бежал к Красному морю, собрал там войско и перешел это море посуху. Он останавливал солнце и луну; во всех его походах ему сопутствовал верный пес, и Халев, имя одного из еврейских завоевателей, означает «собака».

Ученые много, хотя и безуспешно, спорили, кто кому предшествовал: Моисей Вакху или наоборот. Оба они великие люди, но

перешел Красное море; при нужде он приказывал солнцу и луне остановиться; от его чела исходили два снопа небесных лучей; рядом с ним всегда был ангел-истребитель, но он призывал на помощь лишь ангела-утешителя. Ваш же Альбукерк привез с собой только монахов, плутов-торговцев и убийц. Праведный Курсом подтвердил твой рассказ о вашей с Амабедом беде. Как я жажду спасти вас или отомстить за вас, прежде чем умру! Да вызволит вас вечный Бирма из рук монаха Фатутто! Сердце мое обливается кровью при мысли о ранах, нанесенных вашим сердцам.

Н. В. Отрада Очей получила это письмо лишь спустя долгое время после отъезда из города Гоа.

ПЯТОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ ВЕРХОВНОМУ БРАМИНУ ШАСТРАДЖИТУ

Какими словами решусь я описать тебе новое мое несчастье? В силах ли стыдливость поведать о позоре? Бирма видел злодейство, и он не пресек его! Что будет со мной? Яма, куда я была брошена, и та не столь ужасна, как нынешнее мое положение.

Сегодня утром отец Фатутто вошел ко мне в одном легком шелковом подряснике и весь благоухая. Я была еще в постели. «Победа!— объявил он.— Приказ об освобождении вашего мужа наконец подписан». При этих словах я воспламенилась восторгом и назвала Фатутто своим отцом, своим благодетелем. Он нагнулся и поцеловал меня. Я подумала было, что это просто невинная ласка, целомудренное свидетельство его доброты ко мне, но он тут же сорвал одеяло, сбросил с себя подрясник, накинулся на меня, как коршун на голубку, придавил меня всей своей тяжестью, мускулистыми руками намертво стиснул мои слабые руки и, заглушив поцелуями стенания, рвавшиеся с моих губ, распаленный, неукротимый, безжалостный... О, какая минута! Зачем я не умерла!

Дара, почти нагая, прибежала мне на помощь, но, увы, лишь тогда, когда спасти меня от позора мог раз Моисей, ударив жезлом по скале, извел лишь воду, тогда как Вакх, ударив по земле тирсом, извел из нее вино. Вот почему все застольные песни прославляют Вакха, а в честь Моисея не сложили даже одной-двух.

ве что удар грома. О провидение, о Бирма! Гром не грянул, и мерзкий Фатутто изверг в мое лоно жгучую росу своего злодеяния. Нет, даже десять рук божественной Дурги не обуздали бы неистовство этого Махисасуры¹.

Моя дорогая Дара изо всех сил оттаскивала его, но представь себе воробья, который теребит перья коршуна, насевшего на голубку,— и ты воочию увидишь отца Фатутто, Дару и несчастную Адагею.

Чтобы отомстить Даре за несвоевременное заступничество, он схватил ее самое одной рукой, повалил и, удерживая меня другою, обошелся с бедняжкой столь же немилосердно, как со мной, после чего с гордым видом хозяина, наказавшего двух рабынь, удалился, бросив на прощанье:

— Знайте, что такая же кара ждет вас обеих всякий раз, когда будете упрямиться.

Добрых четверть часа мы с Дарой не смели ни заговорить, ни посмотреть друг на друга. Наконец она вскричала:

— Ах, дорогая моя госпожа, что за ужасный человек! Неужели все его собратья столь же безжалостны?

Я думала лишь о своем злополучном Амабеде. Мне обещали его вернуть и не возвращают. Покончить с собой значит оставить его на произвол судьбы. И я не наложила на себя руки.

Целый день я питалась лишь своей скорбью. Еду в обычный час нам не принесли. Дара удивилась и начала сетовать; мне, напротив, казалось зазорным есть после того, что с нами случилось. Тем не менее у нас отчаянно разыгрался аппетит, но никто не шел, и мы были почти без памяти от голода, как раньше от горя.

Наконец, под вечер, нам дали пирог с голубятиной, пулярку, двух куропаток, маленький хлебец и, в довершение обид, бутылку вина без воды. Это самое оскорбительное издевательство, которому можно подвергнуть двух женщин, претерпевших столько, сколько мы, но что было делать? Я упала на колени. «О Бирма! О Вишну! О Брама! Вам ведомо: то, что входит в те-

¹ Махисасура — один из вождей мятежных небожителей в их борьбе против Предвечного, согласно Аватараशाстре, древнейшей книге браминов; к ней, вероятно, восходит сказание о войне богов с титанами, равно как и другие выдумки такого рода.

ло, не оскверняет душу. Вы сами наделили меня душой; простите же ей, если состояние моего тела с роковой неизбежностью мешает мне ограничиться одними овощами. Я знаю, есть цыпленка — страшный грех, но нас к нему принуждают. Пусть же все эти преступления падут на голову отца Фатутто! Да превратится он по смерти в несчастную молодую индианку, а я — в доминиканца и да отплачу я ему за все причиненное мне зло еще немилосердней, чем он поступил со мной!» Не возмущайся и прости нас, добродетельный Шастраджит: мы сели за стол. Как горестны радости, за которые потом себя коришь!

Р. S. Сразу же после ужина я принялась за письмо к правителю Гоа, именуемому коррежидором. Я прошу его освободить нас с Амабедом и заодно уведомляю о преступлениях отца Фатутто. Моя дорогая Дара заверяет, что переправит ему мое письмо через одного из стражников инквизиции, который иногда видится с ней у меня в передней и выказывает ей большое уважение. Посмотрим, что принесет нам этот рискованный шаг.

ШЕСТОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ

Поверишь ли, мудрый наставник человеков? Даже в Гоа есть справедливые люди, и коррежидор дон Жеронимо — один из них. Наше с Амабедом несчастье тронуло его, несправедливость возмутила, преступление разгневало. Он взял с собой судей и отправился в тюрьму, куда мы заключены. Как мне стало известно, этот вертеп именуется Дворцом святейшей инквизиции. Но вот что удивит тебя: коррежидора не впустили. Пять извергов встали на пороге со своими алебардщиками и ответили служителю правосудия:

— Именем господи, ты не войдешь!

— Именем короля, я войду, — ответил он. — Дело подсудно королю.

— Нет, богу, — возразили чудовища.

— Я обязан допросить Амабеда, Адатею, Дару и отца Фатутто, — настаивал справедливый дон Жеронимо.

— Допросить инквизитора? Доминиканца? — вспыхнул главарь извергов. — Это святотатство! *Scommunicao! Scommunicao!*¹.

¹ Анафема! Анафема! (буквально: отлучаю; *португ.*)

Я слышала, что это страшные слова: тот, к кому они обращены, обычно умирает до истечения трех суток.

Противники разгорячились, еще немного — и началась бы свалка, но в конце концов стороны обратились к гоанскому *bispo*¹. *Bispo* у этих варваров — примерно то же, что ты среди детей Брамь: духовный их правитель. Одевание у него фиолетовое, на руках он носит фиолетовые башмаки, по торжественным дням надевает шапку, похожую на сахарную голову с вырезом посредине. Этот человек нашел, что обе стороны равно не правы и что судить отца Фатутто полномочен лишь наместник бога. К его божественности и было решено отправить виновного вместе с Амабедом, мною и моей верной Дарой.

Я не знаю, где живет этот наместник — по соседству с великим ламой или в Персии, но что мне до того! Скоро я свижусь с Амабедом и последую за ним куда угодно — на край света, на небо, в ад. Стоит мне подумать о нем, как я забываю все — яму, тюрьму, надругательство Фатутто, его куропаток, которых имела низость съесть, его вино, которое имела низость выпить.

СЕДЬМОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ

Я свиделась с моим нежным супругом: нас вновь соединили, и я заключила его в объятия. Он стер пятно преступления, которым осквернил меня гнусный Фатутто; подобно священным водам Ганга, смывающим с души любую скверну, он дал мне новую жизнь. Обещанной остается одна лишь Дара, но твои молитвы и благословения вернут ей весь блеск былой чистоты.

Завтра нас отправят на корабле в Лиссабон, родину надменного Альбукерка. Там, без сомнения, и живет наместник бога, которому предстоит рассудить нас с Фатутто. Если он в самом деле наместник божий, как все здесь уверяют, Фатутто не может избежать кары. Утешение, конечно, невелико, но для меня важно не столько наказание отъявленного злодея, сколько счастье моего милого Амабеда.

Какой, однако, удел назначен слабым смертным, этим листьям, уносимым ветром! Мы с Амабедом роди-

¹ Епископ (португ.).

лись на берегах Ганга — нас увозят в Португалию; мы рождены свободными — нас будут судить в чужой стране. Вернемся ли мы на родину? Совершим ли задуманную нами поездку к твоей священной особе?

Но как нам с дорогой моей Дарой ехать на том же корабле, что повезет отца Фатутто? Мысль об этом приводит меня в содрогание. По счастью, со мной будет мой отважный муж: он защитит меня. А что станет с Дарой, у которой нет мужа? Словом, остается одно — уповать на провидение.

Впредь писать тебе будет мой милый Амабед. Он поведет дневник наших судеб и обрисует тебе новые земли и небеса, которые предстоит нам увидеть. Пусть Брама еще долго хранит твою бритую голову и разум, вложенный им в твой мозг!

ПЕРВОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Итак, я еще в числе живых! Я вновь пишу тебе, божественный Шастраджит! Я узнал все, и ты тоже все знаешь. Отрада Очей ни в чем не виновна, да и не могла быть виновна: вместилище добродетели — сердце, а не какое-нибудь иное место. Фатутто, этот носорог в лисьей шкуре, по-прежнему нагло заявляет, что крестил нас с Адатеей в Бенаресе на европейский манер и что я *apostato*, а Отрада Очей — *apostata*. Он клянется нагим человеком, изображенным здесь чуть ли не на каждой стене, что его облыжно обвинили в насилии над моей супругой и ее верной служанкой Дарой. Со своей стороны Отрада Очей и кроткая Дара клятвенно утверждают, что были поруганы. Ум европейцев бессилен проникнуть в эту бездну мрака; они твердят, что разобратся тут может лишь наместник божий, поскольку он непогрешим.

Завтра коррежидор дон Жеронимо отсылает всех нас морем к этому необыкновенному существу, которое никогда не ошибается. Верховный судья варваров, он живет отнюдь не в Лиссабоне, а гораздо дальше, в величественном городе, именуемом Рум. У нас в Индии слыхом о таком не слыхивали. Какое тягостное путешествие! Чего только не претерпевают дети Браммы в здешней краткой жизни!

Попутчиками нашими будут европейские купцы, певички, два пожилых офицера из войск португальского короля, накопившие в нашей стране много денег, жрецы наместника божия и несколько солдат.

Какое счастье, что мы выучились итальянскому, общедоступному языку всех этих людей. Португальского мы бы просто не поняли. Зато ужасно другое — плыть на одном судне с Фатутто. Сегодня нам уже велено ночевать на корабле: с восходом он выйдет в море. Мне с женой и Дарой отвели маленькую комнатку — шесть шагов в длину, четыре в ширину. Говорят, это большая привилегия. Нам пришлось запастись всякими мелочами на дорогу. Вокруг невообразимый шум и гам. Народ толпами сбегается поглазеть на нас. Отрада Очей плачет, Дара дрожит. Придется потерпеть! Прощай и вознеси за нас свои святые молитвы Предвечному, сотворившему несчастных смертных ровно 115 652 годичных оборота солнца вокруг земли (или земли вокруг солнца) тому назад.

ВТОРОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА С ДОРОГИ

На второй день плавания корабль подошел к Бомбею, захваченному человекоубийцей Альбукерком, которого именуют здесь Великим. Поднялся адский грохот: наше судно дало девять пушечных выстрелов, и таким же числом их ответили с городских укреплений. Отрада Очей и юная Дара уже решили, что пришел наш последний час. Нас окутал густой дым. Но поверишь ли, мудрый Шастраджит? Это была простая вежливость — так варвары приветствуют друг друга. Шлюпка привезла из города письма, отправляемые в Португалию, и мы вышли в открытое море, оставив справа устье великой реки Джамбудвины — варвары называют ее Индом.

Вокруг нас только простор, который именуется небом у этих разбойников, недостойных настоящего неба, да беспредельное море, которое они переплыли, подгоняемые алчностью и кровожадностью.

Капитан, однако, кажется мне человеком порядочным и разумным. Он не разрешает отцу Фатутто появляться на палубе, когда мы поднимаемся подышать воздухом, а когда он наверху, мы остаемся внизу. Он и

мы — словно день и ночь, никогда не возникающие на горизонте одновременно. Я непрестанно размышляю о том, как судьба играет злополучными смертными. Мы плывем по Индийскому морю с каким-то доминиканцем, чтобы судиться с ним в Руме за шесть тысяч миль от нашей родины.

На корабле есть важное духовное лицо, именуемое раздавателем милостыни, хотя оно вовсе ее не раздает. Напротив, это ему суют деньги за чтение молитв на языке, не похожем ни на итальянский, ни на португальский и не понятном никому из экипажа, включая, кажется, самого раздавателя: он постоянно спорит с отцом Фатутто о значении присносимых им слов. Капитан сказал мне, что раздаватель — францисканец, а Фатутто — доминиканец, и они по убеждению держатся противоположных взглядов на все. Их секты — заклятые враги, и, чтобы подчеркнуть различие во мнениях, они даже платье носят различное.

Францисканца зовут Фамольто. Он ссужает меня итальянскими книгами, трактующими о вере наместника божия, перед которым мы должны предстать. Мы с моей милой Адатеей читаем их, а Дара слушает. Сперва она отказывалась присутствовать при чтении, чтобы не прогневить Брамю; но чем больше мы читаем, тем больше укрепляемся в приверженности к святым догматам, которым ты учишь верующих.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО АМАБЕДА С ДОРОГИ

Раздаватель милостыни прочел с нами послания одного из главных святых итальянской и португальской церкви. Его звали Пюалем. Ты, знающий все, знаешь, без сомнения, и Пюалья. Это великий человек: некий голос сверг его с коня, а луч света ослепил; он, как и я, насиделся в темнице, что ставит себе в заслугу; он добавляет также, что пять раз получил по 39 ударов бичом, то есть, в сумме, 195 ударов по ягодицам; кроме того, его трижды били палкой, хотя число ударов не уточнено, и один раз забросали камнями, что уже чересчур — от такого не оправившись. Он утверждает, наконец, что провел сутки на дне морском. Мне очень его жаль, но за свои страдания он все-таки вознесен на

третье небо. Признаюсь, высокоученый Шастраджит, я не отказался бы от такой участи, даже если бы это обошлось мне в 195 хороших ударов розгой по заду.

Прекрасно смертному на небеса подняться,
Прекрасно и упасть оттоль, —

как выражается один из наших превосходных индийских поэтов, достигающий иногда подлинного величия.

Наконец я узнал, что Пюоля, как и меня, препроводили в Рум на суд. Выходит, дорогой Шастраджит, Рум во все времена был судьей для смертных? Этот город наверняка чем-то превосходит остальной мир: все, кто едет на нашем корабле, клянутся только Румом, да и в Гоа все вершилось именем Рума.

Скажу больше. Бог нашего судового священника Фамольто, а он у него тот же, что у Фатутто, родился и умер в стране, зависимой от Рума, и сам платил подать заморину, который правил тогда этим городом. Не находишь ли ты все это крайне странным? Мне, например, кажется, что я словно во сне, равно как и те, что окружают меня.

Фамольто прочитал нам о вещах еще более невероятных. То осел говорит по-человечески, то святой проводит трое суток во чреве китовом, после чего выходит оттуда в прескверном расположении духа. Некий проповедник улетает читать проповеди на небо в огненной колеснице, влекомой четверкой огненных коней. Некий ученый переходит море посуху в сопровождении трех миллионов человек, спасающихся вместе с ним бегством. Другой останавливает солнце и луну, хотя последнее меня не удивляет: ты поведал мне, что Вакх делал то же самое.

Больше же всего меня, человека, строго блюдущего чистоту и стыдливость, возмущает то, что бог этих людей повелел одному из своих проповедников печь хлеб на человеческом кале, а другому спать с продажной блудницей и иметь от нее детей.

Есть кое-что и похуже. Фамольто, ученый человек, остановил наше внимание на истории двух сестер — Оголы и Оголины. Ты, разумеется, знаешь — ты все читал. Это повествование так смутило мою жену, что у нее покраснели даже белки глаз; бедная Дара, выслушав этот отрывок, прямо-таки запылала от стыда. Фамольто, види-

мо, большой шутник. Тем не менее, заметив, насколько прочитанное покорило меня и Отраду Очей, он тут же захлопнул книгу и удалился, сказав, что должен обдумать текст.

Он оставил мне свою священную книгу, и я прочел наугад несколько страниц. О Брама, о правосудие небесное! Что за люди описаны в этом сочинении! Все они в старости спят со своими служанками. Один творит мерзость с женой отца, другой — с невесткой. Здесь целый город непременно хочет обойтись с неким бедным священником, как с красивой девушкой; там две знатные юницы спаивают родного отца, поочередно спят с ним и приживают от него детей.

Но окончательно повергла меня в ужас и омерзение повесть о том, как обитатели великолепного города, к которым бог послал двух небожителей, постоянно пребывающих у подножия его престола, двух чистых духов в ореоле божественного света... Перо мое содрогается, как и душа!.. Решусь ли договорить?.. Так вот, эти горожане изо всех сил пытались осквернить посланцев господних. Что гнуснее плотского греха мужчины с женщиной? А с небожителем? Мыслимо ли такое? Дорогой Шастраджит, благословим Бирму, Вишну и Брамму и возблагодарим их за то, что мы никогда не знали этого непостижимо гнусного порока. Говорят, завоеватель Александр пытался когда-то укоренить этот пагубный обычай в нашей стране и прилюдно блудил со своим любимцем Гестеионом. Небо покарало их: оба они погибли во цвете лет. Приветствую тебя, повелитель души моей, разум моего разума. Адатея, скорбная Адатея вверяет себя твоим молитвам.

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ

*Мыс, именуемый мысом Доброй Надежды,
15-го числа месяца носорога.*

Давно уж не расстилал я лист бумаги на доске и не обмакивал кисточку в раствор черного лака, чтобы дать тебе подробный отчет. Мы оставили далеко справа Бабель-Мандебский пролив, ворота в Красное море, воды которого некогда расступились, всхолмившись, как горы, и дали пройти Вакху с его войском. Я очень жалею, что мы

не бросили якорь у берегов счастливой Аравии, где Александр намеревался основать столицу своего царства и средоточие мировой торговли. Мне сильно хотелось взглянуть на Аден или Эдем, священные сады которого так славилась в древности; на Мокку, знаменитую своим кофе, которое поныне произрастает лишь в этих краях, и на Мекку, где великий пророк мусульман учредил столицу своего государства и куда ежегодно стекается столько народу из Азии, Африки и Европы, чтобы облобызать черную глыбу, упавшую с неба, которое не слишком часто посылает смертным такие камни. Но нам не позволили удовлетворить наше любопытство: мы почти безостановочно плывем в Лиссабон, а оттуда в Рум.

Мы уже пересекли равноденственную линию и посетили королевство Мелинду, где у португальцев есть крупный порт. Матросы погрузили на судно слоновую кость, серую амбру, медь, серебро и золото. Теперь мы достигли великого мыса в стране готтентотов. Племя их, по всей видимости, происходит не от детей Браммы. Природа наделила здесь женщин передником из собственной кожи, прикрывающим их сокровище, которое готтентоты боготворят, слагая в честь него мадригалы и песни. Люди эти ходят совершенно голыми. Такая мода вполне естественна, но, на мой взгляд, неприлична и неразумна. Готтентот — несчастное создание: он постоянно видит свою готтентотку и спереди, и сзади, а значит, желать ему больше нечего. Для него не существует очарования преграды, и ничто не возбуждает его любопытства. Платье наших индианок, придуманное для того, чтобы его задирать, — свидетельство более высокого развития. Я убежден, что женские наряды изобрел на радость нам тот же мудрый индеец, которому мы обязаны шахматами и триктраком.

У этого мыса, представляющего собой границу мира и, вероятно, межевой столб между Востоком и Западом, мы простояли два дня. Чем дольше я размышляю о цвете кожи здешних туземцев, о квохтании, заменяющем им членораздельную речь, об их внешности и о переднике местных женщин, тем больше убеждаюсь, что это племя иного происхождения, нежели мы.

Наш францисканец утверждает, что готтентоты, негры и португальцы восходят к одному и тому же пред-

ку. Это столь же нелепо, как если бы меня стали уверять, будто куры, деревья и травы в этой стране произошли от кур, деревьев и трав Бенареса или Пекина.

ПЯТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

*16-го числа, вечером, на мысе,
именуемом мысом Доброй Надежды.*

Вот новое происшествие. Капитан отправился со мной и Отрадой Очей прогуляться по обширному плоскогорью, о подножие которого разбиваются волны Южного моря, а тем временем священник Фамольто тайком увлек нашу юную Дару в небольшое, недавно построенное заведение, называемое здесь кабаком. Бедная девушка в простоте своей решила, что раз Фамольто не доминиканец, ей нечего бояться. Вскоре мы услышали крики. Представь себе, это свидание пробудило ревность Фатутто! Он неистово ворвался в кабак, где оказались и два матроса, также воспылавшие ревностью. Какая, однако, ужасная страсть! Оба матроса и оба священника изрядно угостились напитком, который, по их словам, изобретен Ноем, а по нашему мнению — Вакхом. Пагубный дар, он мог бы приносить пользу, если б им нельзя было так легко злоупотреблять! Европейцы утверждают, что он воодушевляет их, но может ли так быть, коль скоро он лишает их рассудка?

Моряки и европейские бонзы сцепились в клубок. Один матрос наел на Фатутто, тот на Фамольто, а францисканец на второго матроса, возвращавшего ему то, что получал сам; все четверо, непрерывно меняя противников, дрались то двое на двое, то трое на одного, то все против всех; каждый тянул к себе нашу злополучную служанку, испускавшую жалобные вопли. Подоспевший на шум капитан отлупил без разбора всех драчунов и ради безопасности Дары увел ее к себе в помещение, где заперся с нею часа на два. Офицеры и пассажиры, люди как на подбор весьма учтивые, столпились вокруг нас, уверяя, что монахи (так они называли священников) будут строго наказаны заместником божьим сразу же по прибытии в Рум.

Через два часа капитан вышел и вернул нам Дару с любезностями и комплиментами, которыми моя жена

осталась вполне довольна. О Брама, какие странные вещи случаются во время путешествия и насколько благо-разумней оставаться дома!

ШЕСТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА С ДОРОГИ

Я не писал тебе со дня происшествия с нашей маленькой Дарой. Во время плавания капитан неизменно выказывал ей особенное расположение. Я побаивался, как бы он не стал столь же любезен с моей женой, но она прикинулась, будто тяжела по четвертому месяцу. Португальцы смотрят на беременных, как на святыню, и считают, что их нельзя расстраивать. Этот по меньшей мере похвальный обычай избавляет Адатею от покушений на ее честь, которой я так дорожу. Доминиканцу запрещено даже приближаться к нам, и он подчинился.

Через несколько дней после сцены в кабаке францисканец пришел к нам просить прощения. Я отвел его в сторону и спросил, как он, принесший обет целомудрия, мог позволить себе подобные вольности. Он ответил:

— Да, я действительно принес такой обет, но, помилуйте, можно ли клятвенно обещать, что кровь перестанет течь у меня по жилам, а ногти и волосы — расти? Так все равно не будет. Надо не требовать от нас обета целомудрия, а заставить нас быть целомудренными, оскотив всех монахов поголовно. Птица летает, пока у нее целы крылья. Отрубить оленю ноги — вот единственный способ воспретить ему бегать. Не сомневайтесь: любой священник, если он такой же крепкий мужчина, как я, и лишен женщины, поневоле будет делать вещи, от которых краснеет сама природа, и все-таки приступить потом к святым таинствам.

Я многое узнал из беседы с этим человеком. Он посвятил меня во все тайны своей веры, повергшие меня в изумление.

— Преподобный отец Фатутто, — сказал он, — плут, не верящий ни в одно слово своих поучений; что до меня, то я испытываю серьезные сомнения, но отгоняю их и закрываю на все глаза — словом, подавляю собственную мысль и наудачу бреду по избранной мною стезе. Перед каждым священником тот же выбор: либо неве-

рие и отвращение к своему ремеслу, либо безмыслие, делающее это ремесло мало-мальски сносным.

Поверишь ли? После этих признаний он предложил мне стать христианином! Я ответил:

— Как вы можете убеждать меня принять веру, в которой сами нетверды, меня, рожденного в лоне древнейшей религии в мире, меня, исповедующего учение, которому, самое малое, было уже сто пятнадцать тысяч триста лет, когда, по вашим собственным словам, на земле еще не появились францисканцы?

— Ах, дорогой мой индеец,— возразил он,— сумей я обратиться в христианство вас и прекрасную Адатею, этот плут доминиканец, не верящий в непорочное зачатие Девы, лопнул бы от зависти. Вы обеспечили бы мою карьеру, помогли бы мне стать *bispo*¹, а это доброе дело, и господь вознаградил бы вас.

Как видишь, божественный Шастраджит, среди европейских варваров попадаются разные люди: одни — смесь заблуждений, слабости, алчности и глупости; другие — отъявленные и закоснелые мошенники. Я передал наш разговор Отраде Очей, и она лишь сострадательно улыбнулась. Кто бы предположил, что именно на корабле, плывущем вдоль берегов Африки, мы научимся понимать людей!

СЕДЬМОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Как хороши берега Южного моря, и как мерзостны его обитатели! Это просто звери. Чем больше природа делает для нас, тем меньше мы делаем для нее. Здешние племена ничего не умеют. Когда глядишь на них, так и напрашивается вопрос — кто от кого произошел: они от обезьяны или обезьяны от них? Наши мудрецы учат, что человек — подобие божие! Хорошенькое, однако, подобие Предвечного: нос приплюснут, ума вовсе или почти никакого! Конечно, наступит пора, когда эти животные научатся возделывать землю, украсят ее зданиями и садами, постигнут движения светил, но на это нужно время. Мы, индийцы, полагаем, что нашей философии

¹ *Bispo* — португальское слово, означающее *episcopus*, то есть на галльском наречии «епископ». Оно не встречается ни в одном из четырех евангелий.

115 652 года, но, при всем почтении к тебе, я считаю это ошибкой: на мой взгляд, чтобы достигнуть тех высот, на которые мы поднялись, нужен гораздо больший срок. Положим по меньшей мере 20 000 лет на создание приемлемого языка, еще по столько же на изобретение азбучного письма, обработки металлов, плуга и ткацкого стана, мореплавания. А сколько еще столетий уйдет на другие искусства! Халдеи насчитывают 400 000 лет, но даже этого недостаточно.

На побережье, именуемом Анголой, капитан купил полдюжины негров по обычной тут цене — за шесть быков. Вероятно, страна эта населена более густо, чем наша, иначе людей не продавали бы так дешево. Но как возможна такая плотность населения при таком невежестве?

Капитан везет с собой нескольких музыкантов; он приказал им заиграть на своих инструментах, и бедняги негры тут же начали танцевать, причем не хуже, чем наши слоны. Мыслимо ли так любить музыку и не изобрести ни скрипки, ни хотя бы волынки? Ты ответишь, великий Шастраджит, что этого не сумели даже сообразительные слоны и что надо ждать. Не могу ничего возразить.

ВОСЬМОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Не минуло и года, а мы уже в виду Лиссабона, стоящего на реке Тахо, которая издавна знаменита тем, что волны ее якобы несут с собой золотой песок. Если это правда, зачем португальцы отправляются за ним в такую даль? Любой европеец ответит, что лишнее золото никому не мешает. Лиссабон, как ты мне и рассказывал, — столица небольшого королевства. Он родина того самого Альбукерка, который причинил нам столько зла. Должен признаться, в португальцах, завоевавших часть нашей прекрасной страны, есть нечто великое. Видимо, жадность до перца пробуждает в них предприимчивость и отвагу.

Мы с Отрадой Очей пытались побывать в городе, но нам не разрешили сойти на берег: мы пленники наместника божия, и судить нас — меня, Адатею, Дару, францисканца Фамольто и доминиканца Фатутто — можно лишь в Руме.

Нас перевезли на другой корабль, отплывающий в город наместника божия.

Капитан его, пожилой испанец, разительно отличается от португальца, который был с нами так предупредителен. Он изъясняется односложными словами, да и то редко; за поясом у него торчат канизанные на нитку зерна, и он постоянно их перебирает: говорят, это признак добродетели.

Дара весьма сожалеет о прежнем капитане: она находит, что тот был гораздо учтивее. Испанцу передали связку бумаг — документы для разбирательства нашего дела в румском суде. Корабельный писец прочел их вслух. Он считает, что Фатутто приговорят быть гребцом на одной из галер наместника божия, а священника Фамольто выпорют. Весь экипаж согласился с ним, а капитан, не сказав ни слова, спрятал бумаги. Мы подняли якорь. Да сжалится над нами Брама, и да взыщет он тебя своими милостями! Брама справедлив, но все-таки странно: я родился на берегах Ганга, а судить меня должны в Руме. Уверяют, однако, что такое случилось и с другими иноземцами.

ДЕВЯТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Ничего нового. И капитан, и команда одинаково мрачны и неразговорчивы. Ты же знаешь индийскую пословицу: «По хозяину и слуга». Мы переплыли море, которое в одном месте, между двумя горами, сужается до девяти тысяч шагов, и вошли в другое, усеянное островами. Один из них весьма примечателен: им управляют христианские монахи, носящие короткое платье и шляпу и дающие обет убивать всех, кто носит длинное платье и головную повязку; они должны также отправлять богослужение. Мы встали на якорь около более крупного и очень красивого острова, называемого Сицилией. Когда-то он был еще прекрасней: по рассказам, там высились великолепные города, от которых остались теперь лишь руины. На острове жили боги, богини, великаны, герои, на нем ковали молнии. Богиня по имени Церера покрывала его тучными нивами. Наместник божий все изменил: сейчас там везде одни процессии да грабежи.

ДЕСЯТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Вот мы и на священной земле наместника божия. В книге Фамольто я читал, что это страна золота и лазури, что стены там из смарагдов и рубинов, в ручьях течет масло, ключи бьют молоком, а поля сплошь покрыты лозами, каждая из коих дает сто тысяч бочек вина¹. Возможно, мы увидим все это, когда подьем к Руму.

Наш корабль с большим трудом пристал к берегу в маленьком и весьма неудобном порту, именуемом Старым городом. Это точное название: здесь всюду заупустение и развалины.

Дальше мы поехали в тележках, запряженных волами. Последних, вероятно, пригнали издалека, потому что земля по обеим сторонам дороги совершенно не возделана: везде гнилые болота да бесплодные вересковые пустоши. По пути нам попадались исключительно люди без рубашек, прикрывавшиеся лишь полой плаща и с гордым видом просившие у нас подаяния. Как нам рассказали, вся их пища — плоские маленькие хлебцы, которые бесплатно раздаются им по утрам; жажду они утоляют одною только святой водою.

Без этой толпы нищих, готовых протащиться пять-шесть тысяч шагов, лишь бы жалобными криками выклянчить себе одну тридцатую рупии, местность была бы просто безлюдной пустыней. Нас даже предупредили, что ездить здесь по ночам смертельно опасно. Видимо, бог разгневался на своего наместника, коль скоро даровал ему не страну, а сточную канаву природы. Я узнал также, что край этот был некогда весьма красив и плодороден, а таким жалким стал лишь после того, как им завладели наместники божии.

Пишу, мудрый Шастраджит, прямо в повозке — надо же чем-нибудь заняться от скуки. Адатея изумлена увиденным. Напишу тебе снова сразу по прибытии в Рум.

¹ Амабед явно говорит о святом Иерусалиме, с такой точностью описанном в Апокалипсисе, у Юстина, Тертуллиана, Иринея и других великих мужей; но, как видит читатель, бедный брамин имел самое смутное представление о предмете.

ОДИННАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Наконец-то мы добрались до Рума. Мы прибыли в город вчера, сразу после полудня, 3-го числа месяца овцы или, по здешнему счету, 15 марта 1513 года. Первые впечатления наши оказались прямо противоположны тому, чего мы ожидали.

Едва мы подъехали к воротам, носящим имя святого Панкратия¹, как увидели две толпы монахов: одни были одеты, как наш судовой священник; другие — как отец Фатутто. Впереди каждой несли знамя и стол с резным изображением нагого человека, в той же позе, что в Гоа. Участники обеих процессий шли попарно, распевая песню, способную вызвать зевоту у целой провинции. Когда они поравнялись с нашими тележками, одни закричали: «Вот святой Фатутто!»; другие: «Вот святой Фамольто!» Нашим монахам стали целовать одежду, народ пал на колени.

— Сколько индийцев вы обратили, преподобный отец?

— Пятнадцать тысяч семьсот,— ответил один.

— Одиннадцать тысяч девятьсот,— отозвался другой.

— Благословенна дева Мария!

Все взоры устремились к нам, толпа обстала нас кольцом.

— Это ваши новообращенные, преподобный отец?

— Да, мы их крестили.

— До чего же они у вас милые! Слава в вышних богу!

Отцов Фатутто и Фамольто их собратья увели в какое-то роскошное здание, а мы отправились на постоянный двор. Народ повалил за нами, крича: «Cazzo², cazzo!» — благословляя нас, целуя нам руки и на тысячу ладов расхваливая мою дорогую Адатею, Дару и меня самого. Мы не могли прийти в себя от изумления.

Не успели мы устроиться на постоялом дворе, как явился человек в фиолетовом одеянии, сопровождаемый двумя другими в черных рясах, поздравил нас с прибы-

¹ Прежде они назывались Яникульскими, из чего явствует, насколько новый Рим возобладали над старым.

² Непристойное итальянское слово, означающее приблизительно «дурак, недотепа».

тием и первым делом предложил нам от имени Пропанганды деньги, если мы в них нуждаемся. Кто такая Пропанганда — я не знаю. Я ответил, что деньги у нас еще есть, да и бриллиантов довольно (я проявил предусмотрительность и держал как кошелек, так и коробочку с камнями в кармане исподних штанов). Человек тут же склонился передо мной чуть ли не до земли и начал величать меня превосходительством.

— Не слишком ли утомилась в дороге ее превосходительство синьора Ададея? Не угодно ли ей отдохнуть? Не смею навязываться, но я всегда к ее услугам. Синьор Амабед может располагать мною: я пришлю ему чичероне¹, который неотлучно будет при нем; если что понадобится, синьору стоит лишь приказать. Не окажут ли, отдохнув, их превосходительства мне честь подкрепиться у меня? Почту за честь прислать за ними карету.

Надо признаться, божественный Шастраджит, этот западный народ не уступит в вежливости даже китайцам. Затем человек в фиолетовом удалился. Мы с прекрасной Ададеей проспали часов шесть. Когда стемнело, за нами приехала карета, и мы отправились к этому предупредительному синьору. Дом его был ярко освещен и украшен куда более приятными картинами, чем изображение нагого человека, виденное нами в Гоа. Собравшееся там многолюдное общество осыпало нас любезностями, восхищаясь тем, что мы индийцы, поздравляя нас с крещением и предлагая нам свои услуги на все время, какое нам заблагорассудится провести в Руме.

Мы хотели было заговорить о суде над отцом Фатутто, но нам не дали даже рта раскрыть. В конце концов нас, смущенных таким приемом, растерянных и ничего не понимающих, отправили домой.

ДВЕНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Сегодня нам нанесли бесчисленное множество визитов, а княгиня Пьомбино прислала двух конюших просить нас к ней на обед. Мы отправились туда в великолепном экипаже. У нее оказался и человек в фиолетовом.

¹ Как известно, сисеропи называют людей, чье занятие — показывать древности иностранцам.

Я узнал, что это один из сановников, то есть слуг наместника божия, которых именуют *prelati*, «предпочтенные». Княгиня Пьомбино — женщина на редкость радушная и открытая. За столом она усадила меня рядом с собой. Ее страшно удивило наше отвращение к румским голубям и куропаткам. Предпочтенный сказал, что, раз мы христиане, нам следует есть дичину и пить монтепульчанское вино, как делают все наместники божии: это важная примета истинного христианина.

Прекрасная Адатея со своим обычным простодушием возразила, что она не христианка, — ее крестили в Ганге.

— Боже мой, сударыня! — ответил предпочтенный. — В Ганге, в Тибре, в купели — какая разница? Все равно вы из наших. Отец Фатутто обратил вас, и это для нас честь, которой мы не хотим лишаться. Да вы и сами видите, насколько наша вера превосходит вашу.

С этими словами он наложил нам в тарелки крылышки рябчиков. Княгиня выпила за наше здоровье и душевное спасение. Тут все принялись нас уговаривать, да так любезно, остроумно, учтиво, весело и вкрадчиво, что в конце концов мы с Адатеей (да простит нас Брами!) поддались соблазну и как нельзя лучше поели, твердо решив по приезде домой окунуться в Ганг по самые уши и смыть с себя грех. Теперь никто уж не сомневался, что мы христиане.

— Этот отец Фатутто, без сомнения, великий миссионер, — сказала княгиня. — Я хочу взять его в духовники.

Мы с моей бедной женой покраснели и потупились. Время от времени синьора Адатея пыталась дать понять, что мы прибыли на суд к наместнику божью и ей не терпится увидеть последнего.

— А его сейчас не существует, — пояснила княгиня. — Он умер, и в эти дни как раз выбирают нового. Как только тот будет избран, вас немедленно представят его святейшеству. Вы окажетесь очевидцами и лучшим украшением самого священного торжества, какое только может узреть человек.

Адатея сказала в ответ что-то остроумное, и княгиня прониклась к ней большим расположением.

В конце обеда нас уладили музыкой, которая, осмелюсь утверждать, гораздо лучше той, что мы слышали в Бенаресе и Мадуре.

После обеда княгиня велела заложить четыре раззолоченные колесницы и посадила нас в свою. Она показала нам прекрасные здания, статуи, картины. Вечером были танцы. Я втайне сопоставлял этот очаровательный прием с подземной темницей, куда нас бросили в Гоа, и не понимал, как одно и то же правительство, одна и та же вера могут быть такими снисходительными и благожелательными в Руме и поощрять такие ужасы вдали от него.

ТРИНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

По случаю выборов наместника божия Рум раскололся на мелкие партии, движимые взаимной ненавистью, но относящиеся друг к другу с учтивостью, почти равной дружбе; народ взирает на отцов Фатутто и Фамольто как на избранников божества и с почтительным любопытством толпится вокруг нас; а я, дорогой Шастраджит, предаюсь глубоким раздумьям насчет образа правления в этом городе.

Я сравнил бы его с обедом, данным нам княгиней Пьомбино. Зал был чист, удобен, наряден, поставцы сверкали золотом и серебром, гости блистали весельем, остроумием, изяществом; кухню же заливали кровь и жир, повсюду возбуждая тошноту и распространяя зловоние, валялись шкуры четвероногих, перья и потроха птиц.

Таков, на мой взгляд, и румский двор: учтивость и терпимость дома, вздорный деспотизм за рубежом. Когда мы заявляем, что ищем управы на Фатутто, в ответ нам только улыбаются и втолковывают, что мы должны быть выше таких пустяков: правительство чрезвычайно ценит нас и не допускает мысли, что мы еще помним о какой-то глупой шутке,— ведь Фатутто и Фамольто всего лишь нечто вроде обезьян, которых старательно обучают разным штукам на потребу черни. Подобные разговоры неизменно заканчиваются одним и тем же — уверениями в уважении и дружеских чувствах к нам. Как мы должны вести себя, великий Шаст-

раджит? Мне кажется, самое разумное — смеяться вместе с другими и не отставать от них в учтивости. Я намерен изучить Рум — это стоит труда.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

От последнего моего письма до этого прошло уже немало времени. Я читал, присматривался, беседовал, думал. Клянусь тебе, на свете не было еще более зияющего противоречия, чем между румскими правителями и румской верой. Вчера я говорил об этом с одним из теологов наместника божия. Теолог при здешнем дворе — то же, что последний слуга в доме: он делает черную работу; убирает сор, а заметив в нем какую-нибудь тряпку, на всякий случай припрятывает ее.

— Ваш бог,— сказал я ему,— родился в яслях, между волом и ослом; возрос, жил и умер в бедности; строго наказал ученикам своим блюсти нищету; предупреждал их, что не будет меж ними ни первого, ни последнего, а кто захочет повелевать другими, пусть сам служит им. У вас же, как я вижу, все идет наперекор тому, что заповедал вам бог. Ваша вера отнюдь не похожа на его веру. Вы принуждаете людей верить в то, о чем у него ни слова не сказано.

— Верно,— согласился мой собеседник.— Бог нигде прямо не велит нашим правителям обогащаться за счет народов, но это вытекает из его учения. Он родился между волом и ослом, но в хлев явились три царя и поклонились ему. Волы и ослы — это народы, которые мы наставляем; три царя — это монархи, простертые у наших ног. Его ученики жили в скудости — значит, наши правители должны утопать в роскоши: если первым наместникам Божиим хватало одного эю, то нынешним позарез нужно десять миллионов. Быть бедным — значит нуждаться в самом необходимом; следовательно, наши правители, которым тоже, по их мнению, недостает самого необходимого, поневоле блюдут обет бедности. Что же касается догматов, то бог не написал сам ни слова, а мы умеем писать; стало быть, писать догматы — тоже нам. Вот время от времени, когда в том возникает необходимость, мы и сочиняем догматы. Например, мы объявили брак зримым выражением незри-

мых чувств; благодаря этому бракоразводные дела всей Европы поступают в наш румский суд, потому что только мы властны видеть незримое. А такой приток дел — обильный источник богатств, стекающихся в наше святейшее казначейство, дабы мы могли утолить свою жажду бедности.

Я осведомился, не располагает ли святейшее казначейство другими источниками дохода.

— Располагает, и даже многими, — ответил он. — Нам приносят его живые и мертвые. Стоит, например, кому-нибудь преставиться, мы отправляем душу его во врачебницу, прописываем ей лекарства, и вы не представляете себе, какие деньги нам это дает.

— Как так, монсиньор? Мне всегда казалось, что с покойника много не возьмешь.

— Верно, синьор, но у него есть родственники, которые в состоянии извлечь его из врачебницы и поместить в более приятное место. Исцеляться целую вечность — печальный удел для души. Тут мы вступаем в сделку с живыми, они покупают умершему душевное здоровье — одни дороже, другие дешевле, смотря по средствам, и мы вручаем им записку во врачебницу. Уверяю вас, это одна из самых крупных статей нашего дохода.

— Но как же ваши записки попадают к душам умерших?

— Это уж забота родственников, — рассмеялся он и добавил: — Кроме того, повторяю: нам дана неограниченная власть над тем, что незримо.

Мне сдается, этот монсиньор — отъявленный плут, но я многому научился из бесед с ним и чувствую, что решительно изменился.

ПЯТНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Тебе следует знать, дорогой Шастраджит, что рекомендованный мне монсиньором чичероне, о котором я бегло упомянул в одном из предыдущих писем, — весьма смысленный человек, показывающий чужеземцам достопримечательности древнего и нового Рума. Как видишь, Рум всегда повелевал миром — и в старину, и сейчас, но бывшие его обитатели стяжали эту власть мечом, тогда как нынешние — пером. Военная дисциплина создала

могущество кесарей, историю которых ты знаешь; монашеская дисциплина — могущество (хотя оно другого рода) наместников божиих, называемых папами. На том же месте, где встарь происходили триумфы, ныне шествуют процессии. Чичероне объясняют все это иноземцам, снабжают их книгами и девицами. При всей своей молодости я не склонен изменять прекрасной Адатее и ограничиваюсь книгами, изучая, главным образом, здешнюю религию, — она меня очень забавляет.

Мы с моим чичероне прочли жизнеописание бога этой страны. Преудивительная история! Это был человек, одним своим словом иссушавший смоковницы, превращавший воду в вино и топивший свиней. У него была куча врагов. Родился он, как тебе известно, в городишке, подвластном румскому императору. Когда враги его, люди весьма лукавые, спросили, следует ли платить подать императору, он ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, а божие богу». Я нахожу такой ответ чрезвычайно разумным. Мы с чичероне как раз рассуждали об этом, когда явился монсиньор. Я наговорил ему много хорошего об их боге и попросил объяснить, каким образом их казначейство ухитряется следовать вышеприведенному завету, коль скоро оно забирает себе все, ничего не оставляя императору. Тебе следует знать, что, помимо наместника божия, у жителей Рума есть еще император, которого они именуют также королем румским. Вот что ответил мне этот многоопытный человек:

— Да, у нас действительно есть император, но он изгнан из Рума, где у него нет даже дома; мы дозволяем ему жить на одной большой реке, четыре месяца в году окованной льдом и пересекающей страну, язык которой раздирает наш слух. Подлинный император — папа: ему принадлежит столица империи. Следовательно, «отдавайте кесарево кесарю» значит «отдавайте папе», а «божие богу» опять-таки значит «папе» — он ведь на самом деле наместник божий, единственный властелин сердец и кошельков. Если император, живущий на большой реке, осмелится сказать ему хоть слово поперек, мы взбунтуем население ее берегов, состоящее в большинстве своем из здоровенных безмозглых мужланов, и натравим на императора других государей, которые охотно поделят с нами его наследство.

Теперь, божественный Шастраджит, ты представляешь себе, какой дух царит в Руме. Папа — это все равно что далай-лама, только в увеличенном масштабе; правда, он не бессмертен, как тот, зато всемогущ при жизни, что гораздо приятней. Иногда ему противятся, дают пощечины, низлагают, а то и убивают его в объятиях любовницы¹, но эти неприятности никак не умаляют его божественности. Вы можете дать ему сто ударов плетью, но обязаны верить всему, что он ни скажет. Папа смертен, папство бессмертно. Случалось, что папский престол оспаривало несколько наместников божиих сразу. Тогда божественность делилась между ними: каждый получал свою долю и оставался непогрешим в пределах ее.

Я спросил монсиньора, какое искусство помогло его двору поставить себя выше остальных.

— Разве умным людям нужно особое искусство, чтобы управлять дураками? — ответил он.

Я полюбопытствовал, не восставал ли кто-нибудь против велений наместника божия. Монсиньор признал, что встречались безумцы, дерзавшие открыть глаза на вещи, но этих негодяев быстро ослепляли или уничтожали, а все их бунты служили до сих пор лишь к вящему утверждению непогрешимости на троне истины.

Новый наместник божий наконец избран. Звонят колокола, бьют барабаны, трубят трубы, стреляют пушки, и этому гулу вторит полтораستا тысяч голосов. Я сообщу тебе обо всем, что увижу.

ШЕСТНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

23-го числа месяца крокодила — или, по-здешнему, 13-го числа месяца планеты Марс — на людей в красном низошло озарение, и они избрали непогрешимого,

¹ Иоанн VIII убит ревнивым мужем с помощью молота; Исанн X, любовник Теодоры, задушен в собственной постели; Стефан VIII заключен в замок, именуемый ныне Замок святого ангела; Стефан IX получил от римлян несколько ударов мечом по лицу; Иоанн XII низложен императором Оттоном I и убит в доме одной из своих любовниц; Бенедикт V изгнан императором Оттоном I; Бенедикт VIII задушен незаконным отпрыском Иоанна X; Бенедикт IX купил себе треть понтификата и перепродал ее, и т. д. и т. п. Все они были непогрешимы.

которому предстоит судить меня и Отраду Очей за вероотступничество.

Зовут этого земного бога Львом, по счету десятым. Он весьма приятный и красивый мужчина лет тридцати четырех — тридцати пяти; женщины без ума от него. Он подхватил дурную болезнь, известную лишь в Европе, хотя португальцы уже начали разносить ее по Индостану. Все думали, что он умрет, почему его и выбрали папой — в этом случае святейший престол опять стал бы вакантным; однако больной выздоровел и потешается теперь над выборщиками.

Трудно себе представить коронацию великолепней! Новый папа истратил пять миллионов рупий на нужды своего бога, который был столь беден. Я не мог писать тебе из-за шумных празднеств: они следовали друг за другом с такой быстротой, мне приходилось участвовать в стольких развлечениях, что у меня не оставалось ни одной свободной минуты.

Наместник божий Лев устроил увеселения, о которых ты даже понятия не имеешь. Одно из них, называемое комедией, понравилось мне больше всех остальных, вместе взятых. Это изображение человеческой жизни, живая картина, где говорят, действуют, защищают свои интересы, предаются страстям и волнуют всем этим зрителя.

Комедия, виденная мною третьего дня у папы, называется «Мандрагора». Герой пьесы — ловкий молодой человек, возмечтавший соблазнить жену соседа. Он подкупает монаха вроде Фатутто или Фамольто, чтобы тот улестил его возлюбленную и помог ему одурачить мужа. Представление — сплошная насмешка над религией, которую исповедует вся Европа и средоточие которой Рум, а вершина — папский престол. Допускаю, что подобные забавы покажутся тебе непристойными, дорогой и благочестивый Шастраджит. Отрада Очей тоже была возмущена, и все-таки комедия так забавна, что удовольствие от нее заглушило возмущение.

Празднества, балы, пышные богослужения, плясуны-канатоходцы не успевают сменять друг друга. Особенно примечательны балы. Каждый приглашенный надевает чужое платье и картонную личину поверх собственного лица. Под этим прикрытием ведутся разговоры, от которых можно лопнуть со смеху. За едой неизменно

звучит приятнейшая музыка; словом, очарование да и только!

Мне рассказали, что один из предшественников Льва, наместник божий Александр VI по случаю свадьбы какой-то из незаконных своих дочерей дал еще более необычное празднество: на нем плясало пятьдесят совершенно обнаженных девушек. Брамины никогда не устраивают подобных танцев. Как видишь, в каждой стране свои порядки. Почтительно обнимаю тебя и заканчиваю письмо — иду танцевать со своей прекрасной Адатеей. Да взыщет Бирма тебя своими милостями!

СЕМНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Поверь, верховный брамин, отнюдь не все наместники божии были столь же приятны в обхождении, как нынешний. Жить под его властью — одно удовольствие. А вот покойный предшественник его, по имени Юлий II, был совсем иного нрава: старый неугомонный солдат, он до безумия любил войну; вечно в седле, вечно в шлеме, раздавая благословения вперемежку с сабельными ударами, он нападал на соседей, осуждал на гибель их души, сокрушал, по возможности, тела и умер в припадке гнева. Этот наместник божий был сущим дьяволом. Поверишь ли? Он вбил себе в голову, что может с помощью простой бумажки отнимать у королей их владения. Он задумал низложить таким манером короля довольно красивой страны по имени Франция. Король этот был очень добрый человек. Здесь, правда, его считают дураком, но лишь потому, что ему не везло. Этот злополучный государь был однажды вынужден собрать ученейших людей своего королевства и спросить их, вправе ли он защищаться от наместника божия, который уже низложил его на бумаге¹. Надо

¹ В 1510 г. папа Юлий II отлучил от церкви короля французского Людовика XII, а на Францию наложил интердикт и обещал отдать ее первому, кто пожелает сесть там на трон. В 1512 г. интердикт и отлучение были повторены. Сегодня нам трудно понять, как можно дойти до такой смешной наглости. Тем не менее со времен Григория VII не было почти ни одного римского епископа, который не пытался бы назначать и свергать госу-

быть слишком добрым, чтобы задавать подобный вопрос! Я выразил свое удивление фиолетовому монсиньору, который подружился со мной.

— Неужели европейцы настолько глупы? — спросил я.

— Боюсь, — ответил он, — что наместники божии чересчур злоупотребляют долготерпением людей — те в конце концов могут и поумнеть.

Вероятно, в европейской религии неизбежен решительный переворот. Ты удивишься, ученый и пронизательный Шастраджит, почему он не произошел еще при наместнике божием Александре, предшественнике Юлия. Этот папа безнаказанно убивал, вешал, топил и отравлял своих владетельных соседей. Исполнителем этих бесчисленных преступлений был один из пяти его незаконных сыновей. И как только народы сумели сохранить приверженность к вере, исповедуемой таким чудовищем? Он тот самый папа, у которого девушки плясали без каких бы то ни было излишних украшений. Его непотребства должны были бы вызвать всеобщее презрение, его зверства — наострить против него тысячи кинжалов, а он преспокойно жил среди своего двора и даже пользовался уважением. На мой взгляд, причина здесь в том, что от злодейств Александра священники только выигрывали, народ же ничего не терял. Но стоит раздражить его сверх меры, как он порвет свои цепи. Колосс не шелохнулся от ста ударов тарана, но рухнет от одного меткого камня — вот что говорят в Руме те, кто наиболее дальновиден.

Празднества наконец закончились, да столько их и не нужно: ничто так не утомляет, как необычное, когда оно становится обычным. Удовлетворение постоянно возрождающихся потребностей — вот единственный неиссякаемый источник наслаждения. Вверяю себя твоим святым молитвам.

дарей по своему произволу. Правда, монархи вполне заслужили такое возмутительное обращение: они оказались настолько глупы, что сами привили своим подданным веру в непогрешимость папы и его верховенство над всеми церквями. Они сами ввергли себя в оковы, которые трудно разорвать. Суеверие привело к полному хаосу в делах правления. Свет разума засиял западным народам лишь очень поздно; он залечил часть ран, нанесенных людскому роду его врагом суеверием, но шрамы от них остались и поныне.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Непогрешимый пожелал дать нам с Отрадой Очей частную аудиенцию. Наш монсиньор провел нас в папский дворец и велел нам трижды преклонить колени. Наместник божий, покатываясь со смеху, протянул нам правую ногу, чтобы мы облобызали ее. Он спросил, крестил ли нас отец Фатутто и вправду ли мы христиане. Жена моя ответила, что отец Фатутто — наглец. Папа, расхохотавшись еще громче, дважды расцеловал ее и один раз меня.

Затем он усадил нас сбоку от скамеечки, на которую становятся, целуя ему ногу, и стал расспрашивать, как занимаются любовью в Бенаресе, в каком возрасте выдают там девушек замуж и есть ли сераль у великого Браммы. Жена моя зарделась, я же ответил, с почтительной скромностью. Потом он посоветовал нам принять христианство, обнял нас, потрепал в знак благоволения по заду и отпустил. Выходя, мы столкнулись с отцами Фатутто и Фамольто, облобызавшими подол наших одежд. В первую минуту, впечатления которой всегда столь властны над человеком, мы с отвращением отшатнулись, но фиолетовый монсиньор сказал:

— Вы еще не совсем у нас освоились. Непременно и всячески обласкайте этих добрых отцов: целовать заклятого врага — первейшая обязанность жителя нашей страны. Можете отравить их при первом удобном случае, но до тех пор не уставайте выказывать им приязнь.

Короче, я расцеловал монахов, но Отрада Очей ограничилась лишь сухим приседанием, а Фатутто, склонясь перед ней до земли, успел-таки обшарить ее глазами. Очаровательно, не правда ли? Мы по целым дням не приходим в себя от изумления. Право, я начинаю сомневаться, что жить в Мадуре приятней, чем в Руме.

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Управы на Фатутто не будет. Вчера утром юная Дара заглянула из любопытства в один небольшой храм. Народ стоял на коленях, а задом к нему над столом склонился здешний брамин в роскошном облаче-

нии. Даре сказали, что он изготавливает бога. Завершив свой труд, он повернулся лицом к верующим, и Дара невольно вскрикнула.

— Вот негодяй, обесчестивший меня! — возопила она.

К счастью, растерявшись от горя и удивления, Дара произнесла эти слова по-индийски: меня уверяют, что, если бы чернь поняла их, девушку растерзали бы как ведьму. Фатутто ответил по-итальянски:

— Дочь моя, да смилуется над вами дева Мария! Говорите тише.

Дара вне себя помчалась домой и рассказала нам о случившемся. Наши друзья посоветовали ни в коем случае не подавать жалоб. Фатутто — святой, сказали они, а о святых не говорят дурно. Пожалуй, это правильно: сделанного не воротишь. Мы терпеливо вкушаем все радости, какими нас здесь потчуют. Каждый день мы узнаем что-нибудь такое, о чем даже не подозревали. Как много дают человеку путешествия!

Ко двору Льва прибыл великий поэт, некий мессер Ариосто. Он терпеть не может монахов и вот как отзывается о них:

Non sa quel che sia amor, non sa che vaglia
La caritate; e quindi avvien che i frati
Sono sì ingorda e sì crudel camaglia ¹,

что значит по-индийски:

Modernen sebar eso
La te ben sofa meso.

Ты чувствуешь, насколько наш древний язык был и будет выше всех новых европейских наречий? Мы в двух-трех словах выражаем то, на что им едва хватает десятка. Я понимаю, что Ариосто вправе считать монахов сволочью, но почему он утверждает, что им чужда любовь? Увы, мы-то знаем, что это не так. Впрочем, он, наверно, хотел сказать, что они ищут не любви, а наслаждения.

ДВАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Я не писал тебе уже несколько дней, дорогой мой верховный брамин, и виной тому внимание, коим нас

¹ Любовь и состраданье чужды братье.
Вот почему монахов и могу
Жестокосердой сволочью назвать я (итал.).

окружают. Наш монсиньор дал нам великолепный обед, на котором присутствовало двое молодых людей, с ног до головы в красном. Они оба имеют сан кардинала, что можно перевести как «первая спица в колеснице». Одного зовут Сакрипанте, другого — Факинетти. Они в самом деле первые на земле после папы, отчего их и величают наместниками наместника божия. Им дано право — тоже, несомненно, от бога — быть равным государям, стоять выше принцев и, главное, обладать несметными богатствами. Они вполне этого заслуживают — от них ведь столько пользы человечеству.

За обедом два эти вельможи пригласили нас провести несколько дней в их загородных домах: мы теперь нарасхват. После презабавных споров о первенстве моя прекрасная Ададея досталась Факинетти, а мною завладел Сакрипанте с условием, что послезавтра они обменяются гостями, после чего мы снова соберемся все вчетвером. Мы взяли с собой и Дару. Не знаю даже, как поведать тебе о том, что с нами произошло, но все-таки попробую...

Здесь письма Амабеда обрываются. Недостающая часть манускрипта разыскивалась во всех книгохранилищах Мадуры и Бенареса, но тщетно. Можно смело считать ее утраченной.

Следовательно, в случае, если какой-нибудь бесчестный фальсификатор обнародует дальнейшие приключения двух молодых индийцев — «Новые письма Амабеда», «Новые письма Отрады Очей» или «Ответы верховного брамина Шастраджита», читатель может быть уверен, что его дурачат и что ему будет скучно, как уже неоднократно бывало в сходных обстоятельствах.



БЕЛЫЙ БЫК

Глава первая

КАК ПРИНЦЕССА АМАЗИДА ПОВСТРЕЧАЛА БЫКА

Юная принцесса Амазида, дочь царя Амазиса, правившего Танисом египетским, прогуливалась по дороге на Пелузу в окружении своих придворных дам. Глубокая печаль томила Амазиду; из прекрасных ее очей струились слезы. Все знали, отчего она тоскует и как боится прогневить своей печалью отца. При ней находился старик Мамбрес, когда-то бывший чародеем и евнухом фараонов, а теперь почти не разлучавшийся с Амазидой. Он был ее восприемником и воспитателем, от него научилась она всему, что позволительно прекрасной принцессе знать из мудрости египетской. Ум Амазиды был равен ее красоте, и была она столь же нежна и чувствительна, сколь прелестна; из-за этой чувствительности ей и приходилось проливать столько слез.

Принцессе было двадцать четыре года, чародею Мамбресу — около тринадцати столетий. Именно он, как известно, участвовал некогда вместе с великим Моисеем в знаменитом диспуте, исход коего долго оставался неясным для обших глубокомысленных философов. И если Мамбрес потерпел поражение, то случилось это лишь благодаря явному вмешательству небесных сил, взявших под свое покровительство его противника; только боги смогли осилить чародея.

Амазис назначил его обер-гофмейстером в доме своей дочери, и Мамбрес исполнял эту должность со свойственной ему премудростью: стенания прекрасной Амазиды не могли оставить его безучастным.

— О возлюбленный мой! — то и дело восклицала

принцесса.— О мой юный и нежный друг! О величайший из воителей, совершеннейший и прекраснейший из людей! Увы, почти семь лет минуло с той поры, как ты оставил землю! Какой бог отнял тебя у твоей нежной Амазиды? Мудрые прорицатели египетские единодушно сходятся в том, что ты не умер, но для меня ты мертв, я одинока на земле, она стала мне пустыней. Какие небывалые чары заставили тебя покинуть престол и возлюбленную? Твой престол — это пустяк, хоть он и был выше всех других на свете, но я... Как ты мог забыть ту, что так тебя обожает, о любезный мой На...!

Принцесса не успела договорить.

— Бойтесь произносить это роковое имя,— прервал ее мудрый Мамбрес, евнух и чародей фараонов.— Может статься, что вас подслушает какая-нибудь из придворных дам. Все они вам преданны, и любая из них, без сомненья, считает за честь, что служит благородным страстям столь прекрасной принцессы, но и среди них может затесаться болтуня, а то и доносчица. Вы знаете, что отец, при всей любви к вам, поклялся вас казнить, если вы произнесете это ужасное имя, вечно готовое сорваться с ваших уст. Плачьте, но помалкивайте. Этот запрет суров, но вам ли, впитавшей всю мудрость египетскую, не найти управы на собственный язык? Вспомните, что Гарпократ, один из величайших наших богов, всегда держит палец на устах.

Прекрасная Амазида зарыдала, но не промолвила более ни слова.

Молча приближаясь к берегам Нила, заметила она вдалеке, под кущей дерев, омываемых рекой, старуху в серых лохмотьях, сидевшую на пригорке. Рядом с ней расположились пес, козел и ослица. Поодаль свернулся не совсем обычный змей: у него был мягкий и одухотворенный взгляд, благородное располагающее обличье, а чешуя на нем так и переливалась яркими и нежными красками. Не менее удивительной особой была огромная рыба, высунувшая голову из воды. А на одной из веток примостились ворон и голубь. Видно было, что эти создания вели между собой оживленную беседу.

— Увы,— прошептала принцесса,— эта компания судачит, наверное, о своих любовных похождениях, а мне запрещено даже произносить имя того, кого я люблю!

Старушка держала стальную цепочку длиной в сто саженей, к которой был привязан бык, шипавший траву на лугу; белый, точеный, грузный и в то же время проворный, что не часто встретишь. Рога у него были из слоновой кости. Словом, это был всем быкам бык. Ни тот из его сородичей, в которого влюбилась Пасифая, ни тот, чье обличье принял Зевс, чтобы похитить Европу, не шли ни в какое сравнение с этим великолепным животным. Даже очаровательная телка, в которую обратилась Изида,— и та бряд ли оказалась бы ему под стать.

Едва увидев принцессу, он устремился к ней с резвостью молодого арабского жеребца, спешащего через широкие долины и потоки древней Саны навстречу пылкой кобылице, которая правит его сердцем и заставляет наострять уши. Старушка силилась его удержать; змей старался испугать своим шипением; пес гнался за ним, норовя укусить за неподобные ляжки; ослица стала посреди дороги и лягалась, пытаясь повернуть его вспять. Огромная рыба, чуть не целиком высунувшись из воды, грозила его проглотить, ворон кружил над головой быка, силясь выклевать ему глаза, а козел словно врос в землю, объятый страхом. Один только голубь с любопытством порхал вокруг быка и ободрял его тихим воркованием.

Столь необычное зрелище заставило Мамбреса глубоко задуматься. Тем временем белый бык, таща за собой цепочку и старуху, уже подбежал к охваченной удивлением и боязнию принцессе. Он бросился к ее ногам, покрыл их поцелуями и оросил слезами; он не отрывал от нее взгляда, полного несказанной муки и радости. Он не осмеливался мычать, боясь испугать прекрасную Амазиду, а говорить не мог. Ему было отказано даже в том жалком подобии человеческой речи, которое небеса даруют иным животным, зато все его движения были на редкость красноречивы. Он очень понравился принцессе. Ей показалось, что эта неожиданная забава может хоть на время рассеять ее безысходную тоску.

— Что за милое животное,— промолвила она,— я хотела бы заполучить его на свой скотный двор.

При этих словах бык преклонил колени и поцеловал перед ней землю.

— Он разумеет меня,— воскликнула принцесса,— он дает понять, что хочет принадлежать мне. Ах, дивный чародей, божественный евнух, не откажите мне в удовольствии, купите этого прелестного херувима¹; поторгуйтесь со старушкой, которой он, без сомнения, принадлежит. Я хочу, чтобы этот бык был моим, не лишайте же меня этой невинной забавы.

Придворные дамы присоединились к просьбам принцессы. Мамбрес расчувствовался и пошел переговорить со старушкой.

Глава вторая

КАК МУДРЫЙ МАМБРЕС, БЫВШИЙ ЧАРОДЕЙ ФАРАОНА, УЗНАЛ СТАРУШКУ И САМ БЫЛ УЗНАН ЕЮ

— Сударыня,— обратился он к ней,— вы знаете, что все девицы, а особливо принцессы нуждаются в развлечениях. Царская дочь без ума от вашего быка; уступите же его ей; вам будет уплачено наличными.

— Господин,— ответила ему старушка,— не я владелица этого драгоценного животного. Мне и всем зверям, которых вы видели, поручено беречь его как зеницу ока, примечать все его выходки и докладывать о них куда следует. Боже меня упаси даже подумать о продаже этой бесценной скотины!

Ее речи навеяли на Мамбреса какие-то смутные воспоминания, но он никак не мог разобраться в них. Потом, взглянув повнимательней на старушку в полинявшем плаще, сказал:

— Почтеннейшая сударыня, мне кажется, что когда-то я уже видел вас.

— Мы и в самом деле уже виделись с вами, господин,— отвечала старушка.— Это было лет семьсот назад, во время моего путешествия из Сирии в Египет, через несколько месяцев после падения Трои. Помнится, в Тире тогда царил Хирам, а в Египте — Нефель Керес.

— Ах, сударыня! — воскликнул старец.— Да вы не иначе, как божественная волшебница Аэндорская!

— А вы, сударь,— отозвалась старушка, обнимая его,— не кто иной, как великий Мамбрес Египетский!

¹ Х е р у б — по-халдейски и по-сирийски значит бык.

— О неожиданная встреча! О достопамятный день! О предвечные начертания судьбы! — изумлялся Мамбрес. — Нет сомнения в том, что само провидение свело нас на этом лугу близ Нила, у стен славного города Таниса! Ах, сударыня, неужели это вы, столь знаменитая у себя, на берегах мелководного Иордана, и первая на весь мир мастерица по части вызывания теней!

— Ах, господин, неужели это вы, прославленный на весь мир мастер по части обращения жезлов в змей, света в тьму и речной воды в кровь!

— Все это так, сударыня, однако преклонный возраст изрядно притупил мою пронизательность, и подточил мои силы. Оттого мне и невдомек, откуда у вас этот белый бык и что это за звери, которые стерегут его вместе с вами.

Старушка собралась с духом, возвела глаза к небу, а потом ответила ему так:

— Дорогой мой Мамбрес, хоть мы с вами и собратья по ремеслу, однако мне строго-настрого запрещено объяснять вам, что это за бык. Что же касается остальных животных, тут я могу удовлетворить ваше любопытство. Их легко узнать по приметам, им свойственным. Змей — это тот самый змей, что уговорил Еву съесть яблоко и угостить им своего мужа. Ослица — та самая, что однажды на узкой дороге заговорила человеческим голосом с Валаамом, вашим сверстником. Рыба, что плавает, высунув голову из воды, — та самая, что не так давно проглотила Иону. Пес — тот самый, что увязался за архангелом Гавриилом и юным Тсвией, когда они отправились в Раги Мидийские, а было это во время великого Салманасара. Козел — тот самый, что искупает грехи целого народа, а ворон и голубь — те самые, что были в Ноевом ковчеге, когда произошел всемирный потоп — величайшее событие, о котором почти никто на свете до сих пор не имеет понятия. Ну вот, я и посвятила вас в суть дела. Но о быке я не скажу вам ни слова.

Мамбрес выслушал ее с величайшим почтением, а потом сказал:

— Всевышний открывает, что хочет и кому хочет, о славнейшая волшебница! Все эти животные, призванные вместе с вами стеречь белого быка, известны только вашему щедрому и обходительному народу, который

сам по себе неизвестен почти никому на свете. Чудеса, которые мы с вами совершали, станут когда-нибудь поводом для насмешек у лжемудрецов будущего, но, к счастью, не вызовут ни малейшего сомнения у подлинных мудрецов, которые под властью пророков будут населять некую незначительную часть света, а этого вполне достаточно.

Едва успел он договорить, как принцесса потянула его за рукав и спросила:

— Мамбрес, неужели вы так и не купите мне быка?

Чародей, погруженный в глубочайшие размышления, ничего не ответил, и Амазида залилась слезами.

Наплакавшись, она обратилась к старушке:

— Милая моя, заклинаю вас всем, что вам дорого на свете, вашим отцом, вашей матерью, вашей кормилицей, которые, без сомнения, еще живы и здравствуют, продать мне не только вашего быка, но в придачу к нему и голубя, который, как мне кажется, жить без него не может. Других ваших животных мне не надо, но я исчахну от тоски, если не сторгую у вас этого прелестного белого быка, который станет отрадой моей жизни.

Старушка почтительно приложилась к оборкам ее кисейного платья и ответила:

— Дорогая моя принцесса, мой бык не продается, я уже растолковала это вашему знаменитому чародею. Я могу услужить вашей милости лишь тем, что стану приводить его каждый день пастись под окнами вашего дворца, а вы будете его ласкать, угощать пирожными и делать с ним все, что вам заблагорассудится. Но при этом необходимо, чтобы он всегда оставался под надзором зверей, которые меня сопровождают и которым поручена его охрана. Если он не станет бунтовать, они не сделают ему ничего дурного, но вздумай он еще раз сбежать от меня, как это случилось, когда он увидел вас, — ему несдобровать. Тогда я не отвечаю за его жизнь! Его непременно проглотит громадная рыба, которую вы видели, и ему придется провести не менее трех суток у нее в брюхе, или тот самый змей, который, надо полагать, показался вам таким смирным и ласковым, ужалит его, — и он умрет.

Белый бык, прекрасно понимавший все, что говорила старушка, но лишенный дара речи, выслушал все ее объяснения с покорным видом. Он лежал у ее ног, ти-

хонько мычал и глядел на Амазиду с такой нежностью, словно хотел сказать: «Приходите хоть иногда поиграть со мной на лугу».

В беседу вмешался змей:

— Я советую вам, принцесса, безропотно подчиниться всему, что вы только что услышали от этой барышни из Аэндоры.

Затем выступила ослица, сказав, что она полностью разделяет мнение змея.

Амазида была огорчена тем, что этот змей и какая-то ослица так бойко говорят, а прекрасному быку, полному столь нежных и благородных чувств, не дано их выразить.

— Увы,— молвила она вполголоса,— как все это похоже на придворное общество, где, что ни день, встречаешь молчаливых и застенчивых красавцев и уродливых болванов, болтающих без умолку.

— Вы ошибаетесь,— вставил Мамбрес,— этот змей вовсе не болван, а, если разобраться, весьма и весьма важная особа.

Между тем день склонился к вечеру, и принцессе пришлось вернуться во дворец, пообещав старушке прийти на лужайку завтра в то же время. Придворные дамы были всем изумлены и ничего не поняли из того, что увидели и услышали. Мамбрес погрузился в обычные свои размышления. Принцесса, задумавшись над тем, отчего это давеча змей назвал старушку барышней, заключила, что та засиделась в девицах, и почувствовала легкую досаду оттого, что и сама еще сохранила невинность; вполне извинительную причину этой досады она скрывала ото всех столь же тщательно, как и имя своего возлюбленного.

Глава третья

КАК ПРЕКРАСНАЯ АМАЗИДА ТАЙКОМ БЕСЕДОВАЛА СО ЗМЕЕМ

Принцесса попросила своих дам сохранить в тайне все, что они видели. Те единогласно обещали ей это и хранили тайну целый день. Стоит ли говорить о том, что Амазида почти не сомкнула глаз этой ночью? Мысль о прекрасном быке преследовала ее как необъ-

яснимое наваждение. Поутру, едва ей удалось остаться наедине с Мамбресом, она обратилась к нему:

— О мудрец! Этот бык вскружил мне голову!

— У меня он тоже нейдет из головы,— отвечал мудрец.— Теперь мне ясно, что этот херувим не так-то прост. Здесь кроется великая тайна, и я боюсь, как бы не приключилось какого-нибудь несчастья. Ваш отец, царь Амазис, гневлив и подозрителен; обстоятельства требуют, чтобы вы вели себя как можно осмотрительней.

— Ах,— воскликнула принцесса,— какая уж тут осмотрительность при моем любопытстве! Ведь любопытство — единственная страсть, которой осталось место в моем сердце, истерзанном тоской по утраченному возлюбленному. Неужели мне так и не удастся узнать, что это за белый бык, вызвавший во мне столь неслыханное смятение?

— Госпожа,— ответил Мамбрес,— я уже признавался вам, что моя прозорливость слабеет по мере того, как я старею; но вряд ли я ошибусь, если скажу, что змею известно все, о чем вы так хотите узнать. Он весьма умен; ему не откажешь в красноречии; он издавна привык иметь дело с дамами.

— Ах,— воскликнула Амазида,— неужели это тот самый египетский змей, что, кусая собственный хвост, является символом вечности? Тот самый, что озаряет весь мир, открывая глаза, и повергает его во тьму, когда их закрывает?

— Нет, госпожа.

— Стало быть, это змей Эскулапа?

— Вовсе нет.

— Уж не Юпитер ли это, принявший обличье змея?

— Да что вы!

— Ах, наконец-то я догадалась; это жезл, который вы некогда обратили в змея!

— Да нет же, говорю вам, госпожа! Хотя, если разобратся, все эти змеи состоят с ним в родстве. А он очень известен у себя на родине, где слывет самым изворотливым из всех, каких только видели. Поговорите же с ним. Только предупреждаю, что это весьма рискованная затея. Будь я на вашем месте, я оставил бы в покое этого быка, а с ним заодно — ослицу, змея, рыбу, пса, козла, ворона и голубя. Но вам не совладать с любопытством, а я могу только жалеть вас и трепетать за вашу судьбу.

Принцесса упросила его устроить ей встречу со змеем.

Мамбрес, по доброте своей, согласился. Поразмыслив как следует, он отправился к волшебнице и изложил ей прихоть принцессы с такой вкрадчивостью, что та согласилась помочь.

Старуха сказала, что поскольку Амазида влюблена, а змей прекрасно разбирается во всех жизненных тонкостях, весьма обходителен с дамами и всегда готов им услужить, то он непременно явится на это свидание.

С этим приятным известием чародей и воротился к принцессе; но по-прежнему, опасаясь какого-нибудь несчастья, он не мог не поделиться с нею своими размышлениями.

— Вам хотелось переговорить со змеем, госпожа; что же, ваше желание исполнится, когда вашему высочеству будет угодно. Однако не забывайте, что ему нужно как можно больше льстить, ибо всякая тварь исполнена самолюбия, а он в особенности. Поговаривают даже, что в свое время он лишился некоего теплого местечка именно из-за избытка гордыни.

— Я ничего не слыхала об этом,— вставила принцесса.

— А я в этом не сомневаюсь,— уверил ее старец и пересказал ей все слухи, которые ходили об этом пресловутом змее.— Но, госпожа,— продолжал он,— что бы там с ним ни приключилось, помните, что вам удастся выведать его тайну только посредством хитрости и лести. В одной из соседних с нами стран рассказывают, что некогда он любил разыгрывать с женщинами гнусные шутки; справедливость восторжествует, если теперь его самого одурачит женщина.

— Уж я постараюсь,— сказала принцесса.

И она отправилась на свидание, прихватив с собою придворных дам и доброго чародея. Старушка отогнала белого быка подальше. Мамбрес завязал с нею разговоры, предоставив принцессе свободу действий. Старшая фрейлина принялась болтать с ослицей, другие забавлялись с козлом, псом, вороном и голубем. Что же касается огромной рыбы, которой все боялись, то по приказу старухи она погрузилась в волны Нила.

Змей тотчас явился в рошу, где сидела прекрасная Амазида, и вот какая беседа у них состоялась:

З м е й. Не смею выразить, сударыня, как я польщен честью, которую оказало мне ваше величество.

П р и н ц е с с а. Милостивый государь, ваша громкая слава, изящество вашего обличья и блеск ваших глаз — все это склонило меня к тому, чтобы искать свидания с вами. Молва (если только ей можно верить) утверждает, что некогда вы были знатной оссбой в Эмпирее.

З м е й. Да, это так, сударыня: я занимал там довольно значительный гост. Утверждают, что теперь я стал всего-навсего опальным фаворитом; именно такой слух распустили обо мне индийские брахманы, впервые сложившие длинную историю моих психождений¹. Я не сомневаюсь, что в свсе время какой-нибудь поэт Севера сделает их сюжетом нелепейшей эпической поэмы, ибо, по правде говоря, ни на что больше они не годятся. Однако не так-то уж низко я пал, чтобы у меня не осталось весьма обширных владений на земном шаре. Осмелюсь даже утверждать, что он целиком находится у меня в подчинении.

П р и н ц е с с а. Охотно верю вам, сударь; говорят, что вы способны убедить кого угодно в чем угодно; а убедить — значит подчинить.

З м е й. Видя и слыша вас, сударыня, я чувствую, что вы обретаєте надо мной ту власть, которой я будто бы обладаю над многими другими.

П р и н ц е с с а. Вы, как я слышала, большой сердцеед. Утверждают, что перед вами не устояло немало дам, начиная с общей нашей прародительницы, чье имя выскочило у меня из головы.

З м е й. Меня оклеветали: она почтила меня своим доверием, и я подал ей превосходный совет. Я утверждал, что ей вместе с мужем следует до отвала наесться плодов с древа познания. Тем самым я хотел угодить владыке всего сущего. Мне казалось, что столь необходимое роду человеческому дерево не должно расти понапрасну. Неужели владыка хотел, чтобы ему служили одни дураки и невежды? Разве разум создан не для того, чтобы просвещаться и совершенствоваться? Разве

¹ Брахманы и в самом деле были первыми, чье воображение породило мятёж в небесах; эта выдумка долго служила потом основой сказаний о битвах богов и гигантов, а также некоторых других историй.

не нужно знать, где добро, а где зло, чтобы творить одно и избегать другого? Право, меня следовало бы за это поблагодарить.

Принцесса. А между тем говорят, что как раз из-за этого с вами приключилась беда. Видно, с того самого времени и повелось мудрых советников наказывать за разумные советы, а подлинных ученых и великих гениев — преследовать за то, что они проповедают на благо человечества.

Змей. Уверяю вас, сударыня, что все это — не что иное, как рассказы моих недругов. Они трубят на всех перекрестках, будто я впал в немилость при дворе. Но вот вам доказательство того, что я пользуюсь там величайшим доверием: разве не вынуждены они сами признать, что я входил в состав того совета, который постановил испытать беднягу Иова? Разве не был я снова призван туда, когда понадобилось обмануть некоего царька по имени Ахав? ¹ Разве не мне поручили заняться этим?

Принцесса. Ах, сударь, мне как-то не верится, чтобы вы были созданы для обмана. Да, кстати: поскольку вы, оказывается, все еще состоите на службе, не могу ли я попросить вас об одном одолжении? Надеюсь, что при вашей любезности вы не откажете мне.

Змей. Сударыня, ваша просьба для меня закон. Что изволите?

Принцесса. Умоляю вас открыть мне, кто этот прекрасный белый бык, вызывающий у меня неизъяснимое чувство восторга и ужаса? Меня уверили, что вы сообразовали мне об этом рассказать.

Змей. Сударыня, любопытство — врожденное свойство человеческой природы, а особенно — вашего прекрасного пола; без него люди погрязли бы в позорнейшем невежестве. Я всегда по мере сил старался утолить женское любопытство. Меня обвиняют в том, что снисходительность моя вызвана не чем иным, как желанием досадить владыке всего сущего. Клянусь, что единственной моей целью будет угодить вам; но не преду-

¹ Третья Книга Царств, гл. XXII, ст. 21 и 22. «Господь сказал, что он склонит Ахава, царя Израильского, чтобы тот пошел в Рамоф Галаадский и пал там. И некий дух выступил и стал перед Господом и сказал ему: «Я склоню его». И Господь сказал ему: «Чем? Да, ты склонишь его и исполнишь это. Иди и сделай так».

преждала ли вас старуха, что раскрытие этой тайны может навлечь на вас беду?

Принцесса. Ах, это лишь подогревает мое любопытство!

Змей. Вы рассуждаете точь-в-точь как все особы прекрасного пола, с которыми мне довелось иметь дело.

Принцесса. Если правда то, что все на свете должны помогать друг другу, если вы способны к состраданию, если в вас есть хоть капля жалости к несчастной женщине, вы не откажете мне.

Змей. Вы разрываете мне сердце; я постараюсь вам помочь, только не перебивайте меня.

Принцесса. Ни в коем случае.

Змей. Жил-был однажды молодой царь, красавец писаный, влюбленный, любимый...

Принцесса. Молодой царь, писаный красавец, влюбленный, любимый! А кем любимый? И кто был этот царь? Сколько ему было лет? Что с ним теперь? Где он? Что случилось с его царством? Как его звали?

Змей. Ну вот, не успел я начать, а вы уже меня перебили. Смотрите, если у вас не хватит выдержки, вам несдобровать.

Принцесса. Ах, простите, сударь, такого со мной больше не случится; продолжайте, умоляю вас!

Змей. Этот великий царь, любезнейший человек и храбрейший всин, увенчанный победами повсюду, куда ни обращал оружие, часто видел сны, а если забывал их поутру, то требовал от своих чародеев, чтобы они припомнили и растолковали, что же ему снилось, а когда им это не удавалось, приказывал их повесить, ибо что может быть справедливее такого приказа? И вот однажды, без малого семь лет назад, ему приснился восхитительный сон, который он забыл, едва успев пробудиться; и когда один молодой, но весьма опытный еврей растолковал ему смысл этого сновидения, наш милейший царь внезапно превратился в тельца¹, ибо...

Принцесса. Ах, это был мой дорогой Наву...

Она не договорила и упала без чувств. Мамбрес, издалека следивший за разговором, увидел это и решил, что она умерла.

¹ В старину слова «телец» и «бык» употреблялись как синонимы.

КАК СОБИРАЛИСЬ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ БЕЛОГО БЫКА И ИЗГНАТЬ ЗЛОГО ДУХА ИЗ ПРИНЦЕССЫ

Мамбрес подбегает к ней, заливаясь слезами. Змей разделяет его скорбь, но плакать он не умсет, ему остается только зловеще шипеть и восклицать:

— Она мертва!

Ослица твердит вслед за змеем:

— Она мертва!

Ворон повторяет их слова, огорченны и остальные животные, кроме рыбы, проглотившей Иону, которая никогда не отличалась сострадаaniem. Подбежавшая главная фрейлина и придворные дамы рвут на себе волосы. Белый бык, пасшийся вдалеке, слышит их вопли и мчитя к роще, волоча за собой старушку и оглашая округу мычанием, которому вторит эхо. Тщетно кропили придворные дамы бездыханную Амазиду розовой водой, духами из гвоздики, мирта, ладана, мекканского бальзама, корицы, кардамона, левкоя, мускатного ореха и амбры — она не подавала признаков жизни. Но, едва почувствовав, что белый бык рядом, принцесса ожила и оказалась еще свежее, краше и оживленнее, чем была. Она стократно расцеловала своего восхитительного спасителя, который томно склонил голову на ее мраморную грудь. Она обвила лилейными руками его белоснежную шею, прильнула к ней, словно легчайшая пылинка к янтарю, виноградная лоза к вязу, плющ к дубу. Она повторяла: «О мой владыка, мой царь, мое сердце, моя жизнь». Из груди ее вырывались нежные вздохи, а глаза то сияли пылким огнем, то заволакивались теми драгоценными слезами, которые исторгает любовь.

Можно себе представить, какое изумление охватило при этом главную фрейлину и остальных придворных дам. Едва успев вернуться во дворец, они поспешили рассказать своим любовникам об этом диковинном происшествии, причем каждая добавила от себя столько противоречивых подробностей, что все случившееся стало выглядеть вовсе уж странно, как, впрочем, выглядит в пересказе любая история.

Когда Амазис, царь Таниса, прослышал обо всем этом, его царственное сердце воспылало праведным гне-

вом. Таков был гнев Миноса, узнавшего, что его дочь Пасифая расточает свои милости отцу Минотавра. Так содрогнулась Юнона, увидев, как ее супруг Юпитер ласкает прекрасную телку Ио, дочь речного бога Инаха. Царь приказал запереть Амазиду в ее спальне, поставил к дверям стражу из черных евнухов, а затем собрал свой тайный совет.

Великий чародей Мамбрес председательствовал на этом совете, хотя и не пользовался таким влиянием, как прежде. Министры единодушно постановили, что белый бык должен считаться колдуном. На самом деле все обстояло как раз наоборот — он сам был околдован, — но государственные мужи всегда попадают впросак, когда берутся за столь деликатные вопросы.

Большинством голосов было решено, что из принцессы необходимо изгнать злого духа, а белого быка вместе со старухой принести в жертву богам.

Мудрый Мамбрес вовсе не хотел открыто выступать против мнения царя и совета. Ведь именно на него была возложена обязанность изгонять нечистую силу, и он мог отсрочить эту процедуру под весьма благовидным предлогом. Дело в том, что в Мемфисе только что умер бог Апис: бог в обличье быка смертен, как всякий бык. А в Египте не дозволялось заниматься заклинанием злых духов до тех пор, пока не сыщется другой бык, способный заменить прежнего.

Посему совет постановил, что нужно дожидаться избрания в Мемфисе нового бога Аписа.

Добрейший Мамбрес понимал, какая опасность грозит его милой воспитаннице: он догадался, кто был ее возлюбленным. Воскликание «*Наву...*», сорвавшееся с уст принцессы, окончательно раскрыло перед прозорливым старцем ее тайну.

Династия¹ в Мемфисе принадлежала в то время вавилонянам; они сохранили этот остаток былых завоеваний, совершенных под началом могущественнейшего царя на свете, злейшим врагом которого был Амазис.

¹ Династия значит, собственно, власть. Стало быть, позволительно пользоваться этим словом в том смысле, в каком я его употребляю, несмотря на все ухищрения Ларше. Слово «династия» происходит от финикийского «дунаст», но ведь Ларше — это невежда, не знающий ни финикийского, ни сирийского, ни коптского языков.

Мамбресу нужно было призвать на помощь всю свою мудрость, чтобы с честью выпутаться из великого множества затруднений. Если царь Амазис проведает, кто владеет сердцем его дочери, он казнит ее, как поклялся сделать. Ведь прекрасный, юный и великий владыка, в которого она была влюблена, сверг с престола ее отца, и тому удалось снова воцариться в Танисе лишь без малого семь лет назад, когда невесть куда пропал этот обожаемый монарх, повелитель и кумир народов, нежный и щедрый возлюбленный очаровательной Амазиды. А если быка принесут в жертву, не узнав его тайны, принцесса все равно умрет с горя.

Что оставалось делать Мамбресу при столь щекотливых обстоятельствах? По окончании совета он отправился к принцессе и сказал ей:

— Милое мое дитя, я постараюсь вас вызволить, но повторяю, что не сносить вам головы, если вы осмелитесь произнести имя вашего возлюбленного.

— На что мне голова,— возразила принцесса,— если я не могу обнять моего любимого Навухо!.. Мой отец настоящий злодей: он не только отказался выдать меня за прекрасного принца, которого я боготворю, но объявил ему войну, а когда потерпел от него поражение, ухитрился превратить его в быка. Видано ли было на свете столь гнусное злодейство? Да не будь он моим отцом, я бы не знала что с ним сделала!

— Эту злую шутку сыграл с ним вовсе не ваш отец,— отвечал Мамбрес,— а некий палестинец, один из наших старых недругов, житель крохотной страны, которую в числе прочих покорил ваш августейший возлюбленный, стремясь насадить там порядок и просвещение. Чудеса такого рода не должны вас удивлять; вы знаете, что некогда я и сам был на них горазд. В те времена подобные превращения, удивляющие теперешних мудрецов, были самым обычным делом. Истинная история, которую мы с вами проходили, утверждает, что Ликаон, царь Аркадии, был обращен в волка, прекрасная Каллисто, его дочь,— в медведицу; Ио, дочь Инаха, которую мы чтим под именем Изиды,— в корову, Дафна — в лавр, Сиринга — в тростник. А разве прекрасная Юдифь, жена Лота, нежнейшего и любвеобильнейшего отца на свете, не превратилась по соседству с нами в статую из превосходной и весьма

вкусной соли, сохранив при этом все признаки своего пола, не исключая и месячных очищений, как о том свидетельствуют видевшие ее великие мужи? ¹ В молодости я сам был очевидцем этого чуда. Видел я и то, как пять могучих городов, расположенных в самом сухом и бесплодном месте, какое только можно вообразить, внезапно превратились в прелестное озеро. В годы моей юности нельзя было и шагу ступить, не наткнувшись на подобные превращения. И если эти примеры смогут утишить вашу тоску, вспомните, сударыня, что Венера обратила в быков всех до одного Керастов.

— Все это так,— отозвалась несчастная принцесса,— но кого способны утешить примеры? Если бы мой любимый умер, я не могла бы утешиться мыслью, что все люди смертны.

— Быть может, все уладится,— успокоил ее мудрец,— в конце концов, если ваш милый друг из человека обратился в быка, отчего бы ему не обратиться из быка в человека? А что до меня, то пусть меня превратят в тигра или крокодила, если я не пушу в ход остатков своего могущества, чтобы помочь принцессе, достойной всяческого обожания, прекрасной моей Амазиде, которая когда-то играла у меня на коленях и которую теперь роковая судьба подвергает столь жестоким испытаниям.

Глава пятая

КАК МУДРО ВЕЛ СЕБЯ МУДРЕЦ МАМБРЕС

Высказав принцессе все, что могло ее утешить, но так и не утешив ее, божественный Мамбрес поспешил к старушке.

— Дорогая моя подруга,— сказал он ей,— наше ремесло столь же почетно, сколь и опасно: вас, того и гляди, повесят, а вашего быка — сожгут, утопят или съедят. Не знаю, что будет с остальным вашим зверьем, ибо, каким бы я ни был пророком, всего мне знать не дано.

¹ Тертуллиан в поэме «Содом» говорит:

Есть поверье, что пол, и в чуждом обличье сокрытый,
Месяцев многих чреду отмечает привычною кровью.

Св. Ириней (кн. IV) утверждает: «Обнаруживая через естество то, что привычно женщине».

Постарайтесь, однако, чтобы змей и рыба никому не попадались на глаза: пусть он сидит в своей норе, а она не показывается из воды. Быка я возьму к себе в деревню, на скотный двор, вы останетесь при нем — ведь вам запрещено оставлять его без присмотра. Козла отпущения мы отпустим в пустыню искать грехи всего стада; он привык к этой обязанности, и она ему нисколько не повредит; а ведь известно, что, стоит ему прогуляться, — и грехов как не бывало. А вас я попрошу только об одном: немедля одолжите мне пса Товии — это очень проворная борзая, валаамсу ослицу, что перегонит любого дромадера, и быстрокрылых птиц Ноева ковчега — ворона и голубя. Я хочу послать их в Мемфис по чрезвычайно важному делу.

Старушка ответила чародею:

— Располагайте, сударь, как вам заблагорассудится, псом Товии, валаамовой ослицей, птицами Ноя и козлом отпущения, но знайте, что моему быку не пристало ночевать в хлеву. Ибо сказано, чтобы его держали на стальной цепи и чтобы «сбитание его было с полевыми зверями, травую кормили его, как вола, и росю небесной он был орошаем». Мне его доверили, и я должна следовать всем предписаниям. Что подумают обо мне Даниил, Иезекииль и Иеремия, если я поручу присматривать за ним кому-нибудь другому? Я вижу, что вы проникли в тайну этого чудесного животного, но не я открывала вам ее и не мне держать за это ответ. Я уведу своего быка прочь из этой поганой страны, к Сирбонскому озеру, подальше от жестокого Таниссского царя. Рыба и змей защитят меня; я не боюсь никого, когда служу своему владыке.

— Да свершится воля господня! — воскликнул мудрый Мамбрес. — Был бы цел наш бык, а уж куда вы его поведете — к Сирбонскому ли озеру, к озеру Мериды или к Содомскому — это ваше дело; я желаю ему только добра, да и вам тоже. Но скажите, с какой стати вы помянули Даниила, Иезекииля и Иеремию?

— Ах, сударь, — молвила в ответ старушка, — вам не хуже моего известно, какое участие они принимали в этом деле! Но недосуг мне с вами болтать: не хватало еще, чтобы меня повесили, а моего быка сожгли, утопили или съели. Я поспешу к Сирбонскому озеру через Каноп вместе с змеей и рыбой. Прощайте.

Бык понуро поплелся вслед за нею, бросив на Мамбреса признательный взгляд.

Мудреца терзала жестокая тревога. Он понимал, что Амазис, царь Таниса, выведенный из себя безумной страстью своей дочери и полагающий, что она подпала под власть злых чар, будет повсюду преследовать несчастного быка, которого в конце концов неизбежно сожгут за колдовство на главной площади Таниса, бросят на съедение рыбе Ионы, а то и подадут в жареном виде к царскому столу.

Мамбрес решил любой ценой избавить принцессу от подобной неприятности.

Он взял свежий свиток папируса и священными письменами написал на нем послание своему другу, великому жрецу Мемфиса. Вот что говорилось в этом послании:

«О светоч мира, наместник Изиды, Озириса и Гора, повелитель обрезанных, чей алтарь, подобно алтарю разума, высится надо всеми престолами, до меня дошло, что ваш бог, бык Апис, умер. Взамен я готов предложить вам другого. Поспешите вместе с остальными жрецами признать его, пасть перед ним ниц и отвести его в стойло при вашем храме. Да будут Изида, Озирис и Гор достойной и священной для вас защитой, а вы, господа мемфисские жрецы, да будете святой защитой для них!

Ваш преданный друг *Мамбрес*».

На всякий случай он сделал четыре списка этого послания и каждый из них вложил в ларчик из наипрочнейшего эбенового дерева. Потом позвал четырех гонцов, которым решил доверить отправку письма (то были ослица, пес, ворон и голубь) и сказал ослице так:

— Я знаю, сколь преданно вы служили собрату моему Валааму; послужите и мне так же. За вами не угнаться никакой птице; поспешите же, дорогая моя, передать это письмо прямо в руки мемфисскому верховному жрецу и поскорее возвращайтесь.

Ослица ответила:

— Я готова послужить вам, господин, столь же преданно, как служила Валааму; я немедля отправлюсь в путь и скоро вернусь.

Мудрец сунул ей в зубы эбеновый ларец, и она помчалась, как стрела.

Потом он обратился к псу Товии:

— О верный пес, способный обогнать быстроногого Ахилла, я знаю, что вы сделали для Товии, сына Товита, когда вам вместе с архангелом Гавриилом довелось сопровождать его из Ниневии в Раги Мидийские и обратно; он, как помнится, принес отцу своему, рабу божьему Товиту, десять талантов¹, которые тот некогда одолжил другому рабу по имени Гаваил, ибо рабы эти были весьма богаты. Отнесите же по назначению это письмо: оно стоит куда дороже десяти талантов серебром.

Пес ответил:

— Уж если, господин, я не оплошал, сопровождая посланца божия Гавриила, то отнести вашу весть не составит мне никакого труда.

Мамбрес сунул ему в пасть письмо и обратился со схожими речами к голубю. Тот сказал:

— Я, господин, принес в ковчег масличную ветвь, так что мне стоит отнести ваше послание?

И он взял письмо в клюв. Не прошло и мгновения, как все три вестника скрылись из виду.

Вслед за тем Мамбрес обратился к ворону:

— Я знаю, что вы кормили великого пророка Илию, когда он скрывался у потока Хорафа², слава о котором прошла по всей земле. Вы ежедневно приносили ему ковригу хлеба и жирного каплуна; я же прошу вас всего-навсего отнести вот это письмо в Мемфис.

— Не стану отпираться, господин,— ответил ворон,— что я каждый день носил пищу великому пророку Илии Фесвитянину, который потом у меня на глазах вознесся в небо на огненной колеснице, влекомой огненными конями, хотя это у нас и не принято; однако, уверяю вас, что половину обеда я всегда оставлял себе. Я с удовольствием возьмусь разносить ваши письма, если вы пообещаете мне два сытных обеда в день и будете оплачивать услуги наличными, причем деньги я хочу получать вперед.

— Ах ты, плут и обжора! — воскликнул разгневанный Мамбрес.— Неудивительно, что Аполлон сделал

¹ Двадцать тысяч серебряных эку по теперешнему курсу.

² Третья Книга Царств, гл. XVII.

тебя из белого, как лебедь, черным, как крот, когда ты предал прекрасную Корониду, злосчастную мать Асклепия! А скажи-ка мне, неужто и в ковчеге, где тебе пришлось провести целых десять месяцев, ты тоже объедался жарким и каплунами?

— Нас там превосходно кормили,— отозвался ворон.— Дважды в день подавали жаркое всем моим пернатым сородичам, которые питаются только мясом: грифам, коршунам, орлам, ястребам-тетеревятникам, ястребам-перепелятникам, сарычам, филинам, соколам, совам, не говоря о бесчисленном множестве других хищных птиц. Еще обильней была трапеза львов, леопардов, тигров, пантер, барсов, гиен, волков, медведей, лисиц, куниц и прочих четвероногих хищников. Целых восемь именитых особ — все тогдашнее население земли — только и делали, что занимались нашим столом и туалетом: сам Ной и его жена, которым было всего по шестьсот лет, три их сына и три невестки. Любо-дорого было посмотреть, как старательно, с каким усердием наши восемь слуг обносили яствами четыре тысячи с лишним самых ненасытных застольников, а потом обслуживали еще десять — двенадцать тысяч персон, начиная со слона и жирафа, кончая шелковичными червями и мухами. Одно лишь меня удивляет: почему это о нашем хлебосоле Ное не слышал ни один из тех народов, чьим прародителем он считается? Впрочем, это не моего ума дело. Еще раньше я уже успел побывать на подобном пиру у царя фракийского Ксисутра¹. Такие вещи нет-нет да и случаются ради поучения воронов. Короче говоря, мне нужен хороший стол и приличное жалованье.

Мудрый Мамбрес не решился доверить свое письмо столь привередливой и болтливой птице. Они расстались весьма недовольные друг другом.

Нужно было, однако, разузнать, что за это время случилось с быком, и не упускать из виду старушку и змея. Мамбрес приказал самым расторопным и надеж-

¹ В самом деле, халдейский историк Бероз утверждает, что такая же история произошла с фракийским царем Ксисутром; она кажется еще более удивительной, ибо его ковчег имел пять стадий в длину и три в ширину. Ученые до сих пор не могут прийти к соглашению, который из двух ковчегов древнее: царя Ксисутра или Ноя?

ным из своих слуг поспешить вслед за ними, а сам отправился в паланкине на берег Нила, погружившись в обычные свои размышления.

«Как это получается,— думал он,— что змей, который, по его собственным словам и по мнению стольких ученых мужей, властвует чуть ли не над всею землей, вместе с тем находится в подчинении у какой-то старушки? И как он умудряется время от времени заседать в высшем совете и между тем пресмыкаться по земле? И зачем он, что ни день, незримо вселяется то в одного, то в другого человека, так что множеству мудрецов приходится выманивать его оттуда искусными речами? Чем, наконец, объяснить то, что у одного живущего по соседству с нами народа он прослыл погубителем рода человеческого, а род человеческий об этом и знать не знает? Я немало пожил,— продолжал рассуждать Мамбрес,— и всю жизнь старался постичь тайны бытия, и вот вижу, что не в силах разобраться в этом нагромождении противоречий. Я не берусь объяснить того, что мне довелось пережить,— ни тех чудес, что я в свое время творил сам, ни тех, что у меня на глазах творили другие. По здоровом размышлении я начинаю подозревать, что весь мир зиждется на сплошных противоречиях: «*Rerum concordia discor*»¹; как говорил некогда на своем языке мой учитель Зороастр».

Пока он блуждал в этих метафизических потемках (ибо всякая метафизика темна), некий лодочник, распевая бесшабашную песню, причалил к берегу свое утлое суденышко. С него важно сошли трое мужей, кое-как одетых в изорванные и грязные лохмотья; однако это нищенское одеяние не могло скрыть их величественного и царственного обличья. То были Даниил, Иезекииль и Иеремия.

Глава шестая

КАК МАМБРЕС ВСТРЕТИЛ ТРЕХ ПРОРОКОВ И ДАЛ В ИХ ЧЕСТЬ РОСКОШНЫЙ ОБЕД

По слабому отсвету пророческого сияния, еще сохранившемуся на челе Мамбреса, три великих мужа, также озаренные этим сиянием, признали в нем своего собра-

¹ И в согласии вещей — противоречие (лат.).

та и преклонились перед его паланкином. А Мамбрес догадался, что перед ним пророки, не столько по огненному сиянию, исходившему от их величавых голов, сколько по их одежде. Действуя с обычной своей осмотрительностью, полный обходительности и достоинства, он спустился на землю и приблизился к пророкам. Подняв их, он приказал разбить шатры и приготовить обед, в котором, без сомнения, весьма нуждались его гости.

Послал он и за старушкой, благо та успела отойти всего на какие-нибудь пятьсот шагов. Она приняла приглашение и явилась к столу, не выпуская из рук цепочки с быком.

Было подано два супа — один из раковых шеек, другой королевский; в перемену входил паштет из сазаньих языков, налимья и щучья печень, цыплята с фисташками, голуби с трюфелями и маслинами, две индейки с начинкой из раков, груздей и сморчков, а также сосиски. Жаркое состояло из фазанов, куропаток, рябчиков, перепелов и овсянок с четырьмя разными салатами. Посреди стола красовалась ваза с фруктами, как принято по новейшей моде. Пирожные были выше всяких похвал, а десерт поражал великолепием, замысловатостью и разнообразием.

Кроме того, осмотрительный Мамбрес позаботился о том, чтобы к столу не попали ни телячьи языки, ни говяжий бульон, ни бычье филе, ни коровье вымя: ведь несчастный монарх, издали следивший за трапезой, мог счесть это за оскорбление.

Сей великий и многострадальный государь пасся неподалеку от шатров. Никогда еще не изнывал он так жестоко от роковой перемены судьбы, на целых семь лет лишившей его престола.

— Подумать только, — вздыхал он, — что этот Даниил, обративший меня в быка, и эта старая ведьма, которая меня стережет, лакомятся сейчас вкуснейшими яствами, а мне, властелину всей Азии, приходится жевать сено и пить простую воду!

Было выпито немало энгаддийского, тадморского и ширазского вина. Когда оно успело ударить в голову пророкам и волшебнице, разговор пошел с большей принужденностью, чем в начале обеда.

— Должен признаться, — сказал Даниил, — что во львином рву меня кормили куда хуже.

— Что вы говорите! — воскликнул Мамбрес. — Неужто вы побывали во рву со львами? А почему же они вас не съели?

— Вам ли не знать, — ответствовал Даниил, — что львы не питаются пророками.

— А вот я, — вставил Иеремия, — всю жизнь только и делал, что умирал с голоду; сегодня мне впервые удалось наестся до отвала. Если бы мне предстояло родиться вновь и самому выбрать свою долю, я предпочел бы стать генеральным откупщиком или епископом в Вавилоне, нежели пророком в Иерусалиме.

Иезекииль сказал:

— Однажды мне было приказано триста девяносто дней подряд спать на левом боку и все это время питаться одними только лепешками из пшеницы, ячменя, бобов, чечевицы, пшеница и полбы, намазанными...¹ Впрочем, не смею сказать, чем их велено было намазывать. Я едва выпросил позволения вместо этого мазать их коровьим пометом. Признаюсь, что кухня господина Мамбреса куда изысканней. И однако наше ремесло не лишено приятности, иначе тысячи людей не лезли бы в пророки.

— Кстати, — сказал Мамбрес, — объясните мне, кто такие Огола и Оголива и почему они, по вашим словам, были столь равнодушны к жеребцам и ослам?

— Ах, — отмахнулся Иезекииль, — это всего-навсего риторические прикрасы.

Когда было покончено с этими откровенными излияниями, Мамбрес перешел к делу. Он спросил у трех странников, что их привело в государство Амазиса. В ответ выступил Даниил; он сказал, что с той поры, как пропал Навуходоносор, Вавилонское царство охватила смута; что там совсем не стало житья пророкам; что цари, по всегдашнему своему обыкновению, то валяются у них в ногах, то велют всыпать им сотню плетей, и что в конце концов им пришлось искать прибежище в Египте, пока их не успели побить камнями на родине. Затем выступили Иезекииль и Иеремия; они говорили так долго и так возвышенно, что их едва можно было понять. Что же касается волшебницы, то она не спускала глаз с быка. Рыба Ионы застыла в воде прямо напротив шатра, а змей резвился в траве.

¹ Иезекииль, гл. IV.

После кофе все пошли прогуляться по берегу Нила. Тут белый бык, учуяв поблизости своих мучителей-пророков, испустил ужасающий рев, яростно бросился на них и ударил рогами; а так как у пророков всегда была только кожа да кости, непременно забодал бы их до смерти, если бы владыка всего сущего, который все видит и которому до всего есть дело, в тот же миг не обратил их в сорók. Они даже не заметили этого и, как ни в чем не бывало, продолжали свою болтовню. То же самое случилось впоследствии с Пиэридами: вот до какой степени баснословие подражает истории!

Это новое происшествие навело мудрого Мамбреса на новые размышления.

— Три великих пророка обращены в сорók,— сказал он себе.— Этот пример должен отвратить нас от пустословия и пристрастить к похвальной сдержанности.

Придя к выводу, что мудрость выше красноречия, он, по своему обыкновению, принялся было обдумывать эту мысль, как вдруг его взоры поразило грандиозное и устрашающее зрелище.

Глава седьмая

О ТОМ, КАК ПРИБЫЛ ЦАРЬ ТАНИСА, РЕШИВШИЙ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ СВОЮ ДОЧЬ И БЫКА

Клубы пыли заволокли горизонт от края до края. Слышалась дробь барабанов, раздавались звуки труб, дудок, гуслей, кифар и флейт. Эскадрон за эскадроном, батальон за батальоном приближалось войско Амазиса, царя Таниса, а сам он ехал во главе своих армий на коне, покрытом алым чепраком с золотым узором. Герольды кричали:

— Да будет схвачен белый бык, и да будет он связан, и брошен в Нил, и отдан на съедение рыбе Ионы, ибо царь Амазис, наш справедливый владыка, хочет отомстить ему за то, что он околдовал его дочь!

Доброму старцу Мамбресу пришлось размышлять больше, чем когда-либо. Он догадался, что зловердный ворон успел все выболтать царю и что теперь принцессе грозит опасность сложить голову на плахе. Он шепнул змею:

— Милый мой друг, поспешите утешить прекрасную Амазиду, мою воспитанницу; пусть она ничего не боит-

ся, что бы там ни случилось. Позабавьте ее небылицами, чтобы отвлечь от тревожных мыслей; все девушки их любят, да и вообще без небылиц не добьешься успеха в этом мире.

Потом он простерся перед Амазисом, царем Таниса, и сказал ему:

— Да продлятся дни твои, государь! Белый бык должен быть принесен в жертву, ибо ваше величество никогда не ошибается. Однако владыка всего сущего повелел, чтобы его отдали на съедение рыбе Ионы не раньше, чем найдется замена умершему быку в Мемфисе. Тогда вы будете отмщены, а ваша дочь — расколдована, ибо вы знаете, что ею завладели злые духи. Ваше благочестие не позволит вам ослушаться велений всевышнего.

Амазис задумался.

— Бык Апис мертв, — сказал он наконец, — упокой же, господи, его душу! А сколько, по-вашему, потребуется времени, чтобы отыскать другого быка, способного править плодородным Египтом?

— Сир, — ответил Мамбрес, — я прошу у вас всего неделю отсрочки.

Царь, который был весьма благочестив, сказал:

— Дарую вам эту отсрочку и остаюсь здесь на неделю, а по прошествии этого времени велю казнить соблазнителя моей дочери.

И он приказал разбить шатры, призвал своих поваров и музыкантов и оставался там семь дней, как об этом говорится у Манефона.

Старушка пришла в отчаяние, узнав, что быку, за которым ей поручили присматривать, осталось жить всего неделю. Каждую ночь она пугала царя привидениями, надеясь, что он отменит свой жестокий приговор, но поутру царь забывал обо всем, что видел ночью, подобно тому, как Навуходносор не мог вспомнить свои сны.

Глава восьмая

КАК ЗМЕЙ ЗАБАВЛЯЛ ПРИНЦЕССУ НЕБЫЛИЦАМИ

Тем временем змей рассказывал прекрасной Амазиде небылицы, стараясь усладить ее печаль. Он поведал ей, как в свое время исцелил от змеиных укусов целый народ, показавшись ему с наверхия жезла. Рассказал о

некоем герое, чьи подвиги выгодно отличались от деяний Амфиона, построившего Фивы в Беотии. Когда Амфион играл на скрипке, обтесанные камни сами собой складывались в стены, так что не успевал он окончить ригодон или менуэт, как город был уже пострен; а этот герой разрушал города, трубя в пастушеский рожок. В области, простиравшейся всего на четыре лье в длину и столько же в ширину, он умудрился отыскать три с лишним десятка могущественнейших царей и всех до единого перевешал. Кроме того, он обрушил каменные глыбы на бегущее перед ним неприятельское войско, а разделавшись с ним, остановил среди бела дня солнце и луну, чтобы вторично разделаться с неприятелем на склоне горы Вефоронской, между Аналоном и Гаваоном. В этом он следовал примеру Вакха, остановившего солнце и луну во время своего путешествия в Индию.

Деликатность, свойственная всей его породе, не позволила змею рассказать прекрасной Амазиде о могучем Иеффае, сыне блудницы, который отрубил голову собственной дочери по случаю одержанной им победы,— эта история могла бы насмерть перепугать бедную принцессу. Зато он описал ей похождения силача Самсона, побившего тысячу филистимлян ослиной челюстью, связавшего хвост к хвосту триста лисиц, а под конец угодившего в сети к одной девице, которая — увы! — не отличалась такой красотой, нежностью и сердечностью, как очаровательная Амазида.

Затем он поведал ей о несчастной любви Сихема к шестилетней Дине и о более счастливых связях между Воозом и Руфью, Иудой и его невесткой Фамарью, Лотом и его двумя дочерьми, не пожелавшими, чтобы погиб род человеческий, между Авраамом и его служанками, Рувимом и его матерью, Давидом и Вирсавией; не забыл он рассказать и о бесчисленных связях царя Соломона,— словом, сделал все, чтобы развеять тоску несчастной принцессы.

Глава девятая

КАК ЗМЕЮ НЕ УДАЛОСЬ УТЕШИТЬ ПРИНЦЕССУ

— Все эти рассказы наводят на меня скуку,— заявила Амазида, которая не была обделена ни умом, ни вкусом.— Они годятся лишь для того, чтобы какой-ни-

будь олух вроде Аббади или болтун вроде д'Утвиля развлекали ими ирландцев или иных невежд. Небылицы, которые с удовольствием послушала бы моя прапрабабка, нисколько не интересуют меня, воспитанницу мудрого Мамбреса: ведь я уже успела прочитать и «Матрону Эфесскую», и «Опыт о человеческом разуме» египетского философа Локка. Я хочу, чтобы сказка была правдоподобна, а не походила на бессвязный сон, чтобы в ней не было ни пошлости, ни вздора. А больше всего мне хочется, чтобы под покровом вымысла пронизательный взор мог углядеть в ней какую-нибудь глубокую истину, недоступную существу заурядному. Мне надсели колдуньи, которые вертят, как хотят, солнцем и луной; пляшущие горы; реки, текущие вспять; воскресшие мертвецы и прочий вздор; особенно невыносимо, когда обо всем этом говорится напыщенным и бессвязным слогом. Девица, чей возлюбленный, того и гляди, пойдет на корм рыбам, а сама она сложит голову на плахе по приказу собственного отца, нуждается в утешении; вы и сами это понимаете. Но постарайтесь утешить ее так, чтобы ей это пришлось по вкусу.

— Нелегкую же задачу вы мне задали, — вздохнул змей. — В прежние годы мне удалось бы доставить вам немало приятных минут, но с некоторых пор я растерял всю свою память и воображение. Прошло то время, когда я умел развлекать девиц! Посмотрим, однако ж, не удастся ли мне припомнить какую-нибудь назидательную историю, которая пришлась бы вам по вкусу.

Двадцать пять тысяч лет назад стовратными Фивами правили царь Гнаоф и царица Патра. Царь был весьма красив, царица — еще краше, но вот беда — у них не было детей. Гнаоф обещал награду тому, кто отыщет наилучшее средство для продолжения царского рода.

Медицинский факультет и Хирургическая академия выпустили множество ученых трудов, посвященных этой важной проблеме, но ни один из них — увы! — никуда не годился. Царицу посылали на воды, она молилась по обету девять дней подряд, она пожертвовала кучу денег храму Юпитера Аммона, ведающего производством аммиачных солей, — все было напрасно. Наконец к царю явился некий двадцатипятилетний жрец и сказал: «Государь, я знаю заклинание, которое поможет мне до-

биться того, что так страстно желает ваше величество. Дозвольте мне шепнуть его на ушко вашей августейшей супруге; если после этого она не понесет, можете меня повесить».— «Будь по-вашему»,— согласился царь. Жрец провел четверть часа наедине с царицей, после чего она понесла, а царь едва удержался, чтобы не повесить юного пройдоху.

— О господи!— воскликнула принцесса.— Сразу видно, куда вы клоните. Эта сказочка довольно пошло-вата; она оскорбляет мою девичью честь. Придумайте что-нибудь поправдивей, поинтересней, а главное— поновей; что-нибудь такое, что могло бы «завершить образование моего сердца и ума», как говорил египетский профессор Линро.

— Извольте, госпожа,— ответил находчивый змей,— вот вам наиправдивейшая история:

Жили некогда три пророка, все они были одинаково честолюбивы, тяготились своим положением и дерзали мечтать о царском сане. От пророка до царя всего один шаг, а кому из смертных не хочется подняться на ступеньку выше по лестнице фортуны? Что же касается прочих пристрастий и привычек, они у них были совершенно разными. Один прекрасно проповедовал перед своей паствой, которая в ответ награждала его рукоплесканиями, другой был без ума от музыки, а третий любил приволокнуться за девицами. И вот однажды, когда они собрались за столом, чтобы потолковать о прелестях царской жизни, им явился ангел Итуриель.

«Владыка всего сущего,— сказал он,— послал меня вознаградить вас за вашу добродетель. Вы не только станете царями, но и сможете полностью удовлетворить свои пристрастия. Вас,— молвил он первому пророку,— я сделаю царем Египта, и вы сможете сколько угодно заседать в своем совете, который будет рукоплескать вашей мудрости и вашему красноречию. Вы станете владыкой Персии,— сказал он второму,— и сможете днем и ночью наслаждаться божественной музыкой. Ну, а вам,— обратился он к третьему,— достанется Индийское царство, а в придачу к нему очаровательная любовница, которая никогда вас не покинет».

Тот из пророков, кому достался Египет, начал с заседания тайного совета, в который входило всего каких-нибудь двести мудрецов. Он, как водится, произнес пе-

ред ними длинную речь и был вознагражден бурными рукоплесканиями. Его сердце познало радость похвал, в которых не было и намека на лесть.

Вслед за тайным советом он созвал совет по иностранным делам, куда более многочисленный. Новая его речь была принята с еще большим восторгом. Затем последовали прочие советы. Жизнь царя Египетского стала сплошным упоением собственной славой. Молва о его красноречии облетела всю землю.

Пророк, сделавшийся царем Персидским, начал с того, что заказал себе итальянскую оперу, в которой были заняты полторы тысячи хористов-кастратов. Их голоса потрясали душу, проникая до мозга костей, где она, как известно, располагается. За первой оперой последовала вторая, за второй — третья, и так далее, без перерыва.

Индийский царь заперся со своей любовницей и предался упоительнейшим наслаждениям. Необходимость ласкать ее без передышки мнилась ему высшим счастьем, и он сожалел о печальной участи своих сотоварищей, одному из которых приходилось все время просиживать в совете, а другому — в опере.

По прошествии нескольких дней все три царя услышали за окнами шум: то выходили из кабачка на работу развеселые дровосеки, прижимая к себе своих подружек, которыми они могли при желании обменяться. Тут наши цари не выдержали и взмолились ангелу Итуриелю, чтобы он замолвил за них словечко перед владыкой всего сущего и позволил им превратиться в дровосеков.

— Не знаю, — прервала змея принцесса, — исполнили ли владыка всего сущего их просьбу, да и знать об этом не желаю. Знаю только, что я сама никого и ни о чем больше не просила бы, если бы меня оставили наедине с моим возлюбленным, с милым моим На-ву-хо-до-но-сором!

Своды дворца содрогнулись от звуков этого грозного имени. Вначале, как помнит читатель, с уст принцессы сорвался один только слог «На», потом — «Наву», еще через некоторое время — «Навухо», а теперь она, не в силах совладать со своей страстью, произнесла целиком это запретное слово, нарушив клятву, которую дала отцу. Придворные дамы хором повторили за ней: «Наву-хо-до-но-сор!», а зловредный ворон тотчас же пом-

чался доложить об этом царю. Сердце Амазиса омрачилось, а вслед за тем помрачнело и его чело. Вот как змей, самый изворотливый и хитрый из всех тварей земных, может навредить женщине, полагая оказать ей услугу. Разгневанный царь послал за дочерью двенадцать альгвасилов, которые готовы были исполнить самый жестокий его приказ, оправдываясь тем, что «им-де за это платят».

Глава десятая

КАК ПРИНЦЕССЕ ХОТЕЛИ, НО НЕ УСПЕЛИ ОТРУБИТЬ ГОЛОВУ

Когда дрожащая от ужаса принцесса была приведена в шатер царя, он сказал ей:

— Дочь моя, вы знаете, что любая принцесса, которая дерзнет послушаться своего отца, достойна смерти, иначе ни в одном царстве не было бы порядка. Я запретил вам произносить имя вашего возлюбленного Навуходносора, моего заклятого врага, который семь лет назад сверг меня с престола, а потом сгинул неведомо куда. Вместо него вы отыскиали какого-то быка и назвали его Навуходносором. Справедливость требует, чтобы я отрубил вам голову.

— Да свершится ваша воля, батюшка,— молвила принцесса.— Но дайте мне время, чтобы я могла оплатить свою девственность.

— Справедливое требование,— согласился царь Амазис.— Его должны уважать все человеческие и просвещенные монархи. Даю вам день на оплакивание вашей девственности, раз вы утверждаете, что сумели ее сохранить. Завтра, на восьмой день моего здесь пребывания, ровно в девять утра, я скормлю белого быка рыбе Ионы, а вам отрублю голову.

И прекрасная Амазида, в сопровождении придворных дам, отправилась на берег Нила оплакивать все, что сохранилось от ее девственности. Мудрый Мамбрес предавался неподалеку от нее размышлениям, считая часы и минуты, оставшиеся до казни.

— Ах, дорогой мой Мамбрес,— обратилась к нему принцесса,— когда-то вам удавалось обратить нильскую воду в кровь, а теперь вы не можете отвратить моего

отца от его жестокого решения! Неужто вы допустите, чтобы завтра, в девять утра, отрубили мне голову?

— Все будет зависеть, — отозвался погруженный в свои размышления Мамбрес, — от проворства моих гонцов.

На следующее утро, как только тени обелисков и пирамид отметили на земле девятый час утра, белого быка связали, чтобы бросить на съедение рыбе Ионы, а царю подали огромную саблю.

— Увы, увы! — повторял про себя Навуходоносор. — Мало того, что мне пришлось провести целых семь лет в обличье быка, меня же еще и скармливают какой-то рыбе, едва я успел обрести свою возлюбленную!

Никогда еще мудрый Мамбрес не размышлял столь усердно, как в то утро. И вот, когда он целиком погрузился в свои горестные мысли, вдалеке показалось то, чего он так ждал. К берегу Нила приближалась огромная толпа. Сто мемфисских сенаторов несли на золотых носилках, украшенных драгоценными камнями, соединенные вместе изображения Изиды, Озириса и Гора; перед ними выступали сто девушек, игравших на священных систрах. Четыре тысячи жрецов, чьи бритые головы были украшены венками, ехали верхом на гиппопотамах. За ними столь же торжественно выступали фиванский овен, шакал из Бубаста, кошка из Фебеи, крокодил из Арсинои, козел из Мендеса и множество других низших божеств Египта, явившихся на поклон великому быку Апису, столь же могущественному, как Изиды, Озирис и Гор, вместе взятые.

Среди всех этих полубожеств сорок жрецов несли огромную корзину, полную священных луковиц, которые если и не считались настоящими богами, то весьма на них смахивали.

По обеим сторонам божественной процессии, сопровождаемой бесчисленными толпами народа, шагали сорок тысяч воинов в шлемах на голове, с мечами у пояса, колчанами за спиной и луками в руках.

Жрецы распевали хором, и пение их наполняло душу возвышенной и умирительной гармонией:

Старый бык лежит в могиле,
Мы другого получили!

А в паузах слышались звуки систров, кастаньет, баскских барабанов, гуслей, волюнок, арф и флейт.

КАК ПРИНЦЕССА СОЧЕТАЛАСЬ СО СВОИМ БЫКОМ

Амазис, царь Таниса, пораженный этим зрелищем, не только не отрубил голову своей дочери, но даже убрал саблю в ножны.

— О великий государь,— обратился к нему Мамбрес,— порядок вещей изменился. Ваше величество должно подать пример остальным. Немедленно развяжите белого быка и поспешите поклониться ему.

Амазис повиновался и вместе со всем народом простерся перед быком. Великий мемфисский жрец протянул новоизбранному быку Апису первую охапку сена. Принцесса Амазида украсила его рога гирляндами роз, анемонов, лютиков, тюльпанов, гвоздик и гиацинтов. Она осмелилась также поцеловать его, но сделала это с глубочайшим благоговением. Жрецы устилали пальмовыми ветвями и цветами дорогу, по которой его вели в Мемфис, и Мамбрес, погруженный в обычные свои размышления, шепнул своему другу змею:

— Даниил превратил его из человека в быка, а я из быка сделал богом.

Процессия возвращалась в Мемфис в том же порядке. В ее хвосте плелся смущенный до крайности царь Таниса. Рядом с ним шагал спокойный и сосредоточенный Мамбрес. Старушка шла, сияя от восторга; за нею следовали змей, пес, ослица, ворон, голубь и козел отпущения. Огромная рыбина плыла вверх по течению Нила. Даниил, Иезекииль и Иеремия, превращенные в сорок, замыкали шествие.

Когда оно достигло границы, до которой было не особенно далеко, царь Амазис расстался с быком и обратился к дочери:

— Дочь моя, вернемся в наше царство, дабы я мог отрубить вам голову, как велит мне мое царственное сердце: ведь вы произнесли имя Назуходоносора, заклятого моего врага, который семь лет назад сверг меня с престола. Уж если отец поклялся отрубить голову дочери, он обязан это сделать, иначе ему придется вечно гореть в адском огне. А я вовсе не хочу вечно страдать из-за своего чадолюбия.

Прекрасная принцесса ответила ему так:

— Дорогой мой отец, можете рубить головы кому

угодно, только не мне. Я нахожусь на земле Изиды, Озириса, Гора и Аписа и ни за что не расстанусь с моим ненаглядным белым быком. Я буду осыпать его поцелуями, доколе он не вступит в свою божественную должность на главном скотном дворе святого города Мемфиса; подобная вольность вполне позволительна благородной девице.

Не успела она окончить, как бык Апис вскричал:

— О дорогая моя Амазида, я буду любить тебя вечно!

Сорок тысяч лет поклонялись египтяне Апису, но впервые довелось им услышать, как он заговорил.

Змей и ослица воскликнули:

— Вот и миновало семь лет!

Сороки повторили за ними:

— Вот и миновало семь лет!

Жрецы воздели длани к небу. И тут все увидели, как передние ноги бога исчезли, а задние из бычьих обратились в человеческие; две прекрасных руки, белых и мускулистых, выросли из его плеч, а на месте бычьей морды появилось прелестное лицо. Превратившись в красивейшего на свете мужчину, он воскликнул:

— Лучше быть возлюбленным Амазиды, чем богом.

Я — Навуходоносор, царь царей.

Это новое чудо поразило всех, за исключением погруженного в свои размышления Мамбреса; но никто не был изумлен тем, что Навуходоносор, не теряя времени даром, тут же сочетался с прекрасной Амазидой на глазах у всех собравшихся.

Он оставил царство Танисское за своим тестем и щедро одарил ослицу, змея, пса и голубя, а также ворона, трех сорок и огромную рыбину, показав всей вселенной, что умеет не только побеждать, но и прощать побежденных врагов. Старушке был назначен солидный пенсион. Козел отпущения был отпущен на денек в пустыню, чтобы искупить все накопившиеся за это время грехи, после чего получил в награду двенадцать коз. Мамбрес вернулся во дворец и погрузился в свои размышления. Навуходоносор, дружески с ним распростившись, продолжал мирно править Мемфисом, Вавилоном, Дамаском, Баальбеком, Тиром, Сирией, Малой Азией, Скифией, а также Явой, Согдианой, Бактрией, Индией и Островами.

Подданные этой обширной монархии каждое утро кричали:

— Да здравствует великий Навуходносор, царь царей! Он уже не бык!

С тех пор в Вавилоне установился обычай: всякий раз, когда государь, введенный в соблазн своими сатрапами, чародеями, казначеями или женами, сознавал наконец свои ошибки и становился на путь истинный, весь народ кричал у ворот его дворца:

— Да здравствует наш великий государь! Он уже не бык!



Случай с памятью

Мыслящая часть рода человеческого, другими словами, самое большее одна стотысячная рода человеческого долгое время полагала или, во всяком случае, постоянно твердила, что все наши представления порождаются нашими ощущениями и что память — единственный источник, позволяющий нам связать воедино две мысли или два слова.

Вот почему Юпитер, представитель природы, с первого же взгляда влюбился в Мнемозину, богиню памяти; от их союза родились девять муз, изобретательниц всех искусств.

Это положение, на котором зиждутся все наши знания, было принято решительно всеми, и даже Нонсобра усвоила его, как только родилась, хотя оно и было истиной.

Немного спустя появился некий опровергатель, полугеометр, полусумасброд, и принялся отрицать пять наших чувств и память; он стал говорить незначительной мыслящей части рода человеческого: «До сей поры вы заблуждались, ибо чувства ваши бесполезны, ибо идеи были соприсущи всем, прежде чем ваши чувства могли проявить себя, ибо при появлении на свет вы уже были наделены всеми необходимыми понятиями; вы все знали, еще ничего не почувствовав; все ваши мысли, родившись вместе с вами, уже находились в распоряжении вашего мышления, именуемого *душою*, и не нуждались в памяти. Память ни к чему».

Нонсобра осудила это утверждение — не потому, что оно казалось нелепым, а потому, что оно было ново;

впоследствии, однако, когда некий англичанин принялся доказывать, и даже довольно пространно, что врожденных идей нет, что пять внешних чувств совершенно необходимы, что память весьма способствует удержанию всего, воспринятого пятью чувствами, Нонсобра осудила свое собственное мнение, потому что оно стало мнением англичанина. В итоге она предписала роду человеческому отныне верить во врожденные идеи и не верить больше в пять чувств и в память. Род человеческий, вместо того чтобы подчиниться Нонсобре, стал издеваться над нею, а она до того разгневалась, что задумала одного философа сжечь. Ибо этот философ заявил, что невозможно получить подлинное представление о сыре, если его не увидишь и не полакомишься им, а этот негодяй осмелился даже утверждать, будто ни мужчины, ни женщины никак не могли бы стать шпалерными мастерами, не будь у них игл и пальцев, чтобы иглами пользоваться.

Лиолисты впервые за все свое существование присоединились к Нонсобре, а сеянисты, смертельные враги лиолистов, на время объединились с ними. Они призвали на помощь бывших дикастериков, слывших глубокими философами, и вкупе с ними, прежде чем умереть, осудили как память и пять внешних чувств, так и автора, хорошо отозвавшегося об этих шести понятиях.

Когда эти господа выносили свое суждение, среди них оказался конь, хотя он был и другой породы и хотя между ним и дикастериками имелось немало различий, как, например, в строении, голосе, шерсти и ушах; конь этот, говорю, наделенный и разумом, и пятью чувствами, рассказал в моей конюшне обо всем происшедшем Пегасу, а Пегас с обычной своей живостью передал его рассказ музам.

Музы, уже сто лет особенно покровительствовавшие стране, которая долгое время пребывала в варварстве и где имела место эта сцена, пришли в негодование; они нежно любили свою мать Память, или Мнемозину, которой девять дочерей обязаны всеми своими знаниями. Неблагодарность людей возмутила их. Они не стали сочинять сатир против бывших дикастериков, лиолистов, сеянистов и Нонсобры, потому что сатиры никого не исправляют, а только озлобляют дураков, и те становятся еще злее. Они придумали способ, как, наказав,

просветить и вместе с тем покарать их. Люди оскорбили Память; музы отняли у них этот дар богов, чтобы они хорошенько поняли, как быть без ее помощи.

И вот случилось, что в одну прекрасную ночь у всех мозги размякли, так что на другое утро люди проснулись, решительно не помня прошлого. Несколько дикастериков, лежавших со своими женами в кровати, вздумали было приблизиться к ним в силу инстинкта, независимого от памяти. Женщины, которые редко по инстинкту обнимали своих мужей, с негодованием отклонили их отвратительные ласки. Мужья разозлились, жены подняли крик, и многие супружеские пары передрались.

Мужчины схватили ночные колпаки и воспользовались ими для некоторых нужд, удовлетворение коих обходится без помощи памяти и здравого смысла. Дамы с той же целью воспользовались вазами с туалетных столиков. Слуги, позабыв о своих обязанностях в отношении господ, появились в их комнатах, даже не сознавая, где они находятся. Но так как человек от природы любопытен, они полезли во все ящички, а так как человеку свойственно любить блеск серебра и золота, не нуждаясь при этом в памяти, они хватали все, что попало им под руку. Хозяева хотели крикнуть: «Держите вора», — но понятие вора исчезло из их мозгов, и этого слова они никак не могли вспомнить. Все забыли слова и издавали одни лишь неразборчивые звуки. Это было куда хуже, чем при вавилонском столпотворении, ибо там каждый сразу выдумывал новый язык. Врожденная чувственность так сильно проявлялась у молодых лакеев, что эти наглецы в исступлении бросались на первых попавшихся женщин и девушек, будь то кабатчицы или президентши, а последние, позабыв об уроках стыдливости, предоставляли им действовать беспрепятственно.

Настало время обедать; теперь никто не знал, как за это взяться. Никто не ходил на базар ни чтобы купить что-либо, ни чтобы продать. Слуги вырядились в господское платье, а хозяева — в лакейское. Все ошалело рассматривали друг друга. Те, что посмекалистее (а именно простолюдины), еще кое-как перебивались, у других же не было решительно ничего. Первый председатель, архиепископ ходили совсем голые, а их коню-

хи красовались кто в красных мантиях, кто в ризах; все смешалось, все готово было погибнуть от нищеты и голода, ибо никто не понимал друг друга.

Немного погодя музы сжалились над этим несчастным отродьем; они добрые, хоть иной раз и являют дурным людям свой гнев; поэтому они умолили свою мать возвратить хулителям память, которую она отняла у них. Мнемозина снизошла в царство противоречий, где так дерзко поносили ее, и обратилась к ним со следующими словами:

«Прощаю вас, дураки. Но помните: без пяти чувств нет памяти, а без памяти нет ума».

Дикастерики поблагодарили ее довольно сухо и постановили, что ей будет сделан выговор. Сеянисты описали весь этот случай в своем журнале; тут стало явно, что они еще не вполне исцелились. Лиолисты воспользовались поводом для придворной интриги. Мэтр Коже, вконец ошеломленный этим приключением и ничего в нем не поняв, предложил своим ученикам следующую превосходную аксиому: «*Non magis musis quam hominibus infesta est ista quae vocatur memoria*»¹.



¹ То, что зовется памятью, не враждебно ни людям, ни музам (лат.).

Уши графа Честерфилда и капеллан Гудман

Глава первая

Увы, всем в этом мире правит неумолимый рок! Как и следовало ожидать, я сужу о том по приключившейся со мной истории.

Милорд Честерфилд, который меня очень любил, давно обещал меня облагодетельствовать. А тут освободилась зависящая от него, прекрасная *preferment*¹. Я спешу из своей провинциальной глуши в Лондон; представляюсь милорду; напоминаю ему его обещание; он дружески пожимает мне руку и говорит, что я в самом деле очень дурно выгляжу. Я отвечаю, что всего больше меня мучает бедность. Он уверяет, что позаботится о моем излечении, и тут же дает письмо к г-ну Сидраку, возле Гилдхолла.

Я не сомневаюсь, что г-н Сидрак — лицо, которое устроит мое назначение на должность. Лечу к нему. Г-н Сидрак, хирург милорда, немедля берется за зонд, чтобы меня исследовать, и уверяет, что, если у меня камни, он их прекраснейшим образом вырежет.

Дело в том, что милорду послышалось, будто я мучаюсь мочевым пузырем, и он, с обычной своей щедростью, пожелал, чтобы меня резали за его собственный счет. Он был глух на оба уха, как и милорд его брат, но я не был о том еще осведомлен.

А за время, что я потратил, защищая свой мочевой пузырь от зонда г-на Сидрака, решившего во что бы то ни стало меня исследовать, один из пятидесяти двух претендентов на ту же бенефицию явился к милорду, попросил мой приход и его получил.

¹ Бенефиция.

Я был влюблен в мисс Фидлер, с которой предполагал вступить в брак, лишь только стану приходским священником; мой соперник получил и мое место, и мою возлюбленную.

Милорд, узнав о моей беде и своей ошибке, обещал все исправить, но два дня спустя скончался.

Господин Сидрак яснее ясного растолковал мне, что мой добрейший покровитель по состоянию своих органов никоим образом не мог прожить и минутой дольше и доказал, что глухота его являлась единственно следствием исключительной сухости чувствительных струн и барабанной перепонки его ушей. Он даже предложил мне так основательно продубить мне оба уха винным спиртом, чтобы ни один пэр в королевстве не мог сравняться со мной по части глухоты.

Я понял, что г-н Сидрак человек весьма ученый. Он пробудил во мне вкус к естественным наукам. Кроме того, я увидел, что он человек также и сердобольный, который в случае нужды безвозмездно вырежет мне камни и окажет помощь при всяких неожиданностях, могущих приключиться у меня в окрестностях шейки мочевого пузыря.

Итак, желая утешиться после потери прихода и возлюбленной, я стал под его руководством изучать природу.

Глава вторая

После многих наблюдений над природой, сделанных посредством собственных пяти чувств, очков и микроскопов, я однажды заметил г-ну Сидраку:

— Над нами смеются; никакой природы нет, все есть искусство. Лишь посредством изумительного искусства планеты стройным хороводом кружатся вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг собственной оси. Конечно, кто-то столь же ученый, как Лондонское королевское общество, устроил так, чтобы квадраты периодов обращения планет были всегда пропорциональны кубам их расстояний от Солнца; и надо быть колдуном, чтобы такое разгадать.

Приливы и отливы нашей Темзы, представляется мне, не что иное, как постоянное воздействие не менее великого и не менее труднодостижимого искусства.

Животные, растения, минералы — все представляется мне устроенным сообразно весу, мере, числу, движению. Все есть пружина, рычаг, блок, гидравлическая машина, химическая лаборатория, будь то трава или дуб, блоха или человек, песчинка или облака.

Несомненно существует лишь искусство, а природа одна химера.

— Вы правы,— отвечал мне г-н Сидрак,— но не вам принадлежит честь этого открытия; такая мысль была уже высказана одним мечтателем по ту сторону Ла-Манша¹. Однако никто не обратил на это внимания.

— Но всего больше меня удивляет и всего больше мне по душе, что посредством этого непостижимого искусства две машины всегда производят третью; и я очень огорчен, что мне не довелось сделать подобную машину вместе с мисс Фидлер; но, видно, так уж было изначально предначертано, что мисс Фидлер прибегнет к другой машине, а не ко мне.

— То, что вы сейчас сказали,— заметил г-н Сидрак,— равным образом было уже сказано, но тем лучше: значит, можно предположить, что вы мыслите правильно. Да, весьма приятно, что два существа производят третье; но нельзя сказать этого о всех существах. Две целующиеся розы не производят третьей; два камня, два металла третьего не производят; а между тем и металл и камень — предметы, которые, при всем мастерстве своем, человек сделать не способен. Великое, вечно возобновляющееся чудо из чудес состоит в том, что юноша и девушка сообща делают ребенка, что соловей делает соловьенка своей соловьихе, а не малиновке. Следовало бы половину жизни подражать им, а вторую половину — благословлять того, кто изобрел такую методику. В воспроизведении рода множество любопытнейших загадок. Ньютон говорит, что природа всюду себе подобна: *Natura est ubique sibi consona*. Но это неверно применительно к любви; рыбы, рептилии, птицы любят по-другому, чем мы; тут бесконечное разнообразие. Меня восхищает изготовление чувствующих и действующих существ. Но и у растений есть свои достоинства. Я не перестаю удивляться, что брошенное в землю зерно производит множество новых зерен.

¹ «Энциклопедические вопросы», статья «Природа».

— Да, но пшеница должна умереть, чтобы вновь возродиться, как говорили нам в школе,— вставил я, все еще дурак дураком.

Г-н Сидрак рассмеялся вполне уважительно и меня пожурил.

— Так думали, когда вы ходили в школу,— сказал он.— Но любой землепашец знает теперь, что это вздор.

— Ах, господин Сидрак, примите мои извинения; ведь я был богословом, а от старых привычек сразу не избавляешься.

Глава третья

Вскоре после этих бесед бедного священника Гудмана и превосходного анатома Сидрака наш хирург встретил его в Сент-Джемском парке погруженного в размышления, задумчивого и смущенного, как математик, который ошибся в расчетах.

— Что с вами? — осведомился Сидрак.— Вас мучает пузырь или кишечник?

— Нет,— отвечал Гудман,— желчь. Только что мимо прокатил в отличной карете епископ Глостерский, болтливый и несносный педант; а я шел пешком, и это меня взбесило. Я подумал, пожелаю я получить в этом королевстве епископство, десять тысяч шансов против одного, что мне его не получить, коль скоро в Англии нас десять тысяч священников. Со смертью глухого милорда Честерфилда я остался вовсе без покровительства. Допустим, что у этих десяти тысяч англиканских священников имеется по два покровителя, в таком случае уже двадцать тысяч шансов против одного, что я не получу епископства. Как об этом подумаешь, зло берет.

Я вспомнил, что мне некогда предлагали отправиться в Ост-Индию в качестве юнги; уверяли, что я составлю себе там состояние, но я не считал себя способным когда-либо сделаться адмиралом. И, перебрав все профессии, остался священником, раз я уж ни на что более не годен.

— А вы бросьте священство,— сказал ему Сидрак,— сделайте философом. Это ремесло не требует и не приносит богатства. Какие у вас доходы?

— У меня рента в тридцать гиней всего-навсего, а после смерти старушки тетки будет пятьдесят.

— Полноте, мой дражайший Гудман, этого достаточно, чтобы жить свободным и размышлять. Тридцать гиней составляют шестьсот тридцать шиллингов: стало быть, около двух шиллингов в день. Филипс рад был бы и одному. С таким обеспеченным доходом можно говорить все, что думаешь об Ост-Индской компании, парламенте, наших колониях, короле, о существе вообще, о человеке и боге, что весьма занято. Пойдемте ко мне обедать, вот вы и сбережете деньги; мы будем беседовать, и ваша мыслительная способность получит удовольствие общаться с моей — посредством слова; а это удивительное явление, которое люди не умеют достаточно ценить.

Глава четвертая

БЕСЕДА ДОКТОРА ГУДМАНА И АНАТОМА СИДРАКА О ДУШЕ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ПРЕДМЕТАХ

Гудман. Но, дорогой Сидрак, почему вы всегда говорите *моя мыслительная способность?* Не проще ли сказать *моя душа?* Это короче, и я понял бы вас так же хорошо.

Сидрак. А я бы себя не понял. Я чувствую, я знаю, что бог наделил меня способностью мыслить и говорить; но я не чувствую и не знаю, наделил ли он меня неким существом, которое именуют душой.

Гудман. И впрямь, когда я сейчас об этом думаю, то вижу, что тоже ничего о душе не знаю, хотя долго брал на себя смелость полагать, будто мне это известно. Я заметил, что восточные народы называли душу словом, обозначающим жизнь. По их примеру латиняне сперва понимали под *anima* живое животное. Греки говорили: дыхание есть душа. Дыхание — это дуновение. Латиняне переводили дуновение словом *spiritus*: отсюда слово, соответствующее *духу* почти у всех современных наций. А коль скоро никто никогда не видел этого дуновения, этого духа, из него сделали некое существо, которое нельзя ни видеть, ни осязать. И стали говорить, что оно помещается у нас в теле, не занимая там места, что оно движет нашими органами, не ка-

саясь их. Чего только не говорили? Все наши споры, как мне кажется, основывались на многозначности слов. Убежден, что мудрый Локк хорошо понимал, в какой хаос такая многозначность всех языков ввергла человеческий разум. В единственной разумной книге по метафизике, из всех когда-либо написанных, он не уделил душе ни единой главы. И если случайно употребляет иной раз это слово, то оно означает у него не что иное, как наш рассудок.

В самом деле, каждый чувствует, что у него есть рассудок, что он получает извне представления, их складывает, их расчленяет; но никто не ощущает в себе другого существа, дающего ему движение, ощущения и мысли. Если на то пошло, просто нелепо произносить слова, которые не понимаешь, и признавать существа, о которых тебе ровно ничего неизвестно.

Сидрак. Итак, мы уже одного мнения по вопросу, служившему предметом споров на протяжении веков.

Гудман. И я в восторге от того, что мы одного мнения.

Сидрак. Тут нет ничего удивительного, мы добросовестно пытаемся найти истину. Будь мы школярами, мы аргументировали бы на манер персонажей Рабле. Живи мы в века ужасающего мрака, так долго окутывавшего Англию, один из нас, возможно, отправил бы другого на костер. Но мы живем в век разума; мы легко обнаруживаем то, что представляется нам истинной, и смеем ее высказывать.

Гудман. Да, но боюсь, что эта истина сводится к весьма малому. В математике мы достигли удивительнейших успехов, которые поразили бы Аполлония и Архимеда, превратили бы их в наших учеников; но что открыли мы в метафизике? Собственное невежество.

Сидрак. Разве это так уж мало? Вы признаете, что Верховное существо наделило вас способностью чувствовать и мыслить, подобно тому, как оно наделило ваши ноги способностью ходить, руки — способностью производить тысячи разнообразных работ, внутренности — переваривать пищу, сердце — выталкивать кровь в артерии. Мы всем ему обязаны; сами мы не могли ничем себя наделить, и никогда нам не постичь, каким образом властелин вселенной руководит нами.

Лично я благодарен ему за то, что он открыл мне полное мое незнание первопричин.

Люди всегда доискивались, как же душа управляет телом. Следовало сперва узнать, имеется ли таковая у нас. Либо бог сделал нам такой подарок, либо придал нам нечто равнозначущее. Но как бы он ни поступил, мы все в руке божьей. Он наш властелин, вот все, что мне известно.

Г у д м а н. Но, по крайней мере, поделитесь со мной своими догадками. Вы рассекали мозг, видели эмбрионы, видели утробных младенцев; обнаружили ли вы в них какие-либо признаки души?

С и д р а к. Ни малейших, и я никогда не мог понять, почему нематериальное, бессмертное существо в течение девяти месяцев обитает бесполезно спрятанным в зловонной оболочке по соседству с мочой и калом. Мне трудно себе представить, что эта, так называемая первоначальная душа существовала до образования ее тела: потому что, не будучи человеческой душой, какой на протяжении бесконечных столетий от нее был бы толк? Потом, как представить себе существо первоначальное, существо метафизическое, целую вечность ожидающее мига, чтобы на несколько минут оживить немного материи? И куда девается это неведомое существо, если плод, который ему надлежит оживить, умирает в утробе матери?

И уж совсем нелепо, на мой взгляд, будто бог создает душу в тот миг, когда мужчина ложится с женщиной. Мне представляется кошунством сама мысль о том, будто бог дожидался прелюбодеяния или кровосмешательства, дабы вознаградить подобные мерзости, создавая им в угоду души. Еще возмутительнее, когда мне говорят, будто бог вызывает бессмертные души из небытия, дабы обречь их на вечные муки. Как! Сжигать первоначальные существа, существа, в которых и гореть-то нечему! Любопытно, как бы мы стали сжигать звук голоса, веяние ветра? Причем этот звук, этот ветер как-никак были чем-то материальным в краткий миг своего возникновения, меж тем как чистый дух, мысль, сомнение? Я просто теряюсь. Куда я ни бросаю взгляд — везде мрак, противоречия, несообразность, нелепость, бредни, надругательства, химеры, глупость, шарлатанство.

Но сказав себе: бог всему властелин — я успокаиваюсь. Тот, кто заставил тяготеть друг к другу бесчисленные небесные светила, тот, кто создал свет, конечно, достаточно могуществен, чтобы наделить нас чувствами и мыслями, так что нам вовсе не требуется какая-то посторонняя, невидимая частица, именуемая *душой*.

Бог, бесспорно, наделил чувством, памятью и мышленностью всех животных. Он наделил их жизнью, и ведь столь же прекрасно даровать жизнь, как даровать душу. Достаточно того, что животные живут; доказано, что они чувствуют, коль скоро у них есть органы чувств. А коль скоро они обладают всем этим без души, почему нам во что бы то ни стало надобно иметь душу?

Гудман. Быть может, из тщеславия. Умей павлин говорить, ручаюсь, он стал бы хвалиться, что имеет душу, и утверждал бы, что душа помещается, мол, у него в хвосте. Как и вы, я весьма склонен подозревать, что бог создал нас жующими, пьющими, ходящими, спящими, чувствующими, размышляющими, исполненными страстей, гордыни и самоуничижения и никому словечком не обмолвился о своей тайне. Мы знаем не больше об этом предмете, чем упомянутые мною павлины. И тот, кто сказал, что мы рождаемся, живем и умираем, не зная зачем, сказал великую истину.

Тот, кто назвал нас марионетками провидения, дал нам, сдается мне, правильное определение, коль скоро для того, чтобы мы могли существовать, необходимо бесконечное разнообразие движений. Однако не мы создали движение, и не мы установили его законы. Есть некто, кто, сотворив свет, сделал так, что он движется от солнца к нашим глазам и достигает их за семь минут. Лишь движение возбуждает мои пять чувств; и лишь посредством этих пяти чувств у меня возникают представления: следовательно, создатель движения дает мне мои представления. И когда он мне скажет, каким образом он мне их дает, я смиренно воздам ему хвалу. Я и сейчас ему благодарен за то, что он дозволил мне в течение нескольких лет созерцать величественное зрелище этого мира, как сказал Эпиктет. Правда, он мог бы сделать меня счастливее и дать мне хорошую бенефицию и мою возлюбленную мисс Фидлер; но и так, как оно есть, со своими шестьюстами тридцатью шиллингами ренты, я ему весьма обязан.

Сидрак. Вы говорите, что бог мог бы дать вам хорошую бенефицию и сделать вас более счастливым. Найдутся люди, которые не спустят вам таких слов. Э, постойте, да разве вы сами не жаловались на рок? Не к лицу человеку, собиравшемуся стать приходским священником, так себе противоречить. Неужели вам не ясно, что, получи вы приход и женщину, о которых вы просили, это вы, а не ваш соперник сделали бы ребенка мисс Фидлер. Ребенок, которого она бы произвела на свет, мог бы стать юнгой, сделаться адмиралом, выиграть морское сражение в устье Ганга и окончательно низложить Великого Могола. Уже одно это изменило бы весь лик нашей планеты. Нужен был мир, совершенно отличный от нашего, дабы ваш конкурент не получил прихода, дабы не женился он на мисс Фидлер, дабы вы не были вынуждены довольствоваться шестьюстами тридцатью шиллингами, в ожидании кончины вашей тетушки. Все взаимосвязано; и бог не станет рвать цепь вечности ради моего друга Гудмана.

Гудман. Заговорив о роке, я не предвидел подобного умозаключения; но позвольте, если это справедливо, бог такой же раб, как и я?

Сидрак. Он раб своей воли, своей мудрости, собственных, установленных им законов, своей непреложной сущности. Он не может их преступить, ибо не может быть слабым, непостоянным, изменчивым, как мы, и Верховное существо непреложно вечное, согласитесь, не флюгер.

Гудман. Господин Сидрак, но эдак легко прийти и к неверию: ведь коль скоро бог ничего не может изменить в делах мира сего, чего ради возносить ему хвалы, чего ради обращаться к нему с молитвами?

Сидрак. Да кто вам велит молиться богу и его восхвалять? Очень нужны ему ваши хвалы и моления! Если человек, по нашему мнению, тщеславен, мы его хвалим; если он слаб и есть надежда заставить его уступить, мы его просим. А перед богом станем выполнять свой долг, почитать его, быть справедливым — вот наши истинные хвалы и наши истинные молитвы.

Гудман. Господин Сидрак, мы охватили немалый круг вопросов, ибо, не считая мисс Фидлер, обсуждаем тут с вами, есть ли у нас душа, есть ли бог, может ли он что-либо изменить, уготованы ли нам две жизни,

надо ли... Это все требует глубочайшего изучения, и, возможно, я никогда бы и не помыслил о таких вещах, сделайся я приходским священником. Мне надо глубоко изучить эти необходимейшие и высокие предметы, поскольку мне сейчас нечего делать.

Сидрак. Прекрасно! Завтра у меня будет обедать доктор Гру: весьма сведущий врач; он совершил кругосветное плавание с господами Бэнксом и Соландером; он-то, конечно, много лучше разбирается в боге и душе, истине и заблуждениях, справедливом и несправедливом, нежели те, кто всю жизнь проторчал в Ковент-Гардене. Кроме того, доктор Гру в юности объездил всю Европу; был свидетелем полудюжины революций в России; запросто бывал у паши, графа де Бонневалея, как известно, ставшего в Константинополе самым правоверным мусульманином. Гру был дружен со священником-папистом, ирландцем Макарти, который дал себя обрезать во славу Магомета, и с нашим шотландским пресвитерианцем Рамзеем, поступившим точно так же, а затем служившим в России и убитым в сражении со шведами в Финляндии. Наконец, он беседовал с преподобным отцом Малагридой, сожженным впоследствии в Лиссабоне за то, что пресвятая дева открыла ему все, что она делала, находясь во чреве своей матери, святой Анны. Из всего этого явствует, что человек, подобный господину Гру, столько на своем веку повидавший, должен быть величайшим в мире метафизиком. Так до завтра, жду вас к обеду.

Гудман. И до послезавтра, дорогой Сидрак, ибо для познания одного обеда маловато.

Глава пятая

На следующий день трое мыслителей обедали вместе; и к концу трапезы, несколько развеселившись, стали, по обычаю вкушающих пищу философов, ради развлечения обсуждать все напасти, все глупости, все ужасы, какие являются уделом нашей животной породы от полуденных стран до самого северного полюса и от Лимы до Меако. Да и то сказать, само великое многообразие этих пакостей воистину забавно. Буржуа-домоседы и приходские священники, никогда не вылезавшие

из своего угла и уверенные, что весь остальной мир ничем не отличается от Эксченжаллей в Лондоне или улицы де-ля-Юшетт в Париже, лишены этого удовольствия.

— Должен заметить,— начал доктор Гру,— что, несмотря на существующее на земном шаре бесконечное разнообразие, все люди, которых я видел, будь то чернокожие с курчавой шевелюрой или чернокожие с прямыми волосами, будь то бронзовокожие, краснокожие или смуглые, называющиеся белыми,— все имели по две ноги, по два глаза и одной голове на плечах, вопреки святому Августину, уверявшему в своей тридцать седьмой проповеди, будто видел ацефалов, то есть безголовых людей, монокуляров, имеющих только один глаз, и монопедов, имеющих лишь одну ногу. Что же касается антропофагов, то, признаюсь, их пруд пруди и все когда-то ими побывали.

Меня часто спрашивали, крещены ли обитатели обширнейшей страны, названной Новой Зеландией, считающиеся в наши дни самыми кровожадными из всех дикарей. Я отвечал, что мне о том ничего неизвестно, но вполне возможно; ведь евреи, которые отличались еще большей кровожадностью, были крещены даже не один раз, а дважды, по закону Моисееву и погружением в воду.

— Мне это хорошо известно,— сказал г-н Гудман,— и я по этому поводу не раз спорил с людьми, которые верят, что это мы выдумали крещение. Нет, господа, ничего мы не выдумали, мы лишь кое-что подлатали. Но не скажете ли вы, господин Гру, из восьмидесяти или ста религий, с которыми вы ознакомились в пути, какая вам всех больше понравилась: религия зеландцев или готтентотов?

Г о с п о д и н Г р у. Бесспорно, самая лучшая исповедуемая на острове Отаити. Я объездил оба полушария и не видел ничего, что могло бы сравниться с Отаити и его верховной жрицей, королевой. Вот где безраздельно царит природа. В других местах я видел только личины; видел только мошенников, обманывающих глупцов, шарлатанов, присваивающих чужие деньги, чтобы иметь власть, и присваивающих власть, чтобы безнаказанно иметь деньги; они сулят вам журавля в небе, а отберут у вас последнюю курицу, да еще бу-

дут требовать в обмен за райские блаженства, чтобы вы ее сами зажарили к их сегодняшнему обеду.

Ну нет! Не то на острове Аити, или Отаити! Остров этот куда более цивилизован, нежели остров Зеландия или страна кафров и даже, смею сказать, наша Англия, так как природа одарила его более плодородной почвой; она дала ему хлебное дерево, подарок столь же полезный, сколь и прелестный, коим она удостоила всего несколько островов южных морей. На Отаити к тому же множество птицы, овощей, фруктов. В такой стране нет потребности есть своего ближнего; но существует иная, более естественная, более сладостная и более общая потребность, которую религия Отаити повелевает удовлетворять публично. Из всех религиозных обрядов этот, несомненно, наиболее достоин почитания; вместе со всем экипажем нашего судна я присутствовал на такой церемонии. Это не какие-нибудь басни миссионеров, что иногда встречаются в «Назидательных и любопытных письмах» святых отцов иезуитов. Доктор Джон Хауксуорт в настоящее время заканчивает публикацию наших открытий в южном полушарии. Я всюду сопровождал господина Бэнкса, этого достойнейшего молодого человека, посвятившего свой досуг и свое состояние наблюдению природы вблизи южного полюса, меж тем как господа Даукинс и Вуд возвращались с развалин Пальмиры и Баальбека, где вели раскопки и изучали древние памятники зодчества, а господин Гамильтон разъяснял изумленным неаполитанцам естественную историю их Везувия. Словом, вместе с господами Бэнксом, Соландером, Куком и сотнями других я был свидетелем того, что намерен вам сейчас рассказать.

Принцесса Обеира, правительница острова Отаити...

Но тут подали кофе, и, когда мы его выпили, г-н Гру продолжал свой рассказ.

Глава шестая

Так вот, принцесса Обеира с учтивостью, достойной английской королевы, осыпав нас подарками, пожелала однажды утром присутствовать на нашем английском богослужении. Мы отправили обедню со всей

возможной в этих условиях пышностью. Она, в свою очередь, пригласила нас на их вечернюю службу: было это 14 мая 1769 года. Мы застали ее в окружении около тысячи человек обоего пола, стоящих полукругом в почтительном молчании. Юная, очень миловидная девушка, весь скромный наряд которой состоял в почти полном отсутствии такового, возлежала на помосте, служившем алтарем. Королева Обеира приказала одному статному юноше, лет двадцати, приступить к жертвоприношению. Он произнес нечто вроде молитвы и поднялся на помост. Оба жертвоприносителя были наполовину обнажены. Королева величественно указывала юной жертве наилучший способ совершить таинство. Все островитяне созерцали обряд с таким благоговеющим вниманием, что ни один из наших матросов не осмелился нарушить ход церемонии непристойным смешком. Вот что я видел своими глазами; вот, повторяю, что видел весь наш экипаж: ну, а выводы потрудитесь сделать сами.

— Подобное священнодействие меня не удивляет, — сказал доктор Гудман. — Я убежден, что это первый из всех справлявшихся людьми праздников, и не понимаю, почему не возносить молитвы богу, когда собираешься сделать существо по его образу и подобию; ведь молимся же мы перед трапезой, поддерживающей наши тела. Трудиться во имя рождения разумного существа самое благородное и святое дело. Так думали и предки индийцев, почитавшие лингу, символ оплодотворения; древние египтяне, носившие в процессиях изображение фаллоса; греки, воздвигавшие храмы Приапу. А если дозволено упомянуть несчастную маленькую еврейскую нацию, грубо перенимавшую все у своих соседей, так в ее книгах сказано, что народ этот поклонялся Приапу и что царица-мать еврейского царя Асы была его главной жрицей¹.

Как бы то ни было, ни один народ, вероятнее всего, не устанавливал, да и не мог установить культа, основанного на разврате. Лишь с течением времени распутству удается порой туда просочиться; но у своих истоков культ всегда чист и невинен. Первоначальные наши вечерние трапезы — агапы, на которых юноши и де-

¹ Третья Книга Царств, гл. XIII; и «Паралипоменон», гл. XV.

вушки целомудренно обменивались поцелуем, лишь значительно позже выродились в места свиданий и разврата; о, если б бог дал мне с наилучшими намерениями совершить такое жертвоприношение с мисс Фидлер перед королевой Обеирой! Поистине то был бы самый счастливый день и самый прекраснейший поступок всей моей жизни.

Господин Сидрак, до тех пор хранивший молчание, потому что г-да Гудман и Гру говорили не переставая, вступил наконец в беседу:

— Все, что я только что услышал, приводит меня в восторг. Королева Обеира представляется мне величайшей королевой южного полушария — не осмеливаюсь сказать, обоих. Но среди всех ваших славословий и всего этого блаженства есть одно обстоятельство, которое меня страшит; господин Гудман вскользь о нем упомянул, но вы пропустили его замечания мимо ушей. Правда ли, господин Гру, что капитан Уоллис, бросивший до вас якорь у этого благословенного острова, занес туда два ужаснейших бича человечества — оспу и сифилис?

— Увы! — ответил г-н Гру, — французы обвиняют в этом нас, а мы обвиняем французов. Г-н Бугенвиль говорит, что это проклятые англичане заразили сифилисом королеву Обеиру, а г-н Кук утверждает, что королева получила его не от кого иного, как от самого г-на Бугенвиля. Как бы то ни было, сифилис походит на изящные искусства: неизвестно, кто их изобрел, но рано или поздно они обходят и Европу, и Азию, и Африку, и Америку.

— Я уже давно занимаюсь хирургией, — сказал Сидрак, — и, признаться, большей частью своего состояния обязан именно сифилису, что, однако, не мешает мне его ненавидеть. Г-жа Сидрак меня им наградила в первую же нашу брачную ночь, и так как она дама весьма щепетильная относительно всего способного затронуть ее честь, то опубликовала во всех лондонских газетах, что действительно страдает этой дурной болезнью, но что унаследовала ее еще во чреве своей почтенной мамы и что такова их давняя семейная традиция.

О чем думала та, что мы называем *природой*, когда вливалась в родники жизни этот яд? Не раз говорилось, и я могу лишь повторить, что тут налицо величайшее

и возмутительнейшее из противоречий. Как! Человек, говорят, создан по образу божьему.

*Finxit in effigiem moderantium cuncta deorum!*¹

А в протоках со спермой этого образа божьего заложены боль, зараза и смерть! Что тогда станет с прекрасной строчкой милорда Рочестера: «Даже в стране атеистов любовь заставила бы поклоняться богу»?

— Увы! — сказал на это добряк Гудман, — быть может, следует благодарить провидение за то, что я не женился на моей дорогой мисс Фидлер: как знать, что меня ожидало? В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным. Во всяком случае, господин Сидрак, вы обещали мне свою помощь во всем, что касается моего мочевого пузыря.

— Всегда к вашим услугам, — отвечал Сидрак, — но гоните прочь дурные мысли.

Говоря так, Гудман словно бы предвидел свою участь.

Глава седьмая

На следующий день трое философов обсуждали великую загадку: «Что прежде всего руководит всеми человеческими поступками?» Гудман, который еще не примирился с потерей своей бенефиции и возлюбленной, сказал, что в основе всего лежит любовь и честолюбие. Больше повидавший свет Гру сказал, что деньги; а великий анатом Сидрак стал уверять, что стульчак. Оба гостя несказанно удивились; и вот как ученый Сидрак доказал это положение:

— Я всегда замечал, что все дела на этом свете зависят от мнения и желания какого-либо главенствующего лица, будь то короля, будь то премьер-министра, будь то старшего приказчика. Так вот это мнение и это желание являются прямым следствием того, как жизненные силы фильтруются в мозжечок и оттуда в продолговатый мозг: эти жизненные силы зависят от кровообращения; кровь зависит от образования млечного сока; млечный сок вырабатывается в складках брыжей-

¹ Сделал подобье богов, которые всем управляют! (лат.)
О в и д и й. Метаморфозы, I, 83.

ки; брыжейка связана с кишками тончайшими протоками; кишки, с вашего разрешения, заполнены дерьмом: так вот, несмотря на три плотные оболочки, которыми одета каждая кишка, она сквозит, как решето,— ибо все в природе пронцаемо, и нет такой ничтожной песчинки, в которой не было бы сотен пор. Сквозь пушечное ядро можно пропустить тысячи игл, найдись только достаточно тонкие и крепкие. Так что же случается с человеком, страдающим запором? Самые тонкие, самые нежные частицы его дерьма примешиваются в сосудах Азелли к млечному соку, идут в воротную вену и в млечную цистерну Пеке; проходят в подключичную вену и проникают в сердце самого галантного мужчины, да и самой кокетливой дамы. Все тело орошается насыщенным раствором кала. Если этот раствор затопляет плотные ткани, сосуды и железы человека желчного, его раздражение оборачивается свирепостью; белки глаз воспаляются и темнеют, губы спекаются, все лицо идет пятнами, кажется, что он вот-вот кинется на вас: не приближайтесь к нему и, если он государственный министр, не вздумайте подавать ему прошение, он смотрит на всякую бумагу с вождедением и лишь мечтает использовать ее по стародавнему и отвратительному обыкновению европейцев. Сначала ловко осведомитесь у его любимого камердинера, был ли у монсеньера сегодня утром стул.

Это важнее, чем может показаться на первый взгляд. Запоры подчас являлись причиной самых кровавых событий. Мой дед, доживший до ста лет, был аптекарем у Кромвеля; он часто рассказывал мне, что, когда Кромвель приказал обезглавить своего короля, он неделю кряду не ходил в нужник.

Все, кто хоть сколько-нибудь осведомлены о делах на континенте, знают, как часто предостерегали герцога де Гиза Исполосованного никогда не сердить Генриха III зимой, когда дует норд-вест. В такое время король справлял нужду лишь с превеликим трудом. Его дерьмо бросалось ему в голову, и тогда он был способен на любую жестокость. Герцог де Гиз не послушался мудрого совета: и что же получилось? И он, и его брат были убиты.

Карл IX, предшественник Генриха III, страдал такими запорами, как никто в его королевстве. Проходы

его ободочной и прямой кишок были до того забиты, что в конце концов у него из всех пор брызнула кровь. Каждому хорошо известно, что его бешеный нрав послужил одной из главных причин Варфоломеевской ночи.

Напротив, люди полные, с бархатистыми внутренностями, со свободными желчными протоками, легкой и ритмической перистальтикой, у которых каждое утро сразу же после завтрака бывает хороший стул — что стоит им не больше, чем другому плюнуть, — такие любимцы природы обычно мягки, приветливы, любезны, предупредительны, участливы, готовы услужить. «Нет» в их устах звучит приятнее, чем «да» в устах человека, страдающего запором.

Стульчак настолько всемогущ, что обыкновенный понос часто порождает в человеке слабодушие. А дизентерия превращает его в труса. Не предлагайте солдату, ослабленному недосыпанием, изнурительной лихорадкой и десятками гнилостных испражнений, идти среди бела дня на приступ равелина. Поэтому мне трудно поверить, будто у всей нашей армии в битве при Азенкуре была, как это утверждают, дизентерия и будто она выиграла сражение со спущенными штанами. Возможно, у нескольких солдат, набивших себе в пути желудки незрелым виноградом, и сделался понос, а историки изобразили дело так, что вся заболевшая армия сражалась с голым задом, и дабы не показать его французским петиметрам, разбила их *наголову*, по выражению иезуита Даниэля.

*Пример того, как пишется история*¹.

Совершенно так же французы в один голос твердили, будто наш великий Эдуард III велел выдать ему шесть граждан Кале с веревкой на шее, дабы их повесить за то, что они осмелились мужественно выдержать осаду, и будто его жена, обливаясь слезами, вымолила им прощение. Эти выдумщики не знают, что, по обычаю тех варварских времен, граждане должны были с веревкой на шее предстать перед победителем, если слишком долго задерживали его перед стенами своего городишки. Но, конечно, великодушный Эдуард и в мыслях не имел удавить шестерых заложников;

¹ Стих из пьесы Вольтера «Шарло» (I, VII).

напротив, он осыпал их подарками и почестями. Я устал от пошлостей, которыми многие из этих, с позволения сказать, историков уснащают свои хроники, и от их прескверно описанных битв. Почему бы тогда не поверить, что Гедеон одержал блистательную победу с тремястами кувшинов. Теперь, благодарение богу, я читаю исключительно книги по естественной истории, лишь бы какой-нибудь Бернет, или Уистон, или Вудворд не докучали мне своими проклятыми системами; какой-нибудь Майе не вещал, что Ирландское море породило Кавказский хребет и что наша планета из стекла; лишь бы мне не выдавали безобидный тростник за прожорливое животное, а коралл — за насекомое; лишь бы шарлатаны нагло не выдавали бы мне свои бредни за истины. Превыше всего я ставлю правильный режим, который поддерживал бы равновесие жидкостей у меня в организме и обеспечивал мне отличное пищеварение и крепкий сон. Пейте горячее в холод и прохладное в жару; соблюдайте во всем меру; переваривайте, спите, получайте удовольствие и плюйте на все прочее.

Глава восьмая

В то время, как г-н Сидрак произносил мудрые эти слова, г-ну Гудману доложили, что у подъезда его ждет в своей карете управляющий покойного графа Честерфилда, желающий видеть его по срочному делу. Гудман бежит выслушать распоряжения господина управляющего, а тот, попросив его сесть рядом, говорит ему:

— Сударь, вам, вероятно, известно, что произошло с господином и госпожой Сидрак в их первую брачную ночь?

— Да, сударь; только вчера он рассказал мне об этом маленьком сюрпризе.

— Так вот! То же самое приключилось с прекрасной мисс Фидлер и ее мужем, священником. На следующий день они подрались; а еще через день расстались, и у господина священника отобрали его бенефицию. Я люблю Фидлер, знаю, что она любит вас; но и я ей не противен. Меня не смущает маленькая неприятность, послужившая причиной их развода; я влюб-

лен и бесстрашен. Уступите мне мисс Фидлер, и я вам добуду этот приход, который обеспечит вам сто пятьдесят гиней ежегодно. Даю вам всего десять минут на размышление.

— Ваше предложение, сударь, весьма деликатного свойства; мне необходимо посоветоваться с моими философами Сидраком и Гру; я незамедлительно буду к вашим услугам.

Он летит назад к своим двум советчикам.

— Я вижу,— говорит он,— что не одно лишь пищеварение управляет делами мира сего, но что любовь, честолюбие и деньги тоже немало значат.

Он излагает им суть дела и просит тут же его разрешить. Оба приходят к заключению, что со ста пятьюдесятью гинеями в год Гудман будет иметь всех девушек своего прихода и еще мисс Фидлер в придачу.

Гудман оценил всю мудрость этого решения; он получил приход, втайне получил мисс Фидлер, что было намного слаще, нежели иметь ее собственной женой. Г-н Сидрак не преминул оказать ему по этому случаю свои добрые услуги. Гудман сделался одним из самых непреклонных священнослужителей Англии, и он более чем когда-либо убежден, что всем в этом мире правит рок.



Приложения

ЗАДИГ

Варианты первого издания

1

Спустя некоторое время к нему привели человека, относительно которого было неопровержимо доказано, что шесть лет назад он совершил убийство. Два свидетеля утверждали, что видели это своими глазами; они называли место, день и час; на допросах они твердо стояли на своем. Обвиняемый был заклятым врагом убитого. Многие видели его с оружием в руках как раз на той дороге, где было совершено убийство. Никогда еще улики не были более вескими, и тем не менее человек этот отстаивал свою невиновность с таким видом собственной правоты, что это могло уравновесить все улики даже в глазах умудренного опытом судьи. Он вызывал жалость, но не мог избежать наказания. На судей он не жаловался, он лишь корил судьбу и был готов к смерти. Мемнон сжалился над ним и решил узнать правду. К нему привели обоих доносчиков, одного за другим. Первому он сказал:

— Я знаю, друг мой, что вы добрый человек и безупречный свидетель. Вы оказали большую услугу родине, указав на убийцу, совершившего свое преступление шесть лет назад, зимой, в дни солнцестояния, в семь часов вечера, когда лучи солнца освещали все вокруг.

— Господин мой,— ответил ему доносчик,— я не знаю, что такое солнцестояние, но это был третий день недели и действительно солнце так и сияло.

— Идите с миром,— сказал ему Мемнон,— и будьте всегда добрым человеком.

Затем он приказал явиться второму свидетелю и сказал ему:

— Да сопутствует вам добродетель во всех ваших делах. Вы прославили истину и заслуживаете вознаграждения за то, что уличили одного из своих сограждан в злодейском убийстве, совершенном шесть лет назад при священном свете полной луны, когда она была на той же широте и долготе, что и солнце.

— Господин мой,— ответил доносчик,— я не разбираюсь ни в широте, ни в долготе, но в то время действительно светила полная луна.

Тогда Мемнон велел снова привести первого свидетеля и сказал им обоим:

— Вы два нечестивца, оклеветавшие невинного. Один из вас утверждает, что убийство было совершено в семь часов, до того, как солнце скрылось за горизонт. Но в тот день оно зашло ранее шести часов. Другой настаивает, что смертельный удар был нанесен при свете полной луны, но в тот день луна и не показывалась. Оба вы будете повешены за то, что были лжесвидетелями и плохими астрономами.

Каждый день Мемнон выносил подобные решения, свидетельствующие о тонкости его ума и доброте сердца. Народ обожал его, царь осыпал милостями. Невзгоды молодости увеличивали цену теперешнего его благополучия. Но каждую ночь ему виделся сон, приводивший его в уныние. Сперва ему приснилось... (И далее — как в последнем абзаце главы «Диспуты и аудиенции».)

II

Ко двору беспрестанно приходили жалобы на наместника Мидии по имени Иракс. У этого вельможи было, в сущности, не злое сердце, но он был испорчен тщеславием и сластолюбием, не прислушивался к замечаниям и не терпел противоречий. Тщеславный, как павлин, сладострастный, как голубь, и ленивый, как черепаха, он жил одной мнимой славой и мнимыми удовольствиями. Задиг решил исправить его.

От имени царя он прислал к нему капельмейстера с двенадцатью певцами и двадцатью четырьмя скрипачами, дворецкого, с шестью поварами и четырех камер-

геро, которые должны были постоянно находиться при нем. По царскому указу было предписано строго соблюдать следующий этикет: в первый же день, как только сладострастный Иракс проснулся, капельмейстер вошел в сопровождении певцов и скрипачей; битых два часа они пели кантату, через каждые три минуты повторяя следующий припев:

Он даровит необычайно —
Такого никому не снилось.
Ах, вы должны быть чрезвычайно
Собой довольны, ваша милость!

После исполнения кантаты камергер в течение трех четвертей часа говорил приветственную речь, в которой восхвалял Иракса за все добродетели, которых тот не имел. По окончании речи его повели к столу при звуках музыки.

Обед продолжался три часа. Как только Иракс открывал рот, собираясь что-то сказать, первый камергер восклицал: «Он будет прав!» Едва он произносил слово, как второй камергер кричал: «Он прав!» Двое других разражались громким смехом, когда Иракс острил или только еще собирался сострить.

После обеда еще раз пропели кантату.

В первый день Иракс был вне себя от радости: он думал, что царь царей чествует его по достоинствам; второй день был ему уже не так приятен, на третий все это стало для него тягостным, на четвертый — невыносимым, а на пятый — настоящей пыткой; наконец его так измучило постоянное:

Ах, вы должны быть чрезвычайно
Собой довольны, ваша милость! —

и так надоело постоянно слышать, что он прав, и каждый день в один и тот же час внимать приветствиям, что он написал царю, умоляя снизойти и отозвать камергеров, скрипачей и дворецкого. Иракс обещал впредь быть менее тщеславным и более усердным. И в самом деле, он перестал гоняться за лестью, реже устраивал празднества и почувствовал себя куда более счастливым, ибо, как сказано в «Саддере», «всегда наслаждаться — значит вовсе не наслаждаться».

<ДВЕ ГЛАВЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ
РЕДАКЦИЮ ПОВЕСТИ «ЗАДИГ»>

(Были помещены после главы «Свидания»)

ТАНЕЦ

Сетоку нужно было поехать по торговым делам на остров Серендиб, но в первый месяц супружества (который, как известно, называется медовым) он даже представить себе не мог, что когда-нибудь — не только сейчас, но и в далеком будущем — расстанется с женой. Поэтому он попросил Задига съездить вместо него.

«Увы,— подумал Задиг,— неужели мне придется еще больше увеличить расстояние, отделяющее меня от прекрасной Астарты? Но я должен служить своим благодетелям». Сказав это, он поплакал и отправился в путь.

Пробыв совсем недолго на острове Серендиб, Задиг прослыл среди жителей человеком необыкновенным. Он стал посредником-судьею во всех спорах между купцами, другом мудрецов и советником тех немногих, которые принимают советы. Царь острова пожелал повидать его и побеседовать с ним. Он быстро оценил достоинства Задига и, убедившись в его мудрости, сделал его своим другом. Дружба и уважение царя пугали Задига. День и ночь он помнил о несчастье, которое навлекла на него благосклонность Моабдара. «Я нравлюсь царю,— думал он,— не приведет ли это меня к гибели?» Однако он не мог противиться благосклонности его величества, ибо нельзя не признать, что Набусан, царь Серендиба, сын Нусанаба, сына Набасуна, сына Санбуна, был одним из лучших государей Азии, и тому, кто беседовал с ним, трудно было не полюбить его.

Этого доброго монарха в одно и то же время превозносили, обманывали и обкрадывали. Всякий тащил, сколько мог. Главный сборщик податей на острове Серендиб подавал пример, которому в точности следовали остальные. Зная это, царь много раз менял казначеев, но не мог изменить установившегося обыкновения делить царские доходы на две неравные части, из которых меньшая шла царю, а бóльшая — управителям.

Царь рассказал о своей горе мудрому Задигу.

— Вы так много знаете,— сказал он ему,— посоветуйте мне, как найти казначея, который бы меня не обкрадывал.

— Что ж,— отвечал Задиг,— я знаю верный способ найти человека, чистого на руку.

Обрадованный царь спросил, обнимая его, что это за способ.

— Заставьте всех, кто станет домогаться места казначея, протанцевать перед вами,— сказал Задиг.— Тот, кто протанцует с наибольшей легкостью, непременно окажется самым честным человеком.

— Вы шутите! — воскликнул царь.— Вот удивительный способ выбирать сборщика моих доходов! Неужели вы серьезно утверждаете, что тот, кто лучше других делает антраша, будет искуснее и честнее всех в управлении казной?

— Не ручаюсь, что он будет искуснее,— сказал Задиг,— но утверждаю, что, несомненно, будет честнее прочих.

Задиг говорил уверенно, и царь решил, что он и в самом деле умеет каким-то сверхъестественным способом распознавать казначеев.

— Я не люблю ничего сверхъестественного,— сказал Задиг.— Люди, совершающие чудеса, и книги, которые их расписывают, никогда мне не нравились. Если вы позволите мне, ваше величество, проделать этот опыт, то убедитесь, что способ мой очень прост и всем доступен.

Набусан, царь Серендиба, удивился еще более, услышав, что этот способ прост и что Задиг не выдает его за чудо.

— Ну, хорошо,— сказал он,— делайте как знаете.

— Только предоставьте мне полную свободу, и вы получите от этого опыта больше выгоды, чем ожидаете,— сказал Задиг.

В тот же день он от имени царя объявил, что домогающиеся места главного сборщика податей его всемиловейшего величества Набусана, сына Нусанаба, нарядившись в легкие шелковые одежды, должны собраться в царской передней в первый день месяца Крокодила. Явились шестьдесят четыре человека. В соседний зал привели скрипачей и приготовили все для бала; но дверь в этот зал была заперта, и, чтобы попасть

в него, надо было пройти через узкую и довольно темную галерею. Служитель вызывал и провожал каждого из кандидатов поодиночке, оставляя их на несколько минут одних в галерее. Царь, знавший, в чем дело, выставил в этой галерее свои сокровища. Когда все искатели вошли в зал, его величество приказал начать танцы. Никогда еще на свете не было столь тяжеловесных и неуклюжих танцоров: головы у них были опущены, спины согнуты, руки точно приклеены к бедрам. «Ах, мошенники!» — негодовал про себя Задиг. Только один из них выделялся изящные па и, высоко держа голову, смотрел с уверенностью, свободно двигаясь, не горбясь и не сгибая колен.

— Вот честный и благородный человек! — повторял Задиг.

Царь обнял этого танцора и назначил его своим казначеем. Остальные же были подвергнуты наказанию и оштрафованы по всей справедливости, ибо каждый во время своего пребывания в галерее до того набил карманы, что с трудом поворачивался. Царь горько сетовал на человеческую природу, когда обнаружил, что из шестидесяти четырех танцоров только один не оказался плутом. Темную галерею называли «галереей искушения». В Персии этих шестьдесят трех вольмож посадили бы на кол, в других странах учредили бы следственную комиссию, которая израсходовала бы втрое больше украденной суммы и ничего не возвратила бы в казну государя; а кое-где, оправдав воров, подвергли бы опале ловкого танцора. В Серендибе же их только присудили пополнить государственную казну, потому что Набусан был очень снисходителен.

Исполненный благодарности, он подарил Задигу такую крупную сумму денег, какой никогда еще ни одному казначею не удавалось украсть у своего монарха. Задиг употребил эти деньги на посылку гонца в Вавилон, дабы получить сведения о судьбе Астарты. Голос его дрожал, когда он отдавал это приказание, кровь прилила к сердцу, в глазах потемнело, и он едва не лишился чувств. Задиг проводил гонца, постоял на берегу, пока тот садился на корабль, а потом пошел к царю и, не видя ничего и думая, что он один в комнате, громко произнес слово «любовь».

— Ах, любовь, — сказал царь, — о ней-то я и думаю

всечасно! Вы угадали, какое горе меня гложет. Вы истинно великий человек и, надеюсь, научите меня, как найти искренне преданную мне женщину, так же как помогли мне найти бескорыстного казначея.

Овладев собой, Задиг обещал помочь ему в любви, как помог в финансах, хотя сделать это будет неизмеримо труднее.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА

— Мое тело и сердце...— сказал царь Задигу. При этих словах вавилонянин не удержался и прервал его величество.

— Как я благодарен вам, что вы не сказали: «ум и сердце»! — воскликнул он.— В Вавилоне только и речи что о них; книги тоже полны рассуждениями об уме и сердце, хотя сочинены они людьми, у которых нет ни того, ни другого. Но, молю вас, государь, продолжайте.

Набусан снова заговорил:

— Мое тело и сердце созданы для любви. Что касается тела, оно получает полное удовлетворение. К моим услугам здесь сто женщин — прекрасных, идущих навстречу царским желанием, предупредительных, даже страстных или прикидывающихся страстными. Но сердце мое далеко не так счастливо: я слишком хорошо понимаю, что эти женщины ласкают царя серендибского, а до Набусана им нет дела. Я не хочу сказать, что подозреваю своих жен в неверности, нет, но я мечтаю найти женщину, которая всей душой была бы моею. За такое сокровище я отдал бы всех красавиц, чьими прелестями обладаю. Попытайтесь найти среди сотни моих жен хотя бы одну, в чьей любви я мог бы не сомневаться.

Задиг ответил ему теми же словами, что и на просьбу о казначее:

— Государь, предоставьте мне свободу действий и прежде всего позвольте располагать по своему усмотрению драгоценностями, которые были выставлены в «галерее искушения». Обещаю вернуть их вам в целости.

Царь согласился ни в чем ему не препятствовать. Тогда Задиг дал позволение тридцати трем самым безобразным во всем Серендибе горбунам, тридцати трем

прекраснейшим пажам и тридцати трем самым красноречивым и сильным бонзам в любое время свободно входить в покои султанш. Каждый горбун мог подарить султанше четыре тысячи золотых, и в первый же день все горбуны были осчастливлены. Пажи, которые не могли дать ничего, кроме самих себя, восторжествовали лишь по прошествии двух или трех дней. Бонзам стоило еще большего труда одержать победу, но наконец тридцать три ханжи все же отдались им. Царь наблюдал все это сквозь жалюзи своих окон, из которых видны были комнаты султанш, и был крайне изумлен. Из ста жен девяносто девять изменили ему на его глазах.

Верной его величеству осталась лишь совсем молоденькая девушка, недавно привезенная, к которой он еще ни разу не приближался. К ней подсылали одного, двух, трех горбунов, которые предлагали ей до двадцати тысяч золотых, но она была неподкупна и только смеялась над горбунами, полагавшими, что золото их красит. Затем к ней подослали двух самых красивых пажей, но она сказала, что царь, на ее взгляд, красивее их. Тогда к ней впустили самого красноречивого из бонз, а потом самого предприимчивого,— первого она назвала болтуном, а у второго вообще не нашла ни малейших достоинств.

— Тут решает сердце,— говорила она.— Я никогда не поддамся ни золоту какого-то горбуна, ни прелестям какого-то юнца, ни искушениям какого-то бонзы, я буду вечно любить одного только Набусана, сына Нусанаба, и буду ждать, пока он удостоит меня своей любви.

Царь был вне себя от радости, удивления и нежности. Он отобрал все деньги, доставившие горбунам успех, и подарил их прекрасной Фалиде,— так звали эту молодую женщину. Он отдал ей свое сердце; она этого вполне заслужила, ибо никогда еще молодость не расцветала так пышно, никогда красота не была столь пленительна. Верность исторической правде не позволяет умолчать о том, что она дурно делала реверанс, зато танцевала она, как фея, пела, как сирена, умела вести беседу, как грация, и вообще была преисполнена талантов и добродетелей.

Набусан, любимый ею, обожал ее. Но у нее были голубые глаза, что и послужило источником великих

несчастий. Существовал древний закон, запрещающий царям любить тех женщин, которых греки называли *Bounis*¹. Придумал его пять тысяч лет назад верховный бонза: он возвел это проклятие на голубые глаза в основной закон государства только ради того, чтобы завладеть любовницей первого из царей Серендиба. К Набусану явились с увещеваниями представители всех сословий; ораторы откровенно говорили о том, что наступили последние дни государства, что испорченность нравов достигла предела, что всему миру грозит страшное бедствие, что, одним словом, Набусан, сын Нусанаба, любит два больших голубых глаза; горбуны, сборщики податей, бонзы и брюнетки оглашали государство громкими сетованиями.

Дикие племена, жившие на севере Серендиба, воспользовались общим недовольством и вторглись во владения доброго Набусана. Он попросил у своих подданных денежной помощи, но бонзы, владевшие половиной государственных доходов, ограничились тем, что воздели руки к небу и отказались опустить их в свои сундуки, чтобы помочь царю. Они положили на музыку очень красивые молитвы, а государство отдали на разграбление варварам.

— О мой дорогой Задиг! Не сможешь ли ты мне и на этот раз выпутаться из беды? — горестно воскликнул Набусан.

— С величайшей охотой, — отвечал Задиг. — Вы получите от бонз столько денег, сколько захотите. Оставьте на произвол судьбы землю, на которых расположены их замки, и защищайте только свои.

Набусан так и сделал. Бонзы пришли, пали к ногам царя и стали просить о помощи. Царь отвечал им молитвой о спасении их земель, положенной на прекрасную музыку. Тогда бонзы дали денег, и царь счастливо закончил войну.

Так Задиг своими мудрыми и благими советами и величайшими заслугами навлек на себя непримиримую ненависть самых могущественных людей в государстве. Бонзы и брюнетки поклялись его погубить, сборщики податей и горбуны тоже не щадили его; наконец, они внушили недоверие к нему даже доброму Набусану.

¹ Волоокая (греч.).

Заслуги часто остаются в передней, а подозрения проникают в покои государя, как говорит Зороастр. Каждый день рождались новые обвинения, а, как известно, первое обвинение не достигает цели, второе задевает, третье ранит, четвертое убивает.

Все это встревожило Задига, и так как он счастливо закончил дела своего друга Сеток и уже отослал ему деньги, то думал теперь лишь о том, как бы уехать с острова и самому разузнать о судьбе Астарты. «Ибо,— говорил он себе,— если я останусь на Серендибе, бонзы посадят меня на кол... Но куда двинуться? В Египте я буду рабом, в Аравии меня, по всей вероятности, сожгут, в Вавилоне удавят. Но все же я должен узнать, что с Астартой. Поедем и посмотрим, что готовит мне моя печальная судьба».

На сем кончается найденная нами рукописная история Задига. Эти две главы, несомненно, должны быть помещены после главы двенадцатой, то есть до прибытия Задига в Сирию: известно, что у него было много других приключений, потом прилежно описанных. Просят лиц, знающих восточные языки, сообщить об этих записях, если оные попадут к ним в руки.





Комментарии

ЗАДИГ, ИЛИ СУДЬБА

Zadig, ou la Destinée

Первая повесть Вольтера была написана в весенние месяцы 1747 г. и летом была напечатана — анонимно и под названием «Мемнон. Восточная повесть». В сентябре 1748 г. книга вышла под своим окончательным названием. Затем Вольтер неоднократно переиздавал «Задига», порой внося в текст весьма существенные исправления и замены; ряд вариантов (в том числе две главки — «Танец» и «Голубые глаза») были обнаружены среди рукописей писателя и опубликованы в первом посмертном издании его сочинений (см. «Приложения»).

Стр. 21. *Саади* (1203—1291) — великий персидский поэт, был весьма популярен в Европе во времена Вольтера (первый французский перевод Саади появился в 1634 г.). Но события повести «Задиг» происходят на два столетия позже эпохи Саади.

Султанша Шераа.— Современники Вольтера полагали, что писатель имел в виду г-жу де Помпадур (1721—1764), возлюбленную короля Людовика XV.

Шеваль (правильнее — Шеввал) — десятый месяц мусульманского календаря.

Хиджра — год переселения, или бегства, Магомета из Мекки в Медину (622 г.), ставший первым годом нового мусульманского летосчисления. В переводе на европейский календарь 837 г. хиджры приблизительно соответствует 1435 г.

Стр. 22. *Улуг-бек* Мухаммед Тарагай (1394—1449) — узбекский математик и астроном, внук Тимура. С 1409 г. был правителем Самарканда, где вел большое строительство, с 1447 г. — глава династии Тимуридов.

«Тысяча и один день» — сборник персидских сказок, изданный Франсуа Пети де Ла Круга в переводе на французский язык

в 1710—1712 гг. и столь же популярный во Франции, как и перевод Антуана Галлана знаменитых арабских сказок «Тысячи и одной ночи» (выходил с 1704 г.).

Фалестрида — по преданию, царица амазонок, пожелавшая иметь сына от Александра Македонского (арабы называли его Искандер или Скандер) и посетившая великого полководца древности во время одного из его походов в Азию.

Царица Савская — легендарная правительница арабского племени, населявшего территорию современного Йемена. Упоминается во многих древних источниках, в том числе в Ветхом Завете.

Стр. 23. *Из первой книги Зороастра...* — Зороастру (Заратуштре), легендарному основателю древнеперсидской религии, приписывается серия книг («Авеста»), первая из которых, «Вендидад», представляет собой свод религиозных предписаний. «Авеста» была впервые переведена на французский язык только в 1771 г.; Вольтер в пору работы над «Задигом» знал эти книги древних персов лишь в сокращенных изложениях, поэтому все его ссылки на Зороастра — мнимые.

Халдеи — семитическое племя, обитавшее со второго тысячелетия до н. э. на берегах Персидского залива и не раз воевавшее с Ассирией и Вавилоном.

Стр. 24. *Оркан.* — Под этой прозрачной анаграммой, вероятно, скрывается намек на шеваляе де Рогана, аристократа, враждовавшего с Вольтером: в 1726 г. в Париже слуги де Рогана по приказу хозяина напали на Вольтера и избили его палками.

Имаус — древнее название Гималайских гор.

Стр. 25. *Мемфис* — древняя столица Египта; расположен весьма далеко от Вавилона.

Гермес Трисмегист (то есть «Трижды великий») — легендарный египетский мудрец и ученый.

Стр. 26. *Нос.* — Эта глава навеяна романом древнеримского писателя I в. н. э. Петрония «Сатирикон» (эпизод «Матрона из Эфеса»). Однако Вольтер нашел сходные мотивы и в одной китайской сказке, приведенной Жаном-Батистом Дюальдом в его книге «Описание Китая» (1735), которая имелась в библиотеке Вольтера. На использование сюжета этой китайской сказки писатель сам указал в одной из поздних рукописных заметок.

Стр. 27. *Арну* — популярный во времена Вольтера французский аптекарь, широко пропагандировавший средство от апоплексии.

...по мосту Чинавар... — В представлении мусульман таков был путь в загробный мир.

Книга Зенд — перевод-комментарий на среднеперсидский язык книг «Авесты» («Зендавеста»).

...сколько дюймов воды проходит в одну секунду под арками моста... — намек на псевдонаучные изыскания французского ученого Пито, напечатавшего на подобную тему доклад в 1732 г.

Стр. 28. *...чем в месяце Овна.* — Вольтер намекает на метеорологические открытия известного в свое время французского ученого Филиппа Лаира (1640—1718).

...изготавливать шелк из паутины... — намек на работу французского естествоиспытателя Б. де Сент-Илера «Рассуждение о пауке» (1710).

...фарфор из разбитых бутылок... — В данном случае Вольтер насмехается над ученым Рене-Антуаном де Реомюром (1683—1757), неоднократно представлявшим Академии наук проект производства фарфора из стекла. Эти издевки, помимо принципиальных, имели и личные мотивы: Реомюр отказался поддержать кандидатуру Вольтера в Академию.

Однажды, когда Задиг прогуливался... — В этом эпизоде Вольтер использует сюжет арабской сказки, включенной в перевод романа итальянского писателя Армено Кристофоро «Путешествия и приключения трех принцев» (1548). Критик Фрерон, известный враг Вольтера и энциклопедистов, не преминул обвинить писателя в «плагиате».

Стр. 29. *Денье* — старинная французская монета большого достоинства.

Дестерхам (или Дефтердар) — титул главного казначея в Персии и Турции.

Оромазд — божество добра в древнеперсидской религии.

Стр. 31. *...о законе... запрещавшем есть грифов...* — насмешка над Библией: об этом запрете говорится во «Второзаконии» (XIV, 12).

Теург — буквально «богосоздатель» (греч.).

Иебор. — Под этой анаграммой скрыт намек на Жана-Франсуа Буайе (1675—1755), епископа Морепу, заклятого врага Вольтера.

...что кролики не принадлежат к нечистым животным... — Это опять насмешка над Библией, где запрещается употреблять в пищу кроликов («Второзаконие», XIV, 7).

Стр. 32. *...мстил ему клеветой.* — Мысль, возможно, навеянная чтением французского писателя-моралиста Мишеля Монтеня (1533—1592), который в своих «Опытах» (кн. III, гл. 7) заметил: «Не имея возможности достичь высокого положения, давайте очерним его».

...князем Гирканским.— Гиркания — область в древней Персии, расположенная южнее Каспийского моря.

Стр. 34. ...а от монархов, любящих стихи, можно многого ждать...— Быть может, намек на прусского короля Фридриха II, как раз в это время завязывавшего отношения с Вольтером.

Стр. 38. ...чем ваш брат.— В издании 1747 г. следом за этой фразой шел отрывок, затем снятый Вольтером (см. «Приложения»).

Акуиденция — термин средневековой схоластики, обозначающий преходящее, изменчивое, в противоположность субстанции — неизменной сущности вещей.

...монады и предустановленная гармония.— Насмешка над теориями немецкого философа Вильгельма Лейбница (1646—1716). Эти строки были внесены в текст повести после 1752 г., когда Вольтер пересмотрел свое отношение к взглядам Лейбница. В философии последнего монадами называются составляющие мир самостоятельные духовные сущности, которые обладают способностью движения. Связь монад между собой является результатом якобы предустановленной богом гармонии.

...ты женишься на его матери.— Далее в издании 1748 г. следовал большой эпизод, снятый автором в 1756 г. (см. «Приложения»).

Стр. 39. *Митра* — в древнеперсидской мифологии — бог священного огня и солнца.

...он не заставил пуститься в пляс горы и холмы.— Здесь и далее Вольтер пародирует стиль Ветхого Завета; ср.: «Горы прыгали, как овцы, и холмы, как агнцы» («Псалтырь», СХІІІ, 4).

...море не отступает от берегов...— Ср. в Библии: «Море увидело и побежало» («Псалтырь», СХІІІ, 3).

...звезды не падают...— Ср.: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!» («Исаия», ХVІ, 12).

...солнце не тает, как воск.— Ср. в Библии: «Горы с водами подвигнутся с оснований, и камни, как воск, растают от лица твоего» («Иудифь», ХІV, 15).

...такие пиесы давно уже вышли из моды...— намек на так называемую «слезную комедию», зачинателем которой был французский драматург Нивель де Лашоссе (1692—1754). Вольтер был противником смещения театральных жанров, полагая, что комедия должна смешить, а трагедия — внушать ужас.

Стр. 40. *Зендавеста*.— Здесь Вольтер принял название книги за имя божества.

Стр. 49. *Пустыня Хорив* — северная часть Аравийской пустыни, около современного египетского города Рас-Гариб.

Стр. 51. *Земля гангаридов* — то есть народов, живущих за рекой Ганг.

Стр. 53. *Бассора* — очевидно, современный город Басра, расположенный на юге Ирака на реке Тигр при его впадении в Персидский залив.

Катай — так в Европе назывался Восточный Китай.

Стр. 54. *Брама* (или *Брахма*) — одно из верховных божеств в индуизме, творец и блюститель общего порядка.

Апис — священный бык у древних египтян.

Оаннес — священная рыба древних халдеев.

Стр. 55. ...наши календари насчитывают четыре тысячи веков.— Действительно, халдейский календарь был одним из древнейших в мире.

Камбалу — старое название Пекина.

Тейтат — одно из верховных божеств древних галлов.

Омела — это растение почиталось древними галлами; в его честь устраивались празднества (обычно в первый день нового года); считалось, что омела помогает от всех болезней.

...скифы, его предки...— Так полагали во времена Вольтера; в настоящее время родство скифов с кельтами наукой отвергнуто.

Стр. 56. ...жрецы звезд...— то есть арабские священнослужители.

Стр. 58. ...башни горы Ливанской...— В этом описании Вольтер имитирует стиль одной из книг Библии — «Песни песней», где, в частности, говорится: «Нос твой — башня Ливанская, обращенная к Дамаску» (VII, 5).

Стр. 59. *Разбойник*.— Перед этой главой в первом посмертном издании произведений Вольтера были напечатаны главы «Танец» и «Голубые глаза», обнаруженные в бумагах писателя.

Стр. 65. ...могут прикасаться одни только женщины.— Речь идет о фантастическом смертоносном животном (змее), вера в которого была еще широко распространена во времена Вольтера; взгляд василиска считался смертельным, но существовало поверье, что василиск не может причинить вреда женщине.

Стр. 71. ...и благословение магов.— Этот эпизод переключается с одной из сказок «Тысячи и одной ночи» (ночи 11—13).

Стр. 72. ...возможность пристрастия и несправедливости.— Описывая этот своеобразный конкурс, Вольтер во многом следовал за Ариосто («Неистовый Орландо», песнь XVII), который рассказал о военном состязании в Дамаске (то есть на Ближнем Востоке) в духе европейских рыцарских турниров.

Стр. 75. *Отшельник*.— Враг Вольтера, литературный критик Фрерон (1718—1776), обвинил писателя в плагиате, утверждая,

что сюжет этой главы заимствован из одноименной поэмы английского поэта Томаса Парнела, изданной в 1721 г. Однако эти придирки были совершенно необоснованны: прославление уединенной жизни встречается в большом числе литературных и философских текстов древности, начиная с Корана (Сура 18). Сюжет этой главы «Задига» ближе всего к одному из рассказов средневекового латинского сборника «Римские деяния» (XIII в.).

КРИВОЙ КРЮЧНИК

Le Crocheteur borgne

Этот рассказ был написан Вольтером, по-видимому, в ноябре или декабре 1747 г., то есть в то время, когда писатель гостил у герцогини дю Мэн (Луиза де Бурбон; 1676—1753). Впрочем, некоторые исследователи склонны видеть в «Кривом крючнике» юношеский опыт Вольтера и датируют его 1714 г. Созданный для развлечения небольшого светского кружка, рассказ не предназначался для печати, однако он попал в 1774 г. в «Дамский журнал», где был напечатан с большими искажениями и без указания автора. Впервые издан по рукописи в 1784 г. в первом посмертном Собрании сочинений Вольтера.

Стр. 88. *...могла быть застигнута с Титоном...*— Имеется в виду миф о браке богини утренней зари Авроре (Эос), прекрасной, золотокудрой, розовокожей девушки, с Титоном, братом Приама. Аврора выпросила у богов для своего мужа бессмертие, но забыла испросить вечную юность, и Титон вскоре превратился в отвратительного старика.

Стр. 89. *...из паросского мрамора...*— то есть из ослепительно белого мрамора, добывавшегося на острове Паросе в Эгейском море.

КОЗИ-САНКТА

Cosi-Sancta

Рассказ был написан Вольтером, вероятно, одновременно с предыдущим, то есть в конце 1747 г., хотя и его иногда датируют значительно более ранним временем (1715). Опубликован после смерти автора в 1784 г. Первая публикация была снабжена следующим предупреждением: «Г-жа герцогиня дю Мэн придумала лотерею, в которой разыгрывались темы всевозможных сочи-

нений, в стихах и прозе. Вытащивший билетик должен был написать означенное там сочинение. Г-жа де Монтобан, вытащив тему новеллы, попросила г-на Вольтера написать эту новеллу за нее, и Вольтер предложил ей нижеследующую сказку».

Стр. 91. *Августин* (354—430) — христианский богослов и писатель. Рассказанная далее Вольтером история содержится, однако, не в сочинении Августина «О граде Божием», а в его толковании «Нагорной проповеди».

Гиппон — древний город в Нумидии; здесь Августин был епископом, умер и был похоронен.

...по имени *Кози-Санкта*...— Имя героини рассказа Вольтер составил из двух слов — итальянского и латинского; ее имя может быть переведено как «уж такая набожная» (или «уж такая святая»).

Янсенисты — последователи учения голландского богослова Корнелия Янсения (1585—1638), сторонники строгой религиозной морали. Янсенистов, естественно, не существовало в IV—V вв., когда происходит действие рассказа.

Стр. 94. *Кармелиты* — члены нищенствующего монашеского ордена, основанного в 1154 г. Монахов-кармелитов, конечно, не могло быть во времена Августина.

МИР, КАКОВ ОН ЕСТЬ

Le Monde comme il va

Вольтер написал этот рассказ, очевидно, в конце 1747 г. во время своего пребывания в Со у герцогини дю Мэн. Впервые напечатан в 1748 г. в томе VIII Сочинений Вольтера, издававшихся в Дрездене. Затем неоднократно переиздавался автором, вносящим в текст незначительные изменения.

Стр. 98. *Окс* (правильнее *Оксус*).— Так древние называли Амударью.

Персеполис.— Под этим названием Вольтер изобразил современный ему Париж.

Сеннаарская равнина.— Эта местность упоминается в Библии как расположенная между Тигром и Евфратом.

Стр. 101. ...из *Пиктавской долины*...— Здесь Вольтер имеет в виду старинную французскую провинцию Пуату.

...общественные *фонтаны*...— Вольтер имеет в виду перенцов

парижского водопровода — устроенные в нескольких местах столицы фонтаны, из которых население брало воду.

Стр. 102. *...бронзовые короли...*— Речь идет об установленных в Париже бронзовых статуях королей Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV.

...нашего возлюбленного повелителя? — То есть Людовика XV.

...огромным домом...— Речь идет о Доме инвалидов, основанном в 1670 г. как приют для ветеранов войны.

...с молодым магом...— то есть со светским аббатом, постоянным посетителем великосветских гостиных во времена Вольтера.

Стр. 103. *Сатрап законов.*— Так Вольтер именуется советника парижского парламента, основного судебного учреждения тогдашней столицы.

Стр. 104. *...сорок плебейских царьков...*— Имеются в виду так называемые генеральные откупщики, которые покупали у государства право собирать налоги. В момент написания вольтеровской повести их было действительно сорок.

...в своего рода базилике...— Далее Вольтер описывает посещение Бабуком одного из парижских театров.

Стр. 106. *...в семинарию магов...*— то есть в монастырь.

Полумаг.— Так Вольтер называет, по-видимому, янсениста, то есть священника, придерживающегося взглядов, не вполне признававшихся официальной церковью.

Стр. 107. *Зердюст* — одно из наименований Зороастра, легендарного основателя древнеперсидской религии.

...маленькие девочки пророчат...— Вольтер имеет в виду секту конвульсионеров (близких к янсенистам), устраивавших свои собрания на парижском кладбище святого Медарда (недалеко от Сорбонны). Особая активность этой секты приходится на 1729 г., после чего она была запрещена властями.

Великий лама — то есть папа римский.

Стр. 111. *...увидел маленького старичка...*— Возможно, Вольтер нарисовал здесь портрет министра Людовика XV кардинала Флери (1653—1743).

Стр. 112. *Теона.*— Как полагают, Вольтер изобразил под этим именем свою близкую приятельницу маркизу дю Шатле (1706—1749), в замке которой в Сирэ (Шампань) он провел около десяти счастливейших лет своей жизни.

Стр. 113. *...в отличие от Ионы...*— Речь идет о библейской Книге пророка Ионы, где рассказывается, как Иона (побывавший в результате кораблекрушения в брюхе кита) предрекал гибель жителям города Ниневии.

МЕМНОН, ИЛИ БЛАГОРАЗУМИЕ ЛЮДСКОЕ

Memnon ou la Sagesse humaine

Этот назидательный рассказ был написан в начале 1749 г. Опубликован в том же году в сборнике разных произведений Вольтера.

Стр. 114. *Ниневия* — город на Тигре, столица Ассирии.

Стр. 116. *Америка еще не была открыта...* — намек на сифилис, завезенный спутниками Колумба из Америки.

Стр. 119. *...некоторые поэты...* — Вольтер имеет в виду английского поэта Александра Попа (1688—1744), который в своей философской поэме «Опыт о человеке» отстаивал идею разумности и гармоничности всего сущего.

...некоторые философы... — Вольтер намекает на оптимистические идеи английских философов Энтони Эшли Купера, лорда Шефтсбери (1671—1713) и Генри Блингброка (1678—1751), а также немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716), у которого в данном случае он заимствовал идею бесконечности миров, организованной в стройную иерархическую систему. С Лейбницем Вольтер наиболее последовательно и остро полемизировал в «Кандиде».

ПИСЬМО ОДНОГО ТУРКА

Lettre d'un Turc

Этот маленький рассказ Вольтера был напечатан в томе IX Сочинений писателя, издававшихся в Дрездене (1750). Печатался также под названием «Бабабек и факиры».

Стр. 120. *Бенарес* — город в северной Индии на реке Ганг; он считался родиной брахманизма, религии древних индусов.

Брахманы — члены касты жрецов в Индии, почитатели Брахмы, творца и блюстителя общего порядка. Уже в I тысячелетии до н. э. обязанности жреца стали, как правило, наследственными и брахманы составили замкнутое сословие.

Гимнософисты — так европейцы называли одну из индийских аскетических сект.

Веды — священная книга Древней Индии; распадается на Ригведу (сборник гимнов), Самоведу (сборник песнопений), Яджурведу (собрание жертвенных заклинаний) и Атхарваведу (сборник жреческих заговоров).

Стр. 121. *Ливр* — старинная мера веса, около 490 граммов.

МИКРОМЕГАС

Micromégas

Первое издание повести появилось не ранее марта 1752 г.; она была напечатана в Лондоне без указания года выпуска, но под именем Вольтера. Время работы писателя над повестью точно не известно. Если учесть, что действие «Микромегаса» отнесено к 1737 г. и что в одном из писем 1751 г. автор назвал готовящуюся к изданию повесть «старой шуткой», то можно предположить, что несохранившаяся повесть Вольтера «Путешествие барона де Гангана», рукопись которой писатель послал в июне 1739 г. Фридриху II, и была первым вариантом «Микромегаса».

Стр. 123. *Микромегас*.— Имя героя повести образовано из греческих слов «микро» — малый и «мегас» — великий.

Стр. 124. ...как свидетельствует его сестра...— Вольтер имеет в виду Жильберту Перье (1620—1687), выпустившую в 1684 г. «Жизнеописание» своего брата, великого французского математика, физика и философа Блеза Паскаля (1623—1662).

Муфтий — богослов-правовед, представитель высшего духовенства в странах мусульманского Востока. Под муфтием Вольтер подразумевает главу церковной цензуры.

...ума и сердца.— Здесь Вольтер высмеивает ходячее выражение в литературе и философии XVIII в., в частности, он намекает на сочинение историка и педагога Шарля Роллена (1661—1741) «О преподавании изящной словесности путем обращения к уму и сердцу» (1726—1728). Выражение «ума и сердца» использовалось и в названиях художественных произведений, например, известного в свое время романа Кребийона-сына (1707—1777) «Заблуждения сердца и ума» (1736—1738).

Стр. 125. *Дерем Уильям* (1657—1735) — английский теолог; он «доказывал» существование бога ссылками на чудеса природы.

Туаз — старинная мера длины (около двух метров).

Люлли Жан-Батист (1633—1687) — французский композитор, создатель классицистического жанра «высокой» оперы.

Итальянский музыкант.— Вольтер имеет в виду ожесточенные споры о путях развития музыкального театра, вспыхнувшие в начале 1752 г. в связи с приездом в Париж итальянской оперной труппы. Сторонниками итальянской оперы-буфф стали многие передовые деятели эпохи — Руссо, Дидро, Даламбер и др.

...секретарем Сатурнианской академии...— Вольтер намекает на французского философа и писателя Бернара ле Бовье де Фонтенеля (1657—1757), постоянного секретаря Французской Академии.

Стр. 126. ...собранием блондинок и брюнеток...— Здесь Вольтер пародирует Фонтенеля, который писал в «Рассуждениях о множественности миров» (1686): «Природа — это грандиозное зрелище, напоминающее оперу... Красота дня — это как бы красавица блондинка, а красота ночи — красавица брюнетка».

...пять лун...— Во времена Вольтера были известны лишь пять спутников Сатурна (Тетия, Диона, Рея, Титан, Япет).

Стр. 127. ...принцип поразительного единообразия.— Мысль, характерная для Вольтера, спорившего по этому вопросу с Лейбницем.

Стр. 129. ...один прославленный обитатель нашей крохотной планеты...— Вольтер имеет в виду выдающегося голландского ученого Христиана Гюйгенса (1629—1695), прежде всего его классическое исследование «Система Сатурна» (1659) — результат наблюдения планеты в телескоп со стократным увеличением. В этой книге Гюйгенс указал, что Сатурн окружен тонким кольцом, не прилегающим к нему и наклоненным к эклиптике.

Стр. 130. Кастель Шарль-Ирене (1688—1757) — французский иезуит, выступавший во многих изданиях того времени, в частности в «Записках Треву», реакционном журнале, издававшемся иезуитами (с 1701 по 1775 г.), с многочисленными заметками научного характера. Его осведомленность была весьма поверхностной, и Вольтер считал Кастеля просто шарлатаном.

...по новому стилю...— Новый стиль был введен в большинстве стран Европы в середине XVI в.; по новому стилю год начинался 1 января, а не в первый день Пасхи.

Стр. 133. ...целый выводок философов...— Вольтер имеет в виду экспедицию на север Норвегии, предпринятую в 1736—1737 гг. группой французских ученых. Среди членов экспедиции были геометр и натуралист Пьер-Луи Мопертюи (1698—1759), математик Алексис-Клод Клеро (1713—1765), математик Шарль-Этьен-Луи Камю (1699—1768) и астроном Пьер Лемонье (1676—1757). В личной библиотеке Вольтера имелось немало книг Мопертюи, Клеро и Лемонье, чья научная деятельность интересовала писателя.

...лапландских девиц...— Экспедиция Мопертюи привезла с собой двух молодых лапландок, о чем немало шутили в научных и светских кругах той поры.

Стр. 134. ...их удивление своим открытием...— Антони ван Левенгук (1632—1723), известный голландский биолог, в 1677 г. с помощью сильной лупы открыл сперматозоиды. Голландский ученый Николас Гартсекер (1656—1725) впервые наблюдал сперматозоиды в микроскоп.

...поймал природу с поличным! — Здесь Вольтер опять парод-

дирует стиль Фонтенеля, писавшего в «Похвальном слове г-ну де Турнефору»: «Природа была, так сказать, поймана с поличным».

Стр. 137. ...доктор Свифт несомненно назвал бы...— Намек на один из эпизодов «Путешествий Гулливера» Свифта.

...про пчел, но отнюдь не мифические истории Вергилия...—

Вольтер имеет в виду «Георгики» Вергилия (песнь IV).

Сваммердам Ян (1637—1680) — голландский натуралист, создатель оригинальной классификации насекомых, изложенной им в работе «Общая история насекомых».

Реомюр Рене-Антуан (1683—1757) — французский физик и натуралист. В данном случае Вольтер имеет в виду шеститомную работу Реомюра «Заметки по истории насекомых» (1734—1742).

Стр. 138. ...сто тысяч безумцев, принадлежащих к человеческому роду...— Вольтер намекает на русско-турецкую войну 1736—1739 гг., где в союзе с Россией выступала Австрия.

Стр. 140. Декарт Рене (1596—1650) — французский философ-рационалист.

Мальбранш Никола (1638—1715) — французский философ, последователь Декарта; Вольтер критикует его за теорию «видения предметов в боге».

Локк Джон (1632—1704) — английский философ-материалист; в своем основном труде «Опыт о разуме» он подверг резкой критике философию Декарта за теорию врожденных идей.

Перипатетик — в данном случае — последователь Аристотеля.

Энтелехия — термин Аристотеля, означающий осуществление того качества, которое заложено в материи как потенция. Душу античный философ считал «первой энтелехией» организма.

...луверское издание...— Вольтер имеет в виду подготовленное Гийомом Дювалем и выпущенное в 1619 г. издание сочинений Аристотеля. Цитируемая фраза взята из второй книги трактата «О душе» (гл. II).

Стр. 141. ...у стоящего рядом лейбнизианца...— Далее Вольтер излагает теорию Лейбница о «предустановленной гармонии», согласно которой субстанции тела и души не воздействуют друг на друга, а развиваются параллельно, всегда сохраняя заранее предустановленное соотношение между собой.

...приверженец Локка так ответил...— Вольтер излагает данную Локком классификацию субстанций и его теорию опыта, в основе которого лежат ощущения.

...инфузория в четырехугольной профессорской шапочке...— то есть богослов.

Фома Аквинский (1225—1274) — средневековый католический

философ-схоласт. Вольтер упоминает его основное сочинение «Теологическая сумма» (1263—1273).

Стр. 142. ...согласно Гомеру...— Имеется в виду следующее место из «Илиады»: «Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба» (песнь I, ст. 599).

ДВОЕ УТЕШЕННЫХ

Les deux Consolés

Эта миниатюра Вольтера впервые увидела свет в 1756 г. в томе IV Сочинений писателя, издававшихся в Женеве Крамерами.

Стр. 143. ...королева Англии.— Речь идет о Генриетте Французской (1605—1669), дочери французского короля Генриха IV и жене английского короля Карла I, казненного в 1649 г.

Мария Стюарт (1542—1587) — шотландская королева; из-за возникших в ее королевстве волнений она бежала в Англию, где стала узницей английской королевы Елизаветы, продержавшей ее в заточении 18 лет и в конце концов отправившей ее на эшафот.

...любила бравого музыканта...— Речь идет о связи Марии Стюарт с Давидом Риччио (или Риччио; ок. 1533—1566), приехавшим в Шотландию в 1561 г. в составе пьемонтского посольства.

Ее муж...— Мужем Марии Стюарт был в это время Генри Стюарт, лорд Дарнле (1541—1567). Однако любовника королевы в ночь на 10 марта 1566 г. убил не сам Дарнле, а его сторонники.

Жанна Неаполитанская (1327—1382) — неаполитанская королева с 1343 г. По ее приказу был убит ее муж Андреш, брат венгерского короля (1346). В ходе борьбы за неаполитанский престол Жанна была схвачена могущественным феодалом Карлом Дураццо и по его приказанию удушена между двумя матрасами.

Стр. 144. Гекуба — жена троянского царя Приама, потерявшая в ходе Троянской войны всех своих детей.

Ниобея — жена фиванского царя Амфиона, Ниобея имела шесть сыновей и шесть дочерей (по другим мифам — семь и семь, девять и девять, десять и десять) и очень гордилась детьми. Ниобея смеялась над Латоной, у которой было только двое детей — Аполлон и Артемида, и рассерженная богиня приказала Аполлону поразить стрелами всех сыновей Ниобеи, а Артемиде — всех ее дочерей (греч. миф.).

ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ СКАРМЕНТАДО

Histoire des Voyages de Scarmentado

Время работы Вольтера над этой маленькой повестью точно неизвестно. Напечатана она была в 1756 г. в Женеве в очередном томе Сочинений Вольтера, издаваемых Крамерами.

Стр. 145. *Кандия* — портовый город на острове Крит.

Иро — анаграмма фамилии посредственного поэта Шарля Руа (1683—1764), который в 1746 г. пытался вступить в стихотворную полемику с Вольтером.

...лишь потомком *Пасифаи* и ее любовника.— Пасифая была женой Миноса, царя Крита; любовником Пасифаи был бык; результатом этой противоестественной любви стало рождение Пасифаей чудовища Минотавра (*греч. миф.*).

...аристотелевым категориям...— Под категориями великий античный философ Аристотель (384—322 до н. э.) понимал основные, наиболее общие формы и отношения бытия, куда он относил сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание, действие и страдание.

...синьора Олимпия...— Речь идет об Олимпии Мальдакини, родственнице и возлюбленной папы Иннокентия X (папа с 1644 г.).

Фатело — то есть «делай это» (*итал.*).

Пуаньярдини.— Фамилия этого монаха образована от слова «пуаньяр», то есть кинжал. Вольтер италянизировал это французское слово.

Аконити.— эта фамилия образована Вольтером от слова «аконит», названия ядовитого травянистого растения.

Стр. 146. *Людовик Справедливый*.— Так называли Людовика XIII.

...кусочек маршала д'Анкр...— Здесь рассказывается об убийстве итальянского авантюриста Кончини, который носил во Франции имя маршала д'Анкр. Любовник Марии Медичи, матери Людовика XIII, Кончини вызвал сильное недовольство двора и народа и был убит гвардейцами короля (1617).

Уже более шести десятков лет...— Вольтер имеет в виду продолжавшиеся с 1562 по 1594 г. так называемые Религиозные войны между гугенотами и католиками; последствия этих войн сказывались еще в первой половине XVII в.

...взорвать при посредстве пороха...— Здесь содержится намек на так называемый Пороховой заговор (1605) — безуспешную попытку католиков свергнуть Якова I и лишить власти английский парламент.

...блаженной памяти королевы Марии...— Речь идет об английской королеве Марии Тюдор (1516—1558). Жестокое преследование ею протестантов снискало этой королеве кличку «Мария Кровавой».

...вертеп святого Патрика.— Вольтер имеет в виду одно из особо почитаемых мест Ирландии — пещеру, где якобы обитал святой Патрик, легендарный первосвятитель Ирландии (V в.).

Барневельдт Ян ван Ольден (ок. 1549—1619) — голландский государственный деятель; был казнен своими политическими противниками по состряпанному обвинению.

Стр. 147. ...галионы уже прибыли...— На галионах, огромных транспортных кораблях, доставлялось в Испанию золото, добывавшееся в Америке.

Стр. 148. ...божьей матери Аточской...— Речь идет о деревянной скульптуре в одной из мадридских церквей. Это изображение Богоматери особо почиталось испанскими католиками.

Святая Германдада — специальная полиция для охраны путешественников от воров и разбойников; она возникла в Испании в конце XV в.; во времена Вольтера ее иногда ошибочно отождествляли со стражей инквизиционных трибуналов.

...епископа Чиапского...— Речь идет об испанском писателе Бартоломе де Лас Касас (1474—1566), авторе обширного сочинения «История Индий» (то есть испанских колоний в Америке), где много рассказывалось о жестокостях испанцев при завоевании Нового Света. Чиапа — область на юго-востоке Мексики. Лас Касас был там епископом с 1543 г.

Стр. 149. ...греческие и латинские христиане...— то есть православные и католики.

Стр. 150. Имам — священник (духовный владыка) у мусульман.

Кади — судья в мусульманских странах.

...секты Черного барана и Белого барана.— Вольтер имеет в виду сторонников потомков Тамерлана, вытесненных из Персии в XV в. представителями другой татаро-монгольской династии (сторонники которой именовались сектой Белого барана).

Там хозяйничали татары...— Речь идет о монгольском завоевании Китая, где воцарилась монгольская династия Юань (1271—1368).

Стр. 151. У берегов Голконды...— то есть в Индии; Голконда был легендарный индийский город на плоскогорье Декан, разрушенный при правлении монгольской династии.

Ауранг-зеб (1619—1707) — император монгольской династии, правившей в Индии.

Малик-Исмаил — султан Марокко, правивший с 1672 по 1727 г.; один из самых воинственных и коварных властителей того времени.

КАНДИД, ИЛИ ОПТИМИЗМ

Candide, ou l'Optimisme

Написан «Кандид» был летом и осенью 1758 г.; в конце января или начале февраля следующего года книга вышла из печати в Женеве у постоянных издателей Вольтера братьев Крамеров. Реакционные круги добивались запрещения книги, но ее переиздания появлялись в разных концах Европы — в Париже, Амстердаме и т. д.

Стр. 153. *Минден* — город в Вестфалии; в городской крепости в XVIII в. помещалась тюрьма для государственных преступников. ...звали *Кандидом*.— Имя героя повести в переводе с французского означает «чистосердечный», «искренний».

Стр. 154. *Панглос* — то есть «всезыкий» (от греч. *pan* — все и *glossa* — язык).

Метафизико-теолого-космологология.— Издевка над теориями ученика Лейбница, немецкого философа Христиана Вольфа (1679—1754).

...не бывает следствия без причины...— намек на детерминизм Лейбница, писавшего в одной из своих работ: «Все во вселенной находится в такой связи, что настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее, и всякое данное состояние объяснимо естественным образом только из непосредственно предшествующего ему».

...носы созданы для очков...— Детерминизм уже был высмеян Вольтером в его работе «Основы философии Ньютона» (1738), где писатель ссылается на сходные умозаключения голландского физика Николаса Гартсекара (1656—1725).

Стр. 155. *Вальдбергхоф-Трарбкдикдорф*.— Название этого города составлено Вольтером из отдельных немецких слов («вальд» — лес, «берг» — гора, «хоф» — двор, «дорф» — деревня) и бессмысленного набора звуков.

...двое в голубых мундирах.— Имеется в виду форма прусских вербовщиков; под «болгарами» Вольтер подразумевает пруссаков.

...и рост у него подходящий.— Прусский король Фридрих-Вильгельм I (1688—1740) питал пристрастие к солдатам высокого роста. По его приказу высоких мужчин хватали просто на дорогах и даже похищали из соседних немецких княжеств.

Стр. 157. *Диоскорид* (I в.) — древнегреческий врач, автор многочисленных медицинских сочинений.

...*королю аваров*.— Аварами называлось скифское племя, обитавшее на Балканском полуострове и в причерноморских степях. Под аварами Вольтер подразумевает французов, а под болгаро-аварской войной — Семилетнюю войну (1756—1763).

Стр. 158. ...*проповедник*...— то есть протестантский священник.

Стр. 159. *Анабаптист* — представитель плебейского крыла протестантизма. Анабаптисты отрицали предсудебное и проповедовали свободу совести и всеобщее равенство.

Флорин — золотая монета большого достоинства.

Стр. 163. ...*земля дрожит под их ногами*.— Далее Вольтер описывает землетрясение в Лиссабоне 1 ноября 1755 г., в результате которого город был разрушен почти до основания. Вольтер посвятил этой катастрофе философскую «Поэму о разрушении Лиссабона».

Батавия.— Так назывались голландские владения в Индонезии.

...*топтал распятие*...— В XVIII в. Япония поддерживала торговые отношения лишь с одной европейской страной — Голландией. Японцы, вернувшиеся на родину после посещения голландских портов в Индонезии, обязаны были публично топтать распятие в знак того, что не были обращены в христианство. Вольтер переносит этот обряд на голландского матроса, побывавшего в Японии.

Стр. 164. ...*но без падения человека и проклятия*...— Вольтер продолжает спор с теологическим оптимизмом Лейбница; те же мысли и ту же аргументацию мы встречаем и в «Поэме о разрушении Лиссабона».

Стр. 165. *Аутодафе*.— Это сожжение «еретиков» действительно имело место в Лиссабоне 20 июня 1756 г.

Университет в Коимбре...— Коимбра — город в Португалии, в XII—XV вв. был резиденцией португальских королей. В 1307 г. сюда был переведен из Лиссабона университет, ставший в XVIII в. цитаделью католицизма.

...*срезали сало с цыпленка*...— процедура, вследствие которой на них пало подозрение в иудаизме.

Санбенито (или самарра) — накидка из желтого сукна, надевавшаяся на осужденных инквизиционным трибуналом. Перевернутое изображение пламени на санбенито означало, что кающийся подвергнут эпитимии; если языки пламени поднимались вверх, это значило, что еретик осужден на сожжение.

В тот же день земля... затряслась снова.— В действительности новое землетрясение произошло в Лиссабоне 21 декабря 1755 г.

Стр. 166. *Аточская божья мать* — см. прим. к с. 148.

Антоний Падуанский и Иаков Компостельский — наиболее почитаемые в Испании и Португалии католические святые.

Стр. 170. ...со времен вавилонского пленения.— Речь идет о захвате и разрушении в 586 г. до н. э. вавилонским царем Навуходоносором II Иерусалима, после чего в «вавилонский плен» было отправлено большое число иудеев.

Стр. 172. *Святая Германдада* — см. прим. к с. 148.

Кордельер — монах нищенствующего ордена францисканцев, основанного в 1209 г. Во Франции францисканцы назывались кордельерами (от *corde* — веревка, которой монахи этого ордена подпоясывают свою рясу).

Мараведис — старинная мелкая испанская монета.

Бенедиктинец — монах одного из первых монашеских орденов в Европе (основан Бенедиктом Нурсийским в VI в.).

...чтобы проучить преподобных отцов иезуитов в Парагвае...— Речь идет о военной экспедиции, предпринятой в 1756 г. Португалией и Испанией для укрепления своей власти в Парагвае. Поскольку экспедиция была направлена против иезуитов, в нее внес вклад и сам Вольтер: в морском походе участвовал корабль «Паскаль», совладельцем которого был писатель.

Стр. 174. *Я дочь папы Урбана Десятого и княгини Палестрины*.— В издании Собрания сочинений Вольтера, осуществленного Бёшо (1829), к этой фразе была сделана сноска, возможно, принадлежавшая самому Вольтеру: «Обратите внимание на уточненную скромность автора: до сих пор папы Урбана Десятого не существовало; автор не решается приписать незаконнорожденного ребенка какому-либо известному папе; какая осмотрительность! какая деликатность чувств!»

Масса-Карара — небольшое герцогство в Тоскане.

Стр. 175. *Сале* — город в Марокко, недалеко от Рабата.

Малик-Исмаил — см. прим. к с. 151.

Стр. 177. ...становятся у кормила власти.— Здесь Вольтер, по-видимому, имеет в виду знаменитого певца-кастрата Фаринелли (Карло Броски; 1705—1782), имевшего большое политическое влияние на испанских королей Филиппа V и особенно Фердинанда VI.

...одной христианской державой...— намек на соглашение Португалии с Малик-Исмаилом в период «войны за испанское наследство» (1701—1704), в которой принимала участие и Франция.

Бей — правитель Алжира.

Стр. 178. ...янычарскому аге...— Янычары — гвардия султана; ага — турецкий офицерский чин, приблизительно соответствующий европейскому полковнику.

...защищать Азов...— В первый раз турецкая крепость Азов была взята русской армией в 1696 г. при Петре I (по миру 1711 г. крепость была возвращена туркам); в следующий раз осада Азова состоялась в 1739 г. при Анне Иоанновне. Вольтер имеет в виду, несомненно, первую осаду.

Меотийское болото — древнегреческое название Азовского моря.

Стр. 179. ...из-за какой-то придворной смуты...— Вольтер имеет в виду стрелецкое восстание 1698 г.

Робек Иоганн (1672—1739) — шведский философ, автор книги, оправдывавшей самоубийство; через несколько лет после выхода книги Робек утопился.

Стр. 181. ...эта невинная ложь... была... в ходу у древних...— Вольтер имеет в виду библейского патриарха Авраама, который, приходя в чужой город, обычно из осторожности объявлял свою жену Сарру сестрой, извлекая из этого немалую выгоду (Бытие, XII, 11—16).

Алькальд — судья или судебный следователь в средневековой Испании. *Альвасилы* — испанские полицейские.

Стр. 182. *Тукуман* — город и одноименная провинция в северо-западной части Аргентины.

Стр. 183. *Эспонтон* — маленькая пика, какую носили офицеры. ...запрещает говорить с испанцами...— Иезуиты в своем парагвайском «государстве» строго следили за тем, чтобы местное население не имело контактов с посторонними, прежде всего с испанцами.

Стр. 185. *Святой Игнатий* — имеется в виду Игнатий Лойола (1491—1556), основатель ордена иезуитов; католической церковью был причислен к лику святых.

Стр. 186. *Отец Круст* — иезуит из Кольмара, преследовавший Вольтера во время его пребывания в этом городе в 1754 г.

Стр. 187. «*Вестник Треву*» — то же, что «*Записки Треву*» (см. прим. к с. 129).

Стр. 189. *Орельоны* (от франц. oseille — ухо) — так европейцы называли одно из индейских племен Южной Америки; орельоны украшали уши большими серьгами.

Стр. 190. *Эльдорадо* — легендарная счастливая страна, на поиски которой пускались многие отважные авантюристы XVI—XVIII вв. Об Эльдорадо упоминает Гарсиласо де ла Вега аль Инка (1539—1616), книгу которого «История инков» в переводе Ж. Бодуэна (1704), или Т. Далибара (1744) использовал Вольтер при работе над «Кандидом».

Стр. 191. *Кайенна* — город во Французской Гвиане на берегу Атлантического океана.

Тетуан — портовый город в Марокко.

Мекнес — крупный марокканский город в центре страны.

Стр. 192. *Могол* — титул легендарных императоров Северной Индии, будто бы обладавших несметными сокровищами.

Стр. 194. ...были уничтожены испанцами.— Государство инков достигло особенного могущества к середине XV в. В 1532 г. испанские завоеватели захватили столицу инков город Куско, а затем все их государство, уничтожив богатую древнюю культуру.

Ролей Уолтер (1552—1618) — английский мореплаватель и поэт; в 1595 г. отправился в Америку на поиски страны Эльдорадо и, вернувшись, рассказал королеве Елизавете о будто бы виденных там чудесах.

Стр. 199. *Суринам* — в XVIII в. голландское владение в Южной Америке на побережье Атлантического океана, между Французской Гвианой и Английской.

Вандердендур — возможно, намек на голландского книготорговца Ван Дюрена; Вольтер постоянно жаловался, что тот ему недоплачивает.

Стр. 203. ...на амстердамских книгопродавцев.— В XVII и XVIII вв. Амстердам был одним из крупнейших центров книгоиздательского дела в Европе. Здесь печатались книги, которые невозможно было издать в другом месте (в том числе многие книги Вольтера). Вместе с тем в Амстердаме печаталось много пиратских контрафакций, на что Вольтер постоянно жаловался, называя голландских издателей прямыми разбойниками.

Стр. 204. *Социнианин* — то есть последователь социнианства, рационалистического течения в протестантизме, основанного Фавстом Социном (1539—1604). Социниане отвергали многие догматы католицизма (в том числе троицу и идею первородного греха) и исповедовали своеобразный религиозный оптимизм, то есть считали, что все в мире направлено к лучшему божественным соизволением.

Манихей — то есть сторонник манихейства, религиозной доктрины, возникшей в Персии в III в. и названной по имени ее основателя — полулегендарного проповедника Мани (ок. 215—276). Для манихеев характерно представление о том, что в мире царят два начала — добро и зло, находящиеся в состоянии борьбы. Человек должен противостоять злу, поэтому манихейство проповедовало аскетизм, отрицало богатство и даже собственность.

Стр. 206. *Конвульсионеры* — см. прим. к с. 107.

Нобили — представители венецианского дворянства, пользовавшиеся в своем городе всеми привилегиями.

...в толстой книге...— Вольтер имеет в виду следующее место из Библии (Бытие, I, 2): «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной; и Дух Божий носился над водою».

Стр. 207. ...ученому с севера...— В данном случае Вольтер намекает на французского натуралиста П.-Л. Мопертюи (см. прим. к с. 133), который в одной из своих работ предложил математическое «доказательство» бытия божия.

Стр. 208. ...вексель с уплатою в будущей жизни.— Речь идет об отпущении грехов умирающим, которое стало широко применяться во Франции с 1750 г.

...новую трагедию.— Возможно, Вольтер имеет в виду свою собственную трагедию «Магомет» (1742); некоторые исследователи предполагают, что речь может идти о другой его пьесе — трагедии «Китайский сирота» (1755).

Стр. 209. ...в одной довольно плоской трагедии...— Вольтер имеет в виду пьесу французского драматурга Тома Корнеля (1625—1709) «Граф Эссекс» (1678), посвященную событиям английской истории конца XVI в.

Монима — персонаж из трагедии «Митридат» Расина, первая роль знаменитой трагической актрисы, друга Вольтера Адриенны Лекуврер (1692—1730), сыгранная ею на сцене театра Французской Комедии в 1717 г. Ранняя смерть актрисы вызвала всевозможные толки, и церковные власти Парижа запретили хоронить ее по христианскому обряду.

Стр. 210. ...пьесе, тронувшей меня до слез...— Здесь Вольтер имеет в виду свою трагедию «Танкред», впервые сыгранную 3 сентября 1760 г.

Фрерон Эли (1718—1776) — реакционный журналист, вечный противник Вольтера.

Клерон — сценическое имя замечательной французской трагической актрисы Клер Лери де Латюд (1723—1803), особенно прославившейся исполнением ролей в пьесах Вольтера.

Стр. 211. *Гоша* Габриэль (1709—1774) — французский богослов и литературный критик, не раз пытавшийся полемизировать с Вольтером. Из-под пера Гоша не вышло ни одного романа, однако Вольтер подозревал, что Гоша был автором книги «Оракул новых философов» (имевшей следующий подзаголовок: «В продолжение и к разъяснению произведений г-на де Вольтера»). В действительности эта книга была написана аббатом Клодом-Мари Гюйеном.

Архидьякон Т...— Имеется в виду аббат Николая Трюбле (1697—1770), богослов и литературный критик, не раз выступавший против Вольтера.

Стр. 213. *Молинисты* — сторонники религиозного учения испанского богослова Мигеля Молиноса (1640—1696), пытавшегося построить христианскую мораль на идеях взаимной любви, довольства малым, доброты. Это учение было осуждено официальной католической церковью.

Стр. 216. *...какой-то негодяй из Артебазии покусился на отцеубийство...*— Подразумевается покушение на короля Людовика XV, который был легко ранен 5 января 1757 г. простолудином Робером-Франсуа Дамьеном, четвертованным за это. Дамьен был родом из провинции Артуа (латинизированная форма названия этой провинции — Артебазия).

...как в тысяча шестьсот десятом году...— Имеется в виду убийство Равальяком французского короля Генриха IV.

...как в тысяча пятьсот девяносто четвертом году...— Речь идет о покушении на Генриха IV, совершенном учеником иезуитов Жаном Шателем.

Стр. 217. *...чем стоит вся Канада.*— Намек на англо-французскую войну из-за владения Канадой, в результате которой англичане захватили Квебек (1760 г.), по мирному договору 1763 г. окончательно закрепившись в этой стране.

...на дородного человека...— Далее описывается расстрел английского адмирала Джона Бинга (1704—1757), обвиненного в предательстве и трусости за то, что он проиграл небольшое морское сражение. В библиотеке Вольтера было несколько книг, посвященных этому адмиралу, которого писатель тщетно пытался спасти.

...с французским адмиралом...— то есть с Роланом-Мишелем де Ла Галлиссоньером (1693—1756); в 1745—1749 гг. он был губернатором Канады.

Стр. 219. *Театинец* — член монашеского ордена, основанного в 1524 г. для пропаганды католицизма и борьбы с Реформацией.

Стр. 222. *Пококуранте* — буквально: «имеющий мало забот» (итал.).

Брента — река в Северной Италии, впадающая в море в районе Венеции.

Стр. 224. *Тассо Торквато* (1544—1595) — итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».

Ариосто Лодовико (1474—1533) — итальянский поэт, автор ироикомической поэмы «Неистовый Орландо».

Стр. 225. *...ссора неведомого Рупилия...*— Речь идет о персонаже «Сатир» Горация (кн. I, сатира VII).

...стихи против старух и колдуний...— Имеются в виду «Эподы» Горация (стихотворения 5, 8, 12).

...в обращении Горация к другу Меценату...— Вольтер имеет в виду следующие стихи Горация («Оды», I, 1, 35—36):

Если и ты сопричтешь к лирным певцам меня,
Я до звезд вознесу гордую голову.

(Перевод А. Семенова-Тян-Шанского.)

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.— 65 н. э.) — древнеримский писатель-моралист, драматург и философ.

Стр. 226. *Якобит.*— Так во Франции называли монахов-доминиканцев, поскольку их первый монастырь находился в Париже на улице Святого Иакова.

...в десяти книгах тяжеловесных стихов...— Вольтер ведет речь о поэме Джона Мильтона (1608—1674) «Потерянный Рай», где изображено восстание падших ангелов во главе с Сатаной против небесного самодержца. Поэма Мильтона состоит в действительности из двенадцати песен.

Стр. 227. *Платон давным-давно скавал...*— Вольтер приписывает Платону мысли, высказанные Сенекой в одном из его «Писем к Луцилию» (письмо второе).

Стр. 229. *Ахмет III* (1673—1736) — турецкий султан, свергнутый с престола в 1730 г.

Меня зовут Иван...— Вольтер имеет в виду Ивана (Иоанна) Антоновича (1740—1764), провозглашенного русским императором вскоре после рождения, но уже в 1741 г. свергнутого Елизаветой Петровной. С тех пор Иван тайно содержался в разных тюрьмах, с 1756 г.— в Шлиссельбурге, где был убит стражей при попытке освободить его и провозгласить императором.

Карл-Эдуард (1720—1788) — внук английского короля Якова II из династии Стюартов, безуспешно претендовавший на английский престол, который он оспаривал у Георга II (Ганноверская династия).

Стр. 230. *Я король польский...*— Имеется в виду Август III (1669—1763), король Польши и курфюрст Саксонии; он стал королем после изгнания русскими войсками Станислава Лещинского, но сам был изгнан Фридрихом II.

Я тоже польский король...— Вольтер имеет в виду Станислава Лещинского (1677—1766), который был провозглашен польским королем под давлением Швеции в 1704 г., но после разгрома Карла XII под Полтавой свергнут и бежал во Францию. Его дочь Мария стала женой короля Людовика XV, и Лещинский

при содействии Франции снова был провозглашен польским королем. Однако в 1735 г. он вынужден был отказаться от престола, вернулся во Францию и получил в управление герцогство Лотарингское, где его не раз навещал Вольтер.

Я Теодор...— Имеется в виду Теодор фон Нейхоф (1690—1756), вестфальский барон; в 1736 г. он воспользовался восстанием корсиканцев против генуэзского владычества и провозгласил себя королем Корсики, но удержался на троне лишь восемь месяцев. Затем он скитался по Европе и не раз сидел в тюрьме за долги.

Стр. 232. *Ракоци* (Ракоци Ференц; 1676—1735) — венгерский князь; в 1707 г. возглавил борьбу венгров против австрийского господства и провозгласил себя королем Трансильвании. Разбитый в 1708 г., он бежал в Польшу, оттуда перебрался во Францию, а затем в 1720 г. — в Турцию.

Пропонтида — древнее название Мраморного моря.

Стр. 235. *Ичоулан* — паж у турок.

Стр. 241. *Судите сами...*— Далее Пангос перечисляет умерших насильственной смертью упоминаемых в Библии правителей и царей, политических деятелей Древности и Средневековья.

Три Генриха французских...— то есть французские короли Генрих II (1547—1559), Генрих III (1574—1589) и Генрих IV (1589—1610).

...дабы и он работал.— Цитата из Библии (Бытие, II, 15).

ИСТОРИЯ ДОБРОГО БРАМИНА

Histoire d'un bon Bramin

Рассказ написан Вольтером, по-видимому, в октябре 1759 г. Напечатан в 1761 г. в Женеве у Крамеров в сборнике разных произведений писателя.

Стр. 244. *Вишну* — одно из основных божеств древних индусов, член божественной троицы — «тримурти», — куда входили также Брахма (как верховный бог) и Шива.

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ

Le Blanc et le Noir

Рассказ был напечатан в 1764 г. в Женеве у братьев Крамеров. Он был включен в сборник «Сказки Гийома Ваде». «Гийом

Ваде» — был одним из псевдонимов Вольтера, которым он пользовался, подписывая так некоторые свои памфлеты. В данном случае Вольтер воспользовался фамилией второстепенного французского поэта Жана-Жозефа Ваде (1720—1757), автора либретто комических опер, водевилей, в которых он часто выводил персонажей из народа, говорящих на специфическом псевдонародном языке.

Стр. 246. *Кандагар* — южная провинция Афганистана с одноименным главным городом, расположенным близ реки Аргандаб.

Кашмир — княжество в средневековой Индии.

Бассора — см: прим. к с. 53.

Стр. 247. *Парасанг* — персидская мера длины, равная приблизительно трем французским лье (то есть 4,5 км).

Стр. 259. *...Катрин Ваде...* — В изданных Вольтером в 1764 г. «Сказках Гийома Ваде» было помещено фиктивное предисловие некоей Екатерины Ваде, якобы издательницы сборника. Там, в частности, говорилось, что она поместила в книгу «некоторые милые рассуждения моего брата Антуана». И Екатерина Ваде и ее брат Антуан были выдумкой Вольтера.

ЖАННО И КОЛЕН

Jeannot et Colin

Рассказ был напечатан, как и предыдущий, в 1764 г. в сборнике Вольтера «Сказки Гийома Ваде».

Стр. 262. *...как нравиться...* — Вольтер, возможно, намекает на сочинение второстепенного литератора Франсуа-Огюстена де Монкрифа (1687—1770) «Опыты о том, как нравиться» (1738). В библиотеке Вольтера сохранился экземпляр этой книги с дарственной надписью автора.

Стр. 263. *...один из наших блестящих умов...* — Очевидно, Вольтер имеет в виду Фонтенеля.

...его преемник был заика? — Прозвище «Заика» носил Людовик II (846—879), французский король с 877 г. Однако он был лишь правнуком Карла Великого, чьим прямым преемником был Людовик I Благочестивый (778—840), король с 814 г.

...пригласит к себе бенедиктинца. — В монастырях бенедиктинцев в Средние века обычно составлялись хроники и велась погодная запись событий.

Стр. 264. *Хлодион Лохматый* — вождь одного из франкских племен, совершавших набеги на Галлию.

Стр. 265. «*Литературный год*» — критико-библиографический журнал Фрерона (см. прим. к стр. 28).

Ла Фар Шарль-Огюст (1644—1712) — французский поэт-анакреонтик, типичный представитель легкой лирики рококо.

Шольё Гийом (1639—1720) — французский поэт, автор изящных, но легковесных стихотворений на случай, соратник Ла Фара.

Гамильтон Антуан (1646—1720) — французский романист и поэт, мастер легких стихотворений в духе ранней лирики рококо. Мог встречаться с Вольтером в салоне герцогини дю Мэн.

Сарразен Жан-Франсуа (1604—1654) — французский поэт, один из типичных представителей салонной прециозной поэзии.

Вуатюр Венсан (1598—1648) — французский поэт, наиболее крупный представитель прециозного направления в лирике XVII в.

Стр. 267. *Театинец* — см. прим. к с. 219.

МАЛЕНЬКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Petite Digression

Миниатюра напечатана в 1766 г. в Женеве (у братьев Крамеров) в сборнике Вольтера «Невежественный философ». В первом посмертном издании Собрания сочинений Вольтера этот маленький рассказ печатался под названием «Слепые судьи цветов».

Стр. 269. *Приют Трёхсот* — парижский приют для слепых, основанный французским королем Людовиком IX в 1260 г.

Бри — сельскохозяйственный район во Франции под Парижем.

ПРОСТОДУШНЫЙ

L'Ingénu

Первое издание этой повести Вольтера появилось летом 1767 г. «Простодушный» был напечатан в Женеве братьями Крамерами, хотя на титульном листе книги значился Утрехт. Имя Вольтера не было названо.

Стр. 271. *Кенель Паскье* (1634—1719) — французский богослов, один из виднейших теоретиков янсенизма. Не раз подвер-

гался преследованиям церковных властей и вынужден был подолгу жить в Голландии.

Дунстан (925—988) — архиепископ Кентерберийский; причислен католической церковью к лику святых.

В тысяча шестьсот восемьдесят девятом году...— В этом году в войну против Франции, которую вела так называемая Аугсбургская лига (Испания, Голландия, Швеция и др.), вступила и Англия.

Стр. 273. *Гурон* — представитель одного из индейских племен Северной Америки (самым многочисленным племенем были ирокезы). В период так называемых «торговых войн» второй половины XVII — начала XVIII в. между Англией и Францией за преобладание в Новом Свете гуроны были на стороне французов.

Болингброк Генри Сен-Джон (1678—1751) — английский политический деятель и писатель-моралист, автор ряда антиклерикальных сочинений. Вольтер был в дружеских отношениях с Болингброком и жил у него в Англии в 1726 г.

Стр. 275. *Сагар Теода* Габриэль — католический миссионер; с 1623 г. проповедовал христианство среди гуронов. Написал книгу «Большое путешествие в страну гуронов, расположенную в Америке у окраины Канады» (1632).

...происшествие с Вавилонской башней...— При ее строительстве (как рассказывается в Библии) произошло много недоразумений из-за того, что строители башни говорили на разных языках и не понимали друг друга.

Стр. 276. *Алонкинец* — название представителей группы индейских племен Северной Америки.

Стр. 277. *...«трубой рассвета».*— Намек на строки из «Гамлета» Шекспира (действие I, сцена V):

Петух, трубач зари, своею глоткой
Пронзительно будит ото сна.

(Перевод Б. Пастернака)

Стр. 278. *...в тысяча шестьсот шестьдесят девятом году похода на гуронов...*— В действительности такого похода не было.

Стр. 280. *Пятикнижие* — первые книги Ветхого Завета (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие).

Стр. 281. *Кайафа и Пилат* — библейские персонажи; в их руки был передан схваченный стражниками Иисус Христос, и от них зависела его судьба.

Стр. 283. *...апостола Иакова-младшего...*— Далее приводится фраза из Нового Завета (Послание Иакова, V, 16). «Младшим»

апостол иронически назван Вольтером в отличие от патриарха Иакова из Ветхого Завета.

Стр. 284. *Евнух царицы Кандакии.*— Герой Вольтера имеет в виду один из эпизодов «Деяний апостолов», где рассказывается, как апостол Филипп крестил в простой речке евнуха царицы Эфиопской Кандакии.

Стр. 285. *...крещение водой, крещение огнем...*— намек на слова из Евангелия: «Он будет крестить вас духом Святым и огнем» (Ев. от Матф., III, 11).

...вино, по словам Соломона...— намек на строки из Библии: «Вино и музыка веселят сердце» («Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова», XI, 20).

...окунал плащ в виноградный сок...— Имеются в виду следующие слова из Библии: «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое» (Бытие, XIX, 11).

Стр. 292. *...когда Эврит, царь Элалийский...*— В одном из древнегреческих мифов рассказывается, как Эврит обещал отдать свою дочь Иолу в жены тому, кто победит в стрельбе из лука. Геркулес выиграл состязание, но Эврит обещания не выполнил; тогда герой силой отнял Иолу и убил Эврита.

Стр. 295. *...а сейчас в нем нет и шести тысяч.*— Сомюр был городом в основном протестантским. После отмены в 1685 г. Нантского эдикта короля Генриха IV (1598), дававшего протестантам-гугенотам право свободного вероисповедания, большинство жителей Сомюра покинуло город, вынужденное эмигрировать, спасаясь от вспыхнувших религиозных гонений.

...мы бежим из отчизны.— Слова из «Буколик» Вергилия (I, 3—4).

Стр. 296. *...человек, одетый во все черное...*— то есть протестантский священник.

Люлли — см. прим. к с. 125.

Король Вильгельм — английский король Вильгельм III (1650—1702); правил с 1689 г.

...нынешний папа...— Речь идет о папе Иннокентии XI (понтификат 1676—1689 гг.), враждовавшем с Людовиком XIV из-за права короля получать доходы с церковных владений.

Ла Шеэ Франсуа (1624—1709) — иезуит, папский агент при французском дворе, имевший огромное влияние на Людовика XIV и его окружение. Ла Шеэ был основным инициатором отмены Нантского эдикта.

Стр. 297. *Господин де Лувуа посылает на нас... драгунов.*— Мишель Ле Телье де Лувуа (1641—1691), военный министр Людовика XIV, руководил жестокими операциями против гугенотов; он широко применял «драгонады» — насильственный военный постой драгунов в гугенотских домах.

Стр. 300. *...замок, построенный королем Карлом.*— Речь идет о Бастилии, постройка которой началась при Карле V, в 1370 г.

Пор-Рояль — монастырь близ Парижа, основной центр янсенистов.

Стр. 302. *...с Арно и Николем.*— Речь идет об основных теоретиках и вождях янсенизма Антуане Арно (1612—1694) и Пьере Николе (ок. 1625—1695).

Рого Жак — французский ученый, последователь Декарта; основное сочинение — «Трактат о физике» (1671).

Стр. 303. *«Поиски истины»* — работа французского философа-картезианца (то есть последователя Декарта) Мальбранша. Вольтер ценит первый том этой работы (вышел в 1674 г.) за критическое отношение к авторитетам и за глубокий анализ теории познания, основанный на критике сенсуализма. Второй том (1675) Вольтер резко критиковал за содержащуюся в нем метафизику.

Физическая премоция — в терминологии Фомы Аквинского — активное воздействие божественной воли на человеческие побуждения. Мальбранш написал на эту тему специальную работу (1715).

Стр. 304. *Ларчик Пандоры* — согласно греческому мифу, сосуд, содержащий все людские пороки и несчастья; Пандора из любопытства открыла сосуд и выпустила его содержимое.

...яйцо Оромазда, продавленное Ариманом.— В древнеперсидских мифах рассказывается о вражде злого бога Анхра-Майнью (Аримана) с братом его, добрым богом Ахурамаздой (Оромаздом); Оромазд собрал все человеческие беды в большое яйцо, а Ариман разбил его.

...нелады Тифона с Озирисом.— В одном из эллинистических мифов древнегреческое божество зла Тифон отождествляется с египетским богом смерти и бедствий Сетом, убившим своего брата Озириса.

Сен-сиранский аббат — Имеется в виду Жан-Дювержье де Оранн (1581—1643), французский проповедник, один из пропагандистов янсенизма.

Клио надо вооружить кинжалом, как Мельпомену.— Клио — муза истории, Мельпомена — муза трагедии (греч. миф.).

Стр. 305. *...о государях фезансакских, фезасагетских, астаракских.*— то есть о правителях мельчайших средневековых графств;

вошедших уже в эпоху Средних веков в состав Арманьякского графства.

Стр. 306. *Гектор* — троянец, участник Троянской войны (греч. миф.).

...происходят от какого-то фригийца... — то есть от Энея, который, согласно некоторым поздним мифам, после гибели Трои переселился в Италию. Об этом рассказывается в «Энеиде» Вергилия.

Фукидид (ок. 460—395 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Истории Пелопоннесской войны».

...напоминают «Амадисов»... — Речь идет об «Амадисе Галльском», многотомном испанском рыцарском романе, первые части которого появились в 1508 г.

Юстиниан — древнеримский император (527—565), успешно воевавший с вандалами и персами; известен сводом законов «Кодекс Юстиниана».

Стр. 307. *Апедевты* (греч.) — невежды; намек на богословов из Сорбонны.

...величайшего полководца того века... — то есть Велизария (ок. 494—565), военачальника римского императора Юстиниана; согласно легенде, в конце жизни Велизарий впал в немилость и нищету. Упоминая эту личность, Вольтер намекает на гонения, которым подвергся в 1767 г. философский роман его друга Жана-Франсуа Мармонталя (1723—1799) «Велизарий» за содержащиеся в главе 15 идеи религиозной терпимости (из этой главы и взята приводимая далее фраза).

Линоστοлы (греч.) — люди в льняных одеждах; намек на священников.

Пастофоры — то есть священники.

...всякие Виве хулят Расинов... — намек на статьи французского писателя Жана Донно де Виве (1638—1710), критикующие произведения Расина. Они печатались в журнале «Галантный Меркурий».

...а Фэйди — Фенелонов. — Вольтер имеет в виду полемическую книгу французского богослова и литературного критика Пьера Фэйди «Телемахомания» (1700), в которой тот выступил против нравоучительного романа Франсуа Фенелона (1651—1715) «Приключения Телемака» (1699), где содержалась критика абсолютизма.

Стр. 308. *Басня о двух голубях* — произведение Лафонтена (кн. IX, 2).

Стр. 309. ...новую «Ифигению»... — Далее перечисляются трагедии Расина «Ифигения» (1675), «Федра» (1677), «Андромаха»

(1667), «Гофолия» (1691) и Корнеля — «Родогуна» (1644) и «Цинна» (1640).

Стр. 311. *Арле де Шанваллон Франсуа* (1625—1695) — французский церковный деятель, один из инициаторов отмены Нантского эдикта; был знаменит своими любовными похождениями.

Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704) — французский богослов и проповедник, ревностный защитник основных догм католицизма.

М-ль дю Трон — племянница Бонтана, камердинера Людовика XIV, имевшего большое влияние на короля.

М-ль де Молеон. — Вольтер в своей работе «Век Людовика XIV», основываясь на свидетельствах современников, писал, что Боссюэ до принятия церковного сана вступил в тайный брак с м-ль Девье (или Молеон) и в течение всей жизни сохранял с ней близкие отношения.

Г-жа де Гюйон (1648—1717) — сторонница и пропагандистка квиетизма, религиозной доктрины, проповедующей созерцательную жизнь, пассивность, мистическую любовь к богу.

Стр. 314. *Сен-Пуанж*. — Под этим именем в повести Вольтера выведен граф Сен-Флорантен (1705—1777), министр Людовика XV, славившийся своим сластолюбием.

Госпожа Дюбеллуа. — Имеется в виду г-жа Дюфренуа, возлюбленная министра Лувуа.

Стр. 315. *Проспер* (V в.) — раннехристианский латинский поэт и моралист.

Стр. 317. «*Христианский педагог*» — популярная в свое время работа богослова-моралиста Филиппа Утремана, первое издание которой вышло в 1629 г.

Стр. 320. *Блаженный Августин рассказывает...* — Вольтер имеет в виду трактат Августина «О Нагорной проповеди».

Стр. 323. *Сей страшной крепости...* — Вольтер цитирует свою поэму «Генриада» (песнь IV, стихи 456—457).

Стр. 329. *Марильяк Луи* (1573—1623) — французский военачальник, маршал Франции; был уличен в интригах против кардинала Ришелье и казнен.

Стр. 331. *Будь я французским королем...* — Далее Вольтер перечисляет качества, которыми, на его взгляд, обладал герцог Этьен-Франсуа де Шуазель (1719—1785), министр иностранных дел Людовика XV. Писатель поддерживал с Шуазелем дружеские отношения.

Стр. 336. *...Катон ответил ударом кинжала*. — Деятель римской республики Катон Младший (95—46 гг. до н. э.) покончил с собой, потерпев поражение в борьбе с Юлием Цезарем.

Стр. 338. «*Размышления преподобного отца Круазе*» — одна из многочисленных душеспасительных книг французского иезуита конца XVII в. отца Круазе.

«*Цвет святости*» — книга испанского иезуита Рибаденейры (1599).

ЦАРЕВНА ВАВИЛОНСКАЯ

La Princesse de Babylone

Повесть была написана в конце 1767 г. или в начале 1768 г. и в конце марта 1768 г. напечатана братьями Крамерами в Женеве, но без указания имени автора и места издания. Затем переиздавалась Вольтером несколько раз почти без какой бы то ни было правки текста.

Стр. 339. *Бел* — имя верховного божества у древних ассирийцев.

Парасанг — см. прим. к с. 247.

Стр. 340. *Висячие сады Семирамиды* — одно из «чудес света» древности; сооружены для царицы Вавилона Семирамиды.

Формозанта — имя, образованное от латинского *Formosa* — красивая.

Пракситель (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор. Одной из лучших его работ была статуя Афродиты Книдской.

Венера Прекраснозаядая. — Имеется в виду Венера Каллипига, античная статуя, созданная в эпоху эллинизма и хранящаяся в неаполитанском музее. Представляет собой подражание статуе Праксителя.

Дербент — город в Закавказье.

Нимврод (или Немврод) — вавилонский царь, упоминаемый в Библии; изображается в виде прекрасного охотника.

Стр. 341. *Систр* — древнеегипетский музыкальный инструмент.

Изида — одна из важнейших богинь древних египтян, божество плодородия, материнства и здоровья.

...«*Веды*», написанные *рукой самого Ксаки*. — Согласно буддийской традиции, «*Веды*», собрание древнеиндийских религиозных гимнов, приписывались Ксаки (искаженное Шакья-Муни, одно из имен Будды).

Стр. 343. *Озирис* — бог умирающей и возрождающейся природы, брат и супруг Изиды (*древнеегипет. миф.*).

Стр. 346. *Антиливан* — горная цепь в Сирии.

Ясенец — лекарственное растение.

Стр. 347. *...птиц, которых... впрягали в колесницу Юноны...*— Богиня Юнона, супруга Юпитера, изображалась обычно на колеснице, влекомой павлинами.

Стр. 354. *Локман.*— Арабский перевод басен Эзопа приписывался легендарному властителю Аравии Локману.

Стр. 360. *...дозволившей дважды себя похитить...*— Елена в юности была похищена Тесеем, а затем (уже после ее брака с Менелаем) — Парисом, что привело к Троянской войне (греч. миф.).

Стр. 361. *...которому впоследствии поклонялись в Лампсаке.*— Речь идет о боге сладострастия Приапе.

Стр. 363. *Елисейские поля* — блаженная страна, царство счастливой заробной жизни.

Сады Гесперид, сады на островах Счастья...— Нимфы Геспериды охраняли золотые яблоки, растущие в чудесном саду (греч. миф.). Острова Счастья — Канарские острова, по представлениям древних — край земли.

Стр. 370. *Это был самый справедливый... правитель...*— Вольтер имеет в виду китайского императора Юнчжэна из Цинской династии, правившего с 1723 по 1735 г.

...шайку чужеземных бонз...— Речь идет об иезуитах, пытавшихся утвердиться в Китае. Их изгнание оттуда относится к 1724 г.

Стр. 371. *...покинут Тянь и Шанди...*— то есть Небом и Верховным небесным владыкой.

Стр. 374. *...к киммерийцам.*— Киммерийцы — народ, населявший, по древним преданиям, северное побережье Черного моря (в частности Крым); около VIII в. до н. э. они были вытеснены скифами. Под империей киммерийцев Вольтер подразумевает Россию.

...царствующая императрица...— Екатерина II, которую, как видно из последующего повествования, Вольтер всячески идеализирует.

...она в ту пору объезжала страну...— Во время одного из путешествий по России Екатерина писала Вольтеру (29 мая 1767 г.): «Вот я и в Азии; я хочу увидеть это собственными глазами».

Стр. 375. *Один из главных сановников этой древней столицы...*— Вольтер имеет в виду Ивана Ивановича Шувалова (1727—1797), первого куратора Московского университета. В 1757 г. он вступил в переписку с Вольтером, посылая ему материалы для «Истории Российской империи при Петре Великом», а в 1773 г. гостил у писателя в Фернэ.

Церера — богиня земледелия и плодородия у древних римлян; греки называли ее Деметрой.

Стр. 376. *...утвердилось бы и у ее соседей.*— Екатерина II навязывала Польше в качестве короля Станислава Понятовского; она добивалась уравнивания в правах православных и католиков.

Стр. 377. *Тут королевская власть и свобода не враждовали...*— Имеется в виду Швеция, где королевская власть вынуждена была во времена Вольтера временно уступить в борьбе с парламентом.

...в других государствах.— То есть в Дании, где была провозглашена абсолютная власть монарха.

...юный правитель...— то есть будущий шведский король Густав III, который, будучи наследным принцем, изображал из себя сторонника просвещенной монархии, но, придя к власти (в 1771 г.), не ограничил абсолютизма; тем не менее он был убит в результате аристократического заговора (1792).

У сарматов... застал на троне философа...— Речь идет о Польше, где в это время правил Станислав Понятовский, находившийся в переписке с Вольтером.

...погребать живо в обширных узилищах...— то есть в монастырях.

Стр. 378. *Батавия* — Вольтер имеет в виду Голландию.

Стр. 379. *Рей Марк-Мишель* — издатель из Амстердама, напечатавший немало антиклерикальных сочинений, в том числе книги Вольтера.

...в странах авзонов и велехов...— то есть в Италии и Франции.

«Удачливая крестьянка» — роман французского писателя шевалье де Мун (псевдоним Шарля де Фьё; 1701—1784), написанный в 1735 г. как параллель роману Мариво «Удачливый крестьянин» (1734—1735).

«Софа» — сатирический роман Кребийона-сына, напечатанный в 1745 г. В этом романе немало фривольных эпизодов.

«Четыре Факардена» — роман Антуана Гамильтона. В парижском пиратском издании «Царевны Вавилонской» вместо книги Гамильтона был упомянут «Кандид» Вольтера.

Стр. 380. *...учение, ставшее спустя много столетий учением Пифагора, Порфирия и Ямвлиха.*— Древнегреческие философы Пифагор (VI—V вв. до н. э.), Порфирий (ок. 232—304) и Ямвлих (ок. 283 — ок. 333) были сторонниками и пропагандистами вегетарианства.

Стр. 381. *Витенагемот* — совет старейшин у древних саксов.

...люди, которые явились из древней страны Сатурна...— Вольтер имеет в виду римлян, завоевавших Британию.

Стр. 382. *Один из наших королей...*— Имеется в виду английский король Иоанн Безземельный (1199—1216), признавший в 1213 г. вассальную зависимость Англии и Ирландии от папского Рима.

«*Старец семи холмов*» — то есть папа римский (как известно, Рим построен на семи холмах).

Несколько венуеносцев были казнены.— Намек на казнь английского короля Карла I в 1649 г. во время революции.

...окончили жизнь на эшафоте.— Вольтер имеет в виду массовые казни сторонников претендента на английский престол Карла Эдуарда Стюарта (1720—1788).

...одни в черных плащах, другие в белых рубахах... заразили бешенством...— Английская буржуазная революция была облечена в форму религиозной борьбы пуритан против господствующей англиканской церкви. Пуритане носили черную одежду, англиканское духовенство — белую.

Стр. 383. *...две партии...*— то есть партии консерваторов (тори) и либералов (виги).

Стр. 385. *...причалил к городу...*— Далее описывается Венеция.

...двуликих мужчин и женщин...— Вольтер имеет в виду венецианский обычай тех лет ходить по городу в масках.

Стр. 386. *...мужчин, поющих женскими голосами.*— В римских церквях обычно пели певцы-кастраты.

Стр. 387. *...одни — в пурпуровых мантиях, другие — в фиолетовых...*— Красные мантии носили католические кардиналы, а фиолетовые — епископы.

Усердствующие — члены церковной конгрегации святого Антония, первоначально занимавшиеся лечением больных.

Стр. 388. *Первоначально он был рыбаком и привратником...*— По церковной легенде, первым римским епископом был апостол Петр, который затем уже передал власть папе. До того, как стать учеником Христа, Петр будто бы был простым рыбаком, а после смерти стал хранителем ключей от Рая.

...он отправил сто одно предписание кельтскому королю...— Речь идет о булле папы Климента XI (1713 г.), осудившей яansenизм, которую он направил королю Людовику XIV.

Некий нормандский священник...— Имеется в виду иезуит Мишель Ле Теллье (1648—1719), последний духовник Людовика XIV.

Стр. 390. *...нозую столицу галлов.*— То есть Париж; старой столицей Галлии считался Лион.

...означало «грязь и навоз»...— Древнее название Парижа — Лютеция; оно восходит к латинскому слову lutum (грязь).

...дали имя в честь Изиды, культ которой дошел и до него.— Латинское название Парижа (Parisii) некоторые историки по созвучию пытались возвести к имени богини Изиды.

Первый сенат состоял из лодочников.— Во времена Тиберия (I в.) артель лодочников воздвигла алтарь в честь Юпитера на месте современного собора Парижской богородицы, что, по преданию, положило начало Парижу.

...*другие герои-грабители*...— Имеется в виду германское племя франков, вторгшееся в Галлию в V в.

...*из-за пустых мудрствований*...— Намек на религиозные войны во Франции XVI в.

...*скрываться в пещерах*...— то есть в монастырях.

Стр. 391. *Другие занятые люди*...— Речь идет о представителях судейского сословия.

Легкий проступок какого-нибудь юноши...— Вольтер имеет в виду шевалье де Ла Барра (1747—1766), обвиненного в том, что он демонстративно сломал распятие, и обезглавленного за это 1 июля 1766 г. Этот яркий случай религиозной нетерпимости и фанатизма имел широкий отклик в Европе.

Стр. 392. *Некий газетчик-друид*...— Вольтер пишет здесь о неизвестном издателе выходившей с 1728 г. газеты «Церковные новости».

Отставные друиды...— иезуиты, изгнанные из Франции в 1764 г.

...*зловонным отщепенцам в серых одеждах*...— В сером ходили монахи-ораторианцы, к которым перешли учебные заведения, где ранее преподавали иезуиты.

Несколько архидруидов сочиняли гнусные пасквили...— Вольтер имеет в виду выступления в защиту иезуитов ряда французских архиепископов.

...*на ужин к одной даме*...— Вольтер имеет в виду Марию-Терезу Жоффрен (1699—1777), хозяйку популярного парижского салона, где часто бывали энциклопедисты.

Стр. 396. ...*дом, летающий по воздуху*...— Вольтер имеет в виду популярную церковную легенду о том, что хижина, в которой архангел благовестил деве Марии, была небесным воинством перенесена из Назарета в Далмацию, а затем в Италию, в рошу Лорета под Анконой. Эти события церковное предание относит к 1291 и 1295 гг.

Стр. 397. *Бетис* — старое название Гвадалquivира.

Бетика — древнее название испанской провинции Андалузии.

...*именуемых «разыскателями» или «антропокайями»*...— Вольтер имеет в виду инквизиторов, название которых происходит

от латинского глагола «разыскивать»; «антропокайн» — буквально «человекосжигатели».

Стр. 398. *Мазог* — библейский персонаж, один из сыновей Иофета, третьего сына Ноя (Бытие, X, 2). Его царство якобы находилось приблизительно там, где обитали позже племена скифов.

Стр. 399. *Престарелый монарх...* — Имеется в виду испанский король (с 1759 г.) Карл III (1716—1788), изгнавший иезуитов и боровшийся с инквизицией.

Стр. 403. *Дидона* — по мифам, распространенным среди сицилийских греков, сестра тирского царя Пигмалиона, убившего ее мужа, после чего Дидона переселилась в Северную Африку, где основала Карфаген.

Стр. 405. *Не позволяйте дерзновенным подделывателям...* — Вольтер имеет в виду практиковавшийся в XVIII в. обычай выпускать подложные продолжения и окончания пользовавшихся популярностью книг. До 1768 г. появилось по меньшей мере четыре переработки «Кандида». Переделки и продолжения «Простодушного» неизвестны.

...некий бывший капуцин изуродовал... — Вольтер имеет в виду издание его «Орлеанской девственницы», предпринятое в 1756 г. Жаном-Анри де Гуве, совершенно исказившим обширными добавлениями текст писателя.

Кожэ Франсуа-Мари (1723—1780) — французский литератор, выступивший в 1767 г. с памфлетом, направленным против просветительского романа Мармонтеля «Велизарий».

Ларше Пьер-Анри (1726—1812) — французский ученый-эллинист, выпустивший в 1767 г. «Добавление к философии истории», где указал на ряд ошибок и неточностей, допущенных Вольтером в его работе «Философия истории» (1765).

...наша несравненная Нинон... — Вольтер имеет в виду Нинон де Ланкло (1620—1705), славившуюся своим умом и красотой куртизанку, дружившую со многими выдающимися людьми своего времени.

Стр. 406. *Жедуэн Никола (1667—1744)* — французский литератор, известный главным образом как переводчик.

Шатонеф Никола (ум. в 1708 г.) — близкий друг Нинон де Ланкло, крестный отец Вольтера.

Бисетр — вначале тюрьма, затем сумасшедший дом.

«*Шотландка*» — комедия Вольтера (1760); писатель изобразил в ней своего заклятого врага Фрерона, выведя на сцену некоего Флерона (что значит «шершень»), шпиона и доносчика.

...сыну отца Дефонтена, рожденного от его любовной связи с одним из тех красивых мальчиков...— Французский литератор Пьер-Франсуа Дефонтен (1685—1745) по обвинению в гомосексуализме был заключен в парижскую тюрьму Бисетр; Вольтер во многом содействовал его освобождению (1724). Тем не менее Дефонтен в своем «Обзрении современной литературы» (1735) раскритиковал ряд произведений Вольтера, на что писатель ответил резким и остроумным памфлетом (1736). Дефонтен, в свою очередь, написал не менее резкий памфлет «Вольтеромания» (1738).

...но не выше дымовой трубы.— Соблазненный Дефонтеном юноша был трубочистом.

...писака-богослов...— Имеется в виду издатель газеты «Церковные новости».

Бешеран — парижский священник, имевший одну ногу короче другой и, надеясь излечиться, ходивший на могилу св. Медарда (см. прим. к с. 107). Был задержан и препровожден в тюрьму Сен-Лазар как конвульсионер (1731 г.).

Шомей Авраам (1730—1790) — автор направленной против философов-энциклопедистов восьмитомной работы «Законное предубеждение против Энциклопедии» (1758).

Рибалье — один из влиятельных профессоров теологического факультета Сорбонны; был королевским цензором.

ПИСЬМА АМАБЕДА И ДР.

Les Lettres d'Amabed, etc.

Эта повесть Вольтера была издана в Женеве братьями Крамерами в 1769 г., войдя в состав сборника различных произведений писателя. Спустя десять лет, в мае 1779 г., повесть была осуждена римским трибуналом.

Стр. 407. *Амабед*.— Возможно, это имя Вольтер произвел из Амитаба, имени одного из Будд. Однако это лишь предположение, как и относительно этимологии многих других имен в этой повести, тем более что Вольтер здесь ориентируется на индуистскую, а не на буддийскую традицию.

Тампоне.— Этот аббат действительно существовал. В середине XVIII в. он был профессором Сорбонны и получил некоторую известность своими нападками на просветителей.

Шастраджит.— Это имя может быть приблизительно переведено как «Познавший мудрость».

Модура — город на юге Индии.

Бенарес — город на реке Ганг, священный город для индусов; здесь совершаются ритуальные омовения в водах реки.

Месяц мыши.— Вольтер прибегает здесь не к индийскому, а к китайскому названию месяцев; месяц мыши (цзы) соответствует январю.

Цзин — вообще книги; первоначально — книги, излагающие взгляды древнекитайского философа Лао Цзы.

Шастра — вообще книга или трактат; так что такого литературного (или религиозного) памятника не существовало.

Зороастр — см. прим. к с. 23.

Тот — древнеегипетское божество, считавшееся изобретателем иероглифического письма, покровителем наук и ученых, автором всех древних книг.

Брама — см. прим. к с. 54.

Альбукерк Альфонсо (1453—1515) — знаменитый португальский мореплаватель и завоеватель; благодаря его экспедициям Португалия получила обширные колониальные владения в Индии.

Гоа — португальская колония на западном побережье Индии, южнее Бомбея.

Бабур (1483—1530) — праправнук Тамерлана, основатель династии Баберидов (или Великих Моголов), правивших на территории Индии, где они путем завоевания основали свое государство.

Исмаил Сафи (1485—1523) — персидский царь, основатель династии Сефевидов, правивших в Иране (а также в части Азербайджана, Армении и Афганистана) с 1502 по 1736 г.

Селим — имеется в виду турецкий султан Селим I, правивший в 1512—1520 гг. Он носил прозвище Жестокий.

Максимилиан I — германский император с 1493 по 1519 г.

Людовик XII — французский король с 1498 по 1515 г.

Юлий II — папа римский с 1503 по 1513 г.

Иоанна Безумная — испанская королева с 1504 по 1555 г.

Мануэл — король Португалии с 1495 по 1521 г.

Стр. 408. *Фатутто* — то есть Делающий все (итал.).

Адатея — Это имя героини повести, по-видимому, восходит к имени Адити, в ведийской традиции прародительницы богов.

Бирма — такого божества в индуистском пантеоне нет. Видимо, это выдумка Вольтера.

Халдеи — семитическое племя, обитавшее со второго тысячелетия до н. э. на берегах Персидского залива. Им приписывались многие открытия и изобретения.

Стр. 409. *Цитируемые слова*...— Вольтер, любивший издеваться над Писанием и приписывать ему несуществующие пассажи, на этот раз цитирует Библию точно.

...книга *Енох*.— В действительности эта апокрифическая библейская книга существует; она возникла во II—I вв. до н. э. и является одним из значительных памятников древнееврейской литературы.

Стр. 410. *Баня* — член касты жрецов-брахманов, на которого возлагались всякие коммерческие поручения.

Месяц слона.— Такого месяца в китайском календаре нет. *Это всеобщая история*...— Вольтер имеет в виду знаменитую в свое время книгу Боссюэ (1627—1704) «Рассуждение о всемирной истории» (1681), написанную для наставления наследника престола. Вольтер неоднократно критиковал эту работу за ее откровенно религиозный дух и, в частности, за то, что в ней была преувеличена роль еврейского народа в истории Древнего Востока (изложение событий древности Боссюэ строит исключительно на сведениях, сообщаемых Библией).

...*семидесяти толковников*.— Речь идет о так называемой Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, выполненном в Александрии во II в. до н. э.; считалось, что работавшие одновременно семьдесят переводчиков создали совершенно одинаковый греческий текст, так как якобы были вдохновлены свыше.

Стр. 411. ...*совершили в Каликуте страшные зверства*...— Имеется в виду разграбление этого индийского города войсками Васко да Гамы в 1502 г.

Стр. 412. ...*когда Александр подошел к нашим границам*...— Это произошло в 327 г. до н. э., когда войска Александра Македонского вторглись в Пенджаб (Западная Индия).

Финикия — древняя страна на Ближнем Востоке, на побережье Средиземного моря. Одно время (второе тысячелетие до н. э.) находилась в подчинении у Египта. Позже, при ослаблении последнего, вела самостоятельную внешнюю политику.

Стр. 414. *Месяц тигра*.— Он соответствует марту.

Стр. 416. *Дара* (точнее — Тара).— Это имя может быть переведено как Звезда.

Стр. 420. *Доминиканец* — член монашеского ордена, названного в честь его основателя святого Доминика (1170—1221), сторонника жестокой борьбы с ересями.

Стр. 421. *Огуз-хан* — видимо, лицо вымышленное. Предполагается, что это предводитель племени огузов, союза тюрко-мон-

гольских племен, обитавших в VI—XI вв. в бассейне реки Сырдарья.

Сусахим (так в греческом переводе Ветхого Завета) — египетский фараон Шешонк из XII династии, правивший в IX—VIII вв. до н. в. Известен как воинственный полководец. В Библии рассказывается, как он разграбил Иерусалим (III кн. Царств, XIV, 25—26).

Вакх.— Поздние мифы действительно рассказывают о путешествии Вакха по Востоку и о творимых им чудесах. Вольтер сопоставляет эти мифы с библейскими легендами о Моисее.

Моисей — библейский патриарх, вождь еврейского народа. О нем рассказывается в нескольких книгах Ветхого Завета (Исход, Левит, Числа, Второзаконие).

Халея.— Этот персонаж упоминается в библейской книге Числа (XIII, 31).

Стр. 423. **Аватарашастра.**— Аватара — это воплощение божества (в индуизме). Но такого трактата о божественных превращениях в действительности не существовало.

Стр. 424. **Коррежидор** — глава городского самоуправления в Португалии и ее колониях (соответствует испанскому коррежидору).

Стр. 427. **Джамбудвипа.**— Это не название реки Инд, а название Индийского субконтинента.

Стр. 428. **Раздаватель милостыни** — церковная должность в католических странах; такие раздаватели состояли при знатных сеньорах (как светских, так и духовных), при короле, папе и т. п.

Францисканец — член нищенствующего монашеского ордена. Разные задачи францисканцев и доминиканцев и их разный образ жизни нередко приводили к вражде представителей этих орденов.

Фамольто — то есть Делающий много (итал.).

Пюаль.— В первом издании повести здесь был назван апостол Павел; далее Вольтер пересказывает связанные с ним библейские легенды. В последующих изданиях писатель изменил это имя (переставив гласные), произведя тем самым новый его вариант от глагола «вонять».

Стр. 429. *...один из наших превосходных индийских поэтов...*— В действительности Вольтер цитирует французского драматурга Филиппа Кино (1635—1688), его пьесу «Фаэтон» (действ. IV, явл. 2).

Заморин — старое название правителя Каликута.

...то осел говорит по-человечески...— Имеется в виду эпизод с Валаамовой ослицей из библейской книги Числа (XXII, 22—30).

...то святой проводит трое суток во чреве китовом...— Речь идет об Ионе (см. прим. к с. 113).

...проповедник улетает читать проповеди на небо в огненной колеснице...— Имеется в виду библейский пророк Илия, живший в царствование Ахава. О его вознесении на небо на огненной колеснице рассказывается в IV кн. Царств (II, 11—13).

Некий ученый переходит море посуху...— Речь идет о Моисее, который перевел евреев при их бегстве из Египта через Красное море, воды которого расступились перед ними (Исход, XIV; 21—22).

...другой останавливает солнце и луну...— Имеется в виду библейский персонаж (служитель Моисея) Иисус Навин (см. Кн. Иисуса Навина, X, 12—13).

...печь хлеб на человеческом кале...— Вольтер имеет в виду эпизод из библейской книги пророка Иезекииля (IV, 12).

...спать с продажной блудницей...— Это эпизод из библейской книги пророка Осии (I, 2—3).

Огола и Оголина.— Имеются в виду библейские блудницы, символизирующие собою города Самарию и Иерусалим (Книга пророка Иезекииля, XXIII).

Стр. 430. Все они в старости спят со своими служанками.— Вольтер имеет в виду эпизод из жизни библейских персонажей Авраама и Иакова (см. Бытие, XVI, 1—15; XXX, 3—12).

...один творит мерзость с мачехой...— Речь идет о любовной связи Рувима с Валлой, наложницей его отца Иакова (Бытие, XXXV, 22; XLIX, 4).

...другой — с невесткой.— Имеется в виду патриарх Иуда и его связь с Фамарью (Бытие, XXXVIII, 14—19). Правда, Фамарь обманула Иуду, прикинувшись блудницей.

...обойтись с неким бедным священником, как с красивой девушкой...— Этот случай с одним молодым левитом в городе Иевусеев описан в книге Судей (XIX, 22—23).

...две знатные юницы спаивают родного отца...— Имеется в виду история Лота и его дочерей (Бытие, XIX, 30—38).

...эти горожане изо всех сил пытались осквернить посланцев господних.— Речь идет о жителях погрязшего в пороках города Содомы (Бытие, XIX, 1—11).

Месяц носорога.— Такого месяца нет в китайском календаре.

Стр. 431. ...черную глыбу, упавшую с неба...— Этот камень действительно существует, он находится в специальной нише восточной наружной стены мечети Кааба в Мекке и является предметом особого суеверного почитания всеми мусульманами.

Мелинда.— Этот порт расположен при впадении в океан реки Замбези.

Стр. 436. *...управляют христианские монахи, носящие короткое платье...*— Речь идет об острове Мальта, владении Мальтийского ордена; во времена Вольтера, да и раньше, чисто религиозные функции членов ордена уступили место функциям военным.

Стр. 437. *Старый город* — то есть порт Чивита-Веккия.

Юстин.— христианский писатель II в. н. э., автор «Апологии христианской религии»; погиб как мученик за веру ок. 165 г.

Тертуллиан (160—240) — раннесредневековый латинский писатель и богослов.

Иринеи — один из христианских мучеников, епископ Лиона (ум. ок. 200 г.). Причислен к лику святых.

Стр. 438. *Месяц овцы.*— Этот месяц китайского календаря соответствует августу.

Стр. 439. *Пропаганда* — специальная конгрегация, учрежденная папой Климентом VIII в 1597 г. для повсеместной проповеди христианского учения.

Стр. 440. *Он умер.*— Речь идет о папе Юлии II, который скончался в ночь на 21 февраля 1513 г. Его преемник Лев X был избран 11 марта.

Стр. 443. *...отправляем душу его во врачевницу...*— то есть в чистилище.

Стр. 444. *...одним своим словом иссушавший смоковницы...*— См. Ев. от Матф., XXI, 19. Здесь и далее Вольтер упоминает отдельные события, о которых рассказывается в Евангелии.

...превращавший воду в вино...— См. Ев. от Иоанна, II, 7—9.

...топивший свиней.— См. Ев. от Матф., VIII, 32.

...а божие богу.— См. Ев. от Матф., XXII, 21.

...есть еще император...— Речь идет о номинальном главе так называемой Священной Римской империи германской нации, конгломерата государств, которые не всегда считались с верховной властью императора.

...на одной большой реке...— то есть на Дунае, в Вене.

Стр. 445. *Месяц крокодила.*— Такого месяца в китайском календаре нет.

Стр. 446. *«Мандрагора»* — комедия Николо Макиавелли, поставленная в Риме в 1520 г. Вольтеру очень нравилась эта пьеса, он как-то заметил, что «она стоит, быть может, всех пьес Аристофана».

Стр. 447. *Александр VI* — папа римский с 1492 по 1503 г.

...какой-то из незаконных своих дочерей...— Речь идет о знаменитой красавице Лукреции Борджа (1480—1519), покровитель-

нице литературы и искусства, прославившейся также своим развратом.

...он до безумия любил войну...— Юлий II принимал участие в так называемых Итальянских войнах, которые вела Франция в первой половине XVI в. за господство в Северной Италии.

...со времен Григория VII...— Папа Григорий VII (на папском престоле в 1073—1088 гг.) прославился своей борьбой с императором Генрихом IV, которого он заставил явиться с повинной в Каноссу.

Стр. 448. ...один из пяти его незаконных сыновей.— Вольтер имеет в виду кардинала Чезаре Борджа (1476—1507), игравшего видную роль в политической жизни своего времени.

Стр. 450. ...некий мессер Ариосто.— Вольтер цитирует далее «Сатиру на брак» Лодовико Ариосто.

Стр. 451. Сакрипанте.— Такого кардинала никогда не было; так зовут одного из комических персонажей поэм Маттео Боярдо (ок. 1440—1494) «Влюбленный Орlando» и Ариосто «Неистовый Орlando».

Факинетти — а такой кардинал действительно существовал. Это Джованни Антонио Факинетти (1519—1591), ставший кардиналом в 1583 г., а в 1591 избранный папой под именем Иннокентия IX.

БЕЛЫЙ БЫК

Le Taureau blanc

Повесть была закончена Вольтером в летние месяцы 1773 г., осенью уже стали появляться ее списки у некоторых друзей писателя. Издана книга была в феврале или марте 1774 г. в Женеве братьями Крамерами (но с указанием на Мемфис как на место ее выхода). «Белый бык» был выдан за произведение переводное и переводчиком был назван бенедиктинец дон Кальме (1672—1757). В том же 1774 г. появилось второе издание повести (опять в Женеве, но с указанием на Лондон) с незначительными изменениями текста.

Стр. 452. Амавис (правильнее Амасис).— Этот египетский фараон действительно существовал; он принадлежал к XXVI династии и правил в 570—526 гг. до н. э. Его резиденцией был древний город Танис в дельте Нила.

Мамбрес.— Вольтер делает его одним из египетских чародеев, повторявших, согласно библейскому рассказу, чудеса, которые совершал по божьему внушению Моисей перед фараоном, дабы тот отпустил народ израилев из своей земли (Исход, VII—VIII).

Стр. 453. *Гарпократ* — египетское божество, так называемый Гор-дитя, сын Изиды и Озириса; он считался олицетворением восходящего солнца, а потому изображался как ребенок, сосущий палец. Греки неверно истолковывали этот жест и считали Гарпократа божеством молчания.

Стр. 454. *...бык, щипавший траву на лугу...*— Вольтер разрабатывает в повести мотив пророчества фараону (вавилонскому царю) Навуходоносору перед его безумием, о чем рассказывается в Библии (Книга пророка Даниила, IV, 22).

...в которого влюбилась Пасифая...— см. прим. к с. 145.

...чтобы похитить Европу...— Европа была дочерью финикийского царя Агенора. Влюбившийся в нее Зевс явился ей в виде быка, похитил и увез на Крит, где она родила Миноса (*греч. миф.*).

Сана — область в южной Аравии.

Стр. 455. *Хирам*.— С таким названием известны два тирских царя; Хирам I правил, по-видимому, в X в. до н. э., Хирам II в VIII в. до н. э., то есть время правления обоих не совпадает с эпохой Троянской войны (XII в. до н. э.).

Нефель Керес (точнее — Нефериркара).— Такое имя носили два египетских фараона; один из них принадлежал ко II династии (начало III тысячелетия до н. э.), другой к V династии (середина III тысячелетия до н. э.).

...волшебница Аэндорская! — Речь идет о библейском персонаже, упоминаемом в Первой книге Царств, где рассказывается, как Саул призывал волшебницу перед сражением при Галвее против филистимлян, предводительствуемых Давидом (XXVIII, 4—25).

Стр. 456. *...жезлов в змей...*— Это и другие чудеса совершает Моисей и египетские чародеи, о чем рассказывается в Библии (Исход, VII—VIII).

Ослица...— В Библии рассказывается, как Валаам был послан, чтобы проклясть иудеев; он поехал верхом на ослице, но той явился ангел с мечом и она не захотела идти дальше; Валаам стал бить ее палкой, «и отверз господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня?» (Числа, XXII, 22—30).

Рыба... не так давно проглотила Иону.— См. прим. к с. 113.

Пес — тот самый, что увязался за архангелом Гавриилом, и юным Товией...— Вольтер имеет в виду библейский рассказ о том, как состарившийся и ослепший Товит послал своего сына Товию за долгом. В этом путешествии юношу сопровождал ангел Рафаил и собака Тавии (Книга Товит, V—XII).

Салманасар — имеется в виду ассирийский царь Салманасар V (правил в 726—722 гг. до н. э.). При этом царе попал в рабство Товит; путешествие же его сына следует отнести ко времени правления Саргона II (721—705 до н. э.) или Синаххериба (704—681 до н. э.).

Козел — тот самый...— Имеется в виду библейский рассказ о том, что у древних евреев был обычай приносить в жертву козла, который тем самым искупал грехи всего народа (Левит, XVI, 21—22).

...ворон и голубь...— птицы, которых легендарный Ной выпускал из ковчега, чтобы узнать, спала ли вода (Бытие, VIII, 6—12).

Стр. 457. *...у лжемудрецов будущего*...— Лжемудрецами герой Вольтера называет философов-просветителей, сомневающихся в подлинности библейских легенд.

Стр. 459. *...змея Эскулапа?* — Легендарный древнегреческий врач Эскулап обычно изображался со змеей у своих ног.

Стр. 460. *...лишился некоего теплого местечка*...— Имеется в виду библейское предание о том, как Люцифер в образе змея был низвергнут в бездну.

Стр. 461. *...нелепейшей эпической поэмы*...— намек на поэму Мильтона «Потерянный Рай» (см. прим. к с. 226).

Стр. 462. *...испытывать беднягу Иова*...— В библейском рассказе Сатана послал на бедного Иова проказу (Иов, II, 7).

Третья книга Царств...— Вольтер вольно пересказывает это место Библии, причем не два, а три ее стиха (20—22).

Стр. 463. *...опытный еврей*...— Вольтер имеет в виду Даниила, толковавшего сны Навуходоносора (Книга пророка Даниила, II—IV).

Стр. 465. *...его дочь Пасифая*...— Пасифая была не дочерью, а женой Миноса.

...телку Ио...— Ревнивая Юнона превратила возлюбленную Юпитера Ио в телку (римск. миф.).

Ларше — см. прим. к стр. 405. Вольтер имеет в виду споры с ним Ларше по историческим вопросам.

Стр. 466. *Ликаон, царь Аркадии*...— Обо всех этих превращениях, зафиксированных в древнегреческой мифологии, рассказывается в «Метаморфозах» Овидия.

...Юдифь, жена Лота...— Об этом превращении рассказывается в Библии (Бытие, XIX, 26).

Стр. 467. *Тертуллиан* — см. прим. к с. 437.

Ириней — см. прим. к с. 437.

Керасты — жители острова Крита, превращенные Афродитой в быков (греч. миф.).

Стр. 468. *Даниил, Иезекииль и Иеремия* — библейские пророки, которым приписываются соответствующие книги Ветхого Завета. В дальнейшем повествовании эпизоды, связанные с этими пророками, почерпнуты из этих книг.

Сирбонское озеро — озеро восточнее современного Порт-Саида.
Каноп — древнеегипетский город на Ниле.

Стр. 471. *...ты предал прекрасную Корониду...* — Нимфа Коронида, возлюбленная Аполлона, изменила ему с простым смертным; об этом донес богу ворон, Аполлон поразил Корониду стрелой, а ворона из белого сделал черным (*греч. миф.*).

Асклепий (или Эскулап) — сын Корониды и Аполлона, искусный врачеватель (*греч. миф.*).

Стр. 472. *...как говаривал... Зороастр.* — В действительности Вольтер приводит слова Горация («Послания», кн. I, XII, 19). О Зороастре — см. прим. к с. 23.

Стр. 473. *...во львином рву...* — о пребывании Даниила во львином рву рассказывается в Библии (Книга пророка Даниила, VI, 1—29).

Стр. 474. *...чем их велено было намазывать.* — В Книге пророка Иезекииля сказано: «И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале» (IV, 12).

Огола и Оголина — см. прим. к с. 429.

Стр. 475. *Пиэриды* — дочери македонского царя Пиэра; они стали состязаться с музами и за это были превращены Аполлоном в сорок (*греч. миф.*).

Стр. 476. *Манефон* — древнеегипетский жрец и историк III в. до н. э. От его «Истории Египта», которую хорошо знали древнегреческие писатели, сохранились лишь отдельные цитаты в сочинениях других историков.

Навуходоносор не мог вспомнить свои сны. — Об этом рассказывается в Библии (Книга пророка Даниила, II, 1—2).

Стр. 477. *...исцелил... целый народ...* — Имеется в виду библейский рассказ о том, как Моисей, по божественному внушению, воздвиг медного змея, взглянув на которого можно было излечиться от змеиных укусов (Числа, XXI, 6—9).

...о некоем герое... — Вольтер имеет в виду библейскую легенду о разрушении стен Иерихона, которые пали сами собой от звуков священных труб (Книга Иисуса Навина, VI).

Амфион — сын Зевса и Антиопы; он обладал чудесным даром игры на лире. Амфион и его брат Зет решили обнести новыми стенами Фивы, и камни сами ложились в стены, послушные звукам чудесной лиры (*греч. миф.*).

...а этот герой...— Далее Вольтер перечисляет библейские легенды из Книги Иисуса Навина (VI—XII).

...Вакха, остановившего солнце и луну...— см. прим. к с. 421.

Иеффай— Вольтер имеет в виду библейский рассказ о том, как Иеффай, один из судей израильских, был сначала разбойником, а потом полководцем. Перед решительным сражением он дал обет в случае победы принести в жертву первое встреченное им живое существо; им оказалась его дочь, но он все-таки выполнил обет (Книга Судей, XI, 30—39).

...Самсона... угодившего в сети к одной девице...— Вольтер перечисляет подвиги библейского богатыря Самсона, связавшего за хвосты триста лисиц (Книга Судей, XV, 4—5), убившего ослиной челюстью тысячу человек (XV, 16—17), а также рассказ о его любви к блуднице из Газы Далиле (или Далиде), которая остригла ему волосы и тем лишила его силы (XVI, 1—21).

...о любви Сихема к шестилетней Дине...— Имеется в виду библейский рассказ о том, как Сихем полюбил Дину и спал с ней; он просил ее себе в жены, но братья девушки, сыновья Иакова, потребовали от него и его племени совершить за это обрезание. Когда это условие было выполнено и Сихем с одноплеменниками были больны после операции, братья Дины перебили всех мужчин и разграбили все, что те имели (Бытие, XXXIV, 1—19).

...между Воозом и Руфью...— Имеется в виду следующий библейский эпизод: овдовевшая Руфь нанимается в поденщицы к богатому человеку по имени Вооз и ночью после полевых работ соблазняет его подле скирда, после чего он женится на ней (Книга Руфи, II—IV).

...Иудой и его невесткою Фамарью...— см. прим. к с. 430.

...Лотом и его двумя дочерьми...— см. прим. к с. 430.

...Авраамом и его служанками...— Имеется в виду история Агари, служанки Сарры, жены Авраама. Сарра была бездетна и настояла, чтобы муж спал с Агарью и имел от нее детей. Тот так и поступил. Обуреваемая ревностью Сарра изгнала Агарь из дома, но та по божественному указанию вернулась и родила Аврааму сына Измаила (Бытие, XVI, 1—15).

...Рувимом и его матерью...— Матерью Рувима была Лия, жена Иакова. Здесь Вольтер ошибается (видимо, намеренно): в Библии Иаков действительно упрекает Рувима в том, что тот «взошел на ложе отца» своего, но спал юноша не с матерью, а с наложницей Иакова Валлой (Бытие, XXXV, 22, XLIX, 4).

...Давидом с Вирсавией...— Царь Давид, как рассказывается в Библии, увидел с крыши дворца купающуюся Вирсавию, жену военачальника Урии, полюбил ее и спал с ней. Урию он послал на

войну с приказом поставить его в самое опасное место, где тот и был убит. Тогда Давид женился на Вирсавии (Вторая книга Царей, XI, 2—27).

Стр. 478. *Аббади Якоб* (1654—1727) — голландский богослов, протестант. Вольтер имеет в виду его работу «Трактат об истинности христианской религии» (1684). Аббади был настоятелем французской церкви в Лондоне; он восхвалял восстановленную в Англии после революции монархию, за что ему была пожалована синекура в Ирландии.

д'Угвиль Клод-Франсуа (1686—1742) — французский богослов, автор книги «Истинность христианской религии, доказанная при помощи фактов» (1722).

«*Матрона Эфесская*» — см. прим. к с. 26.

«*Опыт о человеческом разуме*» — Эта работа английского философа Локка вышла в 1690 г.

...у них не было детей.— Возможно, намек на Людовика XV и его жену Марию Лещинскую, у которых ребенок (так называемый дофин Людовик) родился спустя почти десять лет после брака.

Линро — имеется в виду Шарль Роллен (см. прим. к с. 124).

Стр. 482. ...*шакал из Бубаста*...— Культ шакала был, по-видимому, распространен в Древнем Египте довольно широко.

...*кошка из Фебеи*...— По свидетельству древних, в Египте был очень широко распространен культ кошки. Об этом писали Геродот, Диодор и другие историки.

...*крокодил из Арсинои*...— Культ крокодила был также распространен в Египте. О его культе в городе Арсиноя рассказывает Страбон в своей «Географии».

...*ковел из Мендеса*...— Культ козла в Древнем Египте был довольно редок.

СЛУЧАЙ С ПАМЯТЬЮ

Aventure de la Mémoire

Рассказ был впервые опубликован в 1775 г. в Женеве у братьев Крамеров, причем сразу в двух разных сборниках произведений Вольтера.

Стр. 486. *Нонсобра* — анаграмма Сорбонны.

...*некий опровергатель*...— Вольтер имеет в виду французского философа-рационалиста Рене Декарта.

Стр. 487. ...некий англичанин...— Имеется в виду Джон Локк. Лиолисты — анаграмма лойолистов, то есть последователей Лойолы, основателя ордена иезуитов.

Сеянисты — анаграмма янсенистов.

Дикастерики.— Так Вольтер называет членов парламента, судебного органа и органа городского самоуправления в феодальной Франции.

...стране, которая долгое время пребывала в варварстве...— Вольтер имеет в виду Францию.

Стр. 489. ...в своем журнале...— Имеется в виду журнал «Церковные новости»; см. прим. к с. 392.

Кожэ Франсуа-Мари (1723—1780) — профессор латинской риторики в коллеже Мазарини, затем ректор Парижского университета. В 1772 г. Кожэ предложил тему на премию по латинскому красноречию: «То, что теперь называется философией, не менее противно королям, чем Богу»; но он допустил небольшую грамматическую ошибку, в чем был тут же пойман Вольтером, который предложил читать эту фразу Кожэ так: «То, что теперь называется философией, не более противно Богу, чем королям».

УШИ ГРАФА ЧЕСТЕРФИЛДА И КАПЕЛЛАН ГУДМАН

Les Oreilles du comte de Chesterfield
et le chapelain Coudman

Повесть Вольтера была опубликована впервые в 1775 г. в Женеве братьями Крамерами в сборнике новых произведений писателя, принадлежащих к разным жанрам.

Стр. 490. Честерфилд.— Речь идет о Филипе Стенкопе, графе Честерфилде (1694—1773), английском политическом деятеле и писателе-моралисте. Честерфилд встречался с Вольтером в Англии в 1726—1728 гг. и затем состоял с ним в переписке. Честерфилд, бывший послом в Голландии, вице-королем Ирландии и государственным секретарем, к концу жизни действительно оглох, что стало внешним толчком к написанию вольтеровской повести.

...его обещание...— Герой повести просит Честерфилда помочь ему получить приход. По-французски приход (cure) означает также и лечение, именно так воспринимает это слово Честерфилд.

Гилдхолл — Лондонская ратуша.

Стр. 492. ...статья «Природа».— Вольтер ссылается на оче-

редной том своих философских статей, объединенных под общим заглавием «Вопросы об Энциклопедии». Этот том вышел в 1771 г.; там приводится вымышленный диалог Философа и Природы, где высказываются те же точки зрения, что и в повести.

Стр. 493. *...пшеница должна умереть...*— парафраза известной евангельской цитаты: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ев. от Иоанна, XII, 24).

Епископ Глостерский— Вильям Варбуртон (1698—1779), английский теолог, автор работы, в которой он утверждал, что в Ветхом Завете ничего не говорится о бессмертии души. Эта гочка зрения вызвала в свое время (1738) оживленные споры.

Стр. 494. *Филипс Джон* (1676—1709) — английский поэт, автор бурлескной поэмы «Драгоценный шиллинг».

Ост-Индская компания — торговая компания, занимавшаяся широким кругом вопросов взаимоотношений с английской колонией Индией; существовала в 1600—1858 гг.

Стр. 495. *...Локк хорошо понимал...*— Вольтер имеет в виду работу Локка «Опыт о человеческом разуме».

...на манер персонажей Рабле.— По-видимому, речь идет о споре Панурга и Таумаста при помощи жестов («Пантагрюэль», гл. XIX).

Аполлоний — древнегреческий геометр III в. до н. э.

Стр. 497. *Тот, кто назвал нас марионетками провидения...*— Здесь Вольтер имеет в виду свою собственную статью «Страсти» в «Вопросах об Энциклопедии», в томе, увидевшем свет в 1774 г.

Стр. 498. *Великий Могол.*— Так европейцы называли во времена Вольтера мусульманскую империю в Индии.

Стр. 499. *Бэнкс Джозеф* (1743—1820) — английский натуралист.

Соландер Даниэль Карл (1736—1781) — шведский натуралист. Бэнкс и Соландер сопровождали знаменитого капитана Джемса Кука (1728—1779) во время его первого кругосветного путешествия на корабле «Индевр» в 1768—1771 гг.

Ковент-Гарден — квартал в Лондоне.

Бонневаль Клод-Александр (1675—1747) — французский офицер; он служил также в австрийской армии, а затем уехал в Турцию, где принял ислам и стал командующим турецкой артиллерией.

Макарти... Рамзей — по-видимому, персонажи вымышленные.

Малагрида.— В 1761 г. в Лиссабоне был сожжен иезуит отец Габриэль Малагрида, совершивший покушение на португальского короля. Малагриде приписывался памфлет «Героическая жизнь»

св. Анны, матери девы Марии, продиктованная достопочтенному отцу Малагрида самой св. Анной».

Меако (ныне Киото) — бывшая столица Японии.

Стр. 501. *Кафры* — так в XVIII в. называли в Европе племена юго-восточной Африки (от арабск. кафир — неверный, то есть не мусульманин).

«*Назидательные и любопытные письма*». — Такое издание действительно существовало, оно выходило отдельными томиками с 1703 по 1776 г.

Хауксуорт Джон (1715—1773) — автор описания первого путешествия Кука, изданного в 1773 г.

Даукинс и *Вуд* — английские археологи; их отчеты о раскопках Пальмиры и Баальбека (древние города Передней Азии) публиковались в 1753 и 1757 гг.

Гамильтон Вильям (1730—1803) — английский дипломат и археолог, автор книги «Обозрение Везувия, Этны и других вулканов» (1772). Гамильтон был долгое время английским послом при Неаполитанском дворе.

Стр. 503. *Уоллис* Семюэл — английский мореплаватель XVIII в.; он посетил остров Таити в июне 1767 г.

Бугенвиль Луи-Антуан (1729—1811) — французский мореплаватель, автор книги «Путешествие вокруг света» (1771).

Стр. 504. *Рочестер* Джон Уилмот (1647—1680) — английский поэт, автор изрядного числа стихотворений на случай и сатир, отмеченных откровенным эротизмом; по своим философским взглядам Рочестер был сторонником деизма.

Стр. 505. *Герцог де Гиз Исполосованный*. — Речь идет о французском политическом деятеле герцоге Анри де Гизе (1550—1588). Он принимал участие во многих сражениях во время так называемых Религиозных войн, где был не раз ранен (откуда и его кличка «Исполосованный»).

...он и его брат были убиты. — Семейство Гизов играло важную политическую роль во время Религиозных войн между гугенотами и католиками, соперничая с королем Генрихом III. Последний заманил герцога де Гиза и его брата Людовика Лотарингского, кардинала де Гиза (1555—1588) в замок Блуа, где они были предательски убиты.

Стр. 506. *Азенкур* — город на севере Франции. Здесь в 1415 г. французская армия потерпела решительное поражение от англичан (в ходе Столетней войны).

Даниэль Габриэль (1646—1728) — французский иезуит, богослов и философ; Вольтер не раз высмеивал его плоский беспомощный стиль.

Эдуард III (1312—1377) — английский король с 1327 г. При нем (в 1337 г.) началась Столетняя война между Англией и Францией. Осада Кале английской армией произошла в 1347 г. Эташ де Сен-Пьер и пять других членов городского самоуправления действительно явились в лагерь англичан в рубище и с веревками на шее и тем спасли город от разрушения.

Стр. 507. *...Гедеон одержал... победу с тремя стами кувшинов...*— Вольтер имеет в виду описанную в Библии военную хитрость Гедеона, сына Йоаса: он окружил ночью несметные полчища мадианитян с трехстами воинами, которые имели при себе по трубе и по кувшину, в котором был спрятан горящий светильник; по сигналу они разбили кувшины, подняли светильники и затрубили в трубы; в лагере мадианитян началась паника, и они были побеждены и рассеяны (Книга Судей, VII, 16—23).

Бернет Джилберт (1643—1715) — английский религиозный деятель, автор книги «Священная теория Земли» (1680).

Уистон Вильям (1667—1752) — английский богослов, автор работы «Новая теория Земли от ее сотворения до создания всех вещей» (1696).

Вудворд Джон (1665—1728) — английский натуралист, автор книги «Опыт естественной истории» (1695).

Майе Бенуа — французский теолог XVIII в., автор работы «Телльямед, или Беседа индийского философа и французского миссионера» (1748).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Стр. 509. *Спустя некоторое время...*— Этот отрывок заменял в первом издании повести нынешний конец главы «Министр» и главу «Диспуты и аудиенции»; эта объединенная глава называлась «Суды».

Мемнон — так в первом издании назывался герой повести.

Стр. 510. *Ко двору беспрестанно приходили жалобы...*— вариант издания 1748 г., заменивший конец главы «Министр»; в 1756 г. Вольтер отказался от этого варианта и вернулся к первоначальному.

Стр. 511. «*Саддер*» — краткое изложение содержания «Авесты».

Стр. 512. *Серендиб* — по-видимому, Цейлон или Суматра.

Стр. 515. *...что вы не сказали «ум и сердце»!* — см. прим. к с. 124.

Стр. 517. *Бонзы* — так называются буддийские монахи в Японии. Вольтер имеет в виду монахов вообще.

Содержание

А. Михайлов. Вольтер и его проза 3

ФИЛОСОФСКИЕ ПОВЕСТИ

| | |
|--|-----|
| <i>Задиг, или Судьба. Перевод Н. Дмитриева</i> | 21 |
| <i>Кривой крючник. Перевод С. Брахман</i> | 85 |
| <i>Кози-Санкта. Перевод С. Брахман</i> | 91 |
| <i>Мир, каков он есть. Перевод Е. Гунста</i> | 98 |
| <i>Мемнон, или Благоразумие людское. Перевод С. Брахман</i> | 114 |
| <i>Письмо одного турка. Перевод С. Брахман</i> | 120 |
| <i>* Микромегас. Перевод Ю. Корнеева</i> | 123 |
| <i>Двое утешенных. Перевод С. Брахман</i> | 143 |
| <i>История путешествий Скарментадо. Перевод С. Брахман</i> | 145 |
| <i>Кандид, или Оптимизм. Перевод Ф. Сологуба</i> | 153 |
| <i>История доброго брамина. Перевод Е. Гунста</i> | 243 |
| <i>Белое и черное. Перевод М. Архангельской</i> | 246 |
| <i>Жанно и Колен. Перевод Е. Гунста</i> | 260 |
| <i>Маленькое отклонение. Перевод Е. Гунста</i> | 269 |
| <i>Простодушный. Перевод Г. Блока</i> | 271 |
| <i>Царевна Вавилонская. Перевод Н. Коган</i> | 339 |
| <i>Письма Амабеда и др., переведенные аббатом Тампоне.</i> <i>Перевод Ю. Корнеева</i> | 407 |
| <i>Белый бык. Перевод Ю. Стефанова</i> | 452 |
| <i>Случай с памятью. Перевод Е. Гунста</i> | 486 |
| <i>Уши графа Честерфилда и капеллан Гудман. Перевод</i> <i>В. Курелла</i> | 490 |
| <i>Приложения</i> | 509 |
| <i>Комментарии А. Михайлова</i> | 521 |

Вольтер

В 71 **Философские повести: Пер. с фр. /Сост. вступ. ст. и ком. А. Михайлова; Ил. Ж.-М. Моро-Младшего.— М.: Правда, 1985.—576 с., 4 л. ил.**

В сборник «Философские повести» крупнейшего французского писателя-просветителя Вольтера (1694—1778) вошли не только часто издаваемые его повести, такие, как «Задиг», «Микромегас», «Кандид, или Оптимизм», но и менее известные широкому читателю повести: «Белый бык», «Мемнон», «Уши графа Честерфилда...» и др.

В 4703000000—899 899—85
080(02)—85

84. 4 Фр

ВОЛЬТЕР
ФИЛОСОФСКИЕ ПОВЕСТИ

Редактор
Л. М. Кроткова

Оформление художника
Р. Р. Вейлерта

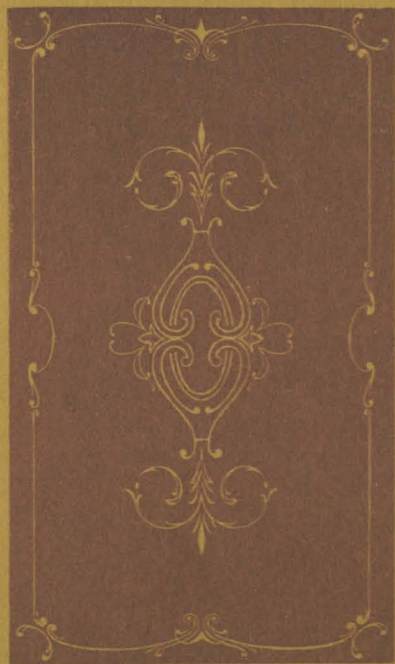
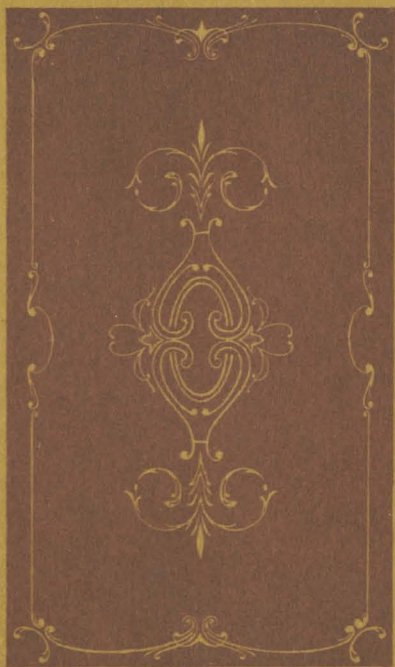
Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

Технический редактор
К. И. Заботина

Сдано в набор 20.04.84. Подписано к печати 12.10.84.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 30,66. Усл. кр.-отт. 31,50. Уч.-изд. л. 31,59;
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—250 000 экз.).
Заказ № 10506. Цена 2 р. 90 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина, 125865, ГСП Москва, А-137,
улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва Архангельского обкома
КПСС. 463082, г. Архангельск, проспект Невгородский, 32.





ВОЛЬТЕР
Философские повести